

"Две жизни" (ч. I, т.1-2)

Конкордия Евгеньевна Антарова (Кора)

Окулътый роман, весьма популярный в кругу людей, интересующихся идеями Теософии и Учения Живой Этики. Герои романа — великие души, завершившие свою духовную эволюцию на Земле, но оставшиеся здесь, чтобы помочь людям в их духовном восхождении. По свидетельству автора — известной оперной певицы, ученицы К.С.Станиславского, солистки Большого театра К.Е.Антаровой (1886–1959) — книга писалась ею под диктовку и была начата во время второй мировой войны.

Книга "Две жизни" записана Конкордией Евгеньевной Антаровой через общение с действительным Автором посредством яснослышания — способом, которым записали книги "Живой Этики" Е.И.Рерих и Н.К.Рерих, "Тайную Доктрину" — Е.П.Блаватская. Единство Источника этих книг вполне очевидно для лиц, их прочитавших. Учение, изложенное в книгах "Живой Этики", как бы проиллюстрировано судьбами героев книги "Две жизни". Это тот же Источник Единой Истины, из которого вышли Учения Гаутамы Будды, Иисуса Христа и других Великих Учителей.

Впервые в книге, предназначенной для широкого круга читателей, даются яркие и глубокие Образы Великих Учителей, выписанные с огромной любовью, показан Их самоотверженный труд по раскрытию Духа человека.

**АНТАРОВА (Кора) Конкордия
Евгеньевна**

"ДВЕ ЖИЗНИ"

Часть I. Том 1-2

Об авторе

Перед Вами, читатель, оккультный роман, который впервые выходит в свет спустя почти 35 лет после смерти автора. Он принадлежит перу К.Е.Антаровой, одной из тех самоотверженных русских женщин, чья жизнь была служением красоте и знанию.

Кора (Конкордия) Евгеньевна Антарова родилась 13 апреля 1886 года, в то счастливое для творческих натур время, когда занимался серебряный век русской культуры. А природа щедро наделила её талантами — в том числе прекрасным голосом, контральто редкого обаяния. Поэтому одновременно с занятиями на историко-филологическом факультете Высших женских курсов (знаменитых Бестужевских курсов), она оканчивает Петербургскую консерваторию, берёт уроки пения у И. П. Прянишникова — организатора и руководителя первого в России оперного товарищества; в 1908 г. её принимают в труппу Большого театра. На этой известной всему миру сцене К.Е. Антарова проработала почти тридцать лет.

Мы можем только догадываться, насколько важную роль в её жизни сыграла встреча с К. С. Станиславским: в течение нескольких лет он преподавал актёрское мастерство в музыкальной студии Большого театра, ни на минуту не забывая о главной своей цели — расширять сознание учеников, пробуждая в них духовность. Прямое свидетельство тому — книга "Беседы К. С. Станиславского в Студии Большого театра в 1918–1922 гг. Записаны заслуженной артисткой РСФСР К.Е.Антаровой". Конечно, когда молодая ученица гениального режиссёра от раза к разу кропотливо и благоговейно вела стенографическую запись занятий, подготовив потом на их основе книгу, впервые увидевшую свет в 1939 г. и выдержавшую несколько изданий, у К.Е.Антаровой не было ещё никаких артистических званий. Но она обладала истинной культурой духа, сердце имела чистое и вдохновенное, благодаря чему только и могла стать учеником в подлинном смысле слова.

Главные действующие лица романа "Две жизни" — великие души, завершившие свою духовную эволюцию на Земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении, — пришли к К.Е.Антаровой, когда бушевала вторая мировая война, и этот контакт продолжался многие годы.

К.Е.Антарова умерла в 1959 г., затем рукопись хранилась у Елены Федоровны Тер-Арутюновой (Москва), считающей её своей духовной

наставницей. Хранительница рукописи никогда не теряла надежды увидеть роман опубликованным, а до той поры знакомила с ним всех, кого находила возможным. И потому можно сказать, что этим романом зачитывалось уже не одно поколение читателей.

Мы сердечно благодарим Е.Ф.Тер-Арутюнову, которая предоставила рукопись романа в распоряжение Латвийского общества Рериха, за доброе напутствие книге, начинающей свою новую жизнь.

Том 1

Глава 1. У МОЕГО БРАТА

События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно минувшим дням, к моей далёкой юности.

Уже больше двух десятков лет зовут меня «дедушкой», но я совсем не ощущаю себя старым; мой внешний облик, заставляющий уступать мне место, поднимать оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что я конфужусь всякий раз, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде.

Было мне лет двадцать, когда я приехал в среднеазиатский большой торговый город погостить к брату, капитану М-ского полка. Жара, ясное синее небо, дотоле мною невиданное; широкие улицы с тенистыми аллеями из высочайших развесистых деревьев посередине поразили меня своей тишиной. Изредка проедет шагом на осле купец на базар. Пройдёт группа женщин, укутанных в чёрные сетки и белые или тёмные покрывала, подобно плащу скрадывающие формы тела.

Улица, на которой жил брат, была не из главных; от базара далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом; жил в нём один со своим денщиком и пользовался лишь двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в моё распоряжение.

Окна одной из комнат брата выходили на улицу; туда же смотрели два окна той комнаты, что я облюбовал себе как спальню и которая носила громкое название «зала».

Брат мой был человеком очень образованным. Стены комнат снизу доверху были заставлены полками и шкафами с книгами. Библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке и, судя по каталогу, составленному братом, обещала много радостей в новой для меня, уединённой жизни.

Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям; временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрёстках; в толпе снующей, говорливой, пёстро одетой в разноцветные халаты я словно бы оказался в Багдаде и всё воображал, что где-то совсем рядом проходит Алладин с волшебной своей лампой или бродит никем неузнаваемый Гарун-аль-Рашид. И восточные люди, с их величавым спокойствием, или же, наоборот, повышенной экзальтированностью, казались мне загадочными и манящими.

Однажды, бродя рассеянно от лавки к лавке, я вздрогнул, как от удара электрического тока, и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели совершенно чёрные глаза очень высокого, средних лет человека, с густой короткой чёрной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и его синие, почти фиолетовые глаза также пристально разглядывали меня.

Высокий брюнет и юноша, оба были в белых чалмах и пёстрых шёлковых халатах. Их осанка и манеры резко отличались от всего окружающего; многие из прохожих подобострастно им кланялись.

Оба они уже давно двинулись к выходу, а я всё стоял, как замороженный, не в силах победить впечатление от этих чудесных глаз.

Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот самый момент, когда столь поразившие меня незнакомцы уже были в пролётке и отъезжали от базара. Молодой сидел с моей стороны. Оглянувшись, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла всё, я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах.

"Кто бы это мог быть?" — думал я, возвращаясь туда, где их встретил. Я несколько раз прошёл мимо лавки и, наконец, решился спросить хозяина:

— Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?

— Люди? Люди много ходила сегодня мой лавка, — хитро улыбаясь, сказал он. — Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий чёрный люди?

— Да, да, — поспешил я согласиться. — Я видел высокого брюнета и с ним красавца юношу: Кто они такие? — Они наша большой, богатый помещики. Виноградники, — оуай, — виноградник! Ба-а-льшой торговля ведёт с Англия.

— Но как же его зовут? — продолжал я. — Ой-я, — засмеялся хозяин. — Вся горишь, знакомиться хочешь? Он — Мохаммед Али. А молодой — Махмуд Али. — Вот как, оба Магометы?

— Нет, нет, Мохаммед только дядя, а племянник — Махмуд. — Они здесь живут? — продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и соображая, что бы такое купить, чтоб только выиграть время и вывести ещё что-нибудь о поразивших меня незнакомцах.

— Что смотришь? Халат хочешь? — подметив мой парящий взгляд, спросил хозяин.

— Да, да, — обрадовался я предложению. — Покажите, пожалуйста, мне халат. Я хочу сделать подарок брату. — А кто твой брат? Какой ему вкус?

Я понятия не имел, какие халаты могут нравиться брату, так как ни в чём другом, как в кителе или пижаме, пока ещё не видел его.

— Мой брат — капитан Т., - сказал я. — Капитан Т.? — вскричал с восточным азартом купец. — Я его хорошо знаю. Ему уже есть семь халатов. На что ему ещё?

Я был смущён, но, скрыв своё замешательство, храбро сказал: — Он их все раздарил.

— Вот как! Наверное, друзьям в Петербурге посылал. Ха-а-роший халаты покупал! Вот, смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать. Ой-я, халат!

И купец достал из-под прилавка чудесный розового тона халат с серовато-лиловыми матовыми разводами. — Такой мне не подойдёт, — сказал я. Купец весело рассмеялся.

— Конечно, не подойдёт; это женская халат. Я тебе дам вот, — синий.

И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пестроват; но тон его, тёплый и мягкий, мог понравиться брату.

— Не бойся, бери. Я всех знаю, Твой брат — приятель Али Мохаммед. Мы не можем продавать его приятелю плохо. Твой брат — ха-а-роший человек! Сам Али Мохаммед его почитает.

— Да кто же он, этот Али?

— Я же сказал, — большая важная купец. Персия торгует и Россия тоже, — ответил хозяин.

— Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, учёный, — возразил я.

— Ой-я, учёный! Учёный он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже ба-а-льшой учёный. — А где живёт Али, вы не знаете? Купец бесцеремонно ударил меня по плечу и сказал: — Ты, видать, здесь мало живёшь. Али дом — напротив твой брат дом.

— Напротив дома брата очень большой сад, обнесённый высокой кирпичной стеной. Там всегда мёртвая тишина, и даже ворота никогда не открываются, — сказал я.

— Тишина-то тишина. А вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмуд. Будет сговор, пойдёт замуж. Если ты сказал, Али Махмуд красавец, — ой-я! Сестра — звезда с неба! Косы до пола, а глаза — ух Купец развёл руками и даже захлебнулся. — Как же вы могли видеть её? Ведь по вашему закону покрывала нельзя снимать перед мужчинами?

— Улица нельзя. У нас и в дом нельзя. А у Али Мохаммед все женщины дома ходит открыта. Мулла много раз говорил, да перестал. Али сказал:

«Уеду». Ну, мулла и молчит пока.

Я простился с купцом, взял покупку и пошёл домой. Шёл я долго; где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом отыскал, наконец, свою улицу.

Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки, и я не мог решить, какие же у неё глаза: чёрные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата?

Я шёл, глядя под ноги, и внезапно услышал: "Левушка, да где же ты пропадал? Я уже собирался было тебя искать".

Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы, а ещё яркие, красиво очерченные губы, золотые вьющиеся волосы, тёмные брови... Я впервые разглядел, как красив он, мой брат. Я гордился и восхищался им всегда; а сейчас, точно маленький, ни с того ни с сего бросился ему на шею, расцеловал в обе щёки и сунул ему в руки халат.

— Это тебе халат. А твой Али причиной, что я совсем оторопел и заблудился, — сказал я со смехом. — Какой халат? Какой Али? — с удивлением спросил брат. — Халат номер 8, который я тебе купил в подарок. А Али номер 1, твой друг, — ответил я, всё продолжая смеяться.

— Ты напоминаешь маленького упрямца Левушку, который любил всех озадачивать. Вижу, что любовь к загадкам всё ещё жива в тебе, — улыбаясь своей широкой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат. — Ну, пойдём домой, не век же нам стоять тут. Хотя никого и нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком, из-за края занавески, на нас не смотрит любопытный девичий глаз.

Мы двинулись было домой. Но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт. — Подожди, — сказал он, — едут.

Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца из торговых рядов, жил Али Мохаммед.

— Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное, — сказал мне брат. — Только стой так, чтобы нас не было видно ни из дома, ни со стороны дороги.

Мы стояли за огромным деревом, где могли бы укрыться ещё два-три человека. Теперь уже и я различал топот нескольких лошадей и шум колёс на мягкой немощённой дороге.

Через несколько минут распахнулись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядевшись, он махнул кому-то в сад и

остановился в ожидании.

Первой шла простая телега. В ней сидели две укутанные женские фигуры и трое детей. Все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук.

Вслед за ними, в какой-то старой бричке, ехал старик с двумя элегантными чемоданами.

И, наконец, на довольно большом расстоянии, очевидно оберегаясь от дорожной пыли, двигался экипаж, который пока нельзя было рассмотреть. Между тем, телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду.

— Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили, — шепнул мне брат.

Экипаж приближался. Это была изящная пролётка, запряжённая прекрасным вороным конём, и в ней сидели две женщины с закрытыми чёрной сеткой лицами.

Из ворот дома вышел Али Мохаммед, в белом, и за ним, в такой же длинной белой одежде Али Махмуд. Глаза Али старшего, почудилось мне, пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило; я прикоснулся к брату, желая сказать: "мы открыты", но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж.

Ещё через мгновение Али старший подошёл к экипажу, и... маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Я видел женщин, признанных красавиц, на сцене и в жизни, но сейчас впервые понял, что такое женская красота.

Другая фигура что-то визгливо выговаривала Али старческим голосом, а девушка смущённо улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало. Но Али сам небрежно сбросил его ей на плечи, и, к великому негодованию старухи, на свет показались тёмные кольца непослушных волос. Не обращая внимания на визгливые выговоры, Али поднял бросившуюся ему на шею девушку и, как ребёнка, понёс её в дом.

Между тем Али молодой почтительно высаживал всё ещё ворчавшую старуху.

Серебристый смех девушки доносился из открытых ворот. Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролётка въехала в ворота, и ворота закрылись... А мы всё ещё стояли, забыв место, время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия.

Обернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясён. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно,

серьёзно и даже сурово. Его синие глаза как-то потемнели. Это было лицо совершенно незнакомого мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму и были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию.

Я не мог опомниться всё смотрел на этого чужого, незнакомого мне человека.

— Ну что же, понравилась ли вам моя племянница Наль? — вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос.

Я вздрогнул, — от неожиданности не понял даже вопроса, — и увидел перед собою высоченную фигуру Али старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение; даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке побежала тёплая струя энергии.

Я молчал. Мне казалось, что ещё никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммеда, и я посмотрел на его руки.

Они были белы и нежны, точно к ним не мог пристать загар. Длинные, тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми, розовыми ногтями. Вся рука, узкая и тонкая, артистически прекрасная, всё же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту, стоит Али Мохаммеду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку, — и увидишь воина, разящего насмерть.

Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы, и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я точно стоя заснул.

— Ну, пойдём же домой, Левушка. Отчего ты не благодаришь Али Мохаммеда за приглашение? — услышал я голос брата.

Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающемуся мне высокому и стройному Али.

Брат взял меня под руку, я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув на него, я снова увидел родное, близкое, с детства знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил.

Привычка с детства, привычка видеть опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату-отцу, как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца, и я сказал жалобным тоном:

— Как мне хочется спать; как я устал, точно прошёл вёрст двадцать!

— Очень хорошо, сейчас пообедаем и можешь лечь часа на два. А потом пойдём в гости к Али Мохаммеду. Он здесь почти единственный ведёт европейский образ жизни. Дом его прекрасно и с большим вкусом обставлен. Очень элегантная смесь Азии и Европы. Женщины его семьи образованны и ходят дома без паранджи, и это целая революция для здешних мест. Много уж раз ему угрожали муллы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев всяческими гонениями. Но он всё так же ведёт свою линию. Все, до последнего слуги, в его доме грамотны. Слугам предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция. И я слышал, что против него теперь собираются поднять религиозный поход. А в здешних диких краях это вещь страшная.

Разговаривая, мы пришли к себе, умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду из циновки и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать.

Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость.

Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в здешнем быту, восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко восточная хитрость торжествовала над их проницательностью, восточный торговец зачастую расплачивался за свой обман. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика, такой смешной фарс разыгрывался над торговцем, совершенно уверенным в своей безнаказанности, что любой режиссёр мог бы позавидовать их фантазии.

Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали, но комические положения, в которые попадал обманщик, надолго отучали его от привычки к надувательству.

Так незаметно мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить подаренный ему халат.

Сбросив китель, брат надел халат. Глубокий фиолетовый тон как нельзя больше шёл к его золотым волосам и загорелому лицу. Я им невольно залюбовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль — "а мне никогда красавцем не бывать".

— Как удачно ты это купил, — сказал брат. — Халатов у меня, правда, много, но их я уже надевал, этот же мне нравится особенно. Ни на ком такого не видел. Непременно надену вечером, когда пойдём в гости к

соседу. Кстати, заглянем-ка в «туалетную», как важно зовёт денщик гардеробную, и выберем для тебя халат.

— Как, — вскричал я с удивлением, — разве мы пойдём туда ряжеными?

— Ну зачем же «ряжеными»? Мы просто оденемся так, как будут одеты все, чтобы не бросаться в глаза. Сегодня у Али будут не только друзья, но и немалое количество врагов. Не станем же дразнить их европейским платьем.

Однако когда брат открыл большой шкаф, в нём оказалось не восемь, а десятка два всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнул от удивления.

— Тебя поражает это количество? Но ведь здесь носят сразу семь халатов, начиная с ситцевого и кончая шёлковым. Кто богаче, носят три-четыре шёлковых; кто беден, только ситцевые, но непременно надевают сразу несколько, друг на друга.

— Мой Бог, — сказал я, — да ведь в такую жару, напялив несколько халатов, можно почувствовать себя в жерле Везувия.

— Это только так кажется. Тонкая материя не тяжела, а надетая одна на другую не даёт возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот попробуй облачиться в эти два халата. Ты увидишь, что они невесомы и даже холодят, — сказал брат, протягивая мне два белых, очень тонких шёлковых халата. — Очень уж истово, как полагается по здешнему обряду, мы одеваться не будем. Но по четыре халата наденем. Я очень тебя прошу, надень и походи, попривыкни. А то, пожалуй, вечером, по своей рассеянности, ты действительно будешь казаться «ряженым» и сконфузишь нас обоих, — продолжал брат, видя, что я всё ещё держу в нерешительности поданные мне халаты в руках.

Не особенно горя желанием облачиться в восточный наряд, но никак не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты.

— Но они узки, какие же это халаты? Это нелепые перчатки, — закричал я, начиная раздражаться.

— Их надо застегнуть, вот здесь крючок, а здесь пуговица, — сказал спокойно брат и лёгкими, гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты.

— Теперь, Левушка, успокойся и надень этот зелёный халат; он пошире, его тоже надо застегнуть, В нём есть и карманы. А сверху надень ещё этот широкий, серый с красными разводами, — и опять очень ловко он помог мне одеться.

— Да, и обувь ещё, — сказал он. — У Али принят полуазиатский

туалет, так что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях, но сверх них надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей. Иначе придется идти в одних чулках. Ни в мечеть, ни в дом не входят в уличной обуви.

Мы выбрали калоши мне по ноге, их тоже оказалось у брата несколько пар.

— Пройдём в спальню, там выберем тебе чалму. — Как чалму? На кого же я буду похож? Я и так-то красой не блещу! Помилуй, Николушка, иди уж лучше один, — взмолился я. Брат расхохотался:

— Да ведь покорять сердце прелестной племянницы Али ты не собираешься? А из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего же тебе огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит? Впрочем, — прибавил он, подумав, — если хочешь, я смогу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты сможешь сойти за важного купца.

— Ещё того чище! — воскликнул я. — Да этак, пожалуй, мне придется вспомнить, что меня считают неплохим любителем-актёром!

— Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромого старика, ты, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, у меня нет второй белой чалмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан.

В эту минуту раздался лёгкий стук в дверь. Брат подошёл к двери, и я услышал его приятно удивлённое восклицание:

— Это вы, Махмуд! Войдите. Я как раз занят нарядом брата к вечеру. Хочу сотворить из него старого купца с седой бородой.

— А я принёс белую чалму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок от Наль в день её совершеннолетия, и он подал мне свёрток и футляр.

— А это вам от Наль, и он подал брату два свёртка и два футляра. — Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой. А левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Б. очень важный человек/ — говорил мне Али молодой. Он улыбался, алые прелестные губы обнажали чудные зубы, а фиолетовые его глаза пристально не по летам серьёзно — смотрели на меня.

Кивнув нам головой и приложив, по восточному обычаю, руку ко лбу и сердцу, Али так же бесшумно скрылся, как и вошёл.

Я развернул свой свёрток, и оттуда выпал кусок тончайшей белой материи. Любопытство моё было так возбуждено, что, даже не подобрав упавшего шёлка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось восклицание

восторга и удивления.

Прекрасной работы брошь с крупным выпуклым рубином и несколькими бриллиантами, перевитая змеей из тёмного золота и жемчуга, сверкала в полутёмной комнате, и я не мог оторвать от неё глаз.

Брат поднял оброненную мною материю и, рассматривая булавку вместе со мною, сказал:

— Али старший посылает тебе от имени племянницы белую чалму — эмблему силы; и красный рубин — эмблему любви. Этим он причисляет тебя к своим друзьям. — А что же тебе посылает он? — любопытствовал я. Брат развернул свёрток побольше, и в нём оказался тончайший белый халат из никогда невиданной мною материи, похожей на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаге. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал не читая в карман. Во втором свёртке была такая же чалма, как моя, только в самом её начале синим шёлком, арабскими буквами, была выткана во всю ширину чалмы — а она была чрезвычайно широка — какая-то фраза. Я мало обратил внимания и на записку и на арабскую фразу; мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата.

"Если мне он шлёт привет силы и любви, то что же он посылает Николушке?" — думал я.

Наконец, брат свернул осторожно свою чалму, спрятал её в ящик бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого овальной формы выпуклый изумруд сиял голубовато-зелёным светом.

В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе.

— Вот так совершеннолетие Наль! — почти закричал я. — Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж наверное половину своего виноградника, который так расхваливал мне купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. И зачем мужчинам эти брошки? Это чудесные украшения для женщин, но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты.

— Этими булавками мы заколем наши чалмы над самым лбом. Огромная честь получить такую булавку в подарок; и её далеко не всем оказывают на Востоке, — ответил брат. — Али живёт здесь лет десять; сам он родом откуда-то из глубин Гималаев, и все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме.

Время быстро летело. Сумерки уже сгущались, и вскоре должна была наступить мгновенно опускающаяся здесь ночь.

— Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать.

С этими словами брат выдвинул ящик бюро, и... я ещё раз обмер от удивления.

— Ну и ну, — сказал я. — Почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях?

Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков.

— Нельзя же всё написать, а ещё менее возможно всё рассказать в несколько дней, — усмехаясь, ответил брат.

Он посадил меня в кресло и, как заправский гримёр, приклеит мне бороду и усы, протерев предварительно всё лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освежившей моё горевшее от непривычного солнца лицо.

Коричневым карандашом он провёл под моими глазами два-три лёгких штриха. Какой-то жидкостью перламутрового цвета прикоснулся к моим густым тёмным бровям. Смазал каким-то кремом губы и сказал:

— А теперь чуть-чуть подравняю твои кудри, чтобы чёрные волосы не выбились из-под чалмы. Садись сюда. — И с этими словами он усадил меня на табурет.

Мне, признаться, жаль было моих выющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко стриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку. Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета. — Нет, нет, сиди, Левушка. Я сейчас обовью твою голову чалмой.

Я остался сидеть, брат развернул чалму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал, беспощадно стал скручивать её жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо замотал всю мою голову.

— Голова готова; теперь ноги. Надевай эти длинные чулки и туфли, — сказал он, достав мне из картона в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли.

Я всё это надел и встал на ноги; но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то припал на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку.

— Теперь ты именно тот немой, глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить, — засмеялся брат.

Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко; жидкость, которой было смазано моё лицо, — вначале такая приятная, — сейчас отвратительно стягивала кожу; ноге было неудобно и, вдобавок ко всему, я

ещё, оказывается, немой и глухой.

Со свойственным мне нетерпением я хотел раскричаться и заявить, что никуда не пойду; и уже приготовился сорвать бороду и чалму, как дверь беззвучно отворилась, и в ней появилась высоченная фигура Али старшего.

Два агатовых глаза положительно парализовали меня. Чалма так плотно прикрывала мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чём говорил он с братом.

На нём был надет почти чёрный, — так густ был синий цвет, — халат; а под ним сверкал другой, яркий малиновый, плотно прилегавший к телу. На голове белая чалма и большая бриллиантовая брошь, изображавшая павлина с распущенным хвостом...

Приветливо и ласково улыбаясь, он подошёл ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал её; и опять по всему моему телу пробежал ток теплоты и на этот раз не сонной лени, а какой-то радости.

Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев в обрамлении каких-то иероглифов. Наклонившись к самому моему уху, он сказал:

— Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы ни захотели пройти. И оно же поможет вам, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены и рана будет кровоточить.

Увлёкшись кольцом, я не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная, высокая фигура. Я даже не сразу понял, что в подаренном мною сегодня фиолетовом халате именно брат и стоит возле Али.

Я видел стройного восточного человека с сильно загорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой чалме которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Высок был мой брат. Но рядом с высоченным Али он казался среднего роста.

— Посмотри на себя в зеркало, Левушка. Я уверен, что себя ты не узнаешь ещё определеннее, — со смехом обратился ко мне брат, очевидно заметив моё полное недоумение.

Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромя в своей неудобной левой туфле.

— Вы отличный артист, — едва улыбнувшись, сказал Али. Но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался.

Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть-что не чёрного хромящего старика. Я оглянулся и вдруг услышал такой взрыв весёлого, раскатистого хохота Али и брата, что невольно обернулся и с удивлением посмотрел на них. Хохот их ещё усилился; между тем я случайно ещё раз взглянул в зеркало и снова увидел в нём смуглого араба-старика. С трудом

я осознал, что этот чёрный — я.

Я поднёс руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата, почему же я такой чёрный. Как это могло случиться? На мой вопрос он мне ответил:

— Это, Левушка, жидкость сделала своё дело. Но не тревожься. Завтра же ты будешь снова бел, ещё белее, чем всегда. Другая, такая же приятная жидкость смоет всю черноту с твоего лица.

— А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер вы хромы, немые и глухи, — сказал, смеясь, Али. С этими словами он поправил на мне чалму, нахлобучив ее так, что теперь я уж и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти с ним. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок, он кивнул мне, и мы вышли на улицу.

Глава 2. ПИР У АЛИ

На улице Али шёл впереди, я в середине и брат мой сзади. Моё состояние от удушливой жары, непривычной одежды, бороды, которую я всё трогал, проверяя, крепко ли она сидит на месте, неудобной левой туфли и тяжёлой палки стало каким-то отупелым. В голове было пусто, говорить совсем не хотелось, и я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я всё равно не понимаю, и теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую незнакомую жизнь.

Мы перешли улицу, миновали ворота, по обыкновению крепко запертые, завернули за угол и через железную калитку, которую открыл и закрыл сам Али, вошли в сад.

Я был поражен обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но не одуряющий аромат.

По довольно широкой аллее мы двинулись в глубину сада, теперь уже рядом, и подошли к освещенному дому. Окна были открыты настежь, и в большой длинной зале были расставлены небольшие, низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зала. Подле каждого столика стояло ещё по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных крест-накрест огромных подушек. На каждом пуфе — при желании — можно было усесться по-восточному, поджав под себя ноги.

Весь дом освещался электричеством, о котором тогда едва знали и в столицах. Али был яростным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей, довольно мощной, сети своих друзей.

Но даже самые близкие друзья не решались на такое новшество, только один мой брат да два доктора с радостью осветили свои дома электричеством.

Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али молодой, а за ним Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатым покрывалом.

Не виданный мною прежде затканный жемчугом и камнями женский головной убор, перевитые жемчугом же тёмные косы лежавшие на плечах и спускавшиеся почти до полу; улыбающиеся алые губы, быстро говорившие что-то Али... Я хотел сдвинуть чалму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне: "Вы глухи и немые, погладьте

бороду".

Я злился, но старался ничем не выказать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хотя бы не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, любуясь ею безо всякой помехи. Девушка не обращала на меня никакого внимания. Но не требовалось быть тонким физиогномистом, чтобы понять, как занято её внимание моим братом.

Теперь мы стояли на большой, со всех сторон обвитой незнакомой мне цветущей зеленью террасе. Яркая люстра светила как днём, так, что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден.

Девушка Среднего роста, тоненькая, гибкая! Крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала. Но мне казалось, что она старается таким образом скрыть своё замешательство. Её глаза, громадные, миндалевидные зелёные глаза, не похожи были на глаза земного существа. Можно было представить, что где-то, у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев, могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине не вязались ни эти глаза, ни их выражение.

Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе.

Я всё смотрел не отрываясь на лицо Наль. И не один я смотрел на это лицо, меняющее своё выражение подобно волне под напором ветра. Глаза всех трёх мужчин были устремлены на неё. И какое разное было их выражение!

Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность до обожания.

Я подумал, что умереть за неё, без колебаний, он готов каждую минуту. Оба были очень похожи. Тот же тонко вырезанный нос, чуть с горбинкой, тот же алый рот и продолговатый овал лица. Но Али — жгучий брюнет, и чувствовалось, что темперамент в нём тигра. Что мысль его может быть едкой, слово и рука ранящими.

А в лице Наль всё было так мягко и гармонично; всё дышало добротой и чистотой, и казалось, жизнь простого серого дня, с его унынием и скорбями не для неё. Она не может сказать горького слова; не может причинить боль; может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив её встретить.

Дядя смотрел на неё своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я никак не мог в нём предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне всё чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган

беспокойства и неуверенности в счастливой судьбе девушки. Последним я стал наблюдать брата.

Он тоже пристально смотрел на Наль. Брови его снова, — как под деревом, — были слиты в одну прямую линию; глаза от расширенных зрачков стали совсем тёмными. Весь он держался прямо. Казалось, все его чувства и мысли были натянуты, как тетива лука. Огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить произвольно вырваться ни одному слову, ни единому движению, точно панцирь укрывала его. И я почти физически ощущал железное кольцо этой воли.

Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в её представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг неё сидят мужчины. Она, точно ребёнок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно.

Несколько раз я уловил взгляд обожания, который она посылала брату; но это было опять-таки обожание ребёнка, в котором чистая любовь лишена малейших женских чувств.

Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделённых предрассудками воспитания, религии, обычаев...

Али старший взглянул на меня, и в его, таких добрых сейчас, глазах я увидел мудрость старца, точно он хотел мне сказать:

"Видишь, друг, как прекрасна жизнь! Как легко должны бы жить люди, любя друг друга; и как горестно разделяют их предрассудки. И во что выливается религия, зовя к Богу, а на деле разрывая скорбью, мукой и даже смертью жизни любящих людей".

В моём сердце раскрылось вдруг понимание свободы и независимости человека. Мне стало жаль, так глубоко жаль брата и Наль! Я увидел, как безнадёжна была бы их борьба за любовь! И оценил волю брата, не дававшего пробиться ни единому живому слову, но державшемуся в рамках почтительного рыцарского воспитания в своём разговоре с Наль.

Вначале такая детски весёлая, девушка становилась заметно грустней, и её глаза всё чаще смотрели на дядю с мольбой и недоумением.

Али старший взял её ручку в свою длинную, тонкую и что-то спросил, чего я расслышать не смог. Но из жеста девушки, каким она быстро вырвала свою руку, поднесла розы к зардевшемуся лицу, я понял, что вопрос был о цветке.

Али снова ей что-то сказала и девушка, вся пунцовая, сияя своими огромными зелёными глазами, поднесла одну из роз к губам и сердцу и протянула её моему брату.

— Возьми, — сказал Али так четко, что я всё расслышал. — В день совершеннолетия женщина нашей страны даёт цветок самому близкому и

дорогому другу. Брат взял цветок и пожал протянувшую его ручку. Али молодой вскочил, как тигр, со своего места. Из глаз его буквально посыпались искры. Казалось, что он тут же бросится на брата и задушит его.

Али старший только взглянул на него и провёл указательным пальцем сверху вниз, — и Али молодой сел со вздохом на прежнее место, словно вконец обессилев.

Девушка побледнела. Брови её сморщились, и всё лицо отразило душевную муку, почти физическую боль. Её глаза скорбно смотрели то в глаза дяди, то на опустившего голову двоюродного брата.

Али Мохаммед снова взял её руку, ласково погладил по голове, потом взял руку моего брата, соединил их вместе, и сказал:

— Сегодня тебе 16 лет. По восточным понятиям ты уже старушка. По европейским — ты дитя. По моим же понятиям ты уже человек и должна вступить в жизнь. Не бывать дикому сговору, который так глупо затеяла твоя тётка. Ты хорошо образованна. Ты поедешь в Париж, там будешь учиться, а когда окончишь медицинский факультет, поедешь со мной в Индию, в моё поместье. Там, доктором, ты будешь служить человечеству лучше, чем выйдя замуж за здешнего фанатика.

Мой и твой друг, капитан Т... не откажет нам в своей рыцарской помощи и поможет тебе бежать отсюда. Обменяйся с ним кольцами, как христиане меняются крестами.

Мне было странно, что, не разбирая ни одного слова девушки, я четко слышал каждое слово Али.

На мизинце брат носил кольцо нашей матери, которой я совсем не помнил. Старинное кольцо из золота и синей эмали с крупным алмазом, тонкой, изящной работы.

Ни мгновения не раздумывая, брат снял своё кольцо и надел его на средний палец правой руки Наль. Она же, в свою очередь, сняла с висевшей у пояса цепочки перстень-змею, в открытой пасти которой покоился мутный, бесцветный камень, и надела его на безымянный палец левой руки брата.

Не успел я подумать: "Какой безобразный! Такой же урод, как и держащая его в пасти толстая змея", — как вдруг едва не вскрикнул от изумления: камень, похожий на стекляшку, вдруг засверкал всеми цветами радуги. Никогда, ни один бриллиант самой чудесной воды и огранки не мог бросать таких длинных радужных лучей, сверкавших как луч солнца, преломленный в хрустальной пирамиде.

У Али молодого вырвался стон, почти крик. И снова взгляд дяди

заставил его успокоиться, снова он опустил голову на грудь.

— Это камень жизни, — сказал Али старший. — Он оживает, принимая в себя электричество из организма человека. Ты, друг Николай, сейчас в полном расцвете сил и сердце твоё чисто. Вот камень и сверкает ослепительно. Чем старше ты будешь становиться, тем тусклее будут лучи камня, если только мудрость и сила духа не придут к тебе на смену физических сил. Ты отдал моей племяннице самое дорогое, что имел, — любовь матери, закованную в это кольцо. Наль отдала тебе дар мудреца-прадеда, завещавшего ей передать кольцо тому, кого будет любить так сильно и верно, что и на смерть пойдёт за него.

Я нечаянно взглянул на молодого Махмуда. Не цветущий юноша сидел напротив меня. Сидело привидение с прозрачным мертвенным лицом, с тусклыми, ничего не видящими глазами. Я подумал, что он в обмороке и только держится в сидячем положении, случайно найдя устойчивую позу.

— Сегодня, — продолжал Али Мохаммед, — должна совершиться та великая перемена в твоей жизни, о которой я тебе говорил месяц назад, моя Наль, и к которой я готовил тебя более пяти лет. Капитан Т. отведёт тебя и двух твоих преданных слуг к себе домой. Али же пойдёт с тобой. Там ты найдёшь европейское платье для себя и слуг, переоденешься, отдашь свой халат и покрывало Али, и вместе с капитаном Т. вы все уедете на станцию железной дороги. Али же вернётся сюда. Доверься чести и любви капитана. Он отвезёт тебя в такой город и в такое место, где ты будешь в полной безопасности ждать меня или моего посла. Ни о чём не беспокойся. Храни только верность единственному закону, закону мира. Будь мужественна и жди меня без страха и волнений. Раньше или позже, — но я приеду. Повинуйся во всём капитану Т. и не бойся оставаться без него. Если он временно тебя покинет, — значит, так будет необходимо. Но он оставит тебя под охраной верных друзей, если бы случилась такая необходимость. А теперь выйдем в сад все вместе.

Мы вышли в сад. Али молодой подал мне руку, чтобы помочь сойти со ступенек террасы. Внезапно весь дом погрузился во тьму, где-то перегорели пробки.

Пользуясь полным мраком, брат, Наль, Али и ещё две фигуры тихо вышли из сада через калитку. Али старший что-то шепнул племяннику, и тот Согласно кивнул головой.

В темноте бегали какие-то фигуры, слуги зажгли кое-где свечи, отчего тьма показалась ещё гуще. Так прошло с четверть часа. Мне померещилось, что я снова увидел Наль в том же розовом халате, с опущенным на лицо покрывалом. Как будто даже Али Мохаммед обнял её

за плечи; но среди пёстрых впечатлений этого дня я уже не мог отдать себе ясный отчёт ни в чем и подумал, что мне просто привиделась та, красота которой точно врезалась в моё сознание.

Между тем свет вдруг ярко вспыхнул, ещё три раза мигнул и полился ровно.

— Настал час съезда, — четко сказал Али Мохаммед, и я опять его понимал. — Не забудьте — вы хромаете на левую ногу, вы глухи и немые. Вам будут много и почтительно кланяться. Не отвечайте никому на поклоны, только мулле едва кивнёте. Не ешьте ничего с общего стола. Кушайте только то, что вам будет подано с моего. К концу ужина настанет час выхода Наль. Она будет укутана в драгоценные покрывала. Всеобщее внимание будет приковано к условному похищению Наль женихом. К вам подойдёт мой друг и проведёт вас к задней калитке сада. Там будет стоять сторож. Вы ему покажете кольцо, что я вам дал, вас выпустят, и вы пройдёте другой дорогой к себе домой. Дома вы найдёте письмо брата. Вы снимете свою одежду, спрячете всё, как вам будет сказано в письме. Придется вам немало поработать, чтобы привести в порядок дом. Надо, чтобы денщик ничего особенного не обнаружил, когда станет убирать комнаты.

С этими словами Али оставил меня и пошёл навстречу группе гостей; им открыли калитку возле ворот, которой я раньше не заметил.

Высокая фигура хозяина выделялась на целую голову над пёстрой группой гостей. Некоторым он важно отвечал на поклон, и они проходили дальше. Другие задерживались подле, и он жал им по-европейски руки.

Гости всё подходили, и вскоре вся аллея и веранда были густо усеяны живописными фигурами. Говор, смех и напряжённое ожидание вкусного угощения, какие-то, очевидно весёлые рассказы — всё создавало приподнятое настроение.

Но, приглядываясь, я заметил, что гости держатся обособленными кучками. Те, что были одеты не совсем по-азиатски, держались особняком. А остальные всё поглядывали на муллу, как музыканты на дирижёра.

Я поневоле пристально присматривался ко всем, думая обнаружить, не загримированы ли чьи-либо лица подобно моему, искусственную бороду на котором я так важно поглаживал.

Время незаметно шло, гости входили теперь реже, где-то заиграла восточная музыка, и из дома вышло несколько слуг, приглашая гостей в зал.

В самой глубине зала, у дверей в соседнюю комнату стоял Али Мохаммед с ещё не виденным мною очень высоким человеком в белой одежде и такой же чалме. Золотистая борода, огромные тёмно-зелёные

прекрасные глаза, слегка загорелое лицо. Очень стройный, человек этот был молод, лет 28–30, и бросался в глаза своей незаурядной красотой. Ростом он был чуть ниже Али, но много шире в плечах, необычайно пропорционален, — настоящий средневековый рыцарь. Я невольно представил его себе в одеждах Лоэнгрина.

Хозяин приветствовал входивших в зал глубоким поклоном. Гости рассаживались на диваны и пуфы, соблюдая всё тот же порядок и держась отдельными кучками.

Прибывшие оставляли туфли или кожаные калоши у входа, где их подбирали слуги и ставили на полки. Среди гостей не было ни одной женщины.

Я стоял, наблюдая, как проходят и усаживаются гости, и не представлял, куда я могу сесть. Я уже хотел было скрыться в сад, как почувствовал на себе взгляд Али. Он сказал что-то мальчику-слуге, и тот быстро направился ко мне. Почтительно поклонившись, он пригласил меня следовать за собой и повёл к столу, находившемуся неподалёку от стола хозяина.

За этим столом уже сидело двое мужчин средних лет в цветных чалмах и пёстрых халатах. Они сидели по-европейски, обуты были в европейскую обувь, а сверх европейских костюмов имели только по одному шёлковому халату. Они почтительно поклонились мне глубоким восточным поклоном. Я же, помня наставление Али, даже не кивнул им, а просто сел на указанное мне место.

Только когда все гости расселись, заняли свои места Али и высокий красавец. Музыка заиграла ближе и громче, и одновременно слуги стали вносить дымящиеся блюда. Мальчики разносили фарфоровые китайские пиалы и серебряные ложки, подавая их каждому гостю.

Но не все гости накладывали жирный, дымящийся плов, в пиалы и ели его ложками. Большинство запускали руки прямо в общее блюдо и ели плов руками, что вызывало во мне чувство отвращения, близкое к тошноте. Хотелось убежать, хотя никогда прежде не виденная мною толпа представляла зрелище красок и нравов чрезвычайно интересное.

На наш стол тоже подали блюдо плова, но я не прикасался к нему, помня наставление Али и ожидая специального кушанья. И действительно, от его стола отделилась высокая фигура поразившего меня красавца, и он подал мне серебряную пиалу с небольшой золотой ложкой.

Очевидно, честь, оказанная мне, считалась по здешним обычаям очень высокой, потому что на мгновение в зале умолк говор и шум, и вслед за наставшей тишиной пронеслись удивлённые восклицания.

Гости, судя по жестам и мимике, спрашивали друг друга, кто я такой. Многие очень серьёзно поглядывали на меня, что-то говорили своим соседям, и те удовлетворённо кивали головой. Но в это мгновение внесли новые ароматные блюда, и всеобщее внимание отвлеклось от меня.

Я невольно встал перед державшим мою чашу красавцем. Он улыбнулся мне, поставил пиалу на стол и поклонился по-восточному. От его улыбки, от добрых его глаз, от какой-то чистоты, которой веяло от него, меня наполнила такая радость, как будто я увидел старого, верного друга. Я отдал ему глубокий восточный поклон.

Мои соседи по столу задавали мне какие-то вопросы, которых я не понял и не расслышал, а видел только их шевелящиеся губы и вопрошающие глаза. Меня выручил мальчик, сказавший им что-то, показывая на рот и уши. Сотрапезники мои покачали головами и, сострадательно поглядев на меня, принялись кушать с аппетитом свой плов, слава Богу, накладывая его ложками в пиалы. Я поглядел на содержимое моей серебряной пиалы и несказанно удивился. Там, по виду, был компот из фруктов, а у меня уже разыгрался аппетит, и я с удовольствием поел бы чего-нибудь более существенного.

Я разочарованно взглянул на Али Мохаммеда, он встретил мой взгляд, как бы зная заранее, что я буду разочарован.

В его руках была точно такая же пиала, как моя, он её приподнял, словно желая чокнуться со мной, и ласково улыбнулся. Чтобы не показаться невежливым и невоспитанным гостем, я взял и проглотил небольшой кусочек неизвестного мне плода, плавающего в соку, напоминавшем красное вино.

И в тот же миг улетучилось всё желание более основательной пищи. Чудесный вкус, аромат, вроде ананаса, и сок, бодрящий, прохлаждающий. Я ел с таким удовольствием, что даже перестал наблюдать за происходящим. А между тем, наблюдать было что.

Оба моих соседа сняли свои халаты и пиджаки и остались в одних шёлковых рубашках и широких чёрных поясах, заменявших жилеты. Влияние жары и на других более европеизированных гостей также ощущалось.

Правоверные же, обливаясь потом, стирая его рукавами с лоснящихся лиц, усердно ели, нередко пятная свои драгоценные халаты, но никто не снимал ничего из своей одежды. Жара и тяжёлые яства доводили гостей до изнеможения. Позы становились вольнее, голоса громче, затевались споры, очень напоминающие ссору.

Компот, поданный мне красавцем, обладал, очевидно, каким-то

волшебным свойством. Мне перестало быть жарко, уже не хотелось содрать с себя чалму, я был бодр и ощущал свежесть во всём теле. Мне казалось, что я могу легко пройти сейчас вёрст десять, словно бы не было вовсе утомления и волнений дня. Мысль моя обострилась, я стал внимательно наблюдать за всеми.

Полное спокойствие и самообладание, уверенность в самом себе и какая-то новая сила взрослого мужчины, которой я ещё ни разу не испытывал, появилась во мне и удивила. Я вспомнил брата, Наль и Али молодого. Почему-то у меня не было ни малейшего беспокойства за тех двоих, но Али молодого я стал беспокойно искать глазами по всему залу. Мне пришла на память фигура в розовом халате Наль, которую я заметил в темноте сада.

Я продолжал искать двоюродного брата Наль, но найти его не мог. Случайно мой взгляд встретился со взглядом хозяина, и я точно прочел в нём: "Храните самообладание и помните, когда вам уйти и что делать дома".

Волна какого-то беспокойства пробежала по мне, точно порыв ветра, заставляющий мигать пламя свечи, — и снова я вернулся к полному самообладанию.

Между тем блюда сменились много раз, уже были расставлены всюду горы фруктов и сладостей. Мои соседи ели сравнительно мало, зато дыни поглощали в несметном количестве, посыпая их перцем.

Снова отделилась от стола Али великолепная фигура золотоволосого красавца, и он подал мне чашу с какими-то другими фруктами, напоминавшими по внешнему виду зёрна риса в меду.

Нагнувшись, он незаметно сунул мне в руку записку, опять низко поклонился и отошёл. Я хотел отдать ему поклон, но не мог встать, мне не повиновались ноги. При свойственной мне смешливости, я расхохотался бы во всё горло, если бы не стягивала так сильно щёки борода. Я развернул записку, там было написано по-английски: "Сначала съешьте то, что я вам сейчас принёс. Не пытайтесь встать, пока не съедите этого кушанья. Вам непривычны наши пряные блюда, от них ноги — как от некоторых сортов вин — вам не повинуются. Но через некоторое время, после новой пищи, всё будет в порядке. Не забудьте, в конце пира вам надо уйти, я сам отведу вас к калитке. Когда подыметесь шум, встаньте и немедленно идите к столу хозяина, я вам подам руку, и мы сойдём в сад".

Я не хотел раздумывать над сотней таинственных и непонятных мне вещей. Но стать вновь хозяином своих ног я очень желал, а потому поторопился съесть содержимое чаши. Было очень похоже на маленькие

катышки сладкой каши в соусе из меда, вина, ванили и ещё каких-то ароматных вещей. Мои соседи уже давно перестали обращать на меня внимание. Они следили, казалось мне, с возрастающим беспокойством за усиливающимся шумом и возбуждением гостей.

Я попробовал теперь двинуть ногой, привстал, как бы поправляя халат, — ура! ноги мои тверды и гибки. Шум в зале стал напоминать воскресный гул базарной площади. Кое-где за столиками шли ожесточённые споры, гости размахивали руками и, со свойственной Востоку экспрессией, выкрикивали визгливыми голосами какие-то слова. Мне показалось, что я уловил «Наль» и «Аллах». Шум в зале всё усиливался. И тут я вспомнил, что мне пора вставать и двигаться к столу Али. Я хотел быстро подняться, но неловкость в левом башмаке сразу же заставила меня образумиться и войти в роль хромого. Я отдал должное уму и наблюдательности брата. Не будь этого неудобного башмака, толстой чалмы и склеивающей движение губ неуклюжей бороды, я бы уже сто раз забыл, что должен играть роль глухого, немого и хромого.

Взглянув на Али, я увидел, что мой красавец уже поднялся и двинулся навстречу.

С огромным трудом я вылез из-за стола, оставив свои пиалы и ложку. Заметив моё затруднение, золотоволосый великан в один миг очутился возле меня; а мальчик, подскочив с листом мягкой белой бумаги, в один миг завернул обе мои серебряные чаши и ложку и подал мне их, что-то лопоча с глубоким поклоном. Видя, что я удивлённо смотрю на него и не беру свёрток, он стал почтительно совать мне его в свободную от палки левую руку.

— Возьмите, — услышал я над собой голос. — Таков обычай. Возьмите скорее, чтобы никому не пришло в голову, что вы не знаете местных обычаев. Мальчик так усердно кланяется вам, потому что думает, что вы очень важная персона и недовольны столь малым подарком в день совершеннолетия. Пойдёмте, пора, — закончил он свою английскую фразу и поддержал меня под левую руку.

Я едва шёл, неудобный башмак так жал мне ногу, что я почти подпрыгивал и, пожалуй, без помощи красавца-гиганта не смог бы сойти с невысокой, но крутой лесенки в сад.

Едва мы сделали несколько шагов по аллее, как потух свет. В зале раздался рёв не то радости, не то озорства и негодования. Возле нас мелькнула чья-то тень и набросила на моего провожатого какое-то лёгкое плотное покрывало, которое задело и меня. Мой проводник схватил меня, как малого ребёнка, на руки и бросился в гущу сада. Добежав до калитки,

мы столкнулись со сторожем, которому я показал перстень, данный мне Али Мохаммедом, и он беспрекословно пропустил нас на улицу. Мой спутник сказал ему несколько слов, он почтительно поклонился и закрыл калитку.

Мы очутились на пустынной улице. Глаза попривыкли к темноте, из сада нёсся шум, но больше ничего не нарушало ночной тишины. Небо сияло звёздами. Мой спутник опустил меня на землю, снял неудобную туфлю. Наклоняясь ко мне, он стащил с меня и чалму и, пристально глядя мне в глаза, сказал:

— Не теряйте времени. Жизнь вашего брата, Наль и ваша зависит во многом от вас. Если вы в точности выполните всё, как указано в письме, что лежит на подушке вашего дивана, — всё будет хорошо. Забудьте теперь, что вы были хромы, глухи и немые; но помните всю жизнь, как вы играли роль старика на восточном пире. Будьте здоровы, завтра утром я вас навещу. А сегодня, что бы вы ни слышали, — ни в коем случае не покидайте дом и даже не выходите во двор.

Сказав мне всё это по-английски, он пожал мне руку и исчез во тьме.

Когда я отворял дверь нашего дома, то увидел, что свет в саду Али снова вспыхнул. "Значит, горит и у нас", — подумал я. Обнаружив небольшую полоску света из-под двери кабинета, я пошёл туда и поразился беспорядку, царившему там, при щепетильной аккуратности брата.

Очевидно, здесь несколько человек переодевались. Но я мало обратил внимания на внешний беспорядок. Все мои мысли были заняты судьбой брата. Притворив плотно дверь, я запер её на ключ, задёрнул на ней тяжёлую портьеру и поправил складки на полу, чтобы свет не проникал в щель.

"Прежде всего, — думал я, — надо прочесть письмо". Удостоверившись, что ставни на окнах закрыты, синие шторы спущены и плотные портьеры задёрнуты, я прошёл в свою комнату.

Здесь у самого дивана горела небольшая лампа. Окна тоже были укрыты плотно, и сильная жара становилась невыносимой. Мне хотелось раздеться, но мысль о письме точно заколдовала меня.

Я бросил палку, снял верхний халат, подошёл к дивану и на подушке увидел большой синий конверт, на котором рукой брата было написано: «Завещание».

Я схватил толстый конверт, осторожно его разорвал и оттуда вынул два письма и записку. Одно из них было длиннее и носило ту же надпись, сделанную рукой брата: «Левушке». На другом незнакомым мне круглым, полудетским, женским почерком было написано: "Другу, Л.Н.Т."

Я прежде всего развернул записку. Она была короткая, и я жадно её прочел. "Левушка, — писал мне брат, — некогда. Из большого письма ты узнаешь всё. Теперь же не медли. Сними грим с лица и рук жидкостью, что стоит у тебя на столе. Все костюмы, что брошены в комнате, а также всё с себя спрячь в тот шкаф в гардеробной, который я тебе показал сегодня. Туда же спрячь и флакон с жидкостью для грима. Когда закроешь плотно дверцы шкафа, нажми справа в 9-м цветке обоев, считая от пола, совсем незаметную кнопку. Сверху опустится обитая теми же обоями лёгкая стенка и закроет шкаф. Но осмотри внимательно всё, не забудь чего-либо из одежды".

Я мгновенно вспомнил, что провожавший меня покровитель снял с моей головы чалму и сдёрнул с левой ноги туфлю. Я очень беспокоился, не потерял ли их дорогой. Но, поглядев на свёрток с чашами, сунутый мне мальчиком, я рядом с ними увидел и уродливую туфлю и чалму. Очевидно, мой спутник дал мне всё это в руки, и я машинально держал всё вместе, а войдя в комнату, бросил на стол.

Я достал вату, смочил сначала руки, и они сразу стали снова белыми. Я подумал, что придется долго возиться с лицом из-за бороды; но ничуть не бывало. Похожая на молоко, приятно пахнущая жидкость сняла всю черноту с лица; борода сразу отстала, мне сделалось легко и даже не так жарко. Я сбросил ещё один халат, оставшуюся туфлю и чулки, надел лёгкие ночные туфли и пошёл убирать комнату брата.

В царившем, как мне показалось вначале, хаотическом беспорядке всё же была какая-то система. Все халаты были собраны в один узел; остальные принадлежности туалета тоже были связаны в узлы.

Оставалось всё унести в гардеробную. Я подумал о денщике, но вспомнил, что он обладал богатырским сном, что даже пушечная пальба и та не будила его, как говорил брат.

И действительно, едва я вышел в коридор, как могучий храп денщика заставил меня улыбнуться. Мои лёгкие шаги вряд ли могли нарушить его сон. Несколько раз мне пришлось пропутешествовать из кабинета с узлами в гардеробную. Наконец, я убрал всю обувь, оставались чалмы. Я узнал чалму брата по треугольнику с изумрудом. На туалетном столе лежал и футляр от него. Я хотел было отколоть его и спрятать в футляр, но решил выполнить дословно приказ записки, взял все чалмы, подобрал и футляры и отнёс всё в шкаф. Тут же снял я и всю свою одежду, собрал бороду, палку, чалму, свёрток с чашами и несносную туфлю и всё это бросил тоже в шкаф. Я ещё раз вернулся, внимательно осмотрел все комнаты, нашёл футляр от своей булавки для чалмы и снова снёс в шкаф.

Ещё и ещё раз я осматривал внимательно все закоулки в комнате брата и, наконец, решился нажать кнопку, которую отыскал не без труда в 9-м цветке обоев. Девярых цветков, считая снизу, было много и, наконец, на одном из них, отнюдь не самом близком к шкафу, мне удалось найти что-то похожее на кнопку. Сначала ничего не было заметно; я уже стал терять терпение и называть себя ослон, как лёгкий шелест заставил меня поднять глаза. Я едва не подпрыгнул от радости. Медленно ползла сверху стенка и через несколько минут, всё ускоряясь в движении, мягко опустилась на пол.

"Волшебство, да и только", — подумалось мне и, действительно, если бы я собственными руками не убрал всё в шкаф, а не мог бы предположить, что комната эта имела когда-нибудь другой вид.

Но раздумывать было некогда, всё виденное и пережитое мною за день слилось в такой сумбур, что я теперь даже неясно отдавал себе отчёт, где кончалась действительность и начинался мир моих фантазий.

Я потушил свет в гардеробной, в которой не было вовсе окон, запер двери и снова вернулся в кабинет. На полу валялось несколько бумаг, какие-то обрывки писем и газет. Всё это я тщательно собрал, как и куски грязной ваты в своей комнате, бросил в камин и сжёг.

Теперь я мог успокоиться, потушил свет и перешёл в свою «залу». Мне хотелось пить, но жажда прочесть письма была сильнее физической жажды. Я перечел ещё раз записку, убедился, что всё по ней выполнил, и сжёг её на спичке.

Мне послышался шум на улице, как будто глухо прокатилось несколько выстрелов, и снова всё смолкло.

Я лег и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражаюсь; и образ брата Николая вставал передо мною другим, нежели я привык его себе рисовать.

Много, много лет прошло с той ночи. Не только я уже старик, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега Налъ, но и вся жизнь вокруг меня изменилась; пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая всё стоит передо мной таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далёкую, незабвенную ночь. Вот оно, это письмо: "Левушка!

Письмо это ты прочтешь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом; и тебе придется проверить и выказать на деле твою верность и преданность брату-отцу, как ты любил называть меня в исключительные моменты жизни.

Теперь я обращаюсь к тебе как к брату-сыну. Собери всё своё мужество и выкажи честь и бесстрашие, которые я старался в тебе воспитать.

Моя жизнь раскололась надвое. Я — христианин, офицер русской армии — полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывает радостному концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которую может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска.

Как я встретил ту, кого люблю? Как познакомился?.. Всё узнаешь, если конец истории не будет печален; вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное, то, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье".

Дальше следовало, — через несколько пустых строчек, — более свежими чернилами и более нервным почерком, — продолжение:

"Ты уже знаешь Али Мохаммеда и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на пиру и... быть заподозренным в том, что ты выкрал Наль в тот час, когда её жених должен был, по здешнему обычаю, похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажут Али старший и его друг, — мы с Наль, может быть, уйдём от грозы и ужаса фанатического преследования...

Зайди к полковнику М. и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подвернувшейся оказией и буду поджидать его у знакомого лесника, как всегда. Если же не дождусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д. и привезём домой немало дичи; чтобы М. взял с собой лишнее ружье и побольше дробы. Сходи утром, часов в 8, передай всё точно и не опоздай.

Дальше во всём доверься Али Мохаммеду. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности. Но думай, хочешь ли добровольно, легко просто стать защитой, а может быть, и спасением мне и Наль.

Прощай. Мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. Во всех случаях будь мужествен, правдив и честен. Твой брат Н."

Я взглянул на часы. Было уже почти четыре часа утра. Снова мне послышался шум на улице, хлопанье точно пастушеских бичей показалось даже, будто в ворота стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой, потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег, завопили какие-то голоса, раздалось снова несколько выстрелов; начинались какие-то песни и сейчас же обрывались.

Мне казалось, что на улице происходит какой-то скандал; хотелось

выглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не навлечь подозрения на дом брата.

Сна не было ни в одном глазу, усталости также. Я зажёл снова лампу, перечитал ещё раз письмо брата, поцеловал его и взялся за другое.

"Друг и брат, — начиналось оно, — я только маленькая женщина. Ты меня не знаешь, и вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность.

Брат, Али Мохаммед, мой дядя, воспитавший меня, — лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым страшным человеком, фанатиком и другом муллы, я уверена, что мой дядя будет тебе всегда благодарен. И, в свою очередь, защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе.

Что я могу ещё сказать, брат и друг? Я прошу помощи и ничего не могу обещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты — брат, брат-сын того, кого я люблю. Да будет же тебе моя любовь любовью сестры-матери. Останусь ли жива, буду ли мертва, — я для тебя с этой минуты сестра-мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй; и пусть всегда останется в твоём сердце чудный образ твоего брата-отца, а также горячо любящей его и тебя Наль".

Снова послышался на улице шум; казалось, бежит множество ног возле самого дома и грохочут телеги. Я потушил огонь и стал вслушиваться.

Где-то, теперь подальше, прогремел опять выстрел; проехала, грохоча, ещё одна тяжёлая телега, — и снова всё смолкло. Я чиркнул спичкой и поглядел на часы. Было уже половина шестого, значит, на улице совсем светло; но я всё же не решился открыть окна.

Я зажёл лампу в комнате брата, взял конверты и письма, ещё раз их перечел, бросил в камин и поджёл.

Как странно горели письма! Вдруг, вспыхнув, почти погасли, отделилось и свернулось письмо брата, и я ясно прочел слова: «брат-отец». Затем снова всё ярко вспыхнуло, а на письме Наль, точно на белом пятне в кругу огня, появились круглые буквы: «Наль».

Ещё раз всё вспыхнуло, превратилось в красные лохмотья и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности.

Долго ли я сидел перед камином, — не знаю. За весь истекший день я не мог отдать себе отчёт во всём происходившем; а эта ночь, какая-то сказочная, фантастическая ночь, расстроила мои нервы окончательно.

Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я ещё в жизни не испытывал. «Брат-отец» — всё мысленно, на

тысячу ладов шептал я, и слёзы катились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил всё, что имел лучшего в жизни; что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь брошенного, никому не нужного существа. Ни на минуту в сердце моём не было страха. Отдать жизнь за брата казалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его? В чём может выразиться моя, такого неумелого и неопытного, помощь ему? Этого я себе не представлял.

Время шло; я всё сидел без мыслей, без решений, с одною болью в сердце и не мог унять льющихся слёз. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы, — было без четверти семь. «Пора», — подумал я.

У меня оставалось времени только чтобы одеться и идти к полковнику с поручением брата. Я перешёл в свою комнату, отдёрнул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице всё было тихо.

Я прошёл в умывальную комнату, по дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я велел ему не спешить с самоваром, так как брат вечером уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника М.

Очевидно, внезапные отъезды на охоту были в привычках брата, ибо денщик мой ничуть не удивился. Он предложил мне, что сбегает сам к полковнику, но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шел быстро, было жарко. День был праздничный, и, проходя мимо базара, я шёл среди оживлённой, густой толпы. Я старался ни о чём не думать, кроме ближайшей задачи: оповестить М., и даже страсть к наблюдениям заснула во мне.

— Здравствуйте, — вдруг услышал я за собою. — Вот как! Вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал. Очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить? — передо мной, весело улыбаясь, стоял полковник М.

— Да я к вам спешу, — обрадовался я. — Брат просил передать, что он не дождался вас и с подвернувшейся оказией уехал вперёд на охоту.

И я подробно передал всё порученное мне в записке насчёт встречи, ружья и дробы.

— Вот хорошо-то! — весело воскликнул полковник. — А ко мне приехал племянник, страстный охотник; и просит, молит взять его с собой. Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом. А теперь я могу его взять. Только выеду не сегодня, а завтра на рассвете.

Разговаривая, мы пересекли базарную площадь, в конце её, у развалин

старой мечети, собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько жёлтых халатов и остроконечных шапок с лисьими хвостами монашеского ордена дервишей.

— Да, должно быть здорово обозлены эти жёлтые на Али Мохаммеда, — сказал полковник.

— Почему? — спросил я. — Что им сделал Али Мохаммед? — Да разве вы не слышали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти жёлтые дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слышали? — продолжал спрашивать полковник.

Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал:

— Что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас; а брат мой уехал вчера вечером.

На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Мохаммеда должно было состояться похищение невесты, его племянницы. Что это — часть обряда, заранее обусловленная; что едет жених похищать невесту с толпой своих товарищей, с пальбой из ружей и прочей инсценировкой дерзкого похищения; а на самом деле невесту они находят в определённом месте, выведенную старухами, хватают её и мчат во весь опор в дом жениха на хороших конях, стреляя в воздух.

Мне вспомнились выстрелы и шум телег ночью; и я недоумевал, чем же это разрешилось, кого же увезли вместо Наль. Видя, что я молчу, полковник счёл, что его рассказ меня не занимает.

— Конечно, вам, столичному человеку, не интересны наши дела. Но живя здесь, видя тьму, в которой обретаются люди, зажатые муллой, поневоле сострадаешь этому чудесному мягкому народу и горячо к сердцу принимаешь борьбу такого чудесного человека, как Али Мохаммед, с религиозным фанатизмом. Это истинный слуга народа.

Я поспешил заверить полковника, что более чем интересуюсь его рассказом; и что рассеянность моя относится к необычной для меня внешней красочности жизни, которой я никогда раньше не видел.

— Да, так вот я и говорю, что они подстроили — вот эти, — кивнул он головой на жёлтые халаты монахов, — самую пакостную историю бедному Али. Они похитили его племянницу, упрятали её куда-то, а его обвиняют, что он устроил побег с помощью какого-то важного хромого старика купца, которого здесь никто не знает. Словом, факт тот, что ночью с пира жених и его друзья похитили Наль: а когда примчались домой, то в повозке нашли розовый халат, драгоценное покрывало да пару крошечных туфель невесты, а самой невесты и след простыл. Оскандаленный жених

примчался к Али. Весь дом спал уже глубоким сном. Еле добудились Али, послали на женскую половину за старухами. Когда старухам сказали, что невеста сбежала, тётка Наль чуть глаза не выцарапала жениху. Пришлось самому Али унимать старую ведьму. Но, разумеется, они девушку упрятали в надёжное место, чтобы оскорбить Али и объявить против него религиозный поход. Это очень хорошо, что ваш брат вчера вечером уехал. Все, кто был в добрых отношениях с Али, могут оказаться в опасности, так как религиозный поход — это благовидный предлог для убийства неугодных почему-либо и сведения личных счетов.

Я молча шёл рядом с полковником, погруженный в невесёлые думы о брате и Наль, об обоих Али и обо всех грозящих им бедах.

Только теперь я сообразил, как велика опасность. Не раз вспоминал я смертельную бледность молодого Али, его муки ревности и подавленное бешенство. Чью сторону примет юноша? Не видел ли кто, куда подевался хромой старик с пира?

Мы подходили к дому полковника, он звал меня радушно к себе, но я отговорился

Глава 3. ЛОРД БЕНЕДИКТ И ПОЕЗДКА НА ДАЧУ АЛИ

Я ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днём. Когда я подходил к дому, то увидел денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь у калитки сада.

Мне всё казалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни и торговца и молча прошёл в сад.

Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принёс самовар, хлеб, масло, сыр и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать.

— Налей-ка чаю, — сказал я ему, — дыни ты, кажется, купил хорошие.

— Так точно, — ответил он. — Изволили слышать? У нашего соседа скандал приключился. Ночью стекла побили... драка была и стрельба.

— Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слышал, — возразил я ему.

— Так точно, я не слышал сам. Вот торговец мне сказал, да всё спрашивал, где мой барин, был ли ночью дома? Я сказал, на охоту уехавши ещё с вечера. И он всё допытывал, когда, мол, уехал, да куда. Я сказал, часов в пять уехал, как всегда к Ибрагиму.

В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошёл в дом, а открыл калитку сада, рядом с дверью. Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер. Калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя.

— Простите, я постучал довольно сильно, и, вероятно, встревожил этим вас. Но на два звонка мне никто не открыл. Я и решился прибегнуть к стуку, — сказал он на довольно чистом русском языке.

При ярком свете утра красота моего гостя ещё больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие миндалевидные, совершенно изумрудно-зелёные глаза, — всё, при сияющем солнце, было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной и вместе с тем молодой мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил:

— Моё утро давно уже миновало. Мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал; но если позволите, с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычай моей родной страны учит, что только в доме врага не едят, а я ваш преданный друг.

— Вот как, — воскликнул я. — До сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье.

— Я и есть итальянец, и родина моя Флоренция. Вы не думайте, что все итальянцы смуглые брюнеты. В Венеции женщины даже полагали неприличным иметь чёрные волосы и красили их в золотистый цвет, что заставляло их немало трудиться, — говорил он, смеясь. — Но мои волосы не поддельные, мне не приходится волноваться.

— Да, — сказал я, — вы так дивно сложены, что рост ваш поражает только тогда, когда видишь рядом с вами нормального человека, который сразу кажется малышом, — сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. — Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз. В глаза Али Мохаммеда я не в силах смотреть; они меня точно прожигают. Вы же не подавляете, но привлекаете к себе, словно магнит. Я хотел бы век быть подле вас и трудиться с вами в каком-то общем деле, — вырвалось у меня восторженно, по-детски.

Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки.

Только сейчас я увидел, вернее сообразил, что мой гость одет не по-восточному, как ночью, а в обычный европейский костюм песочного цвета из материи вроде чесучи. Должно быть, моя физиономия отразила моё изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо:

— И вида никому не показывайте, что вы меня видели в иной одежде. Ведь и вы сами были в чалме со змеей, хромы, глухи и немые. Разве я не мог, так же как и вы, переодеться для пира?

Я расхохотался. Хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но... видев его однажды в чалме и одежде Востока, я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец. Точно угадывая мои мысли, он снова сказал: — Уверяю вас, что я флорентиец. Хотя и очень, очень долго жил на Востоке.

Я снова расхохотался. Желание гостя подурочить меня было так явно! Эта цветущая красота, — ему не могло быть больше двадцати шести-семи лет.

— Скольких же лет вы уехали из Флоренции, если так давно, давно живёте на Востоке? — сказал я. — Ведь вы не многим старше меня. Хотя

весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, невзирая на вашу молодость. Вчера вы мне показались гораздо старше, а европейский костюм и причёска выдали вас с головой.

— Да, — многозначительно ответил он, глядя на меня с юмором. — Ваш европейский костюм и причёска тоже окончательно выдали вашу молодость.

Я закатился таким смехом, что даже пёс залаял. А гость мой, кончив есть дыню, обмыл руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли к брату.

Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал:

— Это нехорошо, отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки исписанной бумаги.

Я взял со стола старую газету, подсунул её под оставшиеся в камине клочки бумаги и снова поджёг.

— Я вижу, вы всё тщательно убрали, — продолжал он, осматриваясь по сторонам. — Кстати, откололи ли вы броши с чалмы своей и брата?

— Нет, — сказал я. — В письме брата ничего не было сказано об этом. Я их вместе с чалмами и запер в шкафу. Вернее, похоронил, так как теперь уже не сумею поднять стену, — улыбнулся я.

— Этому делу помочь просто, — возразил мой гость.

Тут вошёл денщик и спросил разрешения пойти на базар. Я дал ему денег и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушёл, закрыв за собой дверь чёрного хода, мы прошли с гостем в гардеробную брата.

— Вы и дверь не закрыли на ключ? — сказал он мне. — А если бы ваш денщик любопытствовал заглянуть в гардеробную?

Он покачал головой, а я ещё раз понял, насколько же я рассеянный.

Я зажёл свет, гость мой наклонился и указал на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвёртом цветке такую же, еле заметную кнопочку. Нажав её, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании.

Как и в тот раз, лишь через несколько минут послышался лёгкий шорох, между полом и стенкой образовалась щель. Движение стенки всё ускорялось, и наконец она вся ушла в потолок.

Я отпер дверцы шкафа и достал чалмы, непочтительно валявшиеся на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашёл футляры, уложил в них броши и спрятал футляры в свой карман. Потом вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже

положил его в карман.

— А в туалетном столе вашего брата вы не разбирали вещи? — спросил он меня.

— Нет, — отвечал я. — Я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано.

— Давайте-ка посмотрим, нет пиитам чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату или вам впоследствии.

Разговаривая, мы вернулись в комнату. Мысли вихрем носились в моей голове, — почему надо искать ценности? Почему может что-то пригодиться «впоследствии»? Разве брат мой не вернётся сюда? И что же будет со мною, если он не вернётся? Все эти вопросы точно горели в моём мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить.

Мне было чудно, что человек, вместе со мной роющийся в ящиках, мне совершенно чужой; а всё же полная уверенность в его чести и доброжелательности, сознание, что он делает именно то, что нужно, и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту.

Из ящичков гость вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек он нашёл плоский серебряный футляр с эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными камнями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке.

— Ваш брат позабыл второпях эту чудесную вещь, которую он получил в подарок и которой очень дорожит. Возьмите её, и если жизнь будет милостива ко всем нам, — когда-нибудь вы передадите её брату, — проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком.

При этом он нежно, ласково коснулся обеими руками моих рук. И такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в моё взбудораженное воображение и взволнованное сердце пролилось спокойствие. Я почувствовал уверенность, что всё будет хорошо, что я не один, у меня есть друг.

Мог ли я тогда думать, сколько страданий мне придется пережить? Сколько несчастий свалится на мою бедную голову! И каким созревшим и закалённым человеком стану я через три года, пока не увижу брата, и в жизни его и моей действительно всё наладится.

Я спрятал в боковой карман заветный футляр, но потом, рассмотрев его ближе, понял, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ.

Захватив ещё кое-что, что казалось необходимым моему гостю, мы заперли ящики, отнесли всё в гардеробную, плотно задвинули створки

шкафа; и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ и вышли снова в сад.

Здесь гость мой сказал, чтобы я рекомендовал его всем, кто бы нас ни встретил, как своего петербургского друга и то же сообщил о нём денщику.

Затем он передал мне приглашение Али провести сегодня день в его загородном доме, куда он уехал с племянником рано утром. Он ни словом не обмолвился о происшествиях ночи, а я не мог побороть какой-то застенчивости и не спрашивал ни о чём.

Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы ждали в саду денщика, и обаяние моего гостя всё сильнее привязывало меня к нему. Тоска в сердце и мучительные мысли о брате как-то становились тише подле него. Спустя часа полтора вернулся денщик. Я сказал ему, что поеду за город с моим петербургским товарищем. А сам товарищ прибавил, что, быть может, мы не вернёмся раньше завтрашнего утра, пусть он не тревожится о нас. Денщик плутовато усмехнулся и ответил своё всегдашнее: "Так точно".

Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей в зелени и пыли улице и свернули в тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шел за моим новым другом, и вдруг мне показалось странным, что я знаком с этим человеком чуть ли не целые сутки, так много пережил интимного с ним и подле него — и даже не знаю, как его зовут.

— Послушайте, друг, — сказал я. — Вы велели рекомендовать вас всем как моего близкого петербургского друга. А я не знаю даже, как мне самому вас звать, не то что называть кому-то.

Он улыбнулся, взял меня под руку, — но я думаю, ему было бы удобнее положить мне руку на плечо, так я казался мал рядом с ним, — и тихо сказал мне по-английски:

— Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я и в самом деле английский лорд. А так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую.

Он вставил в левый глаз монокль, поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое, — и я прыснул со смеху, до того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное, умное лицо вдруг поглупело.

— Ну, вот видите, как весело, — процедил он сквозь зубы, — я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы хромого дедушку. Представляйте меня лордом Бенедиктом, а сами зовите меня

Флорентийцем, как зовут меня свои.

Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брата. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту; я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином, лордом Бенедиктом. Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. На обращенные к нему вопросы мямлил сквозь зубы по-английски: "Не понимаю", несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил таращивших глаза армейцев, никогда не выдававших живого лорда с моноклем и, наконец, быстро проговорил, что лошади нас ждут и я должен сказать им, что еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину.

Мы простились, я ещё сдерживал душивший меня смех, но когда услышал пущенное возмущённым тоном вдогонку: "Ну и английская харя", — я уже не смог сдержаться, залился вовсю, и мне вторили два раскатистых баса.

Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повёл, — отчего мне было ещё смешнее.

У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке. Две поджарые, истинно английские лошади нервничали, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета, с английским кнутом в руке, точь-в-точь как на картинках модных журналов.

Я поглядел удивлённо на моего лорда, он элегантно чуть-чуть поклонился мне и предложил первому занять место в коляске.

Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались.

Довольно скоро мы выехали за город. Я ещё не видел окрестностей. По обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны дынь и арбузов. Непрерывно ехали нам навстречу на ослах люди всех возрастов в чалмах. Нередко на одном осле устраивались сразу двое. Встречались и женщины, укутанные в чёрные сетки и покрывала, тоже иногда сидевшие по двое на одном осле.

Всё тонуло в пыли; всё было залито солнцем и зноем, и казалось, конца не будет этому обильному плодородию, мимо которого мы катили.

Так ехали мы около часа. Наконец мы свернули налево и, проехав ещё немного, очутились в степи.

Картина сразу резко изменилась. Точно мы попали в другое царство. Всё буйство природы, вся зелень остались позади; а впереди, — сколько

мог охватить глаз, — тянулась пустынная степь с выжженной травой.

Меня укачали ритмичный бег лошадей, мягкое покачивание эластичных рессор и мельканье нагретого воздуха, и я незаметно для себя задремал.

— Мы скоро приедем, — сказал мне мой спутник по-русски. Я вострепнулся, посмотрел на него и... обмер. Передо мной сидел в чалме и белой одежде мой ночной покровитель.

— Когда же вы успели переодеться? — почти в раздражении вскричал я.

Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку, и я увидел ящик, в котором лежали халат и тюрбан, в виде уже намотанной чалмы.

— Я оделся, как требует долг восточной вежливости, — сказал мой спутник. — Ведь если мы приедем в европейском платье — Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это халат вашего брата.

— Мне не только был бы несносен восточный подарок, но и вообще я потерял, думаю навсегда, вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи, — не совсем мягко и вежливо ответил я.

— Бедный мальчик, — сказал Флорентиец и ласково погладил меня по плечу. — Но, видишь ли, друг Левушка, иногда человеку суждено созреть сразу. Мужайся. Вглядишься в своё сердце, чей живёт там портрет? Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну.

Слова его задели самую глубокую из моих ран, привязанностей и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слёз, я точно захлебнулся своим горем.

"Я ведь решил быть помощником брату, — подумал я, — зачем же я думаю о себе. Пойду до конца. Начал маскарад — и продолжать надо. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его".

Я проглотил слёзы, вынул тюрбан, надел его на голову и облачился в пёстрый халат поверх своего студенческого платья.

Вдали был виден уже дом, сад, и начинался по обе стороны дороги виноградник. Гроздьё винограда зрели и наливались соком, краснея и желтея на солнце.

— Теперь недолго страдать и мучиться в догадках, — сказал Флорентиец. — Али всё расскажет тебе, друг, и ты поймёшь всю серьёзность и опасность создавшегося положения.

Я молча кивнул головой, мне казалось, я достаточно уже всё понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то лёгкую и радостную страницу своей жизни и вступил в новую

полосу грозы и бед.

Мы въехали в ворота, к дому вела длинная аллея гигантских тополей. Как только экипаж остановился и мы оказались в довольно большой передней, к нам быстрой, лёгкой походкой вышел Али Мохаммед. В белой чалме, в тонкой льняной одежде, застёгнутой у горла и падавшей широкими складками до пола, он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смуглое лицо улыбалось, жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шёл, издали протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством, я бросился к нему, как будто бы мне было не двадцать, а десять лет.

Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком, скрывать свои чувства. Все условные границы были стёрты между нами. Моё сердце прильнуло к его сердцу, и я всем своим существом почувствовал, что нахожусь в доме друга, что отныне у меня есть ещё один друг и родной дом. Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал: — Пусть мой дом принесёт тебе мир и помощь. Войди в него не как гость, а как сын, брат и друг.

С этими словами он поцеловал меня в лоб, ещё раз обнял и повернул меня к Али молодому, стоявшему сзади.

Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо. Мог ли я ждать чего-либо, кроме ненависти, от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу?

Но Али молодой, так же как и его дядя, приветливо протянул мне обе руки. Глаза его смотрели прямо и честно мне в глаза; и ничего, кроме доброжелательства, я в них не прочел.

— Пойдём, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты найдёшь душ, свежее бельё и платье. Если пожелаешь, переоденься, но прости, европейского платья у нас здесь нет. Я приготовил тебе наше лёгкое индусское платье. Если ты пожелаешь остаться в своём, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться.

С этими словами он повёл меня по довольно большому дому и ввёл в прелестную комнату, окнами в сад, под которыми росло много цветов.

— Через двадцать минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой. А за этой дверью ванная комната, — прибавил он.

Он ушёл, я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился, открыл дверь в ванную и, увидев, что ванна полна тёплой воды, с восторгом стал в ней плескаться. Наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я ещё вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принёсший мне какое-

то прохладительное питье. Я выпил его залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне, так была велика моя жажда, которой я не замечал, пока не начал пить.

Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, что-то бормоча, закивал утвердительно головой и побежал к шкафу, вытащил оттуда бельё и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своём платье, но у слуги был такой радостный вид, он был так счастлив, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал:

— Да, да, ты угадал.

Он ответил на мой смех ещё более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить.

— Да, да, ты угадал.

Речь его была так смешна, я мальчишески залился хохотом и вдруг услышал звук гонга.

— Батюшки, — закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать, — да ведь я опоздаю.

Но мой слуга понял всё отлично. Он быстро подал мне короткие белого шёлка трусы, длинную рубашку, белый шёлковый нижний халат и ещё одну белую одежду, лёгкую льняную, вроде той, в какую был одет Али Мохаммед.

Не успел я залезть во всё это, как раздался стук в дверь и на мой ответ «войдите» появился Али молодой.

— Ты уже готов, брат, — сказал он, — Я принёс тебе чалму; подумал, что ведь твоя остриженная голова сгорит без неё. — Да я не сумею её надеть, — ответил я. — Ну, это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан. И действительно, гораздо ловчее, чем это делал брат, он обернул мне голову чалмой. Мне было удобно и легко. На голые йоги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Махмудом обедать.

Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и Флорентиец. Я извинился за своё опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал:

— У нас нет строгого этикета, когда мы живём на дачах. Если бы тебе вздумалось и совсем не выйти к какой-нибудь трапезе, чувствуй себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и веселее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнёшь и

наберёшься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе, — возьми в моём доме всю любовь и помощь и помни обо мне, как о преданном тебе навеки друге.

Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на Флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой юной цветущей красоте, где, казалось, не было ни одной складки страдания или беспокойства, но было разлито полное счастье жизни.

Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом, рассмеялись и оба Али.

Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское, но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было.

Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную, с превкусными гренками; отдал дань и чудесным фруктам. Я так был занят едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников.

Подали в чашах прохладительное питье; но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на пиру Флорентиец. Обед кончился, как и начался, без особых разговоров. Старшие говорили тихо на незнакомом мне языке, Али же молодой объяснял мне названия и свойства цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе посреди стола. Многих цветов я совсем не знал, некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяди редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами.

Хотя я и насыщал свой аппетит, всё же заметил, что Али молодой ел мало и, казалось, только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом, но всё же отведал все подававшиеся блюда. Но сколько я ни смотрел на Али старшего, я ничего, кроме фруктов, мёда и чего-то похожего на молоко, в его руках не видел.

Незаметно обед кончился. С самого начала меня несказанно удивила перемена, происшедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне ещё более разительной. Его нетронутой безмятежной юности как не бывало. Он, должно быть, пережил такое глубокое страдание, что вся его психика словно сделала скачок в другой мир. И я невольно сравнил наши судьбы и подумал, что ведь и я перешёл черту безмятежного детства и занавес над ним опустился. Начиналась другая жизнь...

Всё время, с того самого момента, как Али Мохаммед обнял меня, я

хотел спросить его о брате, — и всё вопрос застывал на моих устах, я не мог решиться задать его. Теперь снова острая тоска по брату резанула меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою в своей руке, сказал:

— Не хочешь ли, друг, пройтись со мной к озеру. Оно недалеко, в конце парка.

Я обрадовался возможности поговорить наконец с Али Мохаммедом, и мы двинулись в глубь сада. Мы с Али старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой шаги Флорентийца и молодого Али. Но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила никем, кроме птиц и цикад, не нарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но деревья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли моё внимание чернолистые клёны и розовые магнолии. Дивные большие цветы, бледно-розового цвета, покрывали магнолии так густо, что они казались гигантскими розовыми яйцами. Аромат был силён, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми лёгкими душистый воздух и, забыв все раздражающие меня мысли, воскликнул: — О, как прекрасна, как дивно прекрасна жизнь! — Да, мой мальчик, — тихо сказал Али. — Обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев. Чёрные клёны и розовые магнолии, — и всё вместе, будучи таким ярким контрастом, живёт в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии вселенной. Вся жизнь — ряд чёрных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чьё ожерелье жизни было бы соткано из одних только розовых жемчужин. Ты уже не мальчик. Настала минута выявить и тебе твою честь, мужество, верность.

Мы двинулись дальше; вдаль сверкнуло озеро; мы ещё раз свернули в аллею мощных кедров и подошли к беседке, устроенной из плакучего вяза. В ней было тенисто, с озера веяло прохладой.

Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась здесь. Но слова Али подняли во мне бурю. Мысли мои кипели; я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но никак не мог привести себя в равновесие.

— Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрек их на муки и угрозу смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить стену фанатизма, пробить тропинку хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ, отдельно для мальчиков и мужчин и для девочек и

женщин, где бы они могли учиться грамоте на своём и русском языках и начаткам, самым элементарным, физики, математики, истории. Все мои начинания встречались и встречаются в штыки; и не только муллами, но и царским правительством. С обеих сторон я слышу революционером, неблагонадёжным человеком. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял, в какое положение попал; и отдал себе точный отчёт в своих дальнейших действиях и поступках. Я наперёд тебя предупреждаю: на тебе не висят никакие обязательства, ты совершенно свободен в своём выборе и поведении. И что бы ты ни услышал от меня, — ты сам, добровольно, выберешь свой путь. Сам нанижешь в ожерелье матери жизни ту жемчужину, цвет и величину которой создашь своим трудом и самоотверженной любовью. Если ты захочешь устранишься от борьбы за брата и Наль, — тебя твой "лорд Бенедикт", — чуть улыбнулся Али, — отвезёт в Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности. Если же верность твоя последует за верностью твоего брата, — ты сам определишь ту помощь и роль, которые пожелаешь принять. Наль воспитана мною. Только внешняя форма — на восточный манер — соблюдалась, и то весьма не строго. Наль хорошо образованна; и её блестящие способности помогли ей узнать гораздо больше, чем знает любой окончивший европейский университет человек.

Пять лет назад я уговорил твоего брата заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками, так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с нею. Отсюда и происхождение тех восточных халатов, бород и усов, что вы схоронили сегодня с Флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая дуэнья, старая мать Али Махмуда, когда-то спасённая мною от разорения и Гибели, оказалась злой и неблагодарной. Только переодеваясь в другие халаты, мог твой брат проникать как учитель в разных гримах в рабочую комнату Наль. И старая, подслеповатая женщина была уверена, что впускает всё разных учителей. Охраняя Наль во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла иногда Наль громко смеяться, но это не будило глухую дуэнью.

Я представил себе два прекрасных молодых существа, которые учатся под охраной полуслепого, полуглухого стража, вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль: "Вы хромы, глухи и немые", — и закатился своим мальчишеским смехом. Али погладил меня по плечу и продолжал: — Время шло. Я понял давно, какое чувство возникло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и мудрости твоего брата, он и без того был на высоте их. Я не мешал этому чувству, так как всё равно не видел для Наль иного выхода, нежели побег из этого гнетущего места, и

готовился к нему заранее. Старая дурища испортила весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с муллой и дервишами. Довела дело до сговора несчастной Наль с самым отчаянным и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь — меня ждет объявление религиозного похода, ведь я не давал согласия на брак и покровительствовал христианам. Не буду утруждать тебя подробностями, — ты сам видел, что избежать сговора не удалось. В тот миг, когда тебя вывел Флорентиец из сада, на женской половине тоже шёл пир. Там всё было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али, мой племянник, пробравшийся в темноте в костюме Наль на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением.

Темнота немного дольше длилась на женской половине. Всё совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад и там, переданная из рук в руки, «похищена» женихом. С выстрелами, шумом и гамом, как полагается по обряду для знатного купеческого дома, было выполнено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все товарищи с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Али сбросил с себя халат, драгоценные покрывала и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, сам же выпрыгнул бесшумно из телеги, — на что он большой мастер, — и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего уже уснувшего дома, где мы его поджидали у калитки вместе с Флорентийцем. Немало выстрадал Али. Ты не мог не заметить перемены, происшедшей в нём за одну ночь. Он обожал с детства сестрёнку, часто учился вместе с ней у твоего брата. Наль — его второе «я»; и, пожалуй, это второе «я» ему дороже собственной жизни. Буря ревности, тяжёлый плащ предрассудков, мечты об особенной судьбе для Наль и себя, — всё это окутывало Али и должно было или сгореть в нём или похоронить его под собою. Он никак не ожидал, что первым другом и покровителем в жизни Наль будет не он. Не верил, что я стану на сторону твоего брата и благословлю эту любовь, — чистой и прекрасной он признавал её всегда. Уступить Наль другому мужчине, да ещё европейцу, было для него непереносимо. Дозволить ей уйти в опасный путь без себя, — всё это сначала разбило его.

Его спасла беспредельная верность мне, верность и любовь ребёнка, потом юноши, от которого у меня не было тайн. Его истинная поглощающая любовь к Наль, заставившая забыть о себе и думать о ней, — спасла не одну, а три жизни, которые были бы прерваны его рукой, если бы верность не победила всё. В эту ночь он добровольно выбрал тропу жизни

и надел на нить своего ожерелья чёрную, как листья чёрного клёна, жемчужину отречения, чтобы помочь жить женщине, так похожей на розовую магнолию... Я уже сказал, не сегодня — завтра объявят религиозный поход против меня. Что это означает, я лучше не буду тебе объяснять. Когда, доехав до дома жениха, увидели, что в повозке лежит только одна одежда Наль, — мгновенно известили муллу и дервишей и, посоветовавшись с ними, вернулись в мой спавший дом целой толпой с омерзительными криками, оскорблениями и угрозами. Я молча стоял среди этой разъярённой толпы. И наконец, воспользовавшись минутой относительного затишья, велел слугам вызвать старух, которые должны были вывести Наль в сад в условленное место, к жениху. Толпа ждала. Казалось, всё вокруг наполнено электрическими токами бешенства. Шли минуты, походившие на часы. Переполох в доме, конечно, давно разбудил всех на женской половине. Вскоре шесть старух во главе со старой тёткой Наль встали рядом со мной.

— Эти люди, — сказал я им, — обвиняют вас в том, что вы не Наль вывели в сад, а одну её одежду отдали жениху. И среди озверевших мужчин и дрожавших от страха и внезапно пришедших в бешенство женщин поднялся невообразимый вой. Обе стороны готовы были вцепиться друг в друга. Размахивая руками, вопя какие-то проклятия, старая тётка Наль утверждала, что сама вложила руку Наль в руку жениха. Остальные подтверждали, что видели, как жених взял Наль на руки, и даже заметили, что он был слабоват для неё. Я посмотрел на жениха, он потупился и сказал, что ему не приходилось носить на руках женщин и что, действительно, Наль показалась ему тяжелее, чем он предполагал. На мой вопрос, донёс ли он её и посадил ли в телегу, он указал на двух своих товарищей, людей большого роста и силы редкой, и сказал, что сам он едва смог донести Наль до калитки, что там её взял один из товарищей и донёс до телеги; а в телегу её осторожно положили его рослые друзья. Пришлось мне и их спросить, была ли то Наль или только её одежда, которую они уложили в телегу. Оба утверждали, что несли невесту. Я стал уговаривать их разойтись, чтобы не привлекать к семейному скандалу внимание русских властей. Я читал смертельную ненависть в их глазах и несколько не сомневался, что если бы не рассвело и не боялись бы они отвечать перед русским судом, — они бы прикончили и меня, и Али, и многих из моих домочадцев и гостей. По местным понятиям, весь позор падал на жениха. Он злобно посмотрел на своих рослых товарищей, какое-то подозрение вдруг мелькнуло в его глазах и, повернувшись круто к ним спиной, он грубо обругал их и быстро побежал к калитке. Остолбев на миг, все его

товарищи, мулла и толпа, пришедшая с ними, — все бросились бежать вслед за женихом, натываясь друг на друга, валя кого-то с ног, застревая в узкой калитке. За стеной сада слышалась перебранка жениха с товарищами и муллой, несколько выстрелов, крики. Но калитка захлопнулась, ещё раз слышались крики, шум отъезжающей телеги, конский топот — и всё смолкло. Старухи были искренне убиты позором и несчастны. Они клялись и божились, что Наль сидела с подругами вечером за столом, что они сами накиннули ей ещё и чёрное покрывало поверх драгоценных уборов и наперебой рассказывали, как тяжело было жениху нести невесту, как он передал ношу товарищу и т. д. Я велел всем идти спать, сказав, что сам буду искать Наль, чтобы ни в дом, ни из дома в течение суток никто не входил и не выходил.

— Сейчас я уже имею известие, что твой брат и Наль едут благополучно в скором поезде в Москву. Но это не значит, что они уже спасены. Пока не доберутся до Петербурга и не сядут на пароход, отходящий с Невы в Лондон, — нельзя быть уверенным в их безопасности. Перейдём теперь к твоей роли, — продолжал Али Мохаммед после короткого раздумья. — Ты невольно запутан в эту историю, как брат Николая, поскольку злой глаз религиозных фанатиков видит врагов во всех друзьях того, против кого объявляют религиозный поход. А друг — это каждый, кто близок или хорошо знаком с настоящими друзьями отвергаемого. К тому же дервиши решили, что похитил Наль незнакомый им хромо́й старик, и этот след может привести к тебе, а уж к Флорентийцу непременно. Ты, повторяю, свободен в своём решении. Ты можешь мне сейчас сказать, что желаешь остаться непричастным к этому делу, — и ты немедленно уедешь в К., — Али назвал крупный торговый город, — с письмом к моему другу, у которого ты проживёшь недели две-три и вернёшься в Петербург. Если же хочешь помогать мне бороться за жизнь брата, — придется сказать своё решительное слово и начать действовать. Так закончил Али свой разговор со мной.

Глава 4. ПРЕВРАЩЕНИЕ В ДЕРВИША

В моём сердце стало как-то ясно и тихо. Я ни минуты не тревожился, и даже волнение за судьбу брата перестало меня беспокоить. Присутствие Али, его мощь влили в меня уверенность и энергию.

Чем больше я погружался мыслью в страшную рознь народов, чем ярче представлял себе невежество бедного, неграмотного и почти всегда голодного народа, который даже и религию выбрать себе самостоятельно не может, а попадает с рождения в лапы фанатиков, который всю жизнь всем рабски повинует, — тем яснее становилось мне, что я не могу остаться равнодушным к судьбе хотя и чуждого мне по крови, но, конечно, такого же народа, с красной кровью и страждущим сердцем, как и мой родной, зажатый царской лапой русский.

И чем больше я думал, какой странной случайностью я оказался связанным сейчас с судьбою чужого народа, вторгшись в самую сердцевину его предрассудков, — тем сильнее сознавал, что нет случайностей, а есть целая сеть закономерных действий. Что во всей окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлений случайных, а царит гармония всегда закономерно и целесообразно действующих сил, связывающих всех людей воедино, как группы чёрных клёнов и розовых магнолий.

Моё спокойствие не то что возрастало с каждой минутой, оно как бы утверждалось, черпая силу в самой глубине моего сердца, которое, казалось, я понял впервые. Видя моё молчание, Али прибавил:

— Не думай, что тебе надо дать ответ сию минуту. Хотя, конечно, временем мы не располагаем; я ожидаю самого быстрого хода событий.

— Мой ответ готов, — сказал я. — Я так глубоко спокоен, решение моё так ясно, что я ещё ни разу за всю свою жизнь не припомню подобного чудного и чудного состояния духа, подобного мира в себе.

Я не только не колеблюсь, но мне даже не представляется возможным пойти другим путём, где бы мог я отделить себя от брата, от вас, от Флорентийца и всех ваших друзей. Ведь если бы мой брат был здесь, — он слил бы свою жизнь с вашей и пошёл бы за вами. Моё решение не нуждается в обдумывании. Я иду с вами, я верен моему брату-отцу и буду отстаивать так же всеми силами его жизнь и счастье, как и раскрепощение того народа, которому вы так беззаветно и самоотверженно служите.

— Твоё спокойствие, друг, убеждает меня более всяких клятв и

обещаний. Вернёмся в дом, там могут быть какие-нибудь новые вести.

С этими словами Али Мохаммед встал, обнял меня и, положив руку мне на голову, заглянул глубоко в мои глаза своими агатовыми бездонными глазами. Трепет какого-то восторга охватил меня, я точно потерял на миг сознание и пришёл в себя уже в кедровой аллее, по которой мы шли, любуясь сверканием озера на ярком солнце.

Аромат деревьев, чирикание птиц, треск цикад снова сопровождали нас. Никогда ещё я не чувствовал себя так необычайно. Казалось, все внешние факторы должны были бы задавить мой дух. А на самом деле, впервые среди величавого молчания природы, в обществе этого человека, в котором я чувствовал необычные силу и чистоту, я понял какую-то иную, ещё неведомую мне жизнь сердца. Я ощутил себя единицей этой беспредельной вселенной, среди которой я жил и дышал; и мне казалось, что нет разницы между мною, солнцем, сверкающей водой и шумящими деревьями, что все мы отдельные ноты той симфонии вселенной, о которой говорил Али.

Я точно прозрел в какую-то глубь вещей, где всё — революции, борьба отдельных людей, борьба страстей целых наций, войны и ужасы стихий, — всё вело человечество к улучшениям, к завоеваниям в коллективном труде великих ценностей равенства и братства. К той гармонии и красоте, где свобода какой-то новой жизни должна дать всем людям возможность отдавать всё лучшее в себе на общее благо и получать то, что нужно каждому для его совершенствования и индивидуального счастья...

Я ушёл в свои мысли, какая-то радость наполнила всё моё существо, и я не заметил, как мы подошли к дому и встретились подле него с Али молодым и Флорентийцем.

Обменявшись малозначащими фразами по поводу красот парка, мы вошли уже вчетвером в дом и уселись на открытой веранде у стола, который был накрыт для чаепития. Жара немного спала, нам подали чай в больших чайниках красивой расцветки и оригинального китайского рисунка. Только успели мы выпить по чашке чая, как вошёл слуга и тихо сказал несколько слов хозяину. Тот извинился перед нами и вышел.

Мы молча остались сидеть за столом. Каждый был погружен в свои думы, никого не стесняло это молчание. Все точно сосредоточились в себе, готовясь, каждый по-своему, к грядущим событиям.

Лично я, — казалось мне, — точно и не жил до сегодняшнего дня. Только сейчас я ощутил свою связь со всеми людьми, знакомыми мне и незнакомыми, далёкими и близкими, и оценивал жизнь по-новому, решая для себя вопрос, что значит свой или чужой и кто же это свой, а кто чужой.

По свойственной мне рассеянности мне казалось, что ещё очень мало

времени; но на самом деле прошло около часа.

Вошёл слуга и сказал Али молодому, что хозяин просит всех пройти к нему в кабинет. Мы встали. Флорентиец обнял меня за плечи, ласково прижав к себе на минуту, и мы прошли на другую половину дома, которой я ещё не видел.

Через ту же переднюю, в которую мы вошли с Флорентийцем, как только экипаж остановился у подъезда дома, мы попали в большую комнату, кабинет Али Мохаммеда. Мы увидели его за письменным столом, и у стола, в глубоком кресле, обитом ковровой тканью, сидел в жёлтом халате и в остроконечной шапке с лисьим хвостом дервиш.

Сюрпризы последних суток, должно быть, так разбили мои нервы, что я едва не вскрикнул от изумления и растерянности. Я всего ожидал. Но увидеть дервиша в кабинете Али, — этого мои нервы не вынесли; я почувствовал такое раздражение, что готов был броситься на него.

Али молодой, взглянув на меня и поняв по моему расстроенному лицу, что я переживал, шепнул мне:

— Не все, кто одет дервишем, — на самом деле дервиши. Это друг.

Я постарался взять себя в руки, стал пристально разглядывать мнимого дервиша. И ещё раз устыдился своей невыдержанности, отсутствию такта и внимания. Если бы я начал с того, что посмотрел в лицо этого человека и сосредоточил бы своё внимание на нём, а не на себе, мне не отчего было бы раздражаться. То был юноша не старше сидевшего рядом со мною Али Махмуда.

Тёмные глаза, мягко, как звёзды, сверкавшие из-под нахлобученной шапки, прелестный нос, продолговатый овал лица и загорелые и огрубевшие, но прекрасной формы руки. Вся его фигура, несмотря на нищенский халат, дышала благородством. Большой ум читался на его лице, так и хотелось сбросить эту тяжёлую и противную шапку, чтобы увидеть лоб, должно быть лоб мыслителя.

Дервиш говорил на непонятном мне языке; и, к стыду своему, я даже не мог определить, что это за язык. Я знал, что мне расскажут, о чём шла речь, и отдался наблюдениям. Флорентиец сидел спиной к окну напротив молодого дервиша, на которого прямо падал свет. Хотя окно было занавешено лёгкой тканью цвета слоновой кости, света было совершенно достаточно, чтобы ни малейшее движение на лице незнакомца не ускользнуло от меня.

Поистине, он тоже был красавец. Выше среднего роста, широкий в плечах, он напоминал мне чем-то неуловимым моего брата. Лицо Али старшего выражало такую серьёзность, что мне снова вспомнились все

грозящие брату беды, и снова острая боль пронзила сердце.

Незнакомец опять заговорил. Его голос, оригинальный, низкий, баритональный металлический, мог бы составить честь любому оперному певцу. Он, очевидно, что-то предлагал. Все молчали, точно обдумывая его предложение, и, наконец, Али старший, взглянув на меня, сказал:

— Прости, друг. Ты не понимаешь нашего языка, я вкратце объясню тебе суть дела. Мулла и жених, якобы на основании свидетельских показаний моих гостей, мальчиков и слуг, утверждают, что Наль похищена тем гостем на пиру, которому я посылал блюда со своего стола. Они говорят, что это был важный старик, хромой и седой, который вышел из-за стола как раз в тот момент, когда была похищена Наль. Мулла объявил, что здесь было колдовство, и обвиняет в нём меня и моего старого гостя, его повсюду ищут. Религиозный поход против меня уже объявлен. Две из построенных мною школ уже сравнивали с землёй. И каждой женщине, у которой найдут книги, будет объявлено отлучение. А это хуже смерти в здешних глухих и диких местах. Далее молва утверждает, что кто-то видел, как мой гость спрятался в доме твоего брата. Надо полагать, что дикая орда набросится на дом, быть может сожжёт его, как и мой. Мне необходимо сейчас же поехать в город, чтобы спасти людей, оставшихся там, от верной гибели. Тебе же, вместе с Флорентийцем, следует отправиться на станцию железной дороги и постараться добраться до Петербурга, чтобы там помочь нашим беглецам. Я не сомневаюсь, что за всеми нами идёт слежка. Царское правительство не вмешивается в религиозные погромы, не видит и не слышит их, пока ему это удобно. Ни тебе, ни твоему брату не уйти живыми, если вас где-либо обнаружат. Всем известна наша дружба, и если изловят тебя, — ты ответишь за всех. Этот друг предлагает тебе переодеться сейчас же в платье дервиша, а Флорентийцу — в обычное платье простого купца и уехать в вагоне третьего класса в Москву. По дороге сами уже будете соображать, как вам лучше спастись, я же буду посылать вам телеграммы до востребования на все узловые станции и оповещать о ходе событий. Не забывай, что тебе надо думать не о себе. Спасая свою жизнь, ты думай только о лишней паре рук и ног для защиты друга, брата-отца. Весь героизм сердца, вся сила мужества должны быть собраны, чтобы не выдать себя в опасные минуты ни одним растерянным взглядом или движением. Смотри прямо в глаза тем, кто тебе будет казаться подозрительным. Стань снова временно глухонемым и, со свойственным таким людям вниманием, смотри на рот говорящих. Это будет сбивать с толку преследователей. Времени остаётся мало. Али и новый друг помогут тебе переодеться, если ты захочешь принять это предложение. Я же

передам Флорентийцу всё нужное для вашего пути и условлюсь о телеграммах.

Он поднялся и вышел вместе с Флорентийцем, а Али молодой и новый знакомец стали облачать меня в платье дервиша, на что я согласился без колебаний.

В довершение всех бед в дело снова пошла бесцветная жидкость. На этот раз уже всё тело, смазанное ею, стало тёмным, а руки, ноги и лицо, покрытые слоем жидкости дважды, стали такими, словно их сожгло солнцем, как-то сморщились, и я стал выглядеть лет на сорок. Но теперь я не вздыхал по своей исчезнувшей юности и утраченной белизне. Дело шло не о маскарade, а о жизни дорогого мне брата и моей собственной, и я старался запомнить характерные жесты и манеры, которые мне показывал мой новый друг, мнимый дервиш.

Едва я кончил одеваться, как вошёл Флорентиец. Его узнать было невозможно. Длинная чёрная борода, голубовато-серая чалма и пёстрый ситцевый халат, подпоясанный платком, на ногах мягкие чёрные сапоги. Он имел вид средней руки торговца, отправляющегося за товарами. Его лицо и безукоризненные руки не уступали в черноте моим, а ногти и зубы были отвратительно грязны.

В прежнее время я бы покатился с хохоту; но сейчас я принял всё как должное, оценив его неузнаваемость.

— А шапку к голове вы ему приклеили? — спросил он. — Ведь может случиться, что кто-либо попытается сбить шапку с его головы.

Он достал из своего огромного кармана тёмную ермолку, натянул её мне на голову так туго, что, казалось, сорвать её можно было только вместе с кожей, и поверх, смазав внутреннюю сторону остроконечной шапки клейкой жидкостью, напялил и её на мою несчастную голову. Я едва держался на ногах, так было жарко; голову сжимало, стало тошнить.

Вошёл Али старший и, очевидно, понял моё состояние. Он вынул из стола коробочку, открыл её и положил мне в рот белую пилюлю. Остальные, закрыв коробку, передал Флорентийцу.

— Лошади ждут по другую сторону озера, вы поедете оттуда, — сказал Али, — времени едва хватит доехать до станции.

Мы двинулись кратчайшим путём к озеру вдвоём с Флорентийцем, простившись наскоро с обоими Али и новым знакомым.

Подойдя к озеру, мы сели в лодку. Флорентиец быстро переправил её на другую сторону, и через несколько минут мы увидели быстро катившую к нам простую бричку. Ни словом не обменявшись с возницей, мы сели в неё и покатали по направлению к вокзалу.

Вокзал от города был в верстах трёх, и мы, минуя город, выехали к нему совсем с другой стороны. В бричке мы обнаружили два узла из ситцевых платков и два убогих деревянных сундучка. Флорентиец вёл себя так, как будто никогда ничего кроме ситца не носил и об элегантных чемоданах понятия не имел.

Подъехав к вокзалу, мы соскочили с брички и очутились в густой толпе восточного люда, галдевшего и возбуждённого. На нас не обратили никакого внимания, увидев простых, бедно одетых купца и монаха; а продолжали зорко вглядываться во всех подъезжающих, побогаче одетых.

К нам подошёл старик и предложил помочь нести узлы. Флорентиец передал ему мой узел и сундучок, взял свой под мышку, узел в руку, точно это были пакеты с ватой, сказал что-то старику, и мы двинулись на вокзал.

Там поджидал нас другой старик и подал Флорентийцу два билета. Едва мы вышли на платформу, как подкатил поезд.

Мы разыскали наш вагон третьего класса и уселись на грязной скамье. На полу валялись кожура бананов и корки апельсинов, огрызки дынь и арбузов, куски хлеба и обрывки бумаги.

Едва мы уселись, как на платформе поднялся шум, толпа, через которую мы прошли, ворвалась, галдя, на перрон. Размахивая руками, люди бросились мимо загораживавшего им путь жандарма к вагонам первого класса. Толпа лезла и в международный вагон, куда её не пускали. Начальник станции, жандарм, проводники — все были в один миг разбросаны. Несколько человек всё-таки пролезли в вагон, кого-то разыскивая, крича и перекликаясь.

Перепуганные, ничего не понимавшие немногочисленные пассажиры тоже подняли крик. Жандарм подавал тревожные свистки, и к нему на помощь уже летели со всех сторон носильщики, жандармы и группа вооружённых солдат. Толпа успела обшарить международный вагон, перебралась в первый класс; кое-кому удалось обежать и оба вагона второго класса. Но здесь их настиг жандармский офицер, зычным голосом он выстроил солдат в строевой порядок, и восточная толпа мгновенно рассеялась, так и не успев добраться до вагона третьего класса. Убегая со всех ног, проскакивая через вагоны на запасных путях, люди скрылись, точно их и не было. Впрочем, вероятно, их и не интересовали убогие вагоны; ища самого Али или кого-либо из близких ему, они не могли предположить, что искать следует в грязи и пыли третьего класса.

Поезд всё ещё стоял, хотя время отправления уже истекло. Я обливался потом и не раз вытирал своё лицо большим пёстрым платком, данным мне дервишем, и именно тем жестом, которому он меня обучил. Хотя я и был

совершенно уверен, что нас узнать невозможно, но не мог не заметить, что в глазах моего спутника мелькнуло внезапно какое-то беспокойство.

Я выглянул на перрон и увидел, что к старику, нёсшему наш багаж и теперь стоявшему в дверях вокзала, подошёл мулла. Но как раз в эту минуту начальник станции махнул рукой, раздался оглушительный третий звонок, обер-кондуктор свистнул, ему ответил свисток паровоза и, наконец, мы двинулись.

Не успели мы отъехать, как в наш вагон с противоположной стороны перрона впрыгнул, как кошка, молодой сарт. Он часто и трудно дышал, очевидно очень быстро бежал. Войдя в вагон, он не сел, а шлепнулся рядом с нами. Я подумал, что вот-вот он упадёт в обморок.

Поглядев на него, Флорентиец покачал головой и обратился к двум старым сартам, сидевшим в глубине вагона. Речи его я не понял, но один из стариков встал и подал запыхавшемуся сарту воды в кувшине из тыквы. Тот выпил её жадно, но всё не мог прийти в себя.

Наконец он несколько поуспокоился и спросил Флорентийца, сидевшего с ним рядом и почти закрывавшего собою мою небольшую фигуру, не заметил ли он кого-либо, кто садился в поезд на этой станции.

— Как не заметить? Я сам садился, мой племянник садился, да ты садился, — ответил ему, смеясь, мой друг. — Нет, впрочем, ты не садился, ты прыгнул, — прибавил он, и в вагоне рассмеялись.

Молодой сарт уже совсем пришёл в себя. — От кого ты так убегаешь? Тебя преследуют царские власти? — спросил его Флорентиец.

— Нет, — ответил он, — я догонял поезд, чтобы передать одному нашему купцу письмо, очень для него важное. Мне сказали, что непременно он или его племянник едет в этом вагоне.

И он встал с места, обошёл вагон, поблагодарил старика, давшего ему пить, и, поговорив с ним, опять вернулся к нам.

— Нет, — сказал он. — Здесь нет ни дяди, ни племянника, которых я ищу, а в вагонах первого класса нет ни их рыжего друга, ни хромого старика. Придется мне на повороте прыгнуть и караулить следующий поезд.

Флорентиец важно покачал головой, выражая сочувствие к его неудавшейся миссии и желанию прыгнуть с поезда на ходу.

Молодой сарт объяснял Флорентийцу и столпившейся вокруг нас кучке любопытных, что купец, которого он искал, — его благодетель, и если кто-либо скажет ему, кто сел на этой станции в поезд, кроме нас с Флорентийцем, то он сам и богатый купец-благодетель отблагодарят его.

Один из стариков сказал, что видел, как в последний вагон сели две

женщины и молодой человек. Лицо сарта зажглось, точно факел сверкнул и отразил своё пламя в его глазах; он растолкал окружавшую нас кучку пассажиров и стремглав бросился в соседний вагон.

Прошло минут двадцать, он снова возвратился к нам; довольно постное выражение его физиономии говорило без слов, чем завершились его поиски. Его вторичное появление никого уже не заинтересовало; кое-кто из пассажиров стал готовиться к выходу на ближайшей станции.

Сарт снова сел возле Флорентийца и стал шептать ему что-то на ухо, опасаясь, чтобы я не услышал его слов, но Флорентиец успокоил его, показав ему на мои уши. Всё же раза два ещё он взглянул на меня подозрительно, но заметив, что я пристально гляжу на его рот, отвернулся и успокоился. Подумав, что толку всё равно мало от моих наблюдений, я решил тоже отвернуться и стал смотреть в окно.

Поезд шёл быстро, очевидно машинист решил нагнать опоздание. Сколько мог охватить глаз — всё шла безводная, голая степь. Ни деревца, ни кустика, ни жилья. Я невольно думал о трудной жизни народа, который выращивает чудесные фрукты, богатейшие виноградники и пышные цветы, искусственно орошая землю. Между тем поезд стал заметно замедлять ход. Мы огибали глубокий овраг, на дне которого сверкала маленькая струя воды. Очевидно, здесь снова начиналась сеть арыков, отчего вся местность резко изменилась. Замелькали сады кишлаков, стали попадаться гигантские фиговые, ореховые и каштановые деревья.

Поезд ещё немного замедлил ход, и вдруг я увидел сарта: артистически рассчитав свой прыжок, он исчез в глубоком овраге.

Надо сказать, он исчез вовремя. Не успел я повернуться к Флорентийцу, как открылась дверь вагона, вошли два кондуктора, спрашивая билеты. Флорентиец подал наши билеты, сходявшие на следующей станции отдали свои, кондукторы прошли дальше, и я надеялся, что Флорентиец мне теперь расскажет, о чём шептал ему сарт. Но он незаметно приложил палец к губам и дал мне прочесть записку, которую держал в руках.

Это был текст телеграммы до востребования, написанной по-русски в город С. купцу К., с извещением, что купец А. живёт, — дальше стояло многоточие.

Я не понял, о чём эта записка в руках Флорентийца, хотя и сообразил, что дал ему её выпрыгнувший из вагона сарт.

Через четверть часа мы остановились у следующей станции, но никто не сел в наш вагон. Флорентиец вынул из своего узла две книги, передал одну мне. Его книга была написана на арабском языке, а та, что оказалась у меня, напоминала толстый затрёпанный молитвенник, и шрифт её был так

же мне понятен, как и страница того гигантского Корана, который показывал мне брат в одной из мечетей города.

Я улыбнулся и подивился тонкой наблюдательности того, кто собирал нас в путь. Какая же ещё книга могла быть в руках у дервиша, как не потрёпанный, издававший виды в бесконечных странствиях бездомного монаха молитвенник.

Какой-то богобоязненный старик принёс мне дыню и кусок хлеба, другой протянул два куска сахара. Я ещё раз мысленно поблагодарил человека, отдавшего мне своё платье дервиша, за преподанный урок поведения, приличествующего монаху. Флорентиец объяснял всем, что я глух, но святой жизни: II мои молитвы хорошо доходят до Бога. Я же, опустив глаза долу, прикладывал руку к груди и несколько раз кивал головой, не глядя на тех, от кого получал подавание. Кое-кто, услышав, что я святой жизни и хорошо привечен Богом, давал мне даже деньги.

Так ехали мы до самого вечера, и снова сразу настала ночь. В вагоне всё утихло. Флорентиец подложил мне под голову мой узел, оказавшийся мягким, заставил лечь, а сам сел у моих ног.

Не знаю, долго ли я спал, но проснулся я от того, что кто-то сильно меня тряс. Я никак не мог проснуться, хотя сознавал, что меня будят. Наконец, чьи-то сильные руки поставили меня на пол, и я вдохнул струю нашатыря. Я чихнул и окончательно проснулся. Флорентиец стоял рядом со мною, оба сундучка наши были связаны и перекинуты через его плечо, один узел он держал под мышкой, тот, на котором я спал, он взял в руку, другой показал на дверь и подтолкнул меня к ней.

В вагоне было почти совсем темно. Кое-где свечи в фонарях уже догорали, да и висели фонари очень редко и высоко.

Спросонья я плохо соображал, но двинулся к двери. Мне представилось, что мы будем прыгать, как сарт, с поезда, который, кстати сказать, мчался опять на всех парах; и я приходил в ужас от своего мешковатого платья, длинного, неудобного, стеснявшего мои движения. Ни с чем логически не связанная, вдруг мелькнула мысль, что и шапку-то мне приклеили к голове, чтобы она не свалилась во время прыжка.

Мы бесшумно вышли на площадку вагона, и я взялся за наружную дверь, чтобы её открыть. — Рано ещё, — сказал мне тихо, в самое ухо. Флорентиец.

— Так мы на всём ходу и будем прыгать? — спросил я его так же тихо.

— Прыгать? Зачем прыгать? — сказал он, смеясь. — Мы подъезжаем к большому городу, где живёт мой друг. Сойдём на станции, возьмём извозчика и поедem к нему. Но пока я тебе не скажу, сохраняй полное

внешнее безразличие дервиша и, кто бы ни обратился к тебе с вопросом, показывай на уши. Поезд замедляет ход. Сходи первым и подай мне руку. И ни на одну минуту не отходи от меня ни на станции, ни в доме моего друга, куда мы приедем. Так и держись, либо за мою руку, либо за пояс, как если бы ты был слепым и не мог передвигаться без моей помощи.

Поезд подходил к перрону скудно освещенной станции. Вокруг царила ночь, и казалось, что на станции всё замерло. Мелькнула красная фуражка дежурного, за нею рослая фигура жандарма, — и поезд остановился.

Мы сошли с перрона, прошли через полупустой зал третьего класса и вышли на крыльцо. Здесь к Флорентийцу подошёл какой-то сарт и предложил довезти до ближайшего кишлака. Флорентиец объяснил ему, что нам нужно в город, в торговые ряды. Сарт обрадовался; ему было как раз по пути, и он думал, что ночью сможет сорвать с нас хороший куш.

Не тут-то было. Флорентиец начал яростно торговаться, как истый восточный купец. Он так и сыпал горохом слова, закатывал глаза и разводил руками вместе с возницей. Оба они горланили минут десять, наконец сарт вздохнул, закатил глаза и воззвал к Аллаху. Только этого, казалось, и ждал Флорентиец. Сложив руки и также воззвав к Аллаху, он выдвинул меня вперёд, и возница увидел перед собою дервиша. Он моментально утих, поклонился мне и позвал нас к стоявшей тут же телеге. Мы взгромоздились на неё и поехали в город, который был в двух верстах от станции.

Глава 5. Я В РОЛИ СЛУГИ-ПЕРЕВОДЧИКА

Мы ехали, храня полное молчание. Возница пытался было задавать вопросы Флорентийцу, но получая односложные ответы, произнесённые сонным голосом, решил, что мы устали, должно быть, от долгого пути, и перенес своё внимание на лошадь.

Лошадка трусила по мягкой дороге. Тьма освещалась только мерцающими звездами, и мысли мои, точно замерзшие во время моего тяжёлого сна в вагоне, вновь зашевелились. Мне ещё не приходилось слушать молчание ночи в степи. Снова — как и в парке Али — меня охватило чувство преклонения перед величием природы. Я смотрел на усыпанное звёздами небо и разглядел впервые многие созвездия, о которых до сих пор только читал или слышал. Звёзды не походили на наши северные. Они казались гораздо крупнее, точно лампы мерцали, и я наконец увидел воочию тот дрожащий свет звёзд, о котором пишут поэты. Даже небо показалось мне более низким. Прорезанное широкой полосой Млечного Пути, оно сверкало контрастами полной тьмы и света.

Я вернулся мыслями к Али Мохаммеду. Опять меня пронзила радость от встречи с ним и мысль о красоте и гармонии природы, — я подумал о мощи любви и счастья, которыми щедро одаряет природа человека; о тех великих скорбях и слезах, которыми наполняет мир сам человек, неизменно оправдывая свои действия именем великого Творца: и будто бы в защиту Его отравляя мир жестокостью своего фанатизма.

Мерный стук копыт и покачивание тележки на мягкой дороге не усыпили меня: но внезапно среди ночи я почувствовал себя одиноким, несчастным и беспомощным... Но то было лишь мгновение слабости. Я вспомнил слова Али о том, что настало моё время выказать мужество и преданность. И волна бодрости, даже радости опять пробежала во мне. Я захотел немедленно вступить в борьбу не только за жизнь и счастье любимого брата и Наль, но и за всех страдающих по вине фанатиков, тех, кто считает свою религию единственной истиной, кто давит всё живое, что рвется к свободе и знанию, к независимости в жизни...

Я прикоснулся к Флорентийцу, благодарно приник к нему и встретил его добрый, ласковый взгляд, который, казалось, говорил мне: "Нет одиночества для тех, кто любит человека и хочет отдать свои силы борьбе

за его счастье"

Мы уже въезжали в город. Окраины его напоминали сплошной сад, но и центр города оказался таким же. Ночь была уже не так темна, в кольце зелёных улиц вырисовывался гигантский силуэт мечети, показались торговые ряды.

Флорентиец приказал вознице остановиться, мы сошли, рассчитались с ним и отправились вдоль рядов, кое-где охраняемых ночными сторожами. Раза два мы свернули в тихие спавшие улицы и наконец остановились у небольшого дома с садом. На стук Флорентийца не сразу открылась калитка, и дворник удивлённо оглядел нас. Флорентиец спросил его по-русски, дома ли хозяин. Оказалось, хозяин только что вернулся домой и даже ещё не ужинал, хотя сказал, что очень голоден.

Флорентиец попросил передать хозяину, что нас прислал лорд Бенедикт и мы просим принять нас, если можно, тотчас же. Монета, скользнувшая незаметно в руку дворника, сделала его намного любезнее. Он впустил нас в сад и побежал доложить о нас хозяину. Мы остались одни. Пока мы ожидали в темноте сада, Флорентиец осторожно просунул палец под мою ватную шапочку и ловко стащил её с меня; почти мгновенно оторвав её от дервишской шапки, он снова надел шапку мне на голову.

То, что я почувствовал, когда освободился от ватного бинта на голове, не поддаётся описанию. Я хотел громко закричать от радости, но опасаясь выдать себя, промолчал, раза два всё же подпрыгнув на месте.

— Какой там Лордиктов? Вечно всё перепутаешь! — донёсся до нас голос.

Я было подумал, что где-то уже слышал этот особенный голос, но не мог себе уяснить, где и когда.

— Помни же, ты всё ещё глух, пока не скажу, — шепнул Флорентиец.

Дворник вернулся и пригласил нас подняться на веранду. Мы пошли за ним и увидели, что на веранде горит свет. Но зелень — вся в крупных, висящих гроздьями цветах — сплеталась в такой густой покров, что света из сада не было видно.

Мы поднялись на веранду. Слуга, почти мальчик, хлопотал у стола, внося накрытые тарелками блюда, фрукты.

Флорентиец сложил наши вещи в углу, и мы сели на деревянный диванчик. Слуга несколько раз входил и выходил, каждый раз весьма недружелюбно, даже презрительно поглядывая на нас. Наконец он сказал Флорентийцу довольно небрежно, что хозяин ждёт нас в кабинете. Оставив рядом с вещами наши кожаные калоши, мы прошли в большую комнату, соединённую с террасой коридором. В комнате стояли рояль, мягкая

мебель, но пол был голым, в противоположность дому Али, где ноги, куда ни ступи, утопали в коврах.

Мы пересекли комнату и подошли к закрытой двери, из-под которой пробивался свет. Тут Флорентиец отстранил слугу, крепко взял меня за руку, как бы напоминая лишний раз, что я глухой, и постучал в дверь особым манером.

Дверь быстро отворилась, и... хорошо, что Флорентиец держал меня крепко за руку, не то бы я обязательно забыл обо всём на свете и закричал.

Перед нами стоял не кто иной, как тот незнакомец, который дал мне своё платье в кабинете Али. Флорентиец низко поклонился хозяину, потянул и меня вниз. Я понял, что должен кланяться ещё ниже, и выпрямился только тогда, когда та же рука-наставница подала мне знак.

Флорентиец что-то быстро сказал хозяину, тот кивнул головой, придвинул нам низкие пуфы и приказал слуге что-то, чего я не понял. На физиономии того отразилось сначала огромное удивление, но под взглядом хозяина он почтительно поклонился и бесшумно исчез, закрыв дверь.

Тут только хозяин протянул нам руку, улыбнулся, и взгляд его стал менее строгим. Это прекрасное лицо носило отпечаток усталости и скорби.

— Разве вы не узнали моего голоса? — мягко улыбаясь и держа мою руку в своей, сказал наш хозяин. — А я специально для вас сказал громко несколько слов дворнику, чтобы вы не так удивились. Вы ведь очень музыкальны, это видно по вашему лбу и скулам.

Я хотел было сказать, что запомнил оригинальный тембр его голоса, но никак не ожидал услышать его в этом саду. Я начал говорить, ощущая страшную усталость, но вдруг всё поплыло перед моими глазами, вся комната завертелась, и я погрузился во тьму...

Долго ли продолжался мой обморок, не знаю. Но очнулся я от приятной свежести в голове и ощущения чего-то прохладного на сердце. Флорентиец подавал мне питье, и как только я сделал несколько глотков, заставил проглотить одну из пилюль, данных нам Али Мохаммедом. Очень скоро мне стало лучше, я снова овладел собой и твёрдо сидел на низком стуле. Хозяин быстро писал какое-то письмо. Флорентиец снял с моего сердца и с головы холодные компрессы и шепнул: — Скоро пойдём отдыхать, мужайся.

Но теперь я готов был ехать дальше; откуда-то появились силы, точно я очнулся в прохладный бассейн.

Окончив письмо, хозяин позвонил и приказал вошедшему слуге немедленно отнести его по адресу и дожждаться ответа. Должно быть, место, куда посылали слугу, ему не очень нравилось. Он хотел что-то возразить,

но встретив пристальный строгий взгляд хозяина, низко поклонился и вышел.

Вслед за ним вышли и мы на веранду. Вымыли руки под умывальником. Светлей они, правда, не стали, и я со вздохом подумал, как надоели мне грим, чужой костюм и все приключения, отдающие запахом сказок из "Тысячи и одной ночи".

Усевшись за стол, мы принялись за еду, состоявшую из овощей, фруктов, прохладительных морсов и нескольких сортов хлеба. Всё было вкусно, но есть мне не хотелось. Да и старшие мои друзья ели мало.

— Я написал письмо на языке слуги, потому что уверен, что письмо это он и сам прочтет и мулле отнесёт. Весть об Али и религиозном походе против него уже докатилась сюда. В письме к своему знакомому торговцу я пишу, что завтра к вечеру мой друг купец приедет к нему покупать ослов. Пусть составит он также гурт скота, который может быть куплен моим приятелем. Здешний мулла, прикрываясь именем этого торговца, ведёт крупную торговлю ослами и скотом. Весь день он, конечно, будет занят распоряжениями, куда и как перегнать скот и какую взять цену. Только вечером он займется делами, связанными с походом на Али. Живёт этот торговец довольно далеко, и у нас есть не меньше трёх часов. Но за это время вам обоим надо переодеться, снова стать европейцами и отправиться назад в К. Там вы пересядете в международный вагон встречного поезда и, надо надеяться, благополучно доедете до Москвы. Не миновать вам опять маскарада, — обратился он ко мне. — Вам придется стать слугой-гидом лорда Бенедикта, ни слова не знающего по-русски. Теперь ярмарка в К., и вы встретите в поезде иностранцев, направляющихся за каракулем, коврами и хлопком, который они покупают на корню. Присутствие лорда Бенедикта среди иностранцев будет естественно. Кроме того, по вашим следам уже гонятся; кто-то выдал, что вы одеты дервишем. Я верю, что ни на момент в вашем сердце не было и нет страха, но действовать надо не только бесстрашно, но и целесообразно. Пойдёмте в мою спальню. Я постараюсь помочь вам обоим одеться сообразно ролям и умыться.

Уже светало; мы встали из-за стола и прошли в спальню нашего хозяина. Это была чудесная белая комната. Очень простая, но изящная мебель, обитая светло-серым шёлком, пушистый светлый ковёр, но... рассматривать было некогда.

Отодвинув раздвижную, как в вагоне, дверь, хозяин подошёл к ванне, влил в неё какой-то жидкости, отчего вода точно закипела. И когда вода успокоилась, сказал:

— Весь грим с вашего тела сойдёт. Вы выйдете из воды белым юношей.

Здесь мыло, щётки и всё, что вам может понадобиться, — и с этими словами он меня покинул.

Я быстро разделся и погрузился в ванну, с необычайным наслаждением чувствуя, как с меня, точно кожа, слезает вся чернота и грязь пути. Я слышал, как шумели струи текущей воды где-то рядом со мной; это, очевидно, полоскался под душем Флорентиец.

Помывшись, я растёр тело купальной простыней и стал думать, во что же мне теперь одеться. Раздался лёгкий стук в дверь, и вошёл Флорентиец. Он тоже был укутан в купальную простыню, весело улыбался, и я снова поддался очарованию этой дивной красоты, обаянию этого любящего, доброго человека, к которому всё сильнее привязывался.

— Пойдём выбирать туалеты, — весело сказал он, и мы двинулись в спальню хозяина.

Я ещё не сказал, каким нашёл я теперь моего мнимого дервиша. Он был в лёгком сером костюме, прекрасно сидевшем на нём, в белой шёлковой рубашке-апах и белых полотняных туфлях. Я не мог его не узнать. Его глаза-звёзды имели какое-то особенное выражение мудрости и огня, ему одному свойственное, как и неповторимый тембр его голоса. Рот с вырезанной, точно резцом ваятеля, верхней губой говорил об огромном темпераменте. А лоб, высокий, благородный лоб мудреца был так сильно развит в выпуклой надбровной части, что казалось, вся мысль сосредоточивалась именно здесь, как это часто бывает у крупных композиторов.

Пока мы выбирали одежду, наш хозяин рассказывал о своём путешествии и о делах Али. Али поехал к себе, чтобы остаться там и защитить домочадцев или вывезти их куда-нибудь. Но какова судьба Али сейчас, об этом он ничего ещё не знал. Он сказал нам, что со следующим поездом сам выедет в Петербург, чтобы приготовить нам квартиру и собрать сведения о брате. Сказал ещё, что один из мужчин, поехавших с Наль в роли слуги, её старый дядя, человек опытный, верный и очень образованный.

Говоря всё это, он помогал мне надевать костюм юноши-слуги. Коричневая куртка с серебряными пуговицами, такие же длинные брюки и кепи с серебряным галуном. Конечно, я не блистал красою, но теперь, расставшись с обликом черномазого, грязного дервиша, я казался себе просто красавцем.

Флорентиец надел костюм из синей чесучи, белую шёлковую сорочку и завязал бантом серый шёлковый галстук. Положительно, во всём он был хорош, казалось, лучше быть нельзя. Он беспощадно прилизал свои

волнистые волосы, уложив их на пробор ото лба до самой шеи, надел пенсне, — и всё же оставался красавцем.

Время бежало; стало совсем светло. Мы услышали фыркание лошадей, и дворник закричал в окно, что лошади готовы. Хозяин подошёл к окну и сказал тихо дворнику: — Сходи к соседу; если он уже ушёл в лавку, то беги к нему туда, в ряды. Напомни, что он обещал доставить сегодня тётке два халата и ковёр. Я же, по дороге на станцию, отвезу моих ночных гостей на скотский рынок. Если они вечером снова захотят ночевать у меня, ты ихпусти.

Дворник побежал выполнять поручение, а мы убрали с веранды наши вещи, которые оказались просто бутафорией. Мы бросили пустые сундучки, вынув из них по нескольку книг, а узлы, в которых оказались подушки, развязали и сунули платки в шкаф.

Через минуту мы вышли. Я нёс лёгкое пальто моего барина, учась играть роль слуги, помог моему господину сесть на заднее сиденье, а сам сел на скамеечку впереди. Хозяин устроился на козлах, подобрал вожжи, мы выехали из ворот, — я соскочил их закрыть, — и покатили к вокзалу.

Город ещё не просыпался. Кое-где дежурные сарты хлопотали у арыков, так как вода в оросительных системах всё время должна менять направление, и за этим строго следят особо приставленные люди, пуская воду по очереди то в Хиву, то в Бухару, то в Самарканд.

Теперь мы ехали быстро. Но всё же я мог хорошо различать и дома, и сады. Торговые ряды были совсем иные, чем в К. Они не напоминали багдадского рынка, а скорее были похожи на громадные амбары; но стиль их всё же был не европейский. Огромное количество лавок говорило о богатстве города. Я весь ушёл в свои наблюдения. Движение становилось всё оживлённее, и когда мы выехали за город, это зрелище захватило меня своей необычайной красочностью. Я ещё не видел больших верблюжьих караванов; а здесь, с нескольких сторон, медленно и мерно покачивая груз на своих горбах, двигались к городу караваны. Каждый караван вёл маленький ослик, на котором часто сидел погонщик. Все ведущие к шоссе дороги были забиты осликами, нагруженными фруктами, овощами, птицей и всевозможными предметами обихода, — и всё это тянулось на базар в огромном облаке пыли, тесно прижатое друг к другу.

Вдали сверкали снежные горы. Небо — местами алое, местами фиолетовое и зелёное, и ярко-синее над нами; прохладный ветерок от быстрой езды, — и я снова воскликнул: — О, как прекрасна жизнь!

Восклицание это явилось полной неожиданностью для моих спутников, углублённых в разговор, и оба они удивлённо на меня посмотрели. Но

увидев мою восхищённую физиономию, громко рассмеялись. Я тоже залился смехом.

Мы были уже недалеко от вокзала, и мой барин, лорд Бенедикт, сказал мне по-английски:

— Хороший слуга всегда серьёзен. Он никогда не вмешивается в разговор барина, ничем не выдаёт своего присутствия и только отвечает на задаваемые ему вопросы. Он вроде как глух и нем, пока барину не понадобятся его речь и услуги.

Тон его был совершенно серьёзен, но глаза превесело смеялись. Я сдержал смех, поднёс руку к козырьку и ответил весьма серьёзно, тоже по-английски: — Есть, ваша светлость!

— Мы подъезжаем к станции, — продолжал лорд. — Вот вам бумажник. Вы прежде нас сойдёте и отправитесь в кассу. Возьмёте два билета в международном вагоне. Мы же медленно выйдем прямо на перрон и там встретимся. Поезд подойдёт очень скоро. Если не будет мест в международном, возьмите в первом классе.

Я взял бумажник, выпрыгнул из коляски, как только она остановилась, и побежал в кассу.

Купив билеты, я нашёл своего барина на перроне и доложил, что билеты в международный приобрёл. Он важно кивнул мне на носильщика, державшего два элегантных чемодана. Я не мог понять, каким образом чемоданы катались при нас, и только потом сообразил, что, вероятно, они уже были привязаны к коляске, когда мы в нее садились.

"Вот новая забота мне", — подумал я. Я не знал, как поступить с бумажником и билетами, но так как показался поезд, я сунул бумажник во внутренний карман куртки.

— В международный, — бросил я небрежно носильщику, и он пошёл к самому концу платформы.

Как только поезд остановился, я подал проводнику билеты, и мы заняли наши места, оказавшиеся маленьким двухместным купе. Я разместил вещи и отпустил носильщика. Проводник быстро подмел и без того чистый пол и вытер пыль в нашем купе, должно быть судя по слуге о возможной щедрости барина. Я выскочил на платформу доложить, что всё готово.

Раздался второй звонок. Лорд Бенедикт и его спутник медленно пошли к вагону, и с третьим звонком милейший лорд лениво занёс ногу на ступеньку. Мне так и хотелось его подтолкнуть сзади, никак я не мог взять в толк его медлительность.

Наконец он вошёл в вагон и что-то ещё сказал своему остающемуся другу. Тут раздался свисток паровоза, и я уже не стал ждать, пока мой

барин соизволит пройти дальше, поклонился любезному нашему хозяину и юркнул в вагон трогавшегося поезда.

Только когда наш хозяин совсем исчез из виду, лорд повернулся и прошёл в купе. Проводник обратился к нему с вопросом, он сделал непонимающее лицо и поглядел на меня.

— Мой барин — англичанин, — сказал я очень вежливо проводнику, — и ни слова не понимает ни на одном языке, кроме своего английского. А я его переводчик.

Проводник ещё раз спросил, нужен ли нам чай. Я перевёл вопрос лорду, и проводник получил заказ на чай, бисквиты и две плитки шоколада. Кроме того, я дал ему крупную бумажку и попросил сходить в вагон-ресторан и купить нам лучшую дыню, яблок и груш. Уверившись, очевидно, в том, что от лорда можно ожидать чаевых, проводник обещал купить фрукты на следующей станции, которая славится ими. Через несколько минут он подал нам чай с лимоном, бисквиты и шоколад, закрыл дверь, и мы остались одни.

Несмотря на спущенные тёмные занавески на окнах и работавший у потолка вентилятор, жара и духота в вагоне стояли адские. Я снял кепи и благословил свою прохладную курточку. Материя была плотная, но оказалась лёгкой, вроде китайского шёлка. Мой лорд снял пиджак, улёгся на диван, причём ноги его свешивались вниз, и сказал:

— Друг, я очень устал. Если ты чувствуешь себя в силах, — покарауль мой сон часа два-три. Если к тому времени не проснусь, разбуди меня обязательно. Теперь не удастся поспать, — потом, пожалуй, и не получится. А сил нам с тобой потребуется ещё много. Не огорчайся, что мы с тобой обо всём не переговорили. Как только я встану, мы поедем и ляжешь ты. Раскрой маленький чемоданчик, в нём ты найдёшь кое-что, что забыл в доме Али и что тебе, заботливо осмотрев твоё платье, посылает молодой Али. Эти чемоданы привёз нам друг, у которого мы только что были.

С этими словами он повернулся к стене и сразу заснул. Я вышел посидеть с книгой в коридоре на скамейке против нашего купе, чтобы стуком проводник не нарушил сон Флорентийца.

Пассажиры надели кто кепи, кто панаму, кто английский шлем "здравствуй и прощай", как окрестили в России этот головной убор с двумя козырьками, а кто и просто с непокрытой головой вышел на площадку вагона. Поезд подошёл к перрону и остановился.

Я открыл окно и стал смотреть на толпу... Здесь было гораздо оживлённее, чем на виденных мною прежде станциях. Торговцы с

большими корзинами фруктов сновали по перрону. Мелькали укутанные фигуры женщин, державшихся группками, но я никак не мог определить, зачем они здесь. Они не торговали, а как будто без толку переходили с места на место, ни словом не обмолвясь друг с другом. Важные сарты, разных состояний и возрастов, стоявшие кучками, пялили глаза на едущую публику. Евреи, — в своеобразных кафтанах и чёрных шапочках, — шумные, нетерпеливые, составляли резкий контраст со степенными восточными фигурами.

Пассажиры вскоре возвратились в вагон, нагруженные фруктами. Мне казалось, что их покупки очень хороши. Но когда поезд тронулся, ко мне подошёл проводник и подал корзину фруктов. Он весело подмигивал в сторону жевавших яблоки пассажиров, а я, взглянув на свою корзину, понял, что такое настоящие восточные фрукты. Громадные, какие-то плоские яблоки, яблоки прозрачные, продолговатые, в них просвечивали насквозь все косточки, и груши, желтые, как янтарь, и две небольшие дыни, от которых исходил аромат головокружительный, и чудные белые и синие сливы.

— Вот это фрукты! — сказал мне проводник. — Надо знать, как купить и кому продать. У меня тут есть приятель. Каждый раз, когда я проезжаю, он мне prepares две такие корзины.

Я восхитился его приятелем, выращивающим такие фрукты, поблагодарил проводника за труды, щедро заплатив ему от имени барина, и угостил его одним яблоком.

Он остался очень доволен всеми формами моей благодарности, облокотился о стенку и стал есть своё яблоко. А я уплетал сочную, божественную грушу, боясь пролить хоть каплю её обильного сока! Проводник пригласил меня в своё купе, но я сказал, что барин мой очень строг, что, по незнанию языков, он без меня не может обходиться ни минуты, и что теперь я передам ему фрукты, и мы с ним ляжем спать. На его вопрос о завтраке и обеде я ответил, что барин мой очень важный лорд, и что лорды, иначе чем по карточке отдельных заказов, не обедают.

Я простился с проводником, ещё раз его поблагодарил и вошёл в своё купе. Я старался двигаться как можно тише, но вскоре обнаружил, что Флорентиец спит совершенно мёртвым сном; и если бы я даже приложил все старания к тому, чтобы его сейчас разбудить, — то вряд ли успел бы в этом нелёгком деле.

Все мускулы тела его были совершенно расслаблены, как это бывает у отдыхающих животных, а дыхание было так тихо, что я его вовсе не слышал.

"Ну и ну, — подумал я. — Эта дурацкая ватная шапка да дервишский колпак, кажется, повредили мне слух. Я всегда так тонко слышал, а сейчас даже не улавливаю дыхания спящего человека!"»

Я протёр уши носовым платком, наклонился к самому лицу Флорентийца и всё равно ничего не услышал.

Огорчённый таким явным ухудшением слуха, я вздохнул и полез за маленьким чемоданом.

Глава 6. МЫ НЕ ДОЕЗЖАЕМ ДО К.

В вагоне было так темно, что я сделал маленькую щёлку, чуть приподняв шторку на окне, уселся возле столика и попробовал открыть чемоданчик. Ключа нигде не было видно, но повертев во все стороны замки, я всё же его открыл, хотя и не без некоторого количества проклятий. Сверху лежали аккуратно завёрнутые коробочки с винными ягодами, сушёными прессованными абрикосами и финиками. Я вынул их и под несколькими листами белой бумаги нашёл письмо на моё имя, и почерк его был мне незнаком.

Я уже не боялся шелестеть бумагой, так как Флорентиец продолжал спать своим смертоподобным сном. Я разорвал конверт и прежде всего взглянул на подпись. Внизу было четко написано: "Али Махмуд".

Письмо было недлинное, начиналось обычным восточным приветствием: «Брат».

Али молодой писал, что посылает забытые мною в студенческой куртке вещи, а также бельё и костюм, которые мне, вероятно, пригодятся и которые я найду в большом чемодане. Прося меня принять от души посылаемое в подарок, он прибавлял, что в чемодане я найду все необходимые письменные принадлежности и немного денег, лично ему принадлежащих, которыми он братски делится со мной. В другом же отделении сложены только женские вещи, деньги и письмо, которые он просит передать Наль при первом же моём свидании с нею, когда и где бы это свидание ни состоялось.

Далее он писал, что Али Мохаммед посылает мне тоже посылочку, которую я найду среди носовых платков. Али молодой очень просил меня не смущаться финансовым вопросом, говоря, что вскоре увидимся и, возможно, обменяемся ролями.

Я был очень тронут такой заботой и ласковым тоном письма. Подперев голову рукой, я стал думать об Али, его жизни и той трещине, которая образовалась сейчас в его сердце, в его любви. Фиолетово-синие глаза Али молодого, его тонкая фигура, такая худая и тонкая, что можно было принять её за девичью, походка лёгкая и плавная, — всё представилось мне необыкновенно ясно и было полно очарования. Я не сомневался, что он хорошо образован. А подле такой огненной фигуры, как Али старший, мудрость которого светилась в каждом взгляде и слове, — вряд ли мог жить и пользоваться его полным доверием неумный и неблагородный человек.

Я подумал, что всю жизнь мальчик Али прожил в атмосфере борьбы и труда за дело освобождения своего народа. И, вероятно, в его представлении жизнь человека и была ничем иным, как трудом и борьбой, которые стояли на первом плане, а жизнь личная была жизнью номер два. Я не мог решить, сколько же ему лет, но знал, что он гораздо старше Наль. На вид он был так юн, что нельзя было ему дать больше семнадцати лет.

Я снова перечел его письмо; но и на этот раз не понял, какие вещи мог отыскать Али в моём платье. Я заглянул снова в чемодан, хотел было поискать, где лежат носовые платки, но приподняв случайно какое-то полотенце, вскрикнул от изумления: в полутьме вагона сверкнуло что-то, и я узнал дивного павлина на записной книжке брата.

Только теперь я вспомнил, как мы перебирали туалетный стол брата и я сунул эту вещь в карман. Я вынул книжку и стал рассматривать ювелирную чудо-работу. Чем дольше я смотрел на неё, тем больше поражался тонкому и изящному вкусу мастера. Распущенный хвост павлина благодаря игре камней казался живым, точно шевелился; голова, шея и туловище из белой эмали поражали пропорциональностью и гармонией форм. Птица жила!

"Как надо любить своё дело! Знать анатомию птицы, чтобы изобразить её такою", — подумал я. И какая-то горькая мысль, что мне уже двадцать лет, а я ничего — ни в одной области — не знаю настолько, чтобы создать что-нибудь для украшения или облегчения жизни людей, пронеслась в моей голове.

Я всё держал книжку перед собой, и мне захотелось узнать её историю. Была ли она куплена братом? Но я тотчас же отверг эту мысль, так как брат не мог бы купить себе столь ценную вещь. Был ли это подарок? Кто дал его брату?

Уносясь мыслями в жизнь брата, — такой короткий и сокровенный кусочек которой я вдруг узнал, — я связал фигуру павлина с тем украшением на чалме Али Мохаммеда, которое было на ней во время пира. То был тоже павлин, совершенно белый, из одних крупных бриллиантов. "Вероятно, павлин является эмблемой чего-либо", — соображал я. Жгучее любопытство разбирало меня. Я уже был готов открыть книжку, чтобы прочесть, что писал брат; но мысль о порядочности, в которой он меня воспитывал, остановила меня. Я поцеловал книжку и осторожно положил её на место.

"Нет, — думал я, — если у тебя, брата-отца, есть тайны от меня, — я их не прочту, пока ты жив. Лишь если жизнь навсегда разлучит нас и мне так и не суждено будет передать тебе в руки твоё сокровище, — я его вскрою. Пока же есть надежда тебя увидеть, — я буду верным стражем твоему

павлину".

Жара становилась невыносимой. Я съел ещё одну сочную грушу и решил отыскать посылочку Али Мохаммеда. Вскоре я нашёл стопку великолепных носовых платков, и между ними лежал конверт, в котором прощупывалось что-то твёрдое, квадратное.

Я вскрыл конверт и чуть не вскрикнул от восхищения и изумления. Внутри находилась коробочка с изображением белого павлина с распущенным хвостом. Не из драгоценных камней была фигурка павлина, а из гладкой эмали и золота с точным подражанием расцветке хвоста живого павлина. Коробочка была чёрная, и края её были унизаны мелкими ровными жемчужинами.

Я её открыл; внутри она была золотая, и в ней лежало много мелких белых шариков, вроде мятных лепёшек. Я закрыл коробочку и стал читать письмо.

Оно меня поразило лаконичностью, силой выражения и необыкновенным спокойствием. Я его храню и поныне, хотя Али Мохаммеда не видел уже лет двадцать, с тех пор, как он уехал на свою родину.

"Мой сын, — начиналось письмо, — ты выбрал добровольно свой путь. И этот путь — твои любовь и верность тому, кого ты сам признал братом-отцом. Не поддавайся сомнениям и колебаниям. Не разбивай своего дела отрицанием или унынием. Бодро, легко, весело будь готов к любому испытанию и неси радость всему окружающему. Ты пошёл по дороге труда и борьбы, — утверждай же, всегда утверждай, а не отрицай. Никогда не думай: "не достигну", но думай: «дойду».

Не говори себе: "не могу", но улыбнись детскости этого слова и скажи: «превозмогу», Я посылаю тебе конфеты. Они обладают свойством бодрящим. И когда тебе будет необходимо собрать все свои силы или тебя будет одолевать сон, особенно в душных помещениях или при качке, — проглоти одну из этих конфет. Не злоупотребляй ими. Но если кто-либо из друзей, а особенно твой теперешний спутник, — попросит тебя покараулить его сон, а тебя будет одолевать изнеможение, вспомни о моих конфетах. Будь всегда бдительно внимателен. Люби людей и не суди их. Но помни также, что враг зол, не дремлет и всюду захочет воспользоваться твоей растерянностью и невниманием. Ты выбрал тот путь, где героика чувств и мыслей живёт не в мечтах и идеалах или фантазиях, а в делах простого и серого дня. Жму твою руку. Прими моё пожатие бодрости и энергии... Если когда-либо ты потеряешь мир в сердце, — вспомни обо мне. И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для

пользы и счастья людей".

Письмо было подписано одной буквой «М». Я понял, что это значило «Мохаммед».

С того момента, как я оказался в вагоне, прошло, вероятно, уже часа два, если не больше. Жара, казалось мне, достигла своего предела. Я снял курточку, расстегнул ворот рубашки и всё же чувствовал, что не могу удержать слипающихся век и вот-вот упаду в обморок. Я посмотрел на Флорентийца. Он всё так же мёртво спал. Мне ничего не оставалось, как попробовать действие конфет Али Мохаммеда.

Я открыл коробочку, вынул одну из конфет и начал её сосать. Сначала я ничего особенного не ощутил; меня всё так же клонило ко сну. Но через некоторое время я почувствовал как бы лёгкий холодок; точно по всем нервам прошёл какой-то трепет, желание спать улетучилось, я стал бодр и свеж, точно после душа.

Я принялся рассматривать содержимое той части чемодана, где были вещи для меня. Я нашёл туго набитый деньгами бумажник; нашёл очаровательные приборы для умывания и для письма. Полубовавшись всем этим, я привёл всё в порядок и закрыл чемодан, не прикоснувшись к тому отделению, где были вещи, предназначенные для Наль.

Только что я хотел приняться за чтение книги, как в дверь купе слегка постучали. Я приоткрыл её и увидел в коридоре высокого господина, по виду коммерсанта. Он спросил меня по-французски, не желает ли кто-либо в нашем купе развлечься от скуки партией в винт. Я отвечал, что я слуга-переводчик, в винт играть не умею. А барин мой англичанин, ни слова не понимает ни по-русски, ни по-французски. И что я ни разу не видел в его руках карт. Посетитель извинился за беспокойство и исчез.

Быть может, всё происходило самым обычным и естественным образом. И вагонный спутник был из тех многочисленных картёжников, что способны и день и ночь просиживать за карточным столом. Но моей расстроенной за последние дни калейдоскопом сменяющихся событий фантазии уже мерещился соглядатай; и я невольно задавал себе вопрос: не такой же ли он коммерсант, как я слуга.

"Положительно, — думал я, — не хватает только очутиться нам на необитаемом острове и найти покровителя вроде капитана Немо. Живу, точно в сказке".

Я очень был бы рад, если бы Флорентиец бодрствовал. Мне становилось несносным это долгое вынужденное молчание под единственный аккомпанемент скрипящих на все лады стенок вагона и мерного стука колёс.

Я ещё раз прочел письмо Али старшего. Я представил себе его огненные глаза и его высоченную фигуру. Мысленно поблагодарил его не только за живительные конфеты, но и за не менее живительные слова письма. Я погладил рукой своего очаровательного павлина на коробочке и положил её, как лучшего друга, во внутренний карман курточки, накинув её себе на плечи.

Я уже не ощущал давления в висках, пульс мой был ровен; я взял книгу и решил почитать.

Приподняв выше шторку, я посмотрел на местность, по которой мы сейчас ехали. Это снова была голодная степь; очевидно, здесь не было никакого орошения. Жгучее солнце и сожжённая голая земля — вот и весь ландшафт, насколько хватало глаз.

"Да, — это край, забытый милосердием жизни, — подумал я. — Должно быть, люди здесь любят строить голубые купола мечетей и пёстро изукрашивать их стены, предпочитают яркие краски в одеждах и коврах, чтобы вознаградить себя за эту голую землю, за эту жёлтую пыль, в которой верблюд бредёт, утопая в ней по колено".

Поезд шёл не особенно быстро, остановки были редки. Я начал читать свою книгу. Постепенно фабула романа меня захватила, я увлекся, забыл обо всём и читал, вероятно, не менее двух часов, так как почувствовал, что у меня затекли руки и ноги.

Я встал и начал их растирать. Вскоре тело Флорентийца как-то странно вздрогнуло, он потянулся, глубоко вздохнул и сразу — как резиновый — сел.

— Ну вот я и выспался, — сказал он. — Очень тебе благодарен, что ты меня караулил. Я вижу, что ты сторож надёжный, — засмеялся он, сверкая белыми зубами и вспыхивающими юмором глазами. — Но почему ты меня не разбудил раньше? Я спал, должно быть, больше четырёх часов, — продолжал он, всё смеясь.

Я же стоял, выпучив глаза, и не мог сказать ни слова, до того он меня поразил своим пробуждением.

— В жизни не видал таких чудных людей, как вы, — сказал я ему. — Спите вы, как мёртвый, а просыпаетесь, словно кошка, почуявшая во сне мышь. Разбудить вас? Да ведь я же не гигант, чтобы поставить вас на ноги, как это вы проделали со мной; если бы я тряс вас даже так, чтобы душу из себя вытрясти, то вряд ли всё же добудился бы.

Флорентиец расхохотался, его смешили и моя физиономия, и моя досада.

— Ну, давай мириться, — сказал он. — Если я тебя обидел, что сплю на

свой манер, а не так, как полагается по хорошему тону, то, пожалуй, и ты подобрал мне сравнение не очень лестное, что не подобает доброму слуге важного барина. Уж сказал бы хоть «тигр», а то не угодно ли «кошка». С этими словами он встал, посмотрел на фрукты и сказал: — Ну и молодец же ты! Вот так фрукты! Можно подумать, ты их стащил в Калифорнии!

— Ну, в Калифорнию я сбегать не успел; а проводнику щедро за них заплатил, — ответил я. — Во время вашего сна приходил сосед — вроде французского комми — и приглашал вас играть в винт.

Флорентиец ел дыню, кивая на мой доклад головой, и вдруг увидел письма обоих Али, которые я оставил на столе.

Я прочел ему оба. Он спросил, куда я спрятал коробочку, и когда я показал на внутренний карман куртки, произнёс:

— Нет, не годится. В моих брюках, с внутренней стороны справа, есть глубокий потайной кожаный карман. Положи её туда.

Я нащупал справа, у самой талии, карман и переложил туда коробочку. Флорентиец наклонился к: окошку, оглядел местность и сказал:

— Скоро подъедем к большой станции. Видишь там вдали деревья, — это уже станция. Тебе надо будет выйти размять ноги и купить газет. Возьми все, какие найдутся, местные тоже.

Я накинул курточку, спрятал письма в книгу и приготовился идти.

— Подожди, письма ты хочешь сохранить? — спросил Флорентиец. — Непременно, — ответил я.

— Тогда убери их в чемодан. И не только теперь, — когда мы можем быть выслежены, — но никогда и нигде не оставляй писем не спрятанными падежно. А самое лучшее, держи всё в голове и сердце, а не на бумаге.

Я спрятал письма и вышел, так как поезд уже замедлил ход и подходил к перрону.

— Спроси на всякий случай, петли телеграммы до востребования лорду Бенедикту, — сказал мне вдогонку Флорентиец.

Я поднёс руку к козырьку фуражки и вышел, торопясь, как усердный слуга, выполнить приказание барина. Встретясь с проводником, я спросил его, где купить газеты и журналы, в какой стороне перрона телеграф и долго ли здесь стоит поезд. Проводник все мне подробно рассказал и пожалел, что не может пойти со мной, так как это большая станция, здесь всегда многие сходят и садятся новые пассажиры, а потому ему нельзя отлучиться. Но поезд стоит минут двадцать, можно не торопиться.

Я спрыгнул на перрон, как только остановился поезд. Народу было много. Гортанные голоса пёстрой, сожжённой солнцем, темнолицей толпы, рассаживающейся по вагонам, в суете и давке перемешивались со смехом и

шутками бежавших за водой пассажиров с бутылками, чайниками и кувшинами в руках.

Жара и здесь стояла палящая, но после душного вагона воздух показался мне райским.

Я сходил на телеграф, получил две телеграммы для моего барина, купил целую кучу газет, какие только были, и вернулся в вагон. Войдя в него, я встретился с новыми пассажирами. Один был одетый по-восточному, довольно красивый мужчина с мягким выражением лица, другой — в белом кителе и форменной фуражке инженера-путейца, с лицом каким-то безразличным, маленького роста и, видимо, очень страдавший от жары.

Я вошёл в свое купе, подал Флорентийцу телеграммы и газеты. Он прочел телеграммы и протянул их мне. Я сначала ничего не понял, а потом разобрал, что русскими буквами были составлены английские слова. В одной говорилось, что на станции П. нас будут ждать лошади. А другая сообщала, что два дома и два магазина в К. загорелись от неизвестных причин, спасти удалось только людей и животных.

Я взглянул на Флорентийца, который читал местную газету, полученную утром из К. В ней писалось о пожаре в доме Али, о том, что огонь перебросился через дорогу на дом капитана Т. Дом сгорел дотла, спасся один только денщик. А сам капитан, его брат и их друг, хромой старик-купец, не смогли проскочить через стену пламени, так как старый сухой дом загорелся сразу со всех сторон, как картонный. А запас керосина, хранившийся в доме, только раздул огонь.

Флорентиец перевёл мне эту записку и сказал, что судя по телеграммам, для нас пока всё складывается благополучно. У него с Али было условлено, что если нас выследят в этом поезде, Али вышлет со своего хутора лошадей на станцию П. Мы сойдём и вернёмся на предшествующую станцию, где и сядем в московский поезд. Телеграмма о лошадях есть, до П. уже недалеко. Сердце моё было беспокойно. Мне думалось, что ведь брат действительно мог вернуться и очутиться в опасности. Я поделился своими мыслями с Флорентийцем. Лицо моего друга было очень серьёзно. — Что твой брат в опасности, — об этом ты знаешь. Пока все они не сядут на пароход и не достигнут Лондона, — им грозит беда. Но что его нет в К. - это так же верно, как и то, что тебя там не было во время пожара. Не будем думать о призраках и фантазиях, растрачивая попусту энергию, а станем её собирать, чтобы в полном самообладании выполнить свою долю помощи нашим беглецам. Теперь тебе предстоит организовать наш обед. Заплати проводнику ещё "на чай", попроси свести тебя с поваром вагона-

ресторана и закажи для своего барина-чудака вегетарианский обед. Но только чтобы подали его сюда и не позднее чем через час. Скоро ты почувствуешь усталость; надо тебе поесть и выспаться. Нам предстоит в короткое время сделать тридцать вёрст на лошадях. Лошади будут хороши, коляска, думаю, тоже; но твоё здоровье хрупко.

— Я невысок и худ, но здоровье моё крепко. Я хорошо закалён и выдрессирован братом с детства. Не раз сопровождал его в лагеря, один раз даже ходил в поход и могу шутя проехать верхом и сорок вёрст, — ответил я. — Если же я упал в обморок и часто чувствую изнеможение, то только непривычная жара тому причиной. Но конфеты Али спасут меня. Обо мне вы не думайте. Скорее надо бояться вашего страшного сна; ведь если вы эдак заснёте в коляске, как спали только что, то, действительно, можно сгореть в пожаре раньше, чем вас добудешься. Флорентиец снова весело расхохотался. — Эк напугал я тебя своим богатырским сном! Придется одолжить у тебя пилюлю Али и больше так не спать, — весело прибавил он.

— У вас есть свои пилюли. Вам Али дал коробочку, из которой потчевал меня в своём кабинете, — тоже смеясь, ответил я.

— Есть-то есть, да только ты и вторую из этой коробочки уже съел в доме моего друга ночью, значит всё же одну ты мне должен.

Посмеявшись над моей пилюльной скупостью, он сказал, что давно читает вопросы в моих глазах и мыслях о дервише и Али, но что расскажет обо всём в Москве.

Я пошёл хлопотать об обеде. Звонкая монета обстряпала всё легко и просто. Через час в нашем купе стоял складной столик, и лакей из вагона-ресторана принёс отличные вегетарианские блюда. Мой барин велел передать повару денежную и сердечную благодарность и просьбу накормить нашего проводника.

Наконец всё было убрано, и я отправился с последним поручением барина к проводнику. Я сообщил ему, что телеграмма известила лорда о возможности хорошей торговой операции на станции П. Пусть он нас разбудит заранее и поможет вынести вещи на платформу. Он был очень рад услужить нам за хороший обед и всё повторял, что такие отличные пассажиры редко попадают.

Войдя в купе, я увидел, что Флорентиец приготовил мне постель, вынув мягкую подушку из большого чемодана. Я был растроган его заботой, вспомнил, как сам он спал на твёрдом валике, и с укоризной сказал ему:

— Ну, зачем вы беспокоитесь? Я же мог так же спать, как и вы. Да и вряд ли засну. Нервы взбудоражены, всюду мерещатся западни.

— Ничего, я дам тебе капель, возбуждение уляжется, и заснёшь сном не хуже моего.

Говоря так, он достал из своего широкого пояса-жилета маленький флакон и накапал мне в воду несколько капель.

— Гомеопатия, — сказал я. — Не очень-то я в неё верю, — но всё же проглотил и улёгся. Последнее, что я слышал, был смех Флорентийца; я точно провалился в пропасть и сразу крепко заснул.

Проснулся я, как мне показалось, от стука в дверь. На самом же деле это будил меня Флорентиец. На сей раз я проснулся легко, чувствуя, как дивно я отдохнул. Не успел я встать, как раздался стук в дверь. Выглянув в коридор, я увидел проводника, который сказал, что через двадцать минут будет станция П., я должен собрать вещи, и он вынесет их на площадку, так как поезд стоит здесь только восемь минут.

Вещей мне собирать не пришлось, всё было уже сделано Флорентийцем. Он успел и подушку и простыню убрать, пока я одевался и разговаривал с проводником. Сам он был теперь в другом костюме и велел мне надеть поверх моей курточки лёгкий светлый костюм, а вместо кепи панаму. Сверх всего он накинул на меня и себя чёрные плащи, вроде тех, что носят морские офицеры.

Мы с проводником вынесли вещи на перрон. Кто-то из пассажиров окликнул его из вагона, он наскоро пожал мне руку и убежал.

На этот раз вся медлительность Флорентийца исчезла. Он быстро взял большой чемодан и свой саквояж, маленький отдал мне, взял меня за руку и зашагал не в зал, а, огибая садик станции, в сторону водонапорной башни.

Едва мы успели зайти за неё, как с противоположной стороны выскочили два дервиша, вглядываясь во тьму ночи. К ним, запыхавшись, подбежал с перрона сарт, быстро что-то сказал и ткнул в руки билеты. Все трое помчались со всех ног к поезду и едва успели вскочить в последний вагон.

Мы молча стояли за выступом башни. Флорентиец крепко держал меня за руку. Мы ждали до тех пор, пока поезд не отошёл и всё не стихло вокруг. Тогда он сказал мне:

— Нам надо очень быстро пройти с полверсты. Возьми мой саквояж, дай мне свой чемодан и крепко держись за мою руку.

Я хотел возразить, но он шепнул:

— Ни слова, скорее, после: мы в большой опасности, мужайся. Если успеем сесть в московский поезд, следы наши затеряются.

Мы шли в глубь местности, вправо от станции. Тьма была полная. Шли

мы не по дороге, а по узкой тропе и так быстро, что я почти бежал, а Флорентиец шагал своими длинными ногами, не замечая ни тяжести клади, ни моего бега.

Шли мы минут двадцать, внезапно нас кто-то окликнул. Флорентиец ответил, и я увидел в темноте силуэт лошадей и экипажа. Кучер взял большой чемодан, Флорентиец втолкнул меня внутрь, прыгнул сам почти на ходу, — и мы понеслись. Много я ездил с тех пор. Ездил и на пожарных лошадях, и на рысаках, но этого безумного бега, этой тёмной ночи я не забыл и, очевидно, не забуду.

Панаму мне немедленно пришлось снять; в ушах свистел ветер; лошади неслись вскачь. Соображать я ничего не мог. Я помнил только слова Флорентийца, его «мужайся» подобно гвоздю вошло в меня. Мы мчались так почти час; лошади тяжело дышали и пошли медленнее. Мелькнул ряд домов, деревья, — и мы внезапно остановились. «Катастрофа», — подумал я.

Флорентиец выпрыгнул, схватил чемоданы, как ребёнка посадил меня вместе с саквояжем и сказал по-английски: — Скорей бери мою руку.

Мы перебежали через какой-то двор и увидели бричку, в которую мигом взгромоздились. Кучер гикнул, и мы снова помчались.

Флорентиец о чём-то спросил кучера, одетого по-восточному, тот успокаивающе что-то объяснял. Я подосадовал на своё незнание языка.

"Вот, и не глух и не нем, а выходит, что и глух и нем", — думал я; и тут же дал себе слово выучиться этому проклятому языку.

— Ничего, — сказал Флорентиец, ласково пожимая мне руку и точно читая мои мысли. — Беда невелика, ты можешь выучить ещё сто языков. Мы скоро приедем; возница сказал, что в следующем кишлаке нас уже ждут билеты и что мы приедем минут за пять до поезда.

Лошади всё так же быстро мчались. В этой лёгкой бричке мне бы не усидеть, если бы Флорентиец не держал меня своей крепкой рукой за талию.

Вскоре стали мелькать дома, у одного из них лошади замедлили бег, и вдруг на подножку с моей стороны кто-то впрыгнул. От неожиданности я отпрянул, но, увидев смеющуюся во весь рот физиономию, понял, что это друг. Незнакомец ловко присел на ободок брички, подал Флорентийцу конверт и весело затрещал что-то, очень его, очевидно, смешившее. Вскоре он на ходу спрыгнул и пропал во тьме.

— Билеты есть. Станция уже видна, — сказал Флорентиец. — Мы мчались меньше двух часов. Вот и огоньки станции. Запомни, ты теперь мой двоюродный брат, а не слуга. Но язык русский я знаю плохо, так как

вырос и воспитывался в Лондоне. И ты мой гид и помощник в делах, без которого я обходиться не могу. Между собой мы говорим только по-английски.

Мы подкатили к станции, сердечно поблагодарили возницу, и не успели выйти на перрон, как раздался свисток поезда.

Билеты были первого класса. Вагон был или пуст, или всё в нём спало. В просторном четырёхместном купе не было никого. Проводник тоже спал и предоставил нам самим устраиваться на своих местах. Мне показалось, что он не совсем трезв и старается скрыть от нас своё состояние.

На моё замечание о странном поведении проводника, даже не спросившего у нас билетов. Флорентиец сказал, что нет худа без добра, потому что наши билеты начинаются со следующей станции. Будь он трезв, пришлось бы входить с ним в сделку. А теперь он не сможет даже вспомнить, на какой станции мы сели в поезд.

Разместив наши вещи, мы заперли купе и вытянулись на мягких диванах, обитых красным бархатом. Флорентиец сказал, что спать не будет, что ему надо прочесть письмо и кое-что сообразить. Я думал, что мой сон тоже далёк, хотел услышать разъяснение всех передрыг этой ночи, но не успел задать вопроса, как заснул глубоким сном.

Конец ночи прошёл для меня без сюрпризов. Утром я проснулся совершенно бодрым, и первое, что я увидел, было ласково улыбавшееся мне лицо моего друга. Я почувствовал себя таким счастливым, что вижу его не строгим и озабоченным, а добрым и любящим! Снова мне показалось, что я знаю его давным-давно.

— Положительно, — воскликнул я, — я мог бы спорить, что давным-давно вас знаю. Такую любовь, доверие и уверенность я испытываю подле вас. Я хотел бы всегда, всю жизнь следовать за вами и разделять все ваши труды и опасности. Я не могу теперь даже представить жизни без вас!

Он рассмеялся, поблагодарил меня за любовь и дружбу и сказал, что его жизнь состоит не из одних только трудов, борьбы и опасностей, но и из больших радостей и знаний, которые он будет счастлив разделить со мной, если я в самом деле захочу пожить возле него.

Было уже часов восемь. Солнце стояло высоко, всё такое же яркое. Но мы ехали уже не по голодной степи. Здесь почва была покрыта хотя и сожжённой солнцем, но всё же травой. Селения встречались чаще; и у каждой речушки или озера торчали юрты кочующих киргизов или калмыков.

— Здесь ещё есть жизнь, — заметил Флорентиец. — Но ночью мы въедем в полосу пустыни и так и поедем по ней больше суток. Жизнь

заброшенных туда людей — это почти только одни семьи железнодорожного персонала — полна бедствий. Кочующие пески не дают возможности развести ни огородов, ни садов. Колодцы возле станций есть, но вода в них солона и не годится не только для питья, но даже для выращивания овощей. Питьевую воду им доставляют в цистернах, но далеко не в достаточном количестве, и эти несчастные воруют друг у друга остатки пресной воды. А на зубах у них всегда хрустит песок.

Я представил себе эту жизнь и подумал, скольких мест ещё не достигла цивилизация. Как много предстоит преодолеть трудностей, чтобы жизнь стала сносной для всех.

Постучали в нашу дверь. Это оказался проводник, спрашивавший билеты и извинявшийся, что он забыл их взять у нас ночью. А сейчас пойдёт проверка билетов, которые должны находиться у него. Флорентиец подал их проводнику. — Завтрак, чай, — сказал он ему с иностранным акцентом.

Я объяснил проводнику, что мой брат желает кушать в купе, а не ходить в вагон-ресторан. Он взялся принести нам завтрак, но сказал, что хороший вагон-ресторан прицепят только в Самаре, а пока кормят плохо. На мой вопрос о фруктах ответил, что может их достать сейчас и даже отличные.

Я дал ему денег, подумав, сколько же из них он пропьёт. И решил, что наше путешествие до Москвы будет не самым комфортным и вряд ли мы получим съедобный завтрак.

Но я ошибся. Проспавшийся проводник оказался честным малым. Он вскоре принес отличный кофе со сливками, вкусный хлеб, масло, сыр и фрукты и всю до копейки сдачу.

Когда завтрак был окончен и всё убрано, Флорентиец сказал мне:

— Теперь приготовься выслушать, от каких бедствий мы спаслись и какие грозы собираются над головой Али. Люди в одежде дервишей и тот третий, с билетами, которых мы встретили ночью у водонапорной башни, гнались за нами. Фанатики и муллы выследили нас благодаря многочисленности монашествующих сект и отличной шпионской организации, связывающей их всех между собой. Прибежавший к дервишам сарт с билетами сказал им, что мы следуем в К. в международном вагоне, что ты едешь в платье слуги и тебя надо прикончить в толпе на перроне. А меня постараться захватить живьём, когда начнется переполох. Теперь они уже подъезжают к К. Они сели на той станции, где мы сошли, все там обследовали и потому будут уверены, что нас там не было. За хутором Али, откуда нам прислали лошадей, вели слежку весь день. Убедившись окончательно, что нас там нет, они

попросили кучера довезти их до станции к ночному посадку. Он с удовольствием это сделал, так как иначе ему невозможно было бы выехать за нами, не возбудив ничьих подозрений. Доставив их на станцию, он тотчас уехал, будто бы домой, а на самом деле остановился в том месте, которое Али указал мне в телеграмме. И вот след наш теперь так запуган, что найти нас трудно. Но все же, чтобы нам ехать не вдвоем, ведь ищут двоих, надо послать телеграммы двум моим друзьям, чтобы они перехватили нас на этом поезде, как и где только смогут и как можно скорее...

Я вызвался отправить телеграммы, но Флорентиец сказал, что это надо поручить проводнику.

Телеграммы были написаны. Отдавая проводнику телеграммы и деньги. Флорентиец сказал:

— Всё, что останется, возьмите себе. — И задержав его грубую руку в своей прекрасной руке, прибавил тихим проникновенным голосом: — Только не пейте больше. Это не облегчит вашего горя, а прибавит ещё несчастий.

Тут произошло что-то необыкновенное. Проводник схватил обеими руками руку Флорентийца, приник к ней и зарыдал. Эти горькие рыдания раздирали мне душу. Слезы стояли в моих глазах, я едва мог их удержать.

Флорентиец усадил проводника рядом с собою на диван, отёр его слёзы своим чудесным, душистым носовым платком и сказал:

— Не горюйте. Девочка ваша умерла, но жена жива. Вы оба очень молоды, и будут ещё у вас дети. Но надо так жить, чтобы дети рождались здоровыми, а поэтому никогда не пейте. Дети алкоголиков всегда бывают больными и, чаще всего, несчастными.

Он подал ему стакан с водой, накапав туда каких-то капель. Придя в себя, проводник сказал:

— Я никогда не пил до этого раза. Но вернувшись домой, увидел мёртвого ребёнка и мёртвую жену, а тут ни минуты времени и надо уезжать, — не смог я с собой совладать, в дороге стал пить. Так это я вам, барин, рассказал ночью про своё горе. Всё спуталось в моей голове. Я думал, что это я прошлой ночью какому-то азиату рассказывал. Он бродил по вагонам, разыскивая своего товарища — слугу в коричневой одежде и никак мне не верил, что такой у меня не едет. Всё я перепугал. Мне показалось, что он прошёл в международный вагон, а я задремал минут на пять. А оказалось, что уже две станции проехали, хорошо, что контролёр за это время не проходил. Ах, как я всё перепутал спьяну! Думал, что это я ему рассказывал. — Он покачал недоуменно головой. — Грех-то какой!

Невесть чего мерещится.

Флорентиец ещё раз пожал ему руку, повторил, что жена его была в глубочайшем обмороке, что это бывает при родах. Он советовал ему послать домой телеграмму с оплаченным ответом на Самару до востребования.

— Так вы, барин, значит доктор. Оно и видать. Только доктор и может человека человеком признать, пусть он и беден. Вы не гнушались мне руку пожать, — говорил проводник, аккуратно складывая платок Флорентийца и возвращая его.

— Возьмите его на память о нашей встрече, друг, — сказал Флорентиец. — А это передайте вашей жене, когда вернётесь домой, чтобы принимала по одной капле перед каждой едой. Когда все капли выпьет, поправится совсем. Флакон пусть оставит себе на память о докторе. Когда вам будет тяжело в жизни, поглядите на флакон, подержите в руках мой платок и подумайте о моих словах, как я просил вас никогда не пить.

Он ещё раз пожал проводнику руку, задержав ее в своих, улыбнулся ему и сказал:

— Мы еще с вами увидимся. Не теряйте мужества. Пьяный человек — не человек, а только двуногое животное. Не скорбите, что потеряли ребёнка, а радуйтесь, что жива любимая жена. Бегите, подъезжаем.

Проводник вышел, мы остались одни. На душе моей было пасмурно. Я-то знал отлично, что Флорентиец не говорил с проводником. Откуда он мог знать о его горе, его жене? Какая-то досада и раздражение опять подымались во мне: опять эта ненавистная таинственность.

— Не надо сердиться, Левушка, — сказал мне Флорентиец, нежно обняв меня за плечи. — Право же, на свете нет чудес. Всё объясняется очень просто. Я вышел ночью в коридор, слышу, кто-то плачет и причитает. Я пошёл на голос и увидел этого несчастного перед откупоренной бутылкой водки, которой он жаловался и изливал горе по умершей жене и новорожденной дочке. Не надо быть врачом, чтобы знать, что у женщин при болезни почек во время родов случаются глубочайшие обмороки. Я уверен, что тут был как раз такой случай и что его жена пришла в себя, но у бедняги не было времени дождаться и убедиться в этом. Ты уже не дитя, — продолжал он, усаживая меня подле себя. — Тебе пора оставить манеру прежде всего сердиться, если ты чего-нибудь не понимаешь. Во всём, что тебе кажется таинственным и непонятно чудесным из происшествий последних дней, — если бы ты не раздражался, а собирал волю и бдительно наблюдал, ты бы сам убедился, — нет чудес, а есть та или иная степень знания.

Голос его, выражение милых глаз, всё было так отечески нежно и ласково, что я приник к нему, — и снова волна радости, уверенности и спокойствия пробежала по мне. Я был счастлив.

Вскоре вернулся проводник, принёс квитанции на посланные телеграммы и букет роз, которым украсил наш столик. Флорентиец сказал, что ждет в Самаре двух своих друзей, для которых просит оставить соседнее с нами купе. А что касается нашего, то хочет занять в нём все четыре места, чтобы хорошенько отдохнуть. Проводник объяснил, что, заплатив за лишние две плацкарты, мы получили право на всё купе. Но если хотим заказать купе для друзей, должны внести вперёд сумму за заказ и билеты, что мы сейчас же и выполнили.

Дальше наше путешествие проходило без осложнений. В Самару мы должны были приехать ночью. Я очень устал, мне хотелось спать, и я попросил проводника сделать мне постель. Флорентиец сказал, что будет ждать друзей, от постели отказался, а для них попросил приготовить постели в соседнем купе.

Я спросил проводника, почему вагон наш пуст. Он объяснил, что все едут на ярмарку в дальние восточные города, что в ту сторону вагоны заполнены до отказа купцами всех наций; а оттуда пока идут пустые поезда. Но через две недели нельзя будет достать ни одного билета обратно, даже и в третьем классе.

Постель моя была готова, я отлично вымылся, с восторгом переоделся в чистое бельё Али Махмуда, мысленно поблагодарил его, дав себе обещание отслужить ему за заботу, простился с Флорентийцем и мигом заснул.

Глава 7. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Проснувшись, я увидел, что диван Флорентийца пуст. Должно быть, было уже довольно позднее утро, и — что меня особенно поразило — в окна стучал частый крупный дождь.

С тех пор как я приехал к брату в К., где летом никогда не бывает дождя и о котором мечтаешь, покрытый потом и пылью, как о манне небесной, — это был первый дождь.

Я мигом вскочил и засмеялся, вспомнив, как меня поразила быстрота движений Флорентийца, когда он вот так же внезапно сел, проснувшись. И я сейчас, точно кот, почуявший мышь, бросился к окну и отдернул занавеску.

Дождь показался мне добрым, родным братом. В его серой пелене был виден лес, настоящий зелёный лес, и не было жары.

Какая-то нежность к своей родине, даже как бы чуть-чуть раскаяние, что я мало ценил её до сих пор, с её лесами, рощами, зелёными полями и сочной травой, пробежали по мне. Я радовался, что попал снова в свой край, где нет серо-жёлтого ландшафта, одинаково пустынного на десятки вёрст с торчащими, как бирюзовые горы, голубыми куполами и минаретами мечетей.

И как только эта восточная картина мелькнула в моём воображении, так сразу же встала передо мной и вся цепь событий, людей, отдельных слов и небольших эпизодов последних дней.

Моя радость потускнела, быстрота движений исчезла. Я стал медленно одеваться и думать, какой сумбур царит в моей голове. Я положительно не мог связать все события в ряд последовательных фактов. И всё, что было третьего дня, вчера или два дня назад, — всё сливалось в какой-то большой ком, и я даже не всё отчётливо помнил.

Внезапно в коридоре я уловил какое-то слово, и тембр голоса опять показался мне знакомым.

"Странно, — подумал я. — Всегда у меня была изумительная память на лица и голоса. А теперь и этот дар я, кажется, теряю. Должно быть, проклятая шапка дервиша да жара повредили мне не только слух, но и мозги".

В эту минуту снова донёсся из коридора баритональный, неповторимо красивый голос. Я даже сел от изумления, и всего меня бросило в жар, хотя ни о какой жаре и помина не было.

"Нет, положительно я стал какой-то порченый, как говорил денщик брата, — продолжал я думать, утирая пот со лба. — Не может это быть дервиш, который дал мне своё платье и у которого мы останавливались ночью". Всё завертелось в моей голове, до физической тошноты, недоумение заполнило меня всего.

Я думал, что если бы под страхом смертной казни я должен был рассказать в эту минуту подробный ход событий, я бы не мог их передать, память моя отказывалась логически работать. Я сидел, уныло повесив голову, а в коридоре теперь уже явно различал английскую речь — один из голосов принадлежал Флорентийцу, а другой был всё тот же чудесный металлический баритон, ласкающий, мягкий; но, казалось, прибавь этому голосу темперамента, — и он может стать грозным, как стихия.

"Нельзя же так сидеть растерянным мальчиком. Надо выйти и убедиться, кто же говорит с Флорентийцем", — продолжал я думать, напрасно стараясь отдать себе отчёт, когда точно я видел мнимого дервиша, сколько прошло времени с тех пор, мог ли он очутиться здесь сейчас.

Только я решился выйти из купе, как дверь открылась, и вошёл Флорентиец. Его прекрасное лицо было свежо, как у юноши, глаза блистали, на губах играла улыбка, — ну, век смотрел бы на это воплощение энергии и доброты; и никогда не поверил бы, как сурово серьёзно может быть это лицо в иные моменты.

Он точно сразу прочел все мои мысли на моём расстроенном лице, сел рядом, обнял меня и сказал:

— Мой милый мальчик! События последних дней могли расстроить и не такой хрупкий организм, как твой. Но всё, что ты испытал, ты перенёс героически. Ни разу страх или мысль о собственной безопасности не потревожили твоего сердца. Ты был так верен делу спасения брата, как только это возможно. Теперь я узнал о судьбе обоих Али и их домочадцев.

И он рассказал мне, как Али с племянником, проводив нас и дервиша, вернулись в город. Там они вывели из дома всех людей и спрятали их в глубоком бетонном погребе, под каменным сараем в самом конце парка. Туда же успели вынести из дома наиболее ценные ковры и вещи, замаскировав вход так, что найти его никто не мог. Там, в этом погребе, Али и все его домочадцы провели страшную ночь, когда толпа дервишей и правоверных кинулась на его дом.

Ужасов, неизбежных в этих случаях, — как выразился Флорентиец, — он не стал мне рассказывать. Власти, услышав, что религиозный поход принимает колоссальные размеры, — а это уже никого не устраивало, — разослали по всему городу патрули. Но патрули вышли тогда, когда дом

Али был уже подожжён со всех концов.

С домом брата фанатики поступили так же. Сухой как щепка старый дом сгорел дотла. Но тут несчастья было больше. Подкупленный денщик пустил вечером кого-то в дом, якобы осмотреть драгоценную библиотеку брата. Вошедшие стали угощать его вином, до которого он был великий охотник, очевидно угостились и сами на славу. Как было дело дальше, никто толком пока не знает. Но факт, что двое там сгорели, а денщик еле выскочил из огня. Ему рамой расшибло голову, когда он выпрыгивал. Еле добравшийся до задней калитки сада, полуодетый, окровавленный, почти в безумном состоянии, он был подобран проходившим патрулём и доставлен в госпиталь. Там в бреду всё повторял:

— Капитан... барин... брат... Они насильно лезли. — И снова: — Капитан... барин... брат... Я их не пускал... Они подожгли.

Военный доктор, узнав от солдат, что больной им известен, что это денщик капитана Т., встревожился и послал доложить генералу о пожаре. Он спрашивал, известно ли кому-нибудь, где капитан Т., не сгорел ли он вместе с братом в своём доме? Что от денщика его узнать ничего толком нельзя, и надо думать, в себя он не придёт и скоро умрёт.

Разбуженный генерал, предубеждённый вообще против местного населения, ненавидевший к тому же, когда тревожили его ночной покой, — помчался прямо к губернатору. Он там закатил такой спектакль, что немедленно всё проснулось. Ничего не видевшие и не слышавшие до этой минуты власти, считавшие местные дела не подлежащими санкциям царских властей, сразу же проснулись, прозрели и кинулись тушить пожар фанатизма, объявив этот религиозный поход бунтом.

Хорошо заплатив всем властям за невмешательство, бесчинствующая толпа фанатиков была поражена примчавшейся пожарной командой и нарядом военных. Мулла стал уверять дервишей и толпу, что это только инсценировка, что никого не тронут. Но когда увидел выстроившуюся цепь солдат, готовых к стрельбе, — первый бросился бежать со всех ног, за ним разбежалась и толпа.

Дом Али удалось наполовину отстоять, но дом брата горел, как костёр, пламя бушевало с такой силой, что даже подступить к нему близко было невозможно. Очевидно, благодаря бреду бедняги-денщика создавалась уверенность, что капитан Т. и его брат сгорели в доме.

Пока Флорентиец всё это мне рассказывал, у меня, как у одержимых навязчивой идеей, сверлила в голове мысль: "Чей я слышал голос? Как зовут этого человека?"

Не в первый раз за наше короткое знакомство я замечал поразительное

свойство Флорентийца: отвечать на мысленно задаваемый вопрос. Так и теперь, он мне сказал, что в Самаре в наш вагон сели два его друга, которых он встретил на перроне.

— Один из них тебе уже знаком, — проговорил он с неподражаемым юмором, как комично подмигнув мне глазом, что я покатился со смеху. — Его зовут Сандра Кон-Ананда, он индус. И ты не ошибся, голос его мог бы сделать честь любому певцу. Поёт он изумительно, прекрасно знает музыку, и ты, наверное, сойдёшься с ним на этой почве, если другие стороны этого своеобразного, интересного и очень образованного человека не заинтересуют тебя. Другой мой друг — грек. Он тоже человек незаурядный. Великолепный математик, но характера он более сложного; очень углублён в свою науку и мало общителен, бывает суров и даже резковат. Ты не смущайся, если он будет молчать; он вообще мало говорит. Но он очень добр, много испытал и всякому готов помочь в беде. По внешнему обращению не суди о нём. Если у тебя явится охота с ним поговорить, — ты пересиль застенчивость и обратись к нему так же просто, как обращаешься ко мне.

— Как я обращаюсь к вам?! — горячо, даже запальчиво воскликнул я. — Да разве может кто-нибудь сравниться с вами? Если бы тысячи дивных людей стояли передо мной и мне предложили бы выбрать друга, наставника, брата, — я никого бы не хотел, только вас одного. И теперь, когда всё, что мне было дорого и близко в жизни, — мой брат, — в опасности, когда я не знаю, увижу ли его, спасусь ли сам, — я радуюсь жизни, потому что я подле вас. Через вас и в вас точно новые горизонты мне открываются, точно иной смысл получила вся жизнь. Только сейчас я понял, что жизнь ценна и прекрасна не одними узами крови, но той радостью жить и бороться за счастье и свободу всех людей, что я осознал подле вас. О, что было бы со мной, если бы вас не было рядом все эти дни? Неважно даже, что я бы погиб от руки какого-нибудь фанатика. Но важно, что я ушёл бы из жизни, не прожив ни одного дня в бесстрашии и не поняв, что такое счастье жить без давления страха в сердце. И это я понял подле вас. Теперь я знаю, что жизнь ведёт каждого так высоко, как велико его понимание своего собственного труда в ней как труда-радости, труда светлой помощи, чтобы тьма вокруг побеждалась радостью. И все случайности, бросившие меня сейчас в водоворот страстей, мне кажутся благословенными, происшедшими только для того, чтобы я встретил вас. И никто, никто в мире не может стать для меня наряду с вами!

Флорентиец тихо слушал мою пылкую речь; его глаза ласково мне улыбались, но на лице его я заметил налёт грусти и сострадания.

— Я очень счастлив, мой дорогой друг, что ты так оценил моё присутствие возле тебя и нашу встречу, — сказал он, положив мне руку на голову. — Это доказывает редкую в людях черту благодарности в тебе. Но не горячись. Если сознание твоё расширилось за эти дни, то, несомненно, и сердце твоё должно раскрыться. Должны стереться в нём, как и в мыслях, какие-то условные грани. Ты должен теперь по-новому смотреть на каждого человека, ища в нём не того, что сразу и всем видно, не бросающихся в глаза качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств, а той внутренней силы и доброты сердца, которые только и могут стать светом во тьме для всех окружающих, среди их предрассудков и страстей. И если хочешь нести свет и свободу людям в пути, — начинай всматриваться в них по-новому. Начинай бдительно распознавать разницу между мелким, случайным в человеке и его великими качествами, родившимися в результате его трудов, борьбы и целого ряда побед над самим собою. Начинай сейчас, а не завтра. Отойди от предрассудка, что человек тот, чем он кажется, и суди о нём только по его поступкам, стараясь всегда встать в его положение и найти ему оправдание. Оба моих друга знают мало твоего брата и так же мало знают Наль. Но как только Али намекнул им месяц назад о возможности происшедшей сейчас развязки, они оба оставили все свои дела, ждали зова и приехали помогать Али точно так же, как и я. Попробуй первый раз в жизни взглянуть в их лица иначе. Пусть любовь к брату будет тебе ключом к новому пониманию сердца человека. Прочти с помощью этого ключа ту силу преданной любви, что единит всех людей, без различия наций, религий, классовой розни. Подойди к ним впервые как к людям, цвет крови которых тоже красный, как и у тебя.

Он обнял меня, сказал, что с Сандра Кон-Анандой он уже пил кофе в вагоне-ресторане, а теперь мне надо проявить вежливость к другому гостю и предложить ему свои услуги спутника и гида. Грека зовут Иллофиллион. Он говорит по-русски плохо и очень стесняется говорить на этом языке в непривычной обстановке.

— Побори свою застенчивость, — прибавил Флорентиец, — вспомни, как я вёл тебя за руку в трудные минуты. Вообрази, что для него это тоже минуты неприятные, и облегчи ему их. Он отлично владеет немецким. Если тебе надоест его затруднённая русская речь, ты можешь заставить его рассказать по-немецки много интересного из его студенческих лет. Он окончил естественный факультет в Гейдельберге и математический в Лондоне.

С этими словами он предложил мне скорее привести себя в полный порядок, достал мне из саквояжа кепи вместо панамы, и... я вздохнул и

отправился знакомиться с греком, не менее застенчивым, чем я сам.

За свои двадцать лет я не очень часто бывал в обществе. Четырнадцать лет я прожил неотлучно с братом, под руководством которого проходил программу гимназии. Я разделял его кочевую жизнь, был с ним даже в Р-ском походе. Но когда брату пришлось перевестись с полком в далёкую Азию, он решил отдать меня в гимназию в Петербурге, где у нас была тётка. Он надеялся, что, быть может, удастся поместить меня у нее. Но старая чванливая дама не пожелала иметь такого замухрышку своим компаньоном в повседневной жизни, — и брату пришлось выбрать гимназию с интернатом.

На экзаменах — я держал в шестой класс — мои познания поразили учителей. Я выдержал языки и математику блестяще. Сочинением на тему о сказке в произведениях великих писателей я их всех сразил. Они дали мне тему из русской литературы, я же понял её как тему в мировой литературе, и навалил со свойственным мне азартом столько, что бумаги мне не хватило. На просьбу дать мне еще бумаги учитель с удивлением сказал, что за всю его жизнь ему встретилось впервые, чтобы ученику не хватило бумаги, отпущенной на черновик и на переписку набело.

Подошедшему в эту минуту директору он показал мою работу, сказав, что вот уже три часа, как я пишу почти не отрываясь. Директор взял мои листы, стал читать, прочел почти целый лист и спросил, пристально на меня поглядев:

— Вы сын писателя?

— Нет, — ответил я, — я сын своего брата.

Увидев полное изумление на лицах директора и учителя, который едва сдерживался, чтобы не прыснуть со смеху, я смешался и быстро пробормотал:

— Простите, господин директор. Я сказал, конечно, несуразицу. Я хотел сказать, что не помню ни отца, ни матери. А как себя помню, — всё меня воспитывал и учил брат: и я привык видеть в нём отца. Вот потому-то я так нелепо и выразился.

— Это хорошо, что вы так любите брата. Но кто же готовил вас? Вы так прекрасно приготовлены.

— Брат занимался со мной по программе гимназии, других учителей у меня не было.

— А кто же ваш брат? — спросил, улыбаясь, учитель, — Поручик Некого полка, — ответил я. Наставники переглянулись, и директор, всё ещё глядя удивлённо на меня, но улыбаясь мне мягкой и доброй старческой улыбкой, сказал:

— Или вы феномен по способностям или ваш брат поразительный педагог.

— О да, мой брат не только педагог, но и такой учёный, какого другого и нет, — выпалил я восторженно. — Да вот и он, — закричал я, увидев милое лицо моего брата за стеклянной дверью класса.

И забыв, где я, кто передо мной, зачем я здесь, я выскочил в коридор и обвил шею моего дорогого брата руками. Как сейчас помню то страстное чувство любви, благодарности, тоски от предстоящей разлуки и радости от привычного объятия и ласки брата, какое я испытал тогда.

Тихо разняв мои руки, брат вошёл в класс, стал во фрунт перед директором и сказал:

— Прошу извинить, ваше превосходительство, моего брата. В кочующей офицерской жизни мне удалось обучить его немногим наукам, которые я сам знал. Но манеры и дисциплинированность не пришлось ему привить. Я надеюсь, что под вашим просвещённым руководством он их приобретёт.

Директор подал руку брату, познакомил его с учителем, с любопытством разглядывавшим его, и наговорил ему массу комплиментов по поводу моей подготовки и блестящих способностей.

Но в моём сердце появилась первая трещинка. Я понял, что осрамил брата. Вспомнил, как часто он повторял мне, что надо всегда быть выдержанным и тактичным, вдумываться в обстоятельства, отдавать себе отчёт, где ты и кто перед тобой, — и только тогда действовать.

Весь этот эпизод детской жизни мелькнул сейчас передо мной, вызванный точно такой же спазмой сердца, которую я испытал тогда. Я встретил впервые чужого человека, который стал мне так же дорог и близок, как мой милый брат, — и я снова себя почувствовал неумелым ребёнком, не знающим, как подойти к чужому человеку, что ему сказать и как себя вести, чтобы выполнить желание Флорентийца и доставить ему удовольствие своим поведением... Я стоял в коридоре, не решаясь постучаться в соседнее купе, а в моей голове, — точно молнией освещенный, — пронёсся этот эпизод моей первой детской бестактности.

Сжав губы, вспомнил я из письма Али: «превозмогу», — и постучался.

— Войдите, — услышал я незнакомый мне чужой голос. Я открыл дверь и чуть было не убежал назад к Флорентийцу, как когда-то к брату в коридор.

На диване, друг против друга, сидели рослые люди, но я увидел только две пары глаз. Глаза дервиша, — сразу запомнившиеся мне в первое свидание, глаза-звёзды, — и пристальные, почти чёрные глаза грека,

напоминавшие прожигающие глаза Али старшего.

— Позвольте теперь познакомиться с вами по всем правилам вежливости, — сказал, вставая, Сандра Кон-Ананда. — Это мой друг Иллофиллион.

Он пожал мне руку, я же неловко мял в руке своё кепи и, кланяясь греку, проговорил, как плохие ученики нетвёрдо выученный урок:

— Ваш друг Флорентиец послал меня к вам. Может быть, вам угодно пойти в вагон-ресторан выпить кофе? Я могу служить вам гидом.

Грек, пристальные глаза которого вдруг перестали быть сверлящими шилами, а засветились юмором, быстро встал, пожал мне руку и сказал с сильным иностранным акцентом, очевидно выбирая слова, но совершенно правильно по-русски:

— Я думаю, мы с вами — "два сапога — пара". Вы так же застенчивы, как и я. Ну, что же. Пойдём вместе. Мы, конечно, не найдём двести, но потеряем четыреста. А всё же мы с вами подходим друг другу и, наверное, пока решимся спросить себе завтрак, — всё съедят у нас под носом, и мы останемся голодными.

Говоря так, он скроил такую постную физиономию, так весело потом рассмеялся, что я забыл всё своё смущение, залился смехом и уверил его, что буду решительно беззастенчив и накормлю его до отвала.

Мы вышли из купе под весёлый смех Кон-Ананды. Пройдя в вагон-ресторан, я быстро нашёл там столик в некурящем отделении, заказал завтрак и старался занимать моего нового знакомого, обращаясь к нему на немецком языке. Он отвечал мне очень охотно, спросил, бывал ли я в Греции. Я со вздохом сказал, что дальше Москвы, Петербурга, Северного Кавказа и К., где был в первый раз и очень коротко, нигде не бывал.

Нам подали кофе, и я, пользуясь правом молчания за едой, украдкой, но пристально наблюдал моего грека.

Положительно, за мою детскую и юношескую монотонную жизнь сейчас я был более чем вознагражден судьбой, встретив сразу так много событий и лиц, не только незаурядных, но даже не уместящихся в моём сознании. Казалось, надень моему греку венок из роз на голову, накинь на плечи хитон, — и готова модель для лепки какого-нибудь олимпийского бога, древнего царя, мудреца или великого жреца, — но в современное платье в моём сознании он как-то не влезал. Не шёл ему европейский костюм, не вязался с ним немецкий язык, — скорее ему подошли бы наречия Испании или Италии. Правильность черт его лица не нарушал даже низкий лоб с выпуклостями над бровями, — тонкими, изогнутыми, длинными, — до самых висков. Нежность кожи при таких иссиня-чёрных

волосах и едва заметные усы... Про него действительно можно было сказать: "Красив, как бог".

Но того обаяния, которым так притягивал к себе Флорентиец, в нём не было. Насколько я не чувствовал между собою и Флорентийцем условных границ, — хотя и понимал всю разницу между нами и его огромное превосходство во всём, — настолько Иллофиллион казался мне замкнутым в круг своих мыслей. Он точно отделен был от меня перегородкой, и проникнуть в его мысли, думалось мне, никто бы не смог, если бы он сам этого не захотел.

Мы дождались следующей остановки, вышли из ресторана и прошли по перрону до своего вагона. Мой спутник поблагодарил меня за оказанную ему услугу, прибавив, что гид я очень приятный, потому что умею молчать и не любопытен.

Я ответил ему, что детство прожил с братом, человеком очень серьёзным и довольно молчаливым, а юность не баловала меня такими встречами, когда люди бы интересовались мною. Поэтому хотя я и очень любопытен, вопреки его заключению, но научился, так же как и он, думать про себя.

Он улыбнулся, заметив, что математики — если они действительно любят свою науку — всегда молчаливы. И мысль их углублена настолько в логический ход вещей, что даже вся вселенная воспринимается ими как геометрически развёрнутый план. Поэтому суэта, безвкусица в высказывании не до конца продуманных мыслей и суетливая болтовня вместо настоящей, истинно человеческой осмысленной речи, какую должны бы обмениваться люди, пугает и смущает математиков. И они бегут от толпы и суеты городов с их далёкой от логики природы жизнью.

Он спросил меня, люблю ли я деревню? Как я мыслю себе свою дальнейшую жизнь? Я ответил, что вся жизнь моя прошла пока на гимназической и студенческой скамье. Рассказал ему, как поступил в гимназию, смеясь вспомнил и блестящие экзамены. Потом рассказал и о первом горе — разлуке с братом и жизни в Петербурге. А затем, как бы для самого себя подводя итоги какого-то этапа жизни, — сказал ему:

— Сейчас я на втором курсе университета и тоже горе-математик. Но мои занятия даже ещё не привели меня к пониманию, какую жизнь я хотел бы себе выбрать, где бы хотел жить, и даже не понимаю пока, какое место во вселенной вообще занимает моя персона.

Мы стояли в коридоре, и мой собеседник предложил мне войти в его купе. Наш разговор — незаметно для меня — принял тёплый товарищеский характер. Меня перестала смущать внешняя суровость моего

нового знакомого, а наоборот, я почувствовал как бы отдых и облегчение. Мои мысли потекли спокойнее; мне очень хотелось узнать об университетах Берлина и Лондона, и я был рад посидеть с моим новым другом.

Но мне страстно хотелось также заглянуть к Флорентийцу и передать ему, что я не осрамился, выполняя его поручение, и что грек очень интересный человек.

Только я собирался сказать, что зайду на минутку в своё купе, как дверь открылась, и на пороге я увидел Кон-Ананду. Он сказал, что Флорентиец заснул и что, если мне интересно поговорить с Иллофиллионом, он охотно посидит в моём купе и покараулит сон Флорентийца.

Я уже знал хорошо, как крепко тот спит, и с удовольствием согласился поменяться местами с Анандой на некоторое время.

Мы продолжали прерванную было беседу. Чем дальше говорил Иллофиллион, тем сильнее поражался я его знаниям, наблюдательности, а главное, силе его обобщений и выводов.

Я и сам не лишён был синтетических способностей, хорошо разбирался в логике, сравнительно много читал. Но все мои, называемые блестящими, способности показались мне жалким хламом, сброшенным в лавке старьевщика в общую кучу, в сравнении с чёткостью мысли и речи моего собеседника.

— Как странно я чувствую себя сегодня. Точно я поступил в новый университет и прослушал ряд занимательнейших лекций. Но если бы вы ещё рассказали мне о быте студентов, с которыми вы учились, об уровне их развития и интересов, — сказал я.

И снова полилась наша беседа, причём мой собеседник проводил параллели между студенчеством Греции, Германии, Парижа и Лондона, которое он имел возможность наблюдать.

Я ловил каждое слово. Он говорил так просто и вместе с тем так образно, что мне казалось, будто я сам путешествую вместе с ним, всё слышу и вижу собственными глазами. Страстная жажда знаний, жажда видеть мир, людей, узнать их нравы и обычаи наполнила меня экстазом. Я перестал отдавать себе отчёт о времени и месте, забыл, что я всё своё образование получил трудам брата, бедного русского офицера, и решил, что непременно увижу весь свет и не оставлю ни одного угла, не побывав там.

— А хотелось бы вам путешествовать? — услышал я вопрос И. Точно свалившись с неба, я осознал, что никак не смогу объехать не только всего мира, но даже своей родной России, потому что я беден и до сих пор умею зарабатывать только гроши уроками да переводами.

— Хотеть-то я очень бы хотел, — вздохнув, ответил я. — Но мне не везёт с путешествиями. После пятилетней разлуки с братом, пока я кончал гимназию и поступал в университет, я выбрался, наконец, к нему в Азию. Мечтал увидеть новый свет и новый народ, — и вот всё скомкалось. И брата я теперь потерял, — прибавил я тихо, вспомнив, с какой радостью я ехал на свидание с ним в далёкое К. и с какою скорбью возвращаюсь оттуда.

И. склонился ко мне, необыкновенно ласково поглядел мне в глаза и так же тихо ответил:

— Я всем сердцем сострадаю вам, друг. Я тоже пережил такой момент жизни, когда потерял всё, что любил, и всех, кого любил, в один день. Но моё состояние было хуже вашего, потому что я не мог помочь никому из тех, кого любил. Когда я сам, тяжело раненный, пришёл в себя, я увидел только похолодевшие трупы своих родных и близких. А что касается всех моих надежд, идеалов, стремлений, исканий истины и чести, — всё это также было выметено из моей души и превращено в прах, ведь убийцами были фанатики-лицемеры, разыгрывавшие роль друзей...

Он помолчал и продолжал ещё более проникновенным тоном:

— Ваше положение много лучше того момента моей жизни. Вы ещё не потеряли брата, вы только в разлуке с ним. Вы ещё можете ему помочь и уже начинаете дело помощи. Я приехал погостить к Али пять лет тому назад, возвращаясь из путешествия по Индии, и познакомился у него с вашим братом. Али рассказал мне о его чистой жизни большого учёного-самоучки, о его беззаветной преданности идее свободы. Такие, редко встречающиеся в русском офицере качества, я помню, меня очень тронули. И когда я увидел вашего брата, его прекрасное лицо сказало мне так много, что я сразу стал ему преданным другом. А вы знаете, — из наблюдений даже такой короткой и юной жизни, как ваша, — что цельные, сосредоточенные характеры не умеют отдавать своих сердец и дружбы наполовину. Мы часто виделись с вашим братом. И это я пополнял постоянными посылками редких книг его прекрасную библиотеку. Удивительно, что странствующая жизнь офицера не помешала ему таскать за собой повсюду сундуки с книгами. Ну, а когда он осел в К., тут уж подлинно он собрал настоящую ценность — библиотеку мудреца. Как жаль, что всё это погибло...

Снова помолчав, придвинувшись ближе, он добавил: — Мне по опыту понятно ваше состояние. И то, что я вам скажу, я решаюсь сказать только потому, что сам прошёл через все печальные этапы человеческой жизни, от которых страдаете вы. Нельзя думать, как думает всегда юность, что жизнь

ценна главным образом тем личным счастьем, которое она сулит. Не считайте корнем вашего положения сейчас страдание и опасности, которые переносите за брата. Откиньте личные чувства и мысли о себе; думайте о защите брата, о труде и энергии, которыми вы поможете ему выйти живым и свободным из десятка ловушек, а их будут расставлять ему фанатики и царское правительство, не очень-то любящее думающих офицеров. Если бы вам не удалось увидеться с братом...

— Как, — вскричал я в ужасе, — вы полагаете, что он умер? — О нет, я уверен, что он жив и уже в Петербурге, — ответил он. — Я говорил только о весьма возможной случайности, что вам не удастся сейчас свидеться с братом, и он не сможет взять вас с собой.

— О, это было бы ужасно. За целых пять лет я не провёл с ним и двух месяцев, если сосчитать те редкие дни, когда он приезжал ко мне в Петербург. Я жил надеждами. Наконец, сбылась моя мечта, я должен был прожить с ним лето и даже часть осени, — и снова я одинок...

Тоска, раздражение, протест владели мной. Мне подумалось, что чужие люди встали между мной и братом. Увлекли его интересы чужого народа, а я, брат-сын, оказался брошен, забыт и не нужен. Буря, вихри страстей рвали моё сердце! Ревность, как дикие кони, таскала мою мысль от одного события к другому, от одних лиц к другим...

Мой товарищ молчал. Долго молчал и я. Наконец раздражение стало стихать. Я перестал ломать руки, и преданность брату, благодарность за его любовь и заботы взяли верх над грубой материей моего эгоизма и отчаяния.

Я вспомнил лицо брата там, на дороге, под величественным деревом, когда Али высаживал из коляски Наль. Тогда меня поразило это лицо незнакомого мне человека, человека недюжинной воли, чьи брови слились в одну сплошную линию. И этот человек не был тем моим братом-добряком, которого я знал. Это был незнакомец, чей поток энергии устремляется как лава, сметая всё на пути. Тогда я был просто поражен и не сделал того единственного вывода, который сделал бы всякий более опытный человек. А может быть, быстрота и необычайность последующих событий похоронили тот вывод в моём сознании, зато сейчас он стал мне ясен: я понял, что я совсем не знал моего брата, что всё то, что он отдавал мне, — круглому сироте, стараясь вознаградить меня за бедность детства без материнской ласки и нежности, — было только небольшой частью сознания моего брата...

И вдруг, как маленький мальчик, я разрыдался. Я почувствовал себя ещё более одиноким, обманутым чудесной иллюзией, которую я сам себе создал. Я принимал брата-отца за то существо, которое всецело

принадлежало мне; у которого первойшей заботой был я и который всю ценность жизни видел во мне.

До этой минуты я полагал, что и он, как я сам, начинал и кончал свой день, идя мысленно рядом со мной и делая все дела обиходной жизни для того только, чтобы в конце какого-то периода жизни увидеться со мной и уже не разлучаться никогда более.

Теперь, в огромной внутренней борьбе, я разглядел в моём брате лицо другого, незнакомого мне человека. Я увидел ряд его интересов, не имеющих ко мне никакого отношения, его спаянность с другими, едва знакомыми мне людьми.

И в первый раз мелькнул у меня в сознании вопрос: "Что такое вообще брат? И кто настоящий брат? Какую роль играет родство людей по крови? Что ближе: гармония мыслей, чувств, вкусов или привязанность единоутробия?"

Я не замечал, что слёзы продолжали литься из моих глаз. Но теперь это были не бурные рыдания ревнивого разочарования, какой-то иной, сладкий привкус получили мои слёзы. Не то я временно похоронил что-то детское и прекрасное, не то рвал в себе старую привычку воспринимать людей как опору лично себе, — я как будто встал в новую и чуждую ещё мне шкуру мужчины, где слова «мать», «отец» и соединённая с ними нежность отходили на второй план. Не то я сладко мечтал о семье, которой не знал, семье, опорой которой должен был стать я сам.

Трудно рассказать теперь о тех юношеских переживаниях. Но, пожалуй, одну из капель горечи прибавляло сознание, что я так юн, так ребячлив и неопытен в делах жизни и так плохо воспитан.

Я приложил все усилия, чтобы остановить слёзы. Стыдно было плакать так безудержно перед чужим человеком. И когда мысль перешла от сожалений о самом себе к брату, я вспомнил снова и письмо Али, и недавние слова Флорентийца. Я вытер слёзы и, не глядя на моего спутника, тихо сказал: — Простите меня, я не в силах был сдержаться. Я ждал обычного, быть может дружеского соболезнования. Но то, что я услышал, ещё раз показало мне, как плохо я разбирался в людях.

— Не раз в жизни я плакал так же горько, как плакали вы сейчас. И верьте, детство мы все хороним трудно. Иллюзии любви и красоты, создаваемые нашим воображением, до тех пор терзают нас, пока мы сами не завоюем полную от них свободу. И только тогда рушатся наши иллюзорные желания всякой красоты вовне, когда оживёт в нас всё то прекрасное, что мы в себе носим. Все толчки скорби, потерь, разочарований учат нас понимать, что нет счастья в условных иллюзиях.

Оно живёт только в свободном добровольном труде, не зависящем от наград и похвал, которые нам за него расточают. В том труде, который мы внесём в свой обычный рабочий день как труд любви и радости, отдав его укреплению и улучшению жизни людей, их благу, их счастью. И. обнял меня и стал рассказывать историю своей жизни. Очнувшись от глубокого обморока, он увидел себя лежащим в крови среди друзей и родных. Погибло всё, с чем он был с детства связан; он не знал, куда ему идти, что делать, вся семья его была убита. Он вспомнил, что у него была старая нянька, жившая в горах, недалеко от той долины, где стоял дом его родных. Но он не знал, к какой политической партии она примкнула. Быть может, и она убита так же, как и несколько семейств этой долины, своими вчерашними единомышленниками, а сегодняшними врагами.

Но раздумывать было некогда. И. спустился к морю, выкупался, переоделся в чужое платье, кем-то оброненное или брошенное на берегу, и побрёл, обливаясь слезами, по уединённой тропе, в другую часть острова к старой няне.

— Я не буду утомлять вас подробностями своей скитальческой жизни, — продолжал И. — Коротко скажу, что с помощью старушки, с её деньгами я сел на пароход и поехал в Рим, где у неё был сын, способный ювелирных дел мастер, как она мне сказала. На пароходе я, вероятно, умер бы от горя и голода, если бы меня не нашёл уже знакомый вам Кон-Ананда. В одну из ночей, уже совершенно изнемогая от лихорадки, в полусознании, я услышал над собой разговор на итальянском языке, который я хорошо знал от моей няни, родом итальянки. Молодой звучный и прекрасный голос говорил:

— Что это? Никак здесь лежит мальчуган? Другой, сиплый и грубый, как бы нехотя цедил слова сквозь зубы:

— Какой это мальчуган? Это целый мужик, смертельно пьяный.

Я не имел сил, хотя всей душой хотел закричать, что я не пьян, что я умираю от голода и холода и прошу помощи. Я уже приготовился умирать, и мелькнувшая было и уже исчезающая надежда на спасенье показалась мне ещё одним надругательством судьбы надо мной. Тяжело ступающие шаги пошли прочь, унося с собой воркотню грубого голоса. Я думал, что и другой голос замрёт вдали, как вдруг нежная сильная рука приподняла мою голову и горестное: «Ох», вырвалось, как стон.

Глаза я от слабости открыть не мог. Склонившийся надо мной незнакомец громко что-то закричал своему спутнику. Тот, нехотя, едва волоча ноги, снова подошёл к нему. Повелительный тон молодого, в котором слышалась непреклонная воля, мигом привёл ворчуна в другое

настроение.

— Одним духом отправляйся за носилками и доктором, старый лентяй. Так-то ты следил за нашими вещами в трюме, что не видел, как здесь умирает человек.

— Виноват, барин, этот воришка, верно, только что пробрался сюда. Я проверял ящики, всё было цело.

— Брось бессмысленную болтовню. Какой он воришка? Ведь это слабый ребёнок! Мигом — носилки и доктора! Или ты снова отведаешь моей палки.

Куда девалась шаркающая походка? «Есть», — выговорил слуга зычным басом и побежал так, как и я бы не смог, хотя бегал я, здоровый, хорошо.

— Бедный мальчик, — услышал я над собой тот же проникновенный голос. И как он был нежен, этот голос. Точно ласка матери, проник он мне в сердце, и жгучие, как огонь, слёзы скатились по моим щекам. — Слышишь ли ты меня, бедняжка?

Я хотел ответить, но только стон вырвался из моих запекшихся губ, языком я двинуть не мог; он, точно мёртвое, сухое, шершавое постороннее тело, не повиновался мне.

— Я спасу тебя, спасу во что бы то ни стало, — продолжал говорить незнакомец. — Мой дядя — доктор... Но дальше я уже не слышал, я провалился в бездну. Когда я очнулся, я увидел себя в просторной, светлой комнате. Окна были открыты, постель была такая мягкая и чистая. Я подумал, что я дома. Память унесла всё грозное, что я пережил; и я стал ждать, что сейчас войдёт мама, станет ласково меня бранить за лень. Она имела привычку говорить со мной по-немецки, хотя была гречанка. Но мать её была немка, и она привыкла к этому языку как к своему родному.

Я всё ждал её милого: «Лоллион», но она что-то долго не шла. Тогда я решил её попугать, как иногда проделывал это в раннем детстве, крича во всё горло, а она делала вид, что страшно испугалась, складывала моляще свои прелестные руки и преуморительно говорила по-немецки:

— О господин охотник, право, крокодил меня сейчас проглотит. Пожалуйста, не теряйте времени на крик, убейте его скорее.

Я закричал, как мне показалось, во весь голос; но получился очень слабый звук, похожий скорее на долгий стон.

— Ну, вот он и очнулся, — сказал позади меня голос. — Мой дядя, вы не доктор, а чудо-волшебник.

С этими словами к кровати подошли два совершенно незнакомых мне человека. Один из них, как вы, конечно, сами догадались, был Кон-Ананда, которого вам и описывать нечего; другой ещё не старик, но гораздо старше.

Приветливое лицо, ласковые карие глаза и какое-то необычайное благородство, манеры, мною ещё не виденные, сразу объяснили мне, что это человек того высшего света, о котором пишут в романах, но который недоступен людям среднего класса. Я понял, что вижу впервые вельможу.

— Ну, дружок, теперь мы можем быть спокойны, что ты будешь совершенно здоровым человеком, — сказал вельможа по-итальянски. — Не можешь ли ты объяснить мне, какой сегодня день?

Я смотрел на него, совершенно ничего не понимая. Память ещё не вернулась ко мне. Он налил в стакан какой-то жидкости, довольно сильно пахнувшей, и помог мне её выпить. Я посмотрел на лицо Ананды и не узнал, конечно, в нём моего спасителя. Сон снова меня одолел. Когда я вновь проснулся, мне показалось, что возле постели сидит женская фигура. Я подумал, что это мама; но на этот раз я уже помнил о моём первом пробуждении и поэтому совсем не удивился, когда увидел Ананду. Я не мог ни в чём отдать себе отчёт и механически заговорил по-немецки: — Я видел только что маму. Зачем же она ушла?

— Она сильно устала, — ответил он мне. — Если я вам не очень неприятен, то позвольте мне вас накормить обедом. Хотя предупреждаю, что назвать обедом то, чем я буду вас кормить, нельзя. Доктор очень строг, и вам позволено есть только жидкие каши и кисели.

Он помог мне сесть в постели и, как ни осторожно он это делал, я едва не упал в обморок. Он быстро дал мне глоток вина, и вскоре обед был кончен; но ему пришлось кормить меня с ложечки.

Такая моя жизнь длилась около месяца. И сколько раз я ни спрашивал о маме, она всегда или спала, или устала, или поехала за покупками. На мои вопросы, чья это комната, он всегда отвечал: «Ваша». Как-то раз я спросил, отчего няня не придёт ко мне. Он ответил, что если я помню её адрес, он напишет ей, чтобы она приехала.

— Как же я могу не помнить адреса няни? — возмущенно сказал я. — Это всё равно, как если бы я забыл адрес своей матери.

И я тут же продиктовал ему адрес няни, прося, чтобы завтра же она меня навестила. Он засмеялся и сказал, что если достанет ковёр-самолёт, непременно слетает за ней сам. И здесь я опять ничего не понял.

Прошла ещё педеля; меня навещал несколько раз вельможа-доктор и позволил встать. Это была сущая комедия, когда я с помощью Ананды попробовал первый раз встать. Роста для своих пятнадцати лет я был очень большого; а за время болезни я так вырос, что поразил даже доктора.

— Можно ли так быстро расти, дружок? — сказал он мне, смеясь. — Если ты будешь продолжать в таком же духе, тебя никто, даже няня, не

узнает.

На этот раз я всё же отдал себе отчёт, что времени прошло довольно много, а няни всё нет и мама всё прячется. Я посмотрел на доктора. Но он, как бы не замечая моего молящего взгляда, помог мне надеть халат, и оба они с Анандой довели меня до окна, где стояло высокое кресло с подножкой; так что, сидя в нём, я мог любоваться открывавшимся из окна видом.

Я смотрел неотрывно вперёд, на видневшееся вдали море; смотрел на сад, спускавшийся к морю, не узнавая ландшафта, и не мог ничего понять. Я спросил доктора, почему я здесь живу? Ведь мой дом в долине у самого моря, а здесь, высоко на горе, я никогда не был и не знаю этого места.

Лицо доктора было очень серьёзно, хотя и очень спокойно. Он взял мою руку, держа её, как считают пульс, но я был уверен, что он только хотел передать мне часть своей энергии и бодрости.

— Если ты хочешь видеть няню, — тихо сказал он, поглаживая свободной рукой мои волосы, — я могу её позвать. Но я хотел тебе сказать, мой мальчик, что ты уже почти мужчина, а няня твоя слаба и стара. Ей, вероятно, придется сообщить тебе кое-что неприятное. Старайся быть спокойным; думай, как бы облегчить ей эту трудную минуту. Забудь о своём горе, если оно тебя поразит; старайся только не допустить себя до слёз, чтобы старушка видела, что она вырастила мужчину, а не бабу в панталонах.

Он повернулся к двери и сказал по-итальянски кому-то, чтобы привели мою няню. Затем снова приняв прежнее положение, стал ласково гладить мои волосы, тихо говоря:

— Всё движется в жизни, мой мальчик. В жизни человека не может быть ни мгновения остановки. Двигаясь по своим делам и встречам, человек растёт и меняется непрерывно. Всё, что носит в себе сознание как логическую мысль, всё меняется, расширяясь в мудрости. Если же человек не умеет принимать мудро изменяющихся обстоятельств, не умеет стать для них направляющей силой, — они его задавят, как мороз давит жизнь грибов, как сушь уничтожает жизнь плесени. И, конечно, тот человек, кто не умеет — сам изменяясь — понести легко и просто на своих плечах новые обстоятельства, будет равен грибу или плесени, а не блеску закаляющейся и растущей в борьбе творческой мысли.

Я слушал и вбирал жадно каждое его слово, не спуская с него глаз. Добрейшее лицо его и мягко гладившая мои волосы рука точно передавали мне любовь и мужество. Я вдруг осознал, что возле меня стоит друг, такой величавый друг, рука которого не только опора для меня в эту минуту, но

крепость её такова, что вся жизнь моя не может отягчить той любви, что горит в этом человеке.

Какое-то почти благоговейное живительное чувство радости, благодарности, не испытанной ещё мною, уверенности и мужества наполнили меня. Я поднёс к губам нежно гладившую меня руку, поцеловал её и ответил ему:

— Я буду стараться быть всегда мужественным. О, как бы я хотел быть таким, как вы, добрым, умным и сильным.

Как подле вас мне чудно хорошо. Я точно вырос и весь переменялся.

Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал в лоб и сказал: — Будь же мужествен сейчас. Как перенесёшь ты встречу с няней, точно так начнёшь и свою новую жизнь.

С этими словами он меня покинул, и через минуту в комнату вошла моя няня.

Она вообще была старенькая, но сейчас я увидел перед собою совершенную руину. Но насколько поразила её внешность меня, настолько же, вероятно, перемена во мне ужаснула её.

Не успела она подойти ко мне, как всплеснула руками, закричала, заплакала, встала на колени на подножку моего кресла, схватила мои руки и так зарыдала, что мужество в моём сердце стало таять, как воск.

Хотя я и вырос в стране, где экзальтированные чувства легко обнажались в криках и жестах, хотя я с детства знал чисто итальянскую, особенно характерную экзальтацию моей няни, вспыхивавшую, как спичка, сразу до яркого огня и так же мгновенно потухавшую, но на этот раз в её рыданиях было столько горечи и отчаяния, что я не мог найти слов, чтобы её утешить. Среди её причитаний я мог разобрать как припев: "Мой несчастный мальчик! Мой дорогой сиротка, у тебя нет даже родины".

Какое-то смутное воспоминание начинало меня давить. Мысли, как тяжёлые жернова, ворочались трудно и обрели весомость. Я до сих пор помню ощущение в голове, необыкновенно странное, какого я больше в жизни не знал. Мне казалось, что я ощущаю, как в моих мозговых полушариях происходит какое-то чисто физическое движение, которое я и принял за тяжело шевелящиеся мысли. Должно быть, вся кровь прилила к голове: я почувствовал острую боль в сердце, как укол длинной иглы, и вдруг, сразу, точно в свете мелькнувшей молнии, вспомнил всё.

Не знаю, потерял ли я сознание в эту минуту, но отчётливо понял, что все картины пережитого, одну за другой, я ясно и точно увидел...

Когда я смог соображать, я увидел возле себя Ананду и только теперь понял, что это он шептал мне в трюме парохода: "Я спасу тебя, мальчик".

Ананда глядел на меня сосредоточенно и подал мне какое-то питье. Я выпил и сказал ему:

— Благодарю вас. Благодарю за жизнь, которую вы мне спасли. Нет, не надо, — я отвёл его руку с новым лекарством, — и теперь уже не лекарство может вылечить меня, а тот пример любви и заботы о чужом, брошенном человеке, который я здесь нашёл.

Не понимаю, каким образом я всё забыл. Я только тогда всё вспомнил, когда голос няни и её причитанья вернули меня в детство. И когда я услышал, что у меня пет даже родины, — я вспомнил всё сразу.

Я не мог ещё долгое время собраться с силами; дыхание моё стало так тяжело, точно мои лёгкие сдавил приступ астмы. Ананда уговорил меня выпить каких-то капель, положил на блюдечко пучок жёлтой сухой травы и поджёг её. Вскоре она задымилась, распространяя сильный аромат, и мне стало лучше.

— Где я сейчас? Это ваш дом? — спросил я Ананду. — Это Сицилия, — ответил он мне. — Вы здесь в полной безопасности. Это дом доктора. На вашей родине резня восставших друг на друга партий ещё не прекратилась, и бедствия продолжают сыпаться на головы ни в чём неповинных людей. Фанатики-политики режут не только друг друга, но даже иностранцев, что грозит войной всей вашей стране. Всё это очень подробно вы узнаете из газет, которые я для вас сохранил. Вы больны уже больше двух месяцев. И весь первый месяц мой дядя каждый день опасался, что ему не удастся вырвать вас у смерти. Только на второй месяц вашей болезни он сказал мне, что вы в безопасности. А за две недели он точно определил день, в который к вам вернётся сознание. Одно время он опасался неполноценного возврата вашего сознания. И потеря памяти могла вообще распространиться на весь ход ваших мыслей. Свидание с няней он считал моментом перелома, как оно и случилось на самом деле.

Далее он рассказал мне подробно, как я был перенесён в их каюту на пароходе, как они оба с дядей дежурили по очереди у моей постели и как в беспамятстве и бреде я рассказывал им много раз всю свою историю, вплоть до посадки на пароход. Он спросил, не помню ли я, каким образом попал в трюм. Я не помнил или, может быть, даже не понимал, где этот трюм. Но помнил, что искал место, где бы спрятаться от людей и выплакать своё горе.

— Дальше история моя сложилась просто, — продолжал И. — Не буду вам рассказывать, сколько раз в моём сердце чередовались бури отчаяния, негодования и безысходного горя. Сколько раз я терзал сердца моих благодетелей и няни своими дикими рыданиями. Скажу только, что каждый

из приступов моего раздражения не вызывал ни негодования, ни упрёков моих новых друзей. Постепенно атмосфера постоянной ласки и высокой культуры стала вводить и меня в колею выдержки. Я понял, увидел наглядно, как я невежествен, что веду себя не деликатно, нарушая тихий ритм жизни моих спасителей, заполненной целиком научной работой доктора и диссертацией, которую тогда писал Ананда.

Я уже мог выходить, бродил по саду, даже спускался к морю. Но читать доктор мне не позволял, сказав, что если хоть одна неделя пройдёт без слёз, — он разрешит мне читать. Желанье начать читать и учиться было так велико, что я выдержал характер и ни разу не обнаружил своего горя, доверяя его только подушке по ночам.

Однажды в праздничный день доктор велел заложить коляску, и мы поехали с ним прокатиться, чтобы я мог полюбоваться красотами Сицилии. Природа казалась мне волшебной сказкой.

По дороге доктор спросил меня, хорошо ли я знаю историю своей родины. К стыду своему, я должен был признаться, что совсем не знаю. По возвращении с прогулки доктор провёл меня в свой кабинет, где было так много книг, что я даже сел от изумления. Не только стены были ими заставлены, но через всю комнату шли до потолка полки с книгами, образуя узкие коридоры, в каждом из которых стояла передвижная лесенка. Доктор вошёл в один из книжных коридоров и достал мне историю Древней Греции на немецком языке.

С этого дня началось моё обучение. Каждый из моих новых друзей находил возможность отрываться от своих дел, чтобы заниматься со мной. Я старался изо всех сил, так что моей старушке няне приходилось жаловаться на своё одиночество; и только это заставляло меня бросать книги и уроки и идти с нею к морю.

Я обнаружил способности к математике, и мне дали шутливое прозвище «Эвклид». Так меня и звали мои наставники, одна няня кликала меня Лоллионом.

Шесть месяцев труда и тихой жизни вылечили меня совершенно. Вырос я еще больше, но оставался всё таким же тощим, и горе моё так же разъедало моё сердце.

Однажды за обедом доктор сказал, что через педелью ему надо ехать в Рим, там пробыть месяц, а затем отправиться в Берлин по целому ряду дел.

— Не хочешь ли поехать со мной в качестве секретаря? — обратился он ко мне.

Я нерешительно посмотрел на Ананду, тот ласково мне улыбнулся, но молчал.

— Что тебе мешает? — снова спросил меня доктор. — Неужели тебе не хочется видеть мир, о котором ты столько читаешь в последнее время.

— Мне очень хочется видеть мир, особенно Рим. Кроме того, я был бы счастлив быть вам полезным и чем-нибудь отплатить за всё то, что вы сделали для меня. Но я боюсь, что не сумею быть таким секретарём, какой вам нужен. Я всё же постараюсь быть слугою честным и усердным. И ещё меня смущает, — продолжал я, — как перенесёт разлуку няня? Кроме меня у неё нет никого.

— У неё есть сын в Риме. Мы её туда отвезём. Когда будем возвращаться, ты уже научишься разбираться в поездах и маршрутах, заедешь за ней в Рим и привезёшь сюда. Решайся. Тем более, что тебе придется когда-то вступать в жизнь и получить систематическое образование. Во время этого путешествия ты сможешь выбрать по вкусу место, где будешь учиться; а о далёком будущем не стоит думать.

Чтобы закончить в коротких словах мою — отныне счастливую — историю жизни, прибавлю, что через несколько дней мы выехали с доктором и няней в Рим, где её оставили. Вы сами понимаете, что я переживал, знакомясь с этим городом, с его памятниками, галереями, музеями и т. д. Тысячи раз я благословлял няню за своё знание итальянского языка, носясь по городу и исполняя поручения доктора.

Мы проехали, кочуя по разным местам, не два месяца, а целых полгода. Чтобы продолжать занятия регулярно, я достал себе программу берлинских гимназий и, вставая ежедневно в шесть часов утра, готовился сдать экзамены за семь классов.

Однажды я поделился своей идеей с доктором. Он проверил мои знания, остался ими доволен и посоветовал вернуться домой. Там подзаняться с Анандой и сразу сдать экзамены на аттестат зрелости в Гейдельберге, где Ананда будет защищать диссертацию и проживёт не менее года.

Я с благодарностью принял это предложение. Мы побывали ещё и в Вене по делам доктора и там расстались. Я направился через Венецию в Рим, а он в своё имение в Венгрии, сказав, что будет жить там год или два и мы с Анандой и няней приедем туда на летние каникулы.

С тех пор так и шла моя жизнь. Я много учился и немало повидал: путешествовал по Египту и Индии, видел разных мудрецов и учёных, артистов и художников, но выше доктора не встретил никого. Случайно его поручение свело меня с Али и Флорентийцем, в которых я увидел силу, знания, доброту и честь, не уступавшие тем, какими обладал мой великий друг-доктор. Тесная дружба, связывавшая их между собою, была раскрыта

и мне с Анандой.

Теперь я уже подхожу к тому периоду дружбы с Али, когда я приехал гостить к нему в К. и познакомился с вашим братом. Вы, конечно, лучше меня знаете своего брата. Я же могу сказать, что сила его духа, воля, любовь к человеку, огромный ум и знания ставят этого офицера-самоучку, прожившего свою жизнь в захолустье, выше почти всех тех, кого я встречал в жизни, и почти наравне с теми моими великими друзьями, о которых я вам рассказывал.

Не стесняйтесь же меня. Я вынес страдание; я знаю бездну человеческого горя; и моё сердце, сгоревшее однажды в скорби, неспособно осуждать встретившегося или тяготиться его горем и слезами. Я научился видеть в человеке брата.

Долго длилась ещё наша беседа; мы пропустили завтрак, и сейчас нас уже звали обедать.

Я позабыл о себе, о своей жизни. Образный рассказ И. - он словно резцом высекал свои истории, так чётки были его слова и мысли, — увлек меня в водоворот жизни другого мальчика, гораздо более несчастного, чем я.

И. предложил мне умыться и пойти обедать. Я не возражал, понимая, что легче всего будет нам обоим сейчас в молчании посидеть за едой. Когда мы вернулись в свой вагон, то нашли Ананду и Флорентийца беседующими в коридоре с кем-то из пассажиров.

Я так обрадовался Флорентийцу, будто целый год его не видел. Ещё раз понял я, как цельно, всем пылом одинокого сердца я привязался к нему за это короткое время. Он радостно протянул мне обе руки, которые я сжал в своих. — Как я соскучился без вас, — смеясь, сказал я ему. — А я-то думал угодить тебе, так какие научился ещё спать в твоём вкусе, — ответил он мне, тоже смеясь. — Ноне очень-то ты любезен по отношению к И. - продолжал он, всё ещё смеясь. — Я надеюсь, Эвклид, ты не замучил моего братишку математикой?

— Нет, нет, ваш друг И. так помог мне своей беседой, что я теперь стал умней сразу на двадцать лет, — вскричал я.

Все засмеялись. Флорентиец, обняв меня за плечи, соорудил преуморительную гримасу лорда Бенедикта и спросил:

— Неужели же в моём обществе ты стоял на месте или вовсе поглупел?

Я снова почувствовал, как надо следить за каждым словом, вздохнул и, не зная что ответить, перевёл глаза на И. Тот сейчас же сказал Флорентийцу, что всем известен его неподражаемый флорентийский талант ловить людей на слове. Но что он, Эвклид, недаром сильнее его как

математик и уж однажды как-нибудь поймает самого Флорентийца тоньше, чем он меня сейчас.

Я предложил Флорентийцу устроить для него обед в купе, на что особенно весело отозвался голодный Ананда. И я отправился к проводнику проявлять свой организаторский талант.

Вскоре в купе была подана лучшая вегетарианская еда, какая только нашлась в поезде. И мы с И. - только что отобедавшие, — тоже приняли в ней некоторое участие.

Нам оставалось ехать до Москвы только одну ночь, и рано утром я мог надеяться увидеть брата. Я так унёсся мыслями к предстоящему свиданию, столь живо представил себе, как теперь по-новому буду смотреть на него, что перестал замечать и слышать что бы то ни было вокруг.

Внезапно что-то мокрое заставило меня вздрогнуть. Это Флорентиец намочил кусок салфетки в воде и положил мне на руки. Я опомнился, поднял глаза и даже оторопел. Три пары совершенно разных глаз одинаково пристально смотрели на меня. Я так смешался, когда все засмеялись, что покраснел до корней волос, пришёл в раздражение и чуть было не рассердился. Но смех друзей был так добродушен и, должно быть, размечтавшись, я представлял собой занятую картинку, а потому и сам расхохотался, вспомнив, что ведь я же "Левушка-лови ворон".

— Грёзы о Москве, Левушка, — сказал Флорентиец, — дело законное и очень нужное. Но тебе следует настроить себя таким образом, чтобы не личное счастье от свиданья с братом было для тебя целью, а твоя помощь ему.

Опять меня удивило, что он прочел мои мысли. Когда я сказал, что поражен его способностью отвечать на невысказанные мысли, он уверил, что в этом так же мало чуда, как в его ночной беседе с проводником. И рассказал мне, что жена проводника жива, что в Самаре тот получил ответ на свою телеграмму.

Я почувствовал, как поверхностен мой интерес к людям по сравнению с тем глубоким вниманием к ним, которое отличает Флорентийца. Я ведь и думать забыл о проводнике и его горестях.

Между тремя моими новыми знакомыми завязался разговор о предстоящих действиях в Москве. Флорентиец не сомневался, что наше пребывание там будет осложнено фанатиками из К., что все свои усилия они направят на то, чтобы изловить меня и допытаться, где мой брат и похищена ли им Наль. Что легенде о сгоревших в доме брата людях преследователи или не верят или даже сами сожгли кого-нибудь из мести, воспользовавшись удобным случаем. Поэтому он предложил остановиться

в одной из гостиниц всем вместе. Мы с Флорентийцем займём один номер, а рядом поселятся Ананда и Эвклид. Он настрого запретил мне выходить куда-нибудь одному и в гостинице держаться только с кем-либо из них троих. Я не совсем понимал, каким образом мне могут грозить беды, но обещал исполнить всё в точности.

Время прошло незаметно. И. рассказывал эпизоды из своих путешествий по Индии; Ананда поведал о страшной ночи в С., где ему удалось спасти женщину, приговорённую фанатиками к избиению камнями.

Настала ночь. Я лег раньше всех, чувствуя полное изнеможение от массы новых впечатлений и мыслей. Проснулся я, расталкиваемый Флорентийцем, и услышал фразу невероятно меня поразившую, потому что мне казалось, что я спал не более часа: — Подъезжаем к Москве.

Глава 8. ЕЩЕ ОДНО ГОРЬКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ И ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ

Как только мы вышли из вагона, целая орда служащих всевозможных гостиниц — в куртках или ливреях, в кепи или шапках, с обозначением названия своих заведений — стала зазывать нас, предлагая кареты, коляски и т. д.

Впереди шёл Ананда, как бы высматривая кого-то; посередине шли мы с Флорентийцем, сзади И. Завершалось наше шествие носильщиками с чемоданами.

Зычные выкрики названий гостиниц, торги пассажиров со стаей извозчиков в длинных синих поддёвках, с кнутами в руках, накидывавшихся десятками на одного пассажира, — всё это было так забавно, что я снова забыл обо всём, увлекся наблюдениями и готов был, смеясь, остановиться. Флорентиец слегка подтолкнул меня, я перестал таращить глаза по сторонам и увидел, что из толпы гостиничных слуг отделился один, с надписью на кепи «Националь», и приветствовал Ананду, весьма почтительно держа руку у козырька.

Через несколько минут мы уселись в отличное ландо и покатали в центр города.

Я давно не видел Москвы, и по сравнению с Петербургом она показалась мне грязным, провинциальным городом с незначительным движением. Улицы, по которым мы ехали, узкие, искривленные, с низенькими домами, часто деревянными, со множеством церквей, церквушек и часовен, с перезвоном колоколов, нёсшимся со всех сторон, производили впечатление патриархальности. Глядя на эти церкви, я невольно подумал, что русский народ, должно быть, очень религиозен. Я спрашивал себя, могут ли русские дойти до глубокого фанатизма, подобно магометанам, которые слишком рьяно служат своему Богу.

Я стал думать о себе самом: что для меня Бог и как живу я с Ним и в Нём? Мешает ли мне моя религия или помогает? Посещая церковь раз в неделю со всей гимназией, я видел в этом лишь развлечение в нашей монотонной жизни; и ни разу не пробовал искать в Боге облегчение, не докучал Ему своими жалобами, а стоял в церкви и просто наблюдал.

Мы ехали молча, изредка перекидываясь незначительными замечаниями; но я инстинктивно чувствовал, что всех тревожит мысль о судьбе брата и Наль.

Войдя в вестибюль гостиницы, мы взяли номера, как условились раньше. Флорентиец спросил, пет ли почты на имя лорда Бенедикта, и — к моему удивлению — очень важный и осанистый портье подал ему две телеграммы и два письма.

— Письма ждут вашу светлость уже два дня; а телеграммы — одна ночная, другая сию минуту подана, — почтительно прибавил он.

Водворившись в номере, я едва дождался, пока коридорный перестанет возиться с нашими вещами и выйдет. Я бросился к Флорентийцу, спрашивая, не от брата ли письмо, мне показалось, что я узнал его почерк на одном из конвертов. Он, улыбаясь, подивился, что я — такой всегда рассеянный, — мог издали узнать почерк того, кого люблю. Видя моё нетерпение, он взял письмо брата, подал его мне и сказал:

— Когда Али говорил с тобой в саду, он предупредил тебя, что жизнь брата, твоя и Наль зависят от твоего мужества, выдержки и верности. Читая теперь письмо, думай не о себе, а только о том, как ты можешь ему помочь.

Сердце моё сжалось. Предчувствие подсказало, что сегодня брата не увижу, а я так на это надеялся.

Я прочел письмо, ещё раз перечитал его и всё никак не мог собраться с мыслями и прийти к какому-либо выводу.

Брат писал, что уехать из К. им удалось незамеченными: что слуги были переодеты восточными женщинами, Наль ехала в европейском костюме, который приготовил ей Али, а сам брат был в штатском платье. Причём все они сели в разные вагоны и только в Москве, переодевшись в дороге ещё раз, сошлись все вместе.

В Москве вся компания благополучно пересела в петербургский поезд, поскольку друзья предупредили их, что пароход в Лондон отходит в воскресенье; поэтому времени на остановку и свидание в Москве не оставалось.

Брат посылал мне свою любовь и просил простить его за беспокойство и огорчения, которые он доставил мне вместо отдыха. Он просил Флорентийца не оставлять меня, если я не поспею на тот же пароход.

"Поспею на пароход", — несколько раз печально и горько повторял я мысленно.

— Воскресенье — это сегодня, — наконец сказал я Флорентийцу. Против моей воли я таким тоном выговорил эту фразу, точно вернулся с похорон и объявлял ему об этом.

— Да, это сегодня. Им удалось проскочить благодаря тому, что друзья Ананды и Али отвлекали внимание главарей-фанатиков и пустили погоню по ложному следу, — ответил он. — Но вот письмо Али и две его телеграммы. За нами следом идёт погоня. Мулла и главари решили, что ты конечно же последуешь за братом. И по твоим следам ведено отыскать их, пусть даже на краю света. Если же будет возможность, захватить тебя и, рассчитывая на твою молодость, запугать всяческими угрозами и вызнать всё, что им нужно.

— Значит, будь такая возможность, — я всё равно не смог бы поехать с братом. В таком случае не стоит об этом и думать, — сказал я, стараясь стряхнуть с себя все иные мысли, кроме мысли о жизни и безопасности брата. — Что же теперь мы, а в частности я, будем делать? С вами мне всюду хорошо. Теперь вся жизнь моя в вас одном, вы спасёте брата, я в этом уверен. Располагайте мною так, как найдёте нужным для дела. Повторяю, сейчас для меня в жизни — вы всё.

— Ты — настоящий брат — сын своего брата-отца. Поверь, за эту минуту героизма ты будешь вознагражден большим счастьем. Кто умеет действовать, забывая о себе, тот побеждает, — ответил мне Флорентиец, ласково меня обняв. — Али предупредил в письме, что сообщит дополнительно, будет ли за нами погоня. Первая телеграмма подтверждает это, во второй говорится, кто идёт по нашему следу. Это два молодых купца, которые едут в Москву будто бы за товаром; один говорит только на своём родном языке и ещё по-русски; другой знает немецкий и английский. Али пишет, что оба они — приятели жениха Наль. Можно представить, что они намереваются делать и как. Вещи, переданные тебе для Наль, — это не обиходные вещи, их надо непременно переправить ей и как можно скорее. Предлагаю тебе вот какой план. Вещи Наль я отвезу сам; сегодня же сяду в курьерский поезд, идущий в Париж, оттуда проеду в Лондон и буду там раньше их. Тебе же следует немедленно, уже через два часа, вместе с Эвклидом выехать в Севастополь, а оттуда морем добраться до Константинополя и дальше пробираться в Индию, в имение Али. Ананде собираюсь предложить оставаться здесь целый месяц под предлогом дел, держать связь со всеми нами и наблюдать за действиями врагов. Я буду полезен и даже нужен твоему брату и Наль, которые могут оказаться беспомощными без опытного друга в первое время, в совершенно новых для них условиях. Да и в смерти брата твоего надо всех уверить, чтобы раз и навсегда покончить с преследованием. Через три-четыре месяца и я приеду в Индию. Я думаю устроить наших беглецов в Париже, когда всё образуются.

Я молча слушал. Не то чтобы во мне всё окаменело. Нет, я переживал нечто похожее на то, что должны ощущать люди, когда внезапно умирают их любимые. Я точно стоял у глубокой могилы и видел в ней гроб.

Я машинально встал, открыл чемодан, где находились вещи Наль, и стал вынимать оттуда свои, каждая из них резала меня точно ножом.

— Вы, вероятно, не захотите нарушать порядок, в каком были уложены вещи. Вот эти деньги мне подарил Али молодой. Они мне не нужны, так как для той далёкой поездки, в которую вы меня посылаете, они не годятся, да и мало их. Пусть это будет мой подарок брату. Купите в Париже прекрасный футляр, в виде золотой или серебряной коробки, — на какую хватит денег, — и вложите в неё вот эту записную книжку его, которую я так непростительно забыл в доме Али, — говорил я Флорентийцу, подавая ему чудесную книжку брата с павлином. — Я готов. Но разрешите мне сопровождать И. в качестве его слуги, чтобы я мог зарабатывать тот кусок хлеба, который до сегодняшнего дня ел из рук моего брата, — продолжал я.

— Мой милый мальчик, — сказал мне на это Флорентиец, — когда ты приедешь в Индию, станешь учиться. Ты многое узнаешь и поймёшь. Пока же доверься мне. Будь не слугой, а другом Эвклиду. Твой талант к математике и музыке ещё не всё, чем ты обладаешь. Разве ты не чувствуешь в себе писательского дара?

Я покраснел до пота на лице. Я никогда бы не поверил, что самое заветное, от всех сокрытое моё желание — и то он сможет подсмотреть.

Но времени на дальнейшие разговоры не оставалось. Вошли Ананда и И., и Флорентиец поведал им свой новый план. Меня очень удивило, что ни один из них не возразил ни словом; оба приняли его распоряжения, как не подлежащие даже обсуждению.

Ананда позвонил и велел заказать сейчас же два билета в Севастополь и отвезти двоих к поезду; а в номер подать нам завтрак.

— И на вечерний поезд в Париж купите один билет, — прибавил он.

Мы уложили мои вещи в поместительный саквояж Флорентийца, который он мне подарил.

— Там ты найдёшь мой сюрприз, — смеясь, сказал он мне. — Как только почувствуешь могильное настроение, — так и поищи его. Вот последний мой завет тебе: помни, что радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят всё, за что бы ты ни взялся.

Тут принесли наш завтрак: явился портье, говоря, что у него остались на руках два билета в Севастополь в международном вагоне, которые он собирался отослать в кассу вокзала в ту минуту, когда пришёл наш заказ. Билеты взяли, вещи отдали слуге; и мы сели завтракать. Через полчаса мы с

И. должны были ехать на вокзал.

Как я ни боролся с собой, но есть я ничего не мог, хотя с вечера ничего не ел. Сердце моё разрывалось. Я так привязался к Флорентийцу, что будто второго брата-отца хоронил, расставаясь с ним сейчас. Все старались сделать вид, что не замечают моей печали. Я думал, — откуда у этих людей столько самоотверженности и самообладания? Почему они так уравновешенны, стремительно идя на помощь чужому им человеку, моему брату; в чём находят они ось своей жизни, почву своему уверенному спокойствию?

И снова пронизала сердце мысль — кто человеку «свой», кто ему «чужой»? Мелькали в памяти слова Флорентийца, что кровь у всех людей одинаково красная и потому все братья, всем следует нести красоту, мир и помощь.

В кружении мыслей я не заметил, как кончился завтрак. Флорентиец погладил меня по голове и сказал:

— Живи, Левушка, радуясь, что жив твой брат, что ты сам здоров и можешь мыслить. Мыслетворчество — это единственное счастье людей. Кто вносит творчество в свой обыденный день — тот помогает жить всем людям. Побеждай любя — и ты победишь всё. Не тоскуй обо мне. Я навсегда твой друг и брат. Своей героической любовью к брату ты проложил дорогу не только к моему сердцу, но вот ещё твоих два верных друга, Ананда и Эвклид.

Я поднял глаза на него, но слёз сдержать не смог. Я бросился ему на шею, он поднял меня на руки, как дитя, и шепнул:

— Уроки жизни никому не легки. Но первое правило для тех, кто хочет победить, — уметь улыбаться беззаботно на глазах у людей, пусть даже в сердце сидит игла. Мы увидимся, — а вести обо мне будет посылать тебе Ананда.

Он опустил меня на пол, весело ответив на стук в дверь. Это портье пришёл сообщить, что пора ехать на вокзал.

Мы с И. простились сердечным пожатием рук с Флорентийцем и Анандой, спустились за портье вниз, сели в коляску и двинулись на вокзал. Мы ехали молча, не обменявшись ни словом. Только раз, при досадной задержке из-за какого-то уличного происшествия, И. спросил кучера, не опоздаем ли мы на поезд. Тот погнал лошадей, но всё же поезд тронулся, едва мы успели войти в вагон.

Глава 9. МЫ ЕДЕМ В СЕВАСТОПОЛЬ

Я столько провёл времени в вагоне и чувствовал такое сильное головокружение, что вынужден был лечь. И. достал из своего саквояжа пузырёк с каплями, накапал в стакан с водой несколько капель и подал мне, говоря: — Когда я был болен, Ананда всегда давал мне эти капли. Я выпил, мне стало лучше, и я незаметно для себя заснул. Когда я проснулся, И. стоял, смеясь, надо мной и говорил, что уже собирался брызгать мне в лицо водой, так я долго спал, а он умирает от голода. На самом деле было уже семь часов вечера, и надо было поторапливаться. Я быстро привёл себя в порядок, проводник запер наше купе, и мы отправились в вагон-ресторан.

Здесь публика была совсем иная, чем в поезде, шедшем к далёкой окраине Азии. Курьерский поезд по недавно проложенной линии мчал в Севастополь богатую публику, направляющуюся на модные курорты: Ялту, Гурзуф, Алупку и т. д. В вагоне-ресторане все уже сидели на своих местах. Лакей, посмотрев наши обеденные билетики, провёл нас к столику, за которым сидели две дамы.

Я сконфузился, ведь я совсем не привык к дамскому обществу, но посмотрев на И., был очень удивлён, потому что он вёл себя так, как будто всю жизнь только и делал, что ухаживал за дамами. Он снял свою шляпу, вежливо поклонился старшей даме и сказал по-французски: — Разрешите нам сесть за ваш стол?

Дама приветливо улыбнулась, ответила на поклон и сказала довольно низким приятным голосом: "Прошу вас", на прекрасном французском языке.

И. взял наши шляпы, положил их в сетку над столиком и пропустил меня к окну, заняв крайнее место у прохода. Я чувствовал себя очень неловко, старался смотреть в окно, но всё же исподтишка разглядывал соседок.

Старшая дама, далеко ещё не старая, была красиво и элегантно одета. Тёмные волосы, тёмные глаза, несколько выпуклые, были, вероятно, близоруки. Она была полновата и, судя по её белым холёным рукам, никогда не работала, да и вряд ли играла на рояле, ведь от постоянных ударов по клавишам кончики пальцев расширяются и кожа на них грубеет. Эти же руки были просто руками барыни. Лицо её не светилось ни умом, ни вдохновением. Я посмотрел на её зубы и губы, — всё в ней показалось мне банально красивым, но грубой, чисто физической красотой. И она

перестала возбуждать во мне какой бы то ни было интерес.

Тут подали мясной суп. И. сказал лакею, что заказывал специальный вегетарианский обед. Лакей извинился и отправился за объяснением к метрдотелю.

Это недоразумение послужило старшей даме поводом для разговора с И., который, как мне показалось, произвёл на неё большое впечатление. Пока старшие сотрапезники занимались обсуждением пользы и вреда вегетарианства, я перенёс своё внимание на другую нашу соседку.

Это была совсем молоденькая девушка, почти ребёнок. На вид ей было не более пятнадцати лет. Светлая блондинка, такого же золотистого оттенка, как мой брат, она уже одним этим сходством завоевала мои симпатии. Я невольно смотрел на неё, пользуясь тем, что она сидела с опущенными глазами. Личико у неё было худое, черты правильные, лоб высокий с бугорками над бровями. "Очень музыкальна", — подумал я.

Девушка, должно быть, в первый раз обедала в вагоне-ресторане. Она прилагала все усилия, чтобы не расплескать суп с ложки, но это ей удавалось плохо.

Заметив, что я бестактно уставился на девушку, И. задал мне какой-то вопрос, желая вовлечь меня в общий разговор и освободить от моих взглядов и без того сконфуженную соседку. Он выразительно на меня посмотрел, и я понял, что в моём поведении что-то не соответствовало поведению хорошо воспитанного человека.

Оказывается, старшая дама просила меня передать ей горчицу, а я не слышал её слов. И. повторил просьбу, я совсем переконфузился, подал ей горчицу, извинился на французском же языке, вспомнив одно из наставлений брата, что хорошо воспитанные люди должны отвечать на том же языке, на каком к ним обратились.

Сумбурные мысли о том, как трудно быть хорошо воспитанным человеком, сколько для этого надо знать условностей, и в них ли сила хорошего воспитания, — промчались не в первый раз в моей голове.

И. извинился за мою рассеянность, говоря, что я перенёс тяжёлую болезнь и ещё не успел окончательно поправиться. Дама сочувственно кивала головой, приняв меня за сына И., чему я весело посмеялся, а И. объяснил, что я ему друг и дальний родственник.

Я хотел спросить, не дочь ли ей молоденькая барышня, но в это время она сама сказала, что везёт свою племянницу в Гурзуф, где у её сестры, матери Лизы, дача возле самого моря.

Лиза всё молчала и не поднимала глаз; а тётка рассказывала, что Лиза только что окончила гимназию, очень утомлена экзаменами и должна

отдохнуть в тишине.

— Лиза у нас талант, — продолжала она, — у неё огромные способности к музыке и очень хороший голос. Она учится у лучших профессоров Москвы; но отец против профессионального музыкального образования, что и составляет Лизину драму.

Тут произошло нечто необычайное. Лиза вдруг внезапно подняла глаза, оглядела всех нас и твёрдо посмотрела на И.

— Вы не верьте ни одному слову моей тётки. Она ни в чём не отдаёт себе отчёт и готова выболтать каждому встречному всю подноготную, — сказала она дрожащим тихим, но таким певучим и металлическим голосом, что я сразу понял, что она, должно быть, чудесно поёт.

На щеках Лизы горели пятна, в глазах стояли слёзы. Она, видимо, ненавидела тётку и страдала от её характера. И. мгновенно налил капле в воду из своего пузырька и подал ей, сказав почти шепотом, но так повелительно, что девушка мгновенно повиновалась: — Выпейте, это сейчас же вас успокоит. Через несколько минут девушка действительно успокоилась. Красные пятна на щеках исчезли, она улыбнулась мне и спросила, куда я еду. Я ответил, что еду пока в Севастополь, какой маршрут будет дальше, ещё не знаю. Лиза удивилась и сказала, что думала, что мы едем в Феодосию или Алушту, ибо греки большей частью живут там.

— Греки? — спросил я с невероятным изумлением. — При чём же здесь греки?

Лиза в свою очередь широко раскрыла свои большие серые глаза и сказала, что ведь мой родственник такой типичный грек, что с него можно лепить греческую статую. Мы с И. весело рассмеялись, а тётка, кисло усмехаясь, сказала, что Лиза, как и все музыкально одарённые люди, неуравновешенна и слишком большая фантазёрка.

И. спорил с нею, доказывал, что люди одарённые вовсе не нервнобольные, а наоборот, они только тогда и могут творить, когда найдут в себе столько мужества и верности любимому искусству, что забывают о себе, о своих нервах и личном тщеславии, а в полном спокойствии и самообладании радостно несут свой талант окружающим. Тётка заявила, что для неё это слишком высокие материи, а Лиза вся превратилась в слух, глаза её загорелись, и она сказала И.:

— Как я много поняла сейчас из ваших слов. Я точно сама себе всё это не раз говорила, так мне ясны и близки ваши слова.

Видно было, что ей о многом хотелось спросить, чего нельзя было сказать о тётке. Такая любезная и кокетливо поглядывавшая на И. в начале обеда, — сейчас она едва скрывала скуку и досаду.

— Вот вам бы с моей сестрой познакомиться. Она вечно летает в заоблачных высях и, кроме своих цветов, музыки и книг, ничего в жизни не видит и не замечает. Даже того, что делается под самым её носом, — несколько тише и более ядовито прибавила она.

Лицо её отвратительно исказилось от зависти и ревности, очевидно уже давно разъедавших её сердце.

Лиза стала так бледна, побелели даже её розовые губы, что я испугался и быстро протянул ей стакан с водой. Но она не заметила моего движения; её потемневшие глаза сразу провалились, под ними легли тёмные тени, и от девушки-ребёнка не осталось и следа. Глядя прямо в глаза тётке ненавидящим взглядом, она сказала тихо и отдельно:

— Можно делать подлости, если есть вкус к ним. Можно быть и глупым, раз уж в мозгу чего-то недостаёт; но чтобы так выдавать себя первому встречному, — для этого надо быть более чем просто глупой. Вы отравили маме её молодость, мне — детство. Вы всю жизнь пытались встать между папой и нами. Вам это не удалось, потому что папа честный человек и любит нас с мамой. Неужели же мамину и мою деликатность и сострадание к вам вы принимали за нашу близорукость или глупость? Я бы и сейчас промолчала, если бы ваша наглость не была так возмутительна.

Трудно передать, что произошло с тёткой. От всей её чувственной красоты, от внешнего барского лоска ничего не осталось. Перед нами сидела вмиг постаревшая женщина, не умевшая сдерживать бешенства и тихо выплёвывавшая ругательства:

— Девчонка, дура, подлая шпионка, дрянь, — я тебе отплачу. Я всё расскажу дедушке и отцу.

Девушка с мольбой взглянула на И. На наш стол, несмотря на грохот колёс и шум вентиляторов, кое-кто уже стал обращать внимание. И. подозвал лакея, заплатил за всех и за всех же отказался от кофе. Он встал, достал наши шляпы и, твёрдо взглянув на тётку, сказал ей очень тихо, но повелительно:

— Встаньте, дайте пройти вашей племяннице. Поезд сейчас остановится, мы пройдем с ней по перрону. Вы же ступайте в ваше купе через вагоны. Придите в себя, вы потеряли всякий человеческий облик. Постарайтесь скрыть под улыбкой своё бешенство.

Говоря так, он стоял, склонившись к ней в вежливой позе, подавая упавшие сумочку и перчатки.

Ни слова не ответив, она встала и прошла мимо столиков к выходу, не дожидаясь нас.

И. помог Лизе выйти из-за тесно поставленных стульев, прошёл вперёд,

открыл дверь и пропустил девушку. Выйдя вслед за ними из вагона, я немного отстал; мне хотелось побыть одному, чтобы разобраться в этой чужой жизни, завеса которой приподнялась передо мной так внезапно и безобразно. Но И. остановился, подождал, пока я подойду, и сказал мне:

— Не отставайте от меня ни на шаг, друг. Какие бы драмы или приятные развлечения ни встретились нам в пути, мы не должны забывать нашей главной цели.

Он взял меня под руку, и мы втроём стали прогуливаться по платформе, войдя в вагон уже после второго звонка.

Каково же было моё удивление, когда я увидел, что тётка стоит в коридоре нашего вагона и весело флиртует с каким-то не особенно старым генералом. Оказалось, что купе наших соседок по столу было через два отделения от нас.

Как ни в чём не бывало тётка обратилась к нам, сказав, что уже стала беспокоиться, не похитили ли мы её племянницу. И., в тон ей, отвечал, что ни он, ни я на людей, занимающихся романтическими похождениями, как будто бы не похожи, но что мы очень польщены, конечно, если, по её мнению, имеем вид дон-жуанов.

Очень корректно раскланявшись с тёткой и племянницей, — причём я тоже старался щегольнуть элегантностью манер, — мы вошли в своё купе. И. сказал Лизе, что книгу, которую он ей обещал, пришлет с проводником.

Бедной девушке, очевидно, было жутко расставаться с нами. Её личико, и без того худое, ещё больше осунулось.

Когда мы остались одни, я хотел было поговорить о наших новых знакомых, но И. сказал мне:

— Не стоит сейчас об этом. Нам с тобой, повидавшим в жизни немало скорби, надо хорошенько думать о каждом своём слове. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. Вся жизнь — вечное движение; и это движение творят мысли человека. Слово — не простое сочетание букв. Даже если человек не знает ничего о тех силах, что носит в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно сотворить и пробудить неосторожно брошенным словом, — даже тогда нет безнаказанно брошенных в мир слов. Берегись пересудов не только на словах; но даже в мыслях старайся всегда найти оправдание людям и пролить им в душу мир, хотя бы на одну ту минуту, когда ты с ними. Подумаем лучше, что сейчас делают наши друзья.

Флорентиец, по всей вероятности, садится в поезд на Париж, а Ананда его провожает.

Он точно унёсся в далёкую Москву, и взгляд его стал отсутствующим.

Сам он, опершись головой о спинку дивана, сидел неподвижно; и я подумал, что у каждого человека, очевидно, своя манера спать, а я как-то не присматривался до сих пор к тому, как спят люди. Флорентиец спал, точно мертвец, И. спал сидя, с открытыми глазами, но сон его был так же крепок, как сон Флорентийца.

Думая, что будить И. и нельзя, и бесполезно, я тоже перенёсся мыслями в Москву.

Теперь, расставшись впервые за эти дни с Флорентийцем, к которому так прильнул всем сердцем, я почувствовал всю глубину удара, который нанесла мне жизнь этой разлукой. С самого рождения и до разлуки с братом я видел на своём пути один свет, один собственный дом, одного неизменного друга: брата Николая. Теперь я разлучен с братом, — погас мой свет, рухнул мой дом, исчез мой друг. Подле Флорентийца, несмотря на все тревоги, полное отсутствие какого-либо дома, непрерывные опасности и неутрачиваемые страдания о брате, я чувствовал и признавал, что в нём для меня — и свет, и дом, и друг. Чувство полной защищенности, мира в сердце, — даже когда я плакал или раздражался, — не покидало меня где-то в глубине. Я был уверен, каждую минуту уверен, что в лице Флорентийца я не только имею «дом», но что в этом доме смогу жить, учась и совершенствуясь, чтобы стать достойным своего друга.

Сейчас, думая о том, что Флорентиец уезжает в Париж, а я еду на Восток, — пусть в другие места, но всё же на тот Восток, знакомство с которым мне принесло так много горя, — я осознал, как я бездомен, одинок и брошен судьбою в вихрь страстей. Я могу быть лишь их игрушкой, потому что не только ничего не видел и не знаю, но даже не сумел себя воспитать и приготовить к жизни.

Ни одна струна в моём организме не была настроена так, чтобы я мог на неё положиться. При всяком сердечном ударе я плакал и терялся, словно ребёнок. Тело моё было слабо, не закалено гимнастикой, и всякое напряжение доводило меня до изнеможения и обмороков. Что же касается силы самообладания и выдержки, точности и чёткости в мыслях и во внимании, — то тут дисциплины во мне было ещё меньше.

Я смотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки. Природа находилась в полном расцвете своих сил. Мелькали зелёные луга, колосющиеся поля, живописные деревушки. Всё говорило о яркой жизни! Кому-то были близки и дороги все эти поля, сады и огороды. Целыми семьями работали на них люди, находя кроме любви к своей семье и общую любовь к этой земле, к её красотам, к её творчеству.

А я один, один — всюду и везде один! И во всём мире нет ни угла, ни

сердца, про которое я знал бы — вот «моё» пристанище.

Погруженный в свои горькие мысли, я забыл об И.; забыл, где я, унёсся в сказочный мир мечтаний, стал думать, как буду стремиться стать достойным другом Флорентийца, таким же сильным, добрым и всегда владеющим собой. Невольно мысль моя перебросилась на его друзей — И. и Ананду. Их поступки, полные самоотречения, ведь они бросили всё по первому зову Флорентийца и едут помогать брату и мне — людям им совершенно чужим, очаровывали меня высотой благородства.

Внезапно в коридоре послышался сильный шум и женский крик: "Доктора, доктора".

Оторванный от своих грёз, я резко вскочил, чтобы броситься на помощь, зацепился ногой за чемодан, который стоял у столика, и упал бы со всего размаха прямо на пол, лицом вниз, если бы меня не схватили сзади за плечи сильные руки И.

— Нос разобьёшь, Левушка, — уморительно копируя старушечье шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьёзной фигуре И., что я расхохотался, забыв, куда и зачем бежал.

— Подожди здесь, друг, — проговорил он уже своим обычным голосом. — Я пойду с моими каплями. Узнаю истеричный голос нашей старшей соседки по столу. Быть может, я там задержусь, но ты всё же не выходи из купе, если я не приду за тобой. Всё время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж, поезд должен был отойти минут десять назад, судя по времени, — сказал он, посмотрев на часы. — Ведь Флорентиец отправился в путь ради тебя и твоего брата. Я еду ради тебя и для него. Ананда живёт в Москве тоже ради вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным?

В эту минуту кто-то постучал в наше купе. И. ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь.

У порога стоял давешний генерал, с которым флиртowała тётка, и ещё какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора, — принимая И. за такового, — помочь молодой девушке, упавшей в обморок в соседнем купе; никто не может привести её чувство, хотя её тётка уже более часа употребляет к этому все обычные средства.

И. только спросил, зачем же раньше к нему не обратились, — захватил походную аптечку из того саквояжа, что вручил мне Флорентиец, и ушёл вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами.

Я выглянул в коридор, куда высыпали мужчины и дамы из всех купе. Они представляли довольно-таки смешную картину. У каждого было растерянно-вопросительное лицо, — и в руках какой-либо флакон.

Очевидно, прежде чем вспомнить о докторе, все они помогали злосчастной тётке привести в чувство девушку.

Я закрыл дверь, убрал в сетку чемодан, о который я так неловко споткнулся, и стал думать о девушке, впавшей в такой глубокий обморок. Я вспомнил её худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Казалось, что здоровьем она столь же не крепка, как и я; и так же невыдержанна и плохо воспитана, — в смысле самообладания.

"Вот, — думал я, — у неё есть и мать, и отец; есть дом, и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю. А жизнь её вряд ли веселее моей, если приходится жить и ездить с тёткой, которую ненавидишь".

Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, каким же образом до такой глубокой сердечной боли мог дойти в родительском доме ребёнок. Как, изо дня в день, её должна была угнетать атмосфера жизни родителей, если Лиза могла обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня.

Я сравнивал её с собой и всем сердцем искал оправдания её поступку, памятуя, что недавно сказал мне И. Мне припомнились мои слёзы за последние дни; как горько я плакал — и тоже перед чужими мне людьми, я — мужчина, старше её на добрые пять лет.

И звучавший лейтмотивом этих дней вопрос "Кто тебе свой? Кто чужой?", назойливо возвращающийся ко мне, отвёл мои мысли от девушки...

Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравились ли мне Лиза? За все мои двадцать лет я ещё ни разу не был влюблён. Я так был занят, такое множество у меня было уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы; перечень музеев и галерей, которые я должен был повидать, — всё это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме старой тётки, у меня не было никаких. А в её доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манерам, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки и не интересуясь вовсе духовной жизнью замухрышки, каким я несомненно был в их представлении. Все их разговоры были о большом свете; на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут завтра.

Никогда мне не доводилось даже сидеть за одним столом с девушками или танцевать с ними. Лиза была первой девушкой обычной, простой жизни, с которой я просидел около часа за одним столом. Как Наль являла собой какую-то высшую красоту, принадлежала высшей, необычной

жизни. И с обеими я не просто общался, как с добрыми знакомыми, а подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытой от всех, жизни.

"Лиза упрекала тётку в том, что первому встречному она готова поведать о своих делах. А разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тётка?" — вертелось в моей голове колесо мыслей.

Тёплое чувство к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь, принять участие в её судьбе шевельнулись во мне.

Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался этими психологическими этюдами. За окном была тёмная ночь, в коридоре горела зажжённая проводником свечка, но в купе было довольно темно.

Я встал, намереваясь выглянуть, как в дверь внезапно постучали, и я увидел И., ввопившего в наше купе Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти; за ними шла тётка с пледом в руках.

— Левушка, у Лизы был сильный сердечный припадок. Пока ей приготовят постель, ей надо полежать у нас, сидеть она не может, — сказал И., укладывая девушку на диван.

Я хотел выйти в коридор, но он дал мне хрустальный флакон и велел каждые пять минут подносить к носу Лизы. Я присел на чемодан у её изголовья и стал выполнять свою миссию лекарского подмастерья. Тётке И. указал место у столика, взял у неё плед, накрыл им девушку и сел у её ног.

Несколько минут царило полное молчание. Тётку я не видел, ибо, занятый своей миссией, сидел к ней спиной. Пользуясь полуобморочным состоянием Лизы, я внимательно её разглядывал.

Бесспорно, это была красивая девушка. Но меня крайне поразило, что одна щека её была восковой бледности, а другая не только пылала, но багровость её переходила в большой синяк, что отчётливо стало видно теперь, когда И. достал складной подсвечник, зажёг в нём свечу и поставил на столик.

— О чём теперь вы плачете? — услышал я вдруг голос И. Я оглянулся и увидел, что лицо тётки всё залито слезами; нос, губы, щёки — всё распухло, и вид её был до отвращения безобразен.

— Не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она станет всех уверять, что это я её толкнула. А на самом деле сама ушиблась... — отвечала злым голосом тётка сквозь всхлипывания.

Я взглянул на И. и поразился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что сразу напомнил мне Али. Никогда бы не поверил, что у неизменно ровного, большей частью светящегося доброжелательством И. может быть такое грозное лицо, такие суровые

глаза.

— Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что это вы её ударили, не рассчитав своей силы; и я могу вам показать отпечаток вашей ладони на её щеке. Если бы вы ударили чуть выше, — с Лизой было бы кончено, — говорил звенящим голосом И.

Всхлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тётки:

— Возможно, что вы и доктор. Но вряд ли вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла так ударить девчонку, чтобы свалить её в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было силы её поднять.

— И поэтому вы исципали ей всю грудь и руку, — сказал И. — Но поскольку вы отрицаете, что избили её, — мне придется сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы прибудем в Севастополь.

Воцарилось недолгое молчание, затем тётка прошипела: — Сколько возьмёте за своё молчание? И. рассмеялся, я тоже не мог удержаться от смеха и закричал: — Да это целый роман!

Вероятно, мой смех особенно раздражил такую сейчас старую и безобразную даму. Когда я на неё взглянул, — точно змея меня укусила, так злы были её глаза.

— Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушке вы нанесли и моральный и физический вред. За моральный удар вы ответите жизни; он не останется безнаказанным и вернётся к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребёнка вы получите такую же пощёчину. А за удар физический вы ответите судебной власти и понесёте заслуженное наказание, — говорил И., доставая из саквояжа футляр с фотографическим аппаратом.

— Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка рассказала вам о моём сыне. Это моё единственное сокровище. Умоляю вас, не губите меня. Я впервые ударила её за то, что она выдала меня перед вами. Пожалейте несчастную мать, — бормотала она прерывающимся голосом.

— Почему же вы не пожалели единственного ребёнка своей сестры? Женщины, несчастье которой составляете вы до сих пор, — продолжал И., всё так же сурово глядя на неё.

— Вы ещё слишком молоды. Вы не знаете бедности. Вы не можете ни понять, ни судить меня, — жалобно говорила женщина. — Но если вы не выдадите меня родителям Лизы, клянусь жизнью своего сына, что пальцем не трону больше девчонку.

— И будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в её доме, разыгрывать в нём хозяйку? О нет, вы слишком дорого цените благополучие вашего сына и слишком дёшево — три жизни ваших родных. Только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома сестры.

— Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что не знали нужды и не понимаете жизни. Чем я буду жить? — раздражённо спросила тётка.

Вторично по лицу И. скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, просто играл колеблющийся свет горячей свечи.

— Вы должны работать, — тихо сказал он. — Работать? Оно и видно, что сами-то вы и гроша не заработали, просидели на шее папеньки с маменькой, как и ваш братец, и не понимаете, о чём тут болтаете, — злясь и фыркая, говорила тётка.

— Я повторяю, — чрезвычайно спокойно, но с непоколебимой волей возразил И., — что единственное условие, при котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления, — это условие немедленного отъезда из дома сестры и лично ваш труд. Вы должны сами зарабатывать себе на хлеб и научить тому же вашего сына.

— Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Я барыня, слышите вы, ба-ры-ня! Была, есть и буду!

— Достаточно сейчас взглянуть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня в том смысле, в каком должно понимать привилегии этого понятия — высокую культуру, самодисциплину и самообладание, — ответил И.

— Вы очень дерзки и самонадеянны. Я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь, — закричала тётка.

— Ах, если бы вы понимали, что вам следует бояться только себя, вы сумели бы защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди. И не был бы он, вслед за вами, приживальщиком, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь, лишиться сестринского крова, отравленного для неё вами. Но поймите же, я не угрожаю, не запугиваю вас, только разоблачу перед родными. И они не станут более терпеть вас у себя ни минуты, и вы останетесь на улице. Уйдёте добровольно, я обещаю найти вам работу. Вы должны понять, что трудиться обязаны все, а вы — в особенности.

— Да не могу я быть гувернанткой, — снова закричала она. — Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котёл, вы не имеете даже начального понятия о такте. А бестактный человек, даже добрый, так же вреден ребёнку, как плохой зараженный

воздух. Я имел в виду дать вам письмо к своему другу в Москве. Он ведёт большое литературное дело, и ему нужны переводчики. Платит он очень щедро. Кроме того, он, наверное, сможет выделить вам небольшую квартиру в своём доме. Пока вы не съели ни одного куса хлеба, заработанного своими руками и головой, — вы не можете понять счастья жить на земле. Его приносит только честный труд.

Тётка теперь молчала. Я несколько раз оглядывался на неё, и мне казалось, что слова И. действовали на неё успокаивающе. Глаза её перестали источать ненависть, расстроенное и безобразное от злобы лицо становилось спокойнее: и даже какое-то благородство мелькнуло на нём, как сквозь серую пелену дождя пробивается бледный луч солнца.

Лиза всё ещё не приходила в себя. И. встал, наклонился к девушке и откинул прядь волос с её лица. Щека вздулась: видны были ссадины, огромный кровоподтёк становился почти чёрным. И. взял фотографический аппарат. Но в ту минуту, как он хотел его открыть, рука тётки коснулась его, и она едва слышно сказала: — Я согласна.

Я был поражен. Сколько раз за эти короткие дни я был свидетелем того, как страсти, пьянство, безделье, фанатизм и зависть уродовали людей, разъединяли их и делали врагами. Как люди теряли человеческий облик и становились игрушкой собственного раздражения и бешенства. С горечью думал я, как же мало во мне самом самообладания и самодисциплины; и как я успокаивался от одного только присутствия брата, Флорентийца и моего нового друга И.

Ни одного слова, — как оно ни было горько, — не произнёс И. повышенным тоном. Ни малейшего намёка на презрение не прозвучало в его словах, напротив, всё в нём являло самое глубокое доброжелательство. И злобные выкрики в его адрес, так оскорблявшие меня, что мне хотелось вмешаться в разговор и ответить ей тем же тоном, — не задевали спокойного благородства И. и его сострадания к этой женщине.

И. посмотрел на неё. Должно быть, его взгляд затронул что-то лучшее в её существе; она закрыла лицо руками и прошептала:

— Простите меня. У меня такой бешеный характер; я сама не понимаю иногда, что говорю и делаю. Но если я даю слово, — я его держу честно. И это, может быть, единственное моё достоинство, — сквозь снова полившие слёзы проговорила она.

— Не плачьте. Отнеситесь в высшей степени серьёзно ко всему, что с вами сейчас произошло. Благословляйте судьбу за то, что Лиза не ушиблась об острый угол стола. Если бы ещё и это, — вы были бы сейчас убийцей, — а что это значит, вы отлично понимаете, — ответил ей И.

Ужас изобразился на лице тётки, которая сейчас была так несчастна, что даже моё сердце смягчилось; и я старался подыскать ей оправдания, думая о том, как постепенно и незаметно для себя падает человек, если зависть и ревность сплетают сеть вокруг него изо дня в день.

— Не возвращайтесь мыслями к прошлому, — снова заговорил И. — Думайте о своём сыне, нет ничего такого, чего бы не победила материнская любовь. Я залечу щёку Лизы, и через несколько часов от кровоподтёка не останется и следа. Но вам придется просидеть возле неё до утра, меняя компрессы из той жидкости, что я вам дам. Примите эти подкрепляющие капли, — и бессонная ночь пройдёт легко. К утру я приготовлю письмо к моему другу и дам вам денег, чтобы вы с этой минуты могли начать новую, самостоятельную жизнь и уехать с сыном, не одалживаясь более у родных. Когда станете зарабатывать, вернёте эти деньги своему хозяину и он перешлёт их мне; не впадайте в отчаяние, когда к вам будет возвращаться желание кричать: "Я барыня, барыня есть, была и буду", — а уединитесь и вспомните эту ночь. Вспомните, как я говорил вам, что за всё то зло, которое вы выливаете из себя, получите стократное воздаяние от собственного сына. Но зато каждое мгновение вашей доброты, выдержки и самообладания будет строить мост к его счастью.

Должно быть, сердце бедной женщины разрывалось от самых разнообразных чувств и силы почти изменяли ей. И. велел мне наполнить стакан водой, влил туда капель, и я подал его тётке.

Тем временем, опять-таки из саквояжа, что дал мне Флорентиец, И. достал флакон, стакан и попросил принести тёплой воды.

Когда я вернулся в купе, тётка уже пришла в себя и помогала И. поднять Лизу. Движения её были осторожны, даже ласковы; а лицо, осунувшееся и постаревшее, выражало огромное горе и твёрдую решимость. Но это была совсем не та женщина, которую я видел в ресторане; и не та, которую я видел, выходя из купе. Правда, я не сразу разыскал проводника, который стелил постели; не сразу достал и воду, которую пришлось остудить, но всё же отсутствовал я всего минут двадцать, и за это короткое время человека было не узнать.

Но уже столько всякого случилось за эти дни, и так я сам — всех больше — изменялся, что меня вовсе не поразила эта перемена, словно бы это было в порядке вещей.

И. влил в рот Лизе снадобье, вдвоём они её снова уложили, и через несколько минут Лиза открыла глаза. Сначала взгляд её ничего не выражал. Потом, узнав И., Лиза просияла радостью. Но увидев тётку, закричала, точно её обожгли.

— Успокойтесь, друг, — обратился к ней И. — Никто вам больше зла не причинит. Сейчас вот приложу примочку, и к утру на вашем лице не останется никаких следов. Не смотрите с таким ужасом на свою тётку. Не думайте, что высшее благородство заключается в том, чтобы отгораживаться от тех, кого считаем злыми или даже своими врагами. Врага надо победить; но побеждают не пассивным уходом в сторону, а активной борьбой, героическим напряжением чувств и мыслей. Нельзя прожить одарённому человеку — тому, кто предназначен внести каплю своего творческого труда в труд всего человечества, — безмятежно, без бурь, страданий и борьбы с самим собою и окружающими. Вы входите теперь в жизнь. Если не сумеете сейчас найти в себе благородство и не выдать зло, причинённое вам тёткой, — то не внесёте в жизнь собственную того огромного капитала чести и сострадания, которые помогут вам создать себе и близким радостную жизнь. Не судите тётку так, как это сделал бы судья. Подумайте о скрытых в вас самой страстях. Вспомните, как часто вы горели ненавистью к ней и её сынишке, хотя он-то уж никак неповинен ни в вашем горе, ни в ваших отношениях с тётушкой. Проверьте, сколько раз вы платили тётке ещё большей грубостью, как постоянно искали случая публично её осрамить, мысленно "посадить на место". Но ни разу не мелькнуло в вас доброе чувство, хотя к прочим вы добры, и очень добры. Молодость чутка. Представить себе весь сложный ход вещей, всю силу человеческих страстей, расставляющих на каждом шагу капканы, — вы ещё не в состоянии. Но понять, что сила человека не в злобе, а в доброте, в том благородстве, которое он с собой несёт, — вы способны, потому что сердце ваше чисто и широко. Вы играете на скрипке и понимаете, ибо вы талантливы, что звуки, — как и доброта, — очаровывают и единят людей в красоте. Играя людям, чтобы звать их к прекрасному, — вы не ведаете страха. Так же точно возвращайтесь сейчас к себе без страха и сомнений. Когда сердце истинно открыто красоте, оно не знает страха и поёт дивную песнь — песнь торжествующей любви. Вы так юны и чисты, что никакой другой песни петь не может ваше сердце. Не думайте о прошлом, проживайте это сейчас со всею полнотой ваших лучших чувств, — и вы постройте вокруг себя прекрасную жизнь. Но ваше «завтра» будет засорено остатками жёлчи и горечи, которые вы вплетёте в него, если сегодня не найдёте сил раскрыть сердце в полной цельной любви, честно, без компромиссов. Ваша тётя покинет вас, как только доведёт до дома. Она нашла себе место и будет жить с сыном в Москве. А вы ведь собираетесь переехать в Петербург... Вам уже стало лучше. Левушка доведёт вас до купе и даст вот эту микстуру, от которой вы отлично уснёте и завтра будете

хороши, как роза — прибавил он, улыбаясь.

Лиза была очень удивлена. В голове её, — и это было ясно всем, — происходила сумбурная работа; но слова И. не были брошены впустую.

— Я вас отлично понимаю. Как это ни странно, но мама часто говорит мне вещи, очень похожие на то, что говорите вы сейчас. Так что ваши слова поразили меня больше тем, что совпали с мыслями мамы, хотя и совсем иначе выраженными. Я не могу сказать, что я в восторге от этих идей. Ведь я действительно ненавижу свою тётку и не верю ни одному её слову. Вы и представить себе не можете, как она умеет лгать.

— А вы разве так безупречно правдивы? — тихо спросил И.

— Нет, — ответила Лиза, покраснев до корней волос. — Нет, я далеко не правдива. Но... хотя, зачем вдаваться в далёкое прошлое? Если вы говорите, — она сделала сильное ударение на «вы», — что она уедет, я вам верю. Это всё, что нам нужно.

— Нет, — снова сказал И. — Это далеко не всё, что вам нужно, чтобы быть счастливой. Вы так привыкли иметь подле живой предлог, чтобы жаловаться на свои несчастья, что создали себе привычку — вместо того, чтобы следить за собой, — следить за тёткой, выискивая в ней причины своих бед. И не замечали, что не только она, а и вы, Лиза, были мучительницей и матери, и отцу, и тётке... и самой себе.

При последних словах И. Лиза опустила голову.

— Это правда, — сказала она, подняв глаза на И.

И. помог ей встать, подал мне большой стакан с примочкой и маленький с каплями и предложил Лизе, опираясь на мою руку, идти спать, чтобы утро встретить весёлой и свежей.

Было уже за полночь. С помощью тётки я довёл Лизу до места, подал ей капли, которые она тут же выпила, а тётке — большой стакан с примочкой, пожелал им покойной ночи, раскланялся и вернулся к И.

Я застал его в коридоре, так как проводник стелил нам постели. Я подошёл к нему, и он сказал мне по-английски, чтобы я сейчас же ложился спать, поскольку завтра понадобятся силы, а вид у меня очень утомлённый. Ему же надо написать два письма, и он ляжет потом.

Уже по короткому опыту я знал, что говорить о последних событиях он не станет, а утомлён я был ужасно. Не возражая, кивнул согласно головой, залез на верхний диван и едва успел раздеться, как заснул мёртвым сном.

Проснулся я от стука в дверь и голоса И., отвечавшего проводнику, что мы уже проснулись, благодарим за то, что он нас разбудил, и тотчас встаём. Но когда я спустился вниз, то увидел, что постель И. была даже не примята и три письма лежали наготове, запечатанные в конверты, а сам он уже

переоделся в лёгкий серый костюм.

И. попросил собрать все наши вещи, сказав, что пройдёт к Лизе, которую навещал два раза ночью. Он прибавил, что организм девушки крепок, но нервная система так слаба, что ей необходим бдительный и постоянный уход. И потому он написал матери Лизы, графине Е., письмо с подробными указаниями, как заняться лечением и воспитанием дочери.

С этими словами он вышел, я же так и остался посреди купе с открытым ртом. Много чудес перевидал я за эти дни, но чтобы И. и в самом деле оказался доктором и решился писать письмо совершенно неизвестной ему графине Е. о её — тоже ему мало известной — дочери, — этого уж я никак не мог взять в толк. "Где же тут такт?" — мысленно спрашивал я себя, припоминая, что говорил Флорентиец о такте и предельном внимании к людям.

Долго ли, со свойственными мне рассеянностью и способностью мигом забывать всё окружающее, стоял я посреди купе, — не знаю. Только внезапно дверь открылась, и я услышал весёлый голос И.

— Да ты угробишь нас, Левушка. Надо скорее всё сложить, мы подъезжаем.

Я сконфузился, принялся быстро складывать вещи, но И. делал всё лучше и быстрее, — мне оставалось только подавать вещи. Не успели мы уложить и закрыть чемоданы, как подкатили к перрону.

В коридоре я увидел Лизу и тётку в нарядных белых платьях и элегантных шляпках. Лиза действительно была свежа, как роза, и в глазах её светилась радость. Тётка же её была бледна, на лице её разлилась скорбь, на лбу залегла поперечная морщина, тогда как вчера он был совершенно гладок; губы плотно сжаты: но, странно, — сейчас она нравилась мне гораздо больше; от её вчерашней плотоядности ничего не осталось. То было лицо стареющей женщины, преображенное страданием.

Я поздоровался с ними издали; у меня не было желания заглядывать ещё глубже в драму этих жизней. Севастополь сразу напомнил, что здесь мы сядем на пароход и снова отправимся на Восток; и я погрузился в мысли о брате и его судьбе в эту минуту.

Нарядная публика выходила из нашего вагона, и не менее нарядные люди встречали прибывших на перроне. Весёлые возгласы, смех, объятия. И снова резанула мысль, что меня встречать некому и некого мне прижать к груди во всём мире, хотя в нём миллионы людей.

И. взял меня под руку, взглянув, как мне показалось, не без укора. Через минуту мы вышли, вслед за носильщиком, на перрон, где ждала нас Лиза рядом со стариком высокого роста с небольшой седой эспаньолкой, очень

красивым, гордым и элегантным.

Лиза подвела его к И. и сказала, что в вагоне упала так неловко, что разбила всю левую щеку и висок. И вот доктор помог ей какой-то микстурой так хорошо, что и следа от ушиба почти не осталось.

Старик, — дедушка Лизы, — перепуганный внезапной болезнью внучки, высказал признательность. Он спросил, куда мы едем, сказав, что у него есть запасной экипаж и он может довезти нас до Гурзуфа. И. поблагодарил, говоря, что мы останемся в Севастополе.

— В таком случае, разрешите моему кучеру довезти вас до лучшей гостиницы, — сказал он, снимая шляпу.

Я видел, что И. очень этого не хотелось, но делать было нечего, — он тоже снял шляпу, поклонился и принял предложение.

Глава 10. В СЕВАСТОПОЛЕ

Все вместе мы вышли из здания вокзала. Старик велел нашему носильщику отыскать в целой веренице всевозможных собственных и наёмных экипажей кучера Ибрагима из Гурзуфа.

Через несколько минут подкатила отличная коляска в английской упряжке, с белыми чехлами на сиденьях и кучером в белой же ливрее с синими шнурками, высоком белом цилиндре с синей лентой. При широкой татарской физиономии Ибрагима его английское одеяние выглядело довольно комично. Я подумал, что у того, кто подбирал кучера к английской упряжке, было не много такта.

Вообще, это короткое словечко не покидало меня и при всяком подходящем или неподходящем случае вылетало из какого-то закоулка в моём мозгу, дверь в который я не умел, очевидно, запереть как следует.

Пока мы прощались с дамами и усаживались в коляску, старик давал кучеру указания, куда нас отвезти, какого управляющего вызвать, чтобы нас отлично устроили в номере с видом на море, и последнее, что я услышал, было приказание Ибрагиму оставаться весь день в нашем распоряжении, свозить нас в Балаклаву и только завтра, выполнив ещё какие-то поручения, выехать в Гурзуф.

Я посмотрел на Лизу. Она не сводила глаз с И. Она так смотрела на него, точно он был сказочный принц, а она Золушка. Я перевёл глаза на И. и снова подумал, что он красив, как Бог, но Бог суровый.

Тётка всё это время стояла, опустив глаза, и казалась ещё бледнее в ярких лучах солнца.

Мне было её сердечно жаль; мне казалось, что я, одинокий и бездомный, могу более других понять её скорбь и неуверенность в надвигающейся полосе её новой самостоятельной жизни. Прощаясь с нею, я крепко пожал и нагнулся поцеловать ей руку, не по велению хорошего тона, но в самом искреннем сердечном порыве.

Она, казалось, почувствовала теплоту моего сердца, ответила на пожатие и взглянула на меня. Я даже похолодел на мгновение, такая бездна отчаяния была в её глазах.

"Боже мой, — думал я, усаживаясь рядом с И., который говорил о чём-то с Лизой, — неужели в жизни так много страданий? И зачем так устроена жизнь? Зачем столько слёз, нищеты и горя? И как понять, что человек сам множит свои скорби, как говорит И.?"

Вокзал был довольно далеко от города. Я впервые видел Крым и этот исторический город. Всё в нём дышало для меня очарованием. Я мысленно расставлял редуты и башни, и пленительные образы Корнилова, Нахимова и Тотлебена вели воображение далее, к первому герою той страшной обороны — русскому солдату.

И. разговаривал с кучером, который оказался уроженцем Севастополя и не так давно похоронил деда, участвовавшего в тяжких боях, выпавших на долю четвёртого бастиона.

Он вызвался отвести нас на верхний бульвар, чтобы мы увидели, где проходили бои, с обозначением блиндажей и бастионов, а в Балаклаве посмотрим гавань, где затонуло громадное судно, знаменитый "Чёрный принц" англичан.

Мне больше всего хотелось видеть Нахимовский курган, но я не хотел вмешиваться в разговор. Сердце моё так было полно горечью жизни, что обычная моя смешливость и интерес к новым местам отошли на какой-то далёкий план. А страдания людей опаляли, как беспощадное солнце, поджаривавшее нас.

А этот город, спасённый такими неописуемыми страданиями и гибелью безвестных серых тысяч, имён которых никогда не сохраняет история, зная одно только имя народа — Иван Стотысячный!

И где-то рядом высилась в моём представлении фигура венценосного императора Николая 1, у которого не хватило ума прислать достаточно войска и провианта в это погибельное место, вместо того чтобы собирать войска на Кавказе, где он поджидал врага. И сколько же их, грабителей, негодяев и знатных дураков, помогавших гибнуть этим безвестным героям, — Иванам Стотысячным, — умиравшим просто и без проклятий.

Мысли мои прервал И., спрашивавший, не согласен ли я прежде всего узнать о билетах на пароход в Константинополь. Вмешавшийся Ибрагим уверил И., что в гостинице, куда он нас привезёт, есть агент пароходной компании, что он доставляет и билеты, и заграничные паспорта, и что у нас никаких хлопот не будет, потому что пока путешественников мало, а вот через месяц будет очень "большая масса", как выразился Ибрагим.

И. согласился ехать прямо в гостиницу, но я видел, что ему как-то не по себе. Несмотря на всё его самообладание, лицо его было сурово и нахмурено.

Если бы я не знал другого его облика, как бы я был несчастлив, что связал судьбу с этим человеком! Точно прочитав мои мысли, И. обернулся и ласково мне улыбнулся.

Какой странный инструмент — сердце человека! Одной улыбки и

лёгкого пожатия руки было довольно, чтобы мне стало легко, чтоб сердце открылось для тех радостных сил и чувств, которые я закупорил где-то в тени души.

И. велел Ибрагиму заехать на главную почту, чтобы отправить письма. В эту минуту мы проезжали мимо собора, где стоял когда-то гроб убитого при обороне Севастополя Корнилова.

Мы остановились у почты — маленького и грязного домишки. И. отправил письма, получил телеграммы и, увидев расклеенные по стенам плакаты и объявления пароходных компаний, спросил, где можно купить билеты на пароход в Константинополь.

Старый сторож, в не менее старом и засаленном солдатском мундире, должно быть ещё времён обороны, ибо подобных камзолов нигде теперь не было и в помине, ответил, что агент имеется в приморской гостинице, поскольку там ещё есть надежда заполучить пассажиров, а здесь билеты пока никто не спрашивал.

Мы снова сели в коляску и двинулись к гостинице, которая оказалась неподалёку. Очевидно, хозяина Ибрагима хорошо знали, потому что был немедленно вызван управляющий и нас поселили в лучшем номере.

Через несколько минут явился и пароходный агент. Он сказал, что превосходный новый английский пароход уходит впервые в Смирну и Константинополь завтра в 3 часа дня, А сегодня в ночь отправляется такая грязная и старая итальянская скорлупа, которую новый пароход всё равно перегонит; и что на нём есть совершенно новенькая свободная каюта-люкс.

И. согласился, отдал ему наши паспорта и деньги и условился, что вечером, когда мы будем обедать здесь же, в гостинице, нам принесут билеты. А заграничные паспорта вручат в полном порядке завтра в час дня, так как это не так скоро здесь делается.

И. распорядился, чтобы покормили Ибрагима, а сами, умывшись и переодевшись, мы спустились в тенистый и прохладный зал ресторана завтракать. И. сказал, что есть телеграмма от Ананды, извещающего, что всё благополучно, что Флорентиец выехал в Париж, а он, Ананда, будет телеграфировать нам в С и Константинополь на главную почту и чтобы мы написали о себе в Москву, в ту же гостиницу.

Позавтракав, мы сели в коляску Ибрагима и отправились осматривать город, доверившись во всём вкусу и знаниям нашего кучера.

Должно быть, он не раз показывал достопримечательности города знакомым старика Е., потому что очень толково провёз нас по лучшим улицам, показав всё, что построено за последние годы, сообщив, что обратно повезёт другой дорогой и мы познакомимся со всем городом.

Огромное впечатление произвёл на меня верхний Севастопольский бульвар. Мы дважды обошли с И. места, ставшие бессмертной славой России, пусть многие и считали их бесславными страницами истории.

Никогда прежде не видавший моря, я положительно растворился в восторге, увидев его бушующим с обрывистых берегов у Балаклавы. Я забыл обо всём, кроме природы, солнца и моря, и мне казалось, что уж лучше и быть ничего не может.

И., посмеиваясь надо мной, говорил, что я вскоре увижу такие красоты, перед которыми Крым решительно покажется мне убогим. Шутил он и над моими восторгами, пообещав, что первая же морская буря, в какую я попаду, сменит, при моей экспансивности, восторг на проклятия.

Только вечером мы вернулись в гостиницу. Щедро расплатившись с Ибрагимом, получив билеты у агента, мы прошли в свой номер и оттуда в ресторан ужинать.

Пока был на воздухе, я не замечал ни усталости, ни голода, ни палящего солнца. Сейчас же лицо моё горело, я хотел есть, пить, спать — всё вместе. Взглянув на И., я мысленно пожал плечами. Этот человек словно только что вышел из своего кабинета, где преспокойно читал газету. Правда, лицо и у него немного обветрилось и загорело, но не пылало, как моё, на нём не было видно признаков утомления; он, очевидно, мог встать и ехать дальше, а я, я прямо валился с ног от усталости.

Зал был почти пуст, но все же несколько столиков было занято. Однако я так был поглощен собой и утолением своего голода, что даже не обратил внимания на тех, кто был в зале.

К моему удивлению, И. ел мало. На вопрос, неужели он не голоден, он ответил, что в пути есть надо мало: чем меньше ешь, тем легче путешествовать и тем лучше воспринимаешь все окружающее. В его тоне отнюдь не было ни малейшего укора или осуждения. Но я как-то сразу почувствовал себя неловко. Я вообще отличался прекрасным аппетитом, чем удивлял своих товарищей по гимназии. Обжорой я всё же не был; но сейчас почувствовал себя так, как будто бы действительно был в этом грешен.

Я моментально потерял вкус к еде и отодвинул тарелку. Заметив это, И. спросил, сыт ли я уже. Я просто и прямо сказал, что потерял вдруг аппетит, устыдившись своей прожорливости рядом с ним.

— Вот уж не следует, по-моему, сравнивать себя ни с кем ни в аппетите, ни как-то иначе. У каждого свои собственные обстоятельства, и чужой жизнью не проживёшь ни минуты, — сказал И. — Кушай, мой дорогой, на здоровье, сколько тебе хочется. Придёт время, доживёшь до моих лет, и еда

станет для тебя просто необходимостью, а не наслаждением. Я очень виноват, что необдуманно лишил тебя аппетита, — ласково улыбнулся он.

— Странно, что вы считаете себя намного старше. Мне скоро 21. вам же никак не дашь больше 26–27 лет, а быть может, и того меньше. А вообще я благодарен вам за всё, что успел от вас услышать. Тут я перешёл на английский и продолжал: — Если бы вы не поехали со мной, что бы я делал? Как мог бы лететь на помощь брату, если бы вас не было рядом? Я уже говорил Флорентийцу, что не могу жить за чужой счёт, а ваши слова о том, что человек не может понять смысла жизни, пока не заработает свой кусок хлеба, только ещё глубже убедили меня, что так продолжаться не может. С самой той злосчастной ночи, когда я нарядился в маскарадный костюм для пира у Али, я не вылезаю из духовного маскарада. То я слуга-переводчик, то я племянник, то двоюродный брат, то друг, — в то время как из всех этих ролей мне пристала только одна: роль слуги. Разрешите мне стать вашим слугою, так как ничего другого я делать для вас не могу. Может быть, и в этом я на первых порах не преуспею. Но я приложу все силы, всё усердие, чтобы стать вам хорошим слугой, — тихо, внешне спокойно, но с огромным волнением в сердце говорил я.

— Мой дорогой друг, мой бедный мальчик, — отвечал мне И., — отложим этот разговор до путешествия по морю. Быть может, там, оторванный от земли и всех её условностей, ты больше поймёшь огромную свою ответственность за жизнь брата, за его счастье и дальнейшую судьбу. Я несколько не намерен отговаривать тебя от труда. Но тебе надо понять, в чем именно состоит твой труд. Быть может, жизнь, которая даёт тебе возможность близко увидеть величие и ужас путей человеческих, откроет тебе понимание и смысл твоей собственной жизни глубже и шире. И ты станешь служить не только своей родине, но и всей необъятной звенящей вокруг жизни. Мы поговорим об этом на пароходе. А сейчас кушай мороженое, а то оно всё растает, — закончил он, опять улыбнувшись.

В его тоне была такая глубокая сердечность, так нежно смотрели на меня — беспомощного и бездомного, одинокого и потерянного без него — его тёмные глаза, что я невольно вспомнил рассказ о том, как спас его, умирающего, Ананда.

Должно быть, Ананда так же нежно глядел на него в тот миг.

Я не лежал теперь в агонии, но поистине могу сказать, что то были дни тяжёлой агонии моего духовного существа.

Мы кончили наш ужин, расплатились и поднялись к себе в номер. Здесь уже были готовы постели; мы потушили свет, открыли окна, полюбовались тёмным небом, огоньками на мачтах и лодках и легли спать.

Утром, проснувшись, я обнаружил, что И. в комнате нет. Пока я совершал свой туалет, вошёл он, свежий, весёлый, в новом полотняном белом костюме и таких же туфлях, с пакетами в руках.

Он рассказал мне, что проснулся очень рано, решил прогуляться по городу и набрел на прекрасный магазин, где купил нам по белому костюму, не то на пароходе мы пропадём от жары.

Он развернул пакеты и подал мне такой же белый костюм. Я его примерил, показался себе очень смешным, но всё же в нём остался.

Далее И. рассказал, что повстречал вчерашнего агента, шедшего вместе с капитаном парохода, на котором мы должны отправиться. Они познакомились, и капитан предложил перебраться на пароход раньше общей посадки, точно указав ему место стоянки. И. угостил капитана превосходным вином в ресторане нашей гостиницы и получил записку к дежурному помощнику, в которой говорилось, что мы имеем право занять свою каюту в любое время. Было как-то жаль расставаться с сушию хотя бы на один час раньше; но внутренний голос говорил мне, что И. даром спешить не станет, и я не возразил ни слова.

Когда я был совсем готов, он осмотрел меня, предложил выпить кофе и пройти в магазин, чтобы приобрести ещё по одному костюму — из тёмной чесучи или альпага. Я был рад провести лишний час на суше и решил, что я из тех горе-любителей, которых пленяет море, пока они стоят на берегу. Какая-то тоска одолевала меня, когда я думал об этом первом морском путешествии, которое казалось мне бесконечным.

Вскоре мы управились со всеми делами, нашли костюмы, какие хотелось И., и мне мой тёмно-серый так понравился, что я в нём и остался. Вернувшись в гостиницу, мы расплатились и получили у агента паспорта, добытые им раньше обещанного срока. Сев в лодку тут же, у гостиницы, мы поплыли к пароходу.

Довольно долго мы лавировали между массой самых разнообразных судов, пока, наконец, не оказались у махины-парохода, выкрашенного в белый и красный цвета, рядом с ним мы и наша лодка походили на букашек.

Взобравшись по трапу на палубу и предъявив записку капитана дежурному помощнику, мы добрались до своей каюты-люкс. Она была расположена на верхней палубе, рядом с каютой капитана, и отделялась от неё только деревянной переборкой, что делало нас обладателями многих необыкновенных преимуществ. В нашем распоряжении был небольшой кусок принадлежавшей только нам верхней палубы, куда никто другой из пассажиров не имел права заходить. Кроме того, в нашей каюте была

прекрасная ванна, стены обиты серым шёлком. Были и два спальных дивана, подле каждого электрическая лампочка с колпачком, а в потолок был вделан матовый фонарь.

Все металлические детали были никелированные; на полу ковёр, в тон обивке стен и диванов, серый с розовыми цветами. Я ещё никогда не видел подобной роскоши и стоял, по обыкновению тараща глаза.

Но И. не дал мне впасть в мечтания и вывел на палубу. Вид на город был очень живописен. Но вокруг поднимались пустынные холмы: и жёлтая земля, иссохшая, потрескавшаяся от зноя, не являла собой заманчивого зрелища.

Посмотрев на часы, я был поражен, как быстро промелькнуло время, — скоро нам предстояло двинуться в путь.

Наконец матрос доставил последние вещи в нашу каюту, закрепил их, к моему большому удовольствию, и мы расплатились с агентом, делавшим вид, что помогает, а на самом деле суетившемуся возле матроса без смысла и толку.

И у меня мелькнула мысль, что жизнь моя в последние дни, пожалуй, чем-то напоминает суету этого агента. Я тоже всего лишь ассистирую, когда другие действуют, не видя в своём собственном поведении ни логики, ни смысла, ни толку.

И. поблагодарил агента, дав ему добавочный куш; тот рассыпался в благодарностях и подал И. свою карточку с адресом, уверяя, что окажет нам любые услуги, стоит только ему написать или телеграфировать в Севастополь. И. взял карточку, назвал мою фамилию и сказал, что, весьма возможно, мы ещё будем нуждаться в его услугах. Кстати, спросил он, отправится ли следом в Константинополь такой же быстроходный пароход.

Агент рассмеялся и сказал, что такого чудо-парохода больше нет. К тому же наше судно не будет заходить в порты, только в Одессу.

Последним нас покинул матрос из штата судовой прислуги, приставленный к нашей каюте. Малый был весёлый и расторопный, он бегал по трапам, как сущий акробат.

Хорошие чаевые сделали его ещё более любезным, и он объяснил нам, что пассажиры каюты-люкс могут не спускаться к таблодоту, а требовать кушанья к себе наверх.

Через несколько минут он появился по собственной инициативе с меню завтраков, обедов и ужинов. И. просмотрел его и сказал, что мы вегетарианцы, поэтому он хотел бы, если это возможно, видеть повара и условиться с ним об отдельном нашем питании.

Матрос слетал вниз и через некоторое время явился с двумя важными

особами в безукоризненных белых костюмах. Один из них был метрдотель, другой — главный повар. Повар был толст и важен, метрдотель — высок и худ и держался с большим достоинством и любезностью.

Дело быстро уладилось, главный кок заявил, что его помощник — специалист в этом деле, что зелени и фруктов на пароходе большой запас, а метрдотель предложил нам завтракать и обедать на полчаса раньше. Оба, получив по крупной бумажке, стали ещё любезнее, и повар сказал, что может через полчаса сервировать для нас завтрак, когда публика ещё только начнёт съезжаться. И. согласился, оба джентльмена удалились, и мы остались, наконец, одни.

Шум, выкрики команд, скрип крапов, поднимавших грузы, ошеломляли меня. Я ещё ни разу не видел, как грузится большой пароход. Да и пароходы-то видел только издали.

В раскрытый трюм, который казался бездонным, опускались огромные тюки. Грузчики, друг за дружкой, сновали, с тяжестями на спинах, по длиннейшим мосткам, достигавшим берега и уложенным поперёк на нескольких баржах.

Внезапно внимание моё было привлечено мелькнувшей в воздухе коровой. Испуганное животное дико мычало и рвалось из крепких ремней, которыми оно было привязано к подъёмному крану. Одна за другой коровы исчезали в люке бездонного трюма. Потом настала очередь ржущих лошадей, которые страдали ещё больше.

Всё поражало меня. Вроде я знал, что всё это существует, но когда увидел воочию, то показалось, что это необычайно сложно и что ум человеческий, придумавший всю эту технику, воистину творит чудеса.

Я поделился своими мыслями с И.; он улыбнулся и ответил, что нет чудес ни в чём. Всё, чего человек достигает, — лишь та или иная степень знания, к какой бы области ни принадлежали видимые или невидимые глазу, постигаемые только мыслью и интуицией «чудеса».

— Нам надо быстрее позавтракать, — сказал он. — Скоро появятся пассажиры. Я хотел бы вместе с тобой наблюдать за посадкой. Жаль только, что жара, пожалуй, будет тебе вредна.

На мой вопрос, почему это он, уклоняющийся от всякой суеты, хочет наблюдать толпу, И. ответил, что надо удостовериться, удалось ли нам оторваться от преследователей, и тогда мы можем спокойно плыть до Константинополя, где нас встретят друзья Ананды.

В это время матрос принёс складной стол и два стула, следом за ним пришёл лакей со скатертью, посудой и салфетками. На вопрос, что мы будем пить. И. заказал бутылку вина и какое-то мудрёное питье со льдом,

название которого я слышал впервые.

Очень скоро мы уже сидели за столом, и я с большим удовольствием потягивал через длинную соломенную трубочку холодное розовое питье, необыкновенно вкусное и ароматное.

В разгар нашего завтрака на палубу взошёл капитан, приветствовавший И. как старого знакомого, он любезно поздоровался и со мной, напомнив мне Флорентийца элегантностью своих манер. Капитан обращался с нами как с желанными гостями и любезно предложил пользоваться всей палубой, а не только той частью её, которая принадлежала нашей каюте.

— Скоро начнется съезд пассажиров, — сказал капитан, выпивая стакан вина, любезно налитого ему И. — Хотя настоящий сезон ещё не настал и другие пароходы пустуют, на мой запись шла уже месяц назад. За день до вашего приезда от своей каюты отказалась графиня Е. из Гурзуфа. Вот вам и посчастливилось.

Я старался скрыть своё изумление, усердно подражая невозмутимости И., чтобы быть "вполне воспитанным" человеком. Но я был глубоко поражен таким совпадением. Очевидно, это мать Лизы должна была ехать в нашей каюте, а может быть, даже несчастная её тётка думала совершить морское путешествие.

— Если у вас нет неотложных дел, — продолжал капитан, — я бы советовал вам вооружиться биноклями и понаблюдать за посадкой. Здесь так явно обнаруживается мера человеческого воспитания, характеры, манеры, что это не только интересное зрелище, но и поучительный урок. У меня перед каютой натянут тент. Вы сможете опустить занавески и будете сидеть в тени, незаметно наблюдая за прибывающими. Иногда бывают преуморительные картины. Вот, пожалуйста сюда, я покажу, как устроиться. До самого отплытия можете сидеть здесь. Только когда выйдем в открытое море, ко мне придут с докладами помощники, — как это всегда бывает при отправлении, — неизбежны случайности, которые требуют вмешательства капитана. Это вам будет неинтересно.

Говоря всё это, он усадил нас под тёмно-синим тентом, опустил такие же занавески и подал прекрасные бинокли.

— Итак, будьте как дома, — и до свиданья. Как только выйдем в море, вам придется покинуть мои владения.

Он приложил руку к козырьку фуражки и сошёл вниз.

— Вот всё и устроилось, лучше чем вы хотели, — сказал я.

Он кивнул головой, взял свой бинокль и принялся рассматривать публику, которая стала собираться на берегу. Я видел, что ему не хочется разговаривать, и мне не оставалось ничего другого, как последовать его

примеру.

Должно быть, наш пароход сидел очень глубоко в воде, так как посадка шла с противоположной стороны гавани. Теперь нам были видны несколько элегантных экипажей с разряженной публикой; дамы в белых платьях, с белыми зонтами и мужчины в белых костюмах и панамах.

Бинокли были превосходны, можно было отчётливо рассмотреть даже лица. Меня больше всего занимали те, кто шёл по левым мосткам, очевидно публика из первого и второго классов. По правым мосткам двигались те, кто тащил на себе свои узлы и сундучки. Мелькали и фески, и пёстрые халаты; двигались кучками женщины, закутанные с ног до головы в чёрные бурнусы, с тёмными сетками на лицах, в сопровождении детей разных возрастов.

— Вот это удача, — вдруг услышал я возглас И. Он показал мне на двух высоких мужчин в тёмных костюмах и красных фесках, вступивших на мостки и выделявшихся на фоне элегантных белых фигур.

Я принялся их разглядывать. Один был постарше, лет сорока; другой совсем молодой, моих лет. Оба были жгучие брюнеты, черноглазые, красивые и очень стройные.

И. встал и попросил меня оставаться на месте, сказав, что сам пойдёт навстречу туркам, ибо это и есть те самые друзья Ананды, к которым мы едем в Константинополь, и что это необыкновенная удача плыть с ними отсюда на одном пароходе.

Не успел И. уйти, как на палубу поднялся капитан. Он очень удивился, увидев меня одного; и я должен был объяснить, что И. увидел своих друзей и пошёл вниз встретить их.

— Ну, значит, вам будет весело, — сказал капитан. — Передайте вашему брату, что его друзья будут желанными гостями здесь, на палубе, вопреки правилу.

Я поблагодарил его за любезность и встретился с ним взглядом.

Положительно, в последние дни мне везло на необычайные глаза, и я начинал досадовать, что у меня-то самые обычные, тёмные.

Капитан был молод, на вид ему было чуть больше тридцати. Поджарая фигура, очень ловкие движения, лёгкая походка — всё указывало на большую физическую силу и тренированность. Бритое лицо с квадратным подбородком выказывало большие административные способности. Губы, красиво очерченные, были плотно сжаты. С чертами не такими правильными, как у Флорентийца или Ананды, лицо это было всё же очень красиво, и, по всей вероятности, он имел большой успех у женщин. Сила и большой характер читались во всей его элегантной фигуре.

Но когда я встретился с его пристальным взглядом, то подумал, что близость с ним вряд ли приятна. Глаза его были совершенно жёлтые, как янтарь, и зрачки очень странной, как бы продолговатой формы, точно у кошки. Янтарные эти глаза показались мне жестокими, мерещились долго, пока не вернулся И.

И. возвратился весёлым, таким я его ещё не видел; сказал, что друзья-турки выехали из Москвы следом за нами, что они видели Ананду и привезли нам письма, мы получим их сегодня, как только они кончат завтракать и смогут разобрать вещи.

Казалось, теперь он потерял всякий интерес к наблюдению за публикой и, как бы нехотя, время от времени, поглядывал на всё прибывавших пассажиров.

А между тем зрелище было необычайно красочно пестротой одежд, контрастом манер и жестов. Кто-то суетливо бежал и расталкивал всех на пути; кто-то громко перекликался, и крики сливались в один сплошной гул. Но вот раздался вой паровой сирены; и если бы не матросы, сдерживавшие напор людской волны, произошла бы самая настоящая давка. Долго ещё продолжалась посадка; наконец трапы были отданы, между берегом и пароходом образовался разрыв, и раздалась команда капитана, который сам стоял у руля, выводя судно в открытое море.

Глава 11. НА ПАРОХОДЕ

Мы всё сидели под синим тентом, и я радовался, что вижу, наконец, море, беспредельный водный простор, где даже в лучший бинокль не увидишь берегов.

К моему удивлению, И. не разделял моей радости. Напротив, он пристально вглядывался в горизонт и, хотя мы шли по гладкой, как зеркало, воде, — предсказывал шторм, редкий в это время года, свирепый шторм на Чёрном море. Я тоже принялся рассматривать в бинокль горизонт; но кроме моря и неба, сливавшихся в одну серую полосу, ничего не видел.

— Как только появится капитан, мы поблагодарим его за гостеприимство и пойдём к себе в каюту, — сказал И. — Пока нет качки, тебе надо разобрать вещи в своём саквояже. Я уверен, что Ананда подумал о пилюлях на случай бури, чтобы тебя не укачало. Если — как я и полагаю — налетит ураган, тебе надо успеть до начала качки принять три раза пилюли. Нам с тобой предстоит помочь людям, едущим в третьем классе. Привилегированная публика будет иметь довольно удобств, хотя ей тоже придется пострадать. Но третий и четвёртый классы, как всегда заполненные до отказа нищетой, будут в нас нуждаться.

Я призадумался. Ещё ни разу И. не говорил мне об опасности нашего морского путешествия, да и мне самому плаванье казалось приятной прогулкой.

Вскоре мы вышли в открытое море, но берега были ещё отчётливо видны — пустынные, жёлтые, ничуть не привлекательные берега.

Показался капитан. Мы вернули ему бинокли, поблагодарили за любезность и хотели тут же уйти. Но он зорко посмотрел на нас и спросил, часто ли мы плавали по морю. И. сказал, что сам он к морю привычен, но я плыву в первый раз.

— Боюсь, что первое впечатление от знакомства с морем не будет для вас приятным, — сказал мне капитан, — Барометр показывает такую небылицу для этого времени года, что если бы не сам я его выбирал и выверил, — я мог бы думать, что он просто шалит. Надо ждать не просто бури, но бури редкостной. Как ни прекрасно моё судно, — думаю, что придется схватиться с ветром, морем и ливнем в эту ночь. Вам же следует наглухо закрыть свою каюту, а я прикажу матросам установить запасные щиты, так как предполагаю, что волны будут захлёстывать и эту палубу.

Я ужаснулся. Высота парохода отсюда казалась с хороший трёхэтажный

дом. Мне подумалось, что такой волны просто не бывает.

Лицо капитана было очень решительно и бодро, но сурово. Очевидно, чувство страха было неведомо этому стальному человеку. Он точно радовался, что вступит в бой со стихией. Он, пожалуй, и любит-то море из-за той борьбы, в которую приходится с ним вступать; и если сейчас его что-нибудь заботит, так это ответственность за жизни людей, груз и судно, которые ему доверены и над которыми он полновластный хозяин посреди этих вод.

И. казалось, что буря, видимо, разыграется к ночи. Капитан возразил, что зыбь и качка, от которой будут страдать люди и животные, возможны ночью, но настоящая буря грянет лишь под утро, на рассвете.

К капитану стали подниматься его помощники, мы расстались с ним и пошли в свою каюту.

Я принялся разбирать саквояж, которым снабдил меня Флорентиец в дорогу. Он оказался очень вместительным, в нём было много отделений, и одно из них состояло из дорожной аптечки.

Я спросил, не принять ли мне одну из волшебных пилюль Али, которые давали так много сил и свежести. Но И. ответил, что для морской качки они совершенно не годятся; а надо найти лекарства, успокаивающие головокружение и рвоту, поскольку вряд ли Ананда мог не предвидеть качки.

Я предоставил самому И. искать пилюли; он действительно их нашёл очень скоро и сейчас же заставил меня принять одну из них.

— Ты полежи немного, дружок, — сказал он мне. — Если пилюли будут тебе полезны во время качки, то сейчас ты должен почувствовать лёгкое головокружение и тошноту, — говорил он, подавая мне пижаму и ночные туфли. Я чувствовал себя превосходно, но сообразил, что времени полюбоваться морем будет ещё вдоволь, а сейчас неплохо и полежать, — надел пижаму и вытянулся на мягком диване.

Оказалось, что лечь было самое время. Не успел я подумать, какое чудное подо мной ложе, как всё завертелось у меня перед глазами, застучало в висках, замутило. Я даже издал нечто вроде стога. Рука И. легла на мой лоб, он нежно вытер мне лицо, покрывшееся мгновенно испариной, и, наклонившись, заботливо положил под голову мягкую подушку.

— Это очень хороший признак, Левушка, — услышал я его голос, словно бы И. находился где-то очень далеко. — Через несколько минут ты оправишься и будешь нечувствителен даже к сильной качке. Если же буря начнется, как думает капитан, на рассвете, — успеешь закалить этим

лекарством организм и сможешь отлично помогать пассажирам. Ты говорил, что хочешь работать. Вот тебе жизнь и посылает сразу же случай стать самоотверженным слугой людям, которые не закалены и не подготовлены к тем страданиям, что ждут их сегодня. Если у тебя не появится страха, если ты не отдашься чувству брезгливости, а будешь отыскивать перепуганных детей и взрослых, чтобы нести им бодрость и помощь, — ты положишь основание своей новой жизни труда и любви, и такое глубокое, что все дальнейшие испытания будут тебе не страшны.

Я слышал его, очень хорошо понимал, но положительно не мог двинуть ни одним пальцем.

Не знаю, сколько времени я так лежал, но наконец почувствовал, что удары в виски прекратились, тошнота прошла. Но отвратительное состояние головокружения, когда всё плыло передо мною, оставило настолько неприятное впечатление, что я всё ещё боялся открыть глаза. Но с каждой минутой я чувствовал себя всё лучше и в конце концов поднялся с дивана, радостно глядя на И., и мгновенно забыл все только что испытанные ощущения.

— Да ты, Левушка, герой; я даже не ожидал, что ты так легко отделаешься. Когда я привыкал к этому лекарству, — противоядию от качки, — я подолгу лежал без движения, — весело говорил мне И. — Мне кажется, что за эти дни, Левушка, ты смог увидеть, сколько героического напряжения может потребовать вдруг от человека жизнь, и он, проснувшись утром весёлым, беззаботным ребёнком, к вечеру становится взрослым; и судьба кличет его на такой подвиг, о котором он только читал в сказке.

— Это верно, как и всё, что я от вас успел услышать, — ответил я И., надевая костюм. — Быть может, и не на такие пустяки, как глотанье гадких пилюль, я был бы способен, если бы умел всегда держаться в кругу сосредоточенного внимания. Но я так рассеян, что не в состоянии применить на деле всего, что успел понять благодаря вам и Флорентийцу Я не могу сразу думать о тех, кому я нужен, а думаю сначала о себе. Вот и сейчас, я упустил из виду, что могу ещё не раз очутиться в бурю на пароходе, пока мне предстоит сбивать с толку преследователей брата. Забыл я и о помощи несчастным, тем, кто в эту бурю будет страдать и нуждаться в ваших заботах:

— Я готов хоть сейчас снова принять эту отвратительную зелень, — прибавил я, помолчав.

Я оделся, И. радостно обнял меня, заметив, что ни мгновенья не сомневался в истинных моих чувствах. Он пригласил спуститься к его

друзьям в первый класс, чтобы познакомиться с ними и получить письма. Он предложил также посмотреть, как устроен пароход, его многочисленные гостиные, читальню, библиотеку, большой зал, столовую и т. д. Но я, предвкушая предстоящие горькие испытания, потерял всякий интерес к этой роскоши и сказал, что соглашусь только на одно путешествие — осмотреть помещения третьего и четвёртого классов, где нам предстоит трудиться ночью. И. согласился, позвонил матросу и дал ему записку в первый класс к своим друзьям-туркам, которые явились незамедлительно.

И. встретил их у лестницы и велел матросу подать стулья. Через минуту тот принёс четыре плетёных кресла, казавшиеся лёгкими, но на самом деле такие тяжёлые, что я не мог своё не только поднять, но даже сдвинуть с места. Тогда я стал разглядывать новых знакомых. Типичная наружность и без фесок не могла бы никого ввести в заблуждение. Старший из турок, которому я был представлен как брат друга И., а потому также и его брат, ласково улыбнулся мне, познакомил с молодым своим спутником, оказавшимся его сыном, и подал мне письмо Ананды. Он назвал своё имя, но так непривычно оно прозвучало и показалось таким длинным, что я его не разобрал даже. Он был очень красив; но теперь показался мне много старше, чем издали, когда я видел его в бинокль, и особенно рядом с сияющим молодостью и красотой И.

Я заметил, что оба турка чрезвычайно почтительны с И. и так же беспрекословно внимают ему, как сам И. и Ананда слушали Флорентийца.

Младший турок меня очень удивил. Оба они качались мне черноглазыми; но когда луч солнца упал на бронзовое лицо молодого, — я увидел, что от густейших длинных чёрных ресниц и больших зрачков глаза его только кажутся черными. Когда же зрачки сузились на солнце, я увидел тёмно-синие глаза, очень внимательные и добрые.

Я прямо сгорал от нетерпения прочесть письмо, даже щёки мои покраснели. Но правила воспитанности не позволяли мне прочесть его немедленно, и, не без вздоха, я положил письмо в карман.

Разговор шёл о предстоящей буре, и старший турок передал И., что слухи уже проникли в первый класс, и все волнуются, особенно дамы. Младший прибавил, что сейчас повсюду расклеивают приказ за подписью капитана, чтобы после ужина никто не выходил на палубу и все оставались во внутренних помещениях, так как выходы на палубу будут закрыты ввиду возможной качки.

И. поделился со своими друзьями желанием подежурить в третьем и четвёртом классах во время бури. Они сказали, что непременно присоединятся. Но прежде надо было заручиться согласием капитана,

который собирался закрыть нас в нашей каюте, приперев дверь какими-то особыми щитами.

Старший турок взялся разыскать капитана, но И. захотел непременно пойти вместе с ним, и мне пришлось остаться с глазу на глаз с молодым турком.

Пока я придумывал, о чём бы мне начать с ним разговор, он сказал, что очень устал от экзаменов, что он естественник и перешёл на третий курс Петербургского университета. Я очень удивился, ведь и я студент второго курса того же университета, математик, и поразился, как это я его прежде не заметил. Он же, оказалось, видел меня не раз: и моя репутация не только математика, но и хорошего литератора известна почти всем.

Я смутился, покраснел и стал умолять его ничего не говорить о моих литературных трудах; я давал читать их только близким друзьям и не понимаю, как это могло получить огласку.

По словам турка, всё произошло очень просто. На вечеринке в пользу больного товарища кто-то из студентов прочел мой рассказ. Рассказ так понравился публике, что потребовали огласить имя автора. Меня долго вызывали, не поверив в моё отсутствие, и успокоились, только когда кто-то сказал, что я уехал в Азию. И что тогда же было решено послать мой рассказ в журнал, чтобы по возвращении в Петербург меня ждал приятный сюрприз.

Не знаю, чего во мне было больше: авторской гордости или возмущения тем, что могли без меня распорядиться моим рассказом.

Нас прервали раздавшиеся вблизи голоса, и мы увидели капитана и двух наших друзей.

— Я не могу запретить вам помогать беднякам, которым придется хуже всех, если буря грянет, — говорил своим металлическим голосом капитан. — Но зачем вам мучить этих детей? — продолжал он, указывая на нас. — Пусть себе спят или сидят в каютах. Немало будет ещё бурь в их жизни. Если хоть от одной их можно уберечь — слава Богу!

— Эти дети будут очень нам нужны как братья милосердия. Дать лекарство или влить рому в рот замёрзшему человеку не так легко, когда качка кладет пароход чуть ли не набок, — ответил ему И. — Наши дети закалены и бури не испугаются.

Капитан пожал плечами и заметил, что снимает с себя ответственность, если волна смоем кого-либо из нас: что мы все понимаем, какой опасности подвергается даже бывалый человек в сильную бурю, а не только неопытный мальчик; и что он ещё раз предлагает оставить нас, молодых, в каюте.

И. настаивал на своём. Я было думал, что сейчас начнется ссора, но, к моему удивлению, капитан пристально посмотрел на И., поднял руку к козырьку фуражки и, усмехнувшись, сказал:

— Выходит, вы хотите быть капитаном на палубе четвёртого класса этой ночью. Согласен её доверить вам; действуйте как санитары. Но в помощь вам не смогу дать ни одного матроса, кроме разве того рыжего, что приставлен к вашей каюте. Он силач, но глуп; хотя парень он добрый и своей чудовищной силой может быть вам полезен.

С этими словами он нажал кнопку телефона и приказал кому-то принести в каюту четыре пары резиновых сапог и четыре непромокаемых плаща с капюшонами. На его же звонок взлетел на палубу и наш матрос. Ему капитан приказал находиться всю ночь на палубе при нашей каюте. И если мы куда-либо двинемся ночью, — состоять при нас и, в частности, не отлучаться именно от меня ни на шаг: что я в первый раз в море, и хороший матрос должен понимать, что означает приказ капитана не отлучаться от новичка в плавание.

Я был смущен, даже слегка обижен. Но капитан посмотрел на меня весело и сказал, что слуга пригодится, когда я буду обслуживать больных, и я ещё буду ему очень благодарен, даже захочу угостить его вином, если борьба со стихией закончится благополучно.

Матросу же он сказал, что его вахта при нас начнется с девяти часов вечера, а сейчас пусть поест и поспит.

Нам принесли плащи и высокие сапоги, которые мне казались резиновыми; но когда я их надел, то почувствовал, как они эластичны и теплы. Всем плащи пришлись впору, только я в своём утопал до пят; а сапоги не лезли на высокого турка. Ему меняли их раза три, пока не подобрали удобные. Мне тоже отыскивали плащ поменьше.

Капитан ещё раз заходил к нам и снова убеждал И. оставить в каюте хотя бы меня одного, но ни И., ни я на это не согласились. Тогда он сказал, что направляется в четвёртый класс и приглашает нас, чтобы мы могли познакомиться с возможной ареной наших будущих действий. Мы с восторгом приняли это предложение.

У лестницы матрос нёс вахту, получив строгое распоряжение никого — ни под каким предлогом — не пропускать без нас наверх, пусть это даже будет старший помощник.

Мы двинулись вслед за капитаном. К нам присоединились ещё два офицера и два матроса. Теперь целой группой мы двинулись вперёд.

Капитан отдал приказание вызвать ещё и старшего врача. Я был поражен не только количеством людей, но и длиной коридоров, высотой

всевозможных общих комнат и роскошью, царившей всюду. Буквально все комнаты утопали в цветах. Публика из первого класса сидела в тени палубы в глубоких креслах и шезлонгах. Нарядная жизнь была ключом в каждом уголке, в воздухе разносился аромат духов и сигар.

Наконец мы спустились в третий класс. Я ожидал встретить ту же грязь, которую наблюдал в вагонах этого класса в русском поезде. Но сразу понял, что жестоко ошибся.

Здесь было очень чисто. Правда, ноги не тонули в коврах, но на полах лежал линолеум красивых ярких рисунков. Должно быть, билеты и здесь стоили недешево, так как бедноты совсем не было видно. Мелькали студенческие фуражки, ехали целые семьи, внешний вид которых говорил об известном достатке. Общая столовая была красива, с деревянными креслами-вертушками, залитая электрическим светом; были здесь и гостиная, и читальня, и курительная комната.

Наконец мы спустились ещё ниже и очутились у самой воды. Носовая часть была отведена под четвёртый класс: крышей служило помещение третьего класса, где каюты тянулись от носа до кормы.

В четвёртом классе кают не было вовсе. Пассажиры — сплошь бедняки, большей частью семьи сезонных рабочих или бродячие музыканты, жалкие балаганные фокусники и петрушки. В отдельном углу расположился целый цыганский табор. Со всех сторон слышались самые разнохарактерные наречия и возгласы. Тут были и торговцы, ехавшие со своим товаром и желавшие, очевидно, быть ближе к трюму; тут были и конюхи, сопровождавшие лошадей, — словом, глаза разбегались, — и я снова таращил их, позабыв обо всём на свете.

— Не отставайте от меня, — услышал я повелительный голос капитана и в ту же минуту почувствовал, что И. взял меня под руку, шепнув, чтобы я запоминал расположение парохода, а не увлекался картинностью этого зрелища.

Я вздохнул. Столько возможностей для наблюдений, — и надо идти мимо всего, памятуя только о буре, которая то ли будет, то ли нет: и я продолжал думать, что вряд ли она случится: солнце сияло, мы всё ещё шли по глади, и волну гнал только наш пароход-великан.

Мы внезапно остановились. В самом неудобном месте, в носу парохода, между бочками и ящиками, на ветру, сидела молодая, до крайности измученная женщина, держа на коленях ребёнка лет двух, прелестного живого мальчугана, беленького, как его мать. Рядом лежала девочка лет пяти, похоже, больная. Положив головку, мертвенно бледную, на колени матери, она, очевидно, была в забытии.

— Почему вы выбрали такое неудобное место? — спросил капитан, обращаясь к женщине, на красивом лице которой изобразился ужас и глаза наполнились слезами.

— О, не выбрасывайте нас, — взмолилась она по-французски. Не понимая, видимо, английской речи капитана, она испугалась звука его повелительного металлического голоса и глядела теперь с мольбой. Капитан оглянулся, говоря, что его французский оставляет желать лучшего.

И. выдвинул меня вперёд, я поклонился женщине и перевёл ей вопрос капитана.

В ответ на это слёзы градом покатались из её глаз, и она объяснила, что это единственное место, где её, наконец, перестали донимать жестокие спутники; что сердобольный матрос устроил их здесь и пригрозил двум туркам, которые не давали ей проходу.

— Девочка не больна, мы только голодны: не выбрасывайте нас, мы едем к моему отцу в Константинополь. Мой муж умер, его задавило на стройке, и французская компания не пожелала нам ничего заплатить. Но я не могла ждать суда, мы умерли бы с голода. Пришлось всё продать и кое-как добраться до Севастополя. Я отдала последние деньги за билет; не знаю, как и доедем. Но билет мой в порядке, — быстро говорила бедняжка, в полном смятении протягивая капитану билет.

Должно быть, нужда свалилась на неё внезапно. Костюм, вероятно ещё совсем недавно купленный, был в пыли и пятнах; платье на детях тоже новое и тоже перепачканное в дороге. Высовывавшиеся из-под юбки ножки девочки были обуты в крохотные лакированные туфельки, совершенно не пригодные для далёкого путешествия.

Мольба и страх за детей, которых она прижимала к себе, слабость, отчаяние — столько чувств отражалось в глазах этого существа, что у меня защекотало в горле и, не думая, что я делаю, я наклонился и поднял девочку на руки.

— Нельзя её здесь оставлять, — сказал я И. — Уступим ей свою каюту.

— В этом мало пользы, — ответил за него капитан. — Они все нуждаются в медицинской помощи. На пароходе есть платные палаты в лазарете первого класса. Если вы можете оплатить ей дорогу в такой каюте, — она получит возможность отдохнуть, набраться сил и сойти с парохода здоровой. Ведь она сейчас упадёт в обморок.

Не успел он договорить, как доктор бросился к валившейся набок женщине. Капитан дважды свистнул в висевший у него на груди свисток, и перед нами вырос здоровенный матрос. — Разогнать толпу, — приказал ему капитан.

И точно по мановению волшебной палочки пассажиры расселись по своим местам, не дожидаясь вторичного окрика. — Теперь — носилки, — велел капитан. Пока ходили за носилками, И. поинтересовался, куда и кому внести деньги за отдельную палату для бедной женщины. Капитан написал записку, передал её доктору, приказав поместить мать с детьми в лучшую палату лазарета — каюту 1 А. Деньги следовало внести судовому кассиру, что вызвался немедленно исполнить младший из турок.

Женщина всё ещё не приходила в себя, и её уложили на носилки. Матрос протянул руки, чтобы взять девочку, но она крепко обхватила мою шею руками и громко заплакала. Я прижал девочку к себе и сказал И... что сам отнесу ребёнка и останусь с больной матерью, пока она не придет в себя. Но И. отрицательно покачал головой:

— Отнеси дитя, дай матери капель из этого пузырька и немедленно возвращайся. У нас много дел. Но бедняжку мы не забудем. Скажи ей, как нас найти, пообещай, что мы вскоре ее навестим. Капли дай ей так, чтобы никто не видел, — шепнул он мне, и я двинулся вслед за носилками.

Шли мы долго, думаю, не менее двадцати минут мы всё взбирались по лестницам и коридорам, обойдя стороной парадные комнаты.

И чего только тут не было, в этом плавучем доме! И прачечные, и сушильня, и провиантские склады, и бельевые, и швейная мастерская, и специальное хранилище для пресной воды, и гимнастический зал и плавательный бассейн, и множество кухонь, и ледники, — я просто пришёл в растерянность и один ни за что бы не нашёл дороги обратно.

Кюта, куда мы, наконец, добрались, была вся белая, имела две койки-дивана внизу и одну наверху. Всё в ней было роскошно и чисто. Пока сестра ходила за халатом для больной, а доктор прошёл в аптеку, я быстро влил в рюмку капель, которые дал И., и поднёс её к губам больной. Она открыла глаза, выпила лекарство и снова опустила голову на подушку.

Но я сразу заметил, что к щекам её прилила кровь; она шевельнулась, вздохнула, а когда вошёл доктор, приподнялась и спросила твёрдым голосом:

— Где я?

Я подал ей девочку и сказал, что она находится в лазарете, где и пробудет до конца путешествия. Я просил её, от имени капитана, ни о чём не беспокоиться и пообещал, что зайду к ней вместе с братом. Объяснив, где нас найти в случае необходимости, я перевел ей предложение доктора пойти с детьми в ванную комнату и переодеться в то, что полагается носить в лазарете.

Простившись с ней, я было решил, что мне самому ни за что не

выбраться отсюда: но у выхода из лазарета увидел того же матроса-верзилу, который сопровождал носилки и ждал теперь меня, чтобы отвести обратно.

На этот раз мы добрались довольно быстро, потому что этот верзила так же летал по лестницам, как наш рыжий великан.

Я нашёл капитана и его спутников за работой. Вся густая толпа была разделена на женское и мужское царства. Женщин и детей поместили в середине палубы, где имелись стены из сплошных бортов. Матросы принесли железные щиты и отделили ими носовую часть палубы, чтобы уберечь слабых от сквозного ветра.

Мужское население встретило это распоряжение капитана в штыки. Тогда он свистнул особым манером — и точно из-под земли выросли четыре вооружённых матроса. Им капитан приказал нести здесь вахту, сменяясь каждые два часа.

Ещё с десятков матросов получили приказание крепко привязать весь груз и даже пассажиров, за чем остался наблюдать один из офицеров.

Мы спустились в трюм, который тоже состоял из нескольких этажей. Нижние были доверху забиты ящиками и тюками, а на верхних находились животные. Коров и лошадей капитан приказал стреножить. Я заметил, что в стойлах стены были обиты толстыми соломенными матрасами.

Отдав ещё какие-то специальные распоряжения, капитан опять поднялся в четвёртый класс, и мы последовали за ним.

Здесь он обратился к мужчинам с речью, которую мы переводили на все языки, правда в основном помогали наши турки, знавшие восточные и балканские наречия. Капитан сказал, что всякого, кто будет замечен в пьянстве или игре в кости в эту ночь, немедленно посадят в карцер. Тем, у кого была с собой водка, он велел сдать её немедленно. Должно быть, никому не хотелось в карцер: и со всех сторон, без всякого сопротивления, протягивали бутылки и даже бутылки водки. Если кто-то медлил, то под красноречивыми взглядами соседей неохотно, но всё же отдавал припасённое в дорогу.

Нечего было опасаться, что кому-то удастся утаить флягу. Теперь уже проявляли свои сыскные таланты цыгане. Обиженные и разлученные со своими женщинами, отдавшие водку из страха перед наказанием, они вымещали на спутниках свою досаду; и невозможно было укрыть пьянящее зелье от их зорких, пылающих глаз.

Вскоре большая корзина была доверху наполнена и унесена. Капитан добавил, что всякий имеет право передать на хранение деньги судовому кассиру — независимо от суммы — и затем получить её, где и когда пожелает; и если желающие найдутся, — он пришлет кассира в помещение

третьего класса. На этом наш обход окончился.

Когда мы вернулись к себе, И. дал мне ещё одну омерзительную пилюлю. На этот раз голова не кружилась: но тошнота, удары в висках и какое-то трепетание тела были, пожалуй, ещё сильнее. Я сидел на диване, и мне казалось, что сейчас что-то лопнет у меня в голове и спине. Весь я покрылся испариной и снова не мог двинуть ни одним пальцем. Я слышал какой-то разговор, но даже не смог понять, кто это и о чём говорит.

Долго ли так лежал в забытьи, я не знал; но внезапно ощутил какую-то лёгкость, гибкость в теле, словно проспал несколько часов кряду. А оказалось, что прошло только двадцать минут. И. сказал, что сейчас подадут обед и надо с ним поторопиться, так как необходимо принять лекарство в третий раз. Я весело отвечал, что если сейчас могу горы двигать, то что же будет со мною в третий раз?

Но как бы то ни было, следовало поспешить. В кармане у меня лежало письмо Флорентийца, сжигавшее меня уже столько часов; и прежде всего я хотел прочитать его, о чём и заявил И.

Он согласился и вышел на палубу, где нам сервировали обед. Солнце уже стояло низко, очевидно было часов семь.

Я вынул письмо — и позабыл обо всём на свете, так тронули меня нежные, полные любви слова моего дивного друга.

Флорентиец писал, что мысленно следит за каждым моим шагом, и, разделённые условностью расстояния, мы всё так же крепко слиты в его дружеских мыслях и любви, верность которой я имел случай не раз проверить в эти дни. Дальше он говорил, что вынужден ограничиться коротким письмом, так как времени до отхода поезда осталось немного: но просит меня быть крайне внимательным во время путешествия по морю и не отходить от И., как я делал это и раньше, потому что врагам удалось пустить ищеек по нашему следу.

Желая мне полного спокойствия, он говорил, чтобы я не впадал в отчаяние от любых новых поворотов в собственной судьбе, а только видел перед собою одну цель: жизнь брата. И был бы верен ей так, как он, Флорентиец, верен своей дружбе со мною.

Я хотел ещё раз перечитать это дивное письмо, но И. увел меня обедать, обратив моё внимание на позднее время. Мы быстро пообедали. И. ел мало, пристально наблюдая близящийся закат. Он же рекомендовал мне оставить письмо в каюте и уложил меня, сказав, что через полчаса даст третью порцию лекарства.

Я задремал, но проснулся от голоса И., машинально проглотил пилюлю и заснул мгновенно, даже не успев ощутить, как она подействовала.

Проснулся я, как мне показалось, от толчка; на самом же деле это хлопнула дверь нашей каюты. Я поднялся, с удивлением разглядывая И., который был в плаще и резиновых сапогах.

— Одевайся скорее, Левушка. Капитан прислал сказать, что буря начинается и разразится, верно, раньше утра. Но качка так велика, что добрая половина людей уже лежит влѣжку. Надо срочно спускаться в четвёртый класс.

Я стал надевать сапоги и плащ, а И. достал две походные аптечки на крепких ремнях; одну, побольше, надел себе через плечо, другую подал мне.

— У тебя будут запасные лекарства. Возьми непременно пилюли Али и вот эти, что я вынул из твоего саквояжа; их тебе посылает Флорентиец.

И он подал мне зелёную коробочку из эмали с белым павлином на крышке.

— Взгляни, как устроены отделения аптечки, — с этими словами он отстегнул кнопку, поднял крышку твёрдого чехла, и я увидел три ряда пузырьков и несколько прозрачных резиновых капельниц с отметками: две капли, пять, десять. Я был поражен невиданной прозрачной резиной, но размышлять было некогда, любоваться зелёной коробочкой с павлином — тоже. Я поспешил засунуть обе коробочки в аптечку.

Физически я чувствовал себя прекрасно, но казалось, что меня шатает. И. рекомендовал мне шире расставлять ноги, потому что это качка даёт о себе знать.

Мы вышли из ярко освещенной каюты, и я поразился перемене в погоде. Лил дождь, свистел ветер; тьма была вокруг непроглядная. Возле меня выросла высокая тень — это был наш матрос-верзила. Он точно прилип ко мне. Я почувствовал, что И. взял меня под руку, и мы двинулись к зиявшей светлой дыре — трапу вниз. Здесь мы встретили наших друзей, направлявшихся к нам. У них были такие же аптечки. Не обменявшись ни словом, мы стали спускаться.

Глава 12. БУРЯ НА МОРЕ

Не успел я преодолеть и пяти ступенек, как что-то сильно толкнуло меня в спину, и я неминуемо полетел бы вниз головой, если бы мой верзила не принял меня на руки, как дети ловят мяч, и в один миг не очутился со мною на площадке, поставив меня на ноги.

Я не мог сообразить, что случилось, но увидел, что И. держит младшего турка за плечи, а отец освобождает его ногу из щели между перилами. Каким-то образом он зацепился за них и, падая, толкнул меня головой в спину, — отчего я и полетел вниз.

Всё это было, несмотря ни на что, комично, а молодой турок имел такой несчастный и сконфуженный вид, что я, забыв про «такт», так и залился смехом. Верзила не смел, очевидно, хохотать, но фыркал и давился, что меня смешило ещё больше.

— Алло, — раздалось за моей спиной. — Это кто же сыскался такой смельчак, чтобы встретить дикую качку весёлым смехом?

Я узнал голос капитана и увидел его площадкой ниже в мокром плаще и капюшоне.

— Так это вы, юноша, такой герой? Можно не беспокоиться, вы будете хорошим моряком, — прибавил капитан, подмигивая мне.

— Герой не я, а вот этот молодец, — сказал я капитану, указывая на нашего матроса. — Если бы не он, — пришлось бы вам меня отправить в лазарет.

— Ну, тогда бы постарался поместить вас в каюту рядом с прекрасной незнакомкой. Вы имеете большой успех у её маленькой дочери, чего доброго и мать последует её примеру.

Он улыбался, но улыбались только его губы, глаза были пристальные, суровые. И я вдруг как-то всем существом своим ощутил, что опасность данного момента очень велика.

Нас внезапно так качнуло, что молодой турок снова чуть не упал. Капитан взглянул на его отца и сказал, что он должен взять сына под руку, когда мы доберёмся до нижней палубы: а сведёт его с лестницы провожатый. Но его свистку взбежал снизу матрос и стал придерживать молодого человека.

Спускаться было трудно, но, к своему удивлению и к большому удовольствию моей няньки, двигался я всё лучше.

Мы остановились у подножья лестницы, чтобы разделить между собой

поле деятельности. Здесь был сущий ад. Ветер выл и свистел: волны дыбились уже огромные. Люди стонали; женщины и дети плакали: лошади в трюме ржали и бились: коровы мычали: блеяли овцы, — ничего нельзя было расслышать, всё сливалось в какой-то непрерывный вой, гул и грохот.

И. потянул меня за рукав, и мы пошли в женское отделение. Увидев пас, женщины кинулись к нам: но тотчас же многих отбросило назад — это пароход взмыл вверх и снова ухнул вниз, как в пропасть. И. подходил по очереди к наиболее нуждавшимся в помощи: я набирал нужные капли, матрос приподнимал головы страдалиц и я вливал им лекарство.

Зловоние здесь стояло такое, что если бы не ветер, я вряд ли смог его вынести.

Постепенно мы обошли всех, и люди стали затихать и даже засыпали. Два матроса, с горячей водой, со щётками и тряпками, навели в помещении чистоту.

Мы же отправились на помощь к туркам, которые не успели управиться и наполовину, поскольку мужчин здесь было гораздо больше. Несколько человек чувствовали себя хорошо и вызвались нам помогать. Вскоре замерли стоны и проклятия, люди и здесь стали засыпать.

И. дал двум конюхам пучки какой-то сухой травы и велел привязать их в трюме, объяснив, что она произведёт на животных такое же успокаивающее действие, как лекарство на людей.

Турки остались на палубе, а мы спустились в трюм, где И. показал, в каких местах следует привязать траву.

Возвратившись, И. предложил здоровым тоже принять лекарство, говоря, что несколько часов сна подкрепят их силы и они смогут помогать остальным, когда начнется буря.

— Буря? Да разве это ещё не буря?! — послышались возгласы.

— Нет, это ещё не буря, а только лёгкая качка, — раздался рядом голос капитана. — Поэтому примите лекарство и поспите немного, если вы действительно отважны. Каждая сильная рука и храброе сердце пригодятся.

Неожиданное появление капитана и его сильный, звенящий голос подействовали на храбрецов. Они молча открывали рты, и мы влили всем паши чудо-капли.

Капитан спросил И... сколько длится успокоительное действие его капель, и И. ответил, что не менее шести часов люди будут спокойны. Капитан вынул часы, нажал пружину, и часы звонко отсчитали двенадцать.

— Буря начнется часа через два, быть может — три. Я решил перевести часть пассажиров из третьего класса в гостиные второго, а весь четвёртый

класс поместить в третий, — сказал нам капитан. — Вы, пожалуйста, не уходите, пока здесь никого не останется. Быть может, кому-то придется помочь ещё раз.

И он так же быстро исчез, как неожиданно появился. Он был вездесущ: забегал на капитанский мостик, где пёс вахту старший помощник, отдавал распоряжения и успевал заглянуть в каждый уголок, он всех ободрял и успокаивал, для всех у него находилось доброе слово.

Вскоре пришли матросы и офицер, разбудили женщин и предложили перебраться в каюты третьего класса вместе с детьми. Не обошлось без криков и истерических воплей: но всё же вскоре всё устроилось.

Вместе с командой мы отправились будить мужчин. Здесь дело пошло лучше: мужчины мгновенно осознали опасность и быстро перебрались туда, куда им было указано.

Но вот снова заплакали дети; пришлось повторно давать лекарство, причём вначале И. пристально вглядывался в детские лица, прислушивался к дыханию, — и давал новую порцию только в случае острой необходимости. Подле некоторых стариков-рабочих И. задерживался подолгу и совал им, уже дремавшим, какие-то конфеты в рот.

Мы собирались остаться на дежурство в гостиных второго класса, но посланец от капитана просил нас поспешить к умирающей девушке.

Мы оставили турок внизу и поднялись в первый класс. Со всех сторон неслись вопли, бегали горничные и лакеи, и, пожалуй, картина человеческих страданий была здесь много отвратительнее, так как требовательность, злость и эгоизм выливались в ругательства и дурное обращение с судовой прислугой, уже сбившейся с ног.

Нас привели в каюту, где мать с растрепанными длинными волосами стояла на коленях у изголовья дочери, находившейся в глубоком обмороке. Она уже ничего не соображала, рыдая и выкрикивая какие-то итальянские слова, она рвала на себе волосы и ломала руки. И. с помощью матроса уложил её на диван и велел мне дать ей пять капель, указав нужный пузырёк. А сам наклонился над девушкой, которую судовой врач не мог привести в чувство уже более часа.

Как только я дал матери лекарство, она мгновенно заснула, и я подошёл к И.

— Случай тяжёлый, Левушка, — сказал И. Он достал из своей аптечки какое-то остро пахнущее снадобье и пустил девушке по одной капле в каждую ноздрю. Через минуту она сильно чихнула. И. ловко открыл ей рот, а я влил ей другие капли с помощью матроса, которому пришлось упереться коленом в диван и поддерживать меня, иначе бы я полетел на

спину от нового толчка, а девушка упала на диван.

— Теперь здесь всё будет благополучно, поспешим в лазарет, — шепнул мне И.

Мы поручили вошедшему доктору его пациентов; он был очень удивлён тем, что девушка спит и ровно, мирно дышит. Но И. так спешил, что даже недослушал его.

Кратчайшим путём, по какой-то винтовой лестнице, мы быстро добрались до лазарета, где тоже стенали и плакали. Но мы, минуя всех, почти вбежали в палату А. Бедная мать не знала, что ей делать с двумя рыдавшими детьми и готова была сама заплакать в творившемся вокруг аду. Каждый винт скрипел и визжал на свой лад; весь пароход дрожал и трясся, как будто бы был сделан из топкого листового железа; а протяжные стоны кидаемых из стороны в сторону людей, сливаясь с воем ветра, казались завыванием нечистой силы.

Почти мгновенно мы дали всем лекарство. Женщина так умоляюще взглянула на И., что он пожал ей руку и сказал:

— Мужайтесь. Мать должна быть примером своим детям. Ложитесь подле них и постарайтесь уснуть.

И снова каким-то кратчайшим путём мы помчались на мостик к капитану. Приходится признаться, что И. держал меня под руку, а матрос буквально подталкивал сзади, и только таким способом я мог карабкаться по лестницам и переходам. Иначе я раз десять полетел бы вниз головой и, наверное, убился насмерть. Выйдя на палубу, мы попали в кромешный ад. Сверкали молнии, удары грома, подобно неумолчной канонаде, сливались с воем и свистом ветра. Молнии сразу ослепили нас, и мы вынуждены были остановиться, так как в ледяной атмосфере бури было трудно даже дышать.

Мы добрались до капитанского мостика с огромным трудом. Я не успел даже опомниться, как меня обдало с ног до головы холодной водой. Я отряхивался, как пёс, протирая глаза руками, и открыл их с большим усилием, но всё же во тьме, озаряемой вспышками, по-прежнему ничего не видел.

Я чувствовал, что меня тащат сильные руки, и пошёл, если только можно назвать этим словом то, что проделывали мои ноги и тело. Я подымал ногу и тут же валился на свою няньку-матроса. То я падал назад и слышал крик И.: «Пригнись». Не успевал нагнуться, как снова валился набок. Эти несколько десятков шагов показались мне долгими, как дорога к несбыточному счастью.

Но вот я услышал, как матрос-верзила что-то крикнул, рванул меня вперёд, и в одно мгновение мы очутились возле капитана и его

помощников. А в следующий момент нас прижало к стенкам капитанской рубки и чудовищная волна прошла стороной.

Что произошло в следующий момент, не поддаётся никакому описанию. Огромная водяная стена обрушилась на пароход, так ударив по рубке, что она задрожала, а И. с матросом бросились к рулевому колесу, которое капитан и помощники уже не могли удерживать втроём.

— Левушка, — кричал И. - скорее, из зелёной коробочки Флорентийца, пилюли всем, капитану первому.

Я был прижат к рубке таким сильным ветром, что стоял очень устойчиво. Это помогло мне без труда достать коробочку, но я понимал, что если снова ударит волна, мне не удержаться на ногах. Я собрал все свои силы, в воображении моём мелькнула фигура Флорентийца, о котором я неотступно думал всё это время. Сердце моё вдруг забилося от радости, и так близок был ко мне в эту минуту мой друг, точно я увидел его рядом. Положительно, если бы я спал, то был бы уверен, что вижу его во сне, — так отчётливо нарисовалась мне белая фигура моего дорогого покровителя.

Я почувствовал такой прилив сил, словно мой обаятельный друг и в самом деле был подле. Я вынул пилюли, мне стало весело, и я, смеясь, наклонился к капитану. Тот даже рот раскрыл от удивления, увидев меня смеющимся в миг ужасной опасности, чем я немедленно воспользовался, сунув ему пилюлю в рот.

Точно дивная рука Флорентийца помогла мне, — я забыл о толчках, дрожании судна, ударах волн; забыл о смерти, таящейся в любом последующем натиске стихии, — я всем раздал пилюли и последним проглотил сам. Глаза привыкли, вокруг точно посветлело. Но различить, где кончается вода и начинается небо, — не было возможности.

Теперь все мужчины держали руки на рулевом колесе. Мне всё ещё казалось, что я вижу высокую белую фигуру Флорентийца, стоящую теперь рядом с И. Он как бы держал свои руки на его руках. Да и командовал капитан, казалось, под диктовку И. Мы плыли, а вернее ухали вниз и взлетали на горы довольно долго. Все молчали.

— Ещё один такой крен, и пароход ляжет, чтобы уже не встать, — прокричал капитан.

Не знаю, должно быть пилюля так раззадорила меня, что я прокричал капитану в самое ухо:

— Не ляжет, ни за что не ляжет, выйдем невредимыми. Он только повёл плечами, и это был жест снисхождения мне, мальчишке, не понимающему смерти. Между тем становилось светлее. Теперь я уже мог рассмотреть тот живой водяной ад, в котором мы плыли, если можно обозначить этим

словом ужас уханья в пропасть и мгновенного взмыванья в гору.

Море представляло собой белую кипящую массу. Временами вздымались высоченные зелёные стены воды, с белыми гребнями, точно грозя залить нас сразу со всех сторон и похоронить в пропасти. Но резкая команда капитана и искусные руки людей резали водяные стены, и мы ухали вниз, чтобы в который уже раз благополучно выскочить на поверхность.

Но вот я заметил, что капитан вобрал голову в плечи, крикнул что-то И. и налёг всем телом на руль. Мне снова почудилась высокая белая фигура Флорентийца, коснувшаяся рук И., который двинул штурвал так, как хотел капитан и чего не мог добиться от своих помощников. И пароход послушно повернулся носом вправо. Сердце у меня упало. На нас шла высочайшая гора воды, на вершине которой кружился водяной столб, казалось, подпиравший небо.

Если бы вся эта масса ударила нам в борт, судно неминуемо опрокинулось бы. Благодаря ловкому манёвру пароход прорезал брюхо водяной горы, и вся тяжесть обрушилась на его кормовую часть. Раздался грохот, точно выпалили из пушек; судно вздрогнуло, нос задрался вверх, точно на качелях, но через минуту мы снова шли в пене клокотавшего моря, и волны были ужасны, заливали палубу, но не грозили разбить нас в куски.

Опомнившись, я стал искать глазами Флорентийца, но понял, что то был лишь мираж. Я настолько был полон мыслями о дивном своём друге, так верил в его помощь, что он мерещился мне даже здесь.

— Мы спасены, — сказал капитан. — Мы вышли из полосы урагана. Качка продлится ещё долго, но смертельная опасность отступила.

Он предложил нам с И. пойти в каюту. Но И. ответил, что мы устали меньше, чем он, и останемся до тех пор, пока опасность существует. А сейчас пусть отпустит старшего помощника и вызовет ему замену.

Не знаю, много ли прошло времени. Становилось всё светлее; буря была почти так же сильна, но мне казалось, что лицо капитана прояснилось. Он был измучен, глаза ввалились, лицо было бледно до синевы, но суровости в нём уже не было.

И. посмотрел на меня и велел дать всем по пилюле из чёрной коробочки Али. Я думал, что качка уже не так сильна, отделился от угла, где стоял всё это время, и непременно упал бы, если бы И. меня не поддержал.

Я очень удивился. Несколько часов назад я так легко проделал всё это в самый разгар урагана; а теперь без помощи не смог бы обойтись, хотя стало гораздо тише. С большим трудом я подал всем по пилюле, с

неменьшими трудностями проглотил её сам и едва вернулся на прежнее место.

Теперь я увидел, что в углу был откидной стул. Я опустил сиденье и сел в полном недоумении. Почему же в разгар бури, когда мне мерещился Флорентиец, я двигался легко, а теперь не могу сделать и шага, да и сию с трудом, держась крепко за поручни.

Неужели одна только мысль о дорогом друге, которого всю ночь я звал на помощь, помогла мне сосредоточить волю? Я вспомнил, какое чувство радости наполнило меня; каким я сознавал себя сильным; как смеялся, давая капитану пилюлю, — а вот теперь расслабился и стал обычным "Лёвушкой-лови ворон".

Картина моря так менялась, что оторваться от неё было жаль. Становилось совсем светло; ветер разорвал чёрные тучи, и кое-где уже проглядывали клочки голубого неба. Качка заметно слабела; иногда ветер почти стихал и слышался только шум моря, которое стало совершенно чёрным, с яркими белыми хребтами на высоких волнах. Качка всё ещё была сильная, идти мне было трудно; и я удивился, как легко всё это делал И. За что бы он ни взялся, думалось мне, — всё он делает отлично.

Я представил его — ни с того, ни с сего — за портняжным столом, и так это было смешно и глупо, что я залился смехом. И. поглядел на меня не без удивления и сказал, что уже второй раз мой героизм проявляется смехом.

— Отнюдь не героизм заставил меня смеяться, — ответил я, — а только моя глупость. Я вдруг представил вас портным и решил, что и в этой роли вы были бы совершенны. Но игла и нитка в ваших руках так комичны, что я просто не могу не хохотать, — ответил я со смехом.

Мы подошли к корме, и мой смех сразу оборвался и замер на губах.

Море точно разрезали ножом на две неравные части. Сравнительно небольшое пространство, по которому мы двигались, было чёрным, в белой пене, но не страшным. Но за этой чёрной полосой начинались высочайшие водяные горы; стены зелёной воды с белым верхом налетали друг на друга, точно великаны в схватке; постояв мгновение в смертном объятии, они валились в пропасть, откуда на смену им вздымались новые водяные горы-чудища.

— Неужели мы выбрались из этого ада? — спросил я. — Неужели смогли выйти живыми?

Мне страстно хотелось спросить, думал ли И. о Флорентийце в самую страшную минуту нынешней ночи; но мне было стыдно признаться в своей детскости, в игре фантазии, принявшей мысленный образ друга, несколько раз спасавшего мне жизнь за это короткое время, за истинное виденье. Я

взывал и сейчас всем сердцем к нему и думал о нём больше, чем о брате и даже о самом себе.

И. стоял молча. На его лице было такое безмятежное спокойствие, такая глубокая чистота и радость светились в нём, что я невольно спросил, о чём он думает.

— Я благословляю жизнь, мой мальчик, даровавшую нам сегодня возможность дышать, любить, творить и служить людям со всем напряжением сил, всей высотой чести. Благослови и ты свой новый день. Осознай глубоко, что ночью мы могли погибнуть, если бы нас не спасли милосердие жизни и самоотверженность людей. Вдумайся в то, что этот день — новая твоя жизнь. Ведь сегодня ты мог уже и не стоять здесь. Привыкни встречать каждый расцветающий день, как день новой жизни, где только ты, ты один делаешь запись на чистом листе. В течение этой ночи ты ни разу не испытал страха; ты думал о людях, жизнь и здоровье которых были в опасности. Ты забыл о себе.

— О, как вы ошибаетесь, Лоллион, — воскликнул я, назвав его в первый раз этим ласкательным именем. — Я действительно не думал ни о себе, ни об опасности. Но размеры опасности я понял только сейчас, когда смотрю на этот ужас позади нас, на эту полосу урагана, от которого мы ушли. О людях я не думал, я думал о Флорентийце, о том, как бы он отнёсся к моим поступкам, если бы был рядом. Я старался поступать так, точно он держал меня за руку. И так полон был я этими мыслями, что он даже пригрезился мне в ту минуту, когда на нас обрушивался страшный вал. Я точно увидел его, ощутил, и потому так радостно смеялся, чем удивил капитана и, вероятно, вас. Поэтому не думайте обо мне лучше, чем я есть на самом деле.

— Твой смех меня не удивил, как и твои радость и бодрость ночью. Я понял, кого ты видишь перед собой, знаю теперь, как велики твои привязанность к нему и верность. Думаю, что если верность твоя не поколеблется, — ты в жизни пройдёшь далеко. И когда-нибудь станешь сам такой же помощью и опорой людям, как он тебе, — ответил мне И.

Здесь, на корме, было видно, как продолжала бушевать буря. Шум моря всё ещё походил на редкие пушечные выстрелы, и говорить приходилось очень громко, пригибаясь к самому уху собеседника.

От страшной полосы урагана мы уходили всё дальше; и теперь — издали — это зрелище было ещё более жутким.

Если бы художник изобразил такую необычайную картину моря, — точно искусственно разделённого на чёрные, грозные, но не слишком опасные волны и зелёные водяные горы, несущие смерть, — каждый

непременно подумал бы, что художник излил на полотно бред своей больной души.

Трудно было оторваться от этого устрашающего зрелища. Грозы уже не было, но небо по-прежнему было ещё чёрным, — и странно поражали лоскутья синего бархата, мелькавшие кое-где на фоне туч.

Позади раздался голос капитана, шагов которого мы не слышали.

— Двадцать лет плаваю, — говорил он, — обошёл все океаны, видел немало бурь, бурь тропических. Но ничего подобного сегодняшней ночи не переживал, никогда такого количества смерчей видеть не приходилось. Смотрите, смотрите, — вдруг громко закричал он, повернувшись налево и, указывая на что-то рукой.

На гигантской водяной горе стояло два белых, кипящих столба, вершины которых уходили в небо.

Капитан бросился к рубке, я хотел было бежать за ним, но И. удержал меня, сказав, что этот смерч пройдёт мимо и гибелью нам не грозит. Присутствие капитана на мостике необходимо; но в нашей помощи нужды уже нет.

Смерч действительно нёсся мимо; но вдруг я увидел, как из водяной стены справа стала вырастать, вращаясь колесом, струя воды и через минуту вырос и на ней огромный водяной столб. Он понёсся навстречу двум двигавшимся слева, и вдруг все три столба столкнулись, раздался грохот, подобный сильнейшему удару грома, — и на месте их слияния образовалась пропасть.

Линия, разделявшая море на две части, разметалась; волны-стены точно ринулись в погоню за нами. Это было так страшно, что я с удивлением смотрел на И., не понимая, почему он не бежит к капитану. Но он молча взял меня за руку и повернул лицом вперёд. И я с удивлением обнаружил очистившееся небо, очертания берегов вдалеке.

— Капитан прав. Сейчас подходить к берегу нельзя. Быть может, мы даже минуем порт, если на пароходе достаточно угля, воды и запасов, и пойдём дальше. Но от гибели мы ушли, — сказал И. — Такие ураганы вряд ли повторяются дважды. Но море, по всей вероятности, ещё не менее недели будет бурным.

Я начинал ощущать, что качка становится всё сильнее; море вновь закипало и шумело грознее, и ветер налетал свистящими шквалами. Но до высоты гор волны больше не вздымались.

Мы прошли к капитану, осматривавшему окрестности в подозрную трубу. Он изменял направление парохода и приказал немедленно позвать старшего офицера с полным отчётом о состоянии запасов.

Когда явился старший помощник и доложил, что пароход может плыть ещё двое суток ни в чём не нуждаясь, капитан приказал держать курс в открытое море.

Оставалось только в сотый раз изумляться прозорливости И.

Как бы ни было волшебное действие подкрепляющих средств Али и Флорентийца, вес же не только мои силы подходили к концу. Все, кто провёл ночь на палубе, стали похожи на привидения при свете серого дня. Один И. был бледен, но бодр. Капитан же буквально валился с ног.

Передав команду двум помощникам и штурману, он велел хорошенько накормить матросов и дать им выспаться. Нас пригласил в свою каюту, где мы обнаружили прекрасно сервированный стол.

Как только я сел в кресло, то почувствовал, что встать у меня нет больше сил. И я совершенно ничего не помню, что было дальше.

Очнулся я у себя в каюте свежим и бодрым, забыв полностью обо всем и не соображая, где я. Так лежал я около получаса, пока не начал припоминать, что же было, и воспринимать окружающее.

Память вернулась ко мне вместе с пережитым ночью. Теперь же сняло солнце. Я встал, оделся в белый костюм, приготовленный, очевидно, заботливой рукой И., и собрался отыскать его и поблагодарить за внимание и заботу. Я никак не мог связать всех событий в одну нить и понять, каким же образом оказался в каюте.

Мне было стыдно, что я так долго спал, в то время как И... вероятно, уже кому-нибудь помогает.

В эту минуту открылась дверь, и мой друг, сияя безукоризненным костюмом и свежестью, вошел в каюту. Я так обрадовался, словно не видел его целый век, и бросился ему на шею.

— Слава Богу, наконец-то ты встал, Левушка, — сказал он, улыбаясь. — Я уже решил было применить пожарную кишку, зная твою любовь к воде.

Оказалось, я спал более суток. Я никак не мог поверить в это, и всё переспрашивал, который же был час, когда я заснул. И. рассказал, как ему пришлось перенести меня на руках в каюту и уложить спать голодным.

Есть я сейчас хотел ужасно; но ждать мне не пришлось, так как в дверях появился сияющий верзила и сказал, что завтрак подан.

Он, улыбаясь во весь рот, подал мне записку, тихонько шепнув, что это из каюты 1 А, записку передала красивая дама и очень просила зайти к ней.

Я смутился. Это была первая записка от женщины, которую мне так таинственно передавали. Я прекрасно знал, что в записке этой не может быть ничего такого, чего бы я не мог прочесть даже первому встречному. И я злился на свою неопытность, неумение владеть собой и вести себя так,

как подобает воспитанному человеку, а не краснеть, как мальчишка.

Снова маленькое словечко «такт», которое буря выбила из моей головы, мелькнуло в моём сознании. Я вздохнул и приветствовал его как далёкую и недостижимую мечту.

Ухмылка матроса, почёсывавшего свой подбородок и лукаво поглядывавшего на меня, была довольно комична. Казалось, он одно только и думал: "Ишь, отхватил лакомый кусочек, и когда успел?"

Всегда чувствительный к юмору, я залился смехом, услышал, что прыснул и матрос: смеялся с нами И., прочитывая на моём лице все промелькнувшие в моей голове мысли, что он так великолепно умел делать. Моя физиономия в сочетании с комичной фигурой матроса рассмешила бы и самого сурового человека. У И. был вид лукавого заговорщика, и поблескивал он глазами не хуже желтоглазого капитана.

Я положил записку в карман и заявил, что умру с голоду, если меня не накормят тотчас же. И крайне был поражён, узнав, что уже два часа пополудни.

Мы сели за стол. Я ел всё, что мне подставляли, а И... смеясь, уверял, что впервые в жизни кормит тигра.

К нам подошёл капитан. Радостно поздоровавшись, он заявил, что никогда ещё не видел человека, который хохотал бы во всю мочь в момент, когда со всех сторон подступает смерть.

— Я создам новую морскую легенду, — сказал он. — Есть легенда о Летучем голландце; легенда страшная о вестнике гибели для моряков. Есть легенда благая: о Белых братьях, несущих спасение гибнущим судам. Но легенды о весёлом русском, смеющемся во весь рот в минуты грозной опасности и энергично раздающем пилюли, ещё никто не придумал. Я расскажу в рапорте о помощи, которую вы с братом оказали нам в эту ночь. О вас, мой молодой герой, я поведаю особо, потому что такое дерзновенное бесстрашие — незаурядное явление.

Я сидел весь красный и вконец расстроенный. Я хотел сказать капитану, как сильно он ошибается, ведь я просто шёл на помочах у И., которому было скорее обузой, чем помощью. Но И., незаметно сжав мне руку, ответил капитану, что мы очень благодарны за столь высокую оценку наших ночных подвигов. И напомнил, что турки не менее нашего трудились в прошлую ночь.

— О да, — ответил капитан. — О них, конечно же, я не забуду. Они тоже проявили самоотверженность. Но находиться внутри парохода или провести ночь на палубе, где тебя ежеминутно может смыть волна, — огромная разница. Вы далеко пойдёте, юноша, — снова обратился он ко

мне. — Я могу составить вам протекцию в Англии, если вы вдруг решите переменить карьеру и сделаться моряком. С таким даром храбрости вы станете очень скоро капитаном. Ведь вам теперь всюду будет сопутствовать слава неустрашимого. А это — залог большой морской карьеры.

Поблескивая своими жёлтыми кошачьими глазами, он протянул мне бокал шампанского. Я не мог не принять бокал, рискуя показаться неучтивым. Затем капитан подал бокал И. и провозгласил тост за здоровье храбрых. Мы чокнулись; он осушил бокал с шампанским единым духом, хотел было налить ещё, но его отозвали по какому-то экстренному делу.

Взглянув на И., я увидел, что у него тоже нет желания пить шампанское в такую жару. Не сговариваясь, мы протянули наши бокалы матросу-верзиле, принёсшему мороженое. Я не успел даже как следует взять своё блюдечко, как оба бокала были пусты. И. велел ему отнести серебряное ведёрко с шампанским в каюту капитана, а мне сказал:

— Надо пойти к нашим друзьям, если они сами сейчас не поднимутся. Оба несколько раз заходили сюда справляться о твоём здоровье. Да и по отношению к даме постарайся быть вежливым. Прочти же записку, — прибавил он, улыбаясь.

Я только успел опустить руку в карман, как послышались голоса, — и к нашему столу подошли турки.

Оба они радовались, что буря не повредила моему здоровью. Старший приподнял феску на голове сына, и я увидел, что большой кусок его головы выбрит и наложена повязка, заклеенная белой марлей: он ударился головой о балку, когда волна подбросила пароход. Повязку, как оказалось, накладывал И.; и мазь была такой целебной, что сегодня при перевязке рану можно было уже заклеить.

Турки пробыли с нами недолго и пошли завтракать вниз, в общую столовую.

Наконец, я достал письмо и разорвал конверт.

Глава 13. НЕЗНАКОМКА ИЗ КАЮТЫ

"1А"

Письмо было адресовано "Господину младшему доктору". Оно носило такое же обращение и было написано по-французски.

"Мне очень совестно беспокоить вас, господин младший доктор. Но девочка моя меня крайне волнует; да и маленький что-то уж очень много плачет. Я вполне понимаю, что моё обращение к Вам не совсем деликатно. Но, Боже мой, Боже, — у меня нет во всём мире ни единого сердца, к которому бы я могла обратиться в эту минуту. Я еду к дяде, от которого уже полгода не имею известий. Я даже не уверена, жив ли он? Что ждёт меня в чужом городе? Без знания языка, без умения что-либо делать, кроме дамских шляп. Я гоню от себя печальные мысли; хочу быть храброй; хочу мужаться ради детей, как мне велел господин старший доктор. О Вашей храбрости говорит сейчас весь пароход. Заступитесь за меня. В каюте, рядом со мной, поместилась важная, старая русская княгиня. Она возмущается, что кто-то смел поместить в лучшую каюту меня, — "нищенку из 4-го класса", и требует, чтобы врач нас выкинул. Я не смею беспокоить господина старшего доктора или капитана. Но умоляю Вас, защитите нас. Упросите важную княгиню позволить нам ехать и дальше в нашей каюте. Мы ведь никуда не выходим; у нас всё, даже ванная, отдельное, и мы ничем не тревожим покой важной княгини. С великой надеждой, что Ваше юное сердце будет тронутو моей мольбой, остаюсь навсегда благодарная Вам Жанна Моранье".

Я старался читать спокойно это наивное и трогательное письмо; но раза два мой голос дрогнул, а лицо бедняжки Жанны с бегущими по щекам слезами так и стояло передо мной.

Я посмотрел на И. и увидел знакомую суровую складку на лбу, которую замечал не раз, когда И. на что-либо решался.

— Этот дуралей, наш верзила, вероятно, протаскал письмо целый день, скрывая его от меня и сочтя любовным, — задумчиво сказал он. — Пойдём сейчас же; разыщем капитана, и ты переведёшь ему это письмо. Захвати аптечки; обойдем заодно и весь пароход.

Мы повесили через плечо аптечки и отправились искать капитана. Мы нашли его в судовой канцелярии и рассказали, в чём дело. Я видел, как у него сверкнули глаза и передёрнулись губы. Но он сказал только:

— Ещё десять минут, — и я иду с вами.

Он указал на кожаный диванчик рядом с собой и продолжал слушать доклады подчинённых о том, что сделано "согласно его распоряжениям" — для починки судна и помощи пассажирам.

Ровно через десять минут — точно, ясно, не роняя ни одного лишнего слова, — он отпустил всех и вышел с нами в лазаретное отделение первого класса.

Мы поднялись по уже знакомой мне узкой винтовой лестнице и вышли прямо к дверям каюты 1 А.

В коридоре столпился народ; слышались спокойный и твёрдый голос врача, кому-то возражавшего, и визгливый женский голос, говоривший на отвратительном английском языке:

— Ну, если вы не желаете её отсюда убрать, то я это сделаю сама. Я не желаю, чтобы рядом со мной ехала какая-то нищая тварь. Вы обязаны делать все, чтобы не волновать пассажиров, заплативших за проезд такие огромные деньги.

— Я повторяю, что таково распоряжение капитана, а на пароходе он царь и бог, а не я. Кроме того, это не тварь, — и я очень удивлен вашей малокультурной манере выражаться, — а премилая и прехорошенькая женщина. И за проезд в этой каюте она уже всё сполна уплатила; вы же, — под предлогом продолжающегося расстройства нервов, — не заплатили ещё ничего, — снова раздался спокойный голос врача.

— Да как вы смеете со мной так разговаривать? Вы грубый человек. Я не стану ждать, пока вы сообразовите убрать отсюда столь приглянувшуюся вам девку. Вы хотите удобно устроиться и иметь развлечение за казённый счёт. Я сама выгоню её, — визгливо кричала княгиня. Доктор вспыхнул:

— Это Бог знает что! Вы говорите не как аристократка, а...! Тут капитан выступил вперёд и стал спиной к двери каюты 1 А, к которой подошла старая грузная женщина, раскрашенная, как кукла, в золотистом завитом парике, в нарядном сером шёлковом платье, увешанная золотыми цепочками с лорнетом, медальоном и часами. Толстые пальцы её жирных рук были унизаны драгоценными кольцами.

Эта молодящаяся старуха была тем отвратительнее, что самостоятельно держаться на своих ногах не могла. С одной стороны ей помогал молодой еще человек в элегантном костюме, с очень печальной физиономией; с

другой, кроме палки, на которую та опиралась, старуху поддерживала горничная в синем платье и элегантном белом переднике, с белой наколкой на голове.

Не зная капитана в лицо и увидев морского офицера с двумя молодыми людьми у дверей той каюты, куда она так хотела пройти, она ещё пронзительнее взвизгнула и, грозно стуча палкой об пол, закричала:

— Я буду жаловаться капитану. Это что за дежурство перед дверью развратной твари? У меня молодой муж; здесь слишком много молодых девушек. Это разврат! Сейчас же уходите. Я сама распоряжусь убрать эту...

Она не договорила, её перебил капитан. Он вежливо поднёс руку к фуражке и сказал:

— Будьте любезны предъявить ваш билет на право проезда в каюте 2 лазарета, которую, как я вижу, вы занимаете. Я капитан.

Он свистнул особым способом, и вбежали два дюжих матроса.

— Очистить коридор от посторонних, — приказал капитан. Приказание, отданное металлическим голосом, было незамедлительно выполнено. Толпа любопытных мгновенно исчезла, остались только старуха со своими спутниками, врач, сестра милосердия и мы. Старуха нагло смотрела на капитана маленькими злыми глазками, очевидно считая себя столь важной персоной, перед которой все должны падать ниц.

— Вы, должно быть, не знаете, кто я, — всё также визгливо и заносчиво сказала она.

— Я знаю, что вы путешествуете на вверенном мне пароходе и занимаете каюту первого класса номер 25. Когда вы сели на пароход, вы читали правила, которые гласят, что во время пути все пассажиры, наравне с командой, подчиняются капитану. Также были расклеены объявления о том, что на пароходе имеется лазарет за особую плату. Вы едете здесь. Предъявите ваш добавочный билет, — ответил ей капитан.

Старуха гордо вскинула голову, заявив, что не о билете должна идти речь, а об особе в соседней с нею каюте.

— В лучшей каюте, со всеми отдельными удобствами, доктор разместил свою приятельницу, откопав её в трюме. Я, светлейшая княгиня, требую немедленного удаления её в первоначальное помещение, как раз ей соответствующее, — повышенным тоном говорила старуха на своём отвратительном английском.

— Понимаете ли вы, о чём я вас спрашиваю, сударыня? Я у вас спрашиваю билет на право проезда здесь, в этой каюте. Если вы его не предъявите сейчас же, будете незамедлительно водворены в свою каюту и, кроме того, заплатите тройной штраф за безбилетный проезд в лазарете.

Голос капитана, а особенно угроза штрафа, очевидно, затронули самую чувствительную струну жадной старухи. Она вся побагровела, затрясла головой, что-то хотела сказать, но задохнулась от злости и только хрипло кашляла.

— Кроме того, нарушение правил и распоряжений капитана, оспаривание его приказаний расцениваются как бунт на корабле. Ещё одно запальчивое слово, ещё один стук палкой, нарушающий покой больных, вы себе позволите, — и я велю этим молодцам посадить вас в карцер.

Теперь и сама старуха струсила, не говоря о её молодом муже, который, очевидно, был убит, оказавшись в центре разыгравшегося скандала, и не мог не понимать, что поведение его жены позорно.

Капитан приказал открыть дверь каюты номер 2, где обосновалась княгиня. Картина, представившаяся нашим глазам, заставила меня покатиться с хохоту. На самом видном месте валялись широченные дамские панталоны, постели были разрыты, будто на них катались и кувыркались. Всюду, на столах, стульях, на полу, были раскиданы принадлежности мужского и дамского туалета, вплоть до самых интимных.

— Что это за цыганский табор? — вскричал капитан. — Сестра, как могли вы допустить нечто подобное на пароходе, притом в лазарете?

Сестра, пожилая англичанка, полная сознания собственного достоинства, отвечала, что входила в каюту три раза, дважды посылала сюда убирать коридорную прислугу, но что через час всё снова принимало вид погрома.

На новый свисток капитана явился младший офицер, получивший приказание водворить княгиню в её каюту, взыскать с неё тройной штраф за две лазаретные койки, а также немедленно помыть каюту.

— Я буду жаловаться вашему начальству, — прохрипела старуха.

— А я пожалуюсь ещё и русским властям. И расскажу великому князю Владимиру, который сядет к нам в следующем порту, о вашем поведении.

Тут к старухе подошёл младший офицер и предложил ей следовать за ним в первый класс. В бессилье она сорвала злобу на своём супруге и горничной, обозвав их ослами и идиотами, не умеющими поддержать её, когда следует. Похожая на чудовище из дантова ада, с трясущейся головой, хрипло кашляя, старуха скрылась в коридоре, сопровождаемая своими спутниками.

Капитан простился с нами, попросив от его имени уверить госпожу Жанну Моранье, что на его судне она в полной безопасности, под охраной английских законов. Он просил нас также ещё раз обойти пассажиров четвёртого и третьего классов, потому что вечером, после обеда, их снова

разместят на прежних местах, помыв как следует весь пароход.

Мы постучали в каюту 1 А. Мелодичный женский голос ответил нам по-французски: «Войдите», и мне показалось, что в голосе этом слышатся слезы.

Когда мы вошли в каюту, то первое, в чём мне пришлось убедиться, были действительно слезы, лившиеся по щекам Жанны; дети прижимались к ней, обхватив её шею ручонками.

Они сидели, забившись в угол дивана, и владел ими такой страх, такое отчаяние, что я остановился, как вкопанный, превратившись сразу в "Лёвушку-лови ворон".

И. подтолкнул меня и шепнул, чтобы я взял девочку на руки и успокоил мать.

Убедившись, что мы являемся посланцами привета и радости, Жанна не раз переспрашивала, неужели и до самого Константинополя она доедет с детьми в этой каюте? Счастью её не было предела. Она так смотрела на И., как смотрят на иконы, когда молятся. Ко мне она обращалась, как к брату, который может защитить здесь, на земле.

Девочка повисла на мне и не слушала никаких резонов матери, уговаривавшей её сойти с моих колен. Она целовала меня, гладила волосы, жалея, что они такие короткие, говорила, что я ей снился во сне и что она больше не расстанется со мною, что я её чудный родной дядя, что она так и знала, что добрая фея обязательно меня им пошлёт. Вскоре и крепыш перекочевал ко мне; и началась возня, в которой я не без удовольствия участвовал, подзадоривая малюток ко всяким фокусам.

Мать, вначале старавшаяся унять детей, теперь весело смеялась и, по-видимому, не прочь была бы принять участие в нашей возне. Но присутствие иконы — И. настраивало её на более серьёзный лад.

И. расспросил, что ели дети и она. Оказалось, что после утреннего завтрака поесть им не удалось, так как соседка бушевала уже давно, они умирали от страха, и мы застали самый финал этой трагикомедии. Если она хочет, сказал И., чтобы здоровье её самой и детей восстановилось до Константинополя, им всем следует поесть и хорошенько выспаться. И. полагал, что у девочки хоть и в лёгкой степени, но всё же перемежающаяся лихорадка, что сегодня она здорова, но завтра должен снова наступить пароксизм. У матери расширились от ужаса глаза. И. успокоил её, сказав, что даст ей капель и что им всем надо проводить почти весь день на палубе, лёжа в креслах, тогда они оправятся от истощения.

Он попросил Жанну сейчас же распорядиться о еде и добавил, что мы обойдём пароход и вернёмся через часа два. Тогда они все получают

лекарство, и мы побеседуем.

Мы вышли, попросив сестру лучше накормить мать и детей. Очевидно, это была добрая женщина; дети потянулись к ней, и мы ушли успокоенные.

Не успели мы пройти и нескольких шагов, как нас встретил врач, прося зайти в первый класс к той девушке, которую мы так хорошо вылечили.

— Дочь и мать, проспав всю бурю, сейчас свежи, как розы. Они жаждут видеть врача, чтобы поблагодарить его за помощь, — сказал судовой доктор.

Мы пошли за ним и увидели в каюте двух брюнеток, очень элегантно одетых; они сидели в креслах за чтением книг, ничем не напоминая те растрёпанные фигуры, которые видели мы в страшную ночь бури.

Когда судовой врач представил нас, старшая протянула обе руки И., сердечно благодаря его за спасение. Она быстро сыпала словами, со свойственной итальянцам экспансивностью, и я половины не понимал из того, что она говорила.

Молодая девушка не была хороша собою, но её огромные чёрные глаза были так кротки и добры, что стоили любой классической красоты. Она тоже протянула каждому из нас обе руки и просила позволить ей чем-либо отблагодарить нас.

И. ответил, что лично нам ничего не надо, но если они желают принять участие в добром деле, мы не откажемся от их помощи. Обе дамы выразили горячее желание сделать всё, что необходимо; И. рассказал им о бедной француженке-вдове с двумя детьми, которую капитан спас от мук, укрыв с больными детьми в лазарете.

Обе женщины были глубоко тронуты судьбой бедной вдовы и потянулись за деньгами. Но И. сказал, что денег ей достанут, а вот одежды и белья у бедняжки нет.

— О, это дело самое простое, — сказала младшая. — Обе мы умеем хорошо шить; тряпок у нас много, мы оденем их преотлично. Вы только познакомьте нас со своею приятельницей, а остальное предоставьте нам.

И. предостерёг их, что бедняжка запугана. Вкратце он рассказал им о возмутительной выходке старой княгини. До слез негодовали женщины, отвечая И., что не все же дамы думают и чувствуют, как мегеры.

Мы условились, что позже зайдём за ними и проводим к Жанне.

На прощанье И. велел достать чёрную коробочку Али, разделил пилюлю на восемь частей, развёл в воде одну порцию и дал девушке выпить, посоветовав ей полежать до нашего возвращения.

Мы спустились в третий класс. Здесь было уже всё прибрано, нигде и

следов бури: но люди казались обессиленными вконец. Однако, приняв наших капель, стали вставать, потягиваться и выходить на палубу. Так мы постепенно добрались до первого класса, где разбушевавшаяся ещё в лазарете княгиня так грубо срывала своё бессильное бешенство на мужа и горничной, что соседи по каюте возмутились. Слово за слово, разгорелся скандал, в самый разгар которого мы вошли. Увидев нас, старуха тотчас скрылась в свою каюту, под общий смех.

К нам подошёл какой-то пожилой человек, очевидно очень тяжело перенёсший бурю; весь жёлтый, с мешками под глазами, он просил навестить его дочь и внука, состояние которых внушало ему большие опасения.

Мы прошли с ним в каюту и увидели в постели бледную женщину с длинными русыми косами и мальчика лет восьми; казалось, он тяжело болен.

Пожилой человек обратился к дочери по-гречески; она открыла глаза, поглядела на И., склонившегося к ней, и сказала ему тоже по-гречески:

— Мне не пережить этого ужасного путешествия. Не обращайтесь на меня внимания. Спасите, если можете, сына и отца. Я не могу думать без ужаса, что будет с ними, если я умру, — и слезы полились из её глаз.

И. велел мне капнуть в рюмку капель из тёмного пузырька и сказал:

— Вы будете завтра совершенно здоровы. У вас был сердечный припадок; но буря утихла, припадок прошёл и больше не повторится. Выпейте эти капли, повернитесь на правый бок и засните. Завтра будете полны сил и начнёте ухаживать за своими близкими. А сегодня мы сделаем это за вас.

Он приподнял её античную голову и влил ей в рот капель. Затем помог ей повернуться, накрыл одеялом и подошёл к мальчику.

Мальчик был так слаб, что с трудом открыл глаза; он, казалось, ничего не понимал. И. долго держал его тоненькую ручку в своей, прислушиваясь к дыханию, и наконец спросил:

— Он давно в таком состоянии?

— Да, — ответил старик. — Судовой врач уже несколько раз давал ему разные лекарства, но ему всё хуже. С самого начала бури ребёнок впал в состояние полуобморока, оно не проходит. Неужели он должен умереть?

И у старика задрожал голос, он отвернулся от нас, закрыв лицо руками.

— Нет, до смерти ещё далеко. Но почему вы не закалили его? Он хил и слаб не потому, что болен, а потому что вы изнежили его. Если хотите, чтобы ваш внук жил, — держите его на свежем воздухе, научите верховой езде, гребле, гимнастике, плаванию. Ведь вы губите ребёнка, — сказал И.

— Да-да, вы правы, доктор. Но мы так несчастливы, мы сразу потеряли всех своих близких, и теперь трясёмся друг над другом, — всё с той же горечью отвечал старик.

— Если вы будете таким способом и дальше оберегать друг друга, — вы все умрёте очень скоро. Вам надо начать новую жизнь. Если вы согласны следовать моему методу, — я отвечаю за жизнь мальчика и начну его лечить. Если выполнять моих предписаний не будете, — я не стану и начинать, — продолжал И.

— Я отвечаю вам головой, что всё будет выполнено в точности, — прервал его старик.

— Ну, тогда начнём.

И. сбросил с мальчика одеяло, стянул с его худеньких ног тёплые чулки, снял фуфайку и потребовал другую сорочку. А мне велел растворить в половине стакана воды кусочек пилюли из зелёной коробочки Флорентийца и ещё меньшую часть пилюли из чёрной коробочки Али. Когда лекарство смешалось, вода в стакане точно закипела и стала совершенно красной.

И. взял у меня стакан, капнул туда ещё из каких-то особых трёх пузырьков и стал давать мальчику лекарство крошечной ложечкой. Я думал, что мальчик ни за что не сможет проглотить ни капли. Но последний глоток он даже допил из стакана.

Я осторожно опустил ребенка на подушку. И. велел мне достать самый большой флакон, вымыл руки, и я последовал его примеру. Затем он велел мне вытянуть руку мальчика и держать её ладонью вверх, а сам стал массировать жидкостью из флакона от ладони до плеча, каждый раз крепко растирая ладонь. Рука, прежде совершенно белая, стала розовой, а затем покраснела. То же самое он проделал с другой рукой, потом с ногами и растёр наконец всё тело. Жидкостью из другого флакона он смазал мальчику виски, за ушами и темя.

Мальчик внезапно открыл глаза и сказал, что очень хочет есть. Немедленно, по совету И., дедушка позвонил и приказал принести горячего шоколада и белого хлеба.

Пока лакей ходил за шоколадом, И. дал капель старику и посоветовал поесть самому. Сначала старик отказывался, говоря, что от качки есть не может; но когда мальчику принесли еду, сказал, что шоколад он, пожалуй, выпил бы.

И. посоветовал ему поесть манной каши и выпить кофе, потому что сейчас шоколад ему вреден.

Всё это время И. не сводил глаз с мальчика, наблюдая за ним. Он спрашивал, не холодно ли ему; и мальчик отвечал, что у него всё тело

горит, что ему ещё никогда не было так тепло. На вопрос, не болит ли у него что-нибудь, мальчик сказал, что у него в голове сидел винт и очень больно резал лоб и глаза; но что сейчас доктор, верно, винт вынул.

И. дал ему ещё каких-то капель и попросил заснуть, мальчик охотно согласился и, действительно, через десять минут уже спал, ровно и спокойно дыша.

— Ну, теперь ваша очередь, — сказал И., подавая лекарство старику.

Тот беспрекословно повиновался; затем И. попросил его лечь и сказал, что через три часа мы ещё раз наведаемся, а пока пусть все мирно спят.

Мы вышли из каюты, где так долго провозились, и миновали толпу нарядных дам и кавалеров, которые начинали обретать свой обычный высокомерно-элегантный вид, пытались острить и флиртовать.

Итальянки нетерпеливо ждали нас с пакетами белья и платьев, приготовленными для Жанны. И. поблагодарил обеих дам, но просил отложить знакомство до завтра, так как сегодня и мать и дети ещё очень слабы. Итальянки были разочарованы, пожалели бедняжек и сердечно простились с нами.

Не задерживаясь более нигде, мы прошли прямо к Жанне.

Если бы я не проспал целые сутки, наверное уже свалился бы с ног, до того утомительны были это непрерывное хождение вверх и вниз по пароходу и непрестанное соприкосновение с людьми, с их болезнями, порывами злобы, страха и отчаяния.

Дети еще спали, а Жанна сидела в углу дивана, тщательно одетая и причесанная, но лицо ее было таким скорбным и бледным, что у меня защекало в горле.

— А я уже и ждать вас перестала, — сказала она, чуть улыбнувшись, но глаза её были полны слез.

— Нам пришлось задержаться, — отвечал И. с такою лаской в голосе, какой я еще у него не слыхивал. — Но почему вы решили, что мы можем нарушить свое слово? Можно ли быть такой подозрительной и так мало верить людям?

— Если бы вы только знали, как я верила людям прежде. И как жестоко пришлось разочароваться в их чести и доброжелательстве. Я боюсь даже думать о чуде вашей помощи. И все жду, что это дивный сон, и эта каюта растает, как туман, а мне останется только роса моих слез, — сказала Жанна.

— Я сострадаю вам всем сердцем, — ответил И. — Но человек, когда в жизни на него обрушивается буря, — даже такая ужасная и неожиданная, как та буря на море, которую вы только что пережили, — должен быть

энергичным и бороться, а не падать духом и тонуть в слезах. Подумайте, что было бы с людьми на этом судне, если бы капитан и его команда растерялись, пали духом и отдались во власть стихий? Ваше положение небезнадежно. Правда, вы потеряли сразу и мужа, и любовь, и благосостояние. Но вы не потеряли своих детей, а значит, и ближайшей цели жизни. Зачем возвращаться мыслями к прошлому? Дважды потерять прошлого нельзя. Зачем думать с ужасом о будущем, которого вы не знаете и которого еще нет. Потерять можно одно только настоящее, вот это летящее «сейчас». А это зависит только от энергии, от жизнерадостности человека. Вдумайтесь, оглянувшись назад, сколько лишней муки вы создали себе сами страхом перед жизнью. Чему помог ваш страх? Приведите в такой же порядок свой внутренний мир, в какой привели вы свою внешность. Выбросьте из головы мысли о нищете и своей беспомощности. Не плачьте так ужасно.

Помните, что вы оплакиваете себя, только себя, свою потерю, своё потерянное счастье. Вы думаете, что оплакиваете гибель мужа, его безвременную кончину. Но что мы можем понимать в совершающихся перед нами судьбах? Представьте, что и ваша жизнь может окончиться так же внезапно. Живите так, как будто каждую минуту вы отдаёте свой последний долг детям и всем тем людям, с которыми вас сталкивает жизнь. Не поддавайтесь унынию; держите себя в руках: забудьте о себе и думайте о детях. Скрывайте ваши слезы и страх от детей; учите их — на собственном примере — быть добрыми и весело принимать каждый наступающий день. Не бойтесь сейчас ничего, не теряйте мужества, надейтесь только на себя. Завтра мы познакомим вас с двумя очень добрыми и культурными дамами, они с радостью помогут вам по части туалетов. Что же касается дальнейшего, то прямо здесь, на этом пароходе, едут два наших друга, имеющих большое предприятие в Константинополе. Они помогут вам найти работу. Быть может, вы сможете открыть шляпную мастерскую или что-либо ещё, что обеспечит вашу жизнь. Но я ещё раз очень вас прошу, перестаньте плакать. Самое важное для вас дело сейчас — это здоровье ваших детей. Я думаю, что дочь ваша подхватила скверную форму лихорадки, и вам придётся немало повозиться с ней.

Я не сводил глаз с Жанны, совершенно так же, как она во все глаза глядела на И.

Сначала на ее лице отразилось беспредельное удивление. Потом мелькнули негодование, протест. Их сменили такие скорбь и отчаяние, что мне хотелось вмешаться и объяснить ей то, что она, очевидно, неправильно воспринимала. Но постепенно лицо её светлело, рыдания утихали, и в

глазах мелькнуло уже знакомое мне выражение благоговения, с которым она впервые смотрела на И. - как на икону.

И. говорил с ней по-французски, говорил правильно, но с каким-то акцентом, чего я не отмечал, когда он разговаривал на других языках. И я подумал, что он выучил этот язык уже взрослым.

— Я не умею выразить вам своей благодарности, и даже не все, вероятно, понимаю из того, что вы мне говорили, — сказала Жанна своим тихим музыкальным голосом. — Но я чувствую в себе какую-то необъяснимую уверенность. Я не белоручка. Я вышла замуж за простого рабочего вопреки воле родителей — зажиточных фермеров. Я была у них единственной дочерью; они меня любили, по-своему, любили и баловали, но требовали, чтобы я вышла замуж за соседа, человека богатого, пожилого, скупого и очень противного. Но я увидела случайно на вечеринке у одной подруги моего будущего мужа, Мишеля Моранье. И сразу поняла, что ничто не устроит меня, и за богатого старика я не пойду. Нам с Мишелем пришлось бежать из родных мест. Тут как раз подвернулся случай уехать в Россию; и мы попали на французскую фабрику резиновых изделий в Петербурге. Мы жили очень хорошо. Я работала в шляпном магазине, и дамы нарасхват покупали мои шляпы, мы были так счастливы, и вот... — и бедняжка снова зарыдала.

Собравшись с силами, она еле слышно закончила свой рассказ:

— Машина, у которой работал муж, была неисправна. Но управляющий всё тянул с ремонтом, пока не случилось непоправимое несчастье.

— Не бередите снова свои раны. Утрите слезы. Дети просыпаются, надо поберечь их нервы, да и ваши силы тоже подорваны, — всё так же ласково сказал ей И. — Поставьте себе ближайшую задачу: восстановить силы детей. Надо дать девочке капли, чтобы ослабить новый припадок. А завтра детей следует вывести на воздух. Но мы поможем вам.

Жанна слушала И., как слушают пророка. Её щёки пылали, глаза горели, и во всей её слабой фигурке появилось столько силы и решимости, что я просто поразился.

Мы простились и вышли, провожаемые визгом проснувшихся детей, не желавших нас отпускать.

Как только закрылась за нами дверь каюты, я почувствовал полное изнеможение. Я так глубоко пережил бесхитростный рассказ Жанны, столько раз глотал подступавшие к горлу слезы, что за этот последний час потерял свои последние силы.

И. ласково взял меня под руку и сказал, что очень сочувствует столь трудному началу моей новой жизни.

Я едва добрался до каюты. Мы переоделись и сели за уже накрытый стол, где нас поджидал мой нянька-верзила.

Впервые мне не хотелось есть и говорить. Море уже достаточно успокоилось, но пароход всё ещё сильно качало. И. подал мне какую-то конфету, которая меня приободрила, но говорить по-прежнему не хотелось. Предложение И. сойти через час к туркам я решительно отверг, сказав, что я сыт людьми и нуждаюсь в некоторой доле уединения и молчания.

— Бедный мой Лёвушка, — ласково произнёс И. — Очень трудно почти ребёнком войти в бурную мужскую жизнь, которая требует предельного напряжения сил. Но ты уже немало судеб наблюдал за эти дни, немало слышал. Ты видишь теперь, как внезапны бывают удары судьбы, и человек должен быть внутренне свободным, чтобы суметь мгновенно включаться в новую жизнь; не ждать чего-то от будущего, а действовать, жить в каждое текущее мгновение. Действовать, любя и побеждая, думая об общем благе, а не только о своих собственных достижениях.

И. сел в кресло рядом; мы немного помолчали, но вот послышались на лестнице шаги и голос капитана. Он теперь окончательно сдружился с нами, а меня так просто обожал, по-прежнему считая весельчаком и чудо-храбрецом, как я ни старался разуверить его в этом.

Чтобы дать мне возможность побыть одному, И. поднялся навстречу капитану, и они вместе прошли к нему в каюту.

Я действительно нуждался в уединении. Моя душа, мои мысли и чувства были похожи на беспокойное море, и волны моего духа так же набегали одна на другую, сталкивались, кипели и пенились, не принося успокоения. /

Из тысячи неожиданно свалившихся на мою голову событий я не мог бы выделить и одного, где логический ход вещей был бы ясен мне до конца. Во всём — казалось мне — присутствовала какая-то таинственность; а я терпеть не мог ни тайн, ни чудес. Слова Флорентийца: "нет чудес, есть только та или иная степень знания", часто вмешивались в сумбур моих мыслей, но я их не понимал.

Из всех чувств, из всех впечатлений в душе господствовали два: любовь к брату и любовь к Флорентийцу.

Я не любил ещё ни одной женщины. Ничья женская рука не ласкала меня; я не знал ни матери, ни сестры. Но любовь-преданность полную, не критикующую, но обожающую, — я знал, потому что любил брата-отца так, что он всегда был рядом, и я поверял им каждое движение своего сердца. Единственно, я скрыл от него свой писательский талант. Но опять-таки, руководило мною желание уберечь брата-отца от незадачливых

писаний брата-сына.

Эта любовь к брату составляла стержень, остов моей жизни. На ней я строил своё настоящее и будущее, причём на первое я смотрел свысока, как на преддверие той великолепной жизни, которой мы заживём вместе, когда я окончу ученье.

И теперь мне пришлось убедиться в своем детском ослеплении, ведь я не задумывался прежде о том, кто такой мой брат и какой жизнью он живёт. Я увидел вдруг кусочек его жизни, в которой меня не было. Это была катастрофа, почти такая же острая, какую переживала Жанна. И рыдая над ней — я рыдал над собою тоже...

Я ничего не понимал. Какую роль играла и играет Наль в жизненном спектакле моего брата? Какое место занимает брат в освободительном движении? Как связан он с Али и Флорентийцем? Поистине, здесь всё казалось чудом, я осознавал свою невежественность и понимал, что не подготовлен к той жизни, в которую мне пришлось вступить.

Я думал, что любить так сердце может лишь один раз в жизни и только одного. И не заметил, как сердце мое расширилось и приняло еще одного человека; словно светлым кольцом он опоясал его, оставив в середине образ брата Николая.

Я не раздвоился в своей любви к Флорентийцу и брату. Они жили во мне оба, и оба образа часто сливались в один мучительный стон тоски и жажду свиданья...

Я ещё не испытывал такой силы обаяния. Странное, новое понимание слова «пленил» явилось в моём сознании. Поистине, плен моего сердца и мыслей нёс какое-то очарованье, радость, которую разливал вокруг себя Флорентиец. Вся атмосфера вокруг него дышала не только силой и уверенностью; попадая в неё, я радовался счастьем жить ещё день, ещё одну минуту подле.

Рядом с ним я не испытывал ни страха, ни сомнений, меня не терзали мысли о завтрашнем дне, — только творческое движение всему окружающему задавал этот человек.

Со свойственной мне рассеянностью я забыл обо всём и вся, забыл время, место, ушло ощущение пространства, — я летел мыслью к моему дивному другу, я так был полон им, что снова, — как ночью, в бурю, — мне показалось, что я вижу его.

Точно круглое окно открылось среди темнеющих облаков, и я увидел мираж, мою мечту, моего Флорентийца в белой одежде, с золотистыми, вьющимися волосами.

Я вскочил, добежал до края палубы и точно услышал голос: "Я с тобой,

мой мальчик; будь так же верен, и ты достигнешь цели, и мы встретимся снова".

Бурная радость охватила меня. Какая-то сила влилась во все мои члены, и они стали точно железными. Я почувствовал себя счастливым и необычайно спокойным.

— Ну, как же чувствует себя мой юный друг, смельчак-весельчак? — услышал я голос капитана. — Никак, чудесные облака сегодняшнего вечера увлекли вас в небо?

Я не сразу отдал себе отчёт в том, что происходит, не сразу откликнулся, но когда повернулся к ним, то, очевидно, преображённым своим лицом поразил не только капитана, но даже И., так изумлённо они оба на меня поглядели.

Точно желая оградить от капитана. И. обнял меня и крепко прижал к себе.

— Ну и сюрпризы способны преподносить эти русские! Что с вами? Да вы просто красавец! Вы сверкаете, как драгоценный камень, — говорил, улыбаясь, капитан. — Так вот вы каким бываете! Теперь я не удивляюсь тому, что не только красавица из лазарета, но и молодая итальянка, и русская гречанка — все спрашивают о вас. Я теперь понимаю, какие ещё силы таятся в вас.

Я с сожалением поглядел на тёмные облака, в которых исчез мираж моей любви, и тихо сказал капитану:

— Вы очень ошибаетесь, я далеко не герой и не донжуан, а самый обычный "Лёвушка-лови ворон". Я и сейчас ловил свою мечту, да не поймал.

— Ну, — развёл руками капитан, — если за три дня, учитывая ещё бурю, смутить три женских сердца — это мало, то остаётся только швырнуть на весы ваших побед моё, уже дырявое сердце старого морского волка. Вы забрали меня в плен, юный друг: пойдёмте выпьем на брудершафт.

Не было никакой возможности отказаться от радушного приглашения. Но, казалось, никогда ещё обязательства вежливости не были мне так трудны.

— Думай о Флорентийце, — шепнул мне И. — Ему тоже не всегда легко, но он неизменно обаятелен, постарайся передать сейчас его обаяние окружающим.

Эти слова дали выход бурлившей во мне радости. Спустя несколько времени и капитан, и поднявшиеся к нам турки покатывались со смеху от моих удачных каламбуров и острот.

Вечер быстро перешёл в ночь, а рано утром мы должны были войти в порт Б., пополнить запасы воды, угля и провианта, а также выгрузить животных.

Отговорившись усталостью, мы с И. распрощались с обществом и ушли в свою каюту.

Мы ещё долго не спали; я делился с И. своими мыслями, тоской по брату, своей преданностью Флорентийцу, рассказал о мираже среди облаков и слуховой иллюзии, порождённой жаждой общения с Флорентийцем. И. же советовал не думать о миражах и иллюзиях, а вникать в самый смысл долетевших до меня слов. Не всё ли равно, каким образом получена весть. Важно, чем была для тебя эта весть и какие силы она в тебе пробудила.

— Запомни ощущения уверенности и радости, которые родились в тебе сегодня, то спокойствие, которое ты ощутил в глубине сердца, когда тебе показалось, что ты видишь и слышишь Флорентийца. И если примешься за какое-то большое дело, имея в себе эти чувства, — не сомневайся в успехе. Верность идее, как и верность любви, всегда приведут к победе.

Я крепко обнял и поцеловал И., от всего сердца поблагодарив его за все заботы, и лёг спать, благословляя жизнь за свет и красоту и будучи в полном мире с самим собой и со всей вселенной.

Глава 14. СТОЯНКА В Б. И НЕОЖИДАННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Во сне я видел Флорентийца, и так реально было ощущение разговора и свиданья с ним, что я даже улыбнулся своей способности жить воображением.

Утреннее солнце сияло, качка почти совсем прекратилась, и меня поразила близость берега. Рядом возник верзила и сообщил, что мы скоро войдём в бухту Б., указывая на живописно раскинувшийся вдали красивый городок.

Снизу поднялся И., радостно поздоровался и предложил скорее отпить кофе, чтобы пройти к Жанне и приготовить ее к встрече с итальянками.

Мы принялись за завтрак; тут подошел капитан и, смеясь, подал мне душистую записочку.

— Рассказывай теперь другим, дружище, что ты скромный мальчик. Велела передать дочка, да старалась, чтобы маменька не увидела, — похлопывая меня по плечу, сказал капитан.

Я смеялся, как, вероятно, всему смеялся бы сегодня, потому что у меня смеялось всё внутри. Я передал записку И., сказав, что я слишком голоден и не могу оторваться от бутерброда, а потому прошу её прочесть вслух.

Капитан возмутился таким легкомыслием и стал уверять, что только теперь понимает, как я молод и по-мальчишески неопытен в любовных делах; что женские письма следует читать самому, так как женщины — существа загадочные и могут выкинуть самые неожиданные штучки.

Всё же я настоял на том, чтобы прочёл записочку И., и потребовал, чтобы и почтальон присутствовал при этом.

— Ну и занятный мальчишка, — сказал, расхохотавшись, капитан и присел к столу.

Записка, в чём я был уверен, и впрямь носила деловой характер. Молодая итальянка писала, что просит поскорее свести их к нашей приятельнице, поскольку в Б. много хороших магазинов и можно купить детям всё необходимое.

Капитана несколько разочаровало содержание записки; но он продолжал уверять, что это только благовидный предлог, а развитие любовной истории будет завтра, послезавтра и т. д. — потому что в глазах у девушки он увидел мой портрет.

Так, шутя, мы вместе с ним спустились вниз и прошли прямо к Жанне. Капитан, в виде дружеского назидания, покачал головой и погрозил мне пальцем.

Жанну мы застали в беспокойстве. Её дети метались в жару. Она рассказала, что в семь часов они были совершенно здоровы и весело выпили свой шоколад. Но вот около получаса назад малыш пожаловался на головную боль; затем и девочка сказала, что у неё болит голова; не успела Жанна уложить их на диван, как они начали бредить.

И. внимательно осмотрел детей, вынул из кармана красивый гранёный флакон, которого я ещё не видел, и дал лекарство.

— Вы не волнуйтесь, — обратился он к Жанне. — Можно было ждать и худшего. Через два часа жар спадёт, и дети снова будут чувствовать себя хорошо. Но это не значит, что они уже совсем здоровы. Я вас предупреждал, что немало ещё времени вам придётся за ними ухаживать.

— Ухаживать я готова всю жизнь, лишь бы они были здоровы и счастливы, — героически удерживаясь от слёз, ответила Жанна. Я заметил в ней какую-то перемену. О таком молодом существе не скажешь, что оно вдруг постарело. Но у меня сжалось сердце при мысли, что только сейчас она начинает по-настоящему осознавать своё положение, и в ее сердце ещё глубже пускает корни скорбь.

По распоряжению И. детей вынесли на палубу и, завернув в одеяла, оставили там вплоть до нашего нового визита.

Устроив её подле, мы сказали, что сейчас же вернёмся с нашими приятельницами, о которых говорили ей вчера. Но пусть она лежит и не думает вставать.

Войдя к Жанне, обе женщины сердечно обняли её, осторожно, на цыпочках, подошли к детям и чуть не расплакались, тронутые их красотой, беспомощностью и болезненно пылающими щёчками.

Обе итальянки выказали большой такт в обращении с Жанной; говорили мало, вопреки свойственным этому народу говорливости и темпераменту; но все их слова и действия были полны уважения и сострадания.

Очень нежно и осторожно, с моей помощью, молодая итальянка обмерила детей, и по её лицу несколько раз пробежала судорога какой-то внутренней боли. Очевидно, и её сердце уже знало драму любви и скорби.

Старшая дама в это время успела снять мерку с Жанны, хотя та и уверяла, что ей ничего не надо, но вот всё детское бельё и платье у неё стащили на пароходе моментально.

Нежно улыбаясь Жанне, дамы вышли. Я последовал за ними, а И.,

задержавшись возле детей, догнал нас уже на нижней палубе, где сейчас устанавливали сходни.

Пароход должен был простоять в порту весь день, так что спешить было незачем. Но И. хотел поскорее купить детям игрушки, чтобы они, проснувшись, легче выдержали постельный режим.

Городок был живописен. С массой зелени, огромными садами, редкостной растительностью и красивыми, почти сплошь одноэтажными домами, большей частью белыми, он был очень уютен.

Мы отыскивали игрушечный магазин, набрали кучу самых разных игрушек и отправили их Жанне, скорбные глаза которой всё стояли передо мной.

Мне хотелось самому отнести покупки, но И. шепнул, что мы должны проводить дам в другие магазины, отвести на пароход, а затем ещё спешно навестить одного из друзей, где нас могут ждать известия.

Быть может, нам придётся свернуть на лошадях к турецкой границе и добираться в Константинополь сушей, что и дольше и труднее.

Я пришёл в ужас. "А Жанна?" — хотел я крикнуть. Но И. приложил палец к губам, взял меня под руку и ответил на какой-то вопрос старшей итальянки.

Я так был потрясён возможной разлукой с Жанной, печалился её дальнейшей судьбой, что в моё сердце словно вонзилась заноза. Я мгновенно превратился в "Лёвушку-лови ворон", забыв обо всём, и если бы не твёрдая рука И., я бы, наверное, застыл на месте.

— Подумай, разве мог Флорентиец быть столь рассеянным, невоспитанным и нелюбезным. Иди, предложи руку молодой даме и будь ей таким кавалером, каким ты желал бы выглядеть в глазах Жанны, если бы тебе пришлось её провожать. Вежливость обязательна для друга Флорентийца, — услышал я шёпот И.

Снова и снова я постигал, как трудно мне даётся искусство самовоспитания, как я неопытен и не умею владеть собой. Мелькнул передо мною образ брата; я вспомнил о его железной воле и рыцарской вежливости во время разговора с Наль в саду Али Мохаммеда. Я сделал невероятное усилие, даже физически ощутив напряжение, подошёл к молодой девушке, снял шляпу и, поклонившись, предложил ей руку.

Тоненькое личико с огромными глазами вспыхнуло, она улыбнулась и как-то мгновенно изменилась. Она стала так миловидна, что я сразу понял, чего ей не доставало. Уныние, разочарование, лежавшие на этом лице, делали его мёртвым.

"Должно быть, и здесь Матери Жизни потребовалась чёрная

жемчужина в ожерелье", — вспомнились слова Али.

Жалость к спутнице помогла мне забыть о себе, и я стал искать, чем рассеять её печаль.

Я начал с того, что представился, попросив прощения, что мы не сделали этого раньше.

Девушка ответила, что фамилию она прочла в судовой книге, и это не составило труда, ибо каюта-люкс на пароходе только одна.

Она рассказала, что родом из Флоренции, что вот уже два года они живут в Петербурге у дядюшки. На родине её постигло очень большое горе, и мать увезла её путешествовать.

Зовут её Мария, а мать Джиованна Гальдони, они едут в Константинополь навестить тётушку, синьору Терезу, которая вышла замуж за дипломата и теперь вот судьба закинула её в Турцию. Она спрашивала, куда едем мы с братом. Я ответил, что пока в Константинополь, дальнейшего маршрута ещё не знаю.

Так дошли до магазина белья, и здесь мы уступили поле сражения обеим синьорам. Однако при покупке платья и верхних вещей я решил вмешаться, ибо итальянки предпочитали вещи светлые и яркие. Я же выбрал для Жанны синий костюм из китайского шёлка, белую батистовую блузку и небольшую английскую шляпу из рисовой соломки с синей лентой. Мы послали ещё купить два чемодана, уложили в них всё, кроме шляп, сели на извозчиков и покатили на пароход. Разряженные путешественники первого класса, дамы, показывавшие свои туалеты и делавшие глазки мужчинам, и мужчины, старавшиеся блеснуть своим остроумием, ловкостью, аристократичностью манер и выказать все свои мужские достоинства, после того как я видел их изнанку во время бури, вызвали у меня чувство, близкое к тошноте.

Со многими мы были знакомы, многим помогали во время бури. Я знал, как они нетерпеливы, помнил их грубость в обращении с прислугой, отсутствие у этих лощёных людей всякой выдержки в часы опасности. И теперь не мог отвязаться от представления о стаде двуногих животных, которым подвернулась новая возможность выставить напоказ свои физические достоинства.

Мы проводили наших дам до каюты Жанны, зашли за турками и вместе с ними вернулись в город.

На этот раз мы двинулись к окраине. По цветущему приморскому бульвару мы вышли на тихую улицу и позвонили у красивого белого дома, окружённого садом.

По дороге я спросил молодого турка, как ведёт себя рана на его голове.

— Рана почти зажила, а вот нога всё ещё очень болит, — ответил он мне.

— Почему же вы не покажете её И.? Он ответил, что не хочет волновать отца и скрывает от него, что болен. Уже перед дверью я шепнул И., что у его молодого приятеля рана на ноге, которую тот скрывает от отца.

И. кивнул мне головой, тут открылась дверь, и мы вошли в дом.

Скромный снаружи белый домик с мезонином был чудом уюта. Большая передняя — нечто вроде английского холла — разделяла его на две части. Стены были обшиты панелями из карельской берёзы. Такого же дерева вешалка, стулья, кресла, столы. Выше панелей стены были обиты сафьяном бирюзового цвета, по ним спускались большие ветки мимозы. Пол застлан голубым ковром с жёлтыми и белыми цветами. Я остановился зачарованный. Так легко дышалось в этой комнате, точно это был замок доброй феи. Я замер по обыкновению "Лёвушкой-лови ворон" и не знал, в каком месте земного шара сейчас нахожусь.

Я ничего не слышал, а только смотрел и радовался гармонии этой комнаты, даже жалкого подобия которой я никогда не видел.

На верхней площадке лестницы открылась такая же, карельской берёзы, дверь с бирюзовой ручкой, и женская фигура в белом стала спускаться к нам.

Каково же было моё изумление, когда я увидел, что лицо женщины, её руки, шея — совершенно чёрные. Она подошла прямо к И., протянула ему обе чёрные руки и заговорила по-английски.

Неожиданно увидев черную женщину не в балагане, но разговаривающую по-английски, с прекрасными манерами, с фигурой подобно статуе, с лицом красивым, без ужасных толстых губ, и с косами, — я просто испугался. Должно быть, моё лицо выражало смущение достаточно ярко, так как даже неизменно выдержанный И. засмеялся, и я поспешил спрятаться за его широкую спину.

Сейчас я даже не знаю, почему так перепугался тогда. Правда, глазами она вращала здорово, говорила горловым голосом очень быстро, но ничего отвратительного в ней не было. Она была по-своему нежна и женственна, быть может даже прекрасна.

Но мне она внушала ужас.

Я всё пятился, пропустив вперёд обоих турок, которые, очевидно, знали её раньше. Я дрожал от ужаса при мысли, что мне придётся коснуться этой агатовой руки.

О чём-то договорившись с И., чёрная женщина быстро прошла своей лёгкой и гибкой походкой в комнату. Я вытирал пот со лба и всё не мог

успокоить своего колотившегося сердца. И. всмотрелся в меня внимательно, перестал смеяться и очень ласково сказал:

— Я должен был тебя предупредить, что у Флорентийца ты встретишь семью негров, спасённую им во время путешествия по Африке. А эта женщина была младенцем привезена в Россию вместе с двумя маленькими братьями и матерью. Она хорошо образованна, очень предана Флорентийцу и Ананде. Я не сообразил, что нервы твои слишком потрясены, и зря понадеялся на твои силы. Прости, возьми эту конфету, сердцебиение сейчас пройдёт.

Я долго ещё не мог успокоиться, сел на стул, и И. подал мне ещё какой-то воды. Я всеми силами стал думать о Флорентийце, чтобы только не упасть снова в обморок.

Но мне вскоре стало лучше. Я сделал над собой огромное усилие, улыбнулся и сказал, что движения женщины напомнили мне змею, а змей я боюсь до ужаса.

Молодой турок весело рассмеялся и согласился, что змеи очень противны, но в этой тонкой и высокой женщине он не видит ничего змеиного.

В эту минусу снова показалась она. И вправду, только от неожиданности можно было так перепугаться. Ничего противного в ней не было. Это была чёрная статуя стройностью и совершенством форм. Однако контраст чёрной кожи и безукоризненной белизны одежды в этой дивной светлой комнате, где моё воображение уже поселило золотоволосых ангелов, подействовал на меня удручающе.

Я мысленно всеми силами вцепился в руку Флорентийца; и ещё раз осознал, что не знаю жизни, неопытен и несдержан.

"Враг не дремлет и всегда будет стараться воспользоваться каждой минутой твоей растерянности", вспомнил я строки из письма Али.

Не успели все эти мысли мелькнуть в моей голове, как чёрная девушка уже подошла к И. и сказала, что хозяин просит И. пройти к нему в кабинет, а остальных прогуляться по саду, куда они сойдут через четверть часа.

И. прошёл в комнату хозяина, очевидно зная дорогу; нас девушка повела в сад, открыв зеркальную вращающуюся дверь, которую я принял за обыкновенное трюмо. Через эту дверь мы попали в библиотеку, с несколькими столами и глубокими креслами, а оттуда вышли через веранду в сад.

Какой чудесный цветник был разбит здесь! Так красиво сочетались в гамме красок незнакомые мне цветы! Щебетали птицы, деревья бросали на дорожки фантастические тени. Такой мир и спокойствие царили в этом

уголке, что не верилось в близость моря, шум которого здесь не был слышен, в бури и весь тот ужас, через который мы только что прошли, чтобы попасть сюда, в это безмятежное поэтическое царство.

Не хотелось двигаться, не хотелось не только говорить, но даже слушать человеческую речь. Я остался у цветника, сел на скамейку под цветущим гранатовым деревом и стал думать о Флорентийце и его друге, у которого и дом и сад — всё наполнено миром и красотой. Не для себя одного, размышлял я, создал этот уголок хозяин. Сколько бурь сердечных должно утихнуть в душах людей, попадающих в эту тишину и гармонию! Словно каждый предмет здесь, каждый цветок напоён любовью. Казалось, я понял, чем должно быть земное жилище тех, кто любит человека, встречая в каждом подобие самого себя, стараясь дать каждому помощь и утешение.

Я пытался представить себе нашего хозяина, внутреннее существо которого, казалось, я постиг. И подумал, что он, должно быть, похож красотой на Флорентийца. Тут я почувствовал новый прилив сил, представив себе своего друга в белой одежде и чалме, каким он был на пиру у Али. "Увижу ли я вас, дорогой Флорентиец? О, как я люблю вас!" — говорил я мысленно, вкладывая в эти слова всё своё сердце, и ясно — совсем рядом — услышал его голос: "Я с тобой, мой друг. Храни мир, носи его всюду и встретишь меня".

Слуховая иллюзия была так ярка, что я вскочил, чтобы броситься на любимый голос. Но каково же было моё разочарование и удивление, когда я увидел И., зовущего меня, жалкого "Лёвушку-лови ворон".

И. стоял на веранде рядом с человеком в обычном европейском лёгком костюме. Контраст между мечтой и действительностью был таким разительным, что я не мог удержаться от смеха. Все неожиданности — и чёрная змеевидная женщина вместо ангелов, и обычный человек вместо Флорентийца — всё вместе вызвало во мне смех над собственной детскостью.

Совершенно не сознавая неприличия своего поведения, я встал и пошёл, смеясь, на зов И.

— Что тебя веселит, Лёвушка? — спросил И., нахмурясь.

— Только собственная глупость, Лоллион, — ответил я. — Я, должно быть, никогда не выйду из детства и не сумею воспитать в себе тех достоинств, живой пример которых вижу перед собой. Смешно, что я попадаюсь на иллюзиях, которые мне подстраивают мои глаза и уши. Это всё противная, тяжёлая и жаркая дервишская шапка испортила мой слух.

— Нет, друг, — сказал хозяин дома. — Если твои иллюзии рождают весёлый добрый смех, — ты можешь быть спокоен, что достигнешь

многого. Только злые люди не знают смеха и стремятся победить упорством воли; и они не побеждают. Побеждают те, что идут любя.

Я остановился, как вкопанный. Мысли вихрем завертелись в мозгу. Что общего между нашим хозяином и Флорентийцем? Почему сердце моё сразу наполнилось блаженством? Я видел человека среднего роста, с темно-каштановыми, вьющимися волосами, на которых сидела небольшая шапочка вроде тюбетейки. Его прекрасные синие глаза смотрели мягко, любяще, однако излучали огромную силу.

Вот это выражение силы, энергии, внутренней мощи и поразило меня, вызвав в памяти образ Флорентийца и пылающую мощь глаз Али.

Я был глубоко тронут его ласковой речью, вниманием, которого я — первый встречный — никак не заслужил. И невольно подумал, что уже много дней живу среди чужих людей, дающих мне защиту, кров и пищу, а я... И я грустно опустил голову, подумав о своём собственном бессилии, и слезы скатились с моих ресниц.

Хозяин сошёл с веранды, тихо и нежно обнял меня и повёл в дом. Я не мог унять слез. Скорбь бессилия, сознание великой доброты людей, защищающих брата, преклонение перед ними и полная моя невежественность, незнание даже мотивов их поведения, ужас от мысли лишиться их покровительства и дружбы и остаться совсем одиноким — всё разрывало мне сердце, и я приник, горько рыдая, к плечу моего спутника.

— Вот видишь, друг, какие контрасты играют жизнью человека. В страшную бурю, когда пароходу грозила гибель, — ты весело смеялся и тем поразил и ободрил храбрых людей. Сейчас тебя заставила смеяться великая любовь и преданность другу, — а в результате ты плачешь, думаешь об одиночестве и впадаешь в уныние от ещё несуществующего будущего. Как можно потерять то, чего нет? Разве ты знал минуту назад, что будешь сейчас плакать? Ты лишился мира и радости только потому, что перестал верить своему другу Флорентийцу, которому хочешь сопутствовать всю жизнь. Ободрись. Не поддавайся сомнениям. Чем энергичнее ты будешь гнать от себя уныние, тем скорее и лучше себя воспитаешь, и внутренняя самодисциплина станет твоей привычкой, лёгкой и простой. Не считай нас, твоих новых друзей, людьми сверхъестественными, счастливыми обладателями каких-либо тайн. Мы такие же люди, как и все. А люди делятся только на знающих, освобождённых от предрассудков и страстей, а потому добрых и радостных, — и на незнающих, закованных в цепи предрассудков и страстей, а потому унылых и злых. Учись, сын мой. В жизни есть только один путь: знание. Знание раскрепощает человека. И чем свободнее он становится, тем больше значит в созидающей Вселенной, тем

весомее его труд на общее благо и шире область той атмосферы мира, которую он несёт с собою. Возьми этот медальон; в нём портрет твоего друга Флорентийца. Прекрасно, что ты так предан ему. Теперь ты сам видишь, что и родного, и неродного брата, совсем недавно обретённого, ты любишь одинаково сильно. Чем больше будешь ты освобождаться от любви условной, тем вернее любовь истинно человеческая будет просыпаться в тебе.

С этими словами он подал мне довольно большой овальный медальон на тонкой золотой цепочке, в крышку которого был вделан тёмно-синий выпуклый сапфир.

— Надень его; и в минуты сомнений, опасности, уныния или горького раздумья возьми его в руку, думая о Флорентийце и обо мне, твоём новом, навсегда тебе преданном друге. И ты найдёшь в себе силы удержать слезы. Помни: каждая пролитая слеза отнимает, а каждая побеждённая возводит человека на новую ступень внутренней силы. Здесь надпись на одном из древнейших языков человечества: "Любя побеждай".

С этими словами он открыл медальон, и я увидел дивный портрет Флорентийца.

Я хотел поблагодарить его; я был полон благоговения и счастья. Но в дверь постучали, и я едва успел надеть медальон. Но, должно быть, он прочитал мои мысли; он улыбнулся мне, подошёл к двери и открыл её.

Я увидел белое платье, чёрную голову, шею и полуоткрытые руки, но этот силуэт больше не пугал меня. Странное чувство — уже не раз испытанное мною за эти дни — ощущение какой-то силы, обновления всего организма снова наполнило меня. Я точно снова вдруг стал старше, увереннее и спокойнее.

— Могут ли войти ваши друзья, сэр Уоми? — спросила девушка.

— Да, Хава, могут. Познакомься ещё с одним моим другом. И пока я буду говорить о совершенно неинтересных для него вещах, проводи его в библиотеку и покажи полку, где стоят книги философов всего мира, трактующих самовоспитание. Пусть он выберет всё, что только захочет. А ты сложишь книги в портфель на память о себе, — сказал, улыбаясь, хозяин, и глаза его заблестели юмором, точь-в-точь как у Флорентийца.

— Я с радостью проведу молодого гостя в библиотеку и покажу книги. Но вряд ли ему будет приятна память обо мне. Европейцы редко переносят чёрную кожу, — ответила Хава, открывая в улыбке ослепительно белые зубы.

Я был вконец сконфужен. А сэр Уоми обратился ко мне со смехом:

— Вот и первый урок тебе, друг. Побеждай свои предрассудки и помни,

что у всех у нас одна и та же, красная кровь.

Я вышел вслед за Хавой и в соседней комнате столкнулся с И. и турками, направлявшимися в кабинет сэра Уоми. Должно быть, вид мой был необычен; турки удивлённо на меня посмотрели, а И. улыбнулся и ласково провёл рукой по моим волосам.

Хава пропустила их в кабинет и пригласила меня следовать за нею. Мы миновали несколько комнат, затенённых ставнями от солнца, и через знакомую уже зеркальную дверь вошли в библиотеку.

Теперь я лучше рассмотрел эту комнату. Какая художественная атмосфера царила здесь! Тёмные шкафы красного дерева с большими стеклянными дверцами красиво выделялись на синем ковре. Синий потолок с росписью: хоровод белых павлинов и играющий на дудочке юноша.

— Вот, это здесь, — услышал я голос Хавы. — Вам придётся встать на лесенку. На верхних полках этих двух шкафов стоят книги, которые рекомендовал вам сэр Ут-Уоми.

Я поблагодарил, забыв, что друга моего зовут Ут-Уоми, и стал читать названия книг. Я полагал, что читал очень много под руководством брата и непременно найду хотя бы несколько знакомых мне изданий. Но ни одной из этих, на разных языках, книг я не знал.

— Ненадолго оставлю вас одного и поднимусь к себе за портфелем, — сказала Хава.

И я остался один. Окна и дверь веранды были распахнуты, и из сада в комнату лился чудесный аромат. А тишина дарила особенное наслаждение, я отдыхал после неумолчного шума моря. Тянуло выйти в сад, походить по мягкой земле, но я боялся рассеяться и стал прилежно перебирать книги.

Я хотел было уже перебраться к другому шкафу, как вдруг на пол, неловко задетые мною, выпали две книги. Я сошёл с лесенки, поднял книги и открыл толстую кожаную обложку одной из них. "Самодисциплина, её значение в жизни личной и космической", произведение Николая Т. Издание Фирс, Лондон, — прочёл я заголовок.

Я протёр глаза; ещё раз прочёл заголовок. Схватил вторую книгу в таком же переплёте. "Путь человека, как путь освобождения. Человек, как единица Вечного Движения". Издание Фирс, Лондон. Произведение Николая Т.

Сомнений быть не могло, эти книги принадлежат перу моего брата. Но что всколыхнулось во мне при этом открытии! Какие разноречивые чувства наполняли меня, — описать невозможно! Вопросы: Кто же мой брат? Кто был моим воспитателем? Почему я разлучён с ним? — опять превратили меня в "Лёвушку-лови ворон". Я не стал искать дальше, а присел на

лесенку и принялся читать.

Не помню сейчас, много ли успел прочесть, но очнулся я от громкого смеха. Вздвогнув от неожиданности, я так растерялся, что даже не сообразил сразу, почему возле меня стоят полукругом И., турки, Хава и сэр Уоми, где я и что со мной.

Сэр Уоми подошёл ко мне, ласково обнял и шепнул:

— Радуйся находке, но внешне войди в роль светского воспитанного человека.

Тут И. взглянул на книги и на меня и весело рассмеялся.

— Теперь, Лёвушка, ты видишь, что не только ты скрывал от брата свой литературный талант, но и он утаил от тебя свои книги. Ты нашёл их. Теперь нужно становиться скорее писателем, чтобы и твои книги попали ему в руки. Тогда вы будете квиты.

— Вот как! Капитан Т. - ваш брат? — сказала Хава. — Тогда вам будет очень интересно прочесть и его последнюю книгу; в ней есть даже портрет капитана Т.

С этими словами она быстро открыла шкаф у правой стены, подкатила туда лесенку и достала книгу в синем переплёте, подав её развёрнутою на странице с портретом брата. Он был очень похож; только лицо очень строгое, серьёзное, и печать какого-то отречения лежала на нём.

Я прочёл заголовок: "Не жизнь делает человека, а человек несёт в себе жизнь и творит свою судьбу". Я ничего не понял, к стыду своему, ни в одном из заголовков. Тяжело вздохнув, я взял все три книги и вышел в сад, где теперь находились сэр Уоми и остальные гости.

Подойдя к ним, я сказал печально, что книги брата мне очень дороги, но они кажутся мне таинственной китайской грамотой. Я просил у доброго хозяина разрешения взять с собой эти книги, чтобы потом вернуть их почтой.

— Возьми, друг мой, и оставь книги себе, — ответил он. — Я всегда смогу пополнить свою библиотеку. Тебе же пока несколько труднее. У тебя сейчас такой чудесный учитель и воспитатель в лице И., что он растолкует всё, чего ты не поймёшь. И о нас расскажет, — прибавил он, понижая голос так, чтобы нас не могли слышать турки, которых Хава увела в глубь сада.

— И не огорчайся так часто своей невежественностью и невыдержанностью, — продолжал сэр Уоми, усаживая меня на скамью между собой и И. — Просто в каждый обычный день живи так, словно бы это был твой последний день. Не оставляй ничего на завтра, про запас, живи всей полнотой мыслей и чувств сегодня, сейчас. Не старайся специально развивать силу воли, а просто будь добрым и чистым в каждую

пробегающую минуту.

К нам подошли турки с Хавой, державшей в руках прекрасный портфель из зелёной кожи. Передавая его мне, она лукаво улыбнулась, спросив, не напоминает ли мне этот цвет чьих-то зелёных глаз.

— А внутри, — прибавила она, — вы найдёте портрет сэра Уоми.

Я был тронут вниманием девушки и сказал ей, что, очевидно, всем вокруг неё тепло, что я всегда буду помнить её любезность и опечален тем, что я плохой кавалер и у меня нет ничего, что я мог бы оставить ей на память.

— Ну, а если я найду что-нибудь, что принадлежит вам? Оставьте ли мне свой автограф на память?

Моя вещь в этом доме? Я потёр лоб, проверяя, не заснул ли уж я мёртвым сном Флорентийца? Хава звонко рассмеялась и своим гортанным голосом произнесла:

— Я жду ответа, кавалер Лёвушка.

Я окончательно смутился, и за меня ответил сэр Уоми.

— Неси своё сокровище, Хава, если оно и в самом деле у тебя есть. Не конфузь человека, который ещё и сам не знает, что дал миру жемчужину и тем украсил жизнь.

Я перевёл глаза на сэра Уоми, думая обнаружить на его лице уже знакомый мне юмор. Но оно было серьёзно, и смотрел он ласково. Я ощутил уже привычное раздражение от всех этих тайн и загадок и готов был раскричаться, как в дверях увидел Хаву с толстой книжкой в руках. Это был журнал "Новости литературы". Развернув книжку, она поднесла мне страницу с началом рассказа: "Первая утрата, — и свет погас". Того рассказа, что пленил аудиторию и какого-то литератора на студенческой вечеринке в Петербурге и теперь вышел в свет. Хава перелистала страницы и показала мне подпись: "Студент Т."

— Пиши автограф, — сказал И. — И надо собираться. Я взял из рук Хавы карандаш, взглянул на неё, рассмеялся и написал:

"Новая встреча, — и свет засиял". Мой автограф вызвал не меньшее удивление всего общества.

— Ты и сам ещё не понимаешь, что в твоём рассказе и что значат слова этого автографа, мой юный мудрец, — сказал, прощаясь, сэр Уоми. — Но в нашу следующую встречу ты будешь во всеоружии знания. Иди сейчас так, как поведёт тебя И., и дождись в его обществе возвращения Флорентийца.

Он обнял меня и ласково провёл рукой по моим волосам. Хава протянула мне обе руки. Я склонился и поцеловал эти прекрасные чёрные руки, прося прощения за свой испуг и отвращение, которые они мне

внушали прежде.

Я почувствовал, что руки её задрожали; а когда поднял голову, увидел изменившееся лицо Хавы и услышал шёпот:

— Я всегда буду вам верной слугою, и ваш свет мне будет сиять тоже.

Нас разъединил И., подошедший проститься с Хавой. Мы вышли все вместе и тут же расстались с турками, которые собирались навестить родственников. Я удивился, как промелькнуло время. Казалось, только час и пробыли мы у сэра Уоми, а на самом деле было уже около семи вечера.

Я был рад, что турки ушли; говорить мне совсем не хотелось. И. взял меня под руку, мы свернули в какую-то улицу и зашли в книжную лавку. И. спросил, нет ли последнего номера журнала "Новости литературы".

— Нет, — ответил приказчик. — На этот раз всё раскупили. Но можно снять с витрины последний экземпляр, если вы наверняка купите.

И. заверил, что книгу мы купим непременно, расплатился, и мы вышли.

— Как не хочется идти на пароход, Лоллион, — сказал я. — Век бы жил тут, в саду сэра Уоми.

— Ну, вот и верь тебе! Хотел век жить подле Флорентийца, всю жизнь разделять его труды. А теперь хочешь жить в саду сэра Уоми? — улыбнулся И.

— Да, — ответил я. — Слова мои могут показаться изменой. И я не смог бы рассказать, что творится в моём сердце. Оно, точно мешок, всё больше расширяется, и живут в нём не только мой брат и Флорентиец. Я ещё не могу уяснить себе, что общего нашёл я между вашими тремя друзьями: Али, Флорентийцем и сэром Уоми. Но что-то общее есть, какое-то высшее благородство, какая-то неведомая мне сила... Я даже думаю, что у вас и Ананды много общего с ними. Не могу ещё взять в толк, почему вы все так беспредельно со мной милосердны! Защищая брата, который, конечно, достоин этого, — вы делаете и для меня так много, чего я вовсе не заслужил. И вы, вот вы, Лоллион, — чем смогу я когда-нибудь отплатить вам?

— Не наград или похвал должен ждать человек, Лёвушка, — ответил И. — Жизнь наша — лишь ряд причин и следствий; и этому закону подчинена Вселенная, а не только жизнь человеческая. Но у нас ещё будет много времени, чтобы говорить об этом. Не хочешь ли сейчас соблюсти долг вежливости и купить цветов нашим дамам за то, что они так славно потрудились и помогли нам одеть Жанну и детей?

— Нет, вознаградить их — каковы только что сказали — за доброе дело мне вовсе не хочется; а вежливость? — возможно, я плохой кавалер. Но мне очень хочется, всем сердцем хочется — отнести розы Жанне, — это я

сделал бы так радостно, что даже возвращение на пароход мне было бы менее тяжко.

— Прекрасно, вон там я вижу цветочный магазин. Я выполню долг вежливости по отношению к итальянкам, ты — подари цветы Жанне. Но будь осторожен, Лёвушка. Ни в одной из тех, кто встречается нам сейчас на пути, ты не должен видеть женщину как предмет любви; а только друзей, которым мы должны помочь, если можем. Мы должны хранить в сердце и мыслях такую глубокую чистоту и целомудрие, как будто бы идём в священный поход. Все наши силы, духовные и физические, должны быть целиком устремлены только на то дело, которое нам поручили. Мужайся и на меня не сердись. Бедное, разорённое сердце Жанны готово привязаться всеми силами к тому, кто выкажет ей сострадание и внимание. Тебе же предстоит не утешение одной только женщины, а верное служение задаче, взятой на себя добровольно. Двоиться, желать и брата спасти, и женщину найти, — тебе сейчас нельзя.

— Мне и в голову не приходило перейти границы самой простой дружбы в моём поведении с Жанной. Я очень сострадаю ей, готов во всём помочь, — ответил я. — Но верьте, Лоллион, ни она, ни Хава никогда не могли бы стать героинями моего романа... И если чем-нибудь я дал вам повод подумать иначе, я согласен отнести цветы синьорам Гальдони, а вы — за нас обоих — передайте мои Жанне.

Когда мы стали выбирать букеты дамам, я всё же отобрал белые и красные розы для Жанны, а И. - два букета итальянкам, один из розовых, другой — из жёлтых роз. Я положил свой букет на пальмовый лист и перевязал его белой и красной лентами.

На вопрос, почему я выбрал эти цвета, я ответил, что мне неизвестно значение цветов. Но Али когда-то прислал мне подарок белого цвета — цвета силы; и красного — цвета любви.

— Теперь я, в свою очередь, хочу послать Жанне привет любви и силы; и надеюсь, что она не увидит в этом чего-либо предосудительного.

Взяв цветы, мы снова вышли на набережную и отправились прямо на пароход.

И. прошёл к Жанне, а я направился в каюту итальянок и передал розовый букет дочери и жёлтый — матери. Девушка радостно приняла цветы, и нежный румянец разлился по её лицу и шее.

Мать ласково улыбнулась и спросила, видел ли я мадам Жанну в новом туалете. Я ответил, что к ней пошёл мой кузен, так как малютки нуждаются в его присмотре, а я повидаю всех завтра и уж тогда полюбуюсь туалетами.

Я был так полон новыми впечатлениями, портфель с книгами тянул

меня скорей в каюту, чтобы хоть портрет брата рассмотреть наедине, — а тут приходилось стоять в толпе разряженных дам и мужчин и принимать участие в лёгком салонном разговоре. Я воспользовался первым попавшимся предлогом, быть может, показавшись не слишком учтивым, и поднялся на свою палубу.

Хотелось принять душ, полежать и подумать. Но, очевидно, моим намерениям сегодня не суждено было сбываться.

Не успел я снять пиджак, как явилась моя нянька — матрос-верзила, подав мне посылочку и письмо в элегантном длинном конверте. Он интересовался нашим путешествием на берег, жаловался, что его не пустили со мной в город. Только я от него отделался, как пришли турки. Я едва успел спрятать посылку и письмо. Турки рассказывали, что очень весело провели время у родственников, где узнали, сколько бед принесла буря, из которой счастливо и благополучно выскочил один только наш пароход. Вышедшие следом за нами два парохода, один — старый греческий и другой французский, — оба погибли. А в Севастополе буря свирепствует и поныне, хотя уже с меньшей силой.

Всеми силами я старался быть вежливым; но внутри у меня клокотало раздражение от невозможности жить так, как хочется, а постоянно зависеть от светских приличий.

"Неужели, — думал я, — так поразившие меня люди огромной выдержки, которых я увидел, и едущий со мною И. приобрели своё хорошее воспитание и выдержку таким же трудным путём?"

Я готов был закричать туркам, чтобы они уходили и дали мне возможность побыть одному. И тут я услышал голоса И. и капитана с трапа нашей палубы.

Меня поразило лицо И. Я ещё ни разу не видел его таким сияющим. Точно внутри у него горел какой-то свет, так он лучился радостью.

В моей голове снова промчался вихрь. Тут были и мысли низкие, недостойные; я подумал, что И. так задержался у Жанны, потому что любит её. А мне-то говорил! Проскользнули здесь и ревность, и грубая мысль о полной зависимости от почти незнакомого мне человека. Я почувствовал протест, и меня охватило раздражение.

Я почти не слышал, о чём говорили вокруг. Ещё раз посмотрел на И., - и устыдился своего недоброжелательства. Лицо И. всё так же светилось внутренним огнём, глаза его сверкали, напоминая глаза-звёзды Ананды.

Нет, сказал я себе, он не может быть двуличным. Человек с такими светящимся лицом должен гореть честью и любовью. Иначе откуда взяться этому свету?

Я вспомнил обо всём, что рассказал мне И. о себе; о том, что я постиг за короткое время через него; и о том необычном человеке, которого он показал мне в Б.

Постепенно я забыл обо всём, превратился в "Лёвушку-лови ворон", перенёсся в сад сэра Уоми и так погрузился в мысли о нём, что как будто слышал его голос:

"Мужайся, пора детства миновала. Учись действовать не только ради брата, но вглядывайся во всех, кто тебе встретится. Если ты не сумел дать человеку слово утешения, — ты потерял счастливый момент. Не думай о себе, разговаривая с людьми, думай о них. И ты не будешь ни уставать, ни раздражаться".

Я вздрогнул от страшного рёва, вскочил, оглушённый, сконфузился, потому что все смеялись, и никак не мог сообразить, где я, — пока, наконец, не понял, что это ревёт паровой гудок.

И. ласково обнял меня за плечи, говоря, что нервы мои за эти дни совсем истрепались.

— Да, Лоллион, истрепались.

И я хотел рассказать ему ещё об одной своей слуховой галлюцинации, но он незаметно для других приложил палец к губам и шепнул: «После», чем немало удивил меня.

Между тем гудок умолк, и на пароходе кипела обычная перед отправлением суета. Мы медленно отходили от мола. Полоса воды между нами и Б. становилась всё шире; и, наконец, берег скрылся из глаз. Ещё одна страница моей жизни закрылась, ещё один светлый образ поселился в моём сердце прочно, и я даже не заметил, какое огромное место он там занял.

Глава 15. МЫ ПЛЫВЕМ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Спустя некоторое время явился верзила со складным столом и скатертью, а за ним лакей с тарелками и прочими обеденными приборами.

Турки вспомнили, что им надо переодеться к табльдоту и поспешили вниз.

Мне стало легче с их уходом. Гармоничная атмосфера И., точно горный зефир, охватила меня. И всё мелкое, раздражающее, заводящее мысли и чувства в тупик, отступило. Интерес к внутренней жизни И., желание понять причину его необыкновенного состояния выступили на первый план. Я невольно подпал под очарование его спокойствия и даже какой-то величавости. Мои мысли вернулись назад, к его детству, его страданиям и к той силе, которая в нём выросла теперь.

Я молча сидел подле него и только сейчас обнаружил, что вся внешняя суета мне не мешает, что я даже не замечаю людей, хотя и вижу их совершенно отчётливо.

Я не превратился в "Лёвушку-лови ворон", вполне соображал, где я, даже перекинулся парой фраз с капитаном; но внутри меня точно всё звенело, я был тих; никогда прежде не испытывал я такого спокойствия, сознавая, что пришло оно от той внутренней гармонии, которую распространял сияющий Лоллион.

"Вот как может быть счастлив человек своим внутренним состоянием. Вот где сила помощи людям без слов, без проповедей, одним только живым примером", — подумал я.

Даже нетерпеливое желание выяснить, от кого мне передали посылку и письмо, отступило куда-то; я думал о письме Флорентийца. Только сейчас дошли до моего сознания его слова о том, что я должен поехать в Индию. Помимо непосредственного интереса, который мне всегда внушала эта страна (быть может, потому, что я много читал о ней книг у брата и видел много иллюстраций), — теперь, когда я встретил Али, узнал от И., что все они, — и сэр Уоми тоже, — были в Индии и жили там, — мой интерес оживотворился. Мне захотелось самому повидать эту страну. Недавний протест и страх перед Востоком улёгся. Я по-новому стал воспринимать разлуку с братом, уже не видя в ней трагедии, а сознавая, что это начало новой жизни.

Мы отобедали. И мне пришлось прибегнуть к каплям И., так как в открытом море всё же качало и я не чувствовал себя устойчиво. Отголоски бури, как предсказывал капитан; но сейчас качка почему-то действовала на меня особенно.

— Я давно вижу, дружок, что тебе хочется рассказать о своих впечатлениях. Мне тоже есть что поведать тебе, — сказал И.

— Прежде всего, мне хотелось бы узнать, от кого я получил посылку и письмо из Б. и поделиться их содержанием с вами, — ответил я.

По лицу И. скользнула усмешка; он встал и предложил мне перейти в каюту. Я достал из-под своей подушки письмо и посылочку. Разорвав конверт, я был удивлён свыше всякой меры подписью «Хава», которую я от нетерпения прочёл сразу.

Я так изумился, что вместо того, чтобы читать письмо самому, протянул его И. Представление о чёрной статуе в белом платье, которую я счёл мелькнувшей и навек исчезнувшей для меня бабочкой, ожило и достаточно неприятно поразило меня.

И. взял письмо, посмотрел на меня своими светящимися глазами и стал громко читать:

"Я не знаю, какими словами выразить моё обращение к Вам. Если бы я была белой женщиной, то я бы нашла, как обойти установленные вековыми предрассудками правила светских приличий. Но моя чёрная кожа ставит меня вне законов вежливости и приличий, которые белые люди считают иногда обязательными только для белокожих. Я могу обращаться к Вам не иначе, как к частице света и духа, живущих в каждом человеке, независимо от времени и места, нации и религии. Знание рассеивает все предрассудки и суеверия; и я, обращаясь к Вашей любви, позволю себе сказать Вам: «Друг». Итак, Друг, — впервые в жизни белый человек выразил мне свою вежливость и сострадание, прижав к губам мои чёрные руки. Если бы я жила ещё тысячу лет, — я и тогда не забыла бы этих поцелуев, потому что им ответил поцелуй моего сердца. Наверное, есть много форм любви, о которой говорят и которую выражают действием женщины. Мне же доступна только одна её форма — беззаветной преданности, не требующей ничего взамен. Я отдаю Вам своё сердце, не умеющее раздваиваться; и верность моя пойдёт за Вами всюду, будет ли это рай или ад, костёр или море, удача или поражение. И почему именно так пойдёт моя жизнь, какие вековые законы жизни связывают нас, — мне ясно. Когда-либо станет ясно и Вам, но сейчас я молчу.

Я знаю всё, что Вы можете подумать об этой привязанности, такой Вам сейчас ненужной и стеснительной. Но настанет время, Вы выберете себе подругу жизни, — и чёрная няня пригодится белым детям. Моя преданность, — так навязчиво предлагаемая сейчас, если рассматривать её с точки зрения условностей, — на самом деле проста, легка, радостна. Если подняться мыслью в океан Вселенной и там уловить свободную ноту любви, любви, не подавляемой иллюзорным пониманием дня как тяжёлого испытания, долга и жажды набрать себе лично побольше благ и богатства, — то можно увидеть не этот серый день, сдавленный печалью и скорбью, но день счастливой возможности вылить из сердца любовь свободную, чистую, бескорыстную, — и в этом истинное счастье человека. И да простит мне жизнь эту мою уверенность, но я знаю, что в Вашем доме найду свою долю мира. Я знаю, как испугала Вас моя черная кожа; и тем глубже ценю благородство сердца, отдавшего поцелуй моим чёрным рукам. В память о нашей встрече я посылаю небольшую шкатулку, которая Вам, наверное, понравится. Примите её, как самый ценный дар моей преданности. Мне дал её сэр Уоми в день моего совершеннолетия, велев передать её тому, за кого я буду готова умереть. Я уже сказала, — путь мой за Вами. Чтобы не показаться сентиментальной, я кончаю своё письмо глубоким поклоном Вашему другу И., Вашему брату и Вашему великому другу Флорентийцу.

Ваша слуга Хава".

И. давно кончил. Я сидел, опустив голову на руки, и не знал, что думать ещё и об этой неожиданной случайности.

— Нет случайностей, — услышал я голос моего друга. — Всё, с чем мы сталкиваемся, подчинено закону причинности, и нет в жизни следствий без причины. Чем свободнее от предрассудков человек, тем больше он может знать. И Хава права, когда пишет, что знание рассеивает предрассудки и суеверия. Но мы ещё будем иметь время, чтобы поговорить об этом. Сейчас хочу тебе сказать, что преследовавшие нас сарты погибли на старом греческом судне, куда их привела ненависть, хотя они знали о предстоящей буре. Теперь до самого Константинополя за нами не будет погони. А там узнаем, как быть дальше. Не хочешь ли посмотреть на заветный подарок Хавы? Качка усиливается, нам следует снова обойти весь пароход. После перенесённой бури люди гораздо чувствительнее к качке. Жанну надо навестить первой, потом итальянок и т. д.

Я развернул небольшой пакет и достал из кожаного футляра квадратную

шкатулку тёмно-синей эмали, на крышке которой был изображён овальный эмалевый портрет сэра Уоми. Портрет был окружён рядом небольших, но чудно сверкавших бриллиантов, а замком служил крупный, выпуклый тёмный сапфир.

— За всю свою жизнь я даже и не видел столько драгоценных вещей, сколько мне пришлось держать в руках за эти недели, — сказал я.

— Да, — ответил И. — Какое множество людей хотело бы хоть подержать в руках портрет сэра Уоми, не только что получить его в подарок. Но спрячь всё в саквояж, нам пора двинуться в обход.

Я спрятал все свои вещи и книги в саквояж. И. достал наши аптечки, и не успели мы их надеть, как в дверях появился посыльный от капитана с просьбой поспешить в каюту 1 А, там худо и матери, и детям.

Мы помчались ближайшими переходами к Жанне, причём верзила снова спас мой нос и рёбра, так как я не умел удерживать равновесие. На мой вопрос, уж не буря ли будет снова, И. ответил, что это невозможно, природа не в состоянии так разъяриться два раза подряд. А верзила, смеясь, уверял, что это всего только зыбь. Быть может, это и была зыбь, но — надо отдать ей справедливость — зыбь препротивная.

Мы вошли к Жанне и снова застали картину почти того же отчаяния, что и в первый раз. Она сидела, забившись в угол дивана, с детьми на коленях.

Лицо её выражало полную растерянность, и когда И. наклонился к девочке, чтобы взять её и положить на детскую койку, она вцепилась в него, крича, что девочка умирает, и она не хочет, чтобы та умирала на холодной койке, пусть лучше у сердца матери. От резкого движения и малыш скатился бы на пол, если бы я не бросился к нему.

Взяв ребёнка на руки, я готов был разразиться упрёками, но... образ сэра Уоми, прочно поселившийся в моём сердце, помог сдержаться и мягко сказать ей:

— Так-то вы держите обещание ухаживать за детьми? Разве им не удобнее в своих постельках?

Жанна плакала, говоря, что, не видя меня так долго, не сумела сохранить самообладание, а болезнь детей просто разрывает ей сердце. Я же совсем позабыл о ней. Я возражал, что её навещали, а моё присутствие или отсутствие не может влиять на здоровье детей.

— Я сам ещё так молод и невежествен, что всецело нуждаюсь в наставнике, — продолжал я. — Если бы не мой брат И., я бы десять раз погиб. Перестаньте думать, что вы одиноки и несчастны, лучше помогите доктору дать детям лекарство.

Сам не знаю, что я ещё наговорил бы бедной женщине, но нежный тон моего голоса, должно быть, передал моё сострадание. Мигом она отёрла слезы, — и лучшей сестры милосердия нечего было искать.

И. долго возился с девочкой, которая была ужасно слаба.

— Сегодня это состояние продлится ещё несколько часов. Но зато завтра пойдёт на улучшение, — сказал И. Жанне. — Держите её непременно в постели весь день. Если не будет качки, — вынесите её на палубу. Ну а малыш через час попросит есть.

Мы уже собрались уходить, когда Жанна обратилась к И. с мольбою:

— Разрешите вашему брату побыть со мной. Я так боюсь чего-то; мне всё мерещится какое-то новое горе, всё кажется, что дети мои тоже умрут.

И. кивнул головой, сказав, чтобы я оставался здесь до тех пор, пока за мной не придёт верзила, но если откуда-нибудь будут звать доктора, я должен ответить, что без И. я помочь не смогу.

Он ушёл. Мы остались с Жанной подле детей. Девочка понемногу успокаивалась; дыхание становилось ровнее, хрипы в груди утихли. Жанна молчала, не плакала; но я видел, что не одна болезнь довела её до нового взрыва отчаяния.

— Что случилось? — спросил я. — Почему вы опять в таком состоянии?

— Я и сама не знаю, отчего на меня нахлынули ужасные воспоминания о смерти мужа. Я почувствовала такой страх перед будущей жизнью. Не могу передать вам, какой жуткий страх на меня нападает, когда я думаю, что мы приедем в Константинополь и мне придётся расстаться с вами. Я умру от одиночества и голода.

— Вы умрёте от одиночества и голода? А дети переживут вас? Кто же будет для них работать? Кто у них ближе вас? Вы думаете о том, что было, и о том, что будет. А сейчас? Об этой минуте, когда вы чуть не уронили мальчика и навредили девочке, не держа её в постели, вы не думаете? Я прежде, как и вы, только тем и занимался, что думал или о том, что будет, или о том, что было. Мой любимый и мудрый друг и мой теперешний спутник И. своим примером показали мне, что нужно жить только тем, что совершается сейчас. И что это «сейчас» и есть самое главное. Попробуйте не плакать, а бодро ухаживать за детьми. Ваши слезы мешают им мирно спать, и они так дольше проболуют. Улыбайтесь им — их здоровье восстановится гораздо быстрее. Что же касается Константинополя, то ведь И. сказал вам, что вас там устроит, а слово его никогда не расходится с делом. Если у вас есть цель поставить детей на ноги, зачем вам думать о том, будете ли вы одиноки? Вы уже по опыту знаете, как всё непрочно в

жизни. Просите И. научить вас, как воспитывать детей. Я же ничего не могу для вас сделать; у меня нет ни семьи, ни дома, я ещё не способен заработать свой кусок хлеба, так как мало знаю и ничего не умею делать. Но И., я уверен, поможет вам.

— Я его очень боюсь и стесняюсь, — сказала бедняжка. — А вас не боюсь и очень радуюсь, когда вы подле.

— Всё дело в том, что я такой же неопытный ребёнок в жизни, как и вы. Но если присмотритесь внимательнее к И., то будете счастливы каждую минуту, проведённую рядом с ним.

— Вы только что сказали, что улыбка матери помогает детям. Я стараюсь не плакать, но это так трудно. И я не думаю, чтобы И. научил меня, как воспитывать детей; он такой строгий, никогда не улыбается. При нём я чувствую себя точно в железной клетке, а при вас мне легко и просто.

— Вам легко со мною, — ответил я, — только потому, что я так же легкомыслен, как и вы. Если бы вы по-настоящему любили своих детей! Не слезы текли бы из ваших глаз, а целые потоки энергии. Ведь вы всё плачете только о себе.

— Я не в силах ещё понять вас, — очень тихо сказала Жанна после долгого раздумья. — Но мне начинает казаться, что я действительно слишком много думаю о себе. Я постараюсь проникнуться вашими словами, может быть это поможет мне начать жить иначе.

Мне было очень жаль бедняжку. И я всячески старался не переходить границы дружеской беседы, не впадая при этом в назидательный тон. Жанна на моих глазах как-то странно менялась. На её молоденьком личике перестала играть та улыбка, которой оно всегда светило, когда я бывал с нею, но и отчаяние тоже ушло. Печаль, суровая решимость — точно она внезапно стала старше меня — отделили её от меня каким-то кругом, в котором она и замкнулась.

Мы молча сидели у детских постелей, и мысль моя вернулась к Хаве. Какою сильной и мужественной женщиной она мне казалась теперь! И как нужна была бы её помощь этой хрупкой и тоненькой матери.

— Вы не думайте, что я слабая и боюсь труда, — внезапно вырвал меня из мира грёз дрожащий голосок. — Нет, о нет, я не боюсь. Я просто слишком любила своего мужа. Но я начинаю понимать, что страх лишает меня сил, погружает в отчаяние, и этим я только приношу вред моим детям. Мне становится ясно теперь, на какую ужасную жизнь я буду обречена, если не найду в себе мужества жить только для детей, быть им защитой, а стану оплакивать свою печальную судьбу женщины, потерявшей любимого.

В дверь постучали, вошёл сияющий верзила и доложил, что И. просит меня пройти в первый класс, где снова заболела итальянка. Я простился с Жанной, почувствовав, что принёс ей какое-то разочарование. И её пожатие было менее пылким, а лицо осталось таким же суровым.

Быстро поднялись мы с верзилой в первый класс, где царил паника; очевидно, сильное волнение на море будило жестокие воспоминания о минувшей буре и страх.

Я застал И. в каюте синьор Гальдони, где старшая заливалась слезами, а младшая снова лежала бездыханно.

— Это и есть тот тяжёлый случай, Лёвушка, о чём я тебе сказал сразу же. При каждом сильном потрясении будет наступать подобное обмирание, пока синьора Мария не научится в совершенстве владеть собой, — обратился ко мне И.

— Нет, нет, я ничего особенного ей не сказала, — раздражённо и громко заявила синьора Джиованна. — Я только хотела предупредить новое несчастье. Довольно с нас и одного горя.

— Зачем вы привлекаете внимание соседей? — тихо сказал ей И. — Ведь сейчас надо" помочь вашей дочери прийти в себя. Это не так легко; и если вы будете кричать, — мои усилия могут ни к чему не привести. Если не можете найти в своём сердце столько любви, чтобы думать о жизни вашей дочери, и все свои силы устремить на помощь ей, — уйдите из каюты. Всякие эгоистические мысли и раздражение мешают в моменты опасности.

— Простите мне моё безумие, доктор. Я буду всем сердцем молиться о ней, — стараясь сдержать слезы, сказала мать.

— Тогда забудьте о себе, думайте о ней и перестаньте плакать. Плачут всегда только о себе, — ответил И.

Он велел мне, как и в первый раз, приподнять девушку и влить лекарство, ловко разжав ей зубы. Затем он сделал ей укол и искусственное дыхание с моей помощью.

Но все усилия остались тщетными. Тогда он свернул трубочку из бумаги, заполнил её остро пахнущим порошком, поджёг и поднёс к самым ноздрям девушки. Она вздрогнула, чихнула, кашлянула, открыла глаза, но снова впала в беспамятство.

Тогда И. брызнул ей в лицо водой, к шее приложил горячую грелку и снова зажёг траву. Она вторично вздрогнула, застонала и открыла глаза. И., с моей помощью, посадил её и сказал:

— Дышите ртом и как можно глубже.

Я держал девушку за плечи и чувствовал, как тело её содрогается при

каждом вдохе.

Долго ещё мы не отходили от неё, пока она не пришла в себя. И. велел напоить её подогретым молоком, запретил разговаривать с кем бы то ни было и укрыл тёплым одеялом. Матери он сказал, что бури не будет, напротив, через час-два море совсем успокоится.

Мы вышли на палубу, где нас поджидала кучка людей, во главе с несчастным мужем злющей княгини. Молодой человек имел весьма плачевный вид. На левой щеке его красовался тёмно-синий кровоподтёк, правый глаз заплыл, точно его хорошенько поколотили в драке.

Вид его был столь жалок, что даже смешной контраст между элегантным костюмом и кособокой разноцветной физиономией не вызывал смеха. А его единственный, молящий глаз говорил о громадной трагедии, переживаемой этим человеком.

— Доктор, — сказал он дрожащим, слабым голосом. — Будьте милосердны. Я, право, не виноват в выходе моей жены. Судовой врач отказывается зайти к нам, говорит, что у него масса больных. Он думает, что княгиня наполовину притворяется, наполовину больна от страха. Но я уверяю вас, что она действительно умирает. Я никогда не видел её в подобном состоянии. Она уже не может ни кричать, ни драться... Она очень, очень стара. Будьте милосердны, — лепетал он. — Для меня и многих других будет страшная драма, если я не довезу её до Константинополя...

И. молча смотрел на этого несчастного человека, а передо мной — в один миг — мелькнула загубленная жизнь, проданная за деньги отвратительной старухе. Не знаю, как поступил бы я на месте И., он же тихо сказал: «Ведите».

— О, благодарю вас, — пробормотал муж княгини, и мы двинулись за ним в каюту 25.

— Я скоро вернусь, — сказал И. обступившим его пассажирам. — Обойду всех, кто будет нуждаться в моей помощи. Не ходите за мною, ждите.

Ужасное зрелище представилось нам, когда мы вошли в каюту. Среди отчаянного беспорядка мы увидели нечто уродливое, седое, бездыханное, лежавшее на койке с отвисшей беззубой челюстью.

И. подошёл к постели, потрогал руку, лоб и шею княгини и перевёл взгляд на мужа, единственный глаз которого выражал страх и ожидание приговора.

— Ваша жена жива, — сказал ему И. — Но ждать, что она будет вполне здорова, напрасно. Её разбил паралич, и двигаться она не сможет.

Восстановятся ли речь и руки, можно будет сказать только тогда, когда я приведу её в чувство, а вы выполните все те процедуры, которые я назначу.

— Я готов со всем усердием ухаживать за ней, лишь бы живой доставить её в Константинополь. Она должна встретиться со своим сыном, моим двоюродным братом, а там уж будь что будет. Лишь бы никто не заподозрил меня в том, что я её в дороге уморил, — сказал муж.

С этими словами он опустил голову на руки и заплакал, как ребёнок.

Не могу сказать, что говорило во мне сильнее: презрение к здоровому мужчине, торговавшему своим титулом из нежелания работать, или сострадание к человеку, которому непонятна ценность независимой трудовой жизни.

Не проводи я столько времени среди таких высоконравственных людей, какими были Флорентиец и И., я бы грубо отвернулся от внушавшего отвращение, князя. Но сейчас в моём сердце не было места осуждению, я только почувствовал, что бессилён помочь ему.

— Мужайтесь, друг, — услышал я голос И. Князь поднял своё залитое слезами лицо и сказал твёрдым голосом, какого я от него не ожидал:

— О доктор, доктор! Сколько ужаса я вынес за эти три года! Сколько мук стыда и унижения я вытерпел за свою безумную ошибку. Эта бездельная жизнь измучила меня хуже всякой пытки. Только спасите её жизнь. Я сдам её на руки сыну и начну трудиться. Новой жизнью я постараюсь вернуть себе уважение честных людей, хотя бы мне для этого пришлось стать нищим.

И он снова опустил своё изуродованное лицо.

— Мужайтесь, — ещё раз сказал И. — Начать жить по-новому, зарабатывать себе на хлеб никогда не поздно. Зачем же нищенствовать, мы поможем вам найти дело, если вы этого действительно хотите. Но я думаю, что вам пока нужно остаться при вашей жене. Ей ведь известна ваша честность, и никому, кроме вас, она не доверяет. Но даже вам она не сказала, как чудовищно богата. Теперь же, совершенно беспомощная, — она не согласится ни минуты быть без вас. Исполните сначала ваш долг мужа и душеприказчика, а тогда уж начинайте новую жизнь. И если захотите трудиться, я скажу вам, как и где меня найти.

И. вынул иглу, долго и кропотливо набирал лекарства из нескольких пузырьков и сделал старухе четыре укола, в ноги и руки. Кроме того, он велел мне приподнять её противную и страшную голову и влил в каждую ноздрю по несколько капель едко пахнущей, бесцветной жидкости.

Сначала действия лекарств не было заметно. Но через десять минут из открытого рта вырвался глухой стон. Тогда мы с И. стали делать ей

искусственное дыхание.

Мы мучились долго. Пот лил с меня ручьём. Несчастный князь был не в силах наблюдать эту ужасную гимнастику; он сел в кресло, отвернулся и горько, по-детски заплакал.

Внезапно старуха открыла глаза, вздохнула, закашлялась. И. быстро бросил мне:

— Положи голову повыше и дай часть пилюли Али.

Я выполнил его приказание. И. уложил руки княгини на горячие грелки, укрыл её одеялом и велел принести тёплого красного вина. Через некоторое время в глазах старухи мелькнуло сознание:

— Слышите ли вы меня? — спросил её И. Только мычанье раздалось в ответ. Влив в рот старухе немного тёплого вина, И. дал ей ещё одну долю пилюли и сказал мужу:

— Перестаньте волноваться. Вы не только довезёте её до К., но и промучитесь с ней ещё немало. Ходить она не сможет, но правая рука и речь, думаю, восстановятся. Вот лекарство. Она проспит часа три. Затем, очень точно, через каждые полчаса, давайте эти лекарства по очереди. Вечером, перед сном, я зайду к вам ещё.

Мы простились с князем и вернулись к пассажирам, ждавшим нас с нетерпением.

Времени прошло достаточно. Одним из первых, нетерпеливо постукивая пальцами о перила, ждал нас мальчик-грек. Ухватившись за руку И., мальчик сыпал горохом слова, из которых я понял только, что ему самому хорошо, помог доктор, но вот мать его и дед чувствуют себя очень плохо.

Мы нашли отца сильно ослабевшим, дочь в необычайном волнении находилась возле его постели.

Из первых же слов, выдавленных сквозь рыдания, мы поняли, что страх смерти овладел ею. Но И. остался невозмутимым и доброжелательным.

— Неужели трудно понять, — говорил он ей, — что ваше волнение мешает отцу? Он не болен, он устал от героических усилий помочь вам. И чем же вы платите ему сейчас? Слезами и стонами? Возьмите себя в руки; вы все трое сейчас здоровы физически. Болен ваш дух, пребывающий в печали и унынии. Оставьте отца в покое. Пусть он спит, а вы погуляйте с сыном по палубе, подумайте сосредоточенно о том, что случилось в вашей жизни, и поблагодарите судьбу за счастливую развязку того, что казалось вам гордиевым узлом.

Необычайное изумление выразилось на лице гречанки. Казалось, И. читал в её душе, как в открытой книге. Она краснела и бледнела, взгляд её

был прикован к И., она стояла как изваяние.

Не произнеся больше ни слова, И. дал выпить каплю старику, повернул его лицом к стенке и вышел, поманив меня за собой. На пороге я оглянулся, — гречанка так и осталась на месте.

Мы обошли ещё несколько кают, зашли к Жанне, где было благополучно, и вернулись к себе.

Здесь И. велел мне вынуть из саквояжа Флорентийца круглую кожаную коробочку с бинтами. Прихватив какую-то мазь и жидкость, мы спустились к туркам. Молодой, казалось, сильно страдал.

— Неблагодарно, Ибрагим. Зачем скрывать боль? Ведь вы рискуете остаться хромым, поскольку у вас, видимо, перелом кости. Это безумие так бояться огорчить отца.

Осмотрев ногу с огромным кровоподтёком, И. наложил гипсовую повязку, приказав Ибрагиму не двигаться. Мне же велел позвать его отца, предупредив его, что сын лежит со сломанной ногой, но уже вправленной и забинтованной.

Я с трудом нашёл старого турка. Биллиардных комнат оказалось несколько, и он играл во втором классе, весело смеясь и побивая всех соперников.

Он только что выиграл партию у доктора, считавшегося чемпионом Англии, и торжеству его не было предела. Глаза его сияли, вся фигура светилась детским удовольствием. Казалось, весь мир для него сосредоточился в биллиардной.

Он увидел меня, и всё его веселье моментально улетучилось.

— Что-нибудь случилось? — тревожно спросил он.

— Ничего особенного, — сказал я, стараясь придать себе беззаботный вид. — И. послал меня за вами, поскольку мы сейчас не сможем быть около вашего сына...

Мне не пришлось договорить фразу до конца. Он бросил кий и стремглав выбежал из комнаты.

Я едва успел крикнуть сопровождавшему меня верзиле:

«Задержи». Чувство тоски сжало моё сердце: я опять не сумел выполнить возложенную на меня задачу.

Отправляя меня, И. напомнил, как безумно любит турок сына. А посему мне следовало его подготовить. Я очень хорошо всё понял; но получилось, что на деле я оказался бессилён пролить мир в сердце человека.

Я помчался вниз, но как ни спешил, настиг обоих, когда верзила, услышавший моё «задержи», широко расставил ноги и руки и загородил своим громадным телом дорогу.

Турок, похожий на разъярённого быка, готовился броситься на верзилу. Он был страшен. Бледное лицо, выкатившиеся глаза, трясущиеся губы и сжатые кулаки так преобразили его, что я едва не превратился в "Лёвушку-лови ворон". Я уже было совсем растерялся, но вдруг, точно какая-то сила толкнула меня, я проскочил мимо турка и взлетел ступенькой выше. И в ту же секунду тяжёлый как молот кулак упал на мою голову, тогда как нацелен был прямо в солнечное сплетение верзилы. Удар был сильным, но его всё же ослабила чья-то рука, помешавшая турку. Я пошатнулся, однако устоял на ногах и тотчас узнал в своём спасителе капитана.

Он уже готовился вызвать команду, чтобы связать турка, но сильные руки И. удержали его, и на непонятном мне языке он тихо, но внятно и повелительно произнёс всего лишь два слова.

Точно сражённый молнией, турок опустил голову. Он смертельно побледнел, и две огромные слезы скатились по щекам.

Повернувшись к капитану, И. со свойственной ему обаятельной вежливостью принёс глубокие извинения за поведение своего друга. Он объяснил, что пароксизм этот был вызван беспокойством за больного сына: отец, потеряв голову, вообразил, что сын его умер и его не допускают к трупу.

— Я могу понять, что необузданный темперамент может совершенно вывести из равновесия не закалённого воспитанием человека. Но дойти до драки с младенцем — это граница, у которой здорового мужчину следует считать преступником, — отчеканил побледневший капитан спокойным звенящим голосом.

Тут пришлось объяснить, что турок и не думал бить меня. И я изложил, как было дело, признав себя полностью виновным в неумении подготовить отца, чем и был вызван этот грубый инцидент.

— Это, мой юный друг, не инцидентом называется, а немного иначе, — ответил мне капитан, нежно коснувшись прекрасной рукой моей бедной головы. — Я прошу вас, Лёвушка, пройти к больному и побыть с ним, пока мы разберём случившееся в моём кабинете.

— Умоляю вас, капитан, — прошептал я, схватив его руку, — не придавайте этому значения. Я ведь очень ясно объяснил, что причиной всему только я сам. Сейчас мы начнём привлекать внимание публики. Ведь вы выпили со мной "на брудершафт", а сейчас говорите мне «вы». Неужели ваша любовь ко мне была похожа на те цветы, что вянут от грубого прикосновения.

Должно быть, я производил жалостливое впечатление; капитан чуть улыбнулся, велел верзиле проводить меня в каюту к туркам и оставаться

там, пока не возвратится И.

Казалось, капитан задержал и ослабил удар; тем не менее, шёл я с трудом, привалившись к верзиле, и едва смог опуститься в кресло. Всё плыло перед глазами, мне было тошно, и я сознавал, что едва удерживаюсь от стонов.

Не знаю наверняка, долго ли я так просидел. Мне чудилось, что снова разыгралась буря, что меня швыряет в разные стороны, что я вижу чудесное лицо склонившегося надо мной дивного друга Флорентийца...

Я проснулся, ощущая себя сильным и здоровым, и первое, что я увидел, было печальное и бледное лицо старшего турка, сидевшего подле меня.

— Что-нибудь случилось? — спросил я, совершенно забыв все предшествовавшие обстоятельства.

— Слава Аллаху! — воскликнул он. — Наконец-то вы очнулись, и я больше не чувствую себя убийцей.

— Как убийцей? Что вы говорите? Почему я здесь? — вопрошал я. — Где И.? Что же всё-таки случилось? — И я сделал попытку привстать.

— Ради Аллаха, лежите спокойно и не разговаривайте, — сказал мне турок. — От моего несчастного удара у вас поднялся жар, появились бред, рвота, и вас перенесли сюда. Здесь же лежит и сын мой, у него началась гангрена. Три дня И. не отходил от вас обоих. Пару часов назад он объявил, что вы оба вне опасности, и оставил меня караулить вас. Не пытайтесь встать. Вы привязаны ремнями к койке, чтобы не двигаться. И. приказал, если вы проснётесь в его отсутствие, ослабить ремни, но не позволять вам двигаться. Левушка, простите ли вы когда-нибудь моё ужасное поведение? Не в первый раз дохожу я до полной потери контроля над самим собой. И всякий раз причиной моего бешенства является любовь. Когда капитан хотел посадить меня в карцер за драку на пароходе и я пытался ему объяснить, что любовь к сыну свела меня с ума, он иронически спросил: "Кому нужна такая любовь, которая порождает ревность, скандалы и тяготы вместо радости и облегчения?" Я всё понимаю. Понимаю сейчас и ужас того, что сын, мною обожаемый, боится меня, скрывает даже боль свою, — значит, не видит во мне друга...

— Напрасно, отец, ты так думаешь, — раздался внезапно голос с соседней койки. — Я по глупости скрывал от всех свою рану, думая, что и так пройдёт. Зная хорошо, что ты выше всех достоинств в человеке ценишь полное самообладание, я хотел уберечь тебя от лишнего разочарования во мне; потому что я хорошо знаю, как сводит тебя с ума любая тревога за любимых. Именно моя преданная дружба заставила скрывать от тебя рану. Я много раз уже убеждался, что мои неумелые попытки подойти к тебе

ближе раздражают тебя, отец. Только одна мать умеет говорить с тобой во все моменты жизни...

Молодой турок замолчал, и на лице его отразилось мечтательное выражение, глаза заблестели от слез. Очевидно, образ матери, перед которой он благоговел, увёл его далеко отсюда.

Я представил себе эту женщину, прожившую целую жизнь рядом с эдакой пороховой бочкой. Я невольно сравнил со старшим турком себя и понял, глядя на себя со стороны, как тяжелы в обыденной жизни невыдержанные, дурно воспитанные люди.

Я стал "Лёвушкой-лови ворон" и представил себе неизвестную женщину, умеющую — в хаосе жизни и бурях страстей — так хорошо воспитать сына. "Кто она, его мать?"

— Мать! Ах, если бы ты, сынок, знал, сколько выстрадала твоя мать в своей молодости от припадков моей ревности! Сколько раз я грозил ей ножом! Но в ней никогда не было страха; она только защищала тебя, чтобы ты ничего этого не видел.

Дверь внезапно и резко растворилась. Я увидел капитана и И. Лица обоих были по обыкновению энергичны, но необычно бледны и суровы. И. склонился ко мне и тихо спросил;

— Слышишь ли ты меня, Лёвушка?

Я улыбнулся, хотел было поднять руку, чтобы ответить на ласковое прикосновение, но ремни мешали мне шевелиться. Мне казалось, что я громко смеялся, когда отвечал ему. На самом деле я едва прошептал: «Слышу», и почувствовал себя очень утомлённым.

— Видишь ли ты, Лёвушка, кто со мной пришёл? — снова спросил он меня.

— Вижу, мой «брудершафт» капитан, — ответил я. — Только я почему-то очень устал.

И помимо воли меня стала одолевать зевота, которую я не имел сил прекратить.

— Я просил вас посидеть с больным в полном молчании. Я объяснил вам, как опасно для обоих малейшее волнение, — услышал я голос И.; так сурово говорил он, как я еще ни разу от него не слышал. — А вы, друг, снова оказались не на высоте, снова думали о себе, а не о них.

Тут я взмолился, чтобы меня повернули на бок и дали заснуть. Нежно, ласково, чего было трудно ожидать от капитана, он склонился надо мной и стал уговаривать, как ребёнка, полежать ещё немного на спине, потому что мы сейчас будем входить в гавань и нас немного покачает. Но вот пристанем к отличному молу, и меня отвяжут и посадят.

Он протянул руку к И., взял у него рюмку с лекарством и поднёс её к моим губам, осторожно приподняв мою голову, как будто она могла вот-вот рассыпаться.

Я выпил, хотел ему улыбнуться, но меня одолевала зевота, а потом я вдруг куда-то провалился, должно быть заснул.

Очнулся я в нашей каюте. Возле меня сидел верзила, а ещё, что меня до крайности поразило, я увидел женщину, выходившую от нас. Мне показалось, что то была Жанна. По глупой и добродушной ухмылке моего няньки я понял, что угадал. Лицо его выражало забавное счастье оттого, что такая красotka по мне страдает, и я расхохотался. На сей раз действительно громким смехом.

— А, возвращение к жизни моего храбреца тоже знаменуется смехом, — услышал я звенящий голос капитана. — Здравствуй, дружок. Наконец-то ты выздоровел. Стой, стой! Экий ты, брат, горячка! Лежи, пока И. не придёт, — продолжал он, не давая мне встать.

Но я, всё смеясь, начал с ним бороться. Капитан принялся умолять меня не возиться, на лице его появилось выражение беспокойства и тревоги.

— Ты ведь сам понимаешь, что после такой серьёзной болезни надо быть очень осторожным, мой дорогой. Лежи смирно; я пошлю за И., - и тогда ты, наверное, сможешь встать.

Капитан отдал приказание вытянувшемуся в струнку верзиле отыскать доктора и просить его немедленно прийти в каюту.

Тем временем капитан, отвечая на мои вопросы, сказал, что сегодня уже пятый день моей болезни и что к вечеру мы будем в Константинополе.

Я был сбит с толку. Мысли не связывались в сплошную цепь событий, я не, помнил промелькнувших суток; эпизод на лестнице, удар, ещё эпизод в лазарете — вот всё, что удержала память.

И. всё не шёл, и капитан рассказал, что тот очень тревожился за мои зрение и слух и даже посылал телеграмму лорду Бенедикту в Лондон и в Б. каким-то врачам, прося их помощи; и что из Б. он очень быстро получил ответ и лишь тогда немного успокоился. Из Лондона ответ пришёл вчера; и после этой телеграммы меня перенесли сюда, и И. волноваться совсем перестал.

Тихо и ясно стало у меня на сердце. Я понял, что И. посылал телеграммы сэру Уоми и Флорентийцу. И эти, незаслуженные мною, заботы привели меня в состояние благоговения.

Я хотел спросить, не говорил ли ему И. о каких-нибудь известиях от моего брата. Но маленькое слово «такт», произносимое Флорентийцем, удержало меня.

Послышались быстрые, лёгкие шаги, которые я тут же узнал, и уже никто не смог бы меня удержать. Я вскочил, как кошка, и бросился на шею моему спасителю — И.

— Безумец Лёвушка! Задушишь! — кричал мне И., и вместе с капитаном они уложили меня в постель.

— Да что вы в самом деле! Я не могу больше лежать! — кричал я.

— А сердце твоё стучит молотом, потому что ты его сейчас переутомил, — ответил мне И. — Тебе можно будет сидеть в кресле на палубе, но ходить нельзя ещё дня два-три даже в Константинополе. Если хочешь быть мне помощником в деле устройства жизни Жанны и её детей, — выдержи характер и будь послушен. Врачи предписали тебе именно такой режим.

Он значительно посмотрел на меня и сказал, что кроме Жанны, двух синьор итальянок и семьи греков, которые жаждут меня видеть и которым предстоит ещё помогать, нужно повидаться с молодым князем и оказать ему особую поддержку.

— Ты сам понимаешь, что одному мне не справиться. А потому забудь о своих личных желаниях и думай только об этих несчастных людях. Каждый из них несчастен на свой лад, но все они одинаково страдают.

Капитан хмурился. Наконец он спросил И.:

— Скажите, друг, по каким таким законам божеским и человеческим вы лишаете личного счастья эту молодую жизнь? Что же, ему так всё и возиться с чужим горем, вместо того чтобы веселиться и жить нормальной жизнью семьянина и учёного? Ведь он имеет все достоинства для отличной карьеры. Отдайте его мне. Он станет мне братом, будет моим наследником. Англия — чудесная страна, где каждый живёт для себя и, не страдая болезнью собирания чужих горестей в свои карманы, не мешает жить другим.

— Лёвушка — взрослый и свободный человек. Он имеет полное право выбирать любой путь. Если он выразит желание следовать за вами, вы можете хоть сию минуту перевести его к себе, — ответил И.

— Лёвушка, переходи ко мне. Мы поедем в Англию. Я не женат. Ты будешь богат. Мой дом — один из лучших среди старых аристократических домов Лондона. Моя мать и сестра — очаровательные женщины; они обожают меня и примут тебя, как родного. Ты будешь свободен в выборе. Не бойся, я не навяжу тебе карьеру моряка, как и ту невесту, которую ты любить не будешь. Не думай, что Англия не сможет стать тебе родиной. Ты полюбишь её, когда узнаешь, и всё, чего ты будешь хотеть, — всё: науки, искусство, путешествия, любовь, — всё будет тебе доступно. Ты будешь

счастлив и свободен от тех обязательств, в каких тебя воспитывают сейчас. Живёт человек один раз. И ценность жизни — в личном опыте, а не в том, чтобы забыть себя и думать о других, — говорил капитан, медленно вышагивая по каюте.

— Много бы я дал, ах как много, чтобы быть в Лондоне в эти дни, — сказал я. — Но быть там, мой дорогой друг, я хотел бы именно затем, чтобы думать о других. А потому вы сами видите, что невозможно сочетать наши жизни, хотя я вас очень люблю. Вы мне нравитесь не потому, что я отвечаю вам благодарностью на чудесное ко мне отношение. Но потому, что в сердце моём крепко застрял ваш образ, ваше глубокое благородство, храбрость и честь. Но путь мой, единственный счастливый для меня, это путь жизни с И. Я встретил великого человека не так давно, его полюбил и ему предан теперь навеки... О, если бы я мог вас познакомить с ним, как был бы я счастлив! Я знаю, что вы оценили бы его и жизнь восприняли совсем иначе. Вот тогда мы с вами пошли бы одной дорогой, братски и неразлучно. Благодарю вас. Я знаю, что вы предлагаете мне освобождение, как его понимаете сами, потому что считаете, что я нахожусь в каких-то тенетах. Нет, я совершенно свободен; правду сказал И. Я счастлив потому, что каждая минута моей бесполезной до этой поры жизни посвящена спасению моего родного брата-отца, брата-воспитателя, единственного существа в мире, к которому я кровно и лично привязан. Ему грозят преследование и смерть; и мы стараемся замести его следы и с помощью наших друзей направить преследователей в другую сторону. Я пойду до конца, пусть даже гибель моя будет близка и неизбежна. И пока живу, не смогу отворачиваться от чужих страданий и не набивать ими, как вы изволили выразиться, свои карманы.

Капитан молча и печально смотрел на меня. Наконец он протянул мне руку и сказал:

— Ну, возьми же тогда и мою горечь. Всё, чего бы я в жизни ни пожелал, — всё рушится. Была невеста — изменила. Был любимый брат — умер. Было счастье в семье — отец нас оставил. Было честолюбие — дуэль помешала большой карьере. Встретился ты — не вышло братства. В твоих карманах не должно быть дна. Люди — существа эгоистичные. И если видят, что кто-то готов переложить их горести на свои плечи, — садятся им на голову...

Он помолчал и продолжал тихо и медленно, обращаясь к И.:

— Если моя помощь может быть полезна вам или вашему брату, — располагайте мною. У меня нет таких привязанностей, которые заполняли бы мою жизнь целиком. Я гонялся за ними постоянно, — но они

ускользали, как иллюзии. Я совершенно свободен. Я люблю море потому, что не жду от него постоянства и верности. Вы верны своей любви к брату и к какому-то другу. Вы счастливее меня. У меня нет никого, кто нуждался бы в моей верности. Мои родные легко обходятся без меня.

— Вы очень ошибаетесь, — вскричал И. каким-то особенным голосом. — Разве вы не помните маленькую русскую девушку, которая любила вас до самозабвения? Скрипачку, даровитую, её звали Лизой?

Капитан остановился, словно поражённый громом.

— Лиза!? Лизе было четырнадцать лет. Наивно думать, что это серьёзно. Тётка — да, она преследовала меня своей любовью. Мне смешна была эта старая фея и забавляла маленькая ревнивица. Но я никогда не позволял себе играть чувствами и замыкался в самую ледяную броню вежливости. Но не спорю: будь обстоятельства счастливее, — я мог бы увлечься этим существом.

— А это существо не расстанется с вашим портретом и ищет встречи. Только семейная трагедия помешала ей плыть на вашем пароходе и именно в этой каюте.

— Не может этого быть, фамилия Лизы звучала иначе. Каюта была снята графиней Е. из Гурзуфа, — возразил капитан.

— Да, но вы встретились с Лизой на курорте под фамилией её тётки. Но можете мне верить, что никто иной, как Лиза, и есть графиня Р. Если вам на самом деле кажется, что вы могли бы любить эту девушку, — поезжайте в Гурзуф и повидайтесь с Лизой. Вот ценная жизнь, которую надо спасти, и вам предоставляется случай, не забывая о себе, помочь человеку счастливо пройти свой жизненный путь. Есть среди нас однолюбы. Лиза из них. И ничто, ни богатство, ни талант, — не смогут дать ей счастья, если любовь её останется без ответа. Не будьте, капитан, жестоки либо легкомысленны. Вы ведь играли девушкой, думая, что её увлечение мимолётно. А на деле оказалось иначе. И если вы не поспешите, её здоровье может пошатнуться.

Моему изумлению не было границ. А я-то всё размышлял о том, люблю ли я Лизу и как относится она ко мне. Теперь мне припомнились некоторые мелкие подробности в поведении Лизы, её прощальный пристальный взгляд, которым она проводила И. Как видно, она доверила ему тайну своего сердца.

Капитан долго молчал. И никто из нас не нарушал этого молчания.

— Странно, как всё странно, — вздохнув, наконец сказал он. — Как чудно, что в нашей жизни всё происходит внезапно, вдруг! Ещё час тому назад мне казалось, что без Лёвушки моя жизнь будет пуста. Несколько минут назад, когда он отказался от моего предложения, — я пережил

разочарование и горечь. А вот сейчас, — я точно начинаю прозревать. Я верил вам с самого начала, как-то особенно выделил для себя встречу с вами, доктор И. Но сию минуту ваши слова точно завесу какую-то сняли, и я начинаю надеяться, что и моя жизнь станет полной. Но какой я эгоист! Я развернул ковёр-самолёт своих мечтаний и позабыл о том, что сказал мне Лёвушка. Нет, пока я не помогу вам в вашем деле, я не начну строить себе новую жизнь.

— У всякого свой путь; и пройти хотя бы малую толику чужого невозможно, — сказал И. — Если послушаетесь истинного зова сердца, мы встретимся с вами и вашей будущей женой ещё не раз. И тогда вы сможете оказывать нам дружественные услуги. Сейчас же, временно, наши пути разойдутся. Предоставьте жизни вести нас так, как она того хочет. Но если разрешите, я обращусь к вам с очень большой просьбой. Помогите нам устроить в Константинополе несчастного князя с его женой в каком-нибудь хорошем особняке. Вы ведь знаете, как любопытна толпа, и как будет тяжело и без того несчастному мужу переносить насмешки над своей руиноподобной женой.

— Устроить это легче лёгкого, — ответил капитан. — В одной из кают едет греческая семья; да вы их знаете, вы их лечили. Им принадлежит уединённый дом с садом, который они сдают внаём. Сейчас дом свободен, говорил мне мальчик. Если это так, я дам людей и ночью перенесут туда старуху на носилках. Всё это я выясню и пришлю вам сказать. А сейчас я должен откланяться.

И, пожав нам руки, капитан ушёл.

Мне не хотелось разговаривать. И. подошёл к моей постели, присел на стул и стал считать мой пульс.

Давно уж он убедился, что сердце моё перестало биться ураганно, а всё сидел, держа меня за руку.

— Мой мальчик! — тихо сказал он. — Мы только вступаем на путь испытаний, а тебе кажется, что ты страдаешь целый век. Неужели всё, что свалилось на тебя так неожиданно, принесло и приносит тебе лишь горе, заботы и страдания? Представь, что ты был бы вполне благополучен и счастлив возле брата, что всё бы шло нормально. Разве ты встретил бы Али, и Флорентийца, и сэра Уоми? Разве ты узнал бы, что существуют не только обыватели, ищущие для себя одних лишь земных благ? Что есть и люди, воплотившие в себе дух, как огонь творчества сердца, как вечную деятельность любви и мира на общее благо? Взгляни в своё сердце сейчас и осознай, как расширились его границы по сравнению с прошлым! А если бы ты мог заглянуть в сердце Флорентийца, — какую мощь красоты ты

увидел бы! Каким светом и очарованием показался бы тебе твой летящий день в его присутствии! Счастье человека зависит от силы его души; от той высоты, которой он способен достичь. Если в тебе звучит чувственный голос крови и плоти, — твои мечты не поднимаются выше слоя физических тел, прекрасных и желанных. Но если мысль увлекает тебя в пределы любви духовной, ты слышишь, как звучит сердце другого человека; и созвучие ваше складывается по силе тех вибраций, что шлёт мощь твоего творящего сердца. Мчись мыслью к Флорентийцу. И если ты сможешь постичь величие его мысли и духа, то его любовь будет в силах ответить и твоей любви, и запросам твоей мысли, и творчеству твоего сердца. И чем естественнее ты будешь лететь к нему своими мыслями, чтобы слиться с его высоким умением жить в простой доброте каждый день, чем спокойнее будешь при всех обстоятельствах жизни, при всех опасностях её, — тем легче ему будет соединиться с тобой.

Я не всё понимал из того, о чём говорил мне И. Многое казалось неясным, иное невозможным; но спрашивать я ни о чём не хотел.

Распоряжению И. - лежать на палубе — я охотно подчинился, потому что мне не хотелось никого видеть, а книги брата звали к себе. Верзила устроил меня великолепно. И. сел подле писать письма; я обложился книгами и... заснул.

Дальше мы шли безо всяких приключений. Прощанье с капитаном было трогательным и расстроило меня до слез. Он подарил мне свой портрет в чудной рамке, оставил свой лондонский адрес и сказал, что утром зайдёт к нам в отель и побудет со мною, пока И. займётся делами. Мы горячо обнялись, и с помощью верзилы я стал спускаться по трапу одним из последних.

Том 2

Глава 16. В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

Поздний вечер в Константинополе просто ошеломил меня. Необычный говор, суэта, мелькание фесок и гортанные выкрики, пристающие со всех сторон посыльные из отелей, мелькание невиданных мною чудных фиакров — и я совершенно одурел и, наверное, потерялся бы, если бы не увидел Жанну с детьми в сопровождении доктора и двух итальянок, которых встречали их сановитые родственники, — все они ждали на берегу.

Жанна поспешила мне навстречу, ласково прося И. разрешить ей ухаживать за мной, пока я болен, и хотя бы этой ничтожной услугой отплатить нам за всё.

Я рассмеялся, ответив, что совершенно здоров и только из любви и уважения к И. подчиняюсь его распоряжениям, разыгрывая из себя мнимого больного.

Тут итальянки познакомили нас со своими родственниками, и важный посол предложил И. поместить меня в его тихом доме. Но И. отказался категорически, уверяя всех, что мне даже полезен шум и не следует только много двигаться.

Высказав сожаление, итальянки простились, обещая на завтра навестить нас в отеле.

Мы шли все вместе с Жанной и детьми пешком, очень медленно, но совсем недолго. Турки поджидали нас у подъезда отеля, где уже были заказаны комнаты.

Только тут я заметил, как осунулась и изменилась Жанна. На мой вопрос, что её печалит, она прошептала:

— Я пережила такой страх, такой страх, когда вы болели, что и теперь ещё не могу опомниться и часто целыми часами плачу и дрожу.

— Вот видите, как пагубно действует страх, — сказал ей И. — Я ведь неоднократно говорил вам, что Лёвушка выздоровеет. Теперь он здоров, а вас придётся ещё полечить, прежде чем устроить на работу.

— Нет, уверяю вас, нет. Я могу завтра же приступить к работе. Только бы знать, что Лёвушка здоров и весел, — ответила Жанна.

Мы разошлись по своим комнатам. Я сердечно поблагодарил верзилу. И. хотел щедро наградить его, но благородный парень не взял никаких денег. Он успел привязаться к нам и теперь просил разрешения наведываться, пока пароход будет в ремонте.

Как я ни хотел уверить себя, что вполне здоров, однако разделся с

трудом; и всё снова поплыло у меня перед глазами.

Долго ли спал — не знаю; но проснулся от голосов в соседней комнате. Взглянув на часы, я убедился, что проспал раннее утро, было без малого десять. Стараясь бесшумно одеваться, я неловко задел стул, и И. тотчас открыл свою дверь, спрашивая, не упал ли уж я.

Убедившись в моём полном благополучии, он предложил выпить кофе на балконе в компании капитана. А затем позавтракать в обществе Жанны, молодого турка и капитана, пока он, И., будет хлопотать об устройстве Жанны.

Я понял, что И. не хочет говорить в присутствии капитана о том, ради чего, собственно, мы здесь оказались. Но я не сомневался, что он шёл справляться о брате.

Оставшись вдвоём с капитаном, я имел больше возможности убедиться, как разносторонен и образован этот человек. Мало того, что он повидал весь земной шар, совершив кругосветное плавание несколько раз; он знал характерные стороны жизни каждого народа и говорил почти на всех языках. Необыкновенная наблюдательность и чисто морская бдительность, выработанная ожиданием внезапных сюрпризов вероломного моря, приучили его наблюдать за людьми и почти безошибочно понимать их. Я был поражён, как метко и тонко охарактеризовал он И., как угадал некоторые черты моего характера. А Жанна, по его мнению, находится сейчас на грани психического заболевания в результате перенесённых ею потрясений.

— Женщина, — сказал он мне, — в минуты величайшего горя редко способна оставаться одна. Она, сама того не сознавая, тянется к человеку, оказавшему ей внимание, чтобы хоть немного притушить раздражающее её горе от потери любимого. И мужчине, честному джентльмену, следует быть крайне осторожным в своих словах и поступках. Не раз я видел, как утешающий женщину мужчина попадал в безвыходное положение. Она обрушивалась на него всей тяжестью своего страдания и привязывалась так крепко, что приходилось либо жениться, либо бежать, причинив ей новое страдание.

Я ощутил боль. То же или почти то же говорил мне И. Я невольно примолк и подумал, как трудно мне ещё разбираться в человеческих чувствах, и то, что кажется мне простым, на самом деле таит в себе острые шипы.

Капитан вызвал метрдотеля, заказав тонкий французский завтрак, более похожий на обед, и велел украсить стол розами, а я попросил только красные и белые.

К часу дня стол был сервирован, я написал Жанне записку, прося пожаловать на завтрак. Через несколько минут раздался стук в дверь, и тонкая фигурка Жанны в белом платье обрисовалась на фоне тёмного коридора.

Я встретил гостью у самого порога и, поцеловав ей ручку, пригласил к столу. Я ещё не видел Жанну такой сияющей, розовой и весёлой. Она сразу забросала меня вопросами, и я не знал, на какой из них отвечать.

— Я так рада, так рада этой встрече. Мне надо тысячу дел вам сказать и ещё тысячу спросить. И всё никак не получается такой возможности.

— Позвольте вас познакомить с моим другом, который известен вам как капитан, но вы не знаете, что он удивительный собеседник и очаровательный кавалер, — сказал я, воспользовавшись паузой.

Жанна так неотрывно глядела на меня, что даже не заметила капитана, стоявшего в стороне, у стола. Капитан, улыбаясь, подошёл к ней и подал ей белую и красную розы. Наклонясь к её руке, он приветствовал её, как герцогиню, и, предложив руку, повёл к столу.

Когда мы сели, я не узнал Жанны. Лицо её было сухо, сурово; я и не предполагал, что оно может быть таким.

Я растерянно посмотрел на капитана и вконец расстроился. Но на его лице я не прочёл ровным счётом ничего. Это тоже было новое для меня лицо человека, воспитанного, вежливого мужчины, выполняющего свои светские обязанности за столом. Лицо капитана улыбалось, его жёлто-золотые кошачьи глаза смотрели добродушно, но я чувствовал, что Жанна скована его светскостью и не может выйти из рамок, заданных капитаном.

Все её надежды повидаться со мной наедине и сердечно поделиться мыслями о новой жизни разлетелись в присутствии чужого человека; да ещё такого важного, в ореоле мощи и власти, каким окружён всякий капитан в море.

Односложные ответы Жанны, её нахмуренный вид и дурная воспитанность превратили бы всякий завтрак в похоронный обед. Но сказалась выдержка капитана, а его мастерская речь заставила меня смеяться до слез. Жанна с трудом воспринимала юмор; но всё же к концу завтрака стала проще и веселее. Капитан, извинившись перед нами, отправился заказывать какой-то особенный кофе, который мы должны были пить из специальных чашек на балконе.

Воспользовавшись минутой, Жанна сказала, что вечером у неё состоится свидание с другом турка, который предоставит ей магазин с приличной квартирой на одной из главных улиц, чтобы открыть шляпное дело. Она снова и снова говорила, что приходит в ужас от одиночества и

страшится за судьбу свою и детей.

Я успел только сказать, что И. никогда её не оставит, что мы — её друзья навсегда, где бы мы ни находились. Но я мало успел, утешая её, потому что боялся сказать что-нибудь неловкое.

Возвратившийся капитан принёс нам чудесные апельсины, вскоре появился и знаменитый кофе. Но Жанна сидела как в воду опущенная и ушла, отказавшись от фруктов. Я упросил её отнести детям по апельсину, но предложенные капитаном цветы она оставила на столе.

Проводив Жанну и возвратясь на балкон, он взял обе розы, вдохнул их аромат и, рассмеявшись, сказал:

— Нечасто мне приходилось терпеть поражения на дамском фронте. Но сегодня не только я, но и мои цветы потерпели фиаско.

— Я совсем расстроился, — ответил я ему. — Даже голова разболелась. Почему-то я думаю, что бедняжка теперь плачет. И право, мне очень жаль, что я бессилен ей помочь.

— Не в твоём бессилии дело, а в отсутствии образования и воспитания, которые могли бы помочь женщине в тяжкий час испытаний. Ей бы стать женщиной-героиней, а она пока только жена, только мать-обывательница. Её борьба за собственное счастье, за личную жизнь будет ужасна. Пока она не откажется от любви для себя и не начнёт жить для детей, — она пройдёт ад. Вот этому-то её страданию я и поклонился так низко сегодня, — задумчиво сказал капитан.

— Неужели тот, кто любил однажды, любил до самозабвения и потерял рай сердца, должен вновь искать его? Мне почему-то думается, что, любя однажды всем существом, я не мог бы больше приблизиться ни к одной женщине, — возразил я.

— Не мне судить. Я прожил уже половину жизни, быть может большую. И я не знал ещё такой минуты, когда мне захотелось бы воскликнуть: "Мгновенье, остановись!" Я слишком наблюдал людей, одержимых страстями, неспособных владеть собой — и всюду одни только страдания.

Речь капитана была прервана стуком в дверь, и на приглашение войти в комнату появилась высокая фигура князя.

Пользуясь правом больного, я лежал на кушетке под спущенной маркизой на балконе, и капитану пришлось встретить гостя и усадить его подле меня с радушной улыбкой.

Князь объяснил, что ищет капитана, чтобы поблагодарить за помощь его больной жене, а также за отличный, нанятый по его указанию дом. Нас он хотел просить навестить больную.

Выглядел князь неважно. Одет он был элегантно, но его жёлтое лицо, воспалённые глаза и вся фигура говорили о большом истощении и нервном расстройстве.

Капитан, улыбаясь, сказал, что очень сожалеет, что он не доктор, а то наверняка предписал бы постельный режим не жене, а мужу. Я уверил князя, что И. непременно зайдёт, но вряд ли это может случиться сегодня, так как и вечером у него дела.

Посидев с нами около часа, князь попросил разрешения зайти завтра утром, чтобы узнать, в какое время И. мог бы навестить его жену.

Не успели мы обменяться впечатлениями, как снова раздался стук в дверь и две синьоры Гальдони с букетами роз вошли к нам. Обе сияли радостью. Последовало приглашение навестить их в прекрасном посольском особняке. Капитан сказал, что состоит при мне сиделкой, заменяя верзилу, потому что И. уверяет, будто мне ещё пару дней нужно полежать, но что потом он обещает доставить меня к ним.

От итальянок повеяло хорошим тоном, хорошим обществом. А прелестные, бездонные глаза молодой барышни будили в сердце лучшие чувства, проникая в самую его глубину очарованием женственности.

— Вот чего не хватает бедной милой Жанне, — сказал я. — Она лучше многих и многих; а только не умеет владеть собой, так же как и я. Именно потому, что я так плохо воспитан, что я почти постоянно чем-нибудь раздражён, я понимаю Жанну.

— Нет, друг. Ничего общего у вас с ней нет. Ты только неопытен и ещё не умеешь владеть ни своим темпераментом, ни своими мыслями. Но твои желания, идеи, мир высоких стремлений, в котором ты живёшь, — вводят тебя в круг тех счастливых единиц, кто достигает на земле умения принести пользу братьям. Рано или поздно ты найдёшь свой, индивидуальный, неповторимый и невозможный для другого путь и внесёшь в жизнь что-то новое, — я уверен, — большое и значительное. Что же касается Жанны, то дай-то Бог, чтобы её беспредельное личное страдание раскрепостило в ней хотя бы материнскую любовь и помогло бы ей стать матерью-помощницей и защитницей своих детей, а не тираном. Есть много случаев, где выстрадавшее матерью горе обращается в тиранию и деспотизм по отношению к детям! При этом женщина убеждена, что любовь её — высочайший подвиг.

Я смотрел во все глаза на капитана. Лицо его было прекрасно. На нём лежала печать той глубокой сосредоточенности, которую я видел только на лицах И., Флорентийца, Али.

Моё молчание заставило его повернуться.

— Что ты так смотришь на меня, мой мальчик, мой «брудершафт»? Что нового увидел ты во мне? — сказал он, мягко и нежно касаясь моего плеча.

— Я не только что-то новое увидел в вас, но и понял, что вам необходимо познакомиться с моим другом Флорентийцем. Это самый великий человек, которого я до сих пор видел. Даже И., которого вы выделяете среди прочих, не может быть с ним сравним. Хотя И., - я признаю всем сердцем, — для меня недостижимый идеал высоты и доброты. Не зная моего друга Флорентийца, вы произнесли уже дважды те слова, которые я слышал от него. О, как бы я был счастлив привести вас к нему.

Незаметно для нас на балкон вошёл И.

— Ну, кажется, вы не скучаете в обществе друг друга. Но почему я не вижу здесь Жанны? Мы условились, что она подождёт тут, и я расскажу, где и как состоится её свидание в связи со шляпным делом. Неужели такие элегантные кавалеры были не в состоянии рассеять тоску одной-единственной дамы? — спросил он, пожимая нам руки и улыбаясь.

— Нет, — ответил капитан. — Дама вынудила меня вспомнить о смирении. Даже цветы мои отвергла. А хитро обдуманное меню и вовсе не имело успеха. Думаю, что я-то и лишил даму аппетита и хорошего настроения. Если бы не ваше распоряжение не покидать Лёвушку, — я бы, пожалуй, сбежал с поля брани.

— Жанна очень огорчила меня, И. Я снова не сумел проявить такт и расстроил её, вместо того чтобы принести ей мир. Должно быть, только чёрным женщинам может улыбаться перспектива радостных и простых отношений с таким ротозеем, — иронически заметил я.

— Это ещё что за чёрные женщины? — вскричал капитан.

— Первая, очень памятная встреча Лёвушки с темнокожей женщиной в Б., - сказал И. — Он впервые увидел элегантную и образованную негритянку не на картинке, а в семье моего друга и был потрясён, — ответил ему И. — Ты что-то бледен, Лёвушка? Я очень хотел бы, чтобы ты осторожно сошёл с капитаном в сад подышать в тени. Как мне тебя ни жаль, но при разговоре моём с Жанной — до прихода купца — тебе надо присутствовать. Я бы и вас просил побыть с нами, капитан, так как предвижу, что Жанне будет очень тяжело перестраиваться для жизни одинокой работающей женщины. К сожалению, о её дяде пока ничего не узнал. Есть, правда, сведения, что он заболел и уехал к родственникам в провинцию. Но дальше никаких следов.

Капитан с радостью согласился посидеть со мною в саду. И. спросил, как мы посмотрим на то, чтобы пропустить обед и поужинать поздно вечером.

Мы согласились и, спускаясь в сад, встретили обоих турок. Молодого мы захватили с собой, а старший прошёл к И.

Ибрагим ходил ещё плохо, опирался на палку, но сильной боли в ноге и спине не испытывал. Он составил для нас целый план ознакомления с Константинополем. Я пришёл в восторг от названий ряда исторических мест, но подумал, что и половины этого, вероятно, осмотреть не успею.

Мне очень хотелось услышать о брате, узнать, как будет складываться паша судьба, но... не в первый раз за эти дни я проходил урок терпения и самообладания.

Приближался вечер, когда слуга от имени И. пришёл звать нас пить чай. Чай был сервирован с не меньшей тщательностью, чем завтрак, заказанный капитаном. В большой комнате И. стол сиял серебром и всевозможными восточными сладостями.

Как только мы вошли, И. отправился за Жанной. Он не возвращался довольно долго, я начинал уже беспокоиться и раздражаться, когда, наконец, они вошли, продолжая начатый разговор, очевидно, не очень для Жанны радостный.

Она теперь была в скромном синем платье, выделявшем особенно резко её бледность. Кивнув мне и капитану, она поздоровалась с обоими турками и села на указанное ей место. Сам И. сел рядом, мы с капитаном напротив, турки по краям стола, а место по левую руку от Жанны было пусто.

Не успели мы усесться, как раздался лёгкий стук в дверь и в комнату вошёл высокий старик, совершенно седой, худой, красивый, с довольно резкими чертами лица.

И. встал навстречу, познакомил со всеми и указал на место рядом с Жанной. Он был представлен как Борис Фёдорович Строганов.

Приглядевшись к Строганову, я никак не назвал бы его русским. Типичное лицо турка с горбатым носом, большими чёрными глазами и бровями, бритое, скорее похожее на лицо актёра, чем купца.

Завязался общий разговор, в котором Жанна не принимала никакого участия. На её лице были заметны следы слез, которые она пыталась запудрить, веки покраснели. Всем сердцем я сострадал бедной женщине и печалился, что трудно передать энергию из одного сердца в другое. Все сидевшие за столом, я был уверен, собрались только для того лишь, чтобы помочь ей. И всё же общая воля не помогла ей совладать с собой.

Я так пристально впивался взглядом в лицо Строганова, что он, смеясь, сказал:

— Бьюсь об заклад, что вы, молодой человек, писатель. Все рассмеялись, а я с удивлением спросил:

— Почему вдруг вы сделали такой вывод?

— Да потому, что за мою долгую жизнь я много перевидал людей. И только у очень одарённых писателей мне приходилось видеть такие глаза-шила, от которых на душе делается беспокойно. Не могу и не хочу сказать, что оказываемое вами внимание мне неприятно. Хочу только вас уверить, что я отнюдь не таинственная личность, и преступлений, ловко укрытых от правосудия, за мной не числится. А потому я не слишком интересен, — сказал он, улыбаясь и протягивая мне портсигар.

— Благодарю покорно, но я ещё не научился курить, — уклонился я. — Что же касается пристальности моего взгляда, то приношу вам извинения за свою невоспитанность. Я необычайно рассеян и с детства ношу кличку "Лёвушка-лови ворон". Надеюсь, вы меня простите и не отнесётесь ко мне слишком строго, — ответил я, огорчённый тем, что так нелепо обратил на себя внимание нового гостя.

Он привстал, слегка поклонился и вежливо ответил, что его замечание не носило характера вызова, а было неумелым комплиментом, и что теперь мы квиты.

И. спросил, давно ли он живёт в Константинополе.

— Очень давно. Я здесь родился, — сказал Строганов. — Мой отец был капитаном торгового судна и часто бывал в Константинополе. В одну из стоянок он познакомился с полурусской, полутурецкой семьёй и женился на одной из дочерей. Я очень похож на мать; отсюда это несовпадение между фамилией и внешностью. Все остальные члены моей семьи блондины плотного сложения. Я ведь и родился в том доме, где у меня сейчас свободен магазин. Вы для кого собираетесь снять помещение?

— Для вашей соседки, под шляпное дело, — ответил И.

Видя, что сосед повернулся к Жанне, И. сказал ему, что Жанна француженка и говорит только на своём языке.

Строганов перешёл на французский. Говорил он свободно, несколько с акцентом, но совершенно правильно.

У меня забилося сердце. Я так боялся, что нелюбезное поведение Жанны вынудит Строганова передумать. Но Строганов, точно ничего не замечая, очень деловито и любезно объяснил ей все удобства расположения улицы, магазина и квартиры. Это, по его словам, небольшой особняк; внизу магазин и передняя, а наверху квартира из двух комнат и кухни, выходящих во двор с хорошим садом.

Видя, что Жанна молчит, он предложил заехать завтра утром за нею и показать ей дом. Если понадобится ремонт, то сделать его недолго.

И. горячо поблагодарил Бориса Фёдоровича, объяснив ему, что Жанна

— племянница того человека, о котором он наводил утром справки в его присутствии, и что ей предстоит остаться в Константинополе одной с двумя маленькими детьми, так как все мы едем дальше.

Строганов повернулся к Жанне, по лицу которой побежали слезы.

— Не горюйте, мадам, — сказал он ей. — В жизни всем приходится бороться, и почти все мы начинаем с очень малого, чтобы заработать себе кусок хлеба. На ваше счастье, вы встретили замечательных людей, которые о вас заботятся. Это редкостное везение. Быть может, вы чем-то заслужили особое расположение судьбы, поскольку и я буду рад помочь вам. Дело в том, что у меня есть 25-летняя дочь, потерявшая жениха и не пожелавшая более выйти замуж. Я очень хотел бы пристроить её к какому-нибудь делу. Если вы можете обучить её вашему мастерству, а потом взять в компаньонки, то и магазин и обстановка дома будут стоить вам вдвое дешевле.

Лицо Жанны просветлело. Прелестные губы сложились в улыбку, и она протянула, по-детски доверчиво, обе руки старику.

— Я буду счастлива иметь компаньонку. Я очень хорошо знаю своё дело, и за моими шляпами дамы обычно гоняются. Но в бухгалтерии, в счетах — я ничего не понимаю; меня пугает эта сторона дела. Я чувствовала бы себя куда лучше, если бы вы наняли меня, а дело было бы вашим, — быстро сказала она.

— Это, я думаю, совсем не входит в планы ваших друзей, — ответил ей Строганов. — Как я понял, вам нужно иметь возможность жить независимо и вырастить детей. Будьте только смелы. В счетах и финансовых делах моя дочь тоже ничего не понимает, но она хорошо образованна, трудолюбива. А я буду первое время руководить вами обеими в ваших финансовых операциях. Всё по плечу человеку, если он не боится, не плачет, а приступает к делу легко и смело. Я не раз замечал, что выигрывали в делах не те, кто имел много денег, но кто легко начинал.

Дело было решено. На завтра Жанна, И. и Строганов должны были встретиться в 11 часов утра в будущей квартире Жанны.

Я с мольбой взглянул на И., не решаясь просить разрешения идти вместе с ними. Но он, предупреждая мою просьбу, сказал Строганову, что я был очень болен, что идти пешком или трястись в коляске мне нельзя. Нет ли возможности добраться туда по воде? Строганов сказал, что можно доплыть в шлюпке до старой сторожевой башни, а там останется лишь пересечь два квартала и выйти прямо к дому.

— Так мы и сделаем, — сказал капитан, глядя на Жанну, — если вся компания нас приглашает.

Жанна рассмеялась и сказала, что она-то будет счастлива; но захочет ли сам Лёвушка? Всем было смешно, так как моя очевидная жажда видеть всё самому ясно читалась на лице.

Строганов допил свой чай и простился, доброжелательно улыбаясь. Проводить его вызвался старший турок, которого тоже ждали дома дела.

После их ухода И. передал Жанне две толстые пачки денег, сказав ей, что они предназначены детям. И если она сейчас истратит что-то на устройство дела, то должна будет пополнить капитал, когда дело станет приносить прибыль, так как эти деньги должны пойти на образование её детей.

— Может быть, мне следовало бы только поблагодарить вас и ваших друзей, господин старший доктор. Но я никак не могу понять, неужели для меня в жизни остались только дети? Неужели я сама совсем ничего не стою? Ведь за всё время на пароходе никто не сказал мне лично ласкового слова, а все заботы только о детях? — сказала Жанна И. — Я очень предана детям, хочу и буду работать для них. Но неужели для меня всё кончено только лишь потому, что я потеряла мужа? Меня просто возмущает такая тираническая установка.

В голосе её появились истерические нотки, и я вспомнил, как капитан утверждал, что Жанна — на грани психического заболевания.

— Когда-нибудь, — ответил ей И., — вы, вероятно, сами поймёте, как ужасно то, что вы говорите сейчас. Вы очень больны, очень несчастны и не можете оценить всей трагедии такого умонастроения. Всё, что все мы могли для вас сделать, — мы сделали. Но никто не в состоянии поселить в вашем сердце мир. А это-то первое условие, при котором труд ваш будет удачным. Вы видите в нас счастливых и уравновешенных людей. И вам кажется, что мы именно таковы. На самом же деле вы и представить себе не можете, дорогая Жанна, сколько трагедий пережито или переживается и сейчас некоторыми из нас. Я ни о чём не прошу вас сейчас; только не отдавайтесь всецело горю этой минуты и не считайте, что если мы уедем, — для вас не будет больше утешения. Вы найдёте его в успешной работе. Не думайте пока о любви как о единственной возможности восстановить своё равновесие. Поверьте моему опыту, что жизнь без труда — самая несчастная жизнь. А когда есть труд — всякая жизнь уже больше чем наполовину — счастливая.

Жанна не ответила ни слова; но я понимал, что в её душе первое место занимали мужчина и любовь, потом дети, а труд поневоле являлся только необходимым приложением.

Ибрагим обещал Жанне привести няню-турчанку, старушку,

прожившую в их доме много лет.

Таким образом, на Жанну, как из мешка доброй феи, сыпались подарки.

И. положил конец нашему не особенно весёлому чаепитию, предложив всем разойтись, потому что я устал и бледен.

Жанна, прощаясь со мной, сказала, что решится снять дом только в том случае, если я ей это посоветую. Я только и успел сказать, что сам следую советам И. и для неё гораздо важнее не моё, а каждое его слово.

Капитан с молодым турком ушли в ресторан, мы с И. категорически отказались от еды и, наконец, остались одни.

Мы вышли на балкон. Была уже тёмная ночь, показавшаяся мне феерической; такого дивного неба и необычайных звёзд я ещё не видел. Освещённый огнями, чудной и чудный город показался мне теперь панорамой из сказки.

— Я сегодня почти ничего не узнал нового к тому, что уже говорил тебе. Но зато получил письмо от Али, в котором тот просит нас остаться в Константинополе до тех пор, пока сюда не приедет Ананда. И тогда, все вместе, мы двинемся в Индию, в имение Али. Флорентиец сообщил телеграммой, что твой брат и Наль в Лондоне. Но думаю, они всё же вынуждены будут уехать в Нью-Йорк, куда их проводит сам Флорентиец, — сказал И.

— Неужели я поеду с вами в Индию, а брат мой в Америку, даже не повидавшись перед разлукой? — печально спросил я.

— Что было бы, если бы ты, Лёвушка, увидел сейчас брата? Мог бы ты, после первой радости свиданья, задать ему все те вопросы, которые поднялись и живут в твоей душе и на которые ты хотел бы получить полные, исчерпывающие ответы? Ведь ты прожил много времени рядом с братом, а только теперь понял, что ваши духовные миры вращаются вокруг разных осей. Пойми, не в физическом свидании дело, а в том, чтобы ты понимал его без вопросов и слов. Чтобы тебе осмыслить книги брата, — надо прежде всего много учиться. У Али старшего ты найдёшь прекрасную библиотеку, а в Али молодом обретёшь друга и помощника, и сотрудника тоже. Сейчас ещё не поздно выбирать. Если ты хочешь ехать к брату, — Флорентиец возьмёт тебя с собой и Ананда доставит тебя к нему. Если же ты, уже зная по опыту, как трудно жить рядом с людьми, превосходящими тебя знаниями, к которым ты сам не можешь найти ключа, — пожелаешь остаться со мной и Али, — ты можешь сделаться со временем настоящим помощником и Флорентийцу, и брату, которому не однажды ещё понадобится твоя помощь. Да, ты свободен выбирать себе путь. Но почему-то мне кажется, что твоя интуиция и твой талант сами говорят тебе о том,

что совершенно невозможно бросить начатое.

Пока мы живём здесь и записываемся всюду под твоим именем, те, кто гонится за братом, непременно приедут сюда, как только им дадут знать, что мы здесь. И пока мы будем их мишенью, брат твой успеет увезти Наль в Америку. Не скрою от тебя своего беспокойства. Бешеный удар турка, если и не уложил тебя на месте, то растревожил весь твой организм. Тебе предстоит радостным усилием воли приводить себя в равновесие. Всякий раз, когда ты начинаешь горячиться и раздражаться, — думай о Флорентийце, вспоминай о его полнейшем самообладании, благодаря которому ты не раз бывал спасён в дороге. Подумай ещё и о Жанне, ведь тебе понятно, что она ведёт себя неверно. И чем больше и глубже ты вникнешь в свои обстоятельства, тем легче поймёшь, при каких условиях ты будешь особенно полезен и нужен брату и Флорентийцу. Таким, которому всё происходящее кажется загадочным, или овладевшим знанием и понявшим, что в природе нет тайн, а есть только та или иная ступень познания.

Мы разошлись по своим комнатам, но заснуть я не мог. Я так понимал теперь Жанну в её порывах к личному счастью.

Всё моё счастье заключалось теперь в свидании с братом и Флорентийцем. Мне казалось, что я ничего другого не хочу. Пусть я ни на что другое не годен, я согласен быть им слугою, чистить их башмаки и платье, только бы видеть их дорогие лица, слышать их голоса и не внимать стонам собственного сердца. Я готов был горько заплакать, как вдруг мне вспомнилось, что сказал Строганов: "Я часто видел, как побеждали те, кто начинал свой путь легко".

Даже в жар меня бросило. Я опять провёл параллель между собою и Жанной; и снова увидел, что целая группа лиц помогает мне, как и ей, а я так же слепо упёрся в жажду личного счастья.

Я постарался забыть о себе, устремился всеми помыслами к Флорентийцу, и снова знакомый облик вдруг возник рядом, и я услышал дорогой голос: "Мужайся. Не всегда даётся человеку так много, как дано тебе сейчас. Не упusti возможности учиться; зов к знанию бывает однажды в жизни и не повторяется. Умей любить людей по-настоящему; Такая любовь не знает ни разлуки, ни времени. Охраняй бесстрашно, правдиво и радостно своё место подле И. И помни всегда: радость — сила непобедимая".

Необычная тишина воцарилась во мне. Легко и просто, словно на меня снизошло озарение, я понял, как мне жить дальше, и заснул безмятежным сном, совершенно счастливый.

Проснулся я утром, когда И. будил меня, говоря, что верзила с капитаном ждут меня внизу, чтобы плыть морем к месту общего свидания, и что завтракать я буду в лодке.

Я быстро оделся и не успел даже набросить пальто, как появился верзила, заявляя, что "не по-моряцки долго одеваюсь". Он не дал мне взять пальто, сказав, что в лодке есть плащ и плед, но и без них тепло.

Он вёл меня какими-то дворами, и мы, даже идя очень медленно, скоро очутились у моря, где я благополучно сел в лодку.

Глава 17. НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ЖАННЫ И КНЯЗЯ

Море было тихо. Погода для Константинополя стояла необычайно прохладная, что капитан объяснял влиянием бури. Он рассказал, что множество мелких и крупных судов разбито, а пропавших лодок и рыбаков до сих пор сосчитать не могут.

— Да, Лёвушка, героическими усилиями моей команды и беззаветной храбростью — твоей и твоего брата — много счастливых спаслось на моём пароходе. И мы с тобой можем сегодня наслаждаться этой феерической панорамой, — сказал капитан, показывая рукой на сказочно красивый город. — А сколько людей сюда так и не добралось. Вот и угадай свою судьбу за час вперёд, и скажи когда-нибудь, что ты счастлив, думая о завтрашнем дне. Выходит, я прав, когда говорю, что живём мы один раз, и жить надо только мгновением и ловить его, это драгоценное летящее мгновение счастья.

— Да, — ответил я. — Я тоже прежде думал, что надо искать повсюду только своё личное счастье. Но с тех пор, как я ближе узнал моих новых друзей, — я понял, что счастье жить — не в личном счастье, а в том полном самообладании, когда человек сам может приносить людям радость и мир. Так же как и вы, И. говорит о ценности сиюминутного, вот этого самого летящего мгновения. Но он видит в этом умение обнять сразу весь мир, окружающих, трудиться для них и с ними, сознавая себя единицей Вселенной. Я ещё мало и плохо понимаю его. Но во мне уже зазвучали новые ноты; сердце моё широко открылось для любви. Я точно окончил какой-то особенный университет, благодаря которому понимаю теперь каждый новый день как ряд моих духовных университетов. Я перестал думать о том, что ждёт меня в жизни вообще. А раньше всё жил мыслями о том, что будет со мною через десять лет.

— Да, мои университеты много хуже твоих, Лёвушка, — ответил капитан. — Я вот живу днём завтрашним или уже прошедшим, так как моё настоящее не удовлетворяет и не пленяет меня. Сейчас я усиленно думаю о Гурзуфе и мечтаю встретить Лизу. Настоящее я как-то и не научился достаточно ценить.

Пользуясь тем, что матросы не понимали французского, мы продолжали так беседовать, изредка прерываясь, чтобы полюбоваться красотой

отдельных зданий, куполами мечетей и дворцов, которые называл капитан, отлично знавший город.

Наше довольно долгое путешествие уже подходило к концу, когда мои мысли вернулись к Жанне.

— Ваш глубокий поклон великому страданию Жанны не выходит у меня из головы, — сказал я.

— Бедная женщина, девочка-мать! Так много вопросов предстоит ей решить за своих малюток. Как важно — начать воспитывать человека с самого детства. А что может Жанна? Ведь она ничего не знает, не сумеет прочитать до конца ни одной книжки о воспитании и ничего в ней не поймёт, — задумчиво сказал капитан.

— И мы с вами не много поймём, если писавший стоит на ступени своего творчества гораздо выше нас. Всё зависит от тех вибраций сердца и мысли, которыми живёт сам человек. Понять можно только что-нибудь тебе созвучное. И такой, общий для всех язык, единящий бедуина и европейца, негра и англичанина, святую и разбойника, — есть. Это язык любви и красоты. Любить может Жанна своих детей; любить не животной любовью, как свою плоть и кровь, но гордясь их достоинствами или страдая от их пороков, — заступился я за Жанну.

— Но она может сейчас любить их, как свой долг, как свой урок жизни. И пока она поймёт, что её жизнь — это её обстоятельства, неизбежные, единственные, посланные во всём мире ей одной, а не кому-то другому, — пройдёт много времени. Вот тогда в её жизни не будет места ни ропоту, ни слезам, а только радостный труд и благословение, — отвечал мне капитан.

Я уставился на него, забыв обо всём на свете. Лицо его было нежно и доброта лилась из глаз. Чарующая волна нежности прошла из моего сердца к нему.

— Как нужно вам встретиться с Флорентийцем, — пробормотал я. — Или, по крайней мере, поговорить очень серьёзно с И. Я ничего не знаю, но — простите, простите меня, мальчишку рядом с вами, с вашими достоинствами и опытом, — однако мне кажется, что и у вас в голове и сердце такая же каша, как у меня.

Капитан весело рассмеялся.

— Bravo, bravissimo, Лёвушка! Если у тебя каша, то у меня форменная размазня, даже кисель. Я сам ищу случая поговорить с твоим загадочным И., да мне всё не удаётся. Вот мы и добрались, — добавил он, отдав матросам приказание править к берегу и пристать к концу мола.

Мы вышли из лодки и в сопровождении верзилы стали подыматься в город. Вскоре мы были уже на месте и ещё издали увидели, как вся наша

компания вошла в дом.

Мы нагнали своих друзей в передней. Ко всеобщему удивлению, квартира оказалась хорошо меблированной. Из передней, светлой, с большим окном, обставленной на манер приёмной, дверь вела в большую комнату, нечто вроде гостиной в турецком стиле.

Строганов объяснял Жанне, как он мыслит устроить прилавков и стеклянные шкафы для готовых шляп, перьев, цветов и лент, чтобы покупательницы сразу могли оценить талант и тонкий вкус Жанны и выбрать понравившиеся им вещи.

Далее находилось помещение для мастерской, где стояло два длинных стола и откуда дверь вела в сени чёрного хода.

Дети вцепились в меня сразу же, но И. запретил их поднимать. Они надулись и утешились только тогда, когда верзила посадил обоих на свои гигантские плечи и вынес в сад, где был устроен небольшой фонтан и стояло несколько больших глиняных сосудов с длинными, узкими горлами.

Осмотрев нижние помещения, мы снова вышли в переднюю и по железной винтовой лестнице поднялись на второй этаж.

Здесь были три небольшие комнаты, одна из них была обставлена как столовая; в другой стояли две новенькие детские кровати и диван; в третьей — великолепное зеркало в светлой раме, широкий турецкий диван и несколько кресел.

У Жанны побежали слезы по щекам. Она снова протянула обе руки Строганову и тихо сказала:

— Вы вчера преподали мне огромный урок, говоря, что побеждает тот, кто начинает своё дело легко. Сегодня же вы показали мне на деле, как вы добры; как просто вы сделали всё, чтобы помочь мне легко начать моё дело. Я никогда не забуду вашей доброты и постараюсь отплатить вам всем, чем только смогу. Вы навсегда сделали меня преданной слугой за одни эти детские прелестные кровати, о которых я и мечтать не смела.

— Это пустяки, мадам; я уже давно хотел обставить этот домик, так как говорил вам, что я здесь родился и ценю его по воспоминаниям и тем урокам жизни, что я получил здесь. Я очень рад случаю обставить его для женщины, которая трудится, и её детей. А вот и дочь моя, — продолжал Строганов, двигаясь навстречу поднимавшейся по лестнице женской фигуре.

Перед нами стояла высокая женщина, закутанная в чёрный шёлковый плащ со спущенным на лицо чёрным покрывалом.

— Ну вот — это моя дочь Анна, — сказал он, обращаясь к Жанне. — Вы — Жанна, она — Анна, хорошо было бы, если бы вы подружились и

«благодать» царила бы в вашей мастерской, — продолжал он, смеясь. — Ведь Анна значит по-гречески — благодать. Она очень покладистого и доброго характера, моя любимая благодать.

Анна откинула с лица своё чёрное покрывало, и... мы с капитаном так и замерли от удивления и восторга.

Бледное, овальное лицо с огромными чёрными глазами, чёрные косы, лежавшие по плечам и спускавшиеся ниже талии, чудесный улыбающийся рот и белые, как фарфор, зубы. Протягивая Жанне свою изящную руку, Анна сказала низким приятным и мягким голосом:

— Мой отец очень хочет, чтобы я научилась трудиться не только головой, но и руками. Я несколько лет сопротивлялась его воле. Но на этот раз, узнав, что моей учительницей будет женщина с детьми, перенесшая страшное горе, я радостно и легко согласилась, даже сама не знаю почему. Не могу сказать, чтобы меня пленяли шляпы и дамы, — продолжала Анна, смеясь, — но что-то интуитивно говорит мне, что здесь я буду полезна.

Её французская речь была чиста и правильна. Она сбросила глухой плащ и оказалась в простом, но элегантном белом шёлковом платье и чёрных лакированных туфельках, необыкновенно маленьких для её большого роста.

Не знаю, длинными ли косами, крошечными ли туфельками, стройностью ли фигуры или какой-то особенной элегантностью манер, но чем-то Анна напомнила мне Наль. Я не удержался и прошептал: "Наль, Наль".

— Что такое? Что ты говоришь? — тихо спросил меня капитан. И. взял меня под руку и спросил тоже:

— Лёвушка, что ты шепчешь? Это не Наль, а Анна. Приди в себя и не осрамись, когда нас будут ей представлять. Руки не целуй и жди, пока она сама не протянет тебе руку. А то, пожалуй, ты ещё задрожешь, как при встрече с Хавой, — улыбнулся он мне.

— Шехерезада! Вся моя жизнь теперь не иначе как сказка. Можно отдать полжизни, чтобы быть любимым одну ночь такой женщиной, — восхищённо произнёс капитан.

Отец знакомил Анну со всеми по очереди, она внимательно смотрела каждому в глаза, подавая руку с лёгкой улыбкой, но истинное внимание её привлекли дети, въехавшие верхом на верзиле. Анна подошла к детям, протягивая им руки. Малютки смотрели на неё во все глаза; девочка потрогала её косы и спросила:

— Почему ты, тётя, такая чёрная? Тебя покрасили сажей?

— Нет, — засмеялась Анна. — Это отец наградил меня таким цветом

волос. Но скоро я буду седая, и ты перестанешь бояться моих кос.

Наконец очередь дошла и до нас.

Первым был представлен капитан. Он низко поклонился и пожал протянутую ему руку, глядя прямо в лицо Анне, которая на сей раз опустила глаза; на щеках её разлился лёгкий румянец, и мне показалось, что на нём мелькнуло выражение досады.

На И. Анна взглянула пристально, и её чёрные глаза вспыхнули, точно факелы.

— Вы тот друг Ананды, конечно, о котором он мне писал в последнем письме? Я очень счастлива встретить вас. Надеюсь, что до приезда Ананды вы окажете честь нашему дому и посетите нас.

— Я буду счастлив навестить вас, если ваш отец ничего не имеет против, — ответил И.

— Вы думаете, что моя турецкая внешность имеет что-либо общее с восточным воспитанием? Уверяю вас, нет. Более свобододлюбивого и отзывчивого отца не сыскать во всём мире. Это первый мой, да и всех моих сестёр и братьев, друг и помощник. Каждый из нас совершенно свободен в выборе своих знакомств. Единственное, чего не терпит мой отец, — это праздная жизнь. Я одна в нашей семье ещё не зарабатываю денег. Но теперь и я поняла, что мне необходимо общаться с людьми, внося свою посильную лепту в серый день, — говорила Анна, пользуясь тем, что Жанна и отец продолжали осмотр спален.

— Разрешите мне представить вам моего двоюродного брата Лёвушку Т., — сказал И. — Он, как и я, друг Ананды и Флорентийца, о котором думает день и ночь, — прибавил И., подталкивая меня вперёд. — Быть может, вы позволите нам вместе навестить вас; мы с Лёвушкой почти не разлучаемся, так как он несколько нездоров сейчас.

— Я буду очень рада видеть у себя вас обоих, — любезно ответила Анна, протягивая мне руку, которую я слегка пожал.

— А, попались, молодой человек, — услышал я позади голос Строганова. — Анна, наверное, уже почуяла в вас писателя. Она ведь сама неплохая поэтесса. Пишет для детей сказки прекрасно, но не соглашается их печатать. Её произведения всё же очень известны в Константинополе. Держу пари, что она уже вас околдовала. Только вы ей не верьте, она у нас вроде как без сердца.

— Отец, ты так сконфузил молодого писателя, — если он действительно писатель, — что он тебе, несомненно, отомстит, изобразив тебя по крайней мере константинопольской достопримечательностью, — сказала Анна, громко, но очень мелодично рассмеявшись.

К ней приблизилась Жанна, обе женщины отошли к окну, и о чём они говорили, я не знаю. Анна стояла к нам профилем, и все четверо мы смотрели на неё.

Мне вспомнился благоуханный вечер в саду Али: вспомнились тёмные, но не чёрные косы Наль, её зелёные глаза и три других мужских лица, смотревших на неё неотрывно с совершенно разным выражением.

Так и сейчас — капитан напряжённо смотрел на Анну и видел в ней только физическое очарование гармоничных форм. Знакомое мне выражение хищника светилось в его жёлтых глазах; он подался вперёд и напоминал тигра, следящего за добычей.

На лице И. разлились мягкость и доброта, точно он благословлял Анну, и у меня мелькнуло в сознании: «благодарить».

Отец глядел задумчиво и печально на свою дочь, точно он страдал от какой-то тайной боли своей дочери, которой не мог помочь и которая бередила его сердце.

Я же весь пылал. В голове моей мелькали мысли, они кипели, точно волны насккивая друг на друга. Я мысленно видел Ананду подле высокой фигуры Анны и думал, что никто другой не мог быть избран ею, если она близко знала такого обаятельного красавца с глазами-звёздами.

Я совершенно забыл обо всём; я видел только Ананду, вспоминал его необычайный голос, и вдруг у меня в ушах он зазвенел, этот голос:

"Не всякая любовь связывает плоть людей. Но плоха та любовь, что связывает рабски дух их. То будет истинной любовью, когда все способности и таланты раскрываются к творческой деятельности, где освобождается дух человека".

Слуховая иллюзия была так сильна, что я невольно бросился вперёд, чтобы увидеть Ананду из окна. Но железная рука И. меня крепко держала.

Капитан повернулся на произведённый мною шум.

— Вам дурно, Лёвушка! Как вы бледны! Здесь душно, поедemте домой, — сказал он, беря меня под руку с другой стороны и нежно стараясь меня увести.

Жанна услышала последние слова капитана, быстро подошла ко мне и попросила:

— Не уходите, Лёвушка.

Но увидев мою бледность, покачала головой и тихо прибавила:

— Вот какая я эгоистка! Только о себе думаю. Вам необходимо домой. Вы очень страдаете?

Я не мог выговорить ни слова, какая-то судорога сжала мне горло. И. сказал Жанне, что сейчас капитан отвезёт меня домой, а вечером я смогу

пообедать с нею, если она освободится к семи часам, — мы будем ждать её. Сам же он, И., - если она разрешит, — примет участие в её делах по устройству квартиры.

Тут вмешались всё время молчавшие турки, старик Строганов и Анна, категорически протестуя против вмешательства И., уверяя, что справятся и без него.

Мы простились со всей компанией и, сопровождаемые верзилой, который передал Жанне детей, вышли втроём на улицу.

И. хотел проводить меня, но капитан попросил его посидеть со мною, пока они с верзилой не отлучатся совсем неподалёку.

Я был рад посидеть в тени, рад побыть с И. Я попросил его дать мне укрепляющую пилюлю Али, но он ответил, что никакие пилюли сейчас мне не помогут.

— Есть люди, Лёвушка, которые слышат и видят то, чего не могут ни слышать, ни видеть сотни тысяч других. Они одарены особой силой — внутренним зрением и слухом с иной частотой колебаний и вибраций, чем те, благодаря которым воспринимает впечатления и ощущения большинство людей. У тебя есть этот дар — слышать и видеть на расстоянии, но ты принимаешь это за галлюцинацию, результат своей рассеянности. Если бы удар по темени не пришёлся так не вовремя, — твои способности развивались бы нормально. Теперь же весь твой организм, весь спинной мозг потрясены с такой необычайной силой, что огонь, который живёт в каждом человеке непробужденным, — как его скрытая сила, — внезапно вырвался и смёл все преграды, лежавшие на его пути, обострив все твои духовные силы. Когда ты оправишься от потрясения, я объясню тебе всё то, о чём говорю лишь вскользь. Я хочу только, чтобы ты понял, что ты не болен, не сходишь с ума, просто в тебе преждевременно раскрыты к восприятию силы частотой колебаний выше, больше и гораздо значительнее, чем те, к которым ты привык. Будь спокоен. Больше лежи и всеми силами старайся не раздражаться. Никому ни слова о том, что мы сейчас говорили, — прибавил он, завидев капитана и верзилу.

Представившееся зрелище было довольно необычно, и издали я никак не мог понять, что же к нам приближается. Но И. начал сразу же смеяться и сказал:

— Ну, поздравляю, Лёвушка. Будешь путешествовать по Константинополю в роли гаремной красавицы.

Теперь и я смог рассмотреть большой паланкин с опущенными занавесками, который несли два огромных турка. Я так возмущился, так затопал ногами, что И., весело смеявшийся за минуту до этого, схватил

меня обеими руками, усадил и очень серьёзно сказал:

— Я только что просил тебя не раздражаться и предупреждал о всей серьёзности твоего состояния сейчас. Неужели для тебя так мало значат мои слова и все дальнейшие возможности чудесной жизни познания? И неужели же у тебя нет чувства юмора?

— И юмор я понимаю, и чрезвычайно дорожу всякой возможностью продвинуться вперёд. Но я вовсе не желаю стать комическим персонажем, пусть даже только в глазах матросов, — ответил я запальчиво.

— Прежде всего, сдержи себя. Осознай огромную радость от того, чтобы быть господином самому себе. И оцени заботу капитана, Будь деликатен и, прежде всего, воспитывай себя так, чтобы находить джентльменскую внешнюю форму для выражения своих, пусть даже очень неприятных чувств. Ищи такт, о котором говорил тебе Флорентиец.

Группа приближалась. Капитан отделился и подошёл к нам, весело размахивая фуражкой.

— Как видите, никакой тряски не будет. Перед вами носилки одного моего безногого приятеля, который предпочитает этот способ передвижения всякому другому. Но Бог мой! Вам хуже, Лёвушка? То были бледны, теперь вы в красных пятнах, — сказал тревожно капитан.

Я поборол припадок яростного раздражения и только собрался "с холодной любезностью" поблагодарить капитана, как в дело вмешался И.:

— Нет, капитан, Лёвушке не хуже. Это всё ещё реакция от удара. Но он прекрасно дойдёт с вами пешком до лодки, и это ему будет даже полезно. А носилки ваши, если бы вы согласились, были бы очень кстати для детей Жанны, чтобы отправить их домой. Жанне придётся ездить по делам, а дети связывают её по рукам и ногам. Если бы вы разрешили употребить раздобытый вами экипаж по моему усмотрению, — я бы сейчас же пошёл за детьми.

— Если вы находите, что Лёвушка может идти пешком, я буду только рад предоставить носилки в ваше распоряжение, — весело ответил капитан, и не подозревавший, какую бурю я пережил из-за него.

И. пожал мне руку, попросил капитана уложить меня и сказал, что заедет за мной в шесть часов, и мы вместе отправимся к князю, если всё это время я буду спокойно лежать в постели.

Мы расстались с И. и двинулись в путь. Я был счастлив, что отделался от дурацкого паланкина, но внутри у меня ещё продолжало kloкотать недовольство и самим собой, и капитаном.

— Я не понимаю, что за мужчины в Константинополе, — говорил как бы с самим собой капитан. — Если такая женщина, как Анна, остаётся

свободной, то у здешних мужчин в жилах не кровь, а вода. У нас в Англии она была бы уже дважды или трижды замужем и из-за неё случился бы десяток дуэлей. Ведь это сказочная красота.

— Я мало понимаю в женской красоте, — ответил я. — Но думаю, что Анна в самом деле редкостная красавица. Что же касается мужчин, которые её не покорили, то, думаю, покоряют тех, кто хочет быть покорённым. А дерутся из-за тех женщин, которые выбирают, кому себя преподнести повыгоднее. Те же, кто, как Анна, ищут истинной любви, всегда идут очень скромным путём, если не обладают талантом и тщеславием.

Капитан даже остановился, так он был поражён моими словами.

— Ай да Лёвушка! Вот так выдал пилюлю, — разводя руками, сказал он. — Да тебе сколько лет? Пятьдесят или двадцать? Когда это ты успел сделать такое наблюдение?

— Право не знаю, что вас так удивляет? Ведь ничего необыкновенного тут нет. У нас в России много прекрасных женщин, в которых отсутствует кокетство. Ухаживают ведь не за самыми прекрасными, а за самыми кокетливыми. Эту азбучную истину мне всегда твердил брат при случае.

Молча, углубившись каждый в свои мысли, мы проделали остальной путь.

Добравшись до отеля, мы оба почувствовали, что проголодались, и заказали себе лёгкий завтрак, который я ел лёжа. Закурив сигару после завтрака, капитан опять вернулся к Анне.

— Как странно, — сказал он. — Я действительно отдал бы очень многое, чтобы какое-то время любить такую богиню, как Анна. Но именно какое-то время, отнюдь не представляю для себя возможным сделаться её мужем или постоянным рыцарем. В ней есть что-то, что мешало бы мне подойти к ней очень близко.

— Мне кажется, Анна человек очень высокой духовной культуры. Если вы ещё побудете в Константинополе, то увидите одного из друзей И., который Анне также близкий друг. Если она любит его, — даже без взаимности, — то нет никого, кто бы мог привлечь её внимание. Один голос этого человека — с глазами, светящимися как звёзды, — даже в разговоре пленяет; и увидав и услышав его хоть раз, уже нельзя забыть. А говорят, что он поёт, как бог, — ответил я.

— Почём знать, что именно пленяет одного человека в другом? Анна для меня могла бы стать крупным эпизодом в жизни, но никогда эпохой. А вот девочка Лиза, если бы жизнь снова свела нас, весьма возможно, ею стала бы.

Я принялся вспоминать Лизу, её манеры и речь и спросил капитана:

— А как вы отнеслись бы к жене-артистке? И как бы вы отнеслись к её таланту вообще"? Ведь говорят, у Лизы огромный талант. А вы полны предрассудков. Как бы вы себя чувствовали, сидя в первом ряду концертной залы, где выступала бы ваша жена-скрипачка?

— Я никогда не предполагал, что сцена, эстрада и вообще подмостки могли бы играть какую-либо роль в моей жизни. Всегда избегал женщин от театра. Они казались мне в той или иной мере пропитанными духом карьеризма и желанием продать себя подороже, — ответил капитан.

— Неужели за вашу большую жизнь вы не встретили ни одной женщины, которая была бы действительно жрицей искусства? Для которой не было бы иной формы жизни, чем только то искусство, которому она служит и которым живёт? — спросил я снова.

— Нет, не встречал, — ответил он. — Я был знаком с так называемыми великими актрисами. Но ни от одной из них не вынес впечатления божественности их дарования. Приходилось встречать художников высокой культуры, которым, казалось, открывались тайны природы. Но... в жизни они оказывались людьми мелкими.

На этом закончилось наше свидание. Капитану нужно было сделать несколько деловых визитов, побывать на пароходе, а вечером он собирался навестить своих друзей. Мы расстались до следующего дня.

Утомлённый целым рядом пережитых встреч, я задремал, незаметно заснул и проснулся от громко звавшего меня голоса И., который торопил меня — переодеться, взять аптечку и идти к князю.

Он дал мне каких-то горьких капель. Я быстро снарядился в путь, и мы пошли пешком к особняку князя, что было не так далеко. Меня очень интересовала предстоящая встреча. Как ни была мне противна старая жена его, всё же жалость к ней, к её омертвелому телу и близкой смерти сильно билась в моём сердце.

Невольно я задумался, как тяжело умирать человеку. "Что думает о смерти Флорентиец? И как будет умирать он?" — подумал я. И вдруг, среди бела дня, среди уличного грохота и суеты я услышал его голос: "Смерти нет. Есть жизнь — одна, вечная; а внешних форм её много". Я остановился как вкопанный и непременно попал бы под колёса экипажа, если бы И. не дёрнул меня вперёд.

— Лёвушка, тебя положительно нельзя отпускать ни на шаг, — сказал он, беря меня под руку.

— Да, нельзя, Лоллион, — жалобно ответил я. — Проклятый турецкий кулачище сделал меня сумасшедшим. Я просто прогрессирую в безумии и не могу остановиться. Я всё больше галлюцинирую.

— Да нет же, Лёвушка. Ты очень возбуждён был сегодня. Что тебя смутило сейчас?

— Мне пришло в голову, как тяжело умирает старая княгиня. Я подумал, что всем очень страшно и тяжело умирать. Подумал, какой рисуется смерть Флорентийцу, — и вдруг услышал его голос: "Смерти нет. Есть жизнь, — одна, вечная; а внешних форм её много". Ну разве не чепуха мне послышалась? — всё так же жалобно говорил я И.

— Друг мой, ты услышал великую истину. Я тебе всё объясню потом. Сейчас мы подходим к нашей цели. Забудь о себе, о своём состоянии. Думай только о тех несчастных, к которым мы идём. Думай о Флорентийце, о его светлой любви к человеку. Старайся увидеть в князе и княгине цель для Флорентийца и стремись внести в их дом тот мир и свет, которые живут в сердце твоего великого друга. Думай только о нём и о них, а не о себе, и ты будешь мне верным и полезным помощником в этом тяжёлом визите. И он станет лёгок нам обоим.

Мы вошли в дом князя, пройдя через калитку довольно большого тенистого сада.

Встретила нас уже знакомая нам по путешествию горничная и сказала, что сама княгиня всё как бы спит, а князь ждёт нас с нетерпением.

Мы прошли через совершенно пустые комнаты и услышали позади поспешные шаги. Это догонял нас князь.

— Как я рад, что дождался вас, — обратился он к И. — Я уже готов был ехать к вам, так меня беспокоит состояние княгини. Да и сам я не менее нуждаюсь в вашей помощи и советах, — продолжал он, приветливо улыбаясь и пожимая нам руки.

— Отчего же вас так тревожит состояние вашей жены? Я ведь предупреждал, что её возврат к жизни будет очень медленен и что большую часть времени она будет спать, — сказал И.

— Да, это всё я помню. И — что очень странно для меня самого — абсолютно и беспрекословно верю каждому вашему слову. И вера моя какая-то особенная, ни с чем не сравнимая, — говорил своим тихим и музыкальным голосом князь, пропуская нас в дверь третьей комнаты, кое-как меблированной и изображавшей нечто вроде кабинета.

Князь усадил нас в кресла, сел сам и продолжал:

— Я не стал бы описывать вам своё состояние, если бы оно не было так странно. Чувство веры в вас дало мне силу жить сейчас. Точно в мой спинной хребет влилась какая-то мощь, которая держит на своей крепкой оси всё моё тело и составляет основу моей уверенности. Но как только я представляю, что вы скоро уедете, — вся эта мощь исчезает, и я чувствую

себя бессильным перед надвигающимися тяготами жизни.

— Не волнуйтесь, дорогой мой князь, — сказал И. — Мы ещё не так скоро уедем, во-первых. А во-вторых, сюда прибудет мой большой друг вместе со своим товарищем и учеником, который уже получил звание доктора медицинских наук. Они тоже помогут вам. Возможно, что юный доктор, тот наш молодой друг, останется вам в помощь. Как видите, судьба бывает иногда более чем заботлива.

— Не умею выразить, как я тронут вашей добротой. И, главное, той простотой и лёгкостью, с которыми вы делаете так много для людей, и помощь вашу так легко принимать, как будто это сушие пустяки, — закулив папиросу, сказал князь и, помолчав, продолжал:

— Я очень тревожусь сейчас. Здесь должен был встретить свою мать, мою жену, её сын, который желает, чтобы ему выделили его долю наследства. Я очень надеялся на это свидание, думая, что этот акт раздела имущества освободит меня от многих мук и судов после её смерти. Сын её, хотя и видный генерал и занимает высокое положение при дворе, — сутяга и стяжатель, враль и обманщик первосортный. Я получил сегодня телеграмму, что он не приедет, а присылает двух доверенных адвокатов из Москвы. Вы представляете, что это будет за ужас, если такие два франта явятся сюда, увидят мою нечленораздельно мычащую жену, не владеющую ни руками, ни ногами...

— Я вам уже сказал, — перебил И. князя, — что речь вашей жены и её руки восстановятся довольно скоро. Ноги её, по всей видимости, так и останутся до конца парализованными. Но смерть её наступит ещё нескоро; и вам придётся нести тяжкий крест ухода за ней не менее двух лет, а то и более. Сердце у неё исключительно здоровое. Не смотрите на предстоящее как на наказание. Великая мудрая жизнь не знает наказаний. Она даёт каждому возможность созреть и крепнуть именно в тех обстоятельствах, которые необходимы только ему одному. В данном случае вы не о себе думайте, а о вашей жене. Старайтесь всей добротой, на которую способно сердце, раскрыть ей глаза. Объясните, что нет смерти, как нет и отдельной жизни одной земли. Есть единая вечная Жизнь живой земли и живого неба. Это жизнь вечного труда Вселенной. Жизнь, духовная жизнь света и радости, включённая в плотные и тяжёлые формы земных тел людей. И земная жизнь человека — это не одно, конечное существование от рождения до смерти. Это ряд существований. Ряд плотных, видимых форм; и в каждую влита единая, вечная жизнь, неизменная, только меняющая свои условные временные земные формы. У нас будет ещё не один разговор на эту глубочайшую тему, если она вас интересует. Сейчас я хотел

только, чтобы вы осознали величие и смысл каждой земной жизни человека, чтобы вы поняли, как ясно он должен видеть всё в себе и во вне себя. И какую мощь в себе носит каждый, если научился владеть собою, если он может — в одно открывшееся его знанию мгновение — забыть о себе, как о временной форме, и постичь глубокую любовь в себе, чтобы ею дать помощь другому сердцу. Пройдёмте к вашей жене, вам предстоит сделаться её слугой, самоотверженным и щадящим. Вскоре я окончательно скажу, когда ей можно будет сидеть в кресле.

С этими словами И. поднялся. Я внимал ему, стараясь не пропустить ни единого слова. Но всё было для меня так ново и неожиданно, что я ничего не понял до конца, ничего не смог уложить в последовательную логическую цепь.

По растерянному лицу князя я видел, что и он понял не больше моего, хотя слушал он И. в каком-то благоговейном экстазе. Мы поднялись и втроём вошли в комнату княгини. Как выгодно эта комната отличалась от лазаретной каюты, представившейся нашим глазам на пароходе во время скандала. Окна были открыты и занавешены гардинами так, что в комнате была полутьма. Благоухали расставленные всюду цветы, и царил образцовый порядок.

На высокой постели лежала в красивом батистовом халате княгиня. Возле постели сидела сестра милосердия, поднявшаяся нам навстречу.

На шум шагов княгиня повернула голову. Лицо её не имело больше того бессмысленного выражения, которое было на нём в последний раз, и только вокруг рта ещё оставалась синева.

В глазах её, впившихся в И., было сознание окружающего. Она пыталась поднять руку, но по телу её пробежали только судороги. Глаза с мольбой устремились к князю и из них полились на дряблые и бледные щёки ручьи слез.

Князь подошёл к постели, поднял безжизненную руку жены, поцеловал её и сказал:

— Вы хотите приветствовать доктора, моя дорогая? — На этот раз больная чуть улыбнулась, и подошедший И. взял из рук князя мёртво лежавшую в них руку княгини.

— Не напрягайтесь, княгиня, — сказал он ей, считая пульс. — Всё идёт хорошо. Вы уже вне опасности. И если будете аккуратно, днём и ночью, выполнять мои указания, — я ручаюсь, что руки ваши будут двигаться и к вам полностью вернётся память и речь. Но надо научиться самообладанию и терпению. Вы никогда не знали, что значит обуздать себя и только поэтому пришли к такому печальному концу. Перестаньте плакать. Теперь

вам необходимо сосредоточить свою мысль на желании не только выздороветь, но и создать вокруг себя кольцо радостных, довольных и счастливых людей. Только радость и мир, которыми вы наполните всё вокруг себя, могут помочь мне вылечить вас. Если от вас будут исходить злобные или раздражённые мысли и чувства, я буду бессилён. Вы сами должны слиться в доброжелательстве и любви со всеми теми, кто будет подле вас.

По лицу старухи всё лились потоки слез, которые осторожно отирал расстроенный князь. Из уст её, пытавшихся что-то сказать, вырвалось вдруг диким, страшным, свистящим голосом слово «Прощение». Как звук оборванной струны прозвенело оно, сменяясь могильной тишиной. И я почувствовал уже знакомое мне ощущение тошноты и головокружения, как И. обнял меня за плечи, шепнув: "Мужайся, думай о Флорентийце и призывай его на помощь".

Некоторое время в комнате царила полная тишина. И. стоял возле княгини, всё ещё держа её руку в своей. Постепенно лицо её успокоилось; слезы больше не текли по щекам, и оно перестало походить на ужасную, гримасничающую маску.

И. велел мне достать из аптечки два лекарства, смешал их вместе, развёл в них какой-то порошок красного цвета из флакона, которого я ещё не видел и который показался мне золотым. Жидкость, закипев, стала ярко-красной. Я поднял голову княгини, а И. осторожно стал вливать лекарство ей в рот.

Как только, с большим трудом, последняя капля была проглочена, княгиня глубоко, облегчённо вздохнула, закрыла глаза и задремала.

Мы вышли из комнаты, предупредив сестру милосердия, что больная может проспать около суток беспробудно.

Вернувшись в кабинет князя, мы присели на прежние места, и И. сказал:

— У меня к вам просьба, князь. Вы всё время стремитесь отблагодарить нас с братом за оказываемую вашей жене помощь.

— О нет, не только жене, для меня вы явились новым смыслом жизни, которую я считал загубленной, — вскричал князь. — Вы ведь не знаете, что порыв заставил меня жениться на моей теперешней жене. Я вообразил, что спасаю её от тысячи новых ошибок. И ни от чего не спас, а оказался сам слаб и попал в презренное и бедственное положение. Вы не знаете...

— Я знаю, — перебил его И., — что вы и благородный, и очень честный и добрый человек. Вот к этой-то доброте я и хочу сейчас воззвать. Вы, вероятно, слышали, что мы с капитаном помогли одной бедной

француженке с двумя детьми добраться до Константинополя. Она рассчитывала отыскать здесь своих родственников. Но, я думаю, найти их она не сможет. Здесь мы её оставляем под покровительством одной чудной семьи. Но бедняжка так молода, неопытна и плохо воспитана, что, несомненно, создаст себе множество трудностей, из которых ей самой будет, пожалуй, и не выбраться. У неё вспыльчивый, неуравновешенный характер. А ваш такт и доброта помогут ей разбираться в жизненных сложностях. Мы вскоре уедем; вам же придётся здесь жить не менее полутора-двух лет, так как движение вашей жене смертельно опасно. Если вы согласны, пойдёмте с нами к Жанне Моранье. Мы познакомим вас с ней, и я буду спокоен, что у Жанны надёжный и честный покровитель.

— Я буду очень счастлив, — ответил князь, — если мне удастся сделать что-либо хорошее для мадам Жанны. Но я сам так мало верю в свои силы и так горько переживаю разлуку с вами. Конечно, я готов идти хоть сию минуту. И буду видеть в ней только то сердце, которому должен отдать всю мою благодарность вам, и перенесу на неё всю свою преданность.

Расставаясь, мы условились с князем, что завтра, около полудня, после визита к княгине отправимся к Жанне.

Мы возвратились домой, и я был так утомлён, что немедленно должен был лечь в постель, совершенно ничего не соображая. Мысли мои все спутались, и я не помню, как заснул.

Довольно поздним утром следующего дня меня разбудил стук в дверь, и звенящий голос капитана стыдил меня за лень.

— Я уже сто дел переделал. Мой пароход отведён в док для ремонта, солнце успело порядком испечь улицы, а вы всё нежитесь, будущий великий человек? Я голоден, как гончий пёс. Вставай, Девушка, скорее; я закажу завтрак, и мы его уничтожим на твоём балконе, если ты принимаешь меня в компанию, — громко продолжал говорить за дверью капитан.

Я ответил согласием, быстро проскочил в ванную, и через четверть часа мы уже сидели за столом.

И. ушёл, не оставив мне записки, из чего я понял, что он сейчас вернётся. И действительно, вскоре послышались его шаги, и он вышел к нам на балкон, как-то особенно сияя свежестью и красотой.

Поздоровавшись, он осведомился у капитана, в каком состоянии его пароход.

Лицо капитана омрачилось. Судно нуждалось в довольно серьёзном ремонте; задержка парохода, на котором большая часть грузов и пассажиров направлялась дальше, грозила множеством осложнений.

— Но ваше присутствие, доктор И., мне так дорого; встречу с вами я считаю одной из самых значительных в своей жизни! И потому я готов вынести вдвое больше, только бы провести ещё некоторое время в вашем обществе, если это вам не в тягость, — закончил тихим голосом капитан, глядя на И. Его глаза сейчас смотрели печально. И это был вовсе не тот «волевой» капитан, "царь и бог" своего судна, перед которым трепещут все.

Так ещё раз мне было дано увидеть скрытую грань души человека; и ещё раз пришлось убедиться в необычайной разнице между тем, что видишь, и тем, что в человеке живёт.

— Я тоже очень счастлив, что встретил вас, дорогой капитан, — ответил ему И. — И мне не только не тягостно ваше общество, но, наоборот, в моём сердце живёт большая братская дружба. Сегодня я получил чудесные вести и о брате Лёвушки, и о своём близком друге Ананде, которого я не ждал сюда так скоро. Твой брат и Наль, Лёвушка, обвенчаны в Лондоне в присутствии Флорентийца и его друзей. Что же касается Ананды, то он рассчитывает через десять дней быть уже здесь. Мне бы очень хотелось, капитан, чтобы ваши заботы задержали вас здесь на некоторое время. Ананда так высоко превосходит обычного человека, что увидеть его и понять, чего может достичь на земле человек одинаковой с вами плоти и крови, значит войти в несравненно более высокий круг идей, чем те, в которых вы живёте сейчас. Я читаю в вашей душе целый томик вопросов, который становится всё толще по мере нашего сближения. Можно было бы составить не только серию вопросов и ответов, но и круг чтения "на каждый день", если изложить в литературной форме бурление вашего духа. Но вопросы нарастают именно потому, что я не так высок в своих знаниях и духе, как Ананда. Характерным признаком присутствия истинного мудреца является то, что вопросы не нарастают, они исчезают. Растёт активность не ума, а интуиции. И подсознание приводит в гармонию мысль и сердце, потому что атмосфера, окружающая мудреца, указывает каждому на тщету и иллюзорность одних только личных достижений и желаний. Я уверен, что встреча с Анандой уничтожит в вас целый караван кастовых и национальных предрассудков. В вас так много истинно ценного, истинно прекрасного, чем не может похвастаться ваше окружение, равные вам по положению ваши приятели.

Папироса капитана погасла, вино осталось недопитым; он сидел неподвижно, глядя в прекрасное лицо И., точно находился под гипнозом. В воцарившемся молчании слышен был только шум города, да изредка сюда доносились резкие гортанные крики разносчиков.

Каждый из нас ушёл в себя, и никто не хотел нарушать молчания, в

котором, очевидно, — каждый по-своему — создавал и переживал образ великой мудрости.

— Да, если говорите так о другом вы, выше которого я — человек — не видел человека, то каков же должен быть он, ваш Ананда? — отирая лоб, всё таким же тихим голосом произнёс капитан.

Я хотел ему сказать, что я-то видел, это мой друг Флорентиец. Но внезапно почувствовал то особое состояние лёгкости во всём теле, ту собранность внимания в одну точку, которые каждый раз предшествовали видению образа или слышанию голоса тех, кого в этот миг со мной не было.

Я вдруг вздрогнул, точно меня ударило электрическим током, и увидел Ананду, сидящего за столом в той позе, в какой я увидел его однажды ночью:

— Не бойся и не беспокойся. И. не забыл ни о Флорентийце, ни о сэре Уоми. Но о них сейчас говорить не следует. Старайся больше молчать. Ценность слова так велика, что иногда одно только произнесённое не ко времени слово может погубить целый круг людей. Дождись моего приезда, — поговорим.

Я долго сейчас это рассказываю. Но тогда всё промелькнуло как вспышка молнии.

Я протянул руки к Ананде; очевидно, что-то сказал, так как капитан в одно мгновение был подле меня, подавая мне стакан с вином.

— Бедный мальчик! Опять голова заболела? — нежно спросил он. И. тоже подошёл ко мне, ласково улыбаясь; и по его сверкающим глазам я понял, что он знал истинную причину моего внезапного беспокойства.

Моя мнимая болезнь отвлекла внимание капитана от нашего разговора. Побыв с нами ещё несколько минут, он отправился хлопотать по своим многочисленным делам. Вечер у него тоже был занят, и мы условились встретиться на следующий день часов в пять. Он хотел свезти меня обедать в какую-то знаменитую «Багдадскую» ресторанцию, уверяя, что увижу там сюрпризы почище, чем живая чёрная женщина. Я на всё был согласен, лишь бы скорее остаться с И. и узнать подробности о брате и Наль.

Проводив капитана, И. вернулся ко мне на балкон и присел на кушетку, потому что я всё ещё лежал, чувствуя и на самом деле какую-то слабость.

— Ты будешь несколько разочарован, милый друг, ведь я знаю чуть больше того, что уже сказал тебе. Ананда вообще скуп на подробности. А на этот раз он особенно тщательно следил за каждым своим словом. У тебя такой вид, точно ты огорчён свершившимся браком? — спросил меня И.

— Не огорчён, конечно, — ответил я. — Если в браке счастье моего

брата и Наль — значит, ценность их жизни, — для них самая главная сейчас, — ими достигнута. Но по всему я представлял себе нечто огромное, гораздо большее, чем самый обыкновенный брак.

И. неожиданно для меня весело-превесело рассмеялся, обнял меня, погладил нежно мою неразумную голову и сказал:

— Откуда же ты взял, мой дорогой философ, что брак это такое простое и обыкновенное дело? Всё зависит от людей, кто в него вступает. И могут быть браки огромного значения, а вовсе не только личного. Всякий брак, как ячейка, где рождаются и воспитываются люди, дело чрезвычайно важное и ответственное. Отцы и матери, — если они поднялись до осознания себя единицами Вселенной, если их трудовой день вносит красоту в единение всех людей, — будут готовы к воспитанию новых человеческих жизней; они будут проводить свои системы воспитания не на словах, но собственным живым примером увлекать своих детей в красоту. Если же они поднялись до больших высот творчества, они образуют те ячейки, где воплощаются будущие великие люди, творцы и гении, чьё вдохновение составляет эпохи в жизни человечества.

Гармония семьи не в том состоит, чтобы все её члены думали и действовали одинаково, имели или не имели тайн друг от друга. А в той царственно расточаемой любви, где никто не требует обязательств друг от друга, в той высочайшей чести, где нет слов о самопожертвовании, а есть мысль о помощи, о радости быть другому полезным. Я уже говорил, что придет Ананда, — и в тебе забурлит творческий дух, а не Ниагара вопросов. Об одном только должен ты подумать, и подумать очень крепко: в сердце твоём уже не раз шевелился червь ревности. Большого ужаса, нежели пронизать свою жизнь ревностью, нельзя и представить.

Можно всю жизнь себе и окружающим отравить и даже потерять совершенно смысл долгой прожитой жизни только от того, что дни твои были разъедены ревностью. Можно иметь великий талант, можно увлечь человечество к новым вершинам в литературе, музыке, скульптуре, — и тем не менее создать для себя такую железную клетку страстей, что придётся века изживать ту плесень на своём духе, которую успел нарастить в подобной семейной жизни. И наоборот, одна прожитая в мире и гармонии жизнь проносится над человеком века и века подобно очищающей атмосфере, невидимой помощи и защите.

Не задумывайся сейчас над браком твоего брата. Много пройдёт времени, прежде чем ты поймёшь великий смысл его жизни и проникнешь в духовный его мир. Ведь до сих пор ты знал его как любимую нежную няньку, как воспитателя и отца.

Встань, дружок. Вот тебе часть пилюли Али. Пойдём к князю, мы обещали его познакомить сегодня с Жанной. Что касается твоего брата, то поверь: ни о каком легкомысленном шаге, ни о самопожертвовании во имя спасения Наль здесь не может быть и речи. Здесь один из величайших моментов его жизни. Отнесись к нему с полным уважением и даже благоговением.

Я принял лекарство, захватил свою аптечку и молча пошёл за И.

В доме князя мы нашли всё ту же гнетущую атмосферу. Князь, провожая нас к жене, рассказывал о непрерывных попытках княгини улыбнуться и говорить, попытках мучительных для всех, не приводящих ни к каким результатам.

— Здравствуйте, княгиня, — сказал И., наклоняясь над измученным, старческим лицом больной, которая казалась тяжёлой, мертвенной массой среди чудесных, благоухающих цветов.

Княгиня с трудом подняла веки, но увидав И., совершенно преобразилась. Глаза блеснули сознанием, губы сложились в улыбку без всякой гримасы.

— Вы прекрасно себя ведёте. Я очень доволен вами, — говорил И., держа старуху за руку. — Можно немного раздвинуть гардины и впустить в комнату солнце, — обратился он к сестре милосердия.

Когда солнце осветило комнату, я поразился, с каким вкусом, с какой тщательной заботливостью она была обставлена. Казалось, князь, забывший совершенно о себе, перенёс сюда всё своё внимание, чтобы вознаградить больную за её страдания.

Я оценил; какой высокой внутренней культурой должен обладать этот человек, чтобы расточать доброту и заботу полумёртвому телу своей ужасной супруги.

Смог бы я когда-нибудь вознестись на такую высоту, чтобы забыть все горести и унижения совместной жизни и так ухаживать за женой, отравившей мою молодую жизнь?

Мне даже холодно стало, когда я подумал, что представляло собой существование князя, эта его «жизнь». Мысли опять увели меня от действительности, — "Лёвушка-лови ворон" Сидел вместо внимательного помощника лекаря, и очнулся я только от прикосновения И., смотревшего на меня с укором.

— Лёвушка, князь уже несколько минут ждёт пилюлю и держит перед тобой стакан с водой. Этак мы задержимся здесь, и Жанна снова обидится на господина младшего доктора за опоздание, — сказал он, улыбаясь только губами, но глаза его пристально и строго смотрели прямо в мои. Я

покраснел и подумал, что он снова прочёл всё — как я судил, как копался в жизни князя.

Через несколько минут И. напоил больную красной кипевшей жидкостью, отдал сестре распоряжения, и мы вышли вместе с князем из дома.

До Жанны было не особенно далеко; но жара на улицах после затенённого и сравнительно прохладного дома князя была просто нестерпимой. Улицы, хотя и считались центральными, были грязны и зловонны. Пыль проникала в горло и хотелось кашлять.

Наконец, мы вошли в дом Жанны и сразу попали в атмосферу деловой суеты, весёлой беготни и детского смеха.

Квартиру было не узнать. В пустой вчера передней стояла отличная деревянная вешалка, занявшая одну из стен. У другой были теперь трюмо, столик, высокие стулья.

В магазине шла возня с установкой стеклянных шкафов и элегантных прилавков. Всем распоряжался Борис Фёдорович, лишь советуясь с Жанной и прекрасной своей дочерью Анной.

Но «благодать», казалось, не участвовала сегодня в этой работе. Дивное лицо Анны виделось мне ликом с иконы, так много в нём было ласки и доброты. Я и представить себе не мог это мраморное лицо в ореоле иссиня-чёрных кос так божественно, нечеловечески добрым.

Но Жанна... нахмуренная, точно недовольная, едва цедящая слова в ответ на вопросы Строганова... Я не выдержал, пошёл прямо к ней, и чувство у меня было такое, точно я иду с рогатиной на медведя.

— Вот как вы «легко» начинаете своё дело! Это что же, вы в благодарность И. так срамите его своей невоспитанностью? Сейчас же возьмите себя в руки, улыбнитесь и постарайтесь быть как можно внимательнее ко всем этим добрым людям; а особенно вежливы вы должны быть с тем новым другом, которого привёл к вам И., - сказал, вернее выпалил я ей всё это в лицо, быстро, как из револьвера выбрасывая горох французской речи.

Жанна, ждавшая, очевидно, что я иду к ней ласково здороваться, смотрела на меня ошалелыми глазами. Я не дал ей опомниться:

— Скорей, скорей приходите в себя. Вспомните пароход и трюм, откуда вас вытащили. Не для того вас вводят в жизнь, чтобы вы упражнялись в своём дурном характере. Где же ваш обет думать о жизни детей?

— Лёвушка, вы мной недовольны? Но вас так долго не было. Здесь все чужие; мне и страшно и скучно, — бормотала Жанна. Лицо её было совершенно по-детски беспомощно.

— Чужие?! — воскликнул я возмущённо. — Да вы слепая! Посмотрите на лицо Анны. Какая мать может нести в себе больше любви и доброты? Сейчас же вытрите глаза и приветливо встретьте нового друга, — я вижу, И. ведёт его к вам.

"Знала бы ты, что этот новый друг — никто иной, как муж преследовавшей тебя княгини", — подумал я в ту минуту, когда И. знакомил Жанну с князем. И вся комическая сторона этого так ярко сверкнула в моём уме, что я не выдержал и залился своим мальчишеским смехом.

— Эге, — услышал я смеющийся голос Строганова. — Да ведь, кажется, мы не на пароходе, бури нет и опасность как будто нам не грозит? А смельчак-литератор вроде бы подаёт свой, ему одному свойственный знак опасности.

Я не мог унять смеха, даже Анна засмеялась низким, звонким смехом.

— Этот капитан, — ответил я, наконец, Строганову, — будет иметь со мной серьёзное объяснение. Он создаёт мне совершенно не соответствующую моей истинной сущности репутацию. И особенно стыдно мне пользоваться ею в вашем, Анна Борисовна, присутствии.

— Почему же я так стесняю вас? — тихо и ласково спросила Анна, помогая отцу расставлять стулья.

— Это не то слово. Вы не стесняете меня. Но я преклоняюсь перед вами. Не так давно я видел одну прекрасную комнату в Б. Я представлял себе, что в ней должны жить существа высшего порядка. Я думаю, там, в этой комнате, вы были бы как раз на месте, — ответил я ей.

— Ай да литератор! Знал, чем купить навеки сердце престарелого отца! Ну, Анна, более пламенного обожателя у тебя ещё не было, — воскликнул Строганов.

— Разрешите мне на полчаса увести одного из членов вашей трудовой артели, — услышал я за собой голос И. — Если вы ничего не имеете против, мы с Жанной пройдем в сад. Кстати, позвольте вам представить одного из наших друзей, — обратился он к Анне и её отцу, подводя к ним князя.

Анна пристально посмотрела в глаза князя, совершенно растерявшегося от неожиданной встречи с такой красотой. Она улыбнулась, подав ему руку, и ласково сказала:

— Я очень рада познакомиться с другом И. Мы будем счастливы видеть вас у себя в доме, если вам захочется побыть в семье.

— Доктор И. беспредельно добр, отрекомендовав меня своим другом. Я для него просто первый встречный, облагодетельствованный им и ещё

ничем не отплативший ему за его помощь. Но если простому и слабому человеку вы разрешите когда-нибудь побыть подле вас, — я буду счастлив. Мне кажется, вы, как и доктор И., вливаете в людей силу и уверенность.

— Вы совершенно правы, — ответил Строганов, — Анна мне не только дочь, но и друг и сила жить на свете. Буду рад видеть вас у себя в любой день. Вечерами мы с Анной всегда дома и почти всегда вдвоём. Семья наша огромна, и все любят веселиться. Только я да моя монашенка всё сидим дома.

И., князь и Жанна вышли в сад, уведя с собой детей. Я тоже пошёл было за ними, но какая-то не то тоска, не то скука вдруг заставила меня остановиться, и я присел в тёмном углу за шкафом, где кто-то поставил стул.

Строганов с Анной разговаривали в передней, и слов их я не разбирал. Но вот стукнула дверь, и отец с дочерью вошли в комнату.

— Что ты так печальна, Аннушка? Тяжело тебе приниматься за ремесло, когда вся душа твоя соткана из искусства? Но как же быть, дитя? Ты знаешь, как тяжело я болен. Каждую минуту я могу умереть. Я буду спокоен, если оставлю тебя с каким-то самостоятельным делом. Играть публично не хочешь. Писать ты для печати не хочешь. А только эти твои таланты могли бы обеспечить твою жизнь. Земля требует от нас труда чёрного или привилегированного. Если не хочешь служить земле искусством за плату, — надо трудиться в ремесле.

Только, может быть, я ошибся в компаньонке. Я думал, что жизненная катастрофа поможет Жанне начать трудиться и она оценит тебя по достоинству. Но, кажется, я ошибся, — говорил Строганов, очевидно продолжая начатый разговор.

Я хотел подать знак, что всё слышу, хотел выйти из своего угла, чтобы не быть непрошеным свидетелем чужих тайн. Но апатия, точно непобедимая дремота, овладела мной, и я не мог пошевелиться.

— Нет, отец, я не печальна. Напротив, я очень благодарна тебе за эту встречу. Мне так ясна моя роль подле этих прелестных, но заброшенных детей. Мать их обожает, но переходы от поцелуев к шлепкам ей кажутся единственной воспитательной системой и нормальной обязанностью. У меня личной семьи никогда не будет, ты это хорошо знаешь. Я буду им тёткой-воспитательницей, пока... — голос её слегка задрожал, она помолчала немного, — пока я не уеду в Индию, где буду учиться подле друзей Ананды. Но я дала тебе слово, — это будет после твоей смерти.

Я не видел Строганова, но всем существом почувствовал, что в его глазах стоят слезы. И я не ошибся. Когда вновь раздался его голос, в нём

слышались слезы:

— И подумать только! Сколько красоты, сколько талантов в тебе! Сколько сил ума и сердца, — и всё это должно гибнуть, оставаться бесполезным.

— Как раз наоборот, отец. Любя людей всем сердцем, я хочу трудиться для них, для земли, а не быть над ними. Я хочу быть совершенно свободной, никакими личными узами не связанной, не выбирать людей по своему вкусу, а служить тем страдающим, кого мне подбросит жизнь. И в эту минуту твоей любящей рукой дана мне та из встреч, где я могу быть наиболее полезна. Мне не трудна будет Жанна, потому что она тоже дитя, хотя разница в годах между нами небольшая.

Но в моей жизни был ты, у неё же — жадные французские мещане. А ты, — хотя ты и смеёшься над моим тяготением к Индии, над исканием какой-то высшей мудрости в жизни, — ты самый яркий пример человека, которого можно назвать великим посвящённым.

Ничего не зная и не желая знать о каких бы то ни было «посвящённых», ты всю жизнь подавал мне пример активной доброты. Ты ни разу не прошёл мимо человека, чтобы не взглянуть на него со всем вниманием, чтобы не подумать, чем бы ты мог быть для него полезен. И ты помогал, не дожидаясь, чтобы тебя об этом просили.

Я шла и иду, как ты. Я только верна тем заветам, которые читала в твоих делах. Я знаю, как тяжела тебе моя любовь к Ананде, которую ты считаешь безответной и губительной. Но пойми меня сейчас и навсегда. В первый раз за всю нашу жизнь я говорю с тобой об этом, — и в последний.

Не гибель принесла мне эта любовь, но возрождение. Не смерть, но жизнь; не горе, но счастье. Я поняла, что любовь — это когда ничего не просишь, но всё отдаёшь. И всё же не разоряешь душу, но крепнешь.

То высочайшее самоотвержение, в котором живёт Ананда, это уже не просто человеческое творчество. Это мощь чистого духа, умеющего превратить серый день каждого человека в сияющий храм.

И если моя жизнь подле тебя была радостью и счастьем, то он научил меня ценить каждый миг жизни как величайшее благо, когда все силы человека должны быть приложены не к достижению эгоистического счастья жить, а к действиям на благо людей. Не отказываюсь я от счастья, а только вхожу в него. Вхожу любя, раскрепощённая, весело, легко, просто.

В прихожей послышались голоса, разговор оборвался, и в комнату вошла Жанна, а за нею князь и И. Лицо князя было бодро, Жанна больше не хмурилась и принялась весело разбирать какой-то картон.

Послышался стук в дверь, все отвлеклись, я воспользовался мгновением

и проскользнул в сад.

Через несколько минут я услышал, что меня зовут; но вместо того чтобы приблизиться к дому, я отошёл в самый дальний угол сада.

Вскоре в дверях показался князь, державший в руках конверт. Он искал меня, зовя тоже «Лёвушка», видимо не зная моего отчества, как и я не знал даже его фамилии по свойственной мне рассеянности.

Я очень обрадовался, что это он. Легче всего мне было сейчас увидеться именно с ним. Он подал мне письмо, говоря, что его принёс матрос-верзила.

Капитан писал, что не может сегодня обедать с нами, как сговорился вчера. В его делах возникли некоторые осложнения, почему он и просит отложить нашу восточную идиллию и разрешить ему заехать к нам завтра часов в десять вечера.

Мы вернулись с князем в дом, и я передал И. содержание письма. Строганов приглашал нас к себе, но И. сказал, что воспользуется свободным временем и напишет несколько писем, а мне даст отдохнуть от чрезмерной суеты.

Мы простились со Строгановыми, и И. предложил Жанне провести с нами вечер. Но старик категорически заявил, что Жанна пойдёт обедать к ним, а вечером, часам к восьми, он приведёт к нам обеих дам.

— Вот это прекрасно, — сказал И. — Может быть, и вы пожелаете к нам? — обратился он к князю.

Тот вспыхнул, растерялся, как мальчик, и с радостью ответил согласием.

Мы вышли с И. Он повёл меня новой дорогой, но видя моё лови-воронное состояние, смеясь взял меня под руку.

— Итак, — сказал он, — новая жизнь Жанны и князя уже началась.

— Что она началась для Жанны — это я вижу, — ответил я. — Но вот началась ли она для князя — по-моему, большой вопрос.

— А для меня новая жизнь князя гораздо яснее обозначилась, — улыбнулся И., — чем жизнь Жанны.

— Быть может, это и так, — возразил я. — Но если чья-либо жизнь действительно преобразится, — так это жизнь Анны.

И. остановился так внезапно, что на меня сзади налетели две элегантные дамы и далеко не элегантно сбили зонтиком мою панаму, не подумав даже извиниться.

Я разозлился и крикнул им вдогонку:

— Это совсем по-турецки.

Должно быть, я был смешон в своём раздражении, потому что проходивший мимо турок засмеялся, а я ещё больше озлился.

И. снова ласково взял меня под руку.

— Ну и задал ты мне загадку... Ай да Лёвушка, — сказал он, смеясь, после чего мы благополучно добрались до своего отеля. Я был рад, что И. не обладал способностью стрелять речами, как горохом из ружья, по моему примеру, хотя признавал, что именно этого я достоин сейчас больше всего.

Глава 18. ОБЕД У СТРОГАНОВЫХ

Пробежала целая неделя нашей суетливой константинопольской жизни, с ежедневными визитами к больной княгине, к Жанне, к некоторым из наших спутников по пароходу, о чём просил капитан, и я не только не успевал читать, но еле мог вырвать час-другой в день, чтобы осмотреть город.

В голове моей шла усиленная работа. Я не мог не видеть, как светлело лицо князя по мере выздоровления его жены. Когда она в первый раз заговорила, — хотя и не очень внятно, но совсем правильно, — и шевельнула правой рукой, он бросился на шею И. и не мог найти слов, чтобы высказать ему свою признательность.

В квартире Жанны тоже, казалось, царил «благодать». Дети хвостом ходили за Анной. Жанна, руководимая Строгановым и его старшей дочерью, весёлой хохотушкой и очень практичной особой, бегала по магазинам, наполняя шкафы и прилавки лентами, перьями, блестящими пряжками, образцами всевозможных шелков и рисовой соломки, из которых прелестные руки Анны сооружали не просто витрины, а дивные художественные произведения.

Сначала мне казалось, что с Анной несовместимы суэта и самые элементарные мелочи жизни. Но когда я увидел, каким вкусом, красотой и благородством задышала вся комната, как лицо каждого, кто входил сюда, преображалось от мира и доброты Анны, я понял, что значили её слова о сером дне, становящемся сияющим храмом.

Малютки, одетые, очевидно, заботами Анны, отлично ухоженные ласковой няней-турчанкой, чувствовали себя возле Анны защищёнными от вспыльчивой любви матери, переходившей внезапно от ласки к окрику.

В магазине уже появилось несколько шляп, сделанных руками Жанны, и через пару дней предполагалось его открыть.

Князь ежедневно навещал Жанну, но мне казалось, что между ними всё ещё не устанавливается верный тон дружеских отношений; тогда как к Анне князь испытывал простое, самое чистое и радостное обожание, какое испытывают к существам, стоящим на недостижимой высоте.

В его новой жизни, которую я теперь видел ясно, складывался или, вернее, выявлялся добрый, мужественный человек. Иногда я бывал удивлён той неожиданной стойкостью характера, которую он проявлял при встречах с людьми.

Со мною Анна была неизменно ласкова. Но невольно подслушанный мною разговор так выбивал меня из колеи, что я каждый раз конфузился; тысячу раз давал себе слово во всём ей признаться, а кончал тем, что стоял возле неё весь красный, с глупым видом школьника, замеченного в неблаговидной шалости.

Несколько раз, видя меня в этом состоянии, И. с удивлением смотрел на меня. И однажды, очень внимательно вглядевшись, он улыбнулся ласково и сказал:

— Вот тебе и опыт, как жить в компромиссе. Честь, если она живой ниткой вибрирует в человеке, мучит его больше всего, когда её хотят обсыпать сахарным песком и скрыть под ним маленькую каплю жёлчи. Ты страдаешь, потому что цельность твоей природы не может вынести лжи. Но неужели так трудно найти выход, если правдивое сердце этого требует?

— Я вам ничего не говорил, Лоллион, а вы опять всё узнали. Но если уж вы такой прозорливец, то должны были понять, что я действительно в трудном положении. Как я могу сказать Анне, что всё слышал и знаю её тайну? Как могу я признаться, что сидел зачарованный, как кролик перед змеей, и не мог сдвинуться с места? Кто же, кроме вас, поверит в это?

— Ты, Лёвушка, не должен ничего и никому говорить. Мало ли человек может знать чужих тайн. Случайностей, я уже говорил тебе не раз, не бывает. Если тебе, так или иначе, привелось увидеть чужую рану или сияние сердца, скрытое от всех, будь истинно воспитанным человеком. А это значит: и виду не подавай, что ты о чём-либо знаешь. Если же тебя самого грызёт половинчатость собственной чести, умей нести своё страдание так, чтобы от него не терпели другие. И унеси из пережитого урока знание, как поступать в следующий раз, если попадёшь в такое же положение.

Разговор наш происходил в маленьком тенистом сквере, где мы присели, возвращаясь домой. От слов И. мучительное состояние моё не прошло, но мне стало ясно, как ложно себя веду по отношению к Анне. И ещё яснее стало, что я должен был собрать все силы и не допустить себя до роли подслушивающего.

— Ну, я думаю, особой трагедии на этот раз не случилось. И если было что-то плохое, то это твоя всегдашняя рассеянность. Если бы ты представил себе, что Флорентиец стоит с тобою рядом, ты нашёл бы силы встать и уйти.

— Какой ужас, — вскричал я. — Чтобы Флорентиец узнал, как я подслушивал. Только этого не хватало. Надеюсь, вы ему этого не скажете.

И. заразительно рассмеялся.

— Да разве ты, Лёвушка, мне что-нибудь говорил. Вообрази, насколько мысль и силы Флорентийца выше моих, и поймёшь всю нелепость своей просьбы. Но успокойся. Этот маленький факт — один из крохотных университетов твоего духа, которых бывает сотни у каждого человека в его простом дне. У того, кто стремится к самодисциплине и хочет в ней себя воспитать.

Я получил письмо и телеграмму от Ананды. Он сегодня выехал из Москвы. Если его путешествие будет благополучно, в чём я не сомневаюсь, он появится здесь через шесть дней. Я хотел бы, чтобы к этому времени ты прочёл книгу, которую я тебе дам. Тогда ты несколько лучше поймёшь, к чему стремится Ананда, чего достигли Али и Флорентиец и что, может быть, когда-нибудь постигнем и мы с тобой, — мягко приподнимая меня со скамьи, сказал И.

— О Господи! До чего же вы добры и благородны, Лоллион. Ну как вы можете сравнивать себя с невоспитанным и неуравновешенным мальчишкой. Если бы я хоть сколько-нибудь, в чём-нибудь мог походить на вас, — чуть не плача, отвечал я моему другу.

Мы двинулись из сквера по знойным улицам, расцвеченным красными фесками, как мухоморами.

— Сегодня мы с тобой пойдём обедать к Строгановым. Анна хочет отпраздновать в семейном кругу своё начинание, — сказал И. — Мы должны заказать цветы на стол и торт. А также не забыть о розах для всех присутствующих дам.

— Я очень сконфужен, — сказал я. — Я никогда не бывал в обществе, а тем более на большом обеде, и совсем не знаю, как себя вести. Было бы лучше, если бы вы поехали туда один, а я бы почитал дома книгу.

— Это невозможно, Лёвушка. Тебе надо приучаться к обществу и становиться примером такта и воспитанности. Вспомни о Флорентийце и наберись мужества.

— Не могу себе даже вообразить, как это я войду в комнату, где будет полно незнакомых мне людей. Я непременно или что-нибудь уроню, или буду ловиворонить, или не удержусь от смеха, если что-то покажется мне смешным, — недовольно бормотал я.

— Как странно, Лёвушка. Ты обладаешь большим литературным талантом, наблюдательностью и чуткостью. И не можешь сосредоточиться, когда встречаешься с людьми. Войдя в гостиную, где, вероятно, все соберутся перед обедом, не топчись рассеянно в дверях, ища знакомых, чтобы с кем-то поздороваться. Оглядись спокойно, найди глазами хозяйку и иди прямо к ней. На этот раз следуй за мной и верь, что в этом доме твоя

застенчивость страдать не будет.

Мы прошли за угол и столкнулись лицом к лицу с капитаном. Обоюдная радость показала каждому из нас, как мы успели сдружиться. Узнав, что мы ищем цветы и торт и очень бы хотели отыскать фиалки — любимый цветок Анны, капитан покачал головой.

— Торт, хоть с башнею, с мороженым и без него, купить ничего не стоит. Найти хорошие цветы в этот глухой сезон — вот задача, — сказал капитан. — Но так как вы хотите порадовать ими красавицу, какую только раз в жизни и можно увидеть, стоит постараться. Зайдём к моему знакомому кондитеру, он выполнит заказ с восторгом, потому что многим мне обязан. А потом сядем в коляску и помчимся к моему другу-садоводу. Он живёт в верстах трёх от города. Если только есть в Константинополе хорошие цветы и фиалки, они у вас будут.

Быстро, точно по военной команде, мы прошли ещё две улицы и завернули в довольно невзрачную кондитерскую. Я был разочарован. Мне хотелось сделать заказ в блестящем магазине; здесь же я не ожидал найти ничего из ряда вон выходящего.

И, как всегда, ошибся. Пока капитан и И. заказывали какие-то мудрёные вещи, хозяйка, закутанная с ног до головы в чёрное покрывало, подала мне пирожное и бокал холодного, тёмно-красного питья. Ничем не прельстило меня ни то, ни другое, но когда я взял в рот кусочек, то немедленно отправил туда же всё, что осталось. Запив пирожное холодным питьём, я мог только сказать:

— Капитан, это Багдад!

Капитан и хозяйка засмеялись, мои спутники потребовали себе багдадское волшебство, а я справился со второй порцией не менее быстро, чем с первой.

Капитан нас торопил; мы сели в коляску и понеслись по сонному городу, лениво дремавшему под солнцем.

— Вот и суди по внешнему виду, — сказал я капитану. — Я не понял, зачем вы пошли в такую невзрачную кондитерскую. А вышло так, что, очевидно, вечером кое-кто проглотит язык.

Капитан смеялся и рассказывал нам с юмором о своих многочисленных бедах. И очень скромно упомянул о том, что всю пароходную бедноту, задержанную в Константинополе из-за ремонта судна, устроил за свой счёт в нескольких второразрядных гостиницах.

— Всё бы ничего, — вздыхал он. — Только дамы из первого и второго классов замучили. И зачем только созданы дамы, — комически разводя руками, говорил он.

— Вот бы посмотрел на вас, если б не было дам. Ваши жёлтые глаза никогда не становились бы глазами тигра, и вам было бы адски скучно командовать одними мужчинами.

— Лёвушка, вы уже второй раз всаживаете мне пулю прямо в сердце. Хорошо, что сердце у меня крепкое и ехать уже недолго. Знаете ли, доктор И., если бы вы отпустили этого молодца со мною в Англию, он бы, чего доброго, прибрал меня к рукам.

И. улыбнулся и принялся рассказывать, как хорошо всё сложилось в судьбе Жанны. Капитан внимательно слушал и долго молчал, когда И. окончил свой рассказ.

— Нет, знаете ли, я, конечно, только морской волк. Но чтобы Анна вязалась в моём представлении со шляпами! Никак не пойму, — Анна — богиня... и шляпы! — всё повторял капитан.

— Но ведь для шляп нужна толпа людей, — сказал я.

— Ах, Лёвушка, ну какие это люди. Это дамы, а не женщины. Но вот мы скоро и приедем. Обратите внимание на эту панораму. Тут все дамы сразу из головы выскочат.

И действительно, было на что посмотреть, и нельзя было решить, с какой стороны город казался красивее.

Но рассматривать долго не пришлось; мы остановились у массивных ворот высокого, глухого забора. Капитан позвонил в колокольчик, и юноша-турок сейчас же открыл калитку.

Переговорив с ним о чём-то, капитан повёл нас в глубь сада. Вдоль дорожек росли всевозможные цветы. Много было таких, каких я ещё никогда не видел. По дороге капитан сорвал небольшой белый благоухающий цветок и подал его мне.

— Все джентльмены в Англии, одеваясь к обеду, вдевают в петлицу такой цветок. Он называется гардения. Когда будете сегодня обедать, возьмите, в память обо мне, этот цветок. И подарите его той, которая вам больше всех понравится, — сказал он, беря меня под руку.

— В вашу честь приколоть цветок могу. Но обед, куда я пойду, не будет восточным пиром. И для меня там не будет ни одной женщины, как бы они все ни были красивы. В моём сердце живёт только мой друг Флорентиец, и ваш цветок я положу к его портрету, — ответил я.

Капитан пожал плечами, но ответить ничего не успел. Навстречу нам шёл огромный, грузный турок, такой широкоплечий, что, казалось, он сможет поднять весь земной шар. Это и был хозяин оранжерей, приветствовавший капитана как сердечного друга. Опять я подумал, что если судить по внешности, я бы поостерегся этого малого, а вечером

обязательно обошёл бы его подальше.

У хозяина оказались чудесные орхидеи, были и пармские фиалки. И. вместе с капитаном заказал какие-то причудливые, фантастические корзинки из белых орхидей, розовых гардений и роз. Фиалки мы должны были преподнести Анне, а розы её матери и Жанне.

Нагруженные лёгкими плетёными корзинками, где в сырой траве лежали цветы, мы вернулись втроём в отель. Времени только и оставалось, чтобы переодеться и ехать к Строгановым. Капитан сидел на балконе, и до меня долетали обрывки его разговора с И. И. говорил, что вскоре приедет Ананда, с которым он обещал его познакомить. Кроме того, он пообещал капитану ввести его в дом Строгановых, чтобы тот мог послушать прекрасную игру и пение Анны.

— Я буду вам более чем благодарен, доктор И. Вечер, проведённый с вами в обществе красавицы-музыкантши, даст мне, быть может, силу отнестись к таланту по-иному; чем талантам сценических деятелей, выступающих за плату. Однажды каверзный Лёвушка царапнул меня по сердцу, спросив, как бы я отнёсся к жене, играющей для широкой публики. И я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос, — задумчиво говорил капитан.

— Наш Лёвушка недаром обладает глазами, как шила. Просверлил в вашей душе дырку, а пластырь покоя не приложил, — засмеялся И.

— Нет, никто не может научить меня покою. Мне любезны только бури, неважно на море или на суше, — но всегда со мной и вокруг меня — только бури.

Тут я вышел, переодевшись в белый костюм из тонкого шёлка, заказанный для меня И., в чёрном галстуке бантом, в чёрном поясе-жилетке и с гарденией в петлице. Волосы мои уже отросли и лежали кольцами по всей голове.

— Батюшки, да вы красавец сегодня, Лёвушка. Помилосердствуйте, Жанна окончательно очаруется, — вскричал капитан.

Но ни его ирония, ни внимательный взгляд И. меня не смутили. Я был полон мыслями о Флорентийце и брате и твердо решил ни разу не превращаться сегодня в "Лёвушку-лови ворон".

Мы спустились вниз, простились с капитаном и, бережно держа корзиночки с цветами, сели в коляску.

У подъезда дома Строгановых стояло несколько экипажей. Я понял, что обед будет не очень семейным, есть и другие гости; но ещё раз дал себе слово быть достойным Флорентийца и собрать всё своё внимание, думая не о себе, а о каждом из тех, с кем буду говорить.

В просторной светлой передней Строгановых, где по двум стенам стояли высокие деревянные вешалки, висело много летних плащей и лежали кучей всевозможные шляпы.

Слуги взяли у нас шляпы, помогли вынуть цветы. Я был поражён, какое чудо искусства — две бутоньерки из фиалок — оказалось в моей корзиночке; тогда как у И. три букета роз на длинных стеблях, каждый из которых был связан прекрасной восточной лентой. И. подал мне букет розовых роз, взял у меня одну бутоньерку из фиалок и сказал:

— Иди за мной, Лёвушка. Я подам букеты старой хозяйке и Анне. Ты подашь фиалки Анне, а розы Жанне. Не робей, держись просто и вспоминай, как держит себя Флорентиец.

Сопоставление высоченной и величественной фигуры моего обожаемого друга с моею фигурой среднего роста и хрупкого сложения, его манер — простых, но величавых — с моей юркостью, мысль, как хорош бы я был, величественно выступая в подражание ему, показалась мне такой комичной, что я едва удержался от смеха; но улыбки удержать не смог и с нею вошёл в гостиную.

Здесь были только одни мужчины, и гостиная скорей походила на курительную комнату, так в ней было накурено.

— Ну вот и вы, — услышал я голос Строганова, идущего нам навстречу. — Я думаю, мои дамы начинают беспокоиться, как бы не перестоялись изобретённые ими кушанья, и настроение их уже портится. Мы ждали вас по-семейному, раньше; а вы, столичные франты, прибыли по этикету, за четверть часа, — смеялся он, пожимая нам руки. — Пойдёмте, я познакомлю вас с моей старухой. А с остальными и знакомить не буду. Всё равно перепутаете всех оглы и паши, — взяв И. под руку, продолжал он.

Он подвёл нас к величавой пожилой, но ещё нестарой женщине в чёрном шёлковом платье, очень простом, но прекрасно сидевшем на её стройной, несколько полноватой фигуре.

Увидев лицо дамы, я был поражён. Косы на голове её лежали тяжёлой короной и, к моему удивлению, были пепельного цвета. Глаза чёрные, овал лица продолговатый, цвет кожи смуглый, почти оливковый, руки прелестные. Передо мной стояла Анна, но... Всё в матери напоминало дочь, но какая пропасть лежала между этими двумя несомненными красавицами.

— Я очень рада видеть вас у себя, — сказала она И., принимая цветы. — Муж мой говорил так много о вас.

Голос её тоже был низкий, как у Анны, но и здесь ощущалась огромная разница. Он был хрипловатый, и в нём звучали нотки избалованной

красавицы, привыкшей побеждать и поражать своей красотой. Мне она только едва улыбнулась, сейчас же переведя глаза на высокого турка в феске и европейском платье и продолжая начатый с ним разговор. У меня не было времени размышлять о жене Строганова, так как нам навстречу шла Анна; но какая-то ледяная струйка пробежала к моему сердцу и я пожалел Строганова.

Анна была в белом, кисейном платье; чёрные косы, как обычно, лежали по плечам, глаза сверкали, снова напомнив глаза-звёзды Ананды. Она протянула И. свою дивную руку, которую он поцеловал, и радостно улыбнулась, принимая от него фиалки.

— Наконец-то, — сказала она. — Всякого сюрприза я могла ждать от вас. Но чтобы вы подарили мне фиалки...

Когда же я, в свою очередь, подал ей ещё один букет фиалок, она точно задохнулась, так глубоко было её удивление.

— И вы, и вы раздобыли для меня мои любимые цветы, — тихо сказала она, беря меня под руку и уводя из центра комнаты, где мы стояли, привлекая общее внимание. — Вы с вашим братом чересчур балуете меня. О, если бы вы знали, эмблемой какого счастья служат для меня эти цветы.

— Я знаю, — сказал я необдуманно. Увидя необычайное удивление на её лице, поняв, как глупо попался, я не дал ей опомниться и попросил указать, где в этой огромной комнате сидит Жанна. Удивление и беспокойство на чудном лице Анны сменились, наконец, смехом.

— Чудак вы, Лёвушка, — сказала она. — Вы меня так было озадачили, — И она ещё веселее рассмеялась. — Ну вот вам Жанна и князь. Веселитесь, я же пойду выполнять свои обязанности хозяйки. Вы будете сидеть за обедом подле меня, вернее, между мной и Жанной, так как ни одна из нас не желала уступить вас никому другому. — И, улыбаясь нам троим, она нас оставила. Я подал Жанне розы и сел рядом на турецкое низкое кресло.

Я не мог ни осмотреть комнаты, огромной, с опущенными гардинами и массой зажжённых ламп, ни наблюдать за движущимися в ней, весело и громко, часто по-турецки, разговаривающими людьми, так как Жанна сыпала сотню слов в секунду, всё время требуя моего участия. Главное, она была недовольна тем, что я сосед с нею по правую руку, а не по левую, где будет сидеть князь.

Наконец, мне удалось перебить её и спросить князя, в каком состоянии он оставил жену.

— Очень хорошо. Лев Николаевич; княгиня уже пыталась держать в руке чайную ложечку и радовалась, как дитя, — ответил князь.

Тут открылись двери столовой, и хозяин, стоя на пороге, пригласил нас к столу.

Анна уже спешила ко мне. Бутоньерка из фиалок была приколотая к её груди и резко выделялась на белом платье, ещё больше подчёркивая беломраморность её лица и шеи.

Подав ей руку, я двинулся в шеренге пар, обнаружив впереди мать Анны с тем элегантным турком, с которым она разговаривала давеча.

Когда я занял указанное Анной место, то оказался не только между нею и Жанной, но и vis-a-vis с молодым Ибрагимом, который был элегантно, европейски одет. Мы радостно раскланялись. Рядом с ним сидела девушка несколько восточного типа. Жанна сейчас же шепнула мне, что это племянница Строгановой, дочь её сестры; что сама Строганова особа очень добрая и весёлая, видит в ней будущую жену Ибрагима. Я от души пожалел моего приятеля, так как девушка была смазливенькая, но казалась тупой. От такой жены вряд ли можно было ждать вдохновенных минут.

Гости заняли весь длинный стол. Комната была отделана по-восточному, с инкрустацией, где преобладало голубое, в два света, в ней отсутствовала всякая мебель, кроме низких диванов вдоль всей стены, покрытых коврами исключительной роскоши.

Я взглянул на свою соседку и обнаружил, что по другую сторону от неё сидит И., а рядом с ним старшая дочь Строганова. Я пожалел И. от всего сердца, так как мне уже было известно весёлое, мягко выражаясь, легкомыслие этой практичной особы.

Анна ела очень мало, но требовала, чтобы я проявлял внимание к восточным блюдам. Не успели гости насытиться закусками, как двое слуг внесли заказанные нами волшебные корзины цветов. И ещё не менее оригинальную и изящную корзину с орхидеями, покоившуюся в прекрасной хрустальной вазе, которую поставили перед Анной.

— Это, несомненно, вам шлёт привет капитан, с которым мы вместе выбирали цветы, — тихо сказал я Анне.

— Если бы не так сильно сияло моё сердце, я бы рассердилась. Но сегодня я ни на что и ни на кого сердиться не могу, — ответила она мне.

— Помилуйте, человек так преклоняется перед вашей красотой, так искренно шлёт вам свой восторг. Оцените, ведь требуется высокая культура, чтобы таким образом сложить орхидеи. Ведь это целая симфония — от розового до чёрного цвета. А вы говорите, что могли бы рассердиться, — запальчиво воскликнул я, обидясь за моего друга.

— Вы меня не поняли, Лёвушка. Я не так сказала. Конечно, у человека, умеющего так подать цветы, вкус должен быть художественный. Но свой

изысканный вкус ваш капитан расточает всем и всюду, играя им как манком красоты. Моему же сердцу дорога та красота, в которой отражено не только изящество вкуса, но и изящество духа. Какой цветок вы хотели бы унести домой? Одну из орхидей, таких причудливых, роскошно-перламутровых, или маленькую ароматную фиалку? — спросила она меня.

— Так нельзя ставить вопрос. Фиалка, которую вы держите в руках и называли эмблемой счастья и любимым цветком, — уже не цветок, не вещь, но символ для меня. А цветы капитана — просто дар восхищённого человека, его благодарность за встречу с вами, — ответил я. — Я вообще заметил, что капитан произвёл на вас плохое впечатление. Очень и очень жаль. Он, конечно, тигр. Но в нём есть высокое благородство, храбрость и... так много схожего иногда в его словах с тем, что говорит лучший из людей, кого я имел счастье знать. И. обещал познакомить капитана с Анандой и дать ему возможность послушать его пение.

Точно искры вспыхнули в глазах Анны, и лицо её побледнело. Ни слова не ответив, она повернулась к И.

— Лёвушка, соседка справа тоже хочет говорить с вами. Объясните нам. Князь смеётся надо мной и не хочет сказать, что это за цветы подали Анне. Ведь они искусственные? — услышал я голос Жанны.

— Нет, Жанна, это орхидеи. Нравятся они вам?

— Не очень, Лёвушка. Ваши розы гораздо лучше и чудесно пахнут. Но посмотрите на мадам Строганову. Она сегодня всем недовольна. Ей очень не по сердцу, что всё делается для Анны.

— Почему же так? — недоумённо спросил я.

— Потому что Анна — это внутренний раскол в семье. Она отказывается делать блестящую партию, как того хочет мать, а живёт мечтами, якаясь со всякой беднотой. Кроме того, я подозреваю, что мать завидует красоте дочери, — тихо прибавила она.

Мне была неприятна болтовня Жанны; мне казалось не слишком-то благородным сплетничать о людях, которые трогательно помогают ей начать новую жизнь.

— Будете ли вы петь сегодня? — спросил я повернувшуюся ко мне Анну.

— Мне бы не хотелось, но, вероятно, придётся. Среди наших гостей есть несколько лиц, глубоко ценящих и понимающих музыку. Мать моя не артистична. Но сидящий рядом с нею человек музыкален и даже считается хорошим певцом, — ответила она, лукаво улыбаясь.

— Ах, как жаль, как глубоко жаль, что капитан не может вас услышать. Для него это было бы более чем необходимо, быть может стало бы даже

откровением, — воскликнул я.

— Удивительный вы фантазёр, Лёвушка. Наверное, вам в угодку И. хочет, чтобы я устроила музыкальный вечер для маленького кружка людей, когда приедет Ананда. Если вам удастся услышать его пение — все остальные звуки покажутся бедными и ненужными. Каждый раз, когда я слышу этот голос, я расстраиваюсь от собственного убожества.

— Оправдание вашим словам можно найти только в величии вашего собственного таланта и вашей души, Анна. Тот, кто понимает, как сияют вершины, только тот может быть недоволен, имея ваш талант, который И. называет огромным.

— Положительно, Лёвушка, вы решили сегодня задавать мне шарады, — засмеялась Анна.

— Нет, о нет! Если бы вы знали, как я перед вами виноват...

Моя речь оборвалась. Я увидел И., и его взгляд напомнил мне о нашем разговоре в сквере. И. задал Анне какой-то вопрос, а я, как к спасительному фарватеру, повернулся к Жанне.

Обед шёл своим порядком. Неоднократно я перехватывал взгляд высокого турка, о музыкальности которого говорила Анна. Огненные, какие-то демонические глаза его часто останавливались на Анне. Когда он смотрел на И., ведущего с ней беседу, в его взгляде мелькала ненависть.

"Вот тебе и здравствуй, — подумал я. — Не хватало только моему дорогому И. отвечать за грехи Ананды".

Не успел я подумать об этом, как высокий турок встал, взял в руку бокал с шампанским и очень важно, даже величаво, поклонился своей соседке, хозяйке дома. Она улыбнулась ему и постучала ножом о край хрустального стакана.

Голоса сразу смолкли, и все глаза уставились на турка, пожелавшего провозгласить тост.

После довольно пространного прославления родителей — быть может, так полагалось по восточному обычаю, но мне казалось фальшивым — он перешёл к виновнице торжества, их младшей дочери. Речь свою он произносил по-французски, заявив, что выбирает этот язык потому, что за столом есть люди, понимающие только его. Он сказал это самым невинным тоном, будто выполняя элементарное требование вежливости, но что-то в его глазах, лице и всей фигуре было так едко и оскорбительно насмешливо, что кровь ударила мне в голову. Я не сомневался, что он издевался над Жанной, хотя внешне всё было благопристойно.

Анна, сидевшая с опущенными глазами, вдруг поглядела на меня своим бездонным взглядом, точно убеждая в суеете и ненужности всего

происходящего. Мне стоило усилий снова вслушаться в речь оратора. Голос его был ясный, повелительный, речь правильная; необычайно чётко он выговаривал все буквы до последней.

Отвлёкшись наблюдением, я потерял нить его речи и собрался с мыслями только к завершению длинного тоста, в котором, очевидно, и была вся соль.

— Перед нами не только жемчужина Босфора, которая могла бы украшать любой гарем, любой дворец, но женщина, для красоты и талантов которой мало всей земли. И что же мы видим? Женщина эта хочет трудиться, колоть свои прелестные пальцы иглой и булавками. Стыдно нам, мужчинам Константинополя, не сумевшим завоевать сердце красавицы, которая прелестней всех красавиц мира.

Но если уж нам это до сих пор не удалось, то мы объявляем себя ревнивыми телохранителями и не потерпим, чтобы кто-то, не турок, — отнял у нас наше сокровище. Я предлагаю тост за вечно женственное, за красоту, за страсть, за женщину как украшение и добавление к жизни мужчины, а не как за труженицу. Царственной красоте и царственное место в жизни, — закончил он. Он чокнулся со Строгановым и пошёл вокруг стола к месту, где сидела Анна.

Я не слышал, что сказала Анна И., но видел её молящий взгляд и его ответную улыбку и кивок головой.

Турок приближался к нам. Все гости повставали со своих мест, чокаясь с Анной и хозяевами. На лице турка было выражение адской дерзости, злобы, ревности, как будто он на что-то решился, что-то поставил на карту, хотя бы это стоило скандала.

Я задрожал; какой-то ужас вселила в меня эта адская физиономия.

Вдруг, шагах в трёх-четырёх от нас, турок побледнел, так побледнел, что даже губы его стали белыми. Он слегка пошатнулся, словно порывался идти вперёд, но наткнулся на непроходимую преграду. Он снова пошатнулся, схватился рукой за сердце. К нему бросились. Но он уже оправился, старался улыбнуться, но видно было, что он сам не понимает, что с ним происходит.

Когда он схватился за сердце, то выронил браслет, как мне показалось, из розовых кораллов. Но после И. сказал, что из розовых жемчужин и розовых же бриллиантов — вещь бесценную.

Очевидно, он хотел, тайком от всех, надеть эту драгоценность на руку Анны, а внезапный приступ выдал его желание. Кто-то подал ему браслет, он с досадой положил его в карман и направился к Анне, хотя теперь еле волочил ноги, сгорбился и сразу сделался старым и почти безобразным.

Он с трудом чокнулся с Анной, поднявшейся ему навстречу, не сказал ей ни слова, хотя глаза его готовы были выскочить из орбит, и, резко повернувшись, пошёл обратно.

Я неотступно наблюдал за ним. Было странно, что шёл он к нам еле волоча ноги, но смог так резко повернуть обратно. И ещё более странным было его поведение потом. Чем ближе подходил он к своему месту, тем легче и увереннее он шёл. И опускаясь на стул возле хозяина дома, уже весело подшучивал над собой, говоря, что у него, должно быть, начинается грудная жаба.

Ещё не смог я отдать себе отчёт в том, что же произошло, как шум и смех гостей был снова прерван звоном; и на этот раз поднялся хозяин дома, желая, очевидно, сказать ответный тост.

— Прежде всего я благодарю моего гостя за столь горячее прославление родителей «перла», хотя считаю себя совершенно недостойным похвал и вижу в тосте обычай восточной вежливости. Что же касается разницы между чистокровными турками и европейцами, между трудящимися и живущими за чужой счёт, то... — он смешно подмигнул и продолжал:

— Вот он, наш знаменитый оратор, считает себя турком. Имя его Альфонсо. Есть ли такое турецкое имя? А фамилия — да-Браццано. Возможна ли такая турецкая фамилия?

За столом раздался смех.

— Фамилия его говорит и об испанцах, и о маврах, и об итальянцах — о ком хотите, только не о турках. А вот психология и воспитание нашего друга истинно турецкие. Это уж дело его вкуса и склонностей.

В моей обрусевшей семье все трудятся. И если завтра я закрою глаза, то все мои близкие будут стоять в жизни на своих ногах, иметь полную материальную независимость.

Сегодняшний день я считаю самым счастливым, так как младшая моя дочь, единственный совершеннолетний член семьи, который ещё не трудился, становится независимой хозяйкой большого дела. Я приветствую в её лице всех трудящихся, образованных женщин. Женщин — друзей своих мужей и детей. Да здравствует счастье труда, единственное надёжное счастье человека.

И Строганов, точно так же, как и турок, пошёл вокруг длиннейшего стола к Анне, по дороге поцеловав руку своей жене.

Я заметил, что Строганов почему-то сильно волновался, когда склонялся к своей жене, чокался с да-Браццано и со своим младшим сыном, пользовавшимся исключительной любовью матери.

Это был красивый юноша, с пепельными волосами, чёрными глазами и

оливковой, как у матери, кожей. Но было что-то животное, отталкивающее в этой красивой внешности. Было ясно, что образец хорошего тона для него турок, который был с ним особенно внимателен и ласков. Юноша был, очевидно, избалован и изнежен, испорчен баловством матери и чрезвычайно высокомерен.

Я превратился в "Лёвушку-лови ворон", забыл про всё на свете и вдруг увидел за спиной у юноши какое-то уродливое, серое существо. Это был он и не он, а точно его портрет лет через двадцать. Всё лицо его было в морщинах. На руках торчали какие-то шишки, глаза сверкали из глубоких впадин точно раскалённые угли. Рот злобно кривился.

Я не мог ни отделить этой фигуры от юноши, ни слить их воедино. Я поднял руку, готовясь закричать: "Берегитесь, прогоните злодея", как рука моя очутилась в чьей-то руке, и я услышал голос Строганова:

— Ну, кого же сейчас колют ваши писательские шила? А, мой меньшей вас занимает. Ну, этот ещё не трудится. Маменька будит его утром, собственноручно подавая в постельку шоколад. Меньших обычно считают младенцами, даже если они уже перещеголяли опытом стариков. Обнимемся, Лёвушка. Я вижу, вы прищлись по сердцу моей царственной розе Босфора, а это бывает редко.

Я едва мог ответить на его объятие, да и то только потому, что И., подошедший к Жанне, сжал мою руку и шепнул: "Думай о Флорентийце".

Когда все снова сели, когда подали торты и мороженое, заказанные нами, за столом раздались одобрительные возгласы. Вероятно, хозяин кондитерской хорошо знал вкусы константинопольской публики.

Анна, тихо говорившая с И., повернулась ко мне, и её чёрные глаза пристально на меня посмотрели.

— Ах, Анна, как я несчастен. Хоть бы скорее кончился этот бесконечный обед. И зачем это люди едят так много. Мне положительно кажется, что с самого приезда в Константинополь я только и делаю, что ем да сплю. Да ещё наблюдаю, как я схожу с ума, — жалобно сказал я.

Её нежная рука погладила мою, лежавшую на колене руку, и она ласково сказала:

— Лёвушка, придите в себя. Я всем сердцем вам сочувствую. Мне так хотелось бы чем-нибудь быть вам полезной. Смотрите на меня как на самую близкую, любящую сестру.

Голос её был так нежен, столько доброты лилось из её глаз, что я не мог этого выдержать. Уже подступало к горлу рыдание, но я заметил придвинувшуюся ко мне руку И. и на клочке бумажки увидел пилюлю Али. Я схватил пилюлю, как якорь спасения, быстро проглотил её и, к своему

облегчению, услышал шум отодвигаемых стульев.

Гости разбрелись по балконам и гостиным, где уже подавали чёрный кофе по-турецки.

Я молил И. не оставлять меня одного и поскорее уехать домой. Мы вместе с князем вышли на балкон, где сверкало алмазами звёзд тёмное небо и, казалось, прошёл дождь, так как капли дрожали кое-где на деревьях и особенно сильно благоухали цветы.

— Вот она, южная благоуханная ночь. Но если ты думаешь, что видишь капли дождя, то ошибаешься. Это Строганов приказал полить деревья, цветы и дорожки, чтобы не было так душно. Ты хочешь уехать. А разве тебе не хочется послушать игру и пение Анны. Не будь эгоистичен, — сказал, понизив голос, И. — Ты ведь понимаешь, что без нас Анне будет тяжелее. Неужели ты не увидел, что великая сила чистой любви и воли помогла мне защитить её от этого адского турка.

— У меня к вам очень большая просьба, доктор И., - внезапно сказал задумчиво молчавший всё время князь.

— Я буду более чем рад служить вам, князь, — очень живо отозвался И.

— Видите ли, я всё ищу какую-либо возможность отплатить вам за вашу доброту ко мне и моей жене. И все способы, которые я перебираю, мне кажутся вульгарными. Но вот как будто я нашёл один, хотя тут, более чем когда-либо, меня можно упрекнуть в эгоизме. К вам должен приехать друг. Вряд ли ему будет приятна суэта отеля. В моём же большом и пустом доме есть две комнаты с совершенно отдельным входом.

Рядом с этими комнатами пустуют ещё три. Я уже сговорился со Строгановым и начал их отделявать. Через два дня всё будет готово, и я уже приобрёл отличный рояль, чтобы ваш друг и Анна могли на нём играть в моём доме, если бы это им вздумалось.

Для спутника вашего друга есть комната в бельэтаже, имеющая сообщение со всем домом. Как видите, я уже всё обдумал. Не откажите мне, перед скорой разлукой, в счастье видеть вас своими гостями.

Голос князя был тихий, почти молящий. И. близко подошёл к нему, подал ему руку и сказал:

— Какую бы форму я ни придаю моей благодарности, наибольшей радостью будет сказать, что редко человеческая помощь приходит так кстати и вовремя, как ваше предложение. Мы с Лёвушкой устали от отеля, а наш друг уже давно нуждается в отдыхе. От всех нас благодарю. Мы будем очень рады пожить в вашем тихом доме, так как задержимся здесь, вероятно, ещё около месяца.

— Какое это для меня счастье, — воскликнул князь. На пороге балкона

выросла женская фигура, и я узнал Жанну, звавшую нас пить кофе. Что-то меня в ней поразило, и я только при свете понял, что она переделалась. На мой вопрос, зачем она это сделала, она сказала мне, что в Константинополе принято, чтобы на парадных обедах дамы к кофе меняли туалеты.

Действительно, я увидел Строганову в лёгком платье сиреневого цвета, что шло к её волосам, но составляло резкий контраст с её кожей. Быть может, это было и хорошо, но мне не понравилось.

Я стал искать глазами Анну, мысленно решая, в чём бы я хотел её видеть. И ни в чём, кроме белого, мне не хотелось рисовать себе её очаровательную фигуру.

Как же я обрадовался, когда увидел её в том же туалете. Осмотрев платье Жанны, со множеством мелких оборочек ярко-зелёного цвета, я вдруг сказал ей:

— Я не парижанин, я просто ещё не видавший света мальчишка. Но на вашем месте я ни в коем случае не надел бы это вульгарное платье. Первый ваш туалет был скромен и мил, он был только рамкой для вас. А вот эта зелень, она убила вас и кричит о дурном вкусе. Ради Бога, не делайте шляп в таком стиле. Вы разгоните высший свет и соберёте в свой магазин базар.

— Это потому, — чуть не плача отвечала мне Жанна, — что первое платье я выбрала сама, а второе мне подарила мадам Строганова.

К нам подошли князь и И., и мы сели в уголке пить кофе. На диване, за центральным столом, сидела Анна, а возле неё на кресле зловещий да-Браццано.

Он, не сводя с неё глаз, что-то говорил. Лицо её было холодно, точно маска легла на него, закрыв всякую возможность читать её душевные движения. Только раз глаза её поднялись, обвели комнату и с мольбой остановились на отце. Он сейчас же отошёл от своего кружка и сел на диван рядом с нею.

— Ну, друг доченька, хочу выпить чашку кофе, налитую твоими милыми руками, — улыбаясь, сказал он ей.

Анна встала, чтобы налить ему кофе, а я снова увидел в глазах турка бешенство и ненависть. Но он улыбался и глотал свой кофе, вполне владея собой.

— Лоллион, я просил вас не оставлять меня. Но сейчас я крепок, как если бы сам Али был тут, а не только его пилюля во мне. Мне кажется, что если этот сатана будет находиться возле Анны, она не сможет петь. Неужели вы не можете его так скрючить, чтобы он вовсе убрался, — шептал я.

И. засмеялся и сказал, что верит в мои силы и самообладание и

действительно пойдёт к Анне. Но просит меня, как только начнётся музицирование, сесть непременно рядом с ним, он займёт мне место; а лучше всего, если я подойду к нему, как только начнутся разговоры о пении. Поговорив ещё немного с князем и Жанной, он перешёл к столу Анны, куда, как к магниту, стали собираться мужчины.

Последовало долгое кофепитие.

— Знаете, князь, не мог бы я жить на Востоке. Однажды я был на настоящем восточном свадебном пиру. Общество там было разделено на мужскую и женскую половины. Я лицезрел, конечно, только пир мужчин. Они ели руками, ели до отвала, до седьмого пота, под унылую восточную музыку. Это было красочное, но и варварское зрелище. Здесь всё вполне цивилизовано, — и все точно так же объедаются до пота. Только вытираются не сальными рукавами, а душистыми носовыми платками.

Ну скажите, разве не варварство так уставать от еды. Дойти до такого полного изнеможения, как эти люди напротив нас, — указал я на нескольких гостей, сидевших в полном отупении в противоположном углу и тяжко переваривавших пищу.

Тут стали просить спеть. Многие обращались к Браццано; он ломался и — воображая себя героем — ответил, что не особенно здоров, но попробует всё же. "Лучше тебе и не пробовать", — ехидно думал я и решил во что бы то ни стало умолить И. дать ему какое-нибудь лекарство, чтобы он охрип и, что называется, "дал петуха".

Обуреваемый этим желанием, я забыл все условности на свете, бросил своих друзей и побежал к И. Схватив его за руку, я стал умолять его помочь турецкому бреттёру осрамиться.

— Какой ты ещё мальчишка, Лёвушка, — смеялся И.

— Лоллион, миленький, добрый, хороший, не дайте мучить Анну этому злодею. Наверное, у него и голос такой, что ему петь только куплеты сатаны, — шептал я.

— Уймись, Лёвушка, — очень серьёзно сказал мне И. — Наблюдай и приглядывайся. Запомни всё, что сегодня видишь и слышишь. Многое поймёшь гораздо позже. Для Анны и некоторых других сегодня идут минуты, решающие всю их жизнь. Будь серьёзен и не шали как мальчик.

Он почти сурово поглядел на меня.

Вся толпа гостей, предводительствуемая хозяином, двинулась в большой вестибюль, не тот, через который мы вошли, а в середине дома. Там, по широкой, красивой лестнице, мы спустились вниз, в большой круглый концертный зал, принадлежавший Анне. Ах, какая это была чудесная комната. Мозаичные деревянные полы и стены; посередине рояль

и вдоль стен небольшие кресла. Две-три вазы на постаментах, несколько картин и мраморных фигур.

Когда Анна подошла к роялю, я забыл обо всём. На её лице играла улыбка, глаза сверкали, на щеках горел румянец. Это была не та Анна, которую я не раз видел. То была фея, существо неземное. И если до сих пор Анна казалась мне особенною, не такой, каких обычно носит земля, то теперь я понял, что среди нас ещё ходят неземные существа, приносящие небо на землю.

Она заиграла. Я сразу узнал Патетическую сонату.

Но до сих пор не понимаю, как не только я, но и все мы могли вынести эту музыку. Что-то безумно захватывающее было в ней. Казалось, сверхъестественная сила вселилась в Анну. Страсть, какой-то зов в неведомое, недостижимое чередовались со внезапным озарением, а потом снова вопросы и голос неумолимой судьбы...

Я плакал, закрыв лицо руками, и слышал, как плакал подле меня князь. "Вот он, серый день, претворённый в сияющий храм", — думал я.

Звуки смолкли. Никто не прерывал молчания. И. сжал мне руку, точно призывая к самообладанию. И было время.

— Ну всегда ты, Анна, расстроишь своей игрой и испортишь всем праздник, — раздался неприятный, слегка гнусавый и капризный голос её младшего брата. — Сыграла бы Шопена, показала бы блеск. А то навела тумана своим Бетховеном.

Мне так и хотелось отколотить этого будущего бреттёра.

— Если тебе не нравится, можешь уйти отсюда, чем много меня обяжешь, — сказал ему тихо отец; но такая гроза была на его лице, что невоспитанный мальчишка, как трусливый щенок, немедленно спрятался за маменькину спину. Та пригрозила кокетливо пальчиком, улыбаясь ему, как напавшему пятилетнему пупсу.

Но этот пошлый эпизод не смог разрушить огромного впечатления.

Под напором просьб Анна снова стала играть. Но больших вещей она уже не играла и, казалось, какая-то частичка её существа улетела вместе с первой пьесой. Того сверхъестественного вдохновения, поразившего всех, в её игре уже не было.

Мне хотелось убить негодного мальчишку.

Анна встала и объявила, что ни играть, ни петь она больше не станет, но если есть желающие петь, она будет аккомпанировать.

Да-Браццано поднялся и сказал, что не петь под такой волшебный аккомпанемент он не может.

Я взглянул на И. Лицо его было сурово, ох, так сурово, точно перед

бурей на пароходе. Он посмотрел на Анну, словно посылая ей силы.

Турок поправил воротник, одёрнул жилет и заявил, что споёт песнь, в которой выскажет тайну своего сердца.

Воцарилось молчание. Он объявил, что будет петь серенаду Шуберта.

Я вздохнул, в ужасе посмотрел на князя, потом на певца, который скорее походил на тореадора, пылающего адским огнём, чем на нежного любовника, призывающего вникнуть в смысл песни соловья, молящей, трепетной, — и едва удержался от смеха.

Анна не нуждалась в нотах. Она взглянула на И., брови её чуть поднялись, руки нежно коснулись клавишей.

— "Песнь моя летит с мольбою..." — вдруг заревел, точно паровой гудок, здоровенный бас.

Я фыркнул, нагнулся, спрятался за И. Когда же этот рёв поднялся до высокой ноты, — произошло нечто совершенно неожиданное. Ревевший бас вдруг превратился в тоненькую фистулу, такую поганенькую, что во всех углах зала раздался хохот... Мы с князем хохотали во весь голос. Даже Анна с удивлением смотрела на певца, хотя на лице её не было смеха, а только неприязненное досадливое чувство. Очевидно, в ней заговорила оскорблённая артистичность.

— Нет, не могу, я болен сегодня, — сказал, силясь улыбнуться, певец. Ни на кого не глядя, он вышел.

Хозяйка дома и её любимый сын бросились за ним, остальные гости, сконфуженные, давясь от смеха, стали разъезжаться.

Мы вышли последними вместе с Анной, Строгановым, князем и Жанной. Сердечно простившись с хозяевами, мы обещали зайти в магазин к шести часам, чтобы узнать, как прошёл первый рабочий день.

Глава 19. МЫ В ДОМЕ КНЯЗЯ

Прошло ещё два суетных дня нашей отельной жизни, с ежедневными визитами к Жанне и князю и путешествиями с капитаном по городу.

Несмотря на все хлопоты и неприятности, валившиеся на него со всех сторон, отчего он даже похудел и его жёлтые глаза стали громадны, — этот милейший человек урывал два-три часа в день, чтобы показать мне город.

Много я встречал и потом добрых, внимательных людей. Вообще мне везло на счастливые встречи. Но такого сердечного, простого внимания от чужого человека я уже никогда не видел. Речь, конечно, не о моём друге Флорентийце и его близких — И., Ананде, Али. Я говорю об обычных людях высокой культуры.

На третий день, едва мы сели завтракать, к нам вошёл князь. Он объявил, что приехал с двумя слугами, которые поступают теперь в полное наше распоряжение и помогут перевезти нас к себе.

И. выказал все признаки радости, а я не мог понять своего состояния. Мне точно не хотелось никуда переезжать. То мне думалось, что именно в этом причины нашей задержки в Константинополе, то казалось, что капитану будет труднее забегать ко мне в удалённую от центра часть города. Конечно, корень моего недовольства лежал в том, что проще всего я чувствовал себя с капитаном; я как-то отдыхал в его присутствии и боялся, что буду теперь разлучён с ним.

Как раз в минуту моих сомнений вошёл капитан. Узнав, что мы переезжаем к князю, он заметно опечалился.

Не успел я отдать себе в этом отчёт и хотел уже было идти укладывать вещи, как услышал голос князя:

— Я бы очень хотел обратиться к вам, капитан, с просьбой, но не знаю, как вы её примете. Наши общие друзья переезжают ко мне. Если вы только пожелаете, рядом с Лёвушкой есть пустая, но отличная комната. Меблировать её ничего не стоит, и вечером вас ждало бы некоторое подобие семейной жизни, — улыбаясь, говорил князь.

— Я чрезвычайно благодарен вам, — ответил капитан. — Но друзья наши переезжают к вам, чтобы избавиться от суеты. А я — одна суета и беспокойство.

— Нисколько, капитан, — прервал его И. — Дом князя такой большой и удобный. При нём есть сад с беседками, и вообще, кому захочется уединения, тот его там всегда найдёт. Кроме того, ведь вопрос вашего

пребывания здесь — дни, а нашего — недели. И познакомиться с Анандой, поговорить с ним и побыть рядом будет гораздо удобнее, если вы будете жить с нами.

Затем, — прибавил он с юмористическим, таким знакомым мне блеском глаз, — в доме князя есть рояль. Я постараюсь ещё до приезда Ананды уговорить Анну поиграть нам вечером, празднуя наше скромное новоселье. А ведь Лёвушка уверял вас, что игра Анны даст вам понимание музыки и высокой общественной роли женщины, одарённой музыкальным талантом, — посмотрев на меня, закончил И.

Я густо покраснел, хотел упрекнуть моего друга за насмешку, но желание уговорить капитана превозмогло всё.

Я бросился ему на шею и, должно быть так искренне, по-детски молил его принять великодушное предложение князя, — тот, со своей стороны, ещё раз его повторил, И. тоже убеждал его усиленно, — что в результате капитан развёл руками, покачал головой и сказал:

— Ведь чужой семейный дом, да ещё в таком близком соседстве с вами, доктор И., - для меня род монастырского заключения! Я так привык вести беспорядочную жизнь!

— Но, капитан, если вы действительно интересуетесь нашей внутренней жизнью, как вы неоднократно говорили, и хотите подумать о многом, что давно складываете в запасники ума и сердца, а также побеседовать с настоящим мудрецом, и ваши намерения серьёзны, — несколько дней чистой жизни не составят для вас трагедии, — вставая, сказал твердо И.

— Конечно, доктор И., я не о трагедии воздержания думал, когда колебался. А просто сознаю, что мало достоин того внимания, которое вы все мне оказываете!

— Ну, это уже пошли подробности, — закричал я. — Вы, главное дело, поскорее соглашайтесь, чтобы я мог идти собирать вещи. А то вы ведь не знаете молниеносных темпов И. Не успею я уложить один костюм, — он явится, уже всё сделав, упрекать меня в ловиворонстве.

Все засмеялись, капитан джентльменски поклонился князю, благодаря и принимая предложение, и обещал вечером, к семи часам, быть с матросом-верзилой в его доме.

Я с радостью побежал собирать вещи и с помощью слуг князя очень быстро с этим справился. Мы расплатились в отеле и сели в коляску князя.

Мы ещё сделали большой крюк по городу, так как И. нашёл необходимым нанести визит синьорам Гальдони, у которых мы ещё не были под предлогом моей болезни. И я был очень рад, что мы не застали их

дома. Оставив свои визитные карточки, мы приехали, наконец, в дом князя. И. прошёл прямо к княгине, а нас попросил разместить его вещи так, как нам заблагорассудится.

Первое впечатление от предоставленных нам комнат было ошеломляющим. Комната моя имела большой балкон, выходящий в сад, и под ним росло множество цветов. Обои светлосерого цвета, на их фоне ярко выделялась мебель красного дерева.

Мне было очень любопытно взглянуть скорей на комнату И. Она была жёлтая, а мебель резная, чёрного дерева, в готическом стиле, напоминая своими высокими остроконечными формами убранство средневекового храма. Мебель была покрыта жёлтым шёлковым ковром, в тон обоям, с коричневато-чёрным рисунком; пол сплошь застлан таким же ковром.

Я даже присвистнул. На жёлтом сукне письменного стола стояла хрустальная ваза с жёлтыми розами и лежало письмо, надписанное круглым красивым почерком.

Казалось бы, комната эта вовсе не походила на комнату в доме сэра Уоми в Б. Но чем-то, быть может своим жёлтым цветом, она вызвала это воспоминание. Гармония форм и красок, вкус, с которым были расставлены вещи, — всё было образцом истинной художественности и поразило меня.

— Это вы сами так убрали комнату для И.? — спросил я вошедшего князя.

— Нет, Лёвушка, этой комнатой занялась Анна. У одного её знакомого долго стояла без употребления вся эта мебель. Она рекомендовала мне её купить и сама руководила расстановкой мебели. Нравится вам? — спросил князь.

— Нравится — это не то слово. Здесь так же отражено превосходство её вкуса, как в её игре, в её зале, в её манере одеваться, — сказал я, забывая всё и превращаясь в "Лёвушку-лови ворон".

Не знаю, долго ли я сидел в кресле у письменного стола, рассматривая заморозившую меня комнату. Одна мысль владела мной неотступно: "Как же обставит Анна комнаты Ананды? Комнаты того, кого избрало её сердце навек, если только для друга она сумела устроить комнату-храм, входя в которую испытываешь благоговение?"

Весь во власти этой мысли, забыв обо всём, я думал, какая она, любовь, у существ, стоящих выше нас? Как они любят? В чём видят смысл любви? Почему мой брат женился на Наль, а Ананда не женится на Анне? Разве от брака таких любовников не пошла бы высшая раса людей?

Вдруг, как всегда внезапно содрогнувшись с головы до ног, я увидел Ананду, хотя и где-то далеко, но совершенно ясно, и услышал его голос:

"Связи людей, их любовь и ненависть — всё плоды не одной данной жизни. И тело человека, и его окружение — следствия и результаты личных трудов и достижений в веках. Нет пути духовного совершенствования для одного, выделенного из миллионов окружающих жизней. Только научившись единению с людьми в красоте, слиянию с ними в любви, можно проникнуть в те духовные высоты, где живут более совершенные существа. Тогда открывается собственное сердце, и в нём оживает новая любовь. И человек понимает, что вся вселенная связана, дышит и вечно движется вперёд этой живой любовью".

Всё исчезло, и голос Ананды умолк.

— Вы не волнуйтесь, князь, — услышал я и почувствовал, что И. держит меня за руку. — У Лёвушки, в результате удара на пароходе, бывают такие нервные припадки. Но это неопасно. И если когда-нибудь это с ним случится без меня, вы только дайте ему капель, которые прошу накапать сейчас из этого флакона. Князь подал мне капли.

— Поставьте их вон в тот маленький прекрасный шкаф, — продолжал И. — И будете знать, где найти в этих случаях помощь. Повторяю, это неопасно, не волнуйтесь. Вы сами нуждаетесь сейчас в помощи больше, чем Лёвушка; на вас, что называется, лица нет. Можно ли так теряться? — уговаривал И. князя.

— Ну, слава Богу, слава Богу. Лёвушка так неподвижно сидел, уставившись глазами в пространство, ни на один вопрос не отвечал, что я смертельно перепугался, — говорил взволнованно князь.

Я приник к плечу И., который нежно гладил меня по волосам, и никак не мог унять дрожи во всём теле. Наконец, я успокоился настолько, что смог встать.

— Вот как я нынче осрамился, дорогой Лоллион. В первый же день так напугал вас, князь. Это очень прискорбно; простите, пожалуйста. Уж такой я незадачливый «лови-ворон». Как только попаду в особенно прекрасную комнату, — так и становлюсь ротозеем.

— Всё образуется, Лёвушка, — ласково отвечал мне князь. — Не хотите ли посмотреть на комнаты, которые приготовлены для вашего прибывающего друга?

— Ох нет, Бога ради, только не сейчас, — взмолился я, опасаясь повторения только что пережитого.

И князь, и И. - оба посмотрели на меня с удивлением. Пристальный взгляд И. точно раздвинул во мне какие-то завесы; как будто бы во мне, как в зеркале, отразилось всё, что я только что пережил, и мне показалось, что И. увидел картину, представившуюся моему воображению.

— Ну хорошо, отложим. Я похлопочу, как сумею, о комнате для капитана. Хочется, чтобы к семи часам он нашел её уютной. Кстати, его зовут сэр Джемс Ретедли. Но я понятия не имею, как надо обращаться к важному лорду в быту, — посетовал князь.

— Лучше всего, если мы будем стараться не слишком стеснять себя всякими условностями. Продолжайте звать его «капитаном». Ведь зовём же мы вас просто «князь», а ведь и у вас есть имя и отчество, — улыбаясь, ответил И.

— Вот отлично-то! Так я поеду. Обед в половине восьмого, — сказал князь и, кивнув нам, вышел из комнаты.

Оставшись вдвоём, мы молчали. Вдруг взгляд мой упал на лежавшее на столе письмо. Я подумал, что И. будет приятнее читать его наедине; казалось мне, что письмо от Анны, и цветы, вероятно, тоже от неё.

Я тихо вышел из комнаты, прошёл к себе, но побоялся снова впасть в неприятное иллюзорное состояние и предпочёл побыть в саду.

Сад оказался запущенной частью старого парка и отделялся высокими стенами от соседей, за стенами тоже виднелись старые, тенистые деревья.

Я присел на скамью и радостно отдыхал в этом уединённом месте. Пёстрые картины недавнего прошлого одна за другой вставали в моей памяти, чрезмерно перегруженной и утомлённой всем пережитым. Я положительно не мог остановиться ни на одном человеке или факте, чтобы тотчас же они не связывались в целую вереницу чувств и мыслей, сбиваясь в конце концов в кашу.

Яркий образ Флорентийца один доминировал над всем: как-то отступила, точно в тень отошла, фигура брата. Я подумал, что он теперь переживает "медовый месяц". Но что, собственно, подразумевают люди, когда так восхищаются им? — думалось мне. Какое-то новое, неведомое мне раньше чувство стыда вдруг ворвалось в мои мысли.

Потом, ни с чем не связанно, я стал думать о Лизе и капитане, о Жанне и князе. И в их отношениях почудилась мне греховность, они не были, казалось мне, столь чистыми, чтобы их единила только красота...

— Где ты, Лёвушка? — услышал я особенно радостный голос И. Я вышел ему навстречу и увидел в его руках письмо, сейчас же узнав крупный и властный почерк. То было письмо, лежавшее на столе подле роз.

— Я получил известие, что Ананда будет здесь послезавтра вечером. Какая радость! — обняв меня за плечи, произнёс И. — Но ты как будто всё ещё не оправился? Или ты не рад Ананде?

— Уже по одному тому я рад Ананде, что счастьем встречи с вами, Лоллион, обязан ему. Если бы он не спас вас, что бы я теперь делал? В

каком трюме жизни и кто искал бы меня? — ответил я, в первый раз до конца осознав, как много, бесконечно много сделал для меня И.

И. ласково улыбнулся, снова искорки юмора засветились в его глазах, и он спросил:

— А разве в том, что сказал тебе сейчас Ананда, — что нет связей иных, чем причины и следствия нашей собственной жизни и деятельности, — ты не видишь смысла и нашей связи? Быть может, я, как и все, только отдаю тебе свой прежний долг?

Я потёр себе лоб.

— Пойдите, мой дорогой. Ведь не хотите же вы сказать, что в моей галлюцинации была хоть капля действительности? Как мог говорить со мной Ананда, находясь от меня за тысячи вёрст?

— Точно так же, как разговаривал с тобою Флорентиец, будучи очень далеко. Ты волнуешься, чуть не плачешь и ищешь сверхъестественные тому объяснения. А я уже говорил тебе, что жизнь твоя принесёт тебе не боль безумия, а огромное счастье знания, если ты захочешь трудиться и воспитать в себе полное самообладание.

Ты забыл мои слова или слушал меня невнимательно. Я ведь объяснял тебе, что в каждом имеются творческие силы сверхсознания: в одних людях они дремлют; в других — пробуждаются. И оживают в каждом по-разному, в зависимости от его чистоты и культуры — от юродивого до мудреца.

— Ох, Лоллион, до мудреца мне так далеко, что вряд ли и дойти. И юродивым быть, пожалуй, мало чести и радости, — горестно сказал я, прижимаясь к моему другу и как бы ища у него защиты.

— Дитя ты ещё, Лёвушка, — засмеялся И. — Дитя, дитя удивительное, а с другой стороны, являешь собою очень большую силу. Как-то справишься ты со своей жизнью, которую только ты один и можешь создать? Как-то поднимешь на плечи всё то, что сейчас требует от тебя ответов и труда. И никто, кроме тебя самого, не может исполнить твоих, только тебе одному присущих, индивидуальных задач, — тихо и серьёзно говорил И.

— Но ведь вы меня не оставите! Вы поможете мне жить и учиться до тех пор, пока не приедет Флорентиец? О Лоллион, не оставляйте меня; я знаю, какой я для вас груз, какая обуза, но я не в силах буду пережить сейчас ещё одну разлуку, — едва сдерживая слезы, вцепился я в него.

— Мой дорогой мальчик, мой брат, я буду с тобою очень долго. И наша с тобой дружба мне радостна, и вовсе она не груз и не обуза. Ты только уверься в том, что слух и зрение могут внезапно обостриться у каждого, от всяких, тебе ещё пока непонятных, причин. Будь спокоен. Сейчас ты так

счастлив, никакие обязательства не давят на тебя, — всматривайся же свободно в жизнь и оберегай каждого от неприятностей, сколько можешь. Пойдём посмотрим, какие комнаты приготовил наш хозяин Ананде.

Страх мой прошёл, мы поднялись по ступенькам довольно высокого крыльца и точно попали в восточный город.

Прихожая была застлана пушистым персидским ковром; вдоль стен тянулись низкие, обтянутые шёлком диваны с подушками; узкие стрельчатые окна были прикрыты ставнями из разноцветного стекла. Роскошная тяжёлая занавесь отделяла прихожую от комнат. И. раздвинул портьеру, и мы вошли в комнату.

— Боже, — вырвалось у меня. — Да тут принцу жить, и жить не месяцы, а годы.

— Так оно и есть. Ананда — принц, а жить ему здесь не меньше года, — так тихо проговорил эти слова И., что я еле уловил их.

Целая гамма фиолетовых тонов расточена была в комнате, царственно роскошной и, вместе с тем, простой. Это был кабинет-библиотека; но стиля её я не понял, да и сейчас затрудняюсь определить. Точно на ковресамолёте чья-то воля перенесла это жилище откуда-то из средневековья и расставила в доме князя. Я никогда не видел таких кресел, массивных, высоких, из какого-то светло-зеленоватого с чёрными разводами дерева, крытых лиловым шёлком.

— Где только могла отыскать Анна эти вещи? — невольно вырвалось у меня.

— Они стояли на складах её отца очень много лет. Теперь нашли себе применение, — ответил мне И. — Но пойдём дальше.

Мы вошли в следующую комнату, и... от удивления я сел на табурет, стоявший у двери. Я ожидал всего, но только не того, что увидел.

Простая походная полотняная кровать без подушек, покрытая мягкой звериной шкурой. Небольшой белый стол, два-три деревянных стула и платяной, самый простой шкаф.

— Теперь ты видишь истинные потребности принца; здесь будет его святая святых, куда вряд ли войдут многие.

Я молча указал И. на стол, где стояла такая же хрустальная ваза, как у него, и в ней... один из наших букетов фиалок. Он кивнул мне головой, и мы вышли из комнат Ананды, задёрнув занавесь и закрыв дверь.

Всё потеряло для меня ощущение реальности. Я шёл, как в тумане, и опомнился только в наших комнатах, где И. напомнил мне об обязанностях дружбы и гостеприимства по отношению к капитану, который должен был жить здесь, рядом со мной.

— Надо постараться облегчить ему жизнь в эти дни. Ему немало придётся перестрадать. Твоя нежная любовь может помочь больше, чем все заботы других, — сказал И. — Думай о нём. Зови всей силой мысли Флорентийца, и ты всегда найдёшь нужное слово для капитана.

Я твердо решил собрать своё внимание и посвятить себя целиком капитану в эти короткие дни нашей совместной жизни. А потому, как только услышал голос князя и возню в соседней комнате, — побежал туда и принялся помогать.

Князь печалился, что не мог найти так быстро ничего хорошего. В комнату тем временем вносили красивую мебель пальмового дерева, старинную, оригинальную. И. тоже вышел сюда и уверил князя, что обстановка очень хороша и капитан будет более чем доволен.

Князю ещё предстояло заехать в магазин к Жанне, куда надо было и нам. Втроём мы стали убирать комнату, быстро придали ей жилой и уютный вид, переоделись и помчались в магазин.

Мы застали здесь настоящее вавилонское столпотворение. Строганов дал объявление в газетах об открытии нового французского магазина, — и дамы посыпались, как горох из мешка; даже обе Гальдони приехали заказать себе шляпы.

Молодые хозяйки были удовлетворены массой заказов и большим количеством проданных шляп. Жанна была радостно возбуждена и вполне в своей атмосфере, а Анна... улыбалась ласково, была спокойна, но счастья на её лице я не увидел.

— Анна, не откажите мне в просьбе, — обратился к ней И. — Мы с Лёвушкой и капитаном переехали к князю. Поиграйте нам завтра вечером. Я заеду за вами; мне очень хочется, чтобы вы соединили нас понятным для всех языком красоты и музыки перед приездом Ананды.

— Для вас я всегда готова играть, хотя присутствие капитана мне кажется странным, — ответила Анна. — Я буду играть, — прибавила она, помолчав. — Да, конечно, буду играть и вашему капитану, — повторила она, снова помолчав ещё дольше. Вдруг она рассмеялась, отчего всё её лицо просветлело; а я был счастлив, что капитан услышит её игру, которая — я верил — поможет ему взглянуть иначе на талантливую женщину.

Время бежало, я волновался, что не успел купить цветов, на что тут же и посетовал.

— Не горюйте. Долг платежом красен. Поставьте на стол капитану эту маленькую японскую вазу и вот эту нежную орхидею, — сказала Анна, снимая с полочки чудную вазочку с орхидеей. — Только не говорите, что это от меня.

Я подпрыгнул от удовольствия, захопал в ладоши, поцеловал обе руки Анне и, бросив всё и всех, помчался с князем домой.

Не успел я поставить цветок на стол, как послышались голоса и шаги, среди которых я сразу узнал лёгкую поступь капитана и верзилину тяжёлую ходьбу вразвалку.

Князь ввёл нашего друга в комнату, просил извинить, если что-либо здесь не так, как он привык, объяснил, где ванна, и скрылся, напомнив, что в половине восьмого обед.

Я был словно в чад. Я был и капитану рад и не мог отделаться от поразившего меня контраста в комнатах Ананды, и такими же несовместимыми казались мне Анна и Жанна, Анна и магазин...

Обед и вечер прошли весело. Дружеская беседа наша затянулась далеко за полночь. Капитан рассказывал так интересно и, вместе с тем, так просто и забавно о своих путешествиях и встречах, что я неоднократно перескакивал из состояния "Лёвушки-лови ворон" в неудержимый заливистый смех.

Наконец И. напомнил нам, что капитана ждёт обычный хлопотливый рабочий день. Мы простились с нашим милым хозяином, ещё раз поблагодарили его за все заботы и разошлись по своим комнатам.

Как обычно, мне казалось, что спать я не хочу, а не успел раздеться, как мгновенно заснул.

На следующий день я так поздно проснулся, что едва успел к завтраку, за которым меня уже ждал князь. Он сказал, что И. не будет дома раньше вечера, что вернётся он только вместе с Анной, прямо к музыке.

Я опечалился. В первый раз И. покидал меня так надолго, и я был предоставлен самому себе. Не то чтобы я не знал, чем себя занять, — я мог и в город пойти, и в магазин, и книг у меня было много... Но без И. какая-то неуверенность, даже тоска сжимала мне сердце.

"Боже мой! Как я по-детски привязчив и неопытен", — подумал я. Видя моё расстроенное лицо, князь предложил мне вместе пройтись по городу и заказать сласти на вечер. Но я возразил, что Анна вечером ничего, кроме фруктов, есть не будет, а потому и хлопотать о парадном столе не стоит. Но князь со мной не согласился и поехал один.

Я же уселся на диван в своей комнате и через несколько минут весь ушёл в книгу, что дал мне И., и оказался в другом мире.

Очнулся я от стука в дверь. Должно быть, я долго читал, так как руки и ноги у меня затекли, я с трудом распрямился.

Стучал ко мне капитан, среди дня случайно забежавший зачем-то домой. Он предложил пойти с ним, подождать его в одном месте минут

десять, но зато потом пройтись по азиатской части города и поискать что-нибудь у антикваров...

Я согласился. Мне вдруг пришло в голову — тайно от всех — заказать для Ананды сладкое печенье «Багдад», как я его прозвал, у кондитера — приятеля капитана. И купить фруктов для него же и пирог и поставить всё завтра в его комнату.

Я поделился своим желанием с капитаном. Он весело кивнул головой, и мы отправились по его делу. Взглянув на загорелое лицо капитана, на весёлые тигриные огоньки в его глазах, я решил, что дела его поправляются. Он же признался, что ждёт игры Анны с огромным нетерпением и волнением, каких давно не испытывал.

Я хотел ему сказать, что он не получит того, чего ждёт, если ждёт только светского развлечения. Но вспомнил, как говорил И. о страдании и повороте, который должен в нём вскоре наступить, — и только вздохнул над бессилием каждого из нас перед грядущими бурями.

"Зачем все должны страдать, — думал я, протестуя. — Сейчас капитан весел, ему радостно. Неужели же он будет счастливее, если что-то новое сожжёт в его уме и сердце понятия и представления, которыми он жил до сих пор".

— Ну вот, Лёвушка, и кондитерская. Зайдём, я выпью чего-нибудь и оставлю тебя здесь на четверть часа. Не успеешь ты насладиться «Багдадом», как я снова буду с тобой, — прервал мои размышления капитан.

Быстро проглотив что-то со льдом, он скрылся, как метеор. Меня же совсем разморило от жары, и я сел в ожидании питья и соблазнительного печенья, от нечего делать рассматривая публику.

Сам хозяин подал мне еду, спрашивая, как понравились гостям его торты. Я рассказал, какой фурор они произвели, и прибавил, что у меня есть к нему личная просьба, которую я хочу сохранить в тайне от моих друзей.

Он лукаво улыбнулся и затянулся своей зловещей трубкой, ожидая, очевидно, услышать женское имя. Узнав, что я хочу заказать торт и печенье для мудреца, да ещё принца, — он даже привстал.

— Эта дела серьёзна была, — сказал он. — Я тэбэ дэлаю, дэлаю карош.

Тут он сказал мне, что мудрецу нужно, чтобы на вид было просто, а как возьмёшь в рот — рай. А принц, — принцу надо, чтобы на вид тоже было просто, только чтобы лежало это на таких блюдах, до которых дотронуться — "не подходи".

Он советовал мне пройти в два антикварных магазина, где есть

старинные фарфоровые блюда. За фруктами послал на базар к своему приятелю; но советовал заказать только дыню, груши и виноград. Ибо мудрец, по его мнению, — без дыни — невозможен, а персиков хороших пока нет.

Он просил прислать блюда и фрукты к нему, обещая всё уложить и вовремя доставить. Я дал ему адрес, точно условился о часе и сказал, что буду сам ждать посланца у калитки.

Вернувшись капитану я заявил, что хочу купить два антикварных блюда, чем немало его изумил.

Мы долго ходили, не находя ничего подходящего. Наконец, как бы случайно, я назвал адрес, данный мне кондитером. Мы направились туда, и пока капитан рассматривал какую-то вещь в ювелирном отделе, — я отдал хозяину записку моего волшебника-кондитера.

Он долго что-то обдумывал, потом повёл меня наверх и вытащил из особого шкафа блюдо.

Оно было фиолетовое, гладкое, с узким золотым ободком; и в середине его, на белом фоне, была нарисована женская фигура с младенцем на руках. Чёрные косы лежали по плечам на жёлтом хитоне; чёрные глаза, как живые, смотрели на меня. Дивные руки держали кудрявого, золотоволосого мальчика.

— Господи, да уж не с Анны ли это рисовано? — чуть не крикнул я.

Хозяин повернул блюдо обратной стороной, показал дату — 1699 г.

За вторым блюдом он полез куда-то ещё выше, прося меня подождать. Я был в восхищении и отчаянии. Какое-то благоговение наполняло меня, я так хотел подарить Ананде это блюдо, рисунок которого напоминал лучшую миниатюру с Анны. Но не будет ли дерзостью мой подарок? Будет ли он понят, как чистейший дар моей восхищённой души?

Возвращавшийся хозяин нёс хрустальное блюдо, переливавшееся всеми цветами радуги. Точно драгоценные опалы, сверкали его грани.

— Венеция, — сказал он, подавая блюдо мне. — Это старый принц куплено. А это — Флоренция, — ткнул он в фиолетовое блюдо. — Тоже старо. Кардинал покупал.

— Это, верно, очень дорого, — протянул я со страхом. Он усмехнулся и ответил:

— Пишет друг — с тебя взять сколько можно мала мала. Меньше сто рублей не будет. Если даришь принцу, как пишет здесь, — опять ткнул он в записку кондитера, — надо платить. Подожду, если сейчас нету.

Я радостно отдал ему половину суммы и обещал завтра занести остальное.

— Отдавай кондитерская, он перешлёт, а я ему отошлю блюда сегодня вечером. Пишет — надо молчать. Хорошо. Капитан уже искал меня внизу.

— Ну вот ты меня покинул, Лёвушка, я тебе и не покажу перл, нечто совершенно изумительное, что я здесь нашёл. И как кстати, — сказал воодушевлённый капитан.

— Вот хорошо-то! У каждого из нас будет своя тайна. Только чур! не выспрашивать! — отвечал я.

Должно быть, я сиял не меньше самого капитана, так как он вторично с удивлением на меня посмотрел, но ни о чём спрашивать не стал.

Мы вышли из магазина, капитан уносил свою тайну в кармане, мои же оставались в лавке, надо было только заказать к ним фруктов, что мы очень скоро и сделали, велев их доставить завтра к трём часам дня в кондитерскую.

По дороге домой я просил капитана ни слова никому не говорить о сладостях и фруктах, так как они предназначались Ананде. Хочу поставить их в комнату к его приезду. Капитан, казалось, был очень разочарован.

— А я-то думал, что всё это для Анны. И моя тайна была согласована с едой, — огорчённо сказал он.

— Об Анне хлопочет князь; да и ест она как воробей. Не стоит и хлопотать, — утешал я его.

Он рассмеялся и спросил, не на львиный ли аппетит заказал я свои тайны для Ананды.

— Ну, ведь и львы бывают разные. Я ведь тоже Лев. Надеюсь, хватит и львам, и принцам, и мудрецам, и воробьям, — ответил я, снова думая о том, тактично ли я поступил и одобрил бы меня Флорентиец или нет.

— Как говорят у нас на флоте, ты занятный мальчишка, Лёвушка. Жаль, поздно ехать за город за цветами. Но всё же зайдём сюда, я вижу белую сирень, — сказал капитан, взяв меня под руку и проходя в огромную, прекрасную оранжерею.

Он выбрал два деревца белой сирени. Я пожалел, что беден и не могу купить такое же деревце тёмно-фиолетовой сирени, чтобы украсить ею комнату Ананды. Но я решил попросить об этом И. И тут же, вспомнив о деньгах Али молодого, собрался купить довольно большое деревце с огромными душистыми кистями, густо-фиолетовыми, с крупными махровыми цветами.

Капитан засмеялся, но чуть не выронил бумажник из рук, когда услышал просьбу прислать сирень завтра.

— Лёвушка, — сказал он, — я буду молчать обо всём. Но скажи мне, почему ты так чтишь этого человека?

— Я не сумею вам объяснить этого сейчас. Но если после игры Анны вы повторите свой вопрос, мне будет легче объяснить вам своё благоговение. Это не одно преклонение. Это путь его страданий и любви, претворённых им в свет для людей.

Уже смеркалось, когда мы подошли к дому. Вскоре мы втроем сошлись за обедом, и я снова ощутил, как мне недостаёт И. Я был рассеян, отвечал невпопад и всё думал, где И., чем он занят и скоро ли они приедут с Анной.

После обеда мы прошли в зал, передвинули рояль приблизительно так, как он стоял у Анны, поставили белую сирень с таким расчётом, чтобы Анне она не мешала, но вместе с тем пианистка могла бы ею любоваться. Принесли ещё немного роз; капитан с князем хлопотали, устраивая в другом конце зала чайный стол. Я ничего не хотел больше делать; я ждал И., ждал Анну, ждал музыку с таким напряжением, что не мог ни минуты оставаться на одном месте.

Наконец, раздался стук колёс, и я понёсся по комнатам, как пудель, почуявший любимого хозяина, грозя что-либо сокрушить на своём бегу.

Едва увидев И., я повис на его шее, забыв всё и вся. Он засмеялся, прижал меня к себе ласково, но сейчас же отвёл мои руки, поставив меня перед закутанной в чёрный плащ Анной.

— Первая твоя обязанность была приветствовать гостью, — тихо сказал он. Но глаза его были ласковы, лицо улыбалось, и выговор звучал совсем не сурово.

Я принял плащ Анны, который уже снимал с неё отец, поцеловал ей обе руки и отошёл в сторону, чтобы дать возможность поздороваться с ней князю и капитану.

Князь сиял и волновался, благодарил её за оказанную ему честь; а капитан — более чем когда-либо находясь в своей тигровой шкуре — рыцарски ей поклонился.

Анна отказалась от чая, сказала, что съест грушу, немного отдохнёт и будет играть.

На ней было платье тёмно-оранжевого матового цвета, на груди крупным алмазом приколото несколько наших фиалок, и косы лежали по плечам.

Я вздрогнул. На моём блюде красовалась женщина в оранжевом хитоне, с такими же косами... Что же я наделал? Не оскорбится ли Ананда?

Я так расстроился, что пришёл в себя только от звуков передвигаемого стула у рояля.

Анна села. Снова лицо её стало не её обычным лицом. Снова из глаз полился лучами свет, на щеках заиграл румянец, алые губы приоткрылись,

обнажая ряд мелких белых зубов.

Первые же звуки "Лунной сонаты" увели меня от земли и всего окружающего.

Я понял, что не знал никогда этой вещи, хотя тысячу раз слышал её. Что она сделала с нею? Откуда шли эти краски? Это не рояль пел. Это жизнь, надежды, любовь, мука, зов рвались в зал, разрывая меня всего и обнажая боль и радость, что скрывались в людях, под их одеждами, под их словами, под их лицемерием. Звуки кончились, но тишина не нарушалась. Я плакал и не мог видеть никого и ничего.

Не дав нам пережить до конца эту сонату, но увидев впечатление, произведённое ею, Анна стала играть переложение Листа на песни Шуберта.

Я старался взять себя в руки, почувствовав на себе взгляд И. Лицо его было бледно, строго, точно ему пришлось немало вылить из сердца душевных сил. Его взгляд как бы приказывал мне забыть о себе и думать о капитане.

Я отёр глаза и стал искать капитана. Два раза я посмотрел на какого-то чужого человека, который сидел рядом с И., и только взглянув в третий раз, понял, что это капитан.

Бледное, обрезанное, как у покойника, лицо с заострившимися чертами; глаза, несколько десятков минут назад сверкавшие золотыми искрами энергии и воли, потухли. Он безжизненно сидел, как истукан, и чем-то напомнил мне И., который спал когда-то в вагоне сидя с открытыми глазами, чем привёл меня в изумление. Я готов был броситься к капитану; мне казалось, что он упадёт. Но глаза И. снова устремились на меня, и я остался на месте...

И снова музыка увела меня от земли, снова всё исчезло. Я жил в каком-то другом месте; я точно видел рядом с капитаном мощную фигуру Ананды, рука которого лежала на коротко стриженной голове англичанина. Капитан, коленопреклонённый, в муке протягивал руки к какому-то яркому свету, имевшему очертание высокой фигуры. Фигура складывалась всё яснее, и я узнал в ней Флорентийца, — я был близок к обмороку. Музыка замолкла. Я едва перевёл дыхание, едва осознал, где я, как раздались снова звуки, и внезапно в комнате полилась песня.

Контральто Анны напоминало голос мальчика альты или юного тенора. Нечто особенное было в этом инструментальном голосе.

То была песня любви, восточный колорит которой то рассказывал о страданиях разлуки, то уводил в ликование радости.

И эта песня кончилась. И началась другая — песня любви к родине,

песня самоотвержения и подвига. А я всё не мог понять, неужели у стройной, хрупкой женщины может быть такой силы глубокий низкий голос? Неужели земное грешное существо может петь с таким вдохновением, как это мог бы делать только какой-нибудь ангел?

Песня смолкла, Анна встала.

— Нет, Анна, дитя моё, не отпускай нас из залы в таком состоянии возбуждения и с сознанием своих слабостей и убожества. Ты видишь, мы все плачем. Спой нам несколько греческих песен, которые ты поёшь так дивно. Но верни нас на землю, иначе мы не проживём до завтра, — услышал я голос Строганова, который старался улыбнуться, но, видимо, едва владел собой.

Анна обвела нас всех глазами; на лице её засветилась счастливая улыбка; она снова опустилась на стул и запела греческую народную песню, песню любовного мечтания девушки, обожающей родину, семью и милого.

Я взглянул на И. О, как я переживал его детскую жизнь! Я точно сам лежал ночью у моря, среди растерзанных трупов его близких. Мне захотелось закричать, чтобы Анна спела что-то другое. Я уже было поднялся, но встретил взгляд И., такой добрый, такой светлый. И такой могучей силой веяло от него, что я понял впервые всё величие духа человека, который жил подле меня, возился с моими немощами и... не тяготился мною, таким слабым, беспомощным невеждой, а радостно нёс мне и каждому свою помощь.

Анна запела греческую колыбельную. О Господи, вся душа выворачивалась от нежности, с которой она укачивала малютку... И эта женщина не мать, не жена!?

— Она и мать, и жена, и друг; но всем, без личного выбора, потому что её ступень личной жизни уже миновала. И высшее счастье человека не в жизни личной, но в жизни освобождённой, — точно прогремел мне в ухо голос Ананды.

Я встал, чтобы посмотреть, где же сам Ананда, решив, что он приехал внезапно, раньше срока. И. был возле меня, жал мне руку и вёл благодарить Анну.

Когда мы подошли к Анне, возле неё стоял капитан. Но это был и не тот капитан, которого я хорошо знал; и не тот, которого я видел подобным истукану несколько минут назад. Это был незнакомый мне человек, с бледным лицом, сияющими, золотыми, кроткими глазами.

— Я сегодня не только понял, что такое женщина и искусство; я впервые понял, что такое жизнь. Мне казалось, что ваша музыка заставила мой дух отделиться от тела и — в одно мгновение — я точно увидел

незнакомому мне мудреца, который вёл меня по дорожке света и говорил: "Иди со мной, ты мой. Помни об этом и иди".

Вот что сделали со мной ваши звуки. Я больше уже никогда не смогу жить прежней жизнью; я должен теперь найти того мудреца, которого так ясно видел, — говорил капитан. — И без этого я не успокоюсь.

И голоса его я тоже не узнал. Это был тихий, задушевный голос человека, который или встал со смертного одра и благодарил за спасённую жизнь, или только что обручился в храме с чистой девушкой и благоговееет в предвкушении новой жизни.

Я уже готов был вырваться из рук И. и броситься на шею капитану, чтобы сказать ему, что это ведь Флорентийца он видел, как почувствовал себя скованным взглядом И.

— И вы его найдёте, — услышал я тихий голос, почти шёпот Анны, над рукой которой склонился капитан.

И. оставил меня, подал руку Анне и повёл её к столу. Мы обменялись взглядом с капитаном, невольно улыбнулись друг другу — всякий по-своему понимал свою улыбку — и тоже пошли к столу.

Разговор шёл только между Анной и Строгановым. Мы с капитаном не сводили глаз с Анны и молча тонули в той красоте, которая была во всём, что бы она ни делала, и которой она окутала нас, играя.

Вскоре Строгановы уехали; дом точно сразу опустел и погас; и все мы разошлись по своим комнатам, не имея сил вынести будничные слова и мысли, стараясь сохранить в себе тот мир высших чувств и сил, в который перенесли нас звуки Анны.

Глава 20. ПРИЕЗД АНАНДЫ И ЕЩЕ РАЗ МУЗЫКА

Против обыкновения, эту ночь я спал плохо; беспокойно просыпался много раз, и всё мне казалось, что я слышу какие-то голоса в комнате И. Но я не отдавал себе отчёт, чьи это голоса; я дремал, и всё путалось в моих представлениях. То мне казалось, что музыка Анны прерывается воем бури на море; то мне чудился грохот поезда, когда мы вышли с Флорентийцем на площадку и я с ужасом думал, что мы будем прыгать с него на всём ходу; то, мнилось, меня нежно ласкает рука матери, которой я никогда не знал...

Внезапно я проснулся от звука открывшейся из комнаты И. двери, и появился капитан, пожимавший И. руку. Я понял, что слышанные мною голоса были явью, а не бредом, и что оба моих друга совсем не спали, а проговорили всю ночь.

Лица капитана я не видел; а И. был очень серьёзен, светел и спокоен. Печать непоколебимой воли и верности принятому однажды решению была на нём; я много раз уже видел у него это выражение и хорошо его знал. Как всегда, бессонная ночь не оставила на нём никаких признаков утомления.

Я привстал, и как раз в эту минуту капитан осторожно закрыл дверь и повернулся ко мне лицом. Я чуть не вскрикнул, так он был бледен. Лоб его был в складках, глаза ввалились и выражение такой скорби застыло в них, как будто он только что похоронил кого-то самого любимого. Он казался старым.

Я вспомнил, как я сидел после разлуки с братом у камина в его комнате в К., чувствуя себя убитым и одиноким. Я не знал, что и кого потерял сейчас капитан; но всё моё сердце повернулось к нему; я протянул к нему руки, едва сдерживая набегавшие слезы любви и сострадания.

Увидев, что я не сплю, он подошёл, присел на мой диван и крепко пожал протянутые ему руки.

— Раз ты не спишь, мой друг, одевайся и выйди со мной позавтракать. У меня к тебе будет большая просьба, — сказал он, вставая, и, не глядя на меня, вышел из комнаты.

Я быстро оделся, постарался собрать все свои силы и внимание и пошёл к капитану.

Он уже переоделся в свой белый форменный китель и, освежённый душем, казался мне менее постаревшим и жёлтым.

Верзила подал нам кофе и горячие булочки с орехами и положил перед капитаном газеты и почту. Мы остались вдвоём, сидя перед дымящимися чашками, каждый думая свою думу.

Я всё не мог понять, зачем должен столько страдать человек. Капитан — неделю назад образец энергии и счастья — сейчас в глубокой печали и тоске, которые точно прибавили ему десяток лет за одну ночь. Почему? Зачем? Кому это надо? Разве это называется легче и проще идти свой день?

— Лёвушка, — прервал мои мысли капитан. — Вот в этом футляре — кольцо на салфетку. Оно предназначалось мною для другой цели, для других уст и рук. Но... то был «я» вчерашнего дня. Сегодня тот «я» умер. А тот, который хочет возродиться из пепла, — причём я вовсе не утверждаю, что он действительно возродится, — просит тебя: вложи в кольцо салфетку и положи его возле торта, который ты заказал для Ананды. Но отнюдь не говори, от кого оно. Если спросят, ответь, что знаешь, но сказать не можешь. Теперь я побегу, друзья. Дел масса. И. обещал, что вечером, после обеда, ты приведёшь меня к Ананде.

Я взял футляр с кольцом, простился с капитаном и, не притронувшись к еде, как и он, вернулся к себе. Я сел на стул, держа футляр в руках, и, несомненно, впал бы в своё ловиворонное состояние, если бы голос И. не привёл меня в себя.

— Лёвушка, верзила жалуется, что ты ничего не ел. Это действительно достаточно серьёзно, — улыбнулся он, — ведь ты во всех случаях жизни не теряешь способности поесть. Что это у тебя в руках?

— Это, Лоллион, чужая тайна, и я не могу вам её открыть. Но чтобы не иметь от вас целой серии тайн, я расскажу вам о своих тайнах. И не знаю, что бы я дал, чтобы не держать вот этого предмета в руках, — поднимая футляр, сказал я. — Целая перевёрнутая жизнь — чудится мне — заключена в этой вещи, которой я не видел, хотя и знаю, что это, — чуть не плача, говорил я И.

— Хорошо, друг. Пойдём в город; но сначала к княгине, — возьми аптечку. Потом зайдём к Жанне. Сегодня праздник, магазин закрыт; она просила нас прийти к ней завтракать. Мне придётся там тебя покинуть и возложить на тебя трудную и скучную задачу: привести Жанну в равновесие. Она подпала под влияние старой Строгановой, и это может окончиться для неё очень печально. Ты больше других можешь помочь ей, как и капитану, своей непосредственной любящей душой.

Я тяжело вздохнул, спрятал футляр с кольцом, взял медикаменты и пошёл за И. к княгине.

— Ты вздыхаешь и печалишься, потому что тебе тяжела ноша, которую

я взвалил тебе на плечи? — спросил И.

— Ах, Лоллион. Если бы я должен был умереть сию минуту за вас, — я бы и испугаться не успел, как был бы уже мёртв. Но с Жанной и, особенно, с капитаном, — я бессилен и беспомощен, — проговорил я, с трудом побеждая слезы. — Но ноша ваша мне не тяжела, а радостна.

И. не мог ничего ответить, так как навстречу нам шёл сияющий князь. Лицо его говорило о таком счастье, что — после скорбного лица капитана, обуреваемый разладом в собственной душе, — я даже остолбенел. Что должно было случиться с ним, чтобы он мог так светиться?

— После вчерашней музыки, доктор И., я никак не могу спуститься на землю. Я провёл ночь в саду и только к утру пришёл в себя. Я теперь понял, как должен направить дальше свою жизнь. Совсем недавно я считал её загубленной, себя — потерянным, всего боялся. А теперь я обрёл в себе полное равновесие; весь мой страх пропал. Если бы у княгини было пять сыновей — и все злые барбосы — и тогда бы я не мог уже бояться, так как самое понятие страха улетучилось из меня сегодня ночью, думаю, навсегда.

Если бы вы спросили, как это случилось, я не смог бы вам точно ответить. Но что во время музыки я видел вас светящимся, как гигантский столб огня, — в этом я могу поклясться. И ваш огонь чуть задел меня, доктор И. Вот он-то и потряс меня так, что я будто вырвался из тисков тоски и страха, освободился от тяжести. Всё мне легко, и жизнь каждого человека кажется очень важной и нужной.

И ко всему этому — княгиня совсем отчётливо стала сегодня говорить; сидя пила чай и держала чашку без моей помощи.

Мы вошли к княгине. Дряблое лицо её было оживлённым; она приветствовала нас весело и сама выпила пенящееся красное лекарство, которое ей до сих пор вливал каждый раз И.

И. разрешил княгине посидеть в кресле два часа и князю позволил поговорить с ней немного о её делах.

Мы вернулись к себе, переоделись и вышли на уже жаркую улицу.

— Ну, говори теперь свои тайны, Лёвушка. В пять часов мы с тобой будем встречать Ананду. А до этого времени у меня сто дел.

— Лоллион, если вы меня покинете у Жанны, то давайте в три с половиной часа встретимся в комнате Ананды. Там я не только расскажу, но и покажу вам свои тайны.

— Хорошо, но тогда иди завтракать к Жанне один, а я употреблю всё время на дела. Кстати, надо ещё купить фруктов для Ананды.

— Этого делать не нужно. Вообще, не заботьтесь о материальной стороне встречи, — сказал я, густо краснея.

— Ах, так это и есть твои тайны? — засмеялся И.

— Да, да. Там переговорим. Здесь нам с вами расставаться, мне сюда сворачивать.

— Да, Лёвушка. Только не забудь принести цветочек Жанне и постарайся пробраться к ней в душу; и брось туда же цветочек любви и мира. Не о своём бессилии думай, а только о Флорентийце. Тогда твой разговор принесёт Жанне утешение.

Мы расстались; я купил несколько роз, зашёл к кондитеру, чтобы напомнить ему о своём заказе и передать деньги для антиквара.

Кондитер показал мне вымытые и протёртые блюда, которые сверкали одно — красками, другое — искрами от нежно-голубого и жёлтого до алого и фиолетового. Рядом стоял такой же венецианский кувшин необычной формы, с тремя кружками на подносе. Случайно упавший луч солнца переливался в них, будто они были бриллиантовые.

— Эта прислала моя друг с блюда. Вместе — дёшево отдаст. Можно наливать красно питьё — карош будет, — сказал хозяин, любуясь не меньше моего чудесными вещами.

Я согласился купить и кувшин с кружками, решив, что "семь бед — один ответ", попросил не опоздать к трём часам и пошёл к Жанне.

Было ещё рано, когда Жанна сама отворила мне дверь, очевидно не ожидая, что это я уже явился к завтраку. На мои извинения, что я пришёл раньше срока, она подпрыгнула от удовольствия и повела меня наверх в свою комнату.

Везде был образцовый порядок, и Жанна объявила мне, что встала с рассветом, чтобы И. нашёл в её жилище такую чистоту, какой и во дворце не бывает.

Я пошутил, что для меня, по её мнению, было довольно, вероятно, и кухонной чистоты; и тут же сказал, что за эти различия в приёме нас обоих она и наказана. Все плоды её усердия достались мне, так как И. отозвали серьёзные дела; он приносит ей свои извинения и завтракать не может.

Сначала Жанна будто опечалилась, но через минуту захлопала в ладоши, ещё раз подпрыгнула и сказала:

— Вот, наконец, теперь всё-всё переговорим. Вы знаете, Лёвушка, не всё так гладко у меня, как кажется. Конечно, дела идут отлично. Конечно, Строганов очень добр. Но в семье их такой раскол.

— Что же вам до их семейных дел? — спросил я.

— Ну, так нельзя говорить. Мадам Строганова просила меня постараться, чтобы её муж пристроил к нашему магазину комнату, где можно было бы посидеть с кем-нибудь из друзей, выпить чашку кофе. Я

поняла, что ей хочется, чтобы Браццано мог приезжать сюда. А Анна и старик категорически запретили ей самой сюда являться, не только Браццано. Она же старается завербовать меня на свою сторону. И этот турок, такой страшный, тоже немало расточает мне любезностей.

— Только этого не доставало, — вскричал я с негодованием. — Как можете вы думать о такой низости? Неужели я ошибся в вас? И вы — злое, легкомысленное существо, неспособное оценить доброты и благородства? Как можете вы входить теперь в какие бы то ни было отношения со старухой? Мне непонятно, как мог Строганов жениться на ней; но мне понятно, что зависть к собственной дочери лишает её всякой чести. Но вы, вы, для которой И. и Анна с отцом сделали так много?

Я был вне себя, огорчён, расстроен и не мог собрать ни мысли, ни самообладания.

— Лёвушка, я понимаю, что здесь что-то не так. Но разве плохо, если Анна выйдет замуж за этого турка?

— А сами вы вышли бы за него? — спросил я.

— Не знаю. Он противный, конечно. Но, может быть, и вышла бы.

— Ах вот как! Значит, вы уже не та Жанна, которая хотела в мужья только Мишеля Моранье? Значит, теперь, если бы родители вас упрашивали, вы променяли бы свою любовь на адскую физиономию турка и его миллионы? — кричал я.

— Не знаю, Лёвушка, не знаю. Даже не знаю, что со мной. Я так изменилась, так много страдала.

— О, нет. Вы очень мало страдали, Жанна, если так скоро всё забыли. Напрасно жизнь послала вам И., капитана, Строганова, князя, которые опоясали вас кольцом своей защиты и доброты. Напрасно они спасли вас и ваших детей от лихорадки и голодной смерти на пароходе. Было бы лучше умереть в нищете, но в высокой чести, чем жить, имея такие гнусные мысли, — продолжал я кричать вне себя.

Жанна сидела неподвижно, вытаращив на меня глаза.

— Лёвушка, я всё, всё сделаю, как вы хотите. Только, знаете — этот турок. Как только я его вижу, — ну точно тяжесть какая-то наваливается на меня. Я становлюсь ленивой; глаза точно спят; ноги еле двигаются; и я готова слушаться его во всём. Сейчас от меня будто ушли какие-то тяжёлые сны, я легко дышу. Ах, зачем, зачем вы меня забросили, Лёвушка? — вздрагивая, сказала Жанна.

— Стыдитесь говорить такие слова. Кто вас забросил? Все мы подле вас, а Анна разделяет ваш труд, проводя с вами по шести часов в день неразлучно. Бог мой, да когда же вы успеваете видаться с турком? И где вы

его видите?

Жанна испуганно оглянулась и тихо сказала, что Строганова старается устроить так, чтобы она встретила у неё турка. Даже просила Жанну передать ему, в его контору, письмо. И что только случайный приезд мужа не дал ей возможности вручить Жанне это письмо.

Я был в отчаянии. Но всё же понимал, что только моё самообладание может помочь мне растолковать Жанне всю низость её поведения и всё её предательство.

Воспользовавшись моим молчанием, Жанна выпорхнула из комнаты. Я же углубился в мысли о Флорентийце, моля его меня услышать и помочь. Образ моего друга, спасшего мне несколько раз жизнь за это короткое время, точно влил в меня успокоение. Мысли мои прояснились. Я почувствовал в себе уверенность и силу бороться за спокойствие и счастье Анны и её отца.

— Лёвушка, скоро будет завтрак. Не хотите ли повидать в саду детей? — входя, сказала Жанна.

— О нет, Жанна. Если вы действительно полны чувством дружбы ко мне, как вы об этом неоднократно говорили, то мы должны договориться с вами о том, как вам вести себя дальше. Я не могу сесть за стол в вашем доме, если не буду уверен, что вы не носите в себе предательства и неблагодарности.

— Ах, Боже мой! Вот какая я незадачливая! Я так обрадовалась, что проведу с вами часок без помехи, а теперь готова плакать, что доктор И. не приедет.

— Если бы доктор И. услышал половину того, что вы сказали мне сегодня, он, по всей вероятности, посадил бы вас на пароход и отправил из Константинополя. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, чтобы вы заглянули в своё сердце. Нет ли там зависти и ревности к Анне? Почему, понимая всю её высоту, вы решаетесь принять сторону такого низменного существа, как турок?

— Я вовсе не завидую и не ревную. Мне никогда не могло бы понравиться, чтобы на меня смотрели не как на живую, горячую женщину, а как на изваяние, — возбуждённо ответила мне Жанна. — Я, конечно, признаю все превосходные качества Анны. И мы такие разные, что о дружбе между нами не может быть и речи. Но я, конечно, всецело чувствую себя обязанной её отцу и знаю свой долг.

— Как вы можете понимать свой долг, — перебил я Жанну, — если у вас нет чувства простого уважения к чужой жизни, к чужой душе? Конечно, можно быть грубым и малокультурным существом и не различать ничего,

кроме своих эгоистичных желаний. Неужели вы именно таковы? Неужели вы позабыли все свои слезы на пароходе, все муки, стоило вам почувствовать почву под ногами?

— Нет, Лёвушка. Я сейчас только начинаю отдавать себе отчёт, что какая-то сила — помимо моей воли — заставляет меня повиноваться турку. Я понимаю, что он ужасен, хочу защитить от него Анну и вовсе в данный момент не хочу, чтобы он был её мужем. Но что-то находит на меня, мозги мои темнеют, и я нехотя ему повинуюсь.

— Найдутся люди сильнее вас и защитят Анну от интриг. Речь не о ней, а только о вас одной. Всё зло, которое выдумаете причинить ей, ляжет на вас одну, милая, бедная Жанна. Оглянитесь вокруг. Кто и что есть у вас в мире, кроме горсточки спасших вас людей? Если они отвернутся, что вас ждёт? И как вы можете жить с таким раздвоением внутри? Вы лицемерно обнимаете Анну и плетёте вокруг неё паутину предательства.

Жанна молчала и о чём-то напряжённо думала. Я же снова призывал всем сердцем своего далёкого друга.

— Лёвушка, я понимаю всё, но поймите и вы. Как только я вижу турка, я немею, каменею и ухожу с какой-то навязчивой мыслью, что должна привести его к Анне так, чтобы никто этого не знал. Сейчас я ни за что этого не сделаю; но как только его увижу, — обо всём забываю и живу одной этой мыслью.

— Да ведь это гипноз какой-то! Вы подумайте, мог бы турок мне, князю или кому-то ещё так приказывать? Ведь надо носить в себе много зла, чтобы чужая воля могла им воспользоваться.

Долго ещё я убеждал Жанну, но её обещания не видятся более с турком казались мне шаткими и не внушали веры.

Кое-как высидев с нею завтрак, за которым я едва мог проглотить что-то из вежливости, я ушёл домой, решив всё рассказать И.

У калитки я встретил посыльного из цветочного магазина, взял у него прелестное деревце тёмной сирени и отнёс в комнату Ананды, где очень хорошо пристроил его во второй комнате на низкой, тяжёлой скамеечке, похожей на фиолетовый камень.

Вскоре, в типичной константинопольской тележке, слуга привёз мои тайны в артистической упаковке. Я развернул покупки, поставил на стол в первой комнате, где они показались мне ещё красивее, и пошёл к себе за кольцом и к князю за салфеткой.

Князь был очень удивлён моей просьбой, спрашивал, не надо ли тарелок и скатерти; но я сказал, что спрошу И., и если надо, приду ещё раз.

Войдя в комнату Ананды, я раскрыл футляр и чуть не выронил его от

удивления и восторга.

В золотое, точно кружевное кольцо были хитро врезаны фиалки из аметистов. А спереди, из выпуклых же аметистов, была сложена крупная буква А, усеянная мелкими бриллиантами. И так же — чередуясь — шли аметисты и бриллианты по краям всего кольца, образуя какую-то надпись на неизвестном мне языке.

Я понял, что кольцо предназначалось капитаном Анне. Но подарить его хотел капитан-тигр, которого я знал вчера; а не тот капитан-страстотерпец, которого я видел сегодня.

Держа кольцо в руке, я задумался о непонятном вращении судеб человеческих; и о том их неизбежном земном конце, о котором никто, никак и ничего не знает, но миновать которого нельзя, и что жизнь у всех разная, но умирают и рождаются все одинаково.

Вошедший тихо И. пробудил меня от моих печальных грёз.

— Вот так тайна, Лёвушка! Ананду это поразит. Ты и сам не знаешь, что скажут ему твои подарки. Кто дал тебе это кольцо? Ты не мог купить такую ценную вещь. Но, Боже мой, да где же ты это нашёл? — тихо прибавил он, внимательно рассматривая кольцо.

— Ничего не могу сказать вам, Лоллион. Кольцо не от меня. Но кто даёт его Ананде, я сказать не могу. Но это ещё не всё. Вот на том фиолетовом блюде, под тортом, портрет женщины красоты неопишуемой. И вся беда в том, что она как две капли воды похожа на Анну. Я знаю, что вы верите в случайность этого совпадения, верите, что я отнюдь не думал принести сюда что-то для Ананды с какой-нибудь таинственной эмблемой. Но и это ещё не всё. Пойдёмте в другую комнату.

Лицо И. слегка омрачилось. Я открыл дверь и указал ему на деревце сирени, которое наполняло ароматом всю комнату. Усевшись на табурет у самой двери, я ждал, что скажет мне И. Он же, подойдя ко мне, нежно обнял меня и поцеловал в голову.

Не знаю, что случилось со мной. Но я заплакал и рыдал так, как после уже ни разу в жизни не плакал. Всё скопилось в этих слезах. Перенесённые волнения, страх, разочарования, горечь от последнего разговора с Жанной — всё вылилось из меня, точно прямо из сердца моего хлестала кровь.

— Мой дорогой брат, мой милый друг. Перестань плакать. Тебе пошёл 22-й год. Ты прожил младенчество, детство, юность и вступаешь в зрелость. Только три первые семилетия — юность человека, и ты их прожил, мало сознавая ценность жизни. Но после 28 лет никто уже не может сказать, что он юн. Твои слезы сегодня — это пожар, в котором сгорели три твоих семилетия полусознательной жизни. Начинается твоя

зрелость, ты входишь в полное сознание, в полосу наивысшего развития всех твоих сил, наивысшей деятельности и труда.

Никогда больше в тебе не мелькнёт сомнение, нужно ли страдание человеку, чтобы идти выше и чище в своём творчестве. Оглянись назад, — отдашь ли ты своё теперешнее понимание счастья и жизни за то, чем жил ты 21 год? Быть может, у капитана, которому ты так сострадаешь, ещё больше причин для горечи, ведь он дольше твоего жил полуживотной жизнью, даже не представляя себе, в чём её истинный смысл, наполняя дни пустотой, а то и разгулом страстей.

Но не все идут путём страдания. Посмотри пристально на князя, и ты увидишь существо, идущее путём радости.

Пойдём отсюда, друг. Твои слезы сожгли в тебе сознание мальчика, и ими же начался твой новый путь мужчины. Пусть их огонь горит в тебе всегда не как потоки слез, а как великая сила любви, когда сердце раздвигается всё шире, готовое вместить весь мир, с его страданием и радостью.

Мы вышли из комнат Ананды, переоделись, зашли к князю сказать, что И. обедать не будет, и поехали на пристань. По дороге я успел рассказать И. о свидании с Жанной и разговоре с ней.

Когда мы подошли к пристани, пароход уже почти пришвартовался. Я искал внизу высокую фигуру Ананды, но мне послышался его голос откуда-то сверху. И действительно, я увидел его на верхней палубе, откуда он махал нам белой шляпой. Рядом с ним стоял юноша, высокий, худощавый, с красивым лицом. Я вспомнил, что Ананда везёт сюда своего приятеля-доктора.

Пока мы ждали Ананду, некоторое чувство стеснения перед ним и его спутником, род какого-то страха, что я буду теперь дальше от И., проникли в моё сердце, и я робко прижался к нему. И. точно понял моё детское чувство и пожал мне руку, ласково улыбаясь.

Ананда сразу же покорила меня простотой своего обращения. Он сердечно обнял И. и меня, блестя своими глазами-звёздами, просил принять в наше дружеское братство своего спутника и так комично шепнул мне, что привёз в подарок новую шапку дервиша, что я залился смехом, взял у него из рук пальто и саквояж, сказав, что уж, наверное, шапка здесь и я очень прошу не лишать меня привилегии нести её самому.

Капитан — всегда и обо всём помнящий друг — прислал на пристань верзилу, который взял вещи и сказал, что всё доставит сам.

Налегке, пешком, мы пошли домой. Ананда очень обрадовался тому, что будет жить не в отеле, а в тихом доме вместе с нами. Расспросив обо

всех, кто нас окружает, он заговорил об Анне и её отце. Узнав про магазин, он покачал головой, но ничего не сказал.

Дальше он стал говорить с И. на неизвестном мне языке, а его спутник, подойдя ко мне, спросил, бывал ли я раньше в Константинополе. Он, как и я, мало, видел свет; сам он англичанин, но вырос и учился в Вене, где и познакомился несколько лет назад с Анандой.

В прихожую Ананды мы вошли все вместе, но спутник его прошёл прямо к себе по крутой винтовой лестнице.

Ананда, оглядевшись, укоризненно посмотрел на И.

— Я и пальцем не шевельнул. Хозяйничали князь и Анна, да вот этот мальчик, самую большую каверзу которого вы отыщете на дне этого блюда, когда съедите торт, — сказал И.

Ананда пристально поглядел на меня, на блюда и кувшин, протянул мне свою руку и поцеловал, благодаря за внимание, за тонкость вкуса, — но... несколько браня за расточительность.

— Я ведь не принц, чтобы встречать меня такими царскими подарками, — сказал он с обаятельной улыбкой, но покачивая головой.

— Есть люди, считающие, что вы и принц и мудрец, — расхрабрился я, в ответ на что и он, и И. рассмеялись уже совсем весело.

— Но что это? Как могло очутиться здесь это? Однажды мой дядя подарил мне точно такое же кольцо, оно исчезло на другое утро бесследно, и найти его никто не смог. Это оно, оно самое. Вот здесь надпись на языке пали и буквы С. Ж. Как вы его нашли? — спрашивал меня Ананда, пристально рассматривая кольцо капитана и всё более удивляясь.

— Всё, что я могу вам сказать, это что человек, дарящий его вам, купил его у антиквара. Я знаю его имя, но не имею права назвать, — ответил я.

— О, я очень, очень теперь обязан этому человеку. Передайте ему, что я у него в большом, очень большом долгу. И если бы я ему понадобился, — я был бы счастлив отслужить ему всем, чем смогу. Он и не представляет, какой крепкой цепью он связал меня с собой, возвращая мне эту пропавшую вещь. Передайте ему, Лёвушка, вот это колечко с моего мизинца. Если он пожелает, он может увидаться со мной когда угодно.

— О, он пожелает хоть сегодня вечером, если позволите. Но... ведь он просил меня соблюсти тайну его имени, как же быть?

— Ничего, вы передайте ему моё кольцо. Если он не захочет открыться, то не наденет его.

— Ну, не наденет! Так наденет, что уж никогда и не снимет, — сказал я, представляя себе удивление и радость капитана. — А можно мне его надеть, пока я не увижусь с ним, — не смог я удержаться от восторга,

держа кольцо с большим продолговатым выпуклым аметистом и двумя бриллиантами по бокам, в тяжёлой платиновой английской оправе, необыкновенно пропорциональной.

Ананда засмеялся, сказав, что будет рад видеть его на моей руке, считая меня добрым вестником и чувствуя себя обязанным и мне.

— Но вам кольцо дам не я, а ваш великий друг Флорентиец. И камень в нём будет зелёный, — сказал он мне, ласково меня обнимая.

— Войди сюда, Ананда. Здесь тоже всё приготовлено не мной. И эта сирень дар всё того же моего Лёвушки, — открывая дверь в соседнюю комнату и пропуская туда Ананду, сказал И.

Когда Ананда вошёл, И. тихо закрыл за ним дверь и сказал мне, чтобы я шёл к князю, попросил у него скатерть и несколько тарелок и прислал бы их сюда с верзилой.

Потом он просил меня заняться спутником Ананды, которого зовут Генри Оберсвоуд. И только после обеда, к девяти часам, привести князя, капитана и Генри в комнату Ананды.

Я обещал всё точно выполнить и, радуясь за милого капитана, весело побежал к князю.

Как только князь отправил верзилу с тарелками и скатертью, я решил пойти к Генри и предложить ему услуги, если он в них нуждается, а также предупредить его о часе обеда.

Генри я застал за раскладыванием вещей. Я ещё не видел его комнаты и снова отдал должное вкусу князя. Большая комната, почти белого цвета; в ней мебель была синяя. Стояли шкафы и столы орехового дерева, ковёр на полу тоже был синий и — чего не было в других комнатах — на двух широких окнах стояли горшки с цветущими розами и гардениями.

Первое, чем встретил меня Генри, была благодарная радость по поводу цветов, которых он оказался любителем, так как именно розы и гардении разводила его мать. На вопрос, кто так заботливо убрал его комнату, я назвал имя князя. И объяснил, что зайду за ним в четверть восьмого, чтобы познакомить с любезным хозяином и показать, где находится столовая.

Генри сказал, что это его первое плавание "в свет", что он очень мало осведомлён по части хорошего тона и боится осрамиться в том обществе, куда его привёз Ананда и обычаев которого он не знает.

Я ответил Генри, что я точь-в-точь в таком же положении, с тою только разницей, что пустился в свет месяцем раньше. Но что все преимущества на его стороне, так как он уже доктор, а я ещё студент, к тому же очень рассеянный и заслужил себе прозвище "Лёвушка-лови ворон". Я прибавил, что хозяин наш очень снисходителен и не осудит за промахи в хорошем

воспитании.

— Ах, так это вы Лёвушка? — улыбнувшись, сказал Генри. — Я слышал от Ананды, что вы очень талантливы. Я не ждал, что вы так молоды.

Я был сконфужен, не нашёлся, что ответить, — только вздохнул, чем насмешил моего нового приятеля. Сказав ему ещё раз, что зайду за ним, поахав над количеством привезённых им книг, я ушёл к себе.

Капитана ещё не было, но судя по тому, что верзила приготавливал ему воду для бритья и свежий костюм, я понял, что он скоро вернётся.

Как только я слышал издали шаги капитана, я побежал ему навстречу и очень важно сказал, чтобы он поскорее одевался, так как нам предстоит весьма серьёзный разговор.

Лицо капитана, до этого печальное, всё осветилось смехом, — так я был, должно быть, комичен в своей важной серьёзности.

— Да вы не смейтесь, капитан. Это очень важно, то, что я должен передать вам. Но такому запylённому и измазанному, — я вам ни говорить, ни передавать ничего не буду.

— Есть, иду мыться, помадиться, причёсываться, — смеясь, ответил капитан. — Но уж извольте держать марку! Если ваши важные известия не будут достойны моей выутюженной персоны, — держитесь.

Продолжая смеяться, он пошёл к себе, шутливо грозя мне кулаком своей сильной, изящной руки...

Я обдумывал, как и с чего начать разговор, всё время любясь камнем кольца, который отливал то багровым, то фиолетовым огнём. И, как всегда бывало со мной, когда я готовился к встречам, вся приготовленная заранее речь вылетела у меня из головы, а приходили слова самые простые и неожиданные.

Когда вошёл элегантный капитан, я протянул ему кольцо и спросил:

— Достойно ли это кольцо вашей выутюженной персоны? Капитан взял кольцо, удивлённо на меня посмотрел и спросил:

— Что это значит?

Казалось, кольцо произвело на него сильное впечатление. Я надел его ему на мизинец и подивился, как оно было красиво на его загорелой и огрубевшей, но прекрасной формы руке.

— Я тоже когда-нибудь получу такое, — сказал я. Капитан расхохотался и уже хотел меня тормозить, но я просил его набраться терпения, сесть и выслушать меня, как он слушает докладчиков на пароходе.

— Этот мальчишка уморит меня, — усаживаясь и продолжая смеяться, сказал капитан. — Свет объездил — забавней мальчонки не видал!

— С сегодняшнего дня я уже больше не мальчишка. Но если вы не будете серьёзны, — я, пожалуй, не сумею вам передать поручение Ананды.

Капитан чуть побледнел при этом имени, лицо его стало очень серьёзно, и по мере того, как я говорил, он всё больше бледнел и затихал.

— Если я не выполнил всего, как надо, — простите меня, капитан. Но имени вашего я не называл, и вы вольны выбирать, как вам поступить. Я уверен, — о чём и сказал Ананде, — что ничто и никто не отнимет у вас его кольцо. Ведь я был прав? — бросаясь ему на шею, сказал я.

И тут же прибавил, что к девяти часам И. велел мне привести к Ананде князя. Генри и его. Взглянув на часы и увидев, что уже десять минут восьмого, я уговорил капитана пойти со мной за Генри и помочь мне познакомить его с князем. Капитан не очень охотно, но всё же согласился идти со мной.

За обедом, где разговаривали преимущественно князь и Генри, мы сидели недолго, потому что князь, узнав о приглашении Ананды, заторопился, говоря, что у него ещё есть до вечера дело, не терпящее отлагательства, но что без десяти девять он будет в моей комнате.

Генри сказал, что к девяти часам спустится к Ананде сам, а сейчас пойдёт к себе и закончит раскладывать вещи и книги. Мы с капитаном остались вдвоём и вышли в сад.

Капитан по несколько раз расспрашивал меня о тех или иных словах, произнесённых Анандой, и никак не мог взять в толк, какой же цепью мог себя с ним связать, возвратив ему исчезнувшее кольцо. Я знал не более его, и нам обоим страстно хотелось, чтобы поскорее наступил назначенный час.

Время быстро промелькнуло, к нам вышел князь, говоря, что уже без десяти девять. Не найдя нас в комнатах, он решил, что мы в саду, и не ошибся.

У Ананды мы застали Анну с отцом и обоих турок, наших спутников по пароходу. В дверях мы столкнулись с Генри.

Я стоял в отдалении и молча наблюдал за всеми. Капитан прежде всего подошёл к Анне, низко поклонился и поцеловал ей руку. Затем, оглядев всех, он подошёл к хозяину комнат — Ананде, которому И. представил капитана как человека, оказавшего нам в путешествии немало важных услуг.

Ананда подал ему руку и, задержав его руку в своей, пристально на него поглядел, точно пронзил своим взглядом.

— Я очень рад встретиться с вами, — сказал он ему своим неподражаемым голосом. Мне казалось, что он вложил в это какой-то особый смысл и хотел что-то ещё сказать капитану. Но только молча

смотрел на него, потом выпустил его руку, как-то особенно остро и странно ещё раз взглянул на него и обратился к князю.

Разговор шёл в разных углах комнаты сразу. Анна говорила со старшим турком, сын его точно прилип к Генри, князь сел возле Ананды, а капитан подошёл ко мне.

Мы забились с ним в угол на низкий диванчик, стали за всеми наблюдать и любоваться Анной. Ни тени усталости не было на этом лице. Сказать, сколько ей лет? Точно на семнадцатой весне остановилась она; а я знал, что ей уже двадцать пять, и на Востоке такая женщина считается старой, не говоря уж о девушках.

Ананда внимательно слушал князя и, казалось, наперёд знал всё, что тот ему скажет. Из долетевшего к нам слова «жена» я понял, что князь говорил ему о несчастье княгини. Я очень удивился, когда князь встал и, ссылаясь на какое-то экстренное дело, стал прощаться. Потом я узнал, что он должен был встретить московских адвокатов.

— Вы напрасно волнуетесь, князь, — услышал я Ананду. — Судя по словам И., я уверен, что ваша жена ещё будет здорова. А относительно раздела с сыном, — он усмехнулся, точно вглядывался во что-то, — вы себе и не представляете, как всё это произойдёт легко и просто. И какая хитрая и ловкая женщина-делец ваша жена! Я непременно завтра зайду к ней вместе с И.

Князь просиял — если можно было сиять ещё больше — и простился со всеми, особенно нежно поцеловал руку Анне и тихо сказал ей:

— Благодарю вас. Ваша музыка помогла мне понять жизнь и найти себя, — и вышел.

— Ваша музыка помогла мне потерять себя, — прошептал внезапно капитан. Я едва расслышал его и увидел, что он, усердно прятавший свою левую руку с кольцом, рассеянно прикрыл ею лицо. Кольцо сверкнуло и не укрылось от зорких глаз Ананды, как — я уверен — и шёпот капитана донёсся до музыкальных его ушей.

— Я так и думал, так и думал, — вдруг сказал Ананда, поднимаясь с места и направляясь прямо в наш угол.

— Мой друг, я перед вами в большом долгу. Вы не можете даже представить себе, как много вы для меня сделали, отыскав моё кольцо, — взяв за левую руку капитана и задержав её, говорил Ананда. — Вы очень измучены. Вам кажется, что музыка разворошила вам всю душу. Но, право, верьте, мы с Анной нынче сыграем и споем вам, — и вы совершенно иначе себя ощутите. Вы найдёте тот высший смысл жизни, путь к которому и есть наша земная жизнь с её серыми днями.

У вас такое печальное лицо, — продолжал Ананда, — как будто бы вы похоронили самые лучшие мечты. Анна, мы должны с вами играть сегодня. Я большой эгоист, прося вас об этом, ведь вы не выразили ещё желания играть или петь. Но если только вы желаете помочь мне отблагодарить человека, вернувшего мне подарок дяди, — не откажите и сыграть, и аккомпанировать мне, — обратился он к Анне, подходя к ней.

— Какой подарок дяди? — спросила Анна, и тот же вопрос я читал на всех лицах.

Ананда подал ей кольцо, которое обошло всех, вызывая всеобщий восторг; дошло оно и до нас с капитаном. Я взял его, ещё раз полюбовался им и, передавая капитану, смеясь сказал:

— Вот такого мне уж никто не подарит.

— Да ваш цветок вовсе и не фиалка, — внезапно сказала Анна.

— Вот как?! — воскликнул я, поражённый, что в шуме общего разговора она могла слышать мои слова. — А разве цветок капитана фиалка?

— Быть может, и не фиалка, — улыбаясь, ответила она. — Быть может, из семейства орхидей, но фиолетового цвета, как ирис, во всяком случае.

Капитан смотрел на неё, не отрываясь, всё ещё держа кольцо в руках. Я не мог решить, подозревал ли кто-нибудь из присутствующих, что капитан покупал кольцо для Анны. Я хотел спросить её, какой же мой цветок; но в это время верзила внёс маленькие чашечки ароматного кофе на огромном серебряном подносе, а Ананда, поклонившись Анне, попросил её быть хозяйкой и пододвинул к ней фиолетовое блюдо с тортом.

Анна заинтересовалась блюдом и кувшином, спрашивая И., где он их достал.

— Это не я. Это Лёвушка их раздобыл, точно так же, как фрукты и торт. Но если его содержимое не будет отвечать его внешнему виду, мы придумаем для Лёвушки наказание, — прибавил И., юмористически поблёскивая глазами.

— Всякий, кто здесь мудрец, почувствует во рту рай, как только вкусит от торта, — заливаясь смехом, брякнул я. — А всякий, кто здесь принц, найдёт на блюде божественную красоту и оценит её, а не будет придумывать для меня каверзные наказания.

Все весело смеялись. Строганов даже за голову взялся, повторяя: "Ай да литератор!", а Анна смотрела на меня с огромным удивлением, переводя свой взгляд на улыбавшихся И. и Ананду, молча смотревших на меня.

— Что же, дорогая хозяйка, давайте-ка нам скорее это выпеченное волшебство. Пора решать, кто здесь мудрец и кто принц, — всё улыбаясь,

сказал Ананда.

— С кого же начать? Не с самых ли младших? — рассмеявшись, спросила Анна.

— О, так как я самый младший, а я знаю, что в середине торта — рай, то я исключаясь. Начинайте с самых старших, — ответил я ей.

— Хорошо. Отец, пожалуйста, попробуй скорее, чтобы я успокоилась, что ты мудрец, — подавая отцу тарелку, сказала Анна.

— Мы ровесники с Джел-Мабедем, — сказал Строганов. — Дай и ему, мы вместе будем держать экзамен.

Торт был подан отцу Ибрагима, и... оба вскрикнули:

— Рай, рай! Больше на мудрецов нет вакансий.

— Ну нет, — сказал Генри. — Я не уступаю так легко. Возраст и мудрость не обязательно согласуются. Я прошу теперь и для нас с Ибрагимом.

Анна подала им торт, ласково пригрозив Генри за бунт.

Не успели они откусить, как Генри важно заявил, что придётся оспаривать право на мудрость у первых вкусивших, так как свой рай они уже проглотили. И, пожалуй, торта не хватит для повторного испытания, если все будут поглощать райскую мудрость так быстро.

Когда очередь дошла до И. и Ананды, мне не пришлось решать, кто был здесь мудрецом. Ананда, держа блюдо с начатым тортом, поклонился мне и сказал:

— Если бы я был мудрецом, то в эту минуту я потерял бы часть невещественного рая, так как весь ушёл бы в блаженство еды. Это прекрасно и обманчиво. Кушанье скромно на вид и необычайно привлекательно внутри. Если и блюдо обладает таким же скрытым талантом обвораживать людей, то вы далеко пойдёте в жизни, юноша. Капитан выказал свой необычайный вкус, вы же продемонстрировали ещё и талант тайного волшебства. Я нетерпеливо буду ждать, когда откроется дно блюда.

Вскоре от торта не осталось ничего, и я увидел остановившиеся глаза Анны, которых она не отрывала от блюда.

Я так перепугался, что встал, собираясь убежать.

— Стой, стой, Лёвушка! — вскричал И., мигом очутившись подле меня и беря меня под руку. — Как раскрылись твои каверзы, — так ты и бежать?

— Я очень заинтригован, — вставая, произнёс капитан. — Лёвушка в такой тайне всё держал...

И он направился к столу. Посмотрев на блюдо, на Анну, на меня, он провёл рукой по глазам и молча пошёл на своё место.

— Да что там такое? — громко сказал Строганов. — Мудрецами становились вслух, а как до принцев дошло, — языки проглотили. Наоборот бы надо.

Он приподнялся, склонился над блюдом и, окинув всех взглядом, улыбаясь, сказал:

— Оно выходит, будто принцем-то становлюсь я. Генри, турки — все бросились к блюду.

— Ну дайте же и нам с Анандой посмотреть, — отстраняя их от стола, сказал И.

Я готов был провалиться сквозь землю, а капитан, крепко держа меня под руку, шептал:

— Ну и мальчишка! Почему же не я нашёл эту вещь? Я готов был бы...

— Я согласен, что на блюде изображена царственная красота. Если бы в лице нарисованной красавицы сверкало столько духа и ума, сколько в той живой принцессе, чьим прототипом она служит, — я согласился бы признать вас принцем-отцом, — сказал Ананда. — И юноша, сумевший оценить сходство, оценить краски портрета на стекле, достоин моей горячей благодарности.

С этими словами Ананда подошёл ко мне, обнял, и как ребёнка подняв меня на воздух своими могучими руками, крепко поцеловал.

— Надо фехтовать, Лёвушка, делать гимнастику, ездить верхом, закалять организм. Ваша худоба неестественна. Генри, доктор, займись моим другом Лёвушкой. Ну, а теперь — играть, — прибавил он.

Выйдя из комнат Ананды и подходя к главному крыльцу, мы столкнулись с возвращавшимся князем. Узнав, что мы идём в музыкальный зал, он очень обрадовался, поспешил вперёд, и вскоре мы все собрались в освещённом зале.

Я был поражён, когда увидел в руках Ананды виолончель. Я не заметил её утром среди прочих его вещей.

Анна, в белом гладком платье из блестящего, мягкого шёлка, как обычно с косами по плечам, в этот вечер была хороша так, что казалось невозможным вместить эту красоту в образ обычной, из плоти и крови созданной женщины.

— Мы сыграем несколько старых венецианских народных песен, теперь уже почти забытых и забытых новыми и пошлыми напевами, — сказал Ананда.

Я сидел рядом с И., по другую сторону от него сел капитан, как раз напротив музыкантов.

Что это были за лица. Глаза-звёзды Ананды сверкали, точно бросая

искры вокруг. У Анны горели розами щёки, верхняя губа снова приподнялась, открыв ряд её мелких, белых зубов.

Ни в нём, ни в ней не было ничего от земных страстей. Но оба они были слиты в высшем страстном порыве творческого экстаза.

Первые звуки рояля мгновенным вихрем взмыли кверху, точно оторвались и полетели куда-то. И внезапно глубокий, властный звук прорезал их. Сливаясь, отходя, ещё ближе сливаясь в гармонии и снова её разбивая, нёсся звук виолончели, покоряя себе рояль, покоряя нас, овладевая, Казалось, всем пространством вокруг.

Я не мог представить, что поют струны. Это пел голос, человеческий голос неведомого мне существа.

Звуки смолкли. О, как бедно стало сразу всё! Какой унылой показалась жизнь, лишённая этих звуков. "Ещё, ещё", — молил я в душе и чувствовал, что все просят о том же, хотя никто не нарушал молчания.

Снова полилась песня. Она показалась ещё прелестнее и колоритнее. Огромная сила жизни лилась в этих звуках. Я не мог постичь, каким образом эти высшие, с недостижимым талантом люди ходят среди нас, выдерживают вибрации таких простых, маленьких людей, как я и мне подобные? Зачем они здесь, среди нас? Им нужен Олимп, а не обыденные дни с их трудом, потом и слезами...

"Да вот благодаря им и нет серого дня сегодня, а есть сияющий храм", — роняя слезу за слезой, продолжал думать я под сменявшиеся песни и не знал, какую из них предпочесть.

Внезапно Ананда встал и сказал:

— Теперь, Анна, Баха и Шопена, в честь моего дяди.

Анна улыбнулась, поправила платье и стул, подумала минуту и заиграла.

В тумане слез, взволнованный до глубины души, я сидел, держась за И. Мне казалось, что я не выдержу потока новых, сотрясавших всего меня сил. Точно под воздействием этих звуков во мне раскрывалось какое-то новое существо, которого я в себе ещё не знал.

Как только смолкли звуки, Ананда подошёл к Анне, почтительно, но так нежно, что у меня заныло в сердце, поцеловал её руку и сказал:

— Старые, венгерские, последние, что я вам прислал. Ещё никто не успел приготовиться, опомниться, а уже снова полилась песня. Но можно ли было назвать это песней? Разве это голос человека? Что это? Какой-то неведомый мне инструмент. Или это раскаты эха в горах? Это какая-то стихия красоты. Я был так ошеломлён, так сбит с толку, что, раскрыв рот, уставившись на Ананду, еле переводил дыхание.

Он пел на непонятном мне языке. Я ни слова не понимал, но содержание песни ясно сознавал. Цыган оплакивал погибшую жизнь, погибшую любовь. Ревность, злоба, безумие — всё человеческое страдание, вся бездна страсти и скорби воплотились в песне и проникли в сердце. Но вот звуки изменились, звучащие проклятия перешли в прощение, примирение, благословение и мир...

"Зачем этот человек среди нас? — всё не мог я отделаться от навязчивого вопроса. — Его место где-то выше, не среди простых людей".

И вдруг Ананда, что-то шепнув Анне, запел русскую песню:

Я только странник на земле.
Среди труда, страстей и боли
Избранник я счастливой доли.
Моей святыне — красоте
Пою я песнь любви и воли.

Я вздрогнул от неожиданности. Он точно ответил мне. То была не просто песнь, а гимн торжествующей любви...

Когда отзвучало последнее слово, я едва смог, поддерживаемый И., встать. Оглядев всех своих друзей, я почти никого не узнал; и даже И. был необычно бледен, серьёзен, почти суров. Прощаясь с нами, Ананда ласково сказал капитану:

— Я буду ждать вас завтра в пять часов.

С большим трудом отдавая себе отчёт во всём окружающем, встретив полные слез глаза Генри, я попросил И., чтобы верзила помог мне вернуться к себе, что мне нехорошо.

Помню только, что сильные руки капитана подхватили меня.

Глава 21. МОЯ БОЛЕЗНЬ, ГЕНРИ И ИСПЫТАНИЕ МОЕЙ ВЕРНОСТИ

Когда я очнулся в своей постели, то первое, что я увидел, было лицо склонившегося надо мной И.; рядом, держа в руке рюмку, стоял Ананда.

Я даже ахнуть не успел, как И. приподнял мою голову, а Ананда влил мне в рот что-то горькое, остро пахнущее, от чего я чуть не задохся.

Почему-то я чувствовал себя слабым; мне хотелось спать и я закрыл глаза, хотя оба друга склонились надо мной, точно желая о чём-то меня спросить.

Какие-то провалы в сознании, пробуждение в слабости и неизменная чья-то фигура вблизи меня — вот всё, что сохранила мне память этих дней.

Мне казалось, что я лёг спать только вчера, когда в один из дней, проснувшись, ясно увидел И., задумчиво сидевшего подле меня. Я хотел встать, но его рука удержала меня.

— Не поднимайся, Лёвушка. У тебя было обострение болезни, и Ананда опасался, что сотрясение мозга разобьёт надолго твой организм. Но благодаря его усилиям и нашему общему уходу ты теперь спасён. Я чувствую себя очень виноватым перед тобой за то, что не уберёг тебя от чрезмерно волнующих впечатлений. Простишь ли ты меня, ведь из-за моей непредусмотрительности ты пролежал две недели, — мягко и ласково глядя на меня, говорил И.

— Я пролежал две недели? — совершенно изумлённый, спросил я.

Я старался вспомнить, на чём кончилась моя сознательная жизнь и где я жил бредовыми представлениями, а где она снова начиналась? Когда я заболел? Но какой-то шум в голове и звон в ушах не давали мне ничего сообразить.

Одно только я понял, что И. считает себя в чём-то передо мной виноватым. И в такой степени смешной показалась мне эта мысль, что я протянул к нему руку и сказал:

— Ну а у кого же мне просить прощения за то, что я вторично заболел и вторично отравляю вам жизнь, отнимая у вас столько сил и времени? Ах, Лоллион, я вдруг сейчас всё вспомнил. Ведь это я снова — как тогда у Ананды — упал в обморок в зале? Музыка, музыка, такая необычайная, она словно заставила мой дух вылететь из меня. Иначе я не могу вам описать своего состояния. Я точно улетел и попал к Флорентийцу. Я знаю, что мне

это снилось, будто я с ним. Он был в длинной белой одежде и что-то мне говорил. Я видел комнату, всю белую, но что я там делал, что он мне говорил, — я всё забыл. Безнадёжно забыл. А между тем, единственной моей мыслью была радость рассказать вам весь свой сон, всё, что говорил Флорентиец. И вот, я всё забыл и даже смысла не помню; только знаю, что Флорентиец несколько раз сказал мне: "Ты здоров. Ты совершенно здоров. Но если ты хочешь следовать за мною и быть моим верным другом, — ты должен стать бесстрашным. Только бестрепетные сердца могут подняться к высоким путям". Вот и всё, что я запомнил.

— Сейчас, Лёвушка, не говори столько. Надо сделать всё, чтобы ты поправился поскорее. За эти две недели случилось очень многое.

Самое большое огорчение капитана состояло в том, что он должен был уехать, не простившись с тобой, или, вернее, поцеловав твоё безжизненное на вид тело. Этот закалённый человек, считая тебя умирающим, плакал. А верзила — того, как нервную барышню, я должен был отпаивать каплями и уверять, что ты будешь жить.

Видишь ли, друг. Если, так или иначе, во сне или в бреду, наяву или в мечтах, — ты вынес из этой болезни сознание, что надо и можно двигаться дальше только в бесстрашии, — тебе надо сделать всё, чтобы его обрести. Это твой ближайший и вернейший урок. А нам с Анандой, прошедшим в прошлом — как ты знаешь — тяжёлый путь скорби и ужаса, предстоит помочь тебе в достижении этой задачи.

Поэтому давай добьёмся сначала полного физического выздоровления. Мне, тебе, Анне и ещё кое-кому вскоре предстоят большие испытания. А точнее, мы должны помочь Анне и Строганову очистить их семью от того зла, которое — благодаря неосторожности жены Строганова — губит её самое, их младшего сына и протягивает грязные лапы к Анне.

Тебе, выплакавшему в горьких слезах своё детство и сомнения, теперь надо стать мужчиной. Уверенно стой на ногах и помогай нам с Анандой. Да вот, кстати, и он.

И действительно, я услышал в соседней комнате, где прежде жил капитан, шаги Ананды и его голос. Потом я узнал, что в комнате капитана поселился Генри, разделявший с И. все хлопоты ухода за мной.

Ананда вошёл, осветив своими глазами-звёздами всю комнату. Он точно внёс с собой атмосферу какой-то радости, успокоения, уверенности.

— Ну, что же? Был ли я прав. Генри, говоря тебе, что с Лёвушки, как перчатка, сойдёт болезнь? — прозвенел его вопрос к Генри, которого я, находясь под обаянием Ананды, не заметил сразу.

Генри смущённо улыбался, говоря, что это из ряда вон выходящий

случай, что ни в одной из книг он не находил указаний к такому лечению, какое применил Ананда.

— Знание, Генри, — это жизнь. А жизнь нельзя уместить ни в какую книгу. Если ты не будешь читать в больном его жизнь, а примешься искать в книгах, как лечится болезнь, — ты никогда не будешь доктором-творцом, талантом, а только ремесленником. Нельзя лечить болезнь. Можно лечить больного, применяясь ко всему конгломерату его качеств, учитывая его духовное развитие. Не приведя в равновесие все силы в человеке, его не вылечишь. Я даже не спрашиваю, как вы, Лёвушка, себя чувствуете, а предписываю: быть через три дня на ногах; на пятый день выйти в сад; на шестой ехать кататься с Генри; через неделю считаться здоровым и приняться за все обычные дела, вплоть до писания под мою диктовку писем и слушания музыки; а через десять дней помочь нам с И. в одном трудном деле.

Генри всплеснул руками и даже присвистнул. Он являл собой крайнюю степень возмущения. Я засмеялся и, несмотря на слабость и звон в ушах, обещал — при должном количестве пилюль Али — выполнить наказ Ананды.

— Это моего дяди лекарства приводили в ужас Генри и возвращали вам здоровье. Генри даже пробовал было не послушаться меня и попытался не дать вам ночью должной порции, боясь, как бы я не уморил вас. К счастью, я зашёл к вам перед сном и поправил дело. Не то, защищая вас от меня, он отправил бы вас слишком далеко, — с юмором взглянув на Генри, звенел своим металлическим голосом Ананда. Но во взгляде его на И., в тоне голоса я уловил что-то скорбное.

Внимательно меня осмотрев, он снял лёд с моей головы, велел Генри убрать грелку от моих ног и сказал:

— Вне всякого сомнения, всё миновало, и вы совершенно здоровы. Если бы не стояла такая жара, я поднял бы вас с постели даже сегодня.

Генри снова фыркнул что-то, и я понял, что он порицал методы лечения Ананды.

— Генри, друг, надо отнести княгине вот это лекарство. Передай его князю; и первый раз дай его княгине сам, в каком бы состоянии — по твоему учёному мнению — она ни находилась. Ну, хорошо, хорошо, — улыбнулся он, видя вдруг изменившееся и молящее выражение глаз Генри. — Дважды за одну вину не взыскивают. Но... если ты дал слово слушаться моих указаний, — и вот перед тобой живой пример, как ты был не прав, отменяя моё предписание относительно Лёвушки. Там, где ты не знаешь всего до конца, — старайся точно выполнить то, что тебе сказано.

Умничанье недостойно мудрого человека. Не говоря уже о том, что ты нарушил своё обещание верности, ты мог спутать нити многих жизней и погибнуть сам.

Ананда не был строг, когда говорил всё это. И голос его был мягок и ласков; но я не хотел бы быть на месте Генри и не смог бы, пожалуй, вынести спокойно его сверкавшего взгляда. Генри поклонился и вышел, всё с тем же смущённым и расстроенным видом. Но я далеко не был уверен, что он смирился и осознал себя неправым.

— Тебе, Лёвушка, предстоит решить сейчас один сложный и очень важный вопрос, если ты хочешь идти с нами и следовать за своим верным другом Флорентийцем.

Ты уже и сам заметил, что в жизни есть много таких сил, о которых ты раньше никогда не задумывался. Когда-то — как ты сейчас — и мы с И. переживали бури жизни. И искали в ней удовлетворения личных желаний, не зная, что счастье не в них, а в знании и служении своему народу. В освобождении в себе всех высших сил для помощи людям, в развитии всех талантов и способностей для того только, чтобы звать людей к единению в красоте.

Много говорить я сейчас не буду. Надо, чтобы ты поправился и сам решил: хочешь ли ты идти туда, куда я и И. будем тебя звать? Хочешь ли, легко, просто, добровольно повиноваться нам, имея одну цель в виду: стать близким другом и помощником Флорентийцу?

Ты поймёшь, как надо много знать и высоко подняться, чтобы приблизиться к нему. Пока ты знаешь мало, но веришь всецело ему и нам, — надо повиноваться не рассуждая. Ведь если бы я не поспел вовремя, Генри уморил бы тебя. Он, не имея достаточных знаний, пустился поправлять мои распоряжения, чем мог привести твоё сердце и нервы в полное расстройство — и уже никто не смог бы вернуть тебя на землю.

Вскоре нам предстоит сражение с человеком большой тёмной силы, злым эгоистом и бесчестным губителем чужих жизней. Если хочешь ближе подойти к Флорентийцу, включайся с нами в битву. Но для этого надо победить в себе страх. Это условие — как новый урок — стоит сейчас перед тобою.

Это одно, о чём тебе думать и что решать целых три дня, пока ты будешь лежать.

А вот и второе: уезжая, капитан горевал, что не может поговорить с тобой. Он просил передать тебе письмо и этот пакет. Но читать тебе сейчас нельзя, как нельзя и разворачивать сию минуту свёртка. Ни одно лишнее волнение не должно потрясать твоё сердце эти три дня.

Живи, как живут схимники; живи, как будто каждый наступающий день это последний день твоей жизни, думай о Флорентийце и о том, что я тебе сейчас сказал, если хочешь трудиться с ним. — Через три дня ты дашь мне ответ. Тогда же, в зависимости от твоего решения, мы с И. выработаем план наших действий относительно тебя, — улыбнулся он, пожимая мою руку. — Тогда же прочтёшь и письмо капитана.

От пожатия Ананды к моему сердцу пробежала какая-то волна теплоты и спокойствия. Не скажу, чтобы его слова не взволновали меня. Но вместе с тем, по мере того, как он говорил, я становился спокойнее, и мысль моя начинала работать совсем ясно. Теперь же, держа его руку в своей, я весь наполнился таким же чувством счастья, мира и уверенности, как в тот раз, когда Али взял меня за руку в комнате моего брата.

Как тогда, так и теперь, сознание превосходства этого человека над мной исчезло из моего сердца. Я уже не спрашивал себя, зачем такие люди, неизмеримо выше и совершеннее нас, ходят среди нас по земле, среди страданий и слез, страстей и зла, пачкая свои светлые одежды.

Я, казалось, слился целиком с той добротой, с тем милосердием, которые так просто и легко изливал Ананда в моё маленькое сердце, мою неустойчивую взбудораженную душу.

"Вот она, любовь, — не только думал я, но и ощущал всем своим существом Ананду. — О, если бы я мог научиться так любить человека! Всё заключается в том, чтобы понять сердцем, что такое любовь, тогда нет места осуждению..."

Я почти не заметил, как Ананда и И. вышли из комнаты. Мне думалось, что я снова дремлю, как и все эти дни, когда я ощущал, что как бы раздвоился. Я знал, что вот здесь лежит моё тело, и вместе с тем знал, что я — как мысль и сознание — летаю где-то, что я в нём и не в нём, и никак не мог слиться во что-либо ясное и чёткое. Я точно был невесом.

Но теперь, в эту минуту, я отчётливо ощущал тяжесть своего тела, чувствовал слабость, затруднённость каждого движения и понял, что начинаю выздоравливать, что бред мой кончился.

Я хотел спросить себя, рад или не рад я, что вернулся на землю из мира моих грёз. Но вошедший Генри принёс мне завтрак, сказал, что всё приготовлено руками самого И., а Ананда предписал непременно съесть всё, что подано.

Я поморщился, так как на большом подносе стояло много чего-то, а есть совсем не хотелось. Генри помог мне сесть и поставил поднос на низкую бамбуковую скамеечку прямо на постель. Я начал с шоколада и поначалу тянул его неохотно, как вдруг увидел на тарелочке «Багдад».

Недолго думая, я отправил его в рот, и потом так захотел есть, что без разбора уничтожил всё, что было подано, и даже заявил, что хорошо, да мало. Генри с ужасом смотрел на меня.

— Лёвушка, а ведь я проиграл большое пари доктору И. Я спорил, что вы не осилите и половины этой огромной чашки шоколада, уж не говоря о каше и каких-то подозрительных блюдах, в которых И. упражнял свой поварской талант. А вы меня ещё раз посадили на мель.

Голос Генри был печален, и выглядел он вконец расстроенным.

— Я очень сожалею, если чем-то огорчил вас. Генри; но, право, я желал бы только выразить вам большую благодарность за ваш уход и помощь, — сказал я ему.

— Нет, Лёвушка, не вы меня огорчили, а я сам — как-то незаметно для самого себя — запутался в отвратительной сети интриг. И только сегодня слова Ананды точно пробудили меня от сна.

Отчего я вдруг, пять дней назад, взбунтовался и не дал вам его лекарства? Сейчас я ответить не могу. А ту ночь у меня в душе подняло — как мне теперь кажется, без всяких причин и оснований — такой протест! Я осуждал и критиковал Ананду, поступавшего вопреки всем правилам медицины. Я стал считать насилием требование беспрекословно повиноваться в таком деле, где я тоже кое-что понимаю и имею даже степень доктора медицины. Да ещё опубликованную научную работу, как раз по мозговым болезням вашего типа.

И вот теперь мне стало очевидно, что я ничего не знаю, что не болезнь как таковую лечил Ананда, а видел и знал весь ваш организм. Тогда как всецело был занят книжным описанием болезни, а не вами.

Когда И. готовил вам завтрак, бунт во мне стал нарастать. Я еле удерживался от грубости и детского желания побежать к Ананде и потребовать культурного отношения к больному. А И. поглядел на меня и, спокойно улыбнувшись, сказал: "Хотите пари, что Лёвушка всё съест и скажет, что мало? Но прощу вас ничего, решительно ничего ему не давать до самого обеда, к которому я вернусь. Я буду сам обедать Лёвушкой в его комнате. И лекарств никаких, и визитов никаких".

И так он ещё раз посмотрел на меня, что я до сих пор не могу в себя прийти. Не то что это был приказ или осуждение. Их бы я вынес легко. Но во взгляде его читалось такое сострадание, такое сочувствие. Я понял, что он догадывается обо всех моих мыслях, в которых я даже себе не хотел бы признаться.

Генри замолчал, опустил голову на руки и через минуту продолжал:

— И это ещё не все. Ещё утром Ананда мне сказал, что сегодня VI

придете в себя и будете в силах говорить и кушать, но никого и посторонних пускать к вам нельзя. А я обещал Жанне, которая каждый день приходит справляться о вас, что пущу её к вам потихоньку.

— Как могли вы так гадко поступить? — закричал я столь громко, что в соседней комнате раздались поспешные шаги, и сам И. быстро вошёл к нам.

— Что с тобой, Левушка? — беря мои руки, сказал он. — Отчего до сих пор стоит возле больного поднос? Чтобы привлечь мух? — тихо, в строго звучал голос И. — Или я совсем не могу положиться на вас ни чём? Вы, Генри, не желаете повиноваться ни одному из распоряжений Ананды. Зачем вы держите письмо от Жанны в кармане?

— Посмотрите, что вы наделали, — указывая на меня, сказал И, А я задышался, мне было тошно, я знал, что сейчас будет обморок.

— Извольте идти отсюда, — сказал и Генри, и это было последнее, что я слышал. Мне казалось, что я проваливаюсь куда-то в пропасть, я слышал ещё сильный волевой крик И., звавшего Ананду, и видел, как тот быстро вбежал в мою комнату. Но не уверен, что это не было моим бредом.

Когда я очнулся, была уже, очевидно, ночь, а может быть, просто были опущены Шторы. В полумраке я различил грузную фигуру сидевшего подле меня отца Ибрагима.

Я шевельнулся и попросил пить. Он вызвал И., и тот, радостно мне улыбаясь, сам дал мне питье, поблагодарил турка за ночное дежурство, а меня за то, что я так быстро победил свой глубокий обморок.

Я, к своему удивлению, теперь всё решительно помнил. Я не чувствовал больше слабости, зато во мне проснулся такой волчий аппетит, что я стал просить есть, а также пропустить свет в комнату, как можно больше света.

Турок развёл руками, смеясь, раздвинул шторы, так что я даже зажмурился от нахлынувшего света, и прибавил, что капитан-то был прав, считая меня каверзным мальчишкой.

— Я чуть ли не оплакивал его всю ночь. Напросился в братья милосердия, гордясь тем, что выхаживай умирающего, а он взял да и отнял у меня все привилегии. Прикажете кормить этого волка? — спросил он.

— Я схожу к Ананде и спрошу, чем кормить его волчью светлость, — рассмеялся И. — А вы, может быть, не откажетесь помочь ему умыться. Чур, не вставать, — прибавил он, грозя мне пальцем. — Пока я не вернусь с Анандой, считай себя безнадежно больным и принимай заботы Джел-Мабеда со свойственной больным грацией.

Он быстро вышел, а я принялся за свой туалет, поразив худобой не только турка, но и самого себя. Я и не представлял, что можно так

высохнуть за две недели. Турок покачивал головой, бормоча:

— Вот и корми этого аскета. Неужели можно жить одной кожей и костями?

Я требовал зеркало, уверяя, что иначе не могу расчесать отросшие кудри, но Джел-Мабед его мне не давал, уверяя, в свою очередь, что зеркало я съесть не могу, а сейчас важно только одно: хорошо кушать.

Не успели мы доспорить, как оба доктора уже стояли рядом, смеясь и спрашивая, решил, ли я наконец, что для меня важнее: еда или красота?

Я не дал ответа, а жадно потянулся к чашке, которую И. держал в руках. Турок очень одобрил такое практичное решение вопроса и вызвался пойти к повару заказать завтрак.

Когда он ушёл с наставлениями И., я сказал Ананде, что совсем здоров и мог бы уже встать. Ананда согласился и даже позволил выйти на балкон, но к вечеру, когда спадёт жара, и с условием: съесть первый завтрак в постели, а потом пролежать три часа в полутьме. Если же через три часа он найдёт меня в полном самообладании, ничем не раздражённым и крепким, — он разрешит мне встать. А завтра вечером сам осторожно сведёт в зал послушать музыку. Я был в восторге.

— Вы можете быть более чем уверены в непоколебимом моём спокойствии, так как я больше всего на свете хочу послушать вас и Анну. Я даю вам слово быть спокойным, а слово своё я держать умею. И вообще считаю, что если бы не ваша дервишская шапка, я бы не закричал вчера. Это она раздавила мне однажды мозги, и я стал так по-детски глуп. Стоило мне сказать Генри, что я не желаю видеть никого дня три, пока не отъежусь и не стану походить на человека, — ничего бы и не случилось. А вот шапка подвела.

— Да, вскоре ты убедишься воочию, друг, что значит зловещая шапка. И какой ещё зловещей она может быть; как иногда вообще может быть вредной иная подаренная или носимая на себе чужая вещь, — очень серьёзно сказал Ананда. — Надетая на человека злою рукой, вещь может лишить не только разума, но и жизни.

Я не понял тогда его слов. Но сколько в них было правды, в этом я действительно убедился через несколько дней.

Мои друзья, напоив меня приятно шипевшим, освежившим точно жизненный эликсир, питьем, ушли, оставив нас с турком завтракать. Турок потчевал меня, пока я не наелся до отвала, но не забывал и себя.

Я должен был отдать дань степени прозорливости Ананды. После завтрака я захотел спать, захотел полутьмы. Турок задёрнул шторы, улёгся на диван, и мы оба блаженно заснули.

Второй день моего выздоровления прошёл вполне благополучно. Изредка я поглядывал на конверт и свёрток капитана, но даже в мыслях у меня не мелькало послушаться Ананды. И музыки я ждал, конечно жадно ждал. Но в этом моём ожидании уже не было той страстности, с которой я жил до сих пор и которая, как на качелях, постоянно вталкивала меня в раздражение. Точно в самом деле я выплакал часть своего существа в тех потрясающих слезах, которые проливал в тайной комнате Ананды.

Мне очень хотелось знать, где Генри, так как комната капитана была теперь пуста. Не менее горячо я хотел знать, как живут князь и княгиня, что делается в магазине Жанны и как идёт жизнь Строгановых. Если бы Генри или князь были со мной, я мог бы их обо всём расспросить. Но спрашивать о чём-нибудь у И. я не хотел и не смел, если он сам считал нужным молчать.

Весь день я провёл один. Вопрос, который поставил передо мной Ананда, вопрос беспрекословного повиновения, о который всё спотыкался Генри, меня даже не волновал. По всей вероятности — по сравнению с Генри, — я так мало знал и был так значительно менее его талантлив, с одной стороны; и так наглядно видел вершины человеческой доброты, благородства, силы в людях, подобных Али, Флорентийцу, И., Ананде — с другой, что мне и в голову не приходило сомневаться в своём, весьма скромном, месте во вселенной по сравнению с ними и их знаниями.

Чем больше я постигал высокий путь жизни моих друзей, тем смиреннее и благодарнее относился к их любви и заботам.

За этими размышлениями застал меня И., которому я так обрадовался, что снова, как ребёнок, бросился ему на шею.

— До чего ты смешноватенький, мой милый Левушка, на тебе только анатомию скелета изучать! И ты совершенно изменился. Несмотря на ещё детскую угловатость, ты вырос и возмужал. У тебя совсем новое выражение лица. Тебя не только Анна и Жанна — каждая по-своему — не узнают, тебя и Флорентиец не узнает, — нежно обнимая меня и глядя мои кудри, говорил И.

Мы сели с ним обедать, и он рассказал мне, что дела княгини блестящи. Благодаря усилиям Ананды совершилось то, на что он один никогда не решился бы. Ананда снёсся со своим дядей и получил разрешение применить его метод лечения, в результате которого княгиня ходит не хуже, а лучше, чем ходила до болезни, хотя метод был очень рискованным.

На мой вопрос, помнит ли княгиня, о чём говорил ей И. в первые дни её воскресения, помнит ли, как она крикнула: «Прощение», — И. сказал, что дня два назад, когда завершился раздел её имущества с сыном и адвокаты,

вполне довольные, уехали в Москву, она сама просила Ананду и И. уделить ей время для разговора.

Он не говорил подробно, в чём заключался этот разговор. Но сказал, что теперь у княгини исчез её безумный страх смерти. Отношение её к окружающим, которое, само собою, уже во время болезни стало меняться, теперь изменилось так, как её естественные седые волосы сменили рыжий парик, а обычное старческое лицо выступило из-под прежней размалёванной маски. Мысли её вырвались из железных тенет жадности и скупости, и она впервые увидела и поверила, что не всё в мире покупается и продаётся.

— Всё же мне очень жаль князя. Как бы он ни проникся смыслом жизни, — старая жена — это такой ужас! — задумчиво сказал я.

И. усмехнулся и ответил, что задаст мне вопрос о счастье князя года через три, когда мой жизненный опыт и знания продвинут меня далеко вперёд.

— Я вижу, что тебя не очень волнует вопрос беспрекословного повиновения, — сказал И. со знакомыми мне искорками юмора в глазах.

— Нет, Лоллион. Этот вопрос меня вовсе не волнует; точно так же, как и второй вопрос Ананды. Для меня нет и не может быть выбора, потому что самой жизни без вас, без Флорентийца, без моего брата для меня уже быть не может. Я и не заметил, какое место занял в моём сердце Флорентиец, и только в разлуке с ним понял всю силу своей любви к нему. Я не успел осознать, каким волшебством сэра Ут-Уоми тоже занял огромное место в моём сердце. Но как, за что, когда и почему там воцарился ваш образ — это я знаю точно и приношу вам благодарность всем своим преображенным существом; быть чем-нибудь вам полезным, быть вам слугой, преданным учеником — вот самое моё великое желание, самая затаённая мечта. И я больше чем когда-либо прежде страдаю, думая о своей невежественности, невыдержанности, неопытности.

— Мой милый мальчик, чем выше и дальше каждый из нас идёт, тем яснее видит, что предела в совершенствовании нет. И дело не в том, какой высоты и какого предела ты достигнешь сегодня. А в том только, чтобы двигаться вперёд в русле того вечного движения, которое и есть жизнь. И войти в него можно только любовью. Если сегодня ты не украсил никому дня своей простой добротой — твой день пропал. Ты не включился в вечное движение, которым жила сегодня вселенная, ты отъединился от людей, а значит, не мог подняться по пути к совершенству. Путь туда один: через любовь к человеку.

Разговор наш прервал Ананда, а у меня так много было ещё вопросов, и

беспокойство о Генри было не из последних.

— Я вижу, ты, Левушка, и в самом деле господин своему слову. В таком прекрасном состоянии я даже не ожидал тебя найти, — такими были первые слова Ананды. — Тебя смущает твоя худоба. Но... ты увидишь Анну и найдёшь, что и она изменилась за это время разительно, так же как и её отец. Постарайся быть очень воспитанным человеком и не подавай виду ни ему, ни ей, что ты заметил в них печальную перемену и поражен ею.

— Я буду сама воспитанность и такт, — важно сказал я. — Хотя, признаться, оба эти словечка — ещё из первых дней жизни с Флорентийцем — приносят мне немало хлопот и волнений. Буду очень стараться, но обещать, что не сорвусь случайно и не осрамлюсь, всё же не могу.

Мои друзья встали, чтобы идти в музыкальный зал. Помня слова Флорентийца, я взял письмо и свёрток капитана и спрятал их в саквояж, а саквояж в свою очередь сунул в шкаф. — От кого ты прячешь вещи? — спросил И. — Ни от кого. Но Флорентиец велел никогда не оставлять дорогие мне вещи неубранными. Да и вы меня не раз учили аккуратности, — ответил я И.

Он улыбнулся, но ничего не сказал. Ананда взял меня под руку, и мы пошли в музыкальный зал.

Я чувствовал себя совсем хорошо, но спускаться по лестнице было довольно трудно. Оба моих друга держали меня под руки, и всё же ноги мои сгибались с трудом. Целую вечность, казалось, мы шли, пока, наконец, не добрались до цели.

Зал был ещё пуст; через минуту вошёл туда князь со слугами, которые зажгли лампы и люстру. Милое лицо князя, сияющее перед моей болезнью, удивило меня озабоченностью и какой-то тоской.

Я хотел спросить, что с ним случилось. Но вовремя вспомнил, как должен вести себя воспитанный человек.

Пока князь разговаривал у рояля с И. и Анандой, я сел в глубокое кресло у стены и постарался сосредоточиться. Я даже удивился, как легко на этот раз мне удалось собрать внимание. Я сразу же ощутил себя в атмосфере Флорентийца, точно держал его руку в своей. И когда голос Ананды: "Левушка, Анна идёт", привёл меня в чувство, я радостно встал и поспешил ей навстречу, следуя за И., но ноги плохо меня слушались.

— Ты помнишь, Левушка, о чём говорил Ананда? — шепнул мне И.

— О да. Буду счастлив испытать своё самообладание, — ответил я.

Но когда я увидел Анну, с которой князь снял её всегдашний чёрный

плащ, я внутренне ахнул.

— Вы, наверное, не узнаете меня, Анна, при моей теперешней худобе? — сказал я, восторженно целуя обе её руки.

— Вы. Левушка, не худобой поражаете меня сейчас, а чем-то другим, чему я ещё не нахожу определения. Но это отнюдь не физическое, а что-то духовное. Как будто в вас просыпается какая-то новая сила, — сказала Анна.

— Да, а вот перед вами инвалид, — подавая мне руку, сказал Строганов. — У меня был сильный припадок грудной жабы, из когтей которой еле вытащили меня наши общие доктора. Признаться, сам я не надеялся уже увидеть этот дом и послушать ещё раз музыку. Живите, живите полнее, мой дорогой литератор. Сверлите своими острыми глазами-шилами жизнь вокруг вас и подмечайте всё, что таится в сердцах окружающих. Пуще всего бегите от компромиссов, особенно, если они забрались в ваше сердце: "Коготок увяз, — всей птичке пропасть", — задыхаясь говорил старик, очевидно вспоминая собственные переживания.

Взяв меня под руку, он тяжело и медленно стал двигаться к дивану, стоявшему рядом с креслом, что я облюбовал. Не успели мы сесть, как в комнату вошёл Генри и, поклонившись всем общим поклоном, отошёл в самый дальний угол.

"Сколько причин для аханья было бы у меня, — подумал я, — если бы всё это происходило до моей болезни".

Генри — и раньше худощавый — стал совсем худ, будто долго постился. Но он не только осунулся, он изменился, точно в чём-то разочаровался, и помрачнел. Очевидно, его душевный бунт не унимался, а нарастал.

Анна села за рояль, и я и вправду изумился перемене в ней. За этим же роялем я видел её юной, остановившейся на семнадцатой весне. А сейчас я ясно читал в ней все её двадцать пять лет. Не то чтобы её лицо прорезали морщины, но вместо безмятежно доброго, спокойно ласкового облика той Анны, к которому я уже привык, я видел страдающие глаза, горько и плотно сжатые, подёргивающиеся губы, а время от времени точно какие-то молнии вылетали из её глаз, — иначе я сказать не умею.

Отец её совсем не напоминал того весёлого и бодрого человека, который месяц тому назад приходил к нам пить чай и устраивать судьбу Жанны.

— Мы перенесём вас в начало XVII века и начнём с Маттесона. Это монах. Потом будут Бах и Гендель, — сказал Ананда.

Внезапно, с первыми же звуками, я увидел за роялем прежнюю Анну,

ещё более прелестную, ещё более вдохновенную, но не спокойную, как прежде, а бурную, страстную, готовую взорваться каждую минуту.

Как и в прошлый раз, пели не струны под смычком Ананды, лился живой человеческий голос, сметавший все преграды между сердцем и окружающей жизнью. Голос его виолончели входил мне в душу, не бередя ран, а вливая силы и мир.

Чудесные звуки сменяли друг друга, а я не замечал никого и ничего, кроме лиц двух музыкантов. Не красота их и даже не вдохновение поражали меня сегодня. Если в прошлый раз я ощутил их единение в экстазе творческого порыва, то сегодня я сам участвовал в этом экстазе, сам творил новую, какую-то неведомую молитву Божеству, каждым нервом участвуя в этих звуках.

Я не думал — как когда-то проезжая по улицам Москвы — верю ли я в Бога и какой он, мой Бог, и в каких я с ним отношениях. Я нёс моего Бога в себе; я жил во время этой музыки, молясь Ему, благословляя жизнь, всю, какая она есть, и растворяясь в ней в блаженстве и благоговении.

Анна заиграла одна. Соната Бетховена, как буря, рвалась из-под её пальцев. Я поднял голову и снова не узнал Анны. Вся преображенная, с устремленными куда-то глазами, она, казалось, звала кого-то, кого не видели мы; звала и играла кому-то, кто слушал её не здесь; из глаз её катились слёзы, которых она не замечала... Но вот её слёзы высохли, в глазах засветилось счастье, точно её услышали, сверкнула улыбка, отражая это счастье, почти блаженство; звуки перешли в мягкую мелодию и смолкли...

В углу зала рыдал Генри, рыдал так же безутешно, как я в комнате Ананды.

Я хотел встать и подойти к нему, но увидел, что сам Ананда стоит возле него и ласково гладит его по голове.

На этот раз ни Анна, ни Ананда не пели. Ананда сказал, что после такой музыки можно только низко поклониться таланту, давшему нам высокие моменты счастья, и разойтись.

Я всё смотрел на Анну. Что снова случилось с нею? Неужели её слёзы сожгли скорбь сердца? Она снова стала носить на лице семнадцатую весну, снова лучи доброты и какого-то обновления струились из глаз. Она подошла к отцу, нежно обняла его и шепнула:

— Больше не волнуйся. Всё будет хорошо. Всё уже хорошо; а то, что ещё будет, — это только неизбежное следствие, а не наказание Браццано.

Он, казалось, понял её — совершенно для меня непостижимые — слова, просиял, поцеловал её и перевёл взгляд на подходившего к нам

Ананду.

— Довольно вам страдать, Борис Федорович, — ласково, но, как мне показалось, с некоторым упрёком сказал он. — Я вам всё время говорил, что вас губит страх. И если бы вы верили мне на самом деле так, как говорите, вы не были бы больны; и Анна так бы не страдала. Возьмите себя в руки. Ведь вы сейчас совершенно здоровы, у вас нигде ничего не болит. Если бы мой дядя был здесь, подле вас? Как бы вы взглянули в его светлое лицо? Разве вы не обещали, что не допустите в сердце страх?

— Я очень виноват, очень виноват, — сказал, вздыхая, Строганов. — Но когда дело идёт о моём единственном сокровище, об Анне, которой уже десять дней грозит ужасная опасность, — поймите меня, Ананда, мой великий, великодушный друг и защитник! Это единственное моё уязвимое место, где я не в силах победить страх.

— Так вот и проходит жизнь людей, в постоянных заблуждениях. Оглянитесь назад, на прожитые вами десять дней. Что случилось с нею? Она жива, здорова и... счастлива сейчас. Разве не вы своими страхами и скорбью измучили её? И если уж вы хотите знать... — Ананда замолчал на миг, как бы к чему-то прислушиваясь... — то опасность грозила Анне — или, вернее, вам, так как вы могли потерять её, — здесь, сейчас, когда она играла, а вы и не подозревали об этом. Как и не подозреваете того, что вы сами, своим же страхом поставили её у предела...

Ананда замолчал, нежно взял обе руки Анны в свои, поднёс их к губам, улыбнулся, обнял её своей левой рукой и поцеловал в лоб.

— Нет места сомнениям в сердце верном. А когда они проникают в сердце, происходит революция, разрушающая гармонию. Помни, друг Анна, что вторично вырвать тебя из бури, в которую ты попала сейчас, к ней не готовая, — я уже не смогу. Думай не о своих путях как о путях отречения; но о пути всех тебе близких по духу, на котором ты — сила и мир, если живёшь в гармонии. Но если в твоём сердце будут жить сомнение и половинчатость, рухнешь сама и увлечёшь за собой своих любимых. Вслед за сомнениями вползает страх, а там... опять попадёшь в ту бурю, где была сейчас, и, повторяю, — я уже не смогу вырвать тебя из неё.

Он ещё раз поцеловал Анну в лоб. Только сейчас я заметил, как он бледен, измучен, точно не Ананда стоял предо мною, а тень его.

Снова я ничего не понял, только защемило сердце. "Что могло так надорвать силы Ананды? Почему на его гладком лбу поперечная морщина? Почему И. так суров и скорбен?" — думал я.

Все эти вопросы остались без ответа, а в сердце моём удвоилась

преданность моим друзьям.

Никому не хотелось чая, но чтобы не обидеть радушного хозяина, мы выпили по чашке и разошлись.

Я искал Генри, но он исчез. А мне так хотелось хоть чем-нибудь облегчить его муку.

— У каждого — свой путь, — сказал мне Ананда, когда я столкнулся с ним у двери. — Тебе сейчас — готовиться к ответу, его спрошу завтра. Если бы даже Генри и захотел говорить с тобой до этого срока, — я запрещаю тебе это. Ты видел, к чему ведёт непослушание. Ты смутно понял сейчас, куда уводит сомнение. Отдай себе во всём отчёт, не ищи помощи ни в ком и решай свою задачу в одиночестве.

Я пришёл в свою комнату. Я был счастлив. Ничто не разрывало мне сердце, я знал своё решение; знал каждым нервом свой путь; во мне всё ликовало. Я знал — я был спокоен.

Я хотел уже ложиться спать, как представил себе состояние Генри. Я очень многое дал бы, чтобы его утешить; но голос внутри меня говорил, что я ничего не сумею сделать сейчас для него, так как сам ещё слаб. И понял запрет Ананды; это было желание оберечь нас обоих от лишних мучений без пользы для кого бы то ни было.

Заперев дверь на ключ, я потушил свечу. Я твёрдо решил выполнить приказание Ананды, призвал дорогое имя Флорентийца и лег, всем существом чувствуя, что Генри непременно придёт ко мне сам.

И я не ошибся. Не успели затихнуть шаги Ананды и И., отправившихся провожать Строгановых, как кто-то постучался в мою дверь. И сердце моё ответно застучало.

Стук повторился; и всё затихло. Я, не знаю почему, подбежал к двери в комнату И. и тоже запер её. Не успел я добежать до постели, как услышал звук поворачиваемой ручки.

— Левушка, отоприте. У меня экстренная надобность. Скорее, мне надо передать вам поручение невероятной важности. От этого зависит жизнь двоих людей. Скорее, пока И. не вернулся, — слышал я задышающийся голос Генри.

Я неподвижно, молча лежал. Если бы он говорил мне даже, что он горит, что жизнь его зависит от нашего свидания, что я умру сам, всё равно я бы не изменил Ананде и И. и не двинулся бы с места.

Генри принялся так сильно дёргать дверь, что я стал бояться, что он сломает запор. Я тихо встал, надел халат и решил перейти в комнату капитана, но тут услышал, как открылась парадная дверь, и понял, что сейчас войдут мои друзья.

Стучавший в дверь уже с остервенением, звавший меня громко и грубо, Генри не услышал шагов И. и Ананды.

В комнате И. всё смолкло. Затем я услышал голос Ананды, говорившего на незнакомом мне языке, потом торопливые шаги князя, спрашивающего, что это за шум ему послышался. Потом снова всё смолкло, и через некоторое время я услышал дорогой голос И.

— Ты можешь открыть дверь, Левушка?

Я открыл дверь; И. осветил свечой моё лицо, ласково улыбнулся и сказал:

— Первое испытание на верность ты выдержал, дорогой мой мальчик. Иди дальше с той же честью и станешь другом и помощником тем, кого ты выбрал себе идеалом.

Глава 22. НЕОЖИДАННЫЙ ПРИЕЗД СЭРА УОМИ И ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ЕГО С АННОЙ

На утро следующего дня, не успел я проснуться, как И. позвал меня к Ананде.

Мы спустились вниз, было ещё не жарко, и я с восторгом вдыхал аромат цветов, которые князь развёл во множестве.

Шум города доносился откуда-то издалека. Мне казалось, что это там, за нашей оградой, мечутся люди и бушуют страсти, свиваются клубки страданий и быстро исчезающего счастья. А здесь, подле И. и Ананды, живёт атмосфера устойчивого мира.

Но тотчас мелькнуло в памяти измученное лицо Генри, его бешеный голос. Я вздохнул и ещё раз прочувствовал утверждение И., что невозможно поднять человека в иную атмосферу, если он не носит её в себе.

Первым, кого я увидел у Ананды, был Генри, уныло сидевший перед столом.

— Здравствуй, Левушка, — сказал мне Ананда. — Скажи, пожалуйста, почему ты ночью не открыл Генри дверь, хотя он заклинал тебя это сделать, уверяя, что двум людям грозит смерть?

— Только потому, что дал себе слово не нарушить верности вам. Ведь я обещал вам ни с кем три дня не видеться. Только потому и письмо у него не взял. И говори он мне, что стгорит в огне, если я ему не открою, — я всё равно верил бы вам, а не ему; верил бы, что того, что знаете и можете вы, не знает и не может Генри; хотя — в то же самое время — я совершенно уверен, что Генри знает и может гораздо больше, чем знаю и могу я сам.

У меня не было и нет никаких сомнений. И если вы считаете, что я поступил не так, прошу прощения. Но послушаться ни вас, ни И., ни Флорентийца я всё равно не могу.

Зная свою невежественность, я не осмелился бы судить о ваших распоряжениях. А будучи спасённым вами от смерти, зная, как самоотверженно откликнулись вы на зов Флорентийца помочь моему брату, — я из одного чувства благодарности и преданности решился бы скорее разделить вашу печальную судьбу, если бы такое могло случиться,

нежели нарушить данное вам слово.

— Что ты скажешь мне. Генри? — спросил Ананда. Его голос меня потряс. Ни один отец не мог бы так ласково, с таким состраданием обратиться к провинившемуся сыну. Я внутренне устыдился. Да, я гордился тем, что выполнил свой урок, что не споткнулся об условность, видя существо дела. Да, я понял, что действительно люблю своих высоких друзей и предан им. Ну а любил ли я Генри? Голос Ананды, в котором не было ни капли упрёка, а одно только бесконечное сострадание, показал мне, как именно должна звучать истинная любовь.

Генри, за минуту до этого мрачный, поднял голову, посмотрел Ананде в глаза и хрипло сказал:

— Сам не понимаю, как мог я дойти до такого состояния. — Я ведь тебе говорил, чтобы ты не брал писем у Жанны. Я тебя предупреждал, чтобы ты не знакомился с Браццано. Объяснил, что тебе — кармически с ним связанному — придется ему помогать, но лишь тогда, когда ты поймёшь суть его злодеяний. Я запретил тебе даже видеться с ним сейчас без меня или И., а ты пошёл к нему, да ещё повёл с собой Жанну. — Нет, Жанна не переступала его порога.

— Только потому, что вас встретил Строганов и ты не посмел увести её из магазина в рабочее время, — продолжал Ананда. — Но дело теперь не в этом. Ты, Генри, потерял возможность кончить свои вековые счёты с этим человеком. Ты мог, с нашей помощью, заплатить добром и любовью за то зло, что нанёс когда-то этот человек тебе и твоей матери. И ты не вынес самого лёгкого из испытаний, чтобы двинуться дальше.

Тебе надо сейчас расстаться со мной, но не потому, что я сержусь на тебя или недоволен. Но просто потому, что в атмосфере тех вибраций, где живу я, в колебаниях волн той частоты и высоты, где легко дышу я, — ты, с бунтом в душе, жить не сможешь.

Выбрось письма, — они давят тебя. Рука, их писавшая, была во власти зла, под гипнозом сильного, тёмного и лживого существа. Брось брелок, который привесил тебе Браццано. Посмотри, во что превратилась голубая жемчужина, которой ты так любовался.

Генри, до корней волос залитый краской стыда, вынул часы и с трудом, дрожащими руками, отцепил круг из чёрного агата. Он собирался положить брелок на стол, но И. удержал его руку, говоря:

— Не надо пачкать стол этой отвратительной вещью. Посмотри, где же твоя голубая жемчужина? Генри положил брелок на ладонь и вскрикнул:

— Да ведь ещё вчера днём я видел, как она переливалась голубым и алым цветом! А теперь здесь смола, липкая и красная, как капля крови.

— Брось её вместе с письмами в камин, и ты, быть может, кое в чём уредишься, — подавая зажжённую свечу медленно, как бы что-то преодолевая, сказал Ананда.

Генри колебался. Но две пары глаз излучали такую огненную волю, что он бросил письма в камин, туда же брелок и поджёг.

Как только бумага вспыхнула, раздался треск, подобный выстрелу, и всё, что было только что брелком, разлетелось в мельчайшие куски, а потом в порошок. Комнату наполнил смрадный дым. Я закашлялся и с трудом дышал. Генри же, не отрывая глаз, смотрел в камин. На лице его выступили капли пота, он точно видел что-то в огне. А пламя — для двух писем — было несоразмерно велико.

Вдруг он вскрикнул, упал перед Анандой на колени и прошептал: — Какой ужас! О Боже мой, что я наделал? Что меня ждет теперь?

— Ты вернёшься в Венгрию. И уедешь к моему другу, если действительно хочешь заново начать поиски пути к самообладанию и встрече со мною. Не задумывайся о том, что будет в далёком будущем. Ищи сегодня, сейчас силу и любовь решить свой вопрос. Если же не хочешь всего этого, если встреча со мной когда-нибудь тебя не прельщает, — иди своим путём как знаешь и как хочешь. Ты свободен, как был свободен, когда жил со мною. Но если решишься поехать к моему другу, — ты должен отправляться через три часа с отходящим пароходом.

— Жить без вас? Жизни нет для меня там, где нет вас. Но я понял, что виновен, и раздумывать не о чем. Я еду. И слов никаких не даю. Не потому, чтобы я не верил в свои силы. А потому, что я знаю верность вашей любви, знаю, что вы меня позовете, если я буду готов и достоин. Я вымолил, чтобы вы взяли меня с собой. И вы — против воли — меня взяли. Не буду больше просить. Не буду попусту ждать. Я буду действовать и жить, как если бы я жил подле вас.

— Иди, собери вещи, ни с кем ни о чём не разговаривай и вернись сюда. Я сам объяснюсь с князем, дам тебе письмо и провожу тебя, — погладив его по голове, сказал Ананда.

С большим трудом Генри овладел собой, поклонился нам и вышел. Ах, как в эту минуту я любил Генри! Как хотел бы обнять его, попросить прощения за самолюбивые мысли и сказать ему, что всем сердцем понимаю, как тяжела для него эта разлука. Но я не смел прервать молчания своих друзей.

Через некоторое время Ананда встал и позвал нас в свою тайную комнату. Здесь он сел за стол, посадив И. рядом, а я устроился под новым деревцем сирени, которым чьи-то любящие руки заменили моё, отцветшее.

— Много ещё людской скорби увидишь, Левушка, в жизни и немало испытаешь сам, И всякий раз, с каким бы страданием ты ни встретился, будешь видеть, что истоки каждого — в страхе, сомнениях, ревности и зависти, а также в жажде денег и славы. На этих корнях произрастают все другие страсти, в которых гибнут люди. Вторая половина горестей проистекает от слепоты, от мысли, что жизнь есть маленький период от рождения до смерти, глубоко личный и отрезанный от остального мира. И этот главный предрассудок мешает увидеть ясно всю вселенную, понять своё в ней место.

Не считай нас высшими существами, как иногда ты склонен это делать. Когда-то и я, и И. - мы шли так же, как ты идёшь сейчас. В страданиях и плаче раскрывалось наше сердце, в тревогах и муке расширялось сознание.

Твой талант, твои прежние искания высшей духовной жизни, о которых ты сейчас не помнишь, дали тебе возможность и в этой жизни продолжить свой путь совершенствования. Они-то и столкнули тебя с Али и Флорентийцем, с нами и ещё сведут со многими в будущем. Я счастлив, что честь твоя и стойкая верность не поколебались и ещё более приблизили тебя к нам.

Видишь ли, одним из дел, почему я сюда приехал, — были Генри, Анна и Строгановы, запутанные в подлую сеть Браццано когда-то в прошлом и сейчас. Что касается Генри — ты видел и слышал сам. А между тем, он многое уже победил и несколько раз бывал на высоте возложенных на него задач.

У тебя путь иной. Ты одарён сверхсознательными силами, которых не умеешь ещё понять. Интуитивно тебе видны смысл и радость жизни, до которых люди-скептики, экспериментаторы, привыкшие всё ощупывать руками и считать реальным лишь то, что могут нащупать, доходят веками. Им обрести цельность верности так же трудно, как тебе поколебаться в ней. Для них реальность — земля, всё остальное — понятия абстрактные.

И. расскажет тебе, что произошло за это время в доме Строгановых. Ты же укрепишь здоровье в течение десяти дней и будешь потом вместе с нами сражаться за жизнь и свободу Анны, её отца и матери, а также младшего брата, уже гибнущего под давлением Браццано.

Я прошу тебя ещё два дня не видеться с Жанной, которая изводит князя, прося о свидании: но он держится не хуже твоего, хотя и очень страдает, так как — при его доброте — ему слишком тяжело ей отказывать.

Ты не удивляйся, что ещё так долго ждать часа зловещего сражения. Если бы Генри нам не изменил — он помог бы нам очень. Теперь же его роль должен отчасти взять на себя ты. А другую часть его труда выполнит

капитан, Я получил от него сегодня письмо. Он благополучно окончил рейс и через восемь-девять дней будет здесь. Вот его-то мы и подождем.

Ну, будь и дальше столь благополучен на своём духовном пути, мой друг. Добивайся полного бесстрашия. И не забудь, что бесстрашие — это не только отсутствие трусости. Это ещё полная работоспособность, полное спокойствие в атмосфере опасности. Тебе надо так уметь жить, чтобы ты, ощущая руку Флорентийца в своей руке, не знал не только страха, но даже дрожания в нервной системе своего физического проводника.

Ананда проводил нас с И., и его глаза-звёзды долго ещё стояли передо мной.

Мы вышли в город и, медленно шагая по тени, добрались до кондитера с волшебным «Багдадом». Признавшись ему, что ещё ничего не ели, мы попросили нас накормить по своему усмотрению. Он провёл нас на маленький, укрытый в тени балкон и попросил подождать минут пятнадцать-двадцать, но за терпение мы будем с лихвой вознаграждены. И. напомнил, что мы вегетарианцы, и заверил, что согласны ждать хоть полчаса.

Оставшись вдвоём со мной, И. стал рассказывать, что произошло за то время, что я проболел.

Одной из первых новостей для меня был визит Строгановой к Жанне, куда она — втайне от мужа и дочери — привезла Браццано.

— Как несложно было Браццано сделать Жанну своим орудием, так же несложно оказалось ей обворовать Генри и свести его с самим Браццано. Генри поверил, что Строганов ревнует дочь и поэтому не позволяет выйти замуж, что Анна — жертва деспотизма отца и Ананды, и что наибольшие страдальцы в семье — сама мать и её младший сынок.

Когда Генри прощался с Браццано, тот сумел внушить ему, что нужно заманить меня любыми способами. Вместе с тем Браццано, имея полную власть над женой Строганова и её сыном, подготавливает всё для похищения Анны. Браццано боится только Ананды, так как со мной одним он предполагает расправиться при помощи своей клики, пусть даже отправив меня на тот свет, — улыбнулся И. — Но он не знает, что сэр Уоми уже едет к нам. И тебе предстоит приятная встреча с Хавой. Браццано уже забыл, — помолчав, продолжал И., — как ему пришлось уронить свой наговорённый браслет, который он, кстати сказать, украл. А я жалею, что дал ему возможность выпрямиться раньше времени. Я не учел, что он так скоро всё забудет, и не понял сразу, как сильна эта гадина.

Дальше он мне рассказал, как Строганова своими безобразными домашними сценами довела мужа до безумного страха и, наконец,

припадка, едва не стоившего ему жизни.

— Но Анна? — перебил я И., не будучи в силах выдержать более. — Неужели Анна могла сомневаться, выходить ли ей за Браццано?

— Нет, сомнения, тоже едва не унёсшие и её, крылись в другом. Видя кажущуюся инертность Ананды, она решила, что он не знает, как преследует её турок, и просила помочь освободиться от него. Ананда на это ответил, что причина её страданий в ней самой, что ей надо проверить, действительно ли она уверена теперь в правильности того пути целомудрия, который сама — добровольно и вопреки совету Ананды — избрала. Что надо для себя ясно решить вопрос, идёт ли она путём радостной любви, желая найти освобождение. Или она избрала целомудрие только лишь потому, что любимый не может быть ей мужем? Если она идёт путём отречения и отказа, ограничения и отрицания вместо утверждения жизни, где любя побеждают и творят в радости, — она не дойдёт туда, где сможет слиться в труде и творчестве со своим возлюбленным.

Анна, не углубляясь в смысл сказанного Анандой, решила, что её по-настоящему не любят. Впала в сомнения, правильно ли вообще повела она свою жизнь; бунтовала, требовала, ревновала и даже усомнилась в том, кого любила. Ты видел сам финал этой драмы души за роялем, — закончил он.

Нам принесли завтрак, подали кофе. Вновь оставшись одни, мы возобновили разговор.

— Ты видел внешнюю сторону драмы у рояля. Я расскажу тебе то, чего ты видеть не мог. Сомнениями, слезами, ревностью и горечью Анна возмутила ту устойчивую атмосферу чистоты и мира вокруг себя, в которой был бессилён действовать да-Браццано.

Чтобы его злая воля и грязные мысли могли претвориться в действия, было необходимо, чтобы в душе и мыслях Анны возникли щели, в которых можно было бы зацепиться его злу. Её внутренний разлад предоставил Браццано эту возможность. Владея силой привлекать к себе такие же злые токи других людей, он вызвал вокруг неё целую тучу злых сил и мыслей, внушавших Анне, что любимый её — шарлатан, что никакой иной реальной жизни и радости, нежели земная жизнь страстей, не существует, что не ради абстрактных величин живут люди, а для своих близких, плотью с ними связанных. И пока Анна играла первую часть сонаты, горе её доходило до отрицания Бога, его путей, отрицания высоких людей с их недостижимой честью. Она была готова признать фикцией всё, чем жила годы. Здесь-то и пришлось Ананде, предельно сосредоточив внимание и волю, вызвать образ своего дяди — вельможи и доктора, о котором я тебе

говорил.

Ты по личному опыту знаешь, что можешь услышать и увидеть Флорентийца, если сосредоточишь на нём внимание и свою чистую любовь. Но передать другому своё виденье, если он не обладает этой высшей психической силой, задача очень тяжёлая для физического тела человека. Это сделал Ананда для Анны и спас её, вернул ей силы жить и вновь обрести полное равновесие духа. Потом я расскажу тебе о сыне и жене Строганова... Вошёл хозяин, мы горячо поблагодарили его и пошли домой. — Теперь, я думаю, настало время прочесть письмо капитана. А я пойду к Ананде. Я бы очень хотел, чтобы ты не выходил из наших комнат, пока я не вернусь, — сказал мне И., когда мы возвращались.

Я обещал, крепко решив, что никуда не пойду. Я достал письмо и свёрток капитана. Запер все двери и сел на диван. И поймал себя на мысли, что почему-то жду Жанну. Не то, что жду даже, но — как и тогда ночью, когда я был уверен, что придёт Генри, — я был и теперь уверен в появлении Жанны.

Я стал читать письмо моего дорогого капитана. Любовь свою к нему и её настоящую глубину я понял только сейчас, когда стал разбирать его крупный, как будто чёткий, но на самом деле не очень легко разбираемый почерк.

"Левушка, — храбрец-весельчак, — т. е. до чего я огорчён, что должен уехать, оставляя Вас не то живым, не то мёртвым.

Некоторую долю спокойствия я, конечно, увожу в сердце, потому что оба Ваших друга сказали мне, что Вы будете жить. Но все эти дни мне так не хватало Вас, Вашего заливистого смеха и мальчишеских каверз.

В Константинополе я пережил целых три этапа жизни. Сначала я всё похоронил. Потом я ожил и увидел, что многое уже ушло, но жизнь ещё не потеряна.

Теперь во мне точно звенит какая-то радость. Как будто я обрёл новое спокойствие: не один только мозг воспринимает день и сопутствующие ему страсти и желания, а на каждое восприятие мозга отвечает сердце; пробуждается доброжелательство ко всякому человеку, а страсти и желания молчат, не имея прежнего самодовлеющего значения. Это для меня так же ново, как нова и непонятна моя, человека холодного и равнодушного, привязанность к Вам. Я думаю, что Вы меня поразили в самое слабое моё место Вашей дикой храбростью. (Простите, но иного названия я ей не нахожу.)

Я с детства носился с идеей неустрашимой храбрости. Бесстрашие было моим стимулом жить, И вдруг я встретил мальчишку, который меня

так запросто переплюнул, вроде бы как съел солёный огурец!

По логике вещей я бы должен был завидовать Вам и Вас ненавидеть. А вместо этого я прошу Вас принять от меня маленький привет в знак моей всегдашней памяти и любви, преданной дружбы и желания жить вблизи от Вас. Ваш капитан".

Я был тронут письмом и его — незаслуженными мною — лаской и приветом. Растеребив изящно и хитро увязанный пакет, я, наконец, вынул кожаный футляр, открыл его и вскочил от неожиданности.

Точная копия кольца, которое подал я Ананде от капитана, только с буквой «Л» и с камнями зелёного цвета, лежала на белом атласе футляра.

Я вынул его. По бокам и сзади — вместо фиалок на кольце Ананды — были вделаны очаровательные лилии из изумрудов и бриллиантов. На дне футляра лежала записка.

"Анна сказала мне, что Ваши камни — изумруд и бриллиант; а цветок ваш — лилия. Так я и поступил. Угодил ли?" — прочел я написанное размашистым почерком.

Я был и очень рад, и очень смущён. Я вспомнил, как сказал ему: "Вот такого — никто мне не подарит", — когда мы сидели на диване в комнате Ананды и вместе любовались его кольцом.

Всё ещё сидел я над кольцом, уйдя в размышления о том, где теперь капитан, что он делает, кто подле него и как я буду рад его видеть снова, как вдруг услышал какую-то возню в комнате рядом, похожую на ссору, и голос князя, который я даже с трудом узнал. Обычно он говорил тихо, я и не представлял себе, что он может разговаривать так возмущенно, громким, высоким голосом.

— Две недели подряд вам говорю, что он болен, что его нельзя беспокоить, потому что это может вызвать ещё один рецидив болезни, — и тогда уже ему не будет спасения, — кричал князь, несомненно с кем-то борясь. — А вы, каждый раз повторяя, что обожаете его, лезете с какими-то письмами, с какими-то поручениями, от которых меня издали тошнит. Как вы можете быть игрушкой этого негодяя? — услышал я французскую его речь задыхающимся голосом.

— Вы бессердечный! Это вы зловещий человек! Вы уморили свою жену, как рассказала мне мадам Строганова. Теперь участвуете в заговоре, чтобы уморить Левушку, — кричала вне себя Жанна, голосом визгливым и вульгарным.

— Если бы я не видел вас прежде, до знакомства с этим злодеем, если бы вас не представили люди, которым я обязан не только жизнью моей бедной жены, но и своей жизнью, — я бы не задумываясь выбросил вас

сейчас же вон, чтобы никогда больше не видеть вашего бессмысленного лица в моём доме. Но я думаю, что вы сошли с ума! Что вы одержимы злой волей, — и только потому я говорю вам: извольте уйти отсюда сами; вы не увидите Левушку, разве только если у вас под пелериной нож и вы решитесь меня зарезать. Несколько минут прошло в молчании. — Боже мой, Боже мой! Что они со мной сделают, — услышал я снова голос Жанны, молящий, плачущий. — Ну поймите, поймите, — я должна отдать Левушке этот браслет и это письмо. Для Анны. Он должен сам надеть ей браслет, потому что я не могу, не имею сил подойти к ней. Ну поймите, — не могу, да и только! Лишь я беру браслет и подхожу к Анне, — что-то меня не пускает. Нет препятствий, а подойти не могу! А Левушка может. Поймите, если я не передам ему поручения — лучше мне и домой не возвращаться. Ну вот я на коленях перед вами, пожалейте меня, моих детей, — рыдала Жанна за дверью.

Моё сердце разрывалось. Но я понимал, что должен в полном самообладании звать Флорентийца. Я сосредоточил на нём все свои силы и — точно молния — мне ударил в уши ответ: "Зови сейчас же, сию минуту Ананду".

Я ещё раз сосредоточил всё своё внимание, почти изнемогая от напряжения, и услышал как бы издали голос Ананды: «Иду». Я мгновенно успокоился, как-то утих внутри. И тут же совершенно ясно осознал степень безумия Жанны. Поняв вдруг, что у неё есть нож, что она ранит князя, я бросился к двери, но уже другая сильная рука держала руку несчастной, в которой сверкало лезвие тонкого и узкого, длинного ножа... Ананда встряхнул руку Жанны, нож выпал. — Не прикасайтесь, — крикнул Ананда князю, собиравшемуся поднять нож. — Левушка, закрой дверь этой комнаты на ключ, чтобы сюда никто не вошёл от князя, — обратился он ко мне. — Ну а вы, бедняжка, — по-французски сказал он Жанне, — положите рядом с ножом ваш дрянной браслет.

Жанна как сомнамбула, ни на кого не глядя, положила футляр рядом с ножом на пол.

— Протрите руки, шею, лицо вот этим тампоном, — снова сказал он ей, подавая куски ваты, смоченной жидкостью из флакона, который вынул из кармана.

По виду флакон напомнил мне тот чудной пузырьёк, где находилась жидкость, которой смазал меня перед пиром у Али мой брат и я стал чёрным. Я перепугался, что, вдобавок ко всему, бедная Жанна превратится в Хаву.

К счастью, этого не случилось, и я с облегчением вздохнул, видя, что

Жанна не чернела, хотя усердно тёрла лицо, шею, руки. Исполнив это, Жанна постояла с минуту в раздумье. Она осмотрела всех нас с удивлением и сказала слабым голосом, точно никого не узнавая:

— Где я? Почему я здесь? Неужели это пароход? О капитан, капитан, не выбрасывайте меня, — вдруг сказала она Ананде. Она снова помолчала, потёрла лоб обеими руками. — Нет, нет, вы не капитан, это не пароход. Но тогда где же я? Ох, голова моя, голова! Сейчас лопнет, — в каком-то бреду тихо говорила Жанна.

Ананда взял её за руку, князь пододвинул ей кресло и, покачивая головой, усадил в него.

— Я так и думал, что она сошла с ума, — сказал он. — Признаться, она и меня едва не потянула за собой. Я еле выдерживал её истерики последних дней.

— Левушка,пусти И., он у двери, — сказал мне Ананда. Я не услышал стука за суетой в комнате, подбежал к двери и впустил И.

Ананда отошёл от кресла, указал И. на Жанну, и тот, подойдя к ней, положил ей руку на голову, — Узнаёте ли вы меня, Жанна? — спросил он, — Господин старший доктор, как же могу я не узнать вас? — ответила тихо и совершенно спокойно Жанна. — Зачем вы сюда пришли, Жанна?

— Я сюда пришла? Вы ошибаетесь, я сюда не приходила и этого дома я даже не знаю, — снова тихо отвечала Жанна. — И я очень хочу к себе. И. отнял свою руку.

— Ах, нет, нет, я не хочу домой, там ждет меня что-то ужасное... Хотя ведь там мои дети. Боже мой, что всё это значит? Больно, больно в сердце, — вдруг громко закричала она. Ананда быстро подошёл к ней и взял обе её руки. — Посмотрите на меня, Жанна. Знакома ли вам вот эта вещь? — Он подал ей обычный восточный кошелёк, шитый бисером.

— Да, это дала мне вчера мадам Строганова. Она сказала, что это подарок Браццано её младшему сыну; но оттуда выпало несколько бисеринок, от чего расстроился рисунок. И что такие бисерины есть только у Анны; что нужно взять их в её рабочей шкатулке и поправить рисунок. А я не могу их взять; не знаю почему, а не могу. — Её голос перешёл почти на шёпот.

И. подвёл меня к Жанне, которая или не видела, или не узнавала меня до сих пор.

— Левушка, Левушка, ах как вы мне нужны! Я вас, кажется, уже год ищу. Хотела вам что-то очень важное сказать, а сейчас всё забыла. Где вы были всё это время? Вот здесь... — Она стала искать у себя в кармане пелерины. — Нет, я больна, Левушка, — сказала Жанна ничего не найдя в

кармане и опустив руку.

И. поднял безжизненно упавшую руку Жанны и с помощью князя перевёл несчастную женщину в свою комнату. Здесь он ещё раз отёр ей лицо и руки и подал стакан с водой, куда налил чего-то. Жанна жадно выпила; на её безжизненном и бессмысленном до сих пор лице появился румянец. Через минуту перед нами сидела прежняя Жанна, Жанна самых лучших и чистых минут своей жизни.

— Теперь вам надо вспомнить, как вы жили эти последние дни, Жанна, и рассказать нам, что было с вами. Мы хотим помочь, но для этого надо, чтобы вы всё вспомнили сами, — обратился к ней И.

— О, наконец я дышу спокойно, я вижу вас и Левушку живыми. Если бы я хотела рассказать вам, что со мной было, то могла бы сказать только одно: я была как мёртвая, — сейчас я воскресла. Меня давила какая-то мысль, будто я должна сделать что-то, похожее на преступление... Да, да, вспомнила, Браццано велел мне добиться через Левушку, чтобы на руке Анны был его браслет; что он только тогда может быть спокоен, что она выйдет за него замуж. Теперь я вспомнила всё. Он привёл меня сюда, велел идти к Левушке, и хоть убить кого-нибудь, а пройти к нему и передать этот ужасный браслет. Знаете ли, он точно жжёт руки, когда его держишь, этот браслет.

Она замолчала, потёрла лоб, обвела нас всех взглядом и спросила:

— Я не сделала ничего ужасного?

— Нет, всё хорошо. Забудьте теперь обо всём этом и ничего не бойтесь. Мы проводим вас домой, — сказал ей Ананда.

— Как страшно! Там будет ждать Браццано. Он меня убьёт, — прошептала Жанна, сжимаясь в комочек.

— Не бойтесь ничего. Сейчас мы пойдём встречать одного нашего друга. С ним приедет его секретарь, женщина. Она негритянка. Для нашего друга у нас есть помещение, но её нам поместить некуда. Не дадите ли вы ей приют на эту ночь? В отеле она слишком привлечёт к себе внимание, чего бы нам не хотелось, — сказал Жанне Ананда. — Ах как я буду рада! Я так боюсь одна теперь. — Если разрешите, я проведу ночь в вашем магазине, внизу, и тогда вам совсем не будет страшно, — подавая Жанне накидку, сказал И.

— Надо спешить. Князь, мы вас эксплуатируем. Но я только час назад узнал, что именно сегодня должен встретить того мудреца из Б., о котором вам говорил, — пожимая князю руку, сказал Ананда. — Разрешите мне занять комнату капитана, а ему я уступлю свои.

— Зачем же? Хватит комнат в доме, — протестовал было князь, но

Ананда настоял на своём.

Мы простились с нашим милым хозяином и поспешили к пароходу.

Жанна шла между И. и Анандой, а И. держал меня под руку. Я так одурел от всех происшествий дня, что стал "Левушкой-лови ворон".

Когда мы завернули за угол пустынной улицы, то увидели что навстречу идёт Браццано, нагло глядя на нас. Его адская физиономия выражала крайнее раздражение.

Но не сделав и трёх шагов, он вдруг согнулся чуть не пополам, свернул на мостовую и стал переходить улицу. — Идите, — сказал нам Ананда. — Я сейчас вас догоню. В один миг он был подле турка, и каждое слово, произнесённое его металлическим голосом, долетало до нас:

— Ещё есть время одуматься. Доползи сгорбленным до дома и три дня не имей сил разогнуться. Обдумай, во что вступаешь. Обдумай, кого вызываешь на бой. Ещё есть время, ещё можешь всё искупить. Сиди без языка и движений и думай. Опомнись или пеняй на себя за всё, что последует. В последний раз милосердие дарит тебе зов и возможность исправиться.

Ананда догнал нас, оставил И. с Жанной, ласково обнял меня и сказал:

— Мужайся, мой дорогой. Так много испытаний упало на тебя сразу. Боишься ли ты? — спросил он меня.

— Месяц назад меня перепугала Хава. Но турка я не испугался и вообще ничего в вашем присутствии не боюсь. Я только молю Флорентийца помочь мне в страшные минуты — если они будут, — привести мой организм в полное спокойствие, быть работоспособным.

— Bravo, друг, — рассмеялся Ананда. — Ты мне напомнил рассказ капитана, пораженного твоим весёлым смехом в самый ужасный момент бури. Теперь и мне стало весело от твоей храбрости.

Я не успел ничего ответить. Через несколько минут мы уже стояли перед сэром Уоми и Хавой, шедшими нам навстречу с пристани.

После первых радостных приветствий мы усадили Хаву, Жанну и И. в экипаж. Слуга сэра Уоми, нёсший за ним два больших чемодана, положил один из них в экипаж, и кучер натянул вожжи.

Сейчас сэр Уоми показался мне несколько иным. В лёгком сером костюме, в белой шляпе на тёмных вьющихся волосах, с тростью какой-то особенной формы, он легко шёл рядом с державшим меня под руку Анандой. Он отказался от экипажа, сказав, что с большим удовольствием пройдёт с нами пешком. Но прежде он обернулся к своему слуге и спросил, не тяжело ли тому будет нести вещи. Слуга улыбнулся и, положив, как игрушку, чемодан на плечо, ответил, что и десять вёрст прошагать с

такой поклажей сущий пустяк.

Встречать нас вышел князь. Против обыкновения лицо его было расстроено, хотя приветствовал он сэра Уоми с большой радостью, даже восторгом, так ему свойственным.

Мы пропустили сэра Уоми и Ананду вперёд. Не стовариваясь с князем, мы оба поняли, что хотим что-то сказать друг другу.

— Князь, — шепнул я ему, — к обеду надо непременно дыню. Восточный мудрец без дыни немыслим, — повторил я слова кондитера, вдруг уверовав в них как в несомненную истину.

— Ах ты Господи, я совершенно об этом забыл! Сейчас побегу распорядиться, — засуетился князь. — Но, Левушка, это поправить легко. А вот вещи те проклятые всё лежат в комнате до сих пор. Я ношу ключ в кармане, чтобы никто туда не вошёл. Ананда трогать не велел, и я боюсь его послушаться.

Мы стояли перед крыльцом Ананды и, должно быть, имели вид заговорщиков, потому что услышали его весёлый смех: — О чём вы так таинственно шепчетесь, друзья? — О том, что лежит на полу, — ответил я.

Лицо Ананды стало серьёзно, он бросил нам: «Подождите» и вернулся к сэру Уоми. Прошло, вероятно, минут десять. Князь успел распорядиться насчёт дыни и вернуться назад, раньше чем на крыльце показались оба наших друга.

— Не волнуйтесь, князь. Конечно, всё это очень неприятно, но страшного для вас и вашего дома здесь нет ничего. Вот я вижу у стены стоит лопата. Возьмите её с собой, она нам пригодится, — сказал сэр Уоми князю.

Князь очень удивился, но не сказал ничего и взял лопату. Через несколько минут мы были в комнате и остановились возле сверкавшего на полу розового браслета и узкого ножа. Сэр Уоми, взяв у князя лопату, подобрал на неё обе вещи, достал из кармана коробочку вроде табакерки и высыпал из неё какой-то жёлтый порошок, густо покрывший браслет и нож.

— Отойдите, Левушка, станьте за моей спиной, — сказал мне сэр Уоми. — А вы, князь, спрячьтесь за Анандой.

Когда мы исполнили его приказание, он поднёс спичку к лопате и отодвинулся.

Порошок ярко вспыхнул, вскоре послышались шипение и треск, а потом, точно разбитое стекло, с каким-то стоном разлетелся вдребезги нож. Дым и смрад разошлись по всей комнате, и Ананда во всю ширь распахнул дверь на балкон.

— Вот и всё. Теперь эти вещи ни для кого больше не опасны, Бедный Браццано решил, что он колдун и владеет тайнами средневековья, обладающими несокрушимой силой. И, как всегда, при встрече с истинным знанием все злые тайны, не представляющие ничего другого, кроме гипноза той или иной силы, разлетаются в прах, — задумчиво обводя нас своими фиолетовыми глазами, говорил сэр Уоми.

— Теперь, Левушка, вы можете взять браслет, он абсолютно безвреден, а по красоте это вещь изумительная. — Сэр Уоми засмеялся и с неподражаемым юмором продолжал: — Можете хоть Анне надеть его на её прекрасную руку. Надо только протереть, он закоптился. Возьмите вот этот флакон и протрите камни.

Он подал мне небольшой флакон, я смочил носовой платок и протёр браслет. Больше такой вещи я уже никогда не видел. Вероятно, Браццано ограбил какую-нибудь гробницу египетских фараонов. Думаю, что в коронах европейских королей не было ни подобных камней, ни оправы.

Я собрал жалкие остатки искривленной, ставшей совсем чёрной стали на лопату и выбросил с балкона в сад, а браслет подал сэру Уоми.

— Нет, дружок, эта вещь предназначалась для передачи через вас. Снесите её в вашу комнату, умойте руки, и не станем задерживать нашего милого хозяина, — ласково сказал мне сэр Уоми. — А какова будет судьба браслета — увидим дальше, — усмехаясь, прибавил он.

Быстро прошёл я к себе, спрятал, не без отвращения, браслет, доставивший страдания и заботы стольким людям, умылся и присоединился ко всему обществу, вышедшему на балкон. Я застал уже конец разговора. Сэр Уоми говорил: — Все эти так называемые тёмные силы — не что иное, как невежественность. Люди, стремящиеся подсмотреть силы природы, при известном напоре одной воли — отыскивают их. Обычно это люди, одарённые более развитыми, чем у других, психическими силами. Но так как их цель — знание, служащее только их собственным страстям и обогащению в ущерб общему благу — они отгораживаются в отдельные группы, называя себя разными умными именами. Компаньонов они подбирают непременно с большой и упорной волей, обладающих силой гипноза.

Это очень длинная история, о ней в двух словах не расскажешь. Тянется она от древнейших времён, и таких источников лжи и лицемерия, слывущих колдунами, алхимиками, провидцами и т. д., очень много.

Возьмём наш случай. Почему скрючился и лопнул нож? Потому что так называемый «наговор» на нём был сделан на смерть упорством воли. То есть, если бы человек, которому он был дан, встретил препятствие к

выполнению внушенного ему приказания, — он убил бы всякого, ему мешавшего. Браслет же нёс в себе и другой наговор и имел целью привлечь любовь той, чью руку он должен был украсить.

Та сила знания, где не упорством воли, а любя побеждают, скромная часть которого известна мне, — помогла мне в одно мгновение победить и уничтожить все труды злой воли невежды, истратившего на свои заклятия годы жизни и считавшего чёрную магию вершиной знания.

Слуга пришёл пригласить нас к обеду. Обед сэра Уоми состоял из молока, хлеба с мёдом и фруктов. Я нетерпеливо ждал, будет ли он есть дыню, боясь осрамиться перед князем. Он съел кусок, лукаво поглядел на меня своими беспредельной доброты и ласки глазами. Я обмер; мне показалось, что он раскрыл мою черепную коробку и читал всё, что я думал, и знал, как я боялся, что он вдруг не прикоснётся к дыне.

— Кстати, Ананда, Хаву вы с И. у меня похитили и пристроили по своему усмотрению. Я остался на бобах, без секретаря, хотя мог бы быть спрошен, желаю ли этого, — весело смеялся сэр Уоми. И смех его напомнил мне звон серебряных, гармонично подобранных колокольчиков. — Теперь я хочу — без спроса у вас — похитить во временные секретари вашего юного литератора.

— О, как бы я был счастлив, если бы мог удостоиться такой чести, — в полном восторге воскликнул я.

— Сэр Уоми, я виноват перед вами. Но ведь это только на одну сегодняшнюю ночь, — сказал Ананда. — И если вам сейчас нужен секретарь, я готов служить вам. Сэр Уоми покачал головой и тихо сказал:

— Хаве придется прожить там намного дольше. Вы с И. будете очень заняты. А мальчик пусть останется при мне. Сегодня мне никто не нужен. А завтра, Левушка, если тебе не кажется страшным заделаться секретарём такого сердитого хозяина, приходи в девять часов ко мне и будешь работать часов до трёх-четырёх.

Сэр Уоми встал, поблагодарил князя и сказал, что в пять часов они все вместе зайдут осмотреть его больную жену. С самим же князем побеседует завтра вечером у себя.

Я был на десятом небе. Всё пело у меня внутри. Мы проводили сэра Уоми в его комнату и вернулись к себе. Ананда устроился в комнате капитана. Я не мог удержаться, бросился ему на шею и попросил:

— Ананда, миленький, хороший Ананда, помогите мне не осрамиться завтра у сэра Уоми. В чём заключаются обязанности его секретаря?

Ананда обнял меня за плечи, рассмеялся своим металлическим смехом и, поддразнивая, сказал:

— Вот если бы ты не боялся Хавы, ты бы мог у неё об этом спросить.

— Ну что вы, я уже давно с ней подружился! Это уже история из моего детства. Ананда снова весело засмеялся.

— Пойдите, — сказал я, вслушиваясь в его смех. — Как странно. Вы сейчас смеялись, а я почувствовал, что мысли ваши совсем не здесь, а в чём-то далёком, печальном и даже воинственном. Сэр Уоми смеялся, — и я точно серебряные колокольчики слышал. Хотя тоже знал, что мысли его далеко. Но... Как бы это выразить? — замешкался я, подыскивая образ для своей мысли. — Понимаете ли, мысль сэра Уоми была какая-то всеобъемлющая. Она была и где-то там, но одновременно жила здесь. А ваша — жила где-то далеко, а здесь только скользила.

— Да ты, Левушка, действительно любишь загадывать загадки, — улыбаясь и пристально глядя мне в глаза, сказал Ананда. — Ты совершенно отрезвил меня, мальчик. Моя мысль действительно раздвоилась. Но то, что ты подметил и что составляло различие меж нами, не было моей рассеянностью. А тяжким порывом личного горя, причинённого мне одной душой, в твёрдости и верности которой я ошибся. Конечно, я сам виновен, потому что видел то, что мне хотелось видеть, а совсем не то, что носил человек в сердце. И дважды виноват, что воспринял это как личную печаль. А сэр Уоми не может ничего воспринять лично. Его любовь проникает в человека, подымая его и облегчая ему жизнь во всех её проявлениях.

Ты отрезвил меня и... ты же порадовал вчера с Генри, сегодня с Жанной. Ты много выстрадал, но зато ты далеко шагнул. И сколько бы ни продвигался вперёд человек, через какие тяжкие страдания он бы ни шёл к знанию, если он честен и верен до конца, если компромисс не соблазнит его, — он достигает счастья жить легко, радостно. Живи легко и дай себе слово никогда не плакать. — Ананда обнял меня, и мы разошлись по своим комнатам.

Впервые после отъезда из Москвы я расстался сегодня с И. И имел случай в одиночестве подумать обо всём, чем я обязан этому человеку. Я был полон благодарности и нежной любви. Мне так не хватало сейчас моего снисходительного друга и наставника; и было горько, что я ничем не могу быть ему полезен теперь и не увижу его, проснувшись завтра утром. Решив, что после занятий с сэром Уоми я попрошу разрешения сбегать к И., я лег спать счастливый и радостный. Как бы ни был тяжёл этот день, а жил я сейчас поистине «легко».

Ровно в девять часов следующего утра я стучал в двери сэра Уоми.

— Ты точен, друг, — встретил он меня, сам отворяя мне дверь.

Меня удивило, что в комнате ничего не изменилось, точно здесь

продолжал жить Ананда, у которого неизменно царил образцовый порядок. И сейчас тоже не было заметно никаких следов завтрака, нигде ни пылинки, — только на письменном столе лежало несколько писем, какая-то тетрадь и ещё не обсохшее от чернил перо. Видно было, что сэр Уоми уже давно работал.

Я провёл параллель между нашими комнатами и со стыдом вспомнил, как я сейчас спешил, какой кавардак оставил после себя и как бежал бегом, проглатывая последний кусок у самой двери.

Я дал себе слово и в этом отношении быть достойным своего хозяина. В первый же раз, когда И. нет со мной, я оставил в комнате такой хаос! Мне стало очень, до тошноты, неприятно.

Должно быть, моё лицо отразило моё состояние, потому что сэр Уоми, лукаво улыбаясь, спросил, не страшит ли меня перспектива работать с ним.

— Как могли вы подумать такое, сэр Уоми? — даже привскочил я с кресла, в которое он меня усадил. — Я просто — едва вошёл — увидел в себе ещё одну черту, вдобавок к другим, которые делают меня недостойным счастья служить вам секретарём. Но бояться вас? От вас так и льются потоки любви. Я мог бы бояться Али и его прожигающих насквозь глаз. Но в свете ваших глаз можно только тонуть в блаженстве.

Сэр Уоми рассмеялся, и мне снова почудились звенящие колокольчики.

— Зима, тройки... малиновый звон... — невольно вырвалось у меня.

— Что ты там бормочешь, друг? Тут растаять можно от жары и пыли, а ты бредишь зимой?

— Видите ли, сэр Уоми, я совсем ошалел от всех встреч и переживаний, которые на меня свалились в последнее время. Я никогда не подозревал, что на свете могут жить такие люди, как Али, Флорентиец, вы, наконец И. и Ананда. Да, впрочем, я не думал, что существуют на свете такие, как Анна или Наль.

Я слушал, что говорили эти замечательные люди, и часто их не понимал. Вернее, моя мысль не поспевала за ними; а слова падали куда-то в глубину и оставались там лежать до времени.

Я знаю, что очень неясно выражаюсь. Но я веду к тому, что больше всего мне говорят о человеке тон его голоса и смех. Они точно камертон ведут меня прямоком — минуя всякую умственную логическую связь — к пониманию чего-то очень сокровенного в человеке.

Ананда говорит и смеется голосом самым очаровательным. Вряд ли можно найти ещё один подобный голос, звучащий таким металлом. Раз его услышав — забыть нельзя. Но в сердце моём — вот в том месте, где происходит понимание вещей помимо мысли — я знаю, что в любую

минуту его голос способен загреметь гневом, как небесный и страшный гром, от которого всё вокруг может развалиться.

И глаза его — звёзды небесные. А засмеется он — я слышу в его смехе звенящие мечи. А вы говорите — журчат весенние ручьи. Так радостно становится, жить хочется! А засмеетесь — дух захватит, точно на тройке катишь, под звон волшебных колокольчиков.

— Ну и секретарь! Если бы я не знал твоего брата, я бы сказал, что твой воспитатель научил тебя говорить отличные комплименты! Но вот погоди; в тот день, когда мы будем сражаться с Браццано — а это будет посложнее, чем справиться с его кинжалом и браслетом, — внезапно, вслед за только что отзвучавшим смехом, серьёзно сказал сэр Уоми, — ты увидишь меня, по всей вероятности, иным. Тогда и решишь всё о моих ручьях и колокольчиках.

— Думаю, что если мне суждено увидеть вас грозным и гневным, — то это всё же будут раскаты колоколов, зовущих к тому, чтобы грешные опомнились, — представляя себе сэра Уоми другим, сказал я с огорчением. И снова сэр Уоми рассмеялся.

— Ну хорошо, это ещё когда будет, и тосковать тебе о благовесте моих колоколов рано. Напусти-ка лучше в нашу атмосферу своей зимы и начнём работать.

И он начал диктовать мне письмо по-английски, которое я должен был писать по-французски. Этот язык я знал хорошо и затруднений не испытывал.

Так же справился я с итальянским и русским; но когда дело дошло до немецкого — я спотыкался поминутно, даже в пот меня бросило. Сэр Уоми засмеялся.

— Что, Левушка, зима уступила место константинопольскому лету? Ничего, через несколько дней практики всё наладится.

Он ласково помог мне в нескольких местах. Но я твёрдо решил упросить И. говорить со мной только по-немецки и помочь одолеть этот, никогда не нравившийся мне, язык.

Я и не заметил, как пролетело время, раздался лёгкий стук в дверь и в комнату вошёл Ананда.

— А, здравствуй, "звон мечей"! — смеясь, встретил его сэр Уоми, вставая и протягивая ему обе руки.

Ананда с удивлением взглянул на него, побледнел, вздохнул и поднёс руки сэра Уоми к своим губам одну за другой.

— Не смущайся, Ананда, — обнимая его и ласково ему улыбаясь, сказал сэр Уоми. — Этот мальчик старался мне объяснить, что в твоём

смехе ему слышится звон мечей. Ну, а я — по его понятию — весна с ароматами и зима вместе. Он только о Хаве умолчал. Но уж я сам решил выпытать, что ему чудится в смехе Хавы и И.

Голос сэра Уоми был добрым и ласковым. Я стоял совершенно красный, как-то сразу устал и ответил, что смеха Хавы не помню, И. почти никогда не смеется иначе, чем это делают шаловливые дети; а вот если чей-нибудь смех и кажется мне загадочным, то это смех Анны. Всё это я говорил быстро и бестолково и закончил неожиданно для всех:

— Сэр Уоми, у меня к вам огромная просьба. Разрешите мне хоть на час сбегать к И. Помимо того, что я стосковался, я тревожусь, не надо ли ему чего-нибудь. Он ведь там уже так долго, — молил я сэра Уоми в жажде скорей увидеть И.

— Нет, дружок. Один туда не ходи. Мы пойдём, вернее поедем, в магазин в коляске князя. Но предварительно позавтракаем. Беги умывайся, переоденься так, чтобы сразу после завтрака выехать из дома, и приходи в столовую, где уж наверняка будем оспаривать с тобой право на дыню.

Я вышел, засмеялся, подпрыгнул от удовольствия, унося в душе неподражаемый юмор, светившийся в глазах сэра Уоми. Станным показалось мне, что столько времени прожил я здесь, а не знал, что у князя есть свой выезд.

После завтрака, за которым я то и дело превращался в "Лёвушку-лови ворон", сэр Уоми встал и велел мне захватить браслет.

— Заверни его в этот футляр. — И он подал мне шёлковый платок тёмно-синего цвета, по краям которого шли мелкие белые цветочки, очень красивые, похожие на маргаритки, а в середине был вышит шёлком белый павлин с чудесным распущенным хвостом в обрамлении голубых крупных колокольчиков.

Я исполнил приказание, положил завернутый в платок браслет в карман и сел рядом с сэром Уоми в коляску, под белый балдахин. Ананда пошёл по какому-то делу, с тем, чтобы через час прийти прямо в магазин.

По случаю праздника в магазине стояла полная тишина. Дверь нам открыла Хава, сказав, что Жанна со вчерашнего вечера не может подняться от сильнейшей головной боли, и что И. провёл подле неё тревожную ночь.

Сэр Уоми молча кивнул головой, велел мне оставаться внизу с Хавой, а сам прошёл наверх.

Хава теперь уже не пугала меня своей чернотой, хотя от лёгкого персикового цвета платья казалась ещё более чёрной.

— Вы очень изменились, Левушка. У вас такой вид, точно вы выросли и окончили по крайней мере два университета, — улыбнулась она мне,

усаживая меня в уголке в кресло и показывая все свои дивные мелкие зубы.

— Ах, Хава! Как бы я хотел никогда не кончать многих из тех университетов, через которые сейчас прохожу. Я живу такой дивной жизнью. Я так очарован теми, кто сейчас рядом со мной. С одной стороны, я живу надеждой снова встретить Флорентийца; а с другой — готов плакать при мысли, что придёт пора, и мне надо будет расстаться со всеми теми, кто теперь с таким милосердием переносит моё присутствие. И никто из них ни разу не показал мне, что утомлён или раздражён, хотя я ежесекундно сознаю, как высоко превосходят они меня.

— Все, Левушка, проходят свой путь, начиная с самых низших ступеней. Человек сам несёт в себе все те осложнения, которые потом непременно его донимают. А каждый тем не менее думает, что беды приходят к нему извне, — тихо сказала Хава.

Вам горько, что когда-то и с кем-то придётся расставаться. Но ведь каждый из нас рождается и так же неизбежно умрёт. И драма людей в том, что они никак не могут приготовить себя к разлуке с любимыми. Если бы мать понимала, что дети её — это только отданные ей на хранение, на временное хранение, сокровища — она бы, видя в них божий дар, который ей должно вернуть усовершенствованным, отшлифованным, не себя бы искала в детях, а видела в них ту силу высшей, единой любви, которая творит во всей вселенной. И, единясь с ним в этой любви, она поняла бы, что жизнь не только не кончается со смертью, но что уходящее её дитя больше не нуждается в земной форме и уходит в иную, более совершенную жизнь.

Так же и вы. Если вы поставили себе задачу помочь брату, и эта конечная цель сияет перед вами, — не всё ли равно, в каких формах и на какой земле будет идти ваша жизнь до тех пор, пока вы приобретёте полное самообладание и пока не расширится ваше сознание настолько, чтобы вы могли понимать без слов ход мыслей людей, успокаивать их порывы и одухотворять их творческие силы. Только достигнув этого состояния, вы можете встать на одну ступень с братом и стать ему действительно помощью.

— Я многое понял сейчас, что прежде мне казалось бредом моей души, Хава. Но есть ещё много такого, чего я не понимаю и очень боюсь спрашивать.

— Лучше всего, Левушка, не спрашивайте ни о чём. Люди, окружающие вас, так высоки, что всё, что вам необходимо знать, они скажут сами. И не подвергнут вас ни одному испытанию, которого вы не в силах перенести.

— Не знаю, Хава, может, оно и так. Но... Генри, бедный Генри не смог

выдержать.

— Нет, не Генри в этом виновен. Генри выпросил, вымолил у Ананды, чтобы он взял его сюда. А сэр Уоми предупреждал, что надо в этой просьбе отказать. Ананда не поверил мудрости сэра Уоми, а уступил мольбе и клятвам мальчика по своей божественной доброте — и теперь принял на себя удар и должен отвечать за измену Генри.

— О Хава, благодарю вас тысячу раз за всё, что вы мне сказали. Я никогда не буду просить моих друзей ни о чём. Да, впрочем, если бы вы только знали, как я невежествен. Неудивительно, что я сознаю своё место и не стремлюсь куда-то вылезать.

— Чем выше и скромнее человек, тем он лучше понимает величие другого и тем скорее может вступить на свой путь. Но вот идут наши друзья, — вставая навстречу сэру Уоми и И., сказала Хава.

Я был поражен, каким усталым выглядел И. — О Лоллион, я готов год караулить ваш сон, только пойдёте скорее домой, — бросился я к своему другу, совсем расстроенный. И., всегда свежий, юный, — сейчас выглядел так, точно прожил за одну ночь двадцать лет.

— Не тревожся, Левушка. Сейчас нам Хава даст кофе, и я снова буду свеж и силен. Я просто долго сидел в одном положении, меняя компрессы, и несколько устал.

Высказав ему огорчение по поводу того, что я не смог разделить его труд, я усадил его на своё удобное место, подал ему кофе и всё шептал:

— Ведь вы умеете спать сидя, с открытыми глазами. Я вас прикрою; никто не увидит; ну хоть часочек поспите. Я с места не сдвинусь.

И. засмеялся так заразительно, что сэр Уоми поинтересовался, не хочет ли тот отнять у него привилегию колокольного смеха, и тут же пересказал ему наш разговор.

В это время вошел Ананда, ведя с собой Анну. Когда она выпросталась из своего неизменного плаща, я снова восхитился поразительной ее красотой. Каждый раз, когда я видел ее, она казалась мне все прекраснее. Вся в белом, какая-то трепетная, обновленная, точно очищенная — даже дух занимало от этой красоты, от этих бездонных глаз, от этой гармонии всех форм и линий.

"Поистине она арфа Бога", — подумал я, вспомнив ее игру. Но мысли мои были прерваны поступком Анны, таким странным, таким несовместимым с ее царственной красотой.

Анна опустилась на колени перед сэром Уоми, прильнула к его рукам и зарыдала горько, что-то говоря ему среди рыданий и опускаясь всё ниже к его стопам.

Сердце мое разрывалось. Я так был поражен, что не мог двинуться с места. Я ожидал радости, счастливого смеха, ждал, что и она будет спокойна и счастлива вблизи этого полного любви человека, который всех делал счастливыми вокруг себя.

— Встань, Анна, — услышал я голос сэра Уоми. — Теперь уже нет выбора. Надо идти до конца. Я предупреждал тебя ещё раз, год назад. Я дал тебе вполне определённую задачу. Ты медлила, тянула, — о чем же теперь плакать? Что ты заставила всех все бросить и приехать спасать твою заблудшую во тьме семью? А ведь могла, без напряжения, всё сделать давно сама, если бы послушалась и исполнила то, что говорили мы тебе с Анандой.

Голос сэра Уоми звучал необычно. Я услышал в нем твердость стали, всегда звеневшую в голосе Ананды. Я невольно посмотрел на Ананду. Он стоял рядом с И., и оба они меня ошеломили. Их лица были тихи, светлы, ласковы, а на лице сэра Уоми, бледном, твердом, точно мрамор, глаза сверкали лучами, как огромные аметисты.

Только что я думал, что прекраснее Анны никого и быть не может, И тут увидел красоту, которая земле уже не принадлежала. Это был сошедший с другой планеты Бог, а не тот сэр Уоми, с которым я работал утром.

— Иди без слез и раскаяния. Ими ты только размягчаешь цемент того моста любви, который протянули тебе из своих сердец Ананда и его дядя. Радостью, одной радостью ты можешь начать снова строить ту половину моста, что разрушила сама своим непослушанием и медлительностью. Дважды зов милосердия не повторяется. И об отъезде твоём в Индию сейчас и речи быть не может. Но от тебя одной зависит: годы или мгновение приблизят тебя к давнишней мечте. Напрасно ты ждала особых испытаний. Шли твои простые дни, а в них-то ты и не разглядела главных дел любви и самого первого ее признака: жить легко свой текущий день. Жить в самых обычных делах, неся в них наивысшую честь, мир и бескорыстие. Не в мечтах и обетах, не в идеалах и фантазиях любовь человека к человеку. Но в простом деле дня идущий жизнью любви должен быть звеном духовного единения со всем окружающим. Оставь свои мечты о высшей жизни. Трудись здесь в простом дне и... всегда помни о нарушенном обете добровольного послушания.

С этими словами он поднял Анну и поманил меня рукой. Я мгновенно понял — как многое я стал угадывать в последнее время без каких-либо размышлений — и подал ему синий платок с браслетом.

Как только сэр Уоми взял руку Анны, которой она закрывала лицо, и надел ей браслет Браццано, она вскрикнула, точно раненая.

— Не бойся, дитя, — услышал я снова голос сэра Уоми — Теперь этот браслет уже не символ обручения. В нем нет ничего, кроме того, что это прекрасное произведение искусства. И он не заговорит и не затянет тебя в любовные сети злодея. Ты сама — своею медлительностью, сомнениями, колебаниями и нерешительностью — соткала связь со злодеем. Он должен или преобразиться или погибнуть, так как из-за любви к тебе погрузился в такую пучину грязи и ужаса, где не может жить ни одно существо. Века могут пройти, пока ты снова встретишься с ним в таких условиях, чтобы своей стойкой верностью, любовью без сомнений и радостью помочь ему и быть в силах развязать мрачный узел, что так неосторожно завязала сейчас.

Иди домой, Ананда отведет тебя. И думай не о себе и своих скорбях. Но о скорби Ананды, ручавшегося за тебя, о страданиях семьи, погрязшей во зле. Будь мирна и благословенна. Жди меня, когда — под видом приятного вечера — мы придем к вам в дом для очень тяжелого дела борьбы со злом. Расти в себе силу каждый день. А для этого научись действовать, а не ждать, творить, а не собираться духом. Кто думает о друге и брате, тот забывает о себе, — он отер ей глаза прекрасным синим платком с павлином и отдал ей.

Голос сэра Уоми был снова мягок и проникал в сердце. А от лица его и от всей фигуры точно шел свет.

Анна низко ему поклонилась; он обнял ее, прижал к себе, и я видел, как она содрогнулась в его руках. Когда же она повернулась к нам, она точно уносила на себе его отраженное сияние.

— Не забудь, в пять часов у княгини, — шепнул И. выходящему Ананде.

Вскоре сэр Уоми и И. засобирались, оставляя больную на нас с Хавой.

— Будь всё время с больной. Если к Хаве вдруг явятся неожиданные гости — она справится с ними. Ты же, что бы ты ни услышал снизу, оберегай больную, не покидай её и не пропускай к ней никого. Если Хаве понадобится помощь, мы её пришлем, — сказал мне сэр Уоми. — Могу я надеяться на тебя? — глядя мне в глаза, словно приоткрывая черепную коробку, спросил сэр Уоми.

— А если Хаву будут убивать? Мне также сидеть и не пытаться спасти её? — в ужасе спросил я, вспоминая Жанну и князя.

Все трое расхохотались, да так весело, что я понял, какой у меня глупый и жалобный вид.

— Можешь быть спокоен. Не так легко убивают людей. Но вот тебе флакон. Если здесь будут очень уж шуметь, брось его вниз, он разобьется и напугает непрошенных гостей.

Сэр Уоми положил мне на голову руку, от чего по мне пробежала волна счастья и силы. Он подал мне небольшой флакон и покинул нас, усевшись в коляску вместе И.

Я держал флакон в руке. Всё-таки я не мог всего взять в толк, а понял только, что и Анна, как Генри, не исполнила чего-то и огорчила Ананду. Анна, казавшаяся мне совершенством! Анна, которую я едва соглашался признать земной женщиной!

"Боже, — подумал я. — Неужели и Наль? Наль, для которой брат пожертвовал всем, отдал жизнь, — неужели и Наль может ему изменить, нарушить обет и принести ему скорбь?"

— О чём вы так стонете, Левушка? — услышал я ласковый голос Хавы.

— Я разве стонал? Это мне померещилось что-то. Я ведь "Лёвушка-лови ворон". Вот и сейчас вороню, а надо мне быть возле Жанны. Проводите меня, пожалуйста. Я должен думать только о ней. А вас защищать с помощью вот этого флакона. Там, верно, какое-нибудь смрадное лекарство.

Хава рассмеялась, сказала, что я, вероятно, буду иметь случай в этом убедиться, и мы поднялись к Жанне.

Войдя в знакомую комнату, я не сразу увидел больную. Положительно всё здесь было переставлено; и кровать Жанны, задёрнутая красивым белым пологом, стояла совсем в другом месте, за ширмой.

— Это вы, Хава, так неузнаваемо всё переставили? — спросил я. — Признаться, очень бы хотелось сказать, что я. Но, к сожалению, всё, вплоть до этого прекрасного белого полога, сделано руками самого И. Мы с няней были только парой негритосов на посылках. Я долго рассматривала этот полог; но не могу понять, из чего он сделан. Тонок, как бумага, мягок, как шёлк, и матов, как замша, — вот и разберись. Очень хотела спросить И., где он нашёл эту вещь, да не посмела.

Я подошёл к пологу и тотчас узнал материю; из неё был сделан халат, который Али прислал моему брату перед пиром. — Это, несомненно, от Али, — важно ответил я. — Али?! — воскликнула Хава с удивлением. — Неужели Али? Почему вы так думаете? Правда, перед нашим отъездом к сэру Уоми приезжал от него человек с посылкой. Но не думаю, чтобы эта вещь была прислана оттуда. Рано утром, почти на рассвете, И. куда-то выходил, а потом я увидела этот полог.

Но я слышу стук колёс, — прервала наш разговор Хава. — А вот и экипаж остановился подле магазина, — продолжала она. — Колокольчик зазвенел! Батюшки, вот так стук! Этак, пожалуй, все мёртвые проснутся, — весело говорила негритянка, спускаясь вниз и велев мне запереть дверь в

спальню.

Оставшись один, я стал присматриваться к Жанне. Прелестное личико, точь-в-точь такое, как тогда, когда мы увидели её на пароходе, между ящиками, в углу палубы 4-го класса. У неё, очевидно, был жар, и спала она тяжёлым глубоким сном.

Внизу сначала всё было тихо; было слышно, что разговаривают, но слова сюда не долетали.

— Вы способны понять, о чём вам толкуют? — вдруг услышал я гнусавый, пронзительный голос и мгновенно признал любимого сына Строгановой. — Не вы нужны нам, а ваша хозяйка. Мало ли какая фантазия придёт кому-нибудь в голову? Хозяйка ваша могла нанять вас, считая, что на такую приманку обязательно прибегут посмотреть, вот лишняя шляпа и уйдёт из магазина. Но у нас дело не шляпное, а такое, которое вашей башкой не понять. Позовите сию же минуту хозяйку, — кричал наглый мальчишка.

Я так и представлял себе его кудрявую голову в феске, его красивое, презрительное, капризное лицо, с отталкивающим выражением.

Прислушиваясь к тому, что делалось внизу, я решал, когда же будет пора приступать к химической обструкции, которая, как я полагал, заключалась в данном мне флаконе.

Слов Хавы, стоявшей, очевидно, спиной к лестнице, я не разбирал, но тон её голоса был ровный и весёлый, что, вероятно, немало бесило мальчишку.

Теперь заговорил другой, женский голос; и тоже в повышенном тоне. Не сразу я понял, что это Строганова.

— Мой друг передал вашей хозяйке на хранение некоторые драгоценности, — услышал я. — Он поручил нам получить эти вещи назад сегодня же. Он был очень болен эти дни и не мог передать нам своего желания раньше. Сегодня крайний срок; вещи немедленно должны быть ему возвращены. Вот его письмо вашей хозяйке; но передам я его сама, в её собственные руки. Ступайте и приведите её сюда. Не заставляйте нас подыматься вверх, потому что вам будет очень плохо, — говорила женщина. — Да что с ней толковать! Прочь с дороги! — орал мальчишка. — Не смейте прикасаться ко мне вашими грязными руками; или вам-то уж наверняка будет плохо, — раздался" голос Хавы, и такой сильный, спокойный, властный, что я и рот раскрыл.

В магазине что-то упало, Строганова взвизгнула. Я решил, что настало время действовать, кинулся к двери, открыл её и уже занёс было руку, чтобы швырнуть флакон, как внизу внезапно воцарилась мёртвая тишина.

Я свесился с перил и увидел в дверях магазина фигуру, закутанную в тёмный плащ. В сумерках я не сразу — а только услышав голос — узнал И.

— Сядьте на место, молодой человек! И молчите, если вы плохо воспитаны и не знаете, как подобает вести себя культурному юноше в чужом доме, вдобавок в доме одинокой трудящейся женщины. Позже вы принесёте свои извинения мисс Хаве за своё грубое поведение. Теперь же сидите, как бессловесное животное, поскольку вы и есть животное.

Ох, как грозно глядел И. и как звучал, подобно грому, его голос.

— Как и зачем пришли вы сюда, мадам Строганова? — обратился он к женской фигуре, спрятавшейся за сына. — Ваш муж, Анна и Ананда категорически запретили вам сюда являться. Как решились вы нарушить запрет? — спрашивал И.

— Да что с вами, доктор И.? Я едва знаю вас, вы для меня первый встречный, и вдруг осмеливаетесь задавать мне какие-то вопросы. Я не девочка! Будьте любезны вызвать ко мне Жанну. Если она не явится сюда немедленно, — я буду знать, что она украла переданные ей моим другом вещи чрезвычайной ценности. И мне придется обратиться в полицию. И. засмеялся.

— Что цените вы выше: браслет или нож, который вы передали Жанне, чтобы заколоть меня? Человеческая жизнь не представляет для вас ценности, поскольку лично вам она неинтересна: поэтому я вас и не спрашиваю, во что вы оценили жизнь несчастной Жанны, мою, Левушки, князя. Я вас спрашиваю, что вы будете искать через полицию: нож или браслет?

Строганова тяжело опустилась в кресло. Её красивое лицо побледнело так, словно тёмная кожа покрылась белым налётом.

— Ваши дерзости я сносить не намерена, — прошипела она. — Вы можете быть совершенно уверены, что без вещей я отсюда не выйду. Поэтому не тратьте времени, — взывала как разъярённая тигрица Строганова.

— Вы не только уйдёте без этих самых вещей, которые вам не принадлежат, к вашему счастью, чего вы даже не понимаете, но и немедленно положите на стол тот амулет, который Ананда подарил Анне, а вы украли его час назад. — Ваша подлость... — Строганова не договорила. Глаза И. сверкнули, как два топаза; он вытянул руку по направлению к ней и сказал:

— Можете посмотреть на вашего любимчика. Если вы не желаете уподобиться ему, — удержите ваш язык и манеры в границах приличия.

Я посмотрел на любимчика. Он походил на бешеного пса: глаза его

выражали предельную злобу; язык свешивался изо рта и слюна бежала на его белоснежный жилет; феска съехала на лоб. Он был так ужасен, что смотреть на него я не мог.

Мать, увидев сына таким, не бросилась на помощь, не вымолвила ни одного любящего слова; она думала только о себе и сказала И., доставая из сумки амулет и кладя его на стол:

— Возьмите ваш амулет. Подумаешь, какая драгоценность! Не смейте меня доводить до такого мерзкого состояния, в каком сейчас мой сын. Подайте мне браслет, и мы уйдём.

На столе лежал дивный золотой медальон, в крышку которого была вделана фиалка из аметистов. Я сразу увидел, что кольцо капитана было той же работы, что и этот медальон.

— Браслет сейчас в вашем собственном доме. Он отдан той, которой предназначался, — ответил И.

— Это самая наглая ложь, — выкрикнула Строганова. — Тот, кому принадлежит браслет, требует его немедленно отдать. Понятно ли вам, что я не могу уйти отсюда, не имея его при себе? Я дала слово Браццано привезти немедленно его драгоценности.

— Много слов и обетов давали вы в вашей жизни. Вы клялись у алтаря в любви к мужу, — пересчитайте, сколько раз вы ему изменяли. Три года назад вы дали Анне обещание не преследовать её своей настойчивостью и не требовать, чтобы она вышла замуж за Браццано. В результате вы продались ему, продали сына, дочь и сегодня обокрали её, коснувшись самого дорогого и священного, что у неё было.

Но слово, которое вы дали Браццано, вы нарушить боитесь, потому что эта гадина пригрозила вам и вашему сыну смертью? Посмотрите на себя. Чей жемчуг на вашей шее? Чьими кольцами унижены ваши руки? Чьё платье надето на вас? Чей ридикюль в ваших руках? Несчастнейшая из женщин! Опомнитесь, сбросьте с себя все эти вещи, — и вы поймёте хоть частично тот ужас, в какой вы сами себя погрузили.

Под взглядом И. Строганова выложила свой ридикюль, но И. велел Хаве немедленно взять со стола медальон, чтобы он не касался больше ридикюля Строгановой, откуда она его вынула. Медленно, будто лениво и как-то сонно, Строганова сняла жемчуг, серьги, кольца и браслеты, которые на её руках бряцали десятками, на восточный манер.

По мере того, как росла кучка золота и камней на столе, женщина пробуждалась к жизни. Наконец, точно преодолевая какое-то последнее препятствие, она вытащила из-за корсажа тончайшую платиновую цепочку, на которой висели огромная чёрная жемчужина и такой же огромный

розовый бриллиант.

Положив их также на стол, она глубоко вздохнула, открыла глаза и с удивлением огляделась.

— Что всё это может значить, доктор И.? Разве мне было дурно? — спросила она.

— О да. Вам было очень плохо. Но теперь уже гораздо лучше. Ведь вам дышится легче? — ответил ей И.

— И легче дышу, и не чувствую себя скованной. Но почему все мои вещи лежат здесь? — опять спросила она. Она протянула руку к столу, но И. остановил её.

— Подождите немного, придите в себя окончательно. Выпейте кофе. — И он подал ей чашечку кофе, но я заметил, что он растворил в ней частицу пилюли Али.

Хава поднялась ко мне и взяла у меня флакон сэра Уоми. Я уже приготовился к смраду и был поражен, когда увидел, что Хава положила все вещи Строгановой на поднос, открыла флакон, в котором оказался такой же жёлтый порошок, каким сэр Уоми обсыпал нож и браслет в доме князя.

И. высыпал порошок на драгоценности Строгановой, поджёг его и сказал мне:

— Подай Жанне питье из стакана и перемени компресс. Я быстро выполнил приказание. Проснувшаяся Жанна выпила питье, не узнавая меня, повернулась на другой бок и через мгновение опять заснула.

Когда я вернулся на свой наблюдательный пост, порошок уже догорал. Вся комната была полна дыма и смрада; что-то лопалось, точно стреляли из маленького револьвера; вдруг раздался взрыв, и у Строгановой вырвался крик ужаса.

— Теперь вам нечего бояться, — сказал И. — Носить эти вещи было страшно. Сейчас они безвредны. Левушка, ты специалист протирать бриллианты, — вот тебе жидкость и платок, — поманил меня И., указывая на драгоценности.

Я мигом — что тебе Верзила — очутился подле него и принялся за дело. В каком печальном состоянии оказались драгоценности Строгановой! Прекрасная чёрная жемчужина разлетелась в мельчайшие кусочки, как стекло. На месте розового бриллианта лежал кусок лопнувшего чёрного угля. Из всей груды бриллиантов и колец осталось около десятка прекрасных вещей.

— Посмотрите сюда, — сказал И. Строгановой. — Вещи, которые вы считали золотыми, оказались просто медью и серебром. Позолота сошла с

них, и вы можете убедиться, чего они стоили. Камни, за исключением оставшихся, были просто отлично шлифованным горным хрусталем. А вы носили эти тяжёлые подделки, принимая их за умопомрачительные ценности. Строганова молча качала головой.

— Эти уцелевшие вещи подарил мне мой муж. А всё, что оказалось хламом, дарил Браццано, уверяя, что стоимость вещей так огромна, что на них можно купить целое княжество, — выговорила она со стоном, в котором звучали досада и раздражение.

— Для Браццано, быть может, эти вещи и были ценными. Но что подразумевал он под этим, вам непонятно сейчас. Вскоре вы это узнаете. А теперь можете безбоязненно надеть свои кольца и браслеты. Но внутри, в ридикюле, у вас тоже немало мусора, который надо выбросить.

Строганова надела свои драгоценности, открыла ридикюль и вскрикнула. Письмо Браццано, для передачи Жанне, тоже обуглилось и развалилось на куски.

Увидев превратившееся в пепел письмо, сын Строгановой замычал и заёрзал на своём стуле.

— Закройте рот, вытрите, примите человеческий облик и отвезите вашу мать домой, — сказал повелительно и грозно И. — Бойтесь послушаться моего приказа. И помните только об этой минуте, а не о страхе перед Браццано. Вы ещё молоды и можете поправить всё, что по своей наивности натворили. Я верю, что вы ещё можете стать честным человеком, а не низкопробным негодяем.

Помните же об этой минуте, о состоянии, пережитом вами здесь, и желайте всеми силами вырваться из рук шарлатана, наложившего на вас и вашу мать свои гипнотические путы, — говорил И., пристально глядя на несчастного юношу.

Через некоторое время мать и сын вышли, я помог Хаве убрать оставшуюся от мнимых драгоценностей дрянь, умылся и возвратился к И. Все вместе мы поднялись к Жанне.

Она продолжала спать. Дыхание у неё было ровное, и И., наклонившийся над нею, сказал, что жар у неё спал.

Он ничего не рассказывал нам, а я ни о чём не спрашивал. Меня очень интересовало, например, где же дети, так как в их комнате было тихо.

— Хава, Левушка останетса покараулить Жанну; а мы с вами съездим за детьми, которых Анна временно устроила в своём доме. Кстати, я еще днём хотел сказать тебе, Левушка, что вернулса капитан. Я видел его. Он мечетса по делам, но обещал к восьми часам прийти сюда. Я не сомневаюсь, что он сдержит слово, и тебе будет радостно встретиться с нашим милым другом.

Я не накладываю вето на твой язык, Левушка: напротив, ты окажешь мне большую услугу, если расскажешь капитану всё, что пережил за это время. Милый он человек, спешил Бог знает как, чтобы лишний день провести в Константинополе с нами. По расписанию пароход будет стоять здесь дней пять. Дождитесь моего возвращения. Ты, бедный мой мальчик, давно ничего не ел. Ну, зато пойдём к кондитеру, «Багдад» преподнесу тебе в лучшем виде.

— Дорогой Лоллион, я готов ничего не есть и не пить ещё два дня, только бы не видеть и вас, и Ананду печальными и утомлёнными. Что бы я только не дал, чтобы день ваш был лёгок, — прошептал я, вися на шее своего друга и еле сдерживая слёзы.

— Вот так храбрец! Это где же видано, чуть ли не плакать взрослому мужчине? — вдруг услышал я рядом голос Хава. — Извольте поддерживать репутацию весельчака: а то вы можете и мои глаза превратить в слезливые потоки. — Она смеялась, но я уловил в её смехе не горечь, а что-то особенно меня поразившее, чему я не мог найти определение. Я удивлённо посмотрел на неё и сказал:

— Если сэр Уоми спросит меня ещё раз: "Как смеется Хава?", то я скажу ему, что в её смехе не звенит хрусталь, в нём звук разбитой фарфоровой вазы.

— Помилуйте, господин Следопыт, не давайте такое чудовищное определение моему смеху, — протестовала Хава. — Уж лучше скажите, что смех чернокожих негармоничен для вашего слуха.

— Этого я сказать не могу, потому что мой великий друг Флорентиец однажды объяснил мне, что кровь у всех людей красная, а И. научил меня понимать, что такое любовь к людям. Я равен вам, как и вы мне, нашими правами на жизнь и труд. Как же я могу сказать, что не способен слиться с вами в гармонии? Я могу подслушать трещину вашего сердца и молчать о ней, но не могу выключить себя из той атмосферы, в которой оно жалуется мне, когда вы смеетесь. Хава развела руками и повернулась к И.

— Помилосердствуйте, И. Этот мальчик меня без ножа режет. И. весело засмеялся, потрепал меня по плечу и сказал Хаве:

— Скорее, пожалуйста, я хочу вернуться до девяти часов. Могу сказать только одно: устами младенцев глаголет истина.

Молча накинула Хава пелерину, оба вышли, я запер двери и остался в магазине один.

По странной игре мыслей я принялся думать о пологе над кроватью Жанны. Мне определенно стало казаться, что он предназначался Анне, что сэр Уоми вёз его для неё, — и что и сам он ехал сюда в связи с чем-то очень

большим и значительным для её жизни. Его слова об Индии, о том, что теперь у неё нет надежды туда уехать, — всё говорило мне, что жизнь Анны должна была совершенно измениться. Но что сама она сделала что-то не так, что подвела не только себя и Ананду с его дядей, но и сэра Уоми и Али.

"Если столь трудно удержаться на высоте таким большим людям, как Анна, то как же пробираться по жизненной тропе такому мальчику, как я? — мелькало у меня в голове. — И что могло разбить сердце Хавы? Почему нет в ней полной удовлетворённости жизнью, хотя она живёт в непосредственном общении с сэром Уоми?" — всё думал я, перескакивая от одного образа к другому.

Несколько часов, проведённых мною в работе с сэром Уоми, сделали меня счастливым и радостным. Как же можно жить всю жизнь подле него и носить трещинку, хотя бы на печёнке, не то что на сердце? Этого понять я не мог.

Я прошёл к Жанне, увидел, что там всё благополучно, снова спустился вниз и стал ждать капитана, медленно расхаживая из угла в угол.

Вскоре зазвенел колокольчик, и я очутился в объятиях моего друга, который принёс огромный букет благоухающих роз и лилий для Жанны.

Взаимные вопросы и ответы, удивление переменой, которую нашли друг в друге, — и вот мы в углу на диванчике, и я поверяю капитану все недавние события.

Во многих местах капитан вскакивал тигром; в иных смотрел на меня нежнее матери; но кое-что положительно не мог взять в толк.

Когда дело дошло до слёз Анны, — он остановил меня и несколько раз переспросил о том, что говорил сэр Уоми. Он яростно сжимал кулаки каждый раз, когда я упоминал и я Браццано.

В заключение я рассказал ему о Хаве, о моём страхе перед ней в Б., о её письме ко мне и подарке, не забыв упомянуть о том, как я определил её смех.

Капитан хохотал, говоря, что в жизни ещё так не смеялся. — Разбитая негритянская ваза! Да это же чудо! Кто, кроме вас, такое выдумает?

— Ну а кто, кроме вас, придумает подарить мне такое кольцо? — сказал я, благодаря его от всей души. — Вот едут, смотрите же, не выдайте меня перед Хавой. Напустите всё ваше джентльменство и не забудьте, что чернота её ей не очень приятна.

— Не волнуйтесь, Левушка. Буду тих, как паста для замазки трещин.

Я залился хохотом и так и встретил детей, Хаву и И. Побыв ещё немного в магазине, мы ушли к кондитеру, стараясь всячески сократить

время на утоление appetитов, и вскоре были дома.

Капитан снова занял свою комнату, а для Ананды князь распорядился о комнате внизу.

Так окончился первый день моего секретарства. Я лег спать с мыслями о том, какие ещё сюрпризы принесёт всем нам завтра.

Глава 23. ВЕЧЕР У СТРОГАНОВЫХ И РАЗОБЛАЧЕНИЕ БРАЦЦАНО

Ещё два дня жизни промелькнули для меня, как счастливый сон. Занятия с сэром Уоми, письма, которые я писал под его диктовку каким-то неведомым мне людям, иногда пронзали так глубоко, что я еле удерживал слёзы и дрожание руки. Сколько было в них любви, утешения! Особенное впечатление произвело на меня письмо к одной матери, потерявшей взрослого сына. Той нежности, уважения к огромности её горя и вместе с тем величия мудрости, которое несло ей письмо сэра Уоми, я не мог спокойно слышать, и слёзы бежали из глаз, когда я его писал.

Как много надо было выстрадать самому, чтобы так понимать чужое горе. Всю бездну земных страданий надо было постичь, чтобы понять и утешить скорбящего человека.

В конце третьего дня сэр Уоми прислал за мной. Когда я вошёл к нему, я нашёл там И. и Ананду. Сэр Уоми сказал мне, что сейчас все идут к княгине, и если я хочу — то могу к ним присоединиться.

Если бы сэр Уоми шёл не через десять комнат, а через десять пустынь, то и тогда бы я был счастлив каждой минутой, проведённой с ним.

— Я позвал тебя, поджидаю и капитана. Оба вы видели человека — старую княгиню — обломком тела и духа. Не думаю, чтобы и сейчас можно было назвать её цветущей яблоней, — чуть улыбнулся он. — Но как тебе, так и капитану, мне кажется, будет очень поучительно увидеть, как иногда возрождается человек.

Княгиня нас не ждёт. Мы застанем её без всяких прикрас, в которые облекается человек, даже духовно высокий и очень правдивый, если он ждёт посещения, о котором мечтал. Встреча — если человек к ней готовился — почти всегда несёт в себе лицемерие. Самые ценные встречи — неожиданные. Пойдёмте, ты с капитаном останешься в комнате рядом. Когда настанет время и если будет нужно, — я вас позову.

Мы вышли, по дороге я забежал за капитаном, и через несколько минут мы были в комнате рядом со спальней княгини. Было темно, у княгини же горели яркие лампы, и нам было видно и слышно всё, что делалось там.

Княгиня сидела в кресле. Её старое лицо до того изменилось, что я не узнал бы её теперь. Никакой жестокости, никакой властности в нём теперь не было.

Князь сидел возле и держал в руках книгу, намереваясь, очевидно, читать ей вслух.

Услышав шум, он спросил: "Кто здесь?", но узнав сэра Уоми, быстро, весь просияв, пошёл ему навстречу. Увидев, кто входит в комнату, княгиня попыталась приподняться, но сэр Уоми запретил ей вставать. Он сел на место князя, И. и Ананда разместились у стола, а князь встал за креслом княгини, весь сияя точно лампада.

— Я не ждала вас сегодня, сэр Уоми, хотя жаждала видеть. Я не смела просить вас ещё раз навестить меня. А вот теперь вы пришли сами, — и я так растерялась, что забыла всё, о чём хотела вас просить, — сказала княгиня.

И голос её изменился. Ни грубости, ни визгливости, которые так неприятно поражали в нём раньше.

— Вам не о чем меня просить, княгиня. Это я пришёл поблагодарить вас за бедных детей, которых вы облагодетельствовали. Я ведь ничего не говорил о них. Я только указал вам, что вы обидели их мать на пароходе. А вы не только осознали свою ошибку, но и творчески поправили её, положив на каждого ребёнка по десяти тысяч. Знаете ли вы, как ценен ваш дар именно потому, что никто у вас его не просил, а сами вы подали бедным детям такую помощь? Если бы вы спрашивали совет у десяти мудрецов, то и тогда не поступили бы правильнее и умнее.

— О сэр Уоми. Помощники ваши так много дали мне в моей болезни, и не только в физическом смысле. Из их разговоров со мною, таких терпеливых, любовных, мудрых, я поняла весь ужас, в котором прожила. И того, что вы благодарите меня, тогда как вам всем я обязана более чем жизнью, — я просто не могу перенести.

Княгиня, закрыв лицо немощными и узловатыми руками, горько заплакала.

— Не плачьте, княгиня. Непоправимо только то, чего человек так и не понял до своего смертного часа и ушёл с этим с земли. Выслушайте меня. Если вы осознали, что обидели Жанну, — позовите эту милую и — поверьте — очень несчастную женщину и извинитесь перед ней. Дар сердечной доброты — вот всё, что необходимо отдавать в труде своего дня. И если вам кажется, что вы уже стары и больны, что ваше время безвозвратно прошло, то это полнейшее недоразумение. Можно быть обречённым на неподвижность, лишённым рук и ног — и всё же не только трудиться, но и творчеством своей любви и мысли вдохновлять массы людей.

Наивысшая форма труда той мудрости, какая известна мне, несёт миру

вдохновение и энергию одной силой своей мысли, оставаясь сама в полной внешней неподвижности.

Но мысль такой, неподвижной мудрости составляет огромную часть движения вселенной. И каждому человеку — в том числе и вам — важно жить, не выключаясь из этого вечного движения, не останавливаясь, но всё время идя в нём, как солнце и лучи, неразлучно.

Прост ваш день труда. Обласкайте каждого, кто войдёт к вам. Если пришёл одинокий, отдайте ему всю любовь сердца, чтобы, уходя, он понял, что у него есть друг. Если придёт скорбный, осветите ему жизнь вашей радостью. Если придёт слабый, помогите ему знанием того нового смысла жизни, который вам открылся. И жизнь ваша станет благословением для людей.

Уймите слёзы, друг. Постарайтесь спокойно, без обиды, стыда или раздражения вдуматься в то, что я вам скажу. Я не проповедь вам читаю, не поучаю вас с позиций условной морали земли. Я хочу помочь вам взойти на иную ступень жизни, где вы сами могли бы раскрепостить себя от тех страстей, в каких провели жизнь и от которых сами больше всего страдаете.

Сейчас вы брезгливо отворачиваетесь, когда в ваших воспоминаниях перед вами встают те или иные образы. За всю вашу жизнь вы только один раз поверили в безусловную честность, в честность вашего мужа.

Не буду сейчас входить в подробности, так ли это было на самом деле или это вы таким образом воспринимали людей и жизнь, их честь и достоинства. Но — даже в этом единственном случае — до конца ли вы доверились этому человеку? Разве вы ничего от него не утаили? Разве он знает всю правду, хотя бы о ваших денежных делах? Задумайтесь, ведь вы — как скупой рыцарь — боитесь открыть кому-либо тайну боготворимых вами сокровищ, хотя вам и кажется, что вы сумели победить свою скупость.

Зачем вы продолжаете жить во лжи? Пока вы окончательно не пойме то, что нет жизни одной земли, вырванной из вселенной, а есть единая жизнь, неразделимое зерно духа и материи, что нет только одной трудящейся земли, а есть общее колесо живого трудящегося неба и живой трудящейся земли, на общих для земли и неба принципах, не терпящих лжи и лицемерия, не изменяющихся по желанию и воле людей, а действующих целесообразно и закономерно для всего сущего, — вы не обретёте радость жить.

Сколько бы вам ни оставалось жить — вас неизменно будет преследовать страх, если будете думать о каждом своём дне как о

мгновении только одной вашей земной жизни.

Если не осознать свою нынешнюю текущую жизнь как связь вековых причин и следствий, она сведется к нулю. Без знания, что свет горит в каждом человеке всего человечества вселенной, — жить творчески нельзя. Кто живёт, не осознавая в себе этого света, тот является пособником злой воли, полагающей, что она может покорить мир, заставив его служить своим страстям и наслаждениям.

Уже умолк голос сэра Уоми, а княгиня всё ещё сидела, закрыв лицо руками.

— Как могли вы узнать всё это, сэр Уоми, точно я сама рассказала вам свою жизнь? — произнесла княгиня.

И как! Точно каждое слово стоило ей невообразимого труда. Казалось, у неё схватило клещами сердце, и она пытается преодолеть боль.

— Неважно, княгиня, каким образом узнал я ваши тайны. И неважно то, что это я принёс вам весть. Важна весть, которая дошла до вас, и как вы её приняли. На Востоке говорят: "Нужно — и муравей гонцом будет", — ответил ей сэр Уоми.

Но уже поздно, и вы утомились. Примите лекарство, что сейчас даст вам И., посидите с вашим милым мужем и обдумайте вдвоём всё, что я вам сказал. Мы ещё некоторое время пробудем в Константинополе, и я не раз ещё побеседую с вами. Помните только, что раскаяние, как и всякая жизнь в прошлом, не имеет смысла, оно лишено творчества сердца.

Жизнь — это «сейчас». Это не «завтра» и не «вчера». Одно неизвестно, другого не существует. Старайтесь научиться жить летящим «сейчас», а не мечтой о завтра, которого не знаете.

Выйдя, сэр Уоми отправил нас с капитаном к себе переодеться в свежие костюмы, объявив, что мы поедем к Строгановым.

Он спросил, не поколебалась ли наша решимость помочь ему в разоблачении да-Браццано и освобождении несчастного семейства от его гипнотической власти. Мы подтвердили, что верны данному слову, и заявили, что отдаём себя в его полное распоряжение.

— Друзья мои, — ласково сказал нам сэр Уоми, — постараюсь объяснить, почему нам необходима ваша помощь. Некоторые грубые земные дела уже невозможны для духовно высокоразвитого человека. Точно так же какие-то свершения, требующие более высоких духовных вибраций — гораздо выше обычных, земных — недоступны для людей, стоящих на более низкой стадии духовного развития. Сегодня случится так, что ни один из нас не сможет прикоснуться к тому, что надето на людях, без риска нанести очень сильный удар из-за соприкосновения с нашими

гораздо более высокими вибрациями, которых не способны вынести их тела. Они могут заболеть и даже умереть от нашего прикосновения.

Чтобы спасти этих людей, вам придется действовать за нас. Будьте предельно внимательны. Ничего не бойтесь. Слушайте то, что я вам буду говорить или что будут тихо передавать вам И. или Ананда. Действуйте немедленно, как только получите приказание, точно выполняйте его и думайте только о том, что делаете сию минуту. Теперь идите, лошади нас ждут; возвращайтесь сюда же, времени даю вам двадцать минут.

Мы помчались к себе, быстро переоделись и через четверть часа уже входили к сэру Уоми.

Наши друзья были закутаны в плащи, а мы с капитаном об этом не подумали. Но слуга сэра Уоми, улыбаясь, подал и нам такие же, и мы вышли к калитке.

Здесь нас ждал вместительный экипаж, мы уселись и поехали к Строгановым.

Я ожидал, что у подъезда будет стоять много экипажей, но увидел только одну коляску, из которой выходили Ибрагим с отцом.

Дом был освещен, но гостей не было видно. Мы с капитаном удивлённо переглянулись, решив, что съезд ещё, очевидно, не начался.

В гостиной мы застали всю семью в сборе. Она была так обширна, что в лицо я всех уже знал, но имён положительно не помнил.

Жена Строганова была в каком-то переливчатом, точно опал, платье. Она куталась в белый шёлковый платок; но мне показалось, что не сырость от дождя была тому причиной. А чудилось мне — она старалась укрыть руки и шею, на которых не было украшений. Вид у неё был смущённый и растерянный.

Анна надела синее платье с белыми кружевами, которое напомнило мне платок сэра Уоми. Бледность её меня поразила. Она была совершенно спокойна, и какая-то новая решимость чувствовалась в ней. На её прелестной руке сверкал браслет Браццано.

Сам Строганов выглядел так, словно только что поднялся после тяжёлой болезни.

Что касается любимчика, который внушал мне такой ужас в магазине Жанны, то теперь он обрёл свой обычный, презрительно-снисходительный вид "неглиже с отвагой". Только иногда по его лицу пробегала лёгкая судорога, и он брался за феску, точно желая удостовериться, что она на месте. Я подсмотрел, что страх, даже ужас, мелькал у него в глазах, когда он смотрел на сэра Уоми.

Словом, я окончательно превратился в "Лёвушку-лови ворон", в

результате чего И. взял меня под руку.

Я опомнился и увидел входившего да-Браццано. Его адская физиономия выражала такую наглую, самодовольную уверенность, будто он говорил: "Что, взяли? Да и был ли я когда-нибудь согнут или нем?"

Он вошёл развязно, как к себе домой. Фамильярно целуя руку Строгановой, как будто чуть-чуть удивился её равнодушию, но тотчас же, изображая лорда высшей марки, направился к Анне. "Посмотрел бы ты на лорда Бенедикта", — мелькнуло в моей голове.

Склонившись перед Анной и нагло глядя на неё, как на свою собственность, он ждал, чтобы она протянула ему руку. Не дождавшись этого и желая, очевидно, скрыть досаду, он фальшиво рассмеялся и сказал:

— Дорогая Анна, ведь вы же европейского воспитания. Да и я не собираюсь устраивать в своём доме гарем. Протяните же мне вашу прелестную ручку, на которой я вижу залог вашего согласия стать моей женой.

— Прежде всего, для вас я не Анна, а Анна Борисовна. Что же касается каких-то залогов, то я их не принимала и слов вам никаких не давала, — прервала она его так резко, что даже этот злодей опешил.

Не знаю, чем бы кончилась эта стычка, если бы Строганова не вмешалась, говоря:

— Браццано, что же вы не здороваетесь с сэром Уоми и не знакомите нас с вашим другом?

Вместе с Браццано вошёл человек высокого роста, широкоплечий, но с такой маленькой головой, что невольно заставлял вспомнить об удаве. Лицо его, то ли вследствие болезни, а может быть, и злоупотребления спиртными напитками, было ярко-красное, почти такое же, как его феска, с фиолетовым оттенком на щеках и носу, а маленькие, чёрные, пронизательные глазки бегали, точно шарилы по всему, на чём останавливались.

Когда Анна обрезала Браццано, мне показалось, что на этом грязном противном лице мелькнуло злорадство.

Браццано представил хозяйке и обществу своего друга под именем Тебальдо Бонда, уверяя, что это красота Анны заставила его забыть все правила приличия.

— Впрочем, — прибавил он, поглядев на Анну и Строганову, — сегодня такой важный в моей жизни день, день побед. К тому же и власть моя сегодня возросла как никогда. Так что вряд ли имеет смысл придерживаться условностей.

Он хотел снова подойти к Анне, но его задержала Строганова, сказав,

что все мы ждали его более получаса, чтобы сесть за стол. Что он опоздал свыше всякой меры, хотя ему отлично известно, что в этом доме — из любви хозяина к порядку — соблюдается точность в расписании трапез.

Браццано, привыкший видеть в Строгановой беспрекословно повинующуюся его капризам рабу, — окаменел от изумления и бешенства.

Но не он один был так сильно изумлён. Сам Строганов пронзительно взглянул на свою жену и перевёл вопрошающий взгляд на сэра Уоми. Тот ответил ему улыбкой, но улыбнулись только его губы. Глаза, строгие, пристальные, с каким-то иным — несвойственным его всегдашней ласковости — выражением устремились на Браццано.

Побелевший от злости Браццано прошипел в ответ хозяйке дома:

— Я не привык выслушивать замечания нигде, а у вас в доме в особенности. — Он с трудом взял себя в руки, постарался улыбнуться, хотя вместо улыбки вышла гримаса, и продолжал уже более спокойно: — Я простудился и был болен эти дни.

Внезапно он встретился взглядом с Анандой и точно подавился чем-то, потом кашлянул и продолжал:

— Только несколько часов тому назад я почувствовал облегчение благодаря усилиям моего доктора, которого я имел удовольствие вам только что представить, Елена Дмитриевна, — поклонился он Строгановой. — Пусть это печальное обстоятельство будет мне извинением. Смените гнев на милость и...

Тут он направился прямо к Анне, намереваясь вести её к столу, и уже складывал свою правую руку калачиком, как ему опять не повезло. Откуда ни возьмись, вынырнула маленькая собачонка Строгановой, и Браццано споткнулся об неё и едва не полетел на ковёр.

Это было смешно, его грузная фигура точно склонилась в глубоком поклоне, полы фрака взметнулись, да вдобавок он ещё неловко зацепился за ножку стоявшего поблизости кресла и никак не мог разогнуться, — и я не выдержал и залился смехом, капитан мне вторил, оба Джел-Мабеда и сам хозяин, а за ними и многочисленные родственники надрывались от хохота. Только сэр Уоми и оба моих друга хранили полную серьёзность. Сэр Уоми подошёл к хозяйке дома, поклонился и предложил ей руку, чтобы вести к столу.

Я взглянул на капитана, находясь под впечатлением величавых, полных достоинства и спокойствия манер сэра Уоми; но капитан сам приковался взглядом к его фигуре, будучи, очевидно, во власти обаяния сэра Уоми.

Пока доктор Бонда помогал Браццано выпрямиться, что удалось не без труда, Ананда подошёл к Анне, точно так же поклонился, как сэр Уоми её

матери, слегка склонив голову, и подал ей руку.

Как они были прекрасны оба! Так же прекрасны, как в первый музыкальный вечер у князя, в день приезда Ананды. Я забыл обо всём, улетел куда-то, стал "Лёвушкой-лови ворон" и внезапно услышал голос Флорентийца.

"Ты видишь сейчас величие и ужас путей человеческих. Ты видишь, что всякий — идя своим путём — может постичь истинное знание, но только тогда, когда преданность стала уже не просто одним из его качеств, но основною из осей всего его существа. Осью главной, на которой зиждется и развивается творчество человека. Учись различать пути людей. И помни, что никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе Учитель".

Я рванулся было вперёд, туда, где слышал голос, но И. крепко держал меня под руку, а капитан удивлённо смотрел мне в лицо.

— Вам, Левушка, нехорошо? Что-то вас расстроило? — тихо спросил он меня.

— Вот видишь, как необходима внимательность. Держи руку Флорентийца в своей, как будто бы он рядом, — шепнул мне И.

— Нет, капитан, я вполне здоров, — ответил я своему другу. — Это Бог наказал меня за то, что я так потешался над Браццано.

— Ну, если уж Богу стоит вмешиваться, — возразил, смеясь, капитан, — то только разве затем, чтобы покарать этого наглеца и шарлатана, а никак не наказывать невинных младенцев за вполне оправданный смех.

Между тем сэр Уоми уже входил в двери столовой. Уже и Ананда с Анной намного опередили нас, а Браццано со своим доктором всё ещё оставался на месте.

Браццано тяжело дышал, что-то резко говорил по-турецки своему спутнику, который старался его успокоить.

— Ваши снадобья что-то мало помогают, — вдруг насмешливо сказал Браццано по-русски. — Вот, говорят, доктор И. обладает совершенно волшебными лекарствами, — нагло глядя на И., продолжал он. — Не удостоите ли вы, доктор И., меня своим вниманием. Весь Константинополь только и говорит об объявившихся новомодных докторрах-чудотворцах.

— Не знаю, в какой степени испытали на себе влияние новой медицины те сплетники, что говорили вам о ней. Но, думаю, вы и сами имели случай испытать на себе силу нашего воздействия. Мне было бы только жаль, если бы вам пришлось подвергнуться опыту сэра Уоми. Это было бы для вас катастрофой, — очень вежливо и мягко, точно не замечая наглости

Браццано, ответил И.

— Вы так думаете? — криво усмехаясь, сказал Браццано, двигаясь вместе с нами в столовую. — Я буду иметь сегодня случай доказать вам, насколько вы заблуждаетесь, полагаясь на высокий авторитет вашего сэра Уоми, — продолжал Браццано. — Я и шёл сюда только затем, чтобы перемолвиться с ним словечком. Я оставляю сие приятное удовольствие до ужина, по крайней мере будет потеха.

Ненависть, точно он хотел испепелить И., сверкала в его глазах.

Мы вошли в столовую. Сэр Уоми уже сидел рядом с хозяйкой, возле него сидели Анна с Анандой, рядом с матерью расположились любимчик со старшей сестрой, затем все пятеро сыновей с жёнами и оба турка. Напротив сэра Уоми И. посадил нас с капитаном; сам сел возле меня, а справа от него уселся Строганов, указав место Браццано и его доктору.

Увидев, что ему отвели место в конце стола, Браццано скрипуче засмеялся.

— Сегодня всё не так, как обычно. Не знаете ли, Елена Дмитриевна, почему это всё сегодня наизуворот? — обратился он к хозяйке, стараясь держаться в границах приличия и всё ещё сдерживая бешенство.

— Ба, да что это? Где же ваш жемчуг? Ах, и браслеты вы сняли? Но ведь вы так любите драгоценности! Что всё это значит?

— Я любила прекрасные, как мне казалось, вещи до вчерашнего дня, когда убедилась, что была недостойно обманута человеком, который уверял меня в своей дружбе. Я заплатила ему большие деньги за драгоценности, а они оказались медью и стекляшками, — ответила Строганова холодно и презрительно. — И тогда же я дала себе слово носить только то, что подарил мне мой муж. Только эти украшения и оказались подлинными.

Со всех сторон послышались изумлённые и негодующие восклицания.

— Вы говорите что-то такое, чего сами, должно быть, не понимаете. Вещи, которые вы носили, выбирал я. А уж я-то — знаток, — дерзко ответил Браццано, швыряя вилку на стол.

Строганов встал с места, желая призвать наглеца к вежливости, но сэр Уоми сделал ему знак, и он покорно, молча опустился на стул.

— Быть может, вы и знаток, но меня вы обманули, — тихо, но четко и твёрдо произнесла Строганова.

— Это детские разговоры. За ваши драгоценности можно купить княжество. Может быть, вы станете утверждать, что и эта вещь не драгоценная? — ткнул он вилкой в сторону Анны, указывая на сверкавший на её руке браслет.

— Эта вещь — подлинная драгоценность. Но она никогда вам не

принадлежала, — раздался спокойный голос сэра Уоми. — Она была украдена; и вы отлично знаете, где, кем и когда. Это вас не остановило, и вы отдали её одному из надувающих вас шарлатанов, чтобы он сделал из неё любовный приворот. Судя по настроению обладательницы прекрасной руки, на которую он надет, вы сами, думаю, можете убедиться, пользуетесь ли вы симпатией и каковы ваши шансы сделаться мужем Анны, — всё так же спокойно продолжал сэр Уоми.

Браццано так отвратительно заскрежетал зубами, что я невольно закрыл уши руками.

— Кто же это донёс вам на меня? И почему меня не арестовали, если я подбираю похищенные вещи? — дерзко выкрикнул он, весь багровый от злости.

— О том, что вы похитили эту вещь, сказал мне её владелец. А что касается ареста, то большая часть вашей бесчестной шайки сейчас уже изловлена и главари её бегут из Константинополя. Самый же главный из них — вы — не только ногами передвигать, но и разогнуться не может как следует.

Браццано из багрового сделался белым, потом снова то багровел, то белел от видимых усилий встать, но всё равно сидел, как приклеенный, наклонившись к столу и дико вращая головой, которая одна ему ещё повиновалась.

— Вот финал вашей преступной жизни, — продолжал сэр Уоми. — Вы втёрлись в прекрасную, дружную, честную семью. Чудесной чистоты женщину, Елену Дмитриевну, вы погружали день за днём в подлый гипноз. Пользуясь её робостью и добротой, вы превратили её в сварливое, отравляющее жизнь всей семье, капризное существо. Вы развратили её младшего сына, заманив его в сети дружбы, и сделали из них обоих себе прислужников.

Вам было дано Анандой три дня на размышления. Вы ещё могли выбраться из ада своих страстей, а иначе и нельзя назвать вашу разнузданную жизнь.

Вы пленились красотой женщины и решили заманить её в любовные сети, вызвав на бой всё чистое и светлое, что защищает её. Мы пришли сюда по вашему призыву. И теперь доказываем вам, чего стоит власть, приносимая злом, обманом, воровством, убийством, которой вы так добивались.

Вам сказали правду. Всё то, что было дано вами Елене Дмитриевне, — как талисманы ваших знаний и власти, — всё вздор, уничтожаемый истинным светлым знанием. Как дым разлетелся ваш суеверный

наговорный вздор, оказавшийся вдобавок медью вместо золота.

Вы уверяли Леонида, что феска его ни в каком огне сгореть не может, что его чёрные жемчужина и бриллиант — вещи вечности.

— И сейчас утверждаю это, — прокричал Браццано, нагло перебивая сэра Уоми.

— Хотите испытать силу ваших знаний? — спросил сэр Уоми. — Хотя сию минуту, — раздувая ноздри, с видом бешеного быка орал Браццано.

— Левушка, сними феску с головы Леонида, а вы, капитан, снимите с его левой руки кольцо и положите всё ну хотя бы на эту серебряную тарелку, — сказал сэр Уоми, подавая мне через стол большое серебряное блюдо, с которого он снял высокий хрустальный кувшин.

Пока мы с капитаном обходили длинный стол, чтобы подобраться к любимчику Леониду, спутник Браццано, уже давно нетерпеливо ёрзавший на своём стуле, тихо говорил ему:

— Оставьте, уйдём отсюда; не надо никаких испытаний. Ведь вы опять почти согнулись.

— Замолчите или я сейчас пристрелю вас, — зарычал Браццано в ответ.

Я подошёл к Леониду, имя которого я узнал только сейчас, снял феску безо всякого труда и положил её на блюдо.

Казалось, это очень удивило Браццано; он как будто ожидал, что феску будет не снять с головы юноши. Я вспомнил, как напялил на меня Флорентиец шапку дервиша, которую я действительно не мог снять, и поневоле засмеялся. Мой смех лишил Браццано остатков самообладания. — Посмотрим, засмеетесь ли вы через час, — прошипел он мне.

Капитан что-то долго не мог снять кольцо. Но сэр Уоми, перегнувшись, посмотрел пристально на Леонида, — и кольцо в тот же миг лежало рядом с феской.

По указанию сэра Уоми я поставил блюдо в широкий восточный камин. Он встал, обсыпал вещи уже знакомым мне порошком и поджёг.

Вспыхнуло большое, яркое пламя. Будто не одна маленькая феска горела, а целый сноп соломы. Смерд, но не от горелой материи, а точно запах падали, заставил всех зажать носы платками. Раздались два небольших взрыва, и пламя сразу погасло. Я распахнул по указанию И. окно. Через некоторое время воздух очистился, и я подал сэру Уоми блюдо, которое он велел мне отнести Браццано, что я и исполнил, поставив блюдо перед ним на стол.

Вернувшись на место, я любопытствовал, почему капитан так долго не мог снять кольцо. Он ответил, что если бы не повелительный взгляд сэра

Уоми, он и вовсе бы его не снял. Глаза злодея Браццано жгли ему руки, как огонь; да и кольцо сидело на пальце Леонида, точно его приклеили вечным клеем.

На блюде перед Браццано лежали жалкий, скрюченный кусочек меди, осколки чёрного стекла и бесцветный камень, похожий на кусок гранёного стекла. Фески не было и помину, если не считать горсти чёрной золы.

— Уйдёте, прошу вас, Браццано; или хотя бы отпустите меня, чтобы я мог привести помощь, — умолял приятель.

— Вы попросту глупец. Не видите разве, что всё это шарлатанство? Что могут сделать эти шантажисты против моего амулета? — заорал Браццано, вытаскивая дрожащей рукой из жилетного кармана треугольник из золота, в котором сверкал огромный чёрный бриллиант.

По лицу сэра Уоми точно прошла молния. Снова его глаза стали ярко-фиолетовыми.

— Не желаете ли испытать силу вот этого талисмана? — спросил Браццано сэра Уоми, держа в руках дивный камень, сверкавший, точно молнии, в огне ламп и свечей.

— Подумайте ещё раз о вашей жизни, Браццано, о всей вашей жизни; и о том, что вы делаете сейчас. Вы отлично знаете, что эта вещь украдена у одного венецианца. Вы знаете, что её венчали когда-то крест и звезда — символы любви. Вы знаете, кто кощунствовал и надругался над этой вещью, отрубив крест и звезду, и какая судьба свершилась над ним. — Твёрд, тих, почти ласков был голос сэра Уоми, и глаза его с состраданием смотрели на Браццано.

Тем временем ужин, за которым почти никто ничего не ел, кончился.

— Судьба свершилась? Глупость его свершилась, — злорадствовал Браццано. — Дуракам туда и дорога! Не Боженька ли ваш поможет вам сейчас сразиться со мною? — продолжал орать вне себя Браццано.

Он положил на блюдо свой камень, от которого словно пошли брызги всех цветов, от светлого до багрово-алого. Глаза всех были прикованы к необычайной игре дивного бриллианта.

— Ха, ха, ха! Ну, вот моя ставка за власть. Если ваш огонь превратит мой камень в такой же прах, — указывая на золу, издевался он, — продаю вам свою душу. Если же вещь сохранит свою силу, то есть мою власть, — вам не уйти, и вы мой раб, — дёргаясь, с пеной у рта, орал Браццано.

Лицо сэра Уоми стало суровым; глаза метали искры не меньшей яркости, чем искры, испускаемые камнем.

— В последний раз прошу вас, несчастный вы человек, одумайтесь. Идут последние минуты, когда вы ещё можете избавить себя от

непоправимого зла. Сейчас я ещё в силах спасти вас, но после уже ни я и никто другой не сможет протянуть вам руку помощи.

— Ага, трусили, сэр спаситель, — хохотал Браццано. — Бессильны, так заблеяли овечкой! Ну, позовите к себе вашего Спасителя, авось тот покрепче будет.

Не успел он договорить кощунственной фразы, как Ананда подал блюдо сэру Уоми. Тот наклонился над ним, перебростил какой-то тоненькой деревянной палочкой, бриллиант на свою тарелку, придержал его этой палочкой и, достав небольшой флакон, облил чем-то бесцветным камень. Поднеся свечу, он поджёг жидкость, и она горела на его тарелке тихо и ровно, точно спирт.

Браццано, не спуская глаз с огня, молчал; но лицо его выражало такую муку, будто жгли его самого.

Я посмотрел на сэра Уоми и был поражен тем выражением сострадания, которое отражалось на его чудесном лице.

Огонь погас. Сэр Уоми велел мне протереть оставшийся невредимым бриллиант и подать его Браццано.

— Что же, цел? Чья взяла? Кто кому будет теперь рабом? — хрипел Браццано, дрожащими руками вырвав у меня своё сокровище.

Но едва он прикоснулся к нему, как с диким криком уронил на стол.

— Дьявол, дьявол, что вы с ним сделали? — завопил он, как зверь.

Сэр Уоми протянул руку и тихо сказал:

— Умолкни. Я предупредил тебя, несчастный человек, что теперь никакая светлая сила тебя уже спасти не может. Ты не способен вынести прикосновения любви и света и умрёшь мгновенно. Последнее, чем я могу помочь тебе, — это уничтожить мерзкую связь между тобою и теми, потерявшими человеческий облик, предавшимися чёрной магии кощунственными существами, которым ты обещал отдать жизнь за власть, славу и богатство.

Он велел мне палочкой, которую мне подал, снять феску с головы Браццано и бросить её в камин. Я обсыпал её порошком и по приказанию И. вернулся на место.

— Я ничего не сделал с вашим камнем, — снова заговорил сэр Уоми. — Просто тот наговор, который — как вы уверяли — превышает все силы света, оказался ничтожным обманом, а не истинным знанием. Вы совершили два больших преступления. Вы отдали два — правда, украденных вами, — состояния и обещались быть семь лет в рабстве у шарлатана и кощунника, давшего вам камень. Теперь вы видите, куда это всё привело вас. Подойдя к камину, сэр Уоми поджёг порошок. Никогда не

забуду, что произошло через миг. Раздался грохот, точно разорвался снаряд. В чёрном дыму камина завыл ветер. Женщины вскрикнули, — новее продолжалось несколько коротких мгновений.

— Сидите все спокойно. Никакой опасности нет, — раздался голос сэра Уоми.

Когда дым рассеялся, все взоры обратились к Браццано. Совершенно идиотское и скотское выражение было на его лице.

— Возьми флакон, Левушка, протри этим платком лоб, лицо и шею несчастного, — сказал сэр Уоми, подавая мне через стол небольшой пузырёк и платок.

Побеждая отвращение, с состраданием, которое разрывало мне сердце, я выполнил приказание.

Через некоторое время лицо несчастного стало спокойнее, пена у рта исчезла. Он озирался по сторонам, и всякий раз, как взгляд его падал на чудесный бриллиант, его передёргивало; нечто вроде отвращения и ужаса мелькало на его лице, как будто в сверкающих лучах камня он видел что-то устрашавшее его.

Некоторое время среди царившего молчания слышалось лишь прерывистое дыхание Браццано, да изредка не то стон, не то вздох.

— Молодой человек, — внезапно обратился он ко мне, — возьмите от меня этот камень. Только в одном вашем сердце было милосердие, и вы не побрезговали мною. Я не говорю о трёх этих людях, — указал он на сэра Уоми, Ананду и И., — От их прикосновения я бы умер. Но здесь сидят те, кого я баловал немало, как например любимчика Леонида. И ничего, кроме ужаса и страха, как бы моя судьба не испортила ему жизнь, я в его сердце сейчас не читаю. В одном вашем сердце, в ваших глазах я вижу слезу сострадания. Спасибо. Возьмите эту вещь, пусть она сохранит вас в жизни, напоминая вам, как я погиб.

— О, нет, нет, этого не может быть! Не может погибнуть человек, что бы он ни сделал, если он встретил сэра Уоми. Я буду молить моего великого друга Флорентийца, наконец упрошу Али помочь вам. Прошу вас, не отчаивайтесь, — заливаясь слезами, сорвался я с места, точно подхваченный бурей. И никто не успел опомниться, как я обнял Браццано за шею и поцеловал его. Я стал перед ним на колени, призывая мысленно Флорентийца и моля его облегчить судьбу несчастного. Из глаз Браццано скатились две слезы.

— Это первый чистый поцелуй, который мне дали уста человека, — тихо сказал он. — Освободите же меня, возьмите камень, он меня невыносимо давит; пока он будет тяготеть надо мною, я жить не смогу.

Я посмотрел на сэра Уоми, вспоминая, как он говорил, что следует быть осторожным, принимая от кого-то вещи.

— Вещь, Левушка, сама по себе теперь безвредна. Но принимая её, ты берёшь на себя обет сострадания всем несчастным, гибнущим в когтях зла. И взяв её сегодня, ты должен будешь идти путём не только борьбы со злом, но и защиты всех страдальцев, закрепощенных страстями и невежеством, — сказал он мне.

— Когда Флорентиец бежал со мной через поля, спасая меня от смерти, он не дожидался моих просьб. Когда Ананда дал мне одежду дервиша, он нёс мне милосердие, о котором я его не просил. Когда он и И. вызвались помочь моему брату, они, как и вы, сэр Уоми, шли легко и просто. Я мал и невежествен, но я рад служить Браццано — вот этому, освобожденному вами, — и не вижу в этом подвига; так же как я буду стараться защищать и утешать всех падающих под тяжестью собственных страстей.

В то время как я говорил это, я увидел, что рука спутника Браццано тянется по скатерти к камню. Зрелище этой красной, волосатой руки, выпяченных, что-то шептавших губ, с вожделением, жадностью и каким-то тайным страхом глядящих на камень выпуклых глаз и вытянутой вперёд маленькой головки доктора Бонда было так отвратительно и вместе с тем мерзко-комично, — что привлекло внимание всех, и многие стали невольно смеяться.

Заметив, что его поведение всё равно привлекло всеобщее внимание. Бонда привстал, ещё дальше вытянул руку, но никак не мог ухватить камень. Обводя стол своими шарящими чёрными глазками, он сказал:

— Браццано, не делайте глупостей; подайте мне камень. Я его спрячу, а потом передам куда надо, — и снова всё будет хорошо.

Он, видимо, старался переменить свою неудобную позу, но не имел сил разогнуться.

— Последняя просьба, сэр Уоми. Разрешите мальчику взять камень и развяжите меня с этим ужасным Бондой. Перед ним я не виноват ни в чём. Скорее, он ввергал меня во всё новые и новые бедствия, — сказал Браццано.

— Вы уже освобождены от всех гадов, что шипели вокруг вас. Вспомните: когда вы несли на себе этот камень, впервые став его владельцем, вы встретили высокого золотоволосого человека. Что он сказал вам? — спросил сэр Уоми.

— Я отлично помню, как он сказал мне: "Добытое кровью и страданием, кощунством и грабежом не только не принесёт счастья и власти; оно несёт рабство, яд и смерть самому владельцу. Если чистый

поцелуй сострадающего сердца не осушит слезу на твоей щеке — страшен будет твой конец!" Тогда я не придавал никакого значения этим словам и смеялся ему в лицо. Теперь — свершилось, — закончил Браццано.

— Приказать мальчику я не могу, как не внушал я ему этот поцелуй сострадания. Он сам — только он один — может решить в эту минуту свой вопрос, — ответил сэр Уоми.

Я взглянул на сэра Уоми, но он не смотрел на меня. Глаза И. и Ананды, Анны, Строганова были тоже опущены вниз. Никто не хотел или не мог помочь мне в этот трудный момент. Я взглянул на капитана и увидел, что только его глаза, полные слёз, смотрели на меня так ободряюще, так ласково, что мне сразу стало легко. Я собрал все силы, позвал Флорентийца и... точно увидел его улыбающимся в круглом окне. Я засмеялся от радости, взял камень и сказал Браццано:

— Я исполню легко и весело ваше желание. Но у меня нет ничего, что я мог бы предложить взамен. Что будет в моих маленьких силах — я буду рад для вас сделать.

На лице Бонды отразилось злобное разочарование, и он убрал, наконец, "свою руку.

— Ступайте отсюда, — тихо сказал ему сэр Уоми. — А вы, капитан, помогите Браццано добраться до дому и вернитесь сюда, — обратился он к моему доброму другу.

— Браццано, всё, что я могу для вас сделать, — это помочь вам укрыться в Тироле у моих друзей. Если вы хотите, капитан даст вам каюту на своём пароходе и довезёт вас до С. Там вас встретят и проводят до места, где ваши сообщники не дерзнут вас преследовать, — сказал сэр Уоми.

— Выбора у меня нет, — ответил тот. — Я согласен. Но ведь всё равно меня и там найдут и убьют мои вчерашние спутники, — безнадежно, опустив голову и помолчав, прибавил он.

— Идите смело и ничего не бойтесь. Страшно не внешнее, а внутреннее ваше разложение, — всё так же тихо и твёрдо сказал сэр Уоми.

Капитан подошёл к Браццано, помог ему встать и увёл из комнаты, поддерживая его согнувшееся по-стариковски тело.

Вслед за их уходом все встали из-за стола, и часть общества перешла в кабинет Строганова. Когда все сели, я увидел, что кроме моих друзей здесь только муж и жена Строгановы, Анна и Леонид.

— Анна, во многом, что произошло сегодня, есть часть твоей вины, — сказал сэр Уоми. — Два года назад Ананда сказал тебе, чтобы ты покинула этот дом и сожгла феску Леонида. Ты не сделала ни того, ни другого. Но ты

одержала над собой другую победу, — и у Ананды была ещё возможность взять на себя охрану твоей семьи. Когда он приехал сейчас, чтобы радостно увезти тебя в Индию, где ты должна была начать иную полосу жизни, он нашёл тебя в сомнениях, ревности, мыслях о своей молодости и красоте, увядающей без личного счастья.

Тот кусок материи, что прислал Али, я не могу тебе передать. Из неё шьют в Индии хитоны людям, видящим счастье жизни в освобождении от страстей. Ты же стала жаждать страсти.

Остальное — буря, от которой тебя спас Ананда и куда ты дала себя увлечь Браццано, — то только твоя тайна; и о ней говорить я здесь не буду.

Теперь трудись ещё семь лет, учись, работай в гуще простой жизни серых дней. Помоги Жанне достичь самообладания и храни пока её детей. Помогай князю; не дичись людей и не мечтай о жизни избранных. Не скупись на музыку; расточай людям сокровища своего дара. Играй и пой им, но не бери денег за свою музыку.

Нет времени, нет пространства как ограничения на пути вечного совершенствования человека. Радуйся, что испытание пришло сейчас и раскрыло тебе самой, как шатко твоё сердце.

Не плачьте, Елена Дмитриевна. Тяжёлый и страшный урок вам показал, как, решившись на компромисс, будешь всё глубже увязать в нём и кончишь падением.

Внесите теперь мир в свою семью, которую вы разбили. И поставьте своего младшего сына в нормальные условия, он должен трудиться. А для мужа постарайтесь быть доброй и заботливой сестрой милосердия, так как это по вашей вине он считает себя больным, на самом же деле ваш вечный страх заразил и его и выразился в мнимой болезни. Это были последние слова сэра Уоми.

В дверях комнаты появилась высокая фигура капитана. Сэр Уоми ласково ему улыбнулся, простился со всеми, и мы вышли на улицу, отказавшись от экипажа Строганова.

Я был счастлив вырваться из этого дома на воздух. Увидя небо в звёздах, вспомнил Флорентийца, как ехал с ним в повозке, ночью, по степи, к Ананде.

Каким тогда я чувствовал себя одиноким и брошенным! Теперь же, — ощутив, как нежно взяли меня под руку И. и капитан, как ласково смотрели на меня сэр Уоми и Ананда, — чувствовал себя в их защитном кольце, словно в неприступной, радостной крепости.

Я ещё раз мысленно поблагодарил Флорентийца, который дал мне возможность узнать всех этих людей и жить подле них.

Глава 24. НАШИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

Точно в девять часов на следующий день я стучался в двери сэра Уоми.

Каково же было моё изумление, когда, вместо работы, я нашёл сэра Уоми в дорожном костюме и в прихожей увидел увязанный чемодан.

В комнате был капитан, передававший сэру Уоми билеты на пароход. Он, очевидно, пришёл незадолго до меня. Лицо его было очень бледно, как будто он всю ночь не спал. А я, по обыкновению, вечером провалившийся в глубокий сон, ничего не знал о том, как мои друзья провели ночь.

Заметив мой расстроенный вид, сэр Уоми погладил меня по голове и ласково сказал:

— Как много разлук пришлось тебе пережить. Девушка, за последнее время. И все ты пережил и переживаешь тяжело. С одной стороны, — это показывает твою любовь и благодарность людям. С другой, — говорит об отсутствии ясного знания, что такое земная жизнь человека и как он должен ценить свой каждый день, не растрачивая его на слёзы и уныние.

Скоро, всего через несколько дней, ты уедешь с И. в Индию. И новые страны, через которые ты будешь проезжать, кое-где останавливаясь, и новые люди, их неведомые тебе обычаи и нравы — всё поможет расшириться твоему сознанию, толкнёт твою мысль к новому пониманию вещей.

Пройдёт несколько лет, мы с тобой увидимся; и годы эти — твои счастливейшие годы — мелькнут, как сон. Многие из того, что ты увидел и услышал за это короткое время, лежит сейчас в твоём подсознании, как на складе. Но ты не только поймёшь всё, что там копишь, но и перенесёшь большую часть в своё творчество.

На прощанье, мой дорогой секретарь, возьми от меня вот эту цепочку, надень на неё очищенный силой любви камень Браццано; и носи на груди, как знак вечной памяти о милосердии, обет которого ты сам добровольно принял. Где только возможно, — будь всегда милосерден и не суди никого. Любовь знает помощь; но она не знает наказаний и осуждения. Человек сам создаёт свою жизнь; а любовь, даже когда кажется, что она подвергает человека наказанию, — только ведёт его к высшей форме жизни.

Завет мой тебе: никогда, нигде и ни с чем не медли. От кого бы из нас ты ни получил весть — выполни тотчас же приказ, который она несёт; не

вдаваясь в рассуждения и не жди, пока у тебя где-то внутри что-то созреет. Эти промедления — только доказательство неполной верности; и ты видел, к чему привели они Анну, как разъяли сомнения мост, ею же самой выстроенный, к уже сиявшему ей новому пути освобождения.

Этот камень, принесший людям столько горя и слёз, очищен такой же силой любви и сострадания, какая бросила тебя в объятия гада и заставила задрожать слезу в его глазах, не знавших никогда пощады. Твой поцелуи принёс ему привет закона вечности: закона пощады.

На этой цепочке, кажущейся тебе столь великолепной, сложены слова на языке, которого ты ещё не знаешь. Они значат: "любя побеждай". Я вижу, — засмеялся сэр Уоми, — ты уже решил изучить этот язык.

— Ах, сэр Уоми, несмотря на кашу в моей голове и огорчения, одним из которых является разлука с вами, я ясно сознаю, как я невежествен. Я уже дал себе однажды слово изучить восточные языки, когда ничего не понимал в речах Али и Флорентийца. Теперь этому моему слову пришло новое подкрепление.

И я подставил шею сэру Уоми, надевшему мне собственной рукой камень с цепочкой.

— Этот камень был украден у Флорентийца. На вершине треугольника были ещё крест и звезда из изумрудов. Когда ты приобретёшь полное самообладание и такт, ты, по всей вероятности, получишь их из рук самого Флорентийца. Теперь же он просил меня надеть камень милосердия тебе на шею. А моя цепь пусть свяжет тебя со мной.

В любую минуту, когда тебе будет казаться, что трудно воспитать себя, что недостижимо полное бесстрашие, — коснись этой цепочки и подумай о моей любви и верности тебе. И сразу увидишь, как, единаясь в красоте и любви, легко побеждать там, где всё казалось непобедимым.

Он обнял меня, я же едва сдерживал слёзы и был полон такой тишины, мира и блаженства, какие испытывал минутами только подле Флорентийца.

В комнату вошли И. и Ананда. Лица их были совершенно спокойны, глаза-звёзды Ананды сияли, как и подобает звёздам; и оба они, казалось, совсем не были расстроены предстоящей разлукой с сэром Уоми.

Этого я никак не мог взять в толк. Поглядев на капитана, я увидел на его лице отражение своей собственной скорби. Как ни ценил я своих высоких друзей, но с капитаном чувствовал себя как-то в большем ладу, чем с ними. Мне казалось, что непереступаемая грань лежит между мною и ими; точно стена иногда отделяла меня от них, а между тем никто из них преград мне не ставил ни в чём.

Ананда взглянул на меня — опять точно череп мой приподнял — и

смеясь сказал: — Стена стене рознь.

Я покраснел до корней волос, И. и сэр Уоми улыбнулись, а капитан с удивлением смотрел на меня, не понимая ни моего смущения, ни реплики Ананды, ни улыбок остальных.

Глубоко растроганный напутствием сэра Уоми, я не сумел выразить ничем своей благодарности вовне. Я приник устами к его маленькой, очаровательно красивой руке, мысленно моля его помочь мне сохранить навек верность всему, что он сказал мне сейчас.

Вошёл слуга сэра Уоми и доложил, что князь прислал спросить, может ли он видеть его. Сэр Уоми отпустил нас всех до двенадцати часов, прося зайти к нему ещё раз проститься, так как в час его пароход отходит. Он приказал слуге просить князя, с которым мы столкнулись в дверях.

Мне было тяжело, и я инстинктивно жался к капитану, сердце которого страдало так же, как моё. Среди всех разнородных чувств, которые меня тогда раздирали, я не мог удержаться, чтобы не осудить равнодушие моих друзей при разлуке с сэром Уоми.

Как мало я тогда разбирался в душах людей! Только много позже я понял, какую трагедию победило сердце Ананды в это свидание с сэром Уоми, И какой верной помощью, забывая о себе, были и он, и И. моему брату во всё время моей болезни в Константинополе и до самого последнего вечера, когда столкновение с Браццано дошло до финала у Строгановых.

И. не говорил мне, что погоня за нами всё продолжалась и концы её были в руках Браццано и его шайки. Как потом я узнал, ночь перед отъездом сэра Уоми все мои друзья провели без сна. Они отдали её капитану, наставляя его к будущей жизни, а также объясняя ему, где и как он должен оставить Браццано.

И. не сказал мне ни слова, а самому мне было невдомёк, как тревожила его дальнейшая жизнь Жанны и Анны и всей семьи Строгановых, поскольку своим участием во всём этом деле он брал на свои плечи ответ за них.

— Ничего, Левушка, не смущайся. Ты уже не раз видел, как то, что кажется, вовсе не соответствует тому, что есть на самом деле, — сказал мне И.

Я посмотрел ему в глаза, — и точно пелена упала с глаз моих. — О Лоллион, как мог я только что почувствовать какое-то отчуждение? И я мог подумать, что ваше сердце было равнодушно?

— Не равнодушием или горечью и унынием движется жизнь, а радостью, Левушка. Той высшей радостью, где нет уже личного восприятия

текущей минуты; а есть только сила сердца — любовь, — где ни время, ни пространство не играют роли. Любовь не судит; она радуется, помогая. Если бы я не мог забыть о себе, а стонал и горевал бы о том, что разлука с сэром Уоми лишает меня общества любимого друга и его мудрости, — я бы не имел времени думать о тебе, твоём брате, Жанне, княгине и ещё тысяче людей, о которых ты и не подозреваешь в эту минуту.

Живой пример великого друга сэра Уоми, который ни разу за всё время моего знакомства с ним не сосредоточил своей мысли на себе; который сам делал всё, о чём говорил другим, вводил меня в тот высокий круг активной любви, где равнодушие, уныние и страх не существуют как понятия.

Капитан с Анандой повернули в сад, мы же с И. пошли к себе. Я рассказал ему всё, о чём говорил мне сэр Уоми, и показал подаренную им цепочку, которую он сам, продев в неё камень, надел мне на шею.

— Вот тебе, Левушка, наглядный пример того, какая разница между тем, что только кажется людям справедливостью, и тем, что на самом деле происходит по истинным законам целесообразности. Чтобы получить такую цепочку, тысячи людей затрачивают годы жизни. Иногда они всю жизнь добиваются победы над какими-то своими качествами, мешающими им двигаться дальше: трудятся, ищут, падают, борются, — наконец этого достигают, как кажется им и окружающим. А на самом деле, перед лицом истинных законов жизни, — стоят на месте.

Ты, мальчик, ничем — по законам внешней справедливости — не заслужил того счастья, которое льётся на тебя как из рога изобилия. Ты и сам не раз за это время, окруженный высшим счастьем, считал себя одиноким и несчастным, — ласково говорил И.

К нам вошёл капитан, но заметив, что у нас идёт серьёзный разговор, хотел уйти к себе.

— Вы не только не помешаете, дорогой капитан, но я буду рад, если вы побудете с Левушкой до прихода парохода. Ни вам, ни ему не следует провожать сэра Уоми, так как он ещё многих должен принять; а для Хавы, которая задержится здесь ещё несколько дней и, быть может, отправится домой на вашем пароходе, у него останется только несколько минут пути от дома до набережной. Я не сомневаюсь, что обоим вам это тяжело; но ведь вы оба достаточно осчастливлены. Берегите своё счастье и уступите немного другим. И. вышел, и мы остались вдвоём с капитаном. Обоим нам было одинаково тяжело, что мы не проводим сэра Уоми и не будем видеть его милого лица до последнего мгновения. Капитан курил папиросу за папиросой, иногда ходил по комнате и ерошил свои и без того торчавшие ёжиком волосы.

Мы внутренне приводили себя в порядок, как бы совершая свой духовный туалет перед последним свиданием с сэром Уоми в двенадцать часов, как им было назначено. Наконец, я решился прервать молчание и сказал: — Капитан, дорогой друг, не сердитесь, что я нарушаю молчание, хотя и вижу, что вам совсем не хочется говорить. Но мне надо поделиться с вами, какими мыслями я сейчас жил и как нашёл в них успокоение.

Каждый из нас получил от сэра Уоми так много. Лично мне одно его присутствие давало даже физическое ощущение блаженства. Не говоря уже о совершенно особенном состоянии внутреннего мира, когда всё кажется понятным, ничего не нужно, кроме как следовать за ним. Я понял сейчас, что это станет возможным только тогда, когда я самостоятельно решу свои жизненные вопросы. Когда научусь твёрдо стоять на собственных ногах, не ища помощи со всех сторон, как это делаю сейчас.

Должно пройти какое-то время, и я определю для себя свой путь в творчестве, найду силы крепко держать себя в руках, — вот тогда я могу пригодиться сэру Уоми, как ему нужны сейчас И. и Ананда.

Я рад, что первое лёгкое испытание меня больше не расстраивает. Сколько времени пройдёт до нового свидания с сэром Уоми, не знаю, но я думаю только об одном: достойно прожить каждую минуту разлуки, не потеряв ни мгновения попусту.

— Ты совершенно прав, друг; надо быть достойным всего того, что мы получили от сэра Уоми, Ананды и И. Но ты теряешь только одного из них, а я теряю не только всех троих, но и тебя. С кем могу я теперь, когда я понял глубочайший смысл жизни, поделиться своими новыми мыслями? Я и прежде-то был замкнут и носил прозвище: "ящик с тайнами". Кому же теперь я могу высказывать свои мысли, как буду искать тот путь единения, о котором говорят мои новые друзья?

— Я, конечно, ничего ещё не знаю и мало чего понимаю, капитан. Но я видел, как стал вам понятен язык музыки. У вас появилась теперь новая платформа для понимания Лизы и её матери. И вы сами как-то говорили, что много думаете о Лизе и написали ей письмо.

Это раз. Второе — разве между вами, мною и ещё сотней простых людей и нашими высокими друзьями лежит пропасть? Хоть раз вы видели, чтобы они показали людям своё превосходство? Чтобы они презирали кого-то? Или обошли своей помощью, если могли помочь? Хоть раз вы их видели тяготящимися той или иной встречей? Так и мы; сколько можем, должны стараться следовать их примеру.

Третье — если я теряю сэра Уоми и Ананду, сохраняя близость И., то из опыта потерь, разлук, разочарований и горя последних месяцев я понял

только одно: люби до конца, будь верен до конца, не бойся до конца, — и жизнь пошлет вознаграждение, какого не ждешь и откуда не ждешь.

— Мальчишка мой, милый философ! Пока я ещё ни разу не любил до конца, не был верным до конца и не был храбрым до конца; а утешение от твоей кудрявой рожицы уже получил, — весело расхохотался капитан.

Ну, вот что. Скоро одиннадцать. Поедем-ка в садоводство и привезём цветов, Левушка.

— Ох, капитан, у сэра Уоми в его собственном саду такие цветы, что лучше уж нам не срамиться.

Капитан напялил мне на голову шляпу, мальчишески засмеялся и потащил на улицу.

Очень быстро мы нашли коляску и покатали к его другу — садоводу. Подгоняемый обещанным вознаграждением, кучер забыл о своей константинопольской лени, и вскоре мы предстали перед садоводом.

Капитан оставил меня у деревца с персиками, которые хозяин любезно предложил мне есть сколько хочется, и они ушли в оранжерею.

Не успел я ещё насладиться как следует персиками, как он появился, неся цветы в восковой бумаге. Хозяин уложил их в корзиночку с влажной травой, обвязал и подал мне. Она была довольно тяжёлая.

Когда мы ехали обратно, я спросил моего спутника, почему он не показал мне цветы, точно это была заколдованная красавица.

— Цветы эти и есть красавицы. Они очень нежны и так чудесны, что ты немедленно превратился бы в "Лёвушку-лови ворон", если бы я тебе их показал. А у нас времени в обрез.

— Ну, хоть скажите, как зовут ваших таинственных красавиц? — спросил я с досадой.

Капитана рассмешила моя раздражённость, и он сказал: — Философ, их зовут фрезии. Это горные цветы, их родина Индия. Но если ты будешь сердиться, из белых они станут чёрными.

— Ну, тогда вам придется подарить их Хаве; сэру Уоми чёрных красавиц больше не надо. Довольно и одной, — ответил я ему в тон.

Капитан весело смеялся, говорил, что я всё ещё боюсь Хавы, и что, наверное, моё "не бойся до конца" относится к обществу Хавы.

— Очень возможно, — ответят я, вспоминая письмо Хавы, которое я получил в Б. — Но, во всяком случае, если она когда-нибудь и будет жить в моём доме, то я буду её бояться меньше, чем вы боитесь сейчас Лизы и всего того, что должно у вас с нею произойти, — брякнул я, точно попугай, которых носят по Константинополю, они вытаскивают билетика «судьбы» и подают любопытным их будущее в виде свёрнутого в трубочку билетика.

Удивление капитана было столь велико, что он превратился в соляной столб.

Не знаю, чем бы это кончилось, если бы мы не подъехали в эту минуту к дому и не встретились с Анандой и Хавой, шедшими к сэру Уоми.

— Возьмите ваших красавиц, — сказал я, подавая капитану цветы.

— Каких красавиц? — спросил Ананда.

— Белых, для сэра Уоми, если они ещё не почернели, — очень серьёзно сказал я. — Если же почернели, то... — Замолчишь ли ты, каверза-философ?! — вскричал капитан. Хава заинтересовалась, каких это ещё красавиц не хватало сэру Уоми. — Горных, — шепнул я ей.

— Нет, это невыносимо! Неужели вы притащили ему козлёнка? — смеялась она, обнажая все свои белые зубы.

— Вот-вот, из самой Индии; если только этот козлёнок не позавидовал вашей коже и не сделался чёрным.

— Левушка, ну есть же границы терпению, — воскликнул капитан, начиная чуть-чуть сердиться.

Ананда погрозил мне, взял из моих рук корзинку и развязал её. Вынув цветы из бумаги, он сам издал восклицание восторга и удивления.

— Фрезии, фрезии! — закричала Хава. — Сэр Уоми очень хотел развести их у себя в саду! Ему будет очень приятно. Да они в горшках, в земле и во мху! Ну, кто из вас выдумал такого козлёнка, тот счастливее. Если бы я умела завидовать, непременно позавидовала бы.

— Пожалуйста, не завидуйте, а то вдруг они и вправду почернеют, — сказал я, любясь какими-то невиданными "роскошными" цветами. Крупные, белые, как восковые, будто тончайшим резцом вырезанные колокольчики необычайной формы наполнили прихожую ароматом.

Капитан взял один горшок, мне дал другой. Когда я стал отказываться, уверяя, что идея и находка — его, он улыбнулся и шепнул мне:

— Одна фрезия — я; другая — Лиза. Вы шафер. Идите и молчите наконец.

— Ну, уж Лиза — фрезия, — куда ни шло. Но вы, — вы ужасно любимая, но просто физия, — так же шёпотом ответил я ему.

— Эти китайчата будут до тех пор разводить свои китайские церемонии и топтаться на месте, пока не опоздают, — сказал Ананда с таким весёлым юмором, что мне представилось, будто его тонкое, музыкальное ухо уловило, о чём мы шептались. Я не мог выдержать, залился смехом, которому ответил смех сэра Уоми, отворившего дверь своей комнаты.

Увидав наши фигуры с горшками цветов, имевшие, вероятно, довольно комичный вид, сэр Уоми сказал: — Да это целая свадьба! — Он ласково

ввёл нас в комнату, взял у каждого цветок и обоих обнял, благодаря и говоря, что разведёт по клумбе фрезии в своём саду, присвоив им название морской и сухопутной.

Очень внимательно осмотрев цветы, сэр Уоми позвал своего человека и вместе с ним упаковал их в нашу корзинку, обильно полив водой и цветы, и прикрывавшую их траву, приказав завернуть корзинку в несколько слоев бумаги и в грубое мокрое полотно. Слуга исполнил приказание и вместе с вынырнувшим откуда-то Верзилой, взявшим чемодан, пошёл на пристань.

Много народа было здесь. Были и такие, кого я совсем не знал; кое-кого видел мельком; а из хорошо знакомых присутствовали только турки, Строганов и князь.

Для каждого у сэра Уоми находилось ласковое слово. Мне он сказал:

— Ищи радостно, — и всё ответит тебе. Цельность чувства и мысли скорее всего приведут тебя к Флорентийцу. О брате не беспокойся. Выработай ровное отношение к нему. Наль — не Анна.

Я приник к его руке, ошеломленный этими словами, служившими ответом на самые затаённые мои мысли.

Все проводили сэра Уоми до коляски, в неё сели И., Ананда и Хава. Я спросил И., не навестить ли нам с капитаном Жанну, на что он ответил одобрением, сказав, что зайдёт с Анандой за нами.

Экипаж завернул за угол и скрылся из глаз. Вздых сожаления вырвался у всех, а князь плакал, как ребёнок. Я подошёл к нему и предложил пойти с нами к Жанне, говоря, что туда приедут И. с Анандой, как только проводят сэра Уоми.

Он согласился, попросил подождать его несколько минут, видимо обрадовавшись случаю не оставаться сейчас дома. Я понимал его состояние, потому что у самого горла ощутил рыдание и подавил его с большим трудом. Как ум ни говорил мне, что надо сделать над собой усилие и перейти в иное, не унылое настроение, — ощущение моё снова было близким к тому, что я испытывал в комнате брата, сжигая письма.

— Какая страшная вещь — разлука, — услышал я голос капитана, как бы отголосок собственной мысли.

— Да. Надо что-то понять, какой-то ещё неведомый нам смысл всего происходящего. Научиться воспринимать всё так, как говорит и делает сэр Уоми: "Не тот день считай счастливым, который тебе принёс что-то приятное; а тот, когда ты отдал людям свет своего сердца". Но мне до этого ещё так далеко, — сказал я со вздохом.

— Для тебя далеко, — задумчиво ответил мне капитан, — а для меня, боюсь, и вовсе недостижимо.

Князь вышел к нам, извиняясь, что заставил ждать и мы пошли по знойным, как раскалённая печь, улицам, ища тени, что мало, впрочем, помогало.

В магазине мы застали обеденный, — или вернее, связанный с жарой, как всюду в Константинополе, — перерыв. Анна сидела внизу у шкафа, в кресле, за работой, а Жанна всё ещё лежала наверху, хотя уже поднималась ненадолго и пыталась работать.

Анна была бледна, она похудела. Но в глазах её уже не было убитого выражения и того отчаяния, какое я видел в них здесь же, во время разговора с сэром Уоми.

На низкий поклон капитана она приветливо улыбнулась и протянула ему левую руку, говоря, что не может оставить зажатых в правой руке цветов.

Он почтительно поцеловал эту дивную руку со сверкавшим на ней браслетом. "Боже мой, — думал я. — Как страдание и соприкосновение с людьми, одарёнными силами высшего знания, меняют людей! Ещё так недавно я видел эту гордую красавицу возмущённой откровенным мужским восхищением капитана. И он, стоящий перед нею сейчас так уважительно, с такими кроткими и добрыми глазами, — да куда же подевались капитан-тигр и Анна с иконы? Тех уже нет; нет до основания; а живут новые, — вместо тех, умерших".

Я превратился в "Лёвушку-лови ворон", мысли закипели в моей голове, насканивая друг на друга, одна другую опрокидывая, не доходя ни в чём до конца, — точно решая вопрос, лучше ли, надо ли, так меняться, — умирать людям, превращаясь в совершенно иные существа? Зачем?

Мне казалось, я вижу и слышу вопли и стоны тысяч душ, носящихся среди хаоса и оплакивающих свои заблуждения, непоправимые ошибки и молящих о помощи.

— Левушка, что с вами? — услышал я нежный и слабый голосок Жанны.

— Ах, это вы, Жанна? — вздрогнул я, опомнившись. — Я хотел к вам подняться, да, по обыкновению, задумался и тем вынудил вас спуститься вниз, — ответил я, здороваясь с Жанной.

— О, это ничего. Князь мне помог сойти. Ах, Левушка, как же вы переменялись после болезни. Вы ничуть не похожи на господина младшего доктора, который утешал меня на пароходе. Дети спят, а то, пожалуй, они бы вас сейчас и не узнали. Вы совсем, совсем другой; только я не умею сказать и объяснить, в чём перемена, — говорила Жанна, усаживая меня и князя в углу магазина.

— Всегда кажется, что переменились люди, которых видим, потому что в самом себе перемену человек замечает с трудом. И только если что-нибудь огромное входит в его жизнь, — только тогда он отдаёт себе отчёт, как он переменился, как выросли его силы и освободился дух.

Вы, Жанна, кажется мне не только изменившейся, но вы точно сгорели; и вместо прежней Жанны я вижу страдающее существо. Что с вами, дорогая? Ведь нет никаких причин так тосковать и плакать, — нежно целуя крохотную, детскую ручку Жанны, сказал я.

— Ах, если бы вы знали, вы бы не целовали этой руки, — вытирая катившиеся слёзы, ответила мне Жанна. — И перед князем я виновата, и перед Анной, и перед И., ах, что я только наделала и как мне теперь всё это исправить? — сквозь слёзы бормотала бедняжка. — Я бы уже была здорова, если бы раскаяние меня не грызло. Нигде не нахожу себе покоя. Только когда лежу в кровати, — может, от полога, которым доктор И. закрыл мой уголок, веет на меня успокоением. Когда мне бывает очень плохо, я прижмусь к нему лицом — и станет на сердце тихо!

Я случайно взглянул на Анну и поразился перемене в ней, Склонившись вперёд, глядя неотрывно на Жанну, точно умоляя её замолчать, она сжимала в руках работу, а слёзы капали на её грудь одна за другой. Я понял, какая мука была в ней, как она оплакивала предназначавшийся ей и не полученный хитон, наш отъезд без неё и своё неверное в эту минуту поведение.

— Анна, — крикнул я, не будучи в силах выдержать её муки. — Отсрочка — не значит потеря. Анна, не плачьте, я не в силах видеть этих слёз; я знаю, что значит в тоске безумно рыдать, словно на кладбище.

Не думайте сейчас о себе. Думайте об Ананде; о том огромном горе, разочаровании и ответе его за вашу ошибку, которые легли на него, — упав перед ней на колени, говорил я. — Скоро, сейчас, Ананда и И. придут сюда. Неужели возможно встретить их таким убийственным унынием, после того как они проводили сэра Уоми? Неужели любовь, благодарность и радость, что они живут сейчас с нами, могут выражаться только в слезах о себе.

— Встаньте, Левушка, — обнимая меня, сказала Анна. — Вы глубоко правы. Только горькая мысль об одной себе заставила меня опять плакать. А между тем, я уже всё поняла, и всё благословила, и всё приняла.

Сядьте здесь возле меня на минуту, дружок Левушка. Поверьте, я уже утихла внутри. Это отголосок бури, с которым вы вовремя помогли мне справиться. Много лет я думала, что в сердце моём живёт одна светлая любовь. Я убедилась, что там ещё лежала, свернувшись, змея ревности и сомнений.

Слава Богу, что она развернулась и раскрыла мне глаза. Ананда получил удар, но всё же смог удержать меня возле себя так, чтобы я не выпустила его руки из своей. Вы напомнили мне, что мои слёзы задевают всё его существо, что он их ощущает, как слёзы гноя и крови. Я больше плакать не буду; вас благодарю за ваши слова, они помогли мне.

Она вытерла глаза, подошла к Жанне и, нежно её обняв, вытерла и её слёзы платком сэра Уоми.

Надрыв, который я пережил, почти лишил меня чувств. Я неподвижно сидел в кресле; сердце моё билось, как молот; в спине, по всему позвоночнику точно бежал огонь; я с трудом дышал и, как мне казалось, падал в пропасть.

— Левушка, ты всех здесь напугал, — услышал я голос Ананды и увидел его возле себя. — Выпей-ка вот это; я думал, что ты сильнее; а ты всё ещё слаб, — и он подал мне рюмку с каплями.

Вскоре я совсем пришёл в себя, спросил, где И., и узнав, что он прошёл к Строганову и вскоре тоже будет здесь, совсем успокоился.

Я обвёл всех глазами, заметил, что Хава пристально смотрит на меня, в то время как все остальные имеют смущённый вид. Я взял руку Ананды, неожиданно для него поднёс её к губам и сказал:

— Простите мне, Ананда, Я немного половиворонил, чем всех расстроил и привёл в такое состояние, что они теперь больше похожи на утопленников. Вот, вы тоже думали, что я крепче; и я обманул ваше доверие. Это мне очень больно; я постараюсь быть сильнее. Но ведь это всё пошло от вашей дервишской шапки, — улыбнулся я.

— Нет, мой мальчик, ничьего доверия ты не обманул. И никто здесь не мог обмануть и не обманул меня. Всё, что вышло не так, как я предполагал, совершилось только потому, что я был в старинном долгу и хотел поскорее вернуть его сторицей. Я не понял, что не следует так ускоренно двигать людей вперёд. Зов даётся однажды; я же дал его дважды, за что и понесу теперь ответ.

Я не всё понял. Какой, когда и зачем даётся зов? Но я понял, что он дал его вторично Анне и что этого не надо было делать.

Голос Ананды — и всегда неповторимо прекрасный — нёс в себе на этот раз такую нежность, утешение, такую простую доброту, что все утихли, всем стало легко, чисто, радостно. Лица у всех прояснились и стали добрыми. Каждый точно вобрал в себя кусочек энергии самого Ананды, и когда через некоторое время вошли И. и Строганов, — ни на одном лице уже не было ни тени уныния и слёз.

Разбившись кучками, я и Жанна, князь и И., капитан и Строганов, Анна

и Ананда, — все как будто окрылённые и обновленные, обменивались простыми словами; но слова эти получали какой-то новый смысл от сияния и мира в каждом сердце.

— Друзья мои. Через день нас покинут капитан и Хава. Завтра мне хотелось бы, прощаясь, угостить их музыкой. Можно ли располагать вашим залом, Анна? — спросил Ананда.

— Как можете вы спрашивать об этом? Ваши песни и игра всем несут столько счастья! Мне же сэр Уоми велел играть и петь людям как можно больше. А уж о восторге музицировать с вами я и не говорю, — ответила она.

Перерыв в работе закончился. Радуюсь завтрашней музыке, мы покинули магазин, где с его хозяйками остался только Борис Федорович.

И. с Анандой и князем не смущались зноем и шли довольно быстро, оставив нас с капитаном далеко позади. Я еле двигался; зной, к которому я ещё не привык, всего меня истомил, а капитан остался вместе со мной, желая что-то сказать. Когда расстояние между нами и нашими друзьями увеличилось настолько, что расслышать нас было нельзя, он сказал:

— У меня к вам просьба. Я получил сейчас из дома так много денег, что мне их некуда девать. Я хочу часть отдать Жанне — с тем условием, чтобы она никогда не узнала, кто их ей дал. Я знаю, что И. обеспечил ей первые годы работы; знаю и то, что княгиня, до некоторой степени, позаботилась о детях. Но мне хотелось бы влить уверенность в это бедное существо, которое страдает, страдало и, не знаю почему, как и откуда, но я ясно это сознаю, — будет ещё очень много страдать.

За свою скитальческую жизнь я повидал такие существа, — по каким-то, неуловимым для моего понимания законам, — страдающие всю жизнь, даже когда на это нет особых, всем видимых причин.

Сам я уже не успею положить в банк на её имя деньги, так как эта операция займёт не менее двух часов. А дел у меня — ведь я прогулял почти весь день сегодня — будет масса.

Вторую же часть денег я прошу вас взять себе. И если встретите людей, которым моя помощь будет оказана вашими руками, — я буду очень счастлив.

Ну, вот мы и у калитки. До свидания, дружок Левушка. По всей вероятности, мы увидимся только завтра вечером у Анны. Возьмите деньги.

Он сунул мне в руки свёрток, довольно небрежно завернутый в бумагу, и мигом скрылся.

В комнате я застал И., рекомендовавшего мне освежиться душем. Но я чувствовал такое сильное утомление, что еле добрал до кресла и сел в

полном изнеможении, нелепо держа свёрток в руках и не зная, что с ним делать.

На вопрос И., почему я не положу куда-нибудь свой свёрток, я рассказал, что это деньги капитана и как он велел ими распорядиться. При этом я передал всё, что думал капитан о Жанне.

— Молодец твой капитан, Левушка. Что касается денег для Жанны лично, — то он предупредил желание сэра Уоми, который велел мне обеспечить её. Как капитан угадал мысль сэра Уоми о фрезиях, так и вторую его мысль привёл в действие, никем к тому не побуждаемый!

Что касается денег, отданных в полное твоё распоряжение, — думаю, что капитан хотел их подарить тебе, дружок, чтобы и ты чувствовал себя независимым в дальнейшем, пока сам не заработаешь себе на жизнь.

— О нет, дорогой И., капитан в очень простых отношениях со мною. И если бы он хотел дать их лично мне, — он поступил бы, как молодой Али, оставив их в письме. У меня нет сомнений в этом, и лично себе я бы их и не взял никогда. Думаю, что я слишком неопытен и, быть может, не сумею распорядиться ими как следует.

Но — при вас — и это отпадает. Одно только ясно мне, что деньги эти я употреблю — во имя Лизы и Анны — на покупку инструментов талантливым беднякам-музыкантам, если таких встречу до нового свидания с капитаном. Если же не встречу или вы не укажете мне иного им применения, — деньги вернутся к нему. И я очень хотел бы, Лоллион, услышать об этом ваше мнение.

— Поступи, как знаешь, дружок. Запретов тут быть не может. Но почему ты решил, что не оставишь себе этих денег? Разве твой брат не мог бы нуждаться в них?

— Мой брат — мужчина и чрезвычайно благородный человек. Если он решил жениться, — значит, он не настолько беден, чтобы не иметь возможности обеспечить жену. А если бы я узнал, что он нуждается, то пошёл бы в какую угодно тяжёлую кабалу, но послал бы ему только то, что смог заработать сам.

Я и так в бесконечном долгу у вас, у Флорентийца и у молодого Али. Конечно, я в долгу и у брата. Но если я могу ещё рассчитывать возвратить ему свой долг, то уж вам — я никогда не смогу вернуть и сотой доли.

— Всё это предрассудок, Левушка. Человек закрепощает себя долгами и обязанностями. Иногда он настолько тонет в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба, подгоняемого со всех сторон плёткой долга. А смысл жизни — J в освобождении. Только то из добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто.

Принимай всё, что посылает лично тебе жизнь; совершенствуйся, учись и рассматривай себя как канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми, которым страдаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встреченным всё то, что поймёшь от нас и через нас. Всё высокое, чего коснёшься, неси земле; и выполнишь свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радость и мир твоей собственной звенящей любви.

— Далеко ещё, Лоллион, мне до всей той мудрости, которую я слышу и вижу в вас. Я самых пропетых вещей не умею делать. Всё раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о Флорентийце, поступать так, как будто бы вы стоите рядом, — и при первой же неприятности споткнусь, разгорячусь — и всё полетело вверх дном.

— Пока ты будешь повторять себе, — от ума, — что я рядом с тобой, — твоё самообладание будет подобно пороховой бочке. Но как только ты почувствуешь, что сердце твоё живёт в моём и моё — в твоём, что рука твоя в моей руке, — ты уже и думать не будешь о самообладании как о самоцели. Ты будешь вырабатывать его, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу. И времени думать о себе у тебя не будет... И. помолчал, думая о чём-то, и продолжал: — Сегодня мы с тобой не будем обедать с князем, которому надо обо многом переговорить с Анандой. Если ты отдохнул, мы можем поехать с тобой к нашему другу-кондитеру, заказать ему торт к завтрашнему вечеру и у него же поесть. Но предварительно мы заехали бы в банк: у меня там есть знакомый, который быстро сделает нам всё, — и уже завтра Жанна будет извещена о том, что она владелица некоего состояния. При её французской буржуазной психологии это будет огромным для неё облегчением в жизни.

Я был очень благодарен И. за его неизменную доброту. У меня вертелся на языке вопрос о Генри, о Браццано: хотел бы я спросить кое-что о Хаве, — но ни о чём не спросил, побежал в душ, и вскоре мы уже были в огромном зале банка, где сотни вращающихся под потолком вееров не могли умерить жары.

Одна часть денег была положена на имя Жанны, с правом пользоваться ими как угодно. Вторая была переведена на моё имя по адресу, указанному И., с какими-то мудрёными индийскими названиями, никогда мною не слышанными.

Пока мы сидели в банке, ожидая исполнения нашего заказа, я жаловался И., что ничего не могу подарить капитану, давшему мне на память такое великолепное кольцо.

— Не горюй об этом. Капитан очень счастливый человек. Он получил

от Ананды кольцо как залог их вечной дружбы. Ананде капитан вернул вещь, имеющую для него очень большое значение. Вообще теперь путь капитана не будет одиноким, и Ананда всегда подаст ему помощь.

Тебе же я могу вручить платок сэра Уоми, точно такой же, какой получила Анна. Если хочешь, — подари ему и заверни в него книжку, которую я тебе дам. Ты можешь написать ему письмо и положить всё к нему на стол. Он вернётся и будет радоваться этому подарку больше, чем всем драгоценностям, которые ты мог бы ему подарить.

Я от всей души поблагодарил И., сказав только: "Опять всё от вас!"

Через некоторое время нас вызвали к кассовому окошку, всё было оформлено, и мы пошли к кондитеру, покинув банк почти в минуту его закрытия.

На улице уже не было душливой жары, слегка потянуло влагой с моря, — и я ожил.

— Трудно тебе будет привыкать к климату Индии, Левушка. Надо будет снестись с Флорентийцем и получить указания, как закалить твоё здоровье, — задумчиво сказал И., беря меня под руку.

— Велел мне сэр Уоми ездить верхом, заниматься гимнастикой и боксом, а моя вторая болезнь всё перевернула, — ответил я.

Дойдя до кондитерской, мы отдали хозяину наш заказ на завтра. Я просил его приготовить непременно такой же торт, какой был сделан для принца-мудреца. Накормив нас опять на том же уединённом балконе, хозяин сообщил новость, взбудоражившую Константинополь.

На этой неделе произошли невероятные события. Один из самых больших богачей города, некто Браццано, и около десяти его приятелей — таких же биржевых воротил, державших в своих руках весь торговый Константинополь, оказались шайкой злодеев, объявили себя банкротами и разорили тем самым половину города, в том числе и некоторых друзей кондитера. Часть злодеев успела бежать, часть арестована; а где находится главарь их, Браццано, никто пока не знает.

Мы выслушали его рассказ, посочувствовали горю его приятелей и вернулись домой.

Мысли о Браццано и слова сэра Уоми о том, что мой поцелуй перенёс силу мирового закона пощады в его ужасную жизнь, не давали мне покоя. Я опять стал внутренне раздражаться от обилия каких-то таинственных событий и готов был крикнуть: "Я ненавижу тайны", — как услышал голос И.:

— Левушка, не всё то тайна, чего ты ещё не понимаешь. Но если ты собираешься обрадовать милого капитана и написать ему письмо, то в

состоянии раздражения, в которое ты впал, ничего не только радостного, но и просто путного не сделаешь.

Возьми мою руку, почувствуй мою к тебе любовь и постарайся, вместе с этим платком сэра Уоми, передать всю свою чистую и верную дружбу капитану.

Приготовь в своей душе такое же тщательно прибранное рабочее место, как это сделал на твоём столе капитан, поставив тебе цветы, которых ты до сих пор не заметил.

Пиши ему не письмо, обдумывая стиль и каждое слово. А брось ему цветок твоей молодой души, полной порыва той высокой любви, которая заставила тебя дать поцелуй падшему, но разбитому и униженному существу.

Дай капитану такой же прощальный привет, как давали тебе его и Флорентиец, и сэр Уоми. Они думали только о тебе. Думай и ты только о нём. Постарайся войти в его положение; подумай о предстоящей его жизни и представь себя в таких же обстоятельствах.

Любовь к человеку поведёт твоё перо с таким тактом, что капитан поймёт и увидит в лице твоём друга не временного, в зависимости от меняющихся условий; а друга неизменно верного, готового явиться на помощь по первому зову и разделить все несчастья или всю радость.

И. стоял, обнимая меня, голос его звучал так ласково. Я точно растворился в каком-то покое, радости, благоговении. Всё мелкое, ничтожное отошло прочь. Я увидел самый высокий, скрытый от всех, храм человеческого сердца, о котором не говорят, но который движет и животворит всё, что ему встречается.

Мне стало хорошо. Я взял из рук И. синий платок, пошёл в его комнату за обещанной книгой и вернулся к себе, чтобы сесть за письмо.

Не много писем писал я на своём веку с такой радостью и с такой умилённой душой, как писал в этот раз капитану. Точно само моё сердце водило моим пером, так легко и весело я писал.

"Мой дорогой друг, мой храбрый капитан, который ещё ни разу в жизни не любил до конца, не был ни верен, ни бесстрашен до конца, — писал я. — В эту минуту, когда я переживаю разлуку с Вами, — и кто может знать, как долго продлится она, — сердце моё открыто Вам действительно до конца. И все мысли моей ловиворонной головы, как и все силы сердца, принадлежат в эту минуту Вам одному.

Пытки разлуки, так томящей людей, пытки неизвестности, заставляющей оплакивать любимое существо, покидающее нас для нового периода неведомой жизни, — не существует для меня.

Я знаю, что как бы ни разлучила нас жизнь и куда бы ни забросила она каждого из нас, — Ваш образ для меня не страница жизни, не её эпизод. Но Вы мой вечный спутник, доброта и любовь которого — так незаслуженно и так великодушно мне отданные — вызвали во мне ответную дружескую любовь, верность которой сохраню и навсегда, и до конца.

Я не могу сейчас определить, как и чем я мог бы отплатить Вам сколько-нибудь за всю Вашу нежность и баловство. Но я знаю твёрдо, что куда бы и когда бы Вы меня ни вызвали, — если моя маленькая помощь Вам понадобится, — я буду подле Вас.

Ваше желание относительно Жанны уже исполнено. И завтра она будет владелицей своего капитала, за что — я не сомневаюсь — боги воздадут Вам должное тоже "до конца".

Вторая часть денег, отданная Вами в моё личное распоряжение, назначается мною для помощи бедным музыкальным талантам. Во имя Лизы и Анны, как бы я хотел когда-нибудь услышать Лизу, я буду покупать инструменты и помогать учиться юным талантам Вашим именем, капитан.

Я не ручаюсь, что, обнимая Вас, держа Ваши тонкие, прекрасные руки в своих при нашей разлуке, — я не заплачу. Но это будут только слёзы балованного Вами ребёнка, теряющего своего снисходительного и ласкового покровителя.

Тот же мужчина, который Вам пишет сейчас, благоговейно целует платок сэра Уоми, который просит Вас принять на память, как и книгу И. И этот же друг-мужчина говорит Вам: между нами нет разлуки. Есть один и тот же путь, на котором мы будем сходиться и расходиться, но верность сердца будет жить до конца. Ваш Левушка-лови ворон".

Я запечатал письмо, завернул книгу И. в платок и обернул в очаровательную, мягкую, гофрированную и блестящую, как шёлк, константинопольскую бумагу, обвязал ленточкой, заткнул за неё самые лучшие, белую и красную, из роз капитана и отнёс к нему в комнату, положив свёрток на ночной столик.

Спать мне не хотелось. Я вышел на балкон и стал думать о сэре Уоми. Как и где он теперь? Как едут с ним и доедут ли фрезии капитана? Посадит ли он их в своём саду?

Через несколько минут ко мне вышел И. и предложил пройтись. Мы спустились в тихий сад, кругом сверкали зарницы и вдали уже погромыхивал гром. Всё же мы успели подышать освеженным воздухом, поговорили о планах на завтра, условились о часе посещения княгини и Жанны и вернулись в дом с первыми каплями дождя, столь необычно редкого в это время года в Константинополе.

Утро следующего дня началось для меня неожиданно поздно. Почему-то я проспал очень долго. Никто меня не разбудил, и сейчас в соседних комнатах стояла полная тишина.

Я как-то не сразу отдал себе отчёт, что сегодня последний день стоянки капитана; что завтра к вечеру ещё одна дорогая фигура друга исчезнет из моих глаз, плотно поселившись в моём сердце и заняв там своё место.

"Не сердце, а какой-то резиновый мешок, — подумал я. — Как странно устроен человек! Так недавно в моём сердце царил единственный человек — мой брат. Потом — точно не образ брата сжался, а сердце расширилось — засиял рядом с ним Флорентиец. После там поселился, властно заняв не менее царское место, сэр Уоми. Теперь же там живут уже и И., и оба Али, и капитан, Ананда и Анна, Жанна и её дети, князь и даже княгиня. А если внимательно присмотреться, — обнаружу там и Строгановых, и обоих турок, и... Господи, только этого не доставало, — самого Браццано".

Уйдя в какие-то далёкие мысли, я не заметил, как вошёл И., но услышал, что он весело рассмеялся.

Опомнившись, я хотел спросить, почему он смеется, как увидел, что сижу на диване, держа в руках рубашку, в одной туфле, завёрнутый в мохнатую простыню.

— Ты, Левушка, через двадцать минут должен быть со мною у Жанны; мы ведь с тобой вчера об этом договорились. А ты ещё не оделся после душа, и, кажется, нет смысла ждать тебя.

Страшно сконфуженный, я заверил, что будем у Жанны вовремя. Я молниеносно оделся и у парадных дверей столкнулся с Верзилой, принесшим мне записку от капитана.

Капитан писал, что дела его идут неожиданно хорошо и что он ждет меня к обеду у себя на пароходе в семь часов, с тем чтобы к девяти часам быть вместе у Анны.

Я очень обрадовался. И. одобрил предложение капитана, а Верзила сказал, что ему ведено в шесть с половиной зайти за мной и доставить в шлюпке на пароход.

Мы помчались к Жанне. Я был так голоден, что, не разбирая жары и тени, бежал без труда и ворчания.

— Я вижу, голод лучшее средство для твоей восприимчивости к жаре, — подтрунивал надо мною И., уверяя, что Жанна не накормит меня, что в праздник ей тоже хочется понежиться и отдохнуть.

Но Жанна была свежа и прелестна, немедленно усадила нас за стол, и французский завтрак был мною и даже И. оценен по достоинству.

Когда мы перешли в её комнату, где весь угол с кроватью был задёрнут

новым, необыкновенным пологом, Жанна показала нам бумагу из банка, полученную ею рано утром, содержания которой, написанного по-турецки и английски, она не понимала.

И. перевёл ей на французский язык смысл бумаги. Жанна, с остановившимися глазами, в полном удивлении, молча смотрела на И.

Долго, томительно долго просидев в этой напряжённой позе, она наконец сказала, потирая лоб обеими руками:

— Я не хочу, я не могу этого принять. Поищите, пожалуйста, кто это мне послал.

— Здесь никаких указаний нет, даже не сказано, из какого города прислано. Говорится только: "Банк имеет честь известить г-жу Жанну Моранье о поступлении на её имя вклада, полной владелицей которого она состоит со вчерашнего дня", — прочел ей ещё раз выдержку из банковской бумаги И.

— Это опять князь. Нет, нет, невозможно. От денег для детей я не имела права отказаться; но для себя, — нет, я должна работать. Вы дали мне в долг так много, доктор И., что не все ваши деньги ушли на оборудование магазина. И мы с Анной заработали уже гораздо больше, нежели рассчитывали. Я должна вернуть это князю.

— Чтобы вернуть князю эти деньги, надо быть уверенной, что их вам дал он. В какое положение вы поставите себя и его, если ему и в голову не приходило посылать деньги! Успокойтесь. Вы вообще за последнее время слишком много волнуетесь; и только поэтому так неустойчиво ваше здоровье. Час назад вы походили на свежий цветок, а сейчас вы больная старушка, — говорил ей И. — Всё, в чём я могу вас уверить, так это то, что ни князь, ни я, ни Левушка — никто из нас не посылал вам этой суммы. Примите её смиренно и спокойно. Если удастся, — сохраните её целиком для детей. Быть может, встретите какую-нибудь мать в таком же печальном положении, в каком вы сами оказались на пароходе, — и будете счастливы, что ваша рука может передать ей помощь чьего-то доброго сердца и, возможно, спасёт несчастных от голода и нищеты.

— Да! Вот это! Это действительно может заставить меня принять деньги неизвестного мне добряка, который не хочет сам делать добрые дела, — снова потирая лоб, как бы желая стереть с него какое-то воспоминание, сказала Жанна.

— Что с вами, Жанна? Почему вы снова чуть не плачете? Зачем вы всё трёте лоб? — спросил я, не будучи в силах переносить её страдания и вспоминая, что сказал о ней капитан.

— Ах, Левушка, я в себя не могу прийти от одного ужасного сна. Я

боюсь его кому-нибудь рассказать, потому что надо мной будут смеяться или сочтут за сумасшедшую. А я так страшусь этого сна, что и вправду боюсь сойти с ума.

— Какой же сон видели вы? Расскажите нам всё, вам будет легче, а может быть, мы и поможем вам, — сказал ласково И.

— Видите ли, доктор И., мне снилось, что страшные глаза Браццано смотрят на меня, а кто-то, как будто Леонид, — но в этом я не уверена, — даёт мне браслет — ну точь-в-точь как Анна носит, — и нож. И Браццано велит мне бежать к князю в дом, найти там Левушку и передать ему браслет. А если меня не будут пускать, то хоть убить, но Левушку найти. И я бегу. Бегу по каким-то улицам; нахожу дом; вбегаю в комнату и уже знаю, где найти Левушку, как кто-то меня останавливает. Я борюсь, умоляю, наконец слышу голос Браццано: "Бей или я тебя убью", хватаю нож... и всё исчезает, только ваше лицо стоит передо мной, доктор И. Такое суровое, грозное лицо...

И я просыпаюсь. Не могу понять, ни где я, ни что со мной... Засыпаю, и снова — тот же сон. Это, право, до такой степени ужасно, что я рыдаю часами, не в силах преодолеть кошмар, в страхе, что я снова увижу этот сон.

— Бедняжка Жанна, — взяв обе её крохотные ручки в свои, сказал И. — Ну где же этим ручкам совершить убийство? Успокойтесь. Забудьте навсегда этот сон, тем более что Браццано, совершенно больного, увезли из Константинополя. Он живёт сейчас где-то в окрестностях. Ваш страх совершенно неоснователен. Перестаньте думать обо всём этом. И моё лицо вспоминайте и знайте ласковым, а не суровым. Отчего вы отказались сегодня идти к Анне слушать музыку? — всё держа её ручки в своих, спросил И.

— Анне я сказала, что побуду с детьми. И правда, я их и так забросила в последнее время. Если бы не Анна, — плохо бы им пришлось. Но на самом деле я не могу без содрогания видеть ни Строганову, ни Леонида. Почему я их стала так бояться, — сама не знаю. Но в их присутствии дрожу с головы до ног от каких-то предчувствий.

— Страх — плохой советчик, Жанна. Вы — мать. Какая огромная ответственность на вас. Чтобы воспитать своих малюток, вы прежде всего сами должны воспитывать себя. У вас нет не только выдержки с детьми; но вы в последнее время внушаете им постоянный страх; в любую минуту они ждут от вас окрика или шлепка.

Мужайтесь, Жанна. Разные чувства жили в вас по отношению к Анне. Только теперь, когда вы увидели, что Анна — вторая мать вашим детям и

настоящая воспитательница, вы смирились, и лишь изредка в вашем сердце шевелится ревность.

Ваша девочка умна не по летам. Это организм очень тонкий, богато одарённый. Думайте, что ей придется жить в условиях более сложных, чем прожили свою молодость вы. Остерегайтесь постоянного раздражения с детьми. Незаметно между вами и ими может вырасти пропасть. Они перестанут видеть в вас первого друга, и как бы вы ни любили их, — не поверят вашей любви, если вы постоянно говорите с ними раздражённым тоном.

— Я всё это понимаю, — и ничего не могу сделать. Раньше я думала, что характер легко исправить. Но теперь вижу, что не могу и часа сохранить спокойствие, — отвечала Жанна.

— И всё же — пусть это и вызывает в вас протест — думайте прежде о детях, а потом уж о себе, — сказал И., подымаясь и пожимая руки Жанне.

Я заметил, что она опять просветлела, лицо перестало морщиться и дёргаться и на губах мелькнула улыбка.

Прощаясь с нами, она спрашивала, скоро ли мы уезжаем, едем ли снова на пароходе с капитаном, на что И. отвечал, что уедем мы скоро, а каким путём — ещё не решили.

— Как это будет для меня ужасно! Остаться здесь без вас, — я даже не представляю и гоню эти мысли от себя. Я так привязана к вам, доктор И., и в особенности к Левушке. Я вижу в вас моих единственных благодетелей.

— Жанна, Жанна, — сказал я с упрёком. — Разве только мы помогли вам на пароходе? А капитан? Его заботы о вас вы уже забыли? А то, что здесь, рядом с вами, живёт и трудится Анна? Анна, ни разу не давшая вам почувствовать своего превосходства? А вы в своей благодарной памяти сохраняете только нас? Тогда как обо мне вообще не может быть и речи, что я не раз уже пытался вам объяснить.

— Да, Левушка, и это всё я понимаю. И князя я ценю, и всех, всех. Но ничего не могу поделать; всё же доктор И. останется для меня недостижимым божеством; капитан — знатным сэром, в доме которого меня, шляпницу, дальше передней или туалетной и не пустили бы; а вы для меня — всё равно что родное сердце. Я всем очень благодарна, знаю, что всем должна отслужить за их доброту, а вам, уверена, могу ничем никогда не отслуживать. И если у вас будет дом, то я в нём всегда найду приют, хотя буду стара и безобразна. Не умею, не знаю, как это сказать, — я такая глупая, — тихо прибавила Жанна.

У неё текли слёзы по щекам, и я не мог видеть, что бедняжка так много плачет.

— Жанна, — обнимая её, сказал я. — Это потому вы чувствуете такую уверенность во мне, что я точно такой же ребёнок, неопытный и неумелый в жизни, как и вы. И правда, я принял вас и ваших детей в моё сердце. Но и другие, — ещё больше, чем я, — поступают по отношению к вам так же. Но вы способны видеть и понимать только моё сердце. И не можете ни видеть, ни понимать сердца людей, стоящих выше вас. Потому и думаете только обо мне одном.

Я поцеловал обе её ручки. И. сказал ей, что Хава вернётся только после музыки; но чтобы она ни о чём не волновалась и легла спать, приняв его лекарство.

Мы пошли домой; но на сердце у меня стало тяжело. Мне было жалко Жанну. Я сознавал, что она не сможет создать ни себе, ни детям спокойной, радостной жизни. Как-то особенно ясно представилась мне её будущая жизнь. И я почувствовал, что, окруженная вниманием и заботами и князя, и Анны, она не будет ни откровенна, ни дружна с ними, так как её культура не даст ей увидеть их внутренней силы, к которой можно прильнуть, а доброту их она будет принимать за снисхождение к себе. — Что, Левушка, сложности жизни донимают тебя? — Донимают, Лоллион, — ответил я, уже не поражаясь больше его умению проникать в мои мысли. — И не то досадно мне, что сила в людях так бездарно растрачивается на вечные мысли только о себе. Но то, что человек закрепощает себя в этих постоянных мыслях о бытовом блаженстве и элементарной близости. Он поверяет другому свои тайны и секреты, недалеко уходящие от кухни и спальни, воображает, что это-то и есть дружба, и лишает свою мысль силы проникать интуитивно в смысл жизни; тратя бездарно свой день, человек не ищет не только знаний, но даже простой образованности. И в такой жизни нет места ни священному порыву любви, ни великой идее Бога, ни радостям творчества. Неужели быт — это жизнь?

— Для многих миллионов — это единственно приемлемая жизнь. А для всего человечества — неминуемая стадия развития. Чтобы понять очарование и радость раскрепощения, надо сначала осознать себя в рабстве от вещей и страстей. Чтобы понять мощь свободного духа, творящего независимо, надо хотя бы на мгновение познать в себе эту независимость, в себе ощутить полную свободу, чтобы желать расти всё дальше и выше; всё чище и всё проще сбрасывает с себя ярмо личных привязанностей тот, кто осознал жизнь как вечность.

Обыватель считает свою жизнь убогой, если в ней не бушуют страсти, если он не имеет возможности блистать. Отсюда — от жажды славы, богатства и власти — приходят люди к тому падению, какое случилось с

Браццано. Но есть и худшие. И только избранник по своей внутренней сердечной доброте и запросам, а внешне — ничем не выделяющийся человек — может отвлекаться идеями и мыслями, о которых ты сейчас говорил.

Великие встречи, встречи, переворачивающие жизнь человека, редки, Левушка. Но зато имевший однажды такую встречу внезапно перерождается и уже не возвращается больше на прежнюю дорогу, к маленькому, обывательскому счастью. Он уже знает, что такое Свет на пути.

Подходя к дому, мы повстречались с Анандой и князем, возвращавшимися в экипаже домой. Ананда приветливо поздоровался, пытливо на меня посмотрел и, улыбаясь, спросил: — Как, Левушка? Сердце пощипывает! А почему не плачешь? — Приберегаю к вечеру. Боюсь, вдруг сегодня не заплачу от вашей человеческой виолончели и ваших песен.

— Почему это моя виолончель человеческая? А какая ещё бывает? — смеялся Ананда, наполняя металлом всё вокруг.

— Ваша виолончель поёт человеческим голосом, поэтому я её так и назвал. Какая ещё бывает виолончель — не знаю. Но что ваш смех, конечно, "звон мечей", — это знаю теперь уже наверное, — вскричал я.

— Дерзкий мальчишка! Вот заставлю же тебя плакать вечером. — Ни, ни, и не думайте! На завтра для капитана надо приберечь слезинку на прощание. А то вы ведь ненасытны! Вам — всё до конца. Ан — и ему надо!

Не только Ананда, но и И. с князем смеялись, я же залился хохотом и убежал к себе.

Через некоторое время оба моих друга вошли в мою комнату. — Ну, трусишка, убегающий от звона мечей с поля сражения, признавайся, какую ещё каверзу придумал ты мне? — шутил Ананда.

— Вам я каверзы придумать не в силах. Вы вмиг всё рассеете, только взглянете своими звёздами.

— Как? — прервал меня Ананда. — Так я не только звон мечей, но и звёзды?

— Ну, тут уж я не виноват, что мать жизнь дала вам глаза-звёзды. Это вы с неё спросите. А вот что сказать капитану? Я еду к нему на пароход обедать. Что ему от вас передать? — спросил я, представляя себе радость капитана, если бы Ананда послал ему привет.

— Это хорошо, что ты так верен другу и думаешь о нём. Пойдём со мною; я, может быть, что-нибудь для него и найду.

Мы спустились по винтовой лестнице прямо к Ананде, в его

очаровательную комнату.

Как здесь было хорошо! Какая-то особенно лёгкая атмосфера царила здесь, Я сел в кресло и забыл весь мир. Так и не ушёл бы отсюда вовек. Я наслаждался гармонией, окружавшей меня.

Не знаю, минуту я просидел или час, но отдохнул — точно неделю спал.

— Отдай капитану. Пусть передаст эту вещь своей жене, когда вернётся домой после свадьбы, — подавая мне небольшой странной формы футляр из фиолетовой кожи, сказал Ананда.

— А я и не знал, что капитан скоро женится, — беря футляр, заметил я.

— Он женится, быть может, и не так скоро, но во всяком случае в следующее ваше свидание он будет уже женат.

— Ах, как бы я хотел услышать игру Лизы! Лучше ли, чем Анна? И такой ли захват в её игре, что дышать не можешь? До чего я глуп! А в вагоне всё примерялся к Лизе и раздумывал, любит ли она меня, — залившись смехом, вспоминал я свои вагонные размышления.

— Когда будешь обедать с капитаном, не говори ему ничего о Лизе. Даже не спрашивай, поедет ли он в Гурзуф, пусть даже он сам когда-то говорил тебе об этом.

— Это ваше приказание, Ананда, я должен хорошенько запомнить, так как хотел непременно поговорить с ним о Лизе. Теперь, конечно, воздержусь.

— И мой запрет не вызывает в тебе ни протеста, ни возмущения? — Как могу я протестовать против ваших запретов, раз я верю вам и по собственному опыту знаю, как вы угадываете мысли и как правильно определяете каждого человека. Я боюсь только словиворонить и по рассеянности чего-нибудь не брякнуть, — отвечал я Ананде.

Глава 25. ОБЕД НА ПАРОХОДЕ. ОПЯТЬ БРАЦЦАНО И ИБРАГИМ. ОТЪЕЗД КАПИТАНА. ЖУЛИКИ И ОЛЬГА

Верзила, не смевший нарушить морскую дисциплину, уже стучался в дверь, говоря, что время ехать, не то опоздаем. Вскоре мы подъезжали к пароходу.

Капитан уже издали стал махать мне фуражкой, а когда я поднялся по трапу, обнял меня, засверкал тигром и вообще был таким, каким я увидел его в первый раз в Севастополе.

Радужный хозяин, угощавший меня в своей капитанской каюте, горячо благодарил за подарки и, главное, за письмо, которое сделало его, как он выразился, богаче. Потому что ещё никто и никогда не говорил ему о такой преданности и в таких простых, но много значащих словах.

— Впервые я не раздумывал, не сомневался, а сразу почувствовал, что каждое ваше слово — правда. И не могу выразить, как дорожу я платком и книжкой. Платок в моём кармане, а книжка у изголовья. Пока буду жив — с ними не расстанусь.

— Вот вам ещё один привет — от Ананды. Это отдадите вашей жене, когда привезёте её после свадьбы домой, — сказал я, подавая капитану футляр.

— Что же здесь такое? — с удивлением глядя на меня, спросил он.

— Не знаю, не видел, — боясь вымолвить что-нибудь лишнее, отвечал я.

Капитан открыл футляр, и невольный крик изумления вырвался у него.

Он протянул мне футляр, и я увидел точно такой же медальон, какой И. приказал Строгановой отдать Анне, как похищенный, только поменьше. Так же в него были врезаны фиалки из аметистов и бриллиантов, и надет он был на цепочку из этих же камней.

Я молча рассматривал эту вещь, думая о Лизе. Какое-то беспокойство поднималось во мне. Я не понимал, почему у каждого из окружающих меня друзей был какой-то свой особый талисман, свой цветок и, непонятная мне, но совершенно особая, своя линия поведения.

— О чём вы так задумались, Левушка? Вы думаете о моей жене?

— Нет, капитан. Я ведь не знаю, кто будет вашей женой и на какой прелестной шее будет красоваться этот медальон. Но я думаю, что если Ананда дал вам кольцо с аметистом и передаёт вашей жене такой же камень, — то он, очевидно, думает, что между вами и ею будет царить гармония в каких-то главных основах жизни. Следовательно, за вас можно не беспокоиться. И. говорит, что Ананда не только мудрец, но и принц.

— Не знаю, принц ли он по крови, и сомневаюсь в этом, — задумчиво сказал капитан, — но что сила его мудрости и величие его духа настолько выше обычных, что их можно назвать царственными, — это вне всяких сомнений!

— Конечно, капитан, вне всяких сомнений. Но того, кто видит чужое совершенство и не может достичь совершенства сам, — оно, точно недостижимое сокровище, только раздражает и бередит. А чтобы заразиться желанием самому встать на путь вечного совершенствования, — не только надо иметь силу это понять, но и от многого отказаться. А между тем И. говорил мне как-то на днях, что путём отказов и ограничений ни к какому творческому выводу прийти нельзя. Что скука добродетели — один из основных предрассудков. Вот тут и пойми!

— Я это очень хорошо понял здесь, в Константинополе, — сказал капитан. — Если вправду любишь, — даже не замечаешь, как отказываешься от чего-нибудь. И даже не отказываешься, а просто отбрасываешь то, что прежде казалось ценным. Посмотрел другими глазами, — и увидел, как противно то, из-за чего готов был драться.

Капитан спрятал футляр в секретер, посмотрел на часы и предложил мне выйти на палубу.

Неожиданно для меня уже опускался вечер. На небе проглядывали звёзды, и такими же звёздами была усеяна вода, освещаемая массой огней и огоньков на судах, стоявших вокруг точно густой лес. Огромное судно капитана, уже нагруженное и готовое завтра только взять пассажиров да случайный груз, стояло далеко в море. Чарующая панорама города и сновавшие между пароходами шлюпки и катера отвлекли моё внимание от капитана. Но тут я увидел, что он перегнулся и зорко всматривается в плывущие лодки. Он снова посмотрел на часы и сказал: — Хава точна. Сэр Уоми воспитал её хорошо. — Хава? При чём же здесь Хава?

— Подождите здесь, Левушка. Пока я не вернусь, не уходите отсюда. Если хотите, проследите за этой большой шлюпкой, которой правит ваш друг Верзила и где посередине стоит паланкин.

С этими словами капитан исчез, и через некоторое время я услышал его

голос далеко внизу, у трапа.

Как много было пережито мною на этом пароходе до бури, в самую бурю и после неё! И где тот мальчик, который приехал в азиатский город отдохнуть подле единственного брата-отца? Мысли вихрем уносили меня, я ушёл от действительности, забыл, где я нахожусь, и вдруг услышал голос И.: "Не подходи ни в коем случае к Браццано. Даже если бы он умолял тебя всем милосердием неба. Зло, укоренившись в человеке, не так легко уходит. Ничего от него не бери и ничего ему не давай".

Я был сбит с толку. Подумал, что на этот раз я уж, наверное, впал в ересь слуховой галлюцинации, как увидел Верзилу и ещё троих матросов, с большим трудом вносивших на палубу закрытый паланкин. Впереди шла закутанная в плащ Хава, а сзади капитан и Ибрагим с отцом.

Когда паланкин выровнялся на палубе и матросы остановились, отирая пот с мокрых лиц, мне показалось, что я встретился взглядом с Браццано, слегка отодвинувшим занавеску.

Через минуту матросы вновь подняли паланкин и остановились уже в противоположном конце палубы, у каюты люкс, в которой мы с И. плыли из Севастополя.

Неопределённое чувство досады, что такое ужасное существо поселится в прекрасной каюте, где жил И., жгучий, пронзительный взгляд Браццано, так не похожий на глаза, из которых скатилась слеза за столом у Строгановых, услышанные мною слова И., точно прилетевшие ко мне по эфирным волнам, — всё грозило мне лови-воронным состоянием, и тут я услышал, как Хава, произнесла повышенным тоном: — Нет и нет. Этого я допустить не могу.

— Но я должен ему передать, если меня просят, — услышал я второй голос, в котором тотчас же узнал Ибрагима.

— Это дело только вашей совести. Но, по-моему, ваш отец поступил неправильно, разрешив вам говорить с Браццано. Сэр Уоми дал точные указания, чтобы все его сношения с внешним миром, — пока он не будет водворён в назначенное место, — шли через меня и вашего отца. Взявшись выполнить поручение, ваш отец с первых же шагов нарушил данные ему указания.

— Да нет, Хава, Браццано бросил мне эту записку из паланкина, прося передать Левушке, А если Левушка не согласится её прочесть, я должен сказать ему, чтобы он вернул ему его камень. Друзья Браццано сообщили ему, что ещё можно поправить его здоровье, лишь бы он снова завладел этим камнем. Всё это Браццано мне шептал, пока ему приготавливали носилки. И отец ни о чём не знает, — говорил Ибрагим, и ветерок нёс ко

мне все его слова.

— Ещё того лучше! Неужели вы не понимаете, что предаёте отца, обещавшего сэру Уоми точно выполнять его приказание?

— Вы всё преувеличиваете, Хава. Ну, ведь Левушка — не "внешний мир"?

— Ну конечно, Левушка — это печёнка Браццано. А вы — вы тоже не "внешний мир"? Вы только тот шаткий часовой, на которого положиться нельзя. И вот эта ваша ошибка сейчас повлекла за собой целую серию перемен и путаницу. За вас будут теперь служить сэру Уоми другие, а вы должны с парохода уехать, — продолжала Хава.

— Недаром о вас говорят, как о пунктуальном человеке, в ущерб живому смыслу вещей. Я обещал — и должен передать записку.

— Образумьтесь, Ибрагим. Вы обещали? Да ведь вы молили Ананду оказать вам доверие. Вы клялись ему и сэру Уоми, что выполните всё с величайшей точностью, хотя никто от вас клятв не требовал. Отец ваш говорил, что путешествие будет тяжёлым, он тоже не хотел вас брать. Вы настаивали, обещали и ему полностью повиноваться. А теперь вы сбросили со счетов свои первые обещания и желаете выполнить третье? Злой мучитель, бездушный палач Браццано для вас важнее сэра Уоми и отца?

— Я вас больше не хочу слушать, Хава. Всякий отвечает за себя. Левушка не младенец: как сам решит, так и будет.

Разговор прекратился. Я собрал все свои мысли, постарался ощутить И. рядом с собой и услышал приближающиеся шаги.

— Левушка, — сказал, подходя ко мне вплотную, Ибрагим. — Браццано прислал вам записку.

И он протянул мне сложенный листок, очевидно вырванный из записной книжки.

— Я не желаю входить ни в какие сношения с этим человеком. Записки его я читать не буду; и вы, думается, напрасно взяли на себя роль его посла.

— Очень жаль, что вашего милосердия хватило так ненадолго, Левушка. Браццано просит вас вернуть ему камень, — очень раздражённо и язвительно говорил мне Ибрагим. — От этого зависит вся его дальнейшая жизнь, его здоровье и благополучие, — помолчав, возбужденно прибавил Ибрагим.

— Я не знаю, от чего зависит его благополучие. Думаю, что как раз от обратного. И у меня нет камня Браццано. На мне камень сэра Уоми, очищенный его подвигом любви и милосердия. Камень, который удушал злодея своей чистотой и от которого он просил его избавить. Только сэр Уоми может приказать мне вернуть его. И если такое приказание получу, —

я верну Браццано его сокровище в тот же миг.

В наступившей тишине из каюты люкс вдруг послышалось какое-то бешеное рычание, точно раненое животное собирало свои силы, чтобы на кого-то броситься. Дверь каюты распахнулась, и в освещенном ярком квадрате обрисовалась сгорбленная фигура Браццано. Глаза его метали молнии; он делал невероятные усилия, чтобы переступить порог; изо рта его текла белая пена, и он был как существо, горящее в адском пламени.

Вид его был так страшен, стоны так отвратительны, что дрожь пошла по моему телу. Я не знал, на что решиться, если он подойдёт ко мне, как услышал позади себя быстрые шаги и увидел высокую фигуру, закутанную в плащ.

Сердце сказало мне, что это И. И я не ошибся. Перед Браццано, уже вылезшим из каюты, внезапно встал И.

— Назад, — внятно, довольно тихо, но необычно властно сказал И. сгорбленной фигуре, которая согнулась ещё ниже, как-то взвизгнула, но осталась на месте.

— Назад, я приказал, — ещё раз сказал И., и в голосе его зазвенел металл, наличие которого в нём я не мог и предполагать.

Не будучи в силах удержаться на ногах, Браццано упал на четвереньки и отвратительно вполз в каюту.

И. вошёл за ним, захлопнул дверь и оставался в каюте довольно долго.

— Левушка, прошу вас, возьмите записку, — услышал я задыхающийся голос Ибрагима. — Она жжёт меня, а я не могу разжать пальцы, точно клей их держит. Я не хочу, чтобы И. видел этот грязный клочок у меня в руке.

— Поэтому ты желаешь, чтобы Левушка взял на себя ошибку и последствия твоего непослушания? — вдруг громко сказал И., появления которого за нашими спинами никто из нас не ожидал. — Бедный, бедный Ананда. Как ты ему клялся, Ибрагим! Как ты умолял его поручиться за тебя перед сэром Уоми! И вот итог твоей искренности. И, мало того, ты хочешь ещё свалить на другого последствия своей собственной неверности! Хорош сынок и хорош друг! Положи у моих ног эту мерзость.

Ибрагим положил к ногам И. листок. Казалось, проделал он это легко и просто; а он думал, что отдирает записку чуть ли не с кожей, так тёр он свою руку, когда в ней на самом деле уже ничего не было, а записка давно и благополучно лежала на палубе.

И. облил руки Ибрагима каким-то одеколоном, им же облил бумажку и поджёг её. Бумажка вспыхнула, и тут же взвыл Браццано, снова приводя меня в дрожь.

— Ступай домой. Забудь о том, что ты должен был ехать. Скажи матери,

что ты болен и чтобы тебя уложили сейчас же в постель и вызвали врача. Лежи три дня. Когда вернётся отец, — встанешь, всё вспомнишь и сам ему расскажешь. Иди, — говорил И., и так грозно звучал его голос, словно это был глухой рокот моря.

Когда замерли шаги Ибрагима, И. повернулся ко мне, протянул мне руку и сказал:

— Спасибо, верный друг. Если бы ты всю жизнь искал случая выказать свою благодарность всем нам, начиная с Флорентийца и кончая мною, — ты не мог бы сделать ничего лучшего, чем послушаться меня сейчас.

Как только ты коснулся бы бумажки злодея, который нашёл способ снести ещё раз со своей шайкой, — ты потерял бы волю. Ты отдал бы ему камень для нового, вторичного кощунства, и тогда не только погиб бы сам, но причинил бы тысячу горестей брату и всем нам.

Уже злое непослушание Ибрагима принесло нам много беспокойства. Мне придется ехать вместо него. Но ты не огорчайся; я вернусь через день, меня в дороге сменят. Сейчас Ананда приедет сюда, так как за тобой снова гонятся, теперь уже из-за камня. Не боишься ли ты? — внезапно спросил И.

— Нет, не боюсь. Но неужели такое значение имеет один только неправильный поступок человеку? Неужели так сильно взаимодействие вещей?

— Ещё гораздо сильнее, чем в том случае, который ты сейчас видел. Единение людей, их связь друг с другом — это неразрывные нити, невидимые слепым глазам, но связывающие людей подобно канатам на целые века.

Послышались быстрые, лёгкие шаги капитана, и он взволнованно спросил:

— Что случилось? Почему Ибрагим уехал чернее тучи, не желая ничего мне объяснить? Кто же поедет с этим извергом?

— Я, капитан. Не волнуйтесь, — ответил ему И.; его, укутанного в чёрный плащ, капитан в темноте не заметил.

Пораженный внезапным появлением И., капитан словно онемел. И только через некоторое время к нему вернулась способность говорить.

— Да как же это я вас не видел? Как же мне не доложили о вас? Ведь это невозможная небрежность моих дежурных!?

Капитан был взволнован и раздражён, каким его, выдержанного и всегда корректного, я ни разу ещё не видел.

— Я встретил на берегу вашего старшего помощника, и он взял меня в свою шлюпку. Но я знаю, что он пошёл искать вас, чтобы доложить обо

мне. Не сердитесь; зная, что вы жили вместе с нами в одном доме в Константинополе, он не отказал мне в просьбе взять с собой на пароход без пропуска, — успокаивающе говорил капитану И.

— Мой Бог! Для меня иметь вас на пароходе ещё некоторое время — это больше чем счастье. Но нарушение дисциплины...

Тут подошёл старший помощник, рапортуя о своём возвращении, а также о прибытии доктора И. Капитан уже остыл и только спросил, почему он замедлил явиться с докладом о провезённом без пропуска лице. Помощник поднял перевязанную руку, говоря, что какой-то болван поставил на дороге ящик с пилой и гвоздями; и он, ранив руку, должен был задержаться, чтобы её перевязали.

И. предупредил капитана, что на берегу ждет Ананда, желающий с ним проститься и побыть на пароходе. Капитан обрадовался, как ребёнок, и немедленно послал на берег шлюпку.

Мы остались вдвоём с И. в темноте, сияющей звёздами, — и какими звёздами, — ночи и моря. Я приник к И. и говорил ему, что не в силах разобраться, как может существовать рядом с этим сияющим небом, отражённым в блистающем море, с ароматом цветов, с красотой тела и духа, такая масса зла, страданий, кощунства, убийств и боли.

— Не помещается в моей душе вся эта жизнь, — жаловался я моему другу. — Ну как я буду слушать сейчас музыку, если знаю и помню, что толпа злодеев обкрадывает бедняков: что где-то сидит одинокий, всеми брошенный человек, обиженный, без любви и мира в сердце. И вот здесь этот злодей, убийца и вор, а там сироты и голодные. И как сможет играть и деть Ананда после того разочарования, какое ему сейчас принёс Ибрагим? Ананда получил удары от Анны, от Генри. А теперь ещё Ибрагим! Может ли он быть в силах петь и играть?

— Ты, Левушка, видел толпы людей, думающих только о себе. Ты привык понимать музыку как развлечение, удовольствие. Ты знаешь только тех, одарённых, что поют и играют за деньги. Они тоже иногда, в порыве творчества, уносят людей в красоту. Но их игра, их песни и музыка идут не от потребности излить из себя любовь, чтобы людям стало светлее.

Музыка Ананды и Анны, как и многих им подобных, — это их свет, их молитва и радость, их призыв к добру и помощь страдающим. Они не нуждаются в восторгах толпы. Они в толпе растворяют зло; умиротворяют и облегчают страсти. И когда сегодня ты будешь слушать музыку, — ты поймёшь величие духа Ананды. Ты услышишь не стон его сердца, упрекающий тех, кто причинил ему скорбь. Ты увидишь полное прощение. Радость, что он мог вобрать в себя их страдание.

Послышались голоса, на палубе засверкали огни, и на неё взошёл Ананда под руку с сияющим капитаном.

Ласково поглядев на меня, спросив капитана, как понравился ему привет его будущей жене, Ананда оставил нас в капитанской каюте, прося не покидать её, пока он не вернётся, и пошёл вместе с И. к Браццано.

Капитан переоделся в свежий костюм, отдал кое-какие распоряжения сменившему его помощнику, и только мы собрались сесть за шахматы, как вошли наши друзья.

И. остался на пароходе, и на этот раз я более чем сожалел о нашей разлуке.

— Что, дружок, не хочется расставаться с И.? — спросил Ананда.

— Не только не хочется, но неужели я никогда не буду так твёрд, чтобы не переживать разлуку как надрыв сердца, как непоправимое горе? За это время моё сердце сделалось точно мешок — так много в нём любимых людей. И в то же время мешок этот в дырах, точно пули пронзают его разлуки, — ответил я.

— Ничего, Левушка, нынче мы с Анной найдём для тебя такие музыкальные заплаты, что завтра ты проснешься иным человеком, — улыбнулся мне Ананда.

Шлюпка пристала по указанию капитана совсем в другом месте. Там мы нашли экипаж и ровно в девять часов были у Строгановых.

Нас ждали в гостиной с чаем. На столе, среди красивых ваз с цветами, я увидел блюдо, подаренное мною Ананде. И на нём точно такой же торт для принца-мудреца.

Рассматривая со своего места Елену Дмитриевну, я заметил, что она похудела; часто и беспокойно поглядывала на Строганова, который был весел и радостен, но на жену и младшего сына не обращал внимания.

Анна, по обыкновению в белом платье, была более чем хороша. Но какая-то перемена произошла в ней. Я не умел себе этого объяснить; но она стала казаться мне более земной, более простой. Теперь можно было представить её матерью семейства, чьей-то женой, тогда как раньше такие мысли даже не приходили в голову. Я ещё не отдал себе отчёт, что же такое совершилось в ней, как Ананда вывел меня из задумчивости:

— Ты, Левушка, не протестуешь, что я подарил твоё блюдо Анне? Это увеличит её приданое, так как не сомневаюсь, что ты уже выдал её замуж.

Я был так сконфужен и поражен, что если бы не князь, вошедший с большими извинениями, что опоздал, — я не знал бы, как выйти из положения.

Князь объяснил, что, пользуясь отсутствием всех нас и небрежностью

прислуги, в наши комнаты забрались жулики. Но что их заметили вовремя, и, не успев ничего украсть, они убежали. Но что ему пришлось успокаивать перепуганную жену, оставить у дома и в доме караульных, почему он и задержался.

Ананда покачал головой, капитан встревожился и пожалел, что не может остаться на ночь в доме, а у меня в голове мелькнуло только одно слово: «уже».

— Да, да, уже, — точно заглядывая под мою черепную коробку, шепнул Ананда.

Со всех сторон посыпались на князя вопросы; женщины казались испуганными. Одна Анна посмотрела пристально на меня и Ананду, сохраняя полное спокойствие.

Не задерживаясь долго за столом, мы спустились вниз, в прелестный музыкальный зал.

И на этот раз комната была убрана цветами. Я подумал, что милый капитан, по горло занятый, всё же не забыл украсить в последний раз этот зал, ибо только он, с его изысканным вкусом, мог так подобрать цветы. Я сел рядом и шепнул ему:

— Как я вас люблю за ваше внимание к людям, капитан. — Как я вас люблю за ваше желание сказать людям больше, чем они того стоят, — ответил он мне. — Я, Левушка, встревожен. Я так хотел бы, чтобы вы поскорее уехали отсюда.

— Я хоть и не встревожен, но тоже хотел бы уехать поскорее, — признался я.

Анна села за рояль, Ананда настроил виолончель. Никак того не ожидая, я вдруг узнал русскую, песню, так обработанную и таким человеческим голосом сыгранную на виолончели, что мгновенно забыл всё.

Передо мной прошла вереница детских дней, потом я вырос, потом снова стал маленьким, пока звуки наконец не смолкли. — Из России — поедem в Англию, — сказал Ананда. Полилась колыбельная песня, и я уже не мог различить в себе ничего, кроме счастья жить.

Ананда встал, поставил к стене инструмент и запел. Что он пел — я не знаю; слов я не понимал. Но что это был гимн, гимн торжествующей любви, — это я ощущал каждым нервом. Радость, которой билось сердце певца, выливалась и из меня: я почти физически ощущал её вокруг себя, в себе. Не было границы между мною и всем окружающим; я унёсся, растворился во вселенной, сознавая себя её живой единицей.

Как сменялись звуки, как чередовались певцы — я уже не различал. Только когда оба голоса слились в дуэте, точно в молитвенном экстазе, — я

возблагодарил мир за то, что в нём живу: принимая всё злое и низкое, я обещал кому-то и чему-то — самому великому — жить для того, чтобы помогать невежественному и злему понять красоту. Ибо однажды поняв её в себе, я уже не мог жить без неё и вне её.

Дуэт кончился. Глаза почти всех были влажны. Мои же были сухи, горели, и только сердце билось, как молот, да мысль шла по-новому, точно музыка сегодня открыла мне какие-то новые горизонты, чтобы жить бескорыстно и беспристрастно воспринимать людей.

Целуя руки Анне и прощаясь, я сказал ей:

— В сказке говорится, что для праведника важнее указать путь в рай другому, пусть сам он при этом споткнётся. Сегодня вы двум невеждам указали путь. Быть может, невежды и не достигнут рая. Но вас они не забудут, как нельзя забыть однажды почувствованного во сне блаженства.

Глаза её сверкнули, она улыбнулась мне и подала со своей груди цветок. Стоявший рядом капитан сказал:

— Прибавить я могу только одно: минуты, пережитые сегодня, раскрыли мне, в путях каких предрассудков я до сих пор жил. Я не понимал, что жизнь начинается там, где кончается разъединение — каст, найди и социального положения. Сегодня я понял, как сливаются в сердце человека воедино земля и небо.

И ему дала Анна цветок, он поцеловал его и положил в тот карман, где — я знал — лежал платок сэра Уоми.

Мы вышли вместе с князем, которого ждал экипаж и который только сейчас заметил, что И. с нами не было. Ананда объяснил, что И. остался на пароходе и поедет с капитаном до первой стоянки, откуда вернётся встречным пароходом.

Князь был очень опечален, что не простился с И., и вообще был встревожен.

Капитан сел с нами в экипаж, сказав, что хочет проводить нас до дому, чтобы самому осмотреть комнаты.

Когда мы добрались до калитки, то увидели, что караульные беспокойно бегают по дорожкам сада, уверяя, что слышат какой-то шум.

Ананда успокоил их и просил оставаться на месте, у главного входа в дом. Мы прошли в наши комнаты. Мы не нашли никаких следов беспорядка, всё вроде было на месте. Только на моей постели Ананда обнаружил чей-то красный платок с чёрной каймой. От платка несло сильными, приторными духами, настолько одуряющими, что становилось тошно.

Взяв палочкой этот платок, Ананда бросил его в камин. В комнате

капитана на столе лежало письмо, довольно толстое, и адрес был написан на непонятном мне языке.

— Ну и жулики! Да это просто дураки, князь! Вы не беспокойтесь, — это шарлатанство, — сказал Ананда вконец расстроенному князю.

— Быть может, это и так; но с тех пор, как Жанна сходила с ума, я стал волноваться за всех своих гостей. Не хватало только, чтобы кто-то разбрасывал здесь всякую дрянь. Смерд от этих духов хуже, чем от любой кокотки, — осматриваясь по сторонам, отвечал князь.

— Да и кому это письмо? Вы понимаете этот язык? — подходя к столу, спросил он Ананду.

— Язык этот я понимаю. И написан здесь не адрес, а изречение из Корана: "Кто хочет победить, бери не меч, но силу Аллаха". Платок подброшен одними людьми, а письмо — другими. Но и то, и другое — всё ведёт к одному узлу, к одной шайке. Страшного нет ничего. Идите к вашей жене и успокойте её; ложитесь с миром спать, а завтра поговорим.

Князь простился с нами, но я не видел, чтобы он окончательно успокоился.

Как только мы остались одни, Ананда перебросил палочкой письмо на толстую бумагу и швырнул его в камин, на красный платок. Ничего нам не объясняя, он облил жидкостью вещи; и они, без запаха и звука, превратились в пепел.

Капитан сказал, что оставит нам на ночь Верзилу, без которого до девяти часов утра может обойтись. Ананда согласился, добавив, что я буду ночевать в его комнате на диване, так как здесь смрадно; а Верзила ляжет у него в прихожей.

Сказано — сделано. Мы проводили капитана до калитки; и не прошло и получаса, как Верзила уже стучался к нам, добродушно улыбаясь во весь свой рот.

Он привёз нам записочки от И. и капитана. Первый сообщал, что ему удалось снестись с друзьями и он довезёт Браццано только до ближайшей остановки. А потому завтра вечером будет дома. Меня же он просит не отходить от Ананды ни на шаг.

Капитан писал мне, что нашёл на пароходе полный порядок, что Хава — молодец и он её теперь любит. Что же касается его необыкновенного внутреннего состояния, то он продолжает носить в себе небо и землю, не чувствуя, что они разъединены. Но выразить этого словами не умеет и как долго это будет продолжаться — не знает.

Ночь в доме князя прошла благополучно. Но рано утром, гораздо раньше обычного, князь уже стучался к нам, прося посмотреть его жену,

которая снова потеряла речь и глаза её выражают ужас.

К моему удивлению, Ананда вышел из своей комнаты совершенно одетым и готов был уйти с князем сразу же, без меня. Я взмолился, чтобы он меня подождал пять минут, памятуя о приказе И.

— Ты и здесь не хочешь нарушить приказа твоего поручителя? — засмеялся Ананда.

— Бог с вами, Ананда, какого ещё поручителя вы выдумали? Я просто хочу, чтобы И. не имел лишней причины беспокоиться, и хоть это его желание хотел бы исполнить в точности.

— Да, Левушка, я очень счастлив, что И. нашёл в тебе такого верного друга. Лучше поступает И., давая тебе точные указания, как и где себя вести, чем я, стараясь развить в человеке способность самостоятельно распознавать всё с первых же шагов.

Мне так хочется подготовить человека, научить его твёрдо стоять на ногах. А выходит так, что пока он подле меня, то твёрд и верен. Но как только остаётся один — решения его оказываются шаткими, а закалённая верность — мифом.

Много раз я слышал, что И. суров с теми, кто идёт подл него. Но вижу, что путь их — в утверждении в себе внутренней дисциплины — короче и легче.

— Кто-нибудь может говорить, что И. суров? — в полном негодовании закричал я. — Это всё равно, что сказать, что подле вас жизнь не сплошной праздник и счастье. О Ананда, я ещё ничего не знаю. Но то, что и вы, и И. помогаете людям обрести новое понимание ценности жизни, — это я знаю и весь полон благодарности и благоговения. Просыпаешься счастливым оттого, что целый день проведёшь подле вас. Я так рад, что я с вами, дышать мне подле вас так же легко, как рядом с И. И я ничуть вас не боюсь.

— И даже прощаешь мне дервишскую шапку. — засмеялся Ананда.

Но через минуту сказал очень серьёзно:

— Ты готов? Теперь подумай о Флорентийце, зайдём за твоей аптечкой и отправимся к княгине. Я думаю, что там всё не так-то просто.

Ананда отдал Верзиле твёрдый приказ никому не открывать дверей и никого не пропускать в его комнаты. Даже если кто-нибудь захочет проникнуть под предлогом подождать его или передать записку, — никому не открывать ни под каким видом и ничего ни у кого не брать.

— Есть не открывать, ничего не брать, — ответил моряк. — Если опоздаете к восьми с половиной — с меня капитан взыщет. Я отпущен до девяти.

— Есть, — улыбаясь, сказал Ананда, — отпущен до девяти. Если

опоздаем — отвечать мне, отвезу тебя сам. — Есть отвечать вам, — и Верзила запер все двери. Мы зашли в мою комнату, где царила полная тишина. А ведь совсем недавно здесь раздавался смех капитана и всё было наполнено творческой жизнью, которая пульсировала благодаря И. Тишина показалась мне какой-то зловещей и мёртвой.

По дороге к княгине я поделился с Анандой своим впечатлением. Он кивнул головой и сказал:

— Когда идёшь на работу, приводи себя в рабочее состояние. Сосредоточь мысли на Флорентийце, собери всё своё внимание и всю полноту чувств и мыслей только на том, что собираешься делать сейчас.

Я вспомнил, что почти то же мне недавно говорил И. Но мы были уже у порога, я оставил всё, чего не додумал, "на потом" и вошёл в спальню княгини, неся в себе образ моего великого Друга.

Князь сидел у постели своей больной жены, будто не видя или не замечая её отталкивающей внешности. Он видел только её страдания, старался со всей нежностью их облегчить и страдал сам её мукой и своим бессилием.

Глаза княгини метали молнии. Они одни и жили на этом лице, превратившемся снова в маску, точь-в-точь такую же, какой я увидел княгиню в первый раз.

Заметив Ананду, княгиня жалобно замычала, и из глаз её полились слёзы.

Ананда подошёл к постели, передал мне свою аптечку, поставил меня рядом с собой и шепнул: — Стой близко, всё время ко мне прикасаясь. Он взял руку княгини и спросил у князя: — Кто дежурил у больной эту ночь?

— До двенадцати — сестра милосердия, а после полуночи — горничная княгини, — ответил князь. — Позовите сюда обеих сейчас же. Князь вышел выполнить приказание Ананды. — Возьми меня под руку и будь внимателен, — сказал мне Ананда, когда князь вышел.

Очень скоро он вернулся с обеими женщинами. Горничная вошла с обиженным видом и сразу же начала оправдываться. Вторая сиделка имела вид сконфуженный и даже печальный.

Ананда приказал обеим стать по другую сторону постели, продолжая держать руки больной в своих.

Несчастная выказывала все признаки страха при виде своей горничной и пыталась что-то сказать Ананде.

— Успокойтесь, княгиня. Ваши страдания скоро кончатся, — сказал он, поглаживая её руки. — Не бойтесь ничего, ведь я здесь. Потерпите.

— Вы дежурили первая? — спросил Ананда сестру. — Да, — тихо и

робко ответила она, глядя ему кротко в глаза. — Почему вы ушли из спальни, тогда как обязаны были дежурить всю ночь?

— Я не хочу солгать вам и не могу сказать правду, так как обещала молчать.

— Так. Ну, а вы почему пришли, если дежурить вас никто не назначал? — обратился он к горничной.

— У сестры милосердия болела голова. Она сама вызвала меня и просила её сменить; а теперь боится потерять место и отговаривается, — нагло начала горничная; но, не выдержав пристального взгляда Ананды, опустила глаза и замолчала.

— Это вы, сестра, надели на княгиню этот чепец? — снова спросил Ананда.

— Чепец? — с удивлением сказала та, поглядев на княгиню. — Нет, я расчесала ей волосы, заплела косички и напоила молоком с лекарством, которое вы дали. Княгиня мирно заснула, и тогда меня вдруг вызвала Ольга. Помилуйте, да разве бы я надела на княгиню этот безобразный тюрбан?

— Не желаете ли вы на меня всё свалить? — закричала было горничная, но снова осеклась под взглядом Ананды.

— Следовательно, вы вышли, когда княгиня мирно спала, и на её голове не было этой вещи?

— Княгиня спала, хорошо выглядела, было около двенадцати, я точно не помню. И на голове у княгини ничего не было, — твёрдо ответила сестра. — Я так поражена этой ужасной переменой.

— Хорошо. Когда вы вошли, — обратился он к горничной, — княгиня спала?

— Спала. Я села у постели и, должно быть, заснула. Их сиятельство вошли в комнату, и от их шагов я проснулась.

— Зачем вы лжёте. Ольга? — возмущенно спросил князь. — Вас не было в комнате, вы с кем-то шептались у двери, а больная металась на постели, рискуя свалиться. — Вашему сиятельству показалось...

Князь был в бешенстве, какого от него я никак не ожидал. Он готов был броситься на наглую лгунью.

— Подойдите ко мне, князь. Сейчас вам нужно полное самообладание, если вы желаете спасти вашу жену, — раздался властный голос Ананды с неподражаемыми, ему одному свойственными переливами.

Князь был бледен до синевы; губы его дрожали. Он подошёл к Ананде и положил свою руку на его руку, как велел ему Ананда. Постепенно он успокоился, стал дышать ровно и синева исчезла с его лица.

Горничная повернулась, чтобы выйти из комнаты, но грозный взгляд Ананды точно приковал её к месту.

— Когда, в котором часу вы надели эту дрянь на голову княгини?

— Я ничего не надевала на неё и не понимаю, чего ко мне пристают. Я ведь не крепостная.

— Если вы не знаете, кто этот чепец надел, то вы его снимете сейчас.

— Ни за что не сниму. Да он, может быть, заколдован или отравлен.

— Как?! — не своим голосом закричал князь. — Я вам уже сказал: самообладание ваше так же необходимо сейчас, как и моё знание. Следите за ходом вещей и делайте только то, что я вам скажу. Времени терять нельзя, — снова остановил князя Ананда. — Снимите сию минуту чепец, — сказал он Ольге. — Или же я сам надену его на вас.

Что-то мерзкое, какой-то животный страх, ненависть, злоба мелькнули на лице горничной. Она готова была выцарапать глаза Ананде; её голова поворачивалась к двери, видимо, единственным её желанием было убежать, но непреодолимая сила Ананды удерживала её на месте.

— Позвольте мне снять чепец, доктор, — сказала сестра. — Я ведь главная причина несчастья; я позволила себя обмануть.

— Нет. Для вашей самоотверженности ещё настанет время. Не медлите, Ольга, или чепец очутится на вашей голове.

Извиваясь, как змея, повинувшись поневоле, несчастная подходила к постели княгини, с ужасом глядя на чепец с красными широкими лентами и чёрной, зигзагообразной каймой, напоминавший брошенный на мою постель платок.

Казалось, женщина никогда не подойдёт к постели. Руки её со скрюченными пальцами скорее готовы были удавить княгиню, чем снять чепец и облегчить её страдания.

— Скорее, или выбора для вас уже не будет, — и из глаз Ананды в сторону Ольги точно брызнули молнии. Я ощутил, как через меня прошёл словно электрический разряд, так сильно было напряжение его воли.

Мгновенно руки Ольги разжались, и в эластичных пальцах повис уродливый чепец.

Крик ужаса вырвался из наших уст: лоб княгини, уши и голова были в крови.

— Это не кровь, а краска, которой негодяи вымазали чепец изнутри, — остановил наше волнение Ананда. — Но краска эта — зудящее, ядовитое вещество и может довести страдальца до безумия и паралича. К счастью, мы вовремя здесь. Левушка, быстро раствори пиллюлю Али в той жидкости, что лежит в моём кармане с твоей стороны.

Я сейчас же выполнил приказание, и Ананда сам влил княгине лекарство.

— Теперь из аптечки И. вынь, не отпуская моей руки, третий флакон. А вы, князь, сделайте тампон из ваты и тоже не отходите от меня.

Когда флакон и вата были ему поданы, он обмыл лоб, голову и уши больной и бросил вату в чепец, который, как мешок, держала на вытянутых руках Ольга.

Ещё и ещё оттирал он голову больной, пока от краски не осталось и следа. После каждого раза лицо княгини всё больше оживало, наконец стало совсем спокойным, и она заснула.

Тогда Ананда позвал сестру, дал ей капель, вытер её руки той же жидкостью, которой обтирал больную, и сказал:

— В уходе за больной вы можете выказать своё самоотверженное усердие. Несмотря на все меры предосторожности, вы будете испытывать зуд во всём теле, потому что вам предстоит переменить на больной бельё, а оно уже пропитано — хотя этого ещё и не видно — всё той же ядовитой дрянью. Когда снимете бельё, растворите в тазу содержимое этого пузырька и губкой обмойте всё тело больной.

Не беспокойтесь, она будет спать крепко и ваши нежные движения её не разбудят. Но одна вы с этим не справитесь. Есть ли у вас в доме надёжный человек, князь?

— Вот эта прелестная Ольга считалась самой надёжной. На кого же теперь положиться? — отвечал бедный князь.

— Простите, — сказала сестра. — Здесь находится моя мать. Это на её будто бы зов меня увела Ольга. А мать мою... Ну, да это потом. Словом, мать моя привычная и отличная сиделка. Она мне поможет.

— Хорошо, позовите её, — велел Ананда.

Тем временем он сказал князю, что княгиню надо переложить на другую постель и унести из этой комнаты, чтобы ничто не напоминало ей прошлой ночи.

Он точно не замечал стоявшей всё в той же позе Ольги, державшей в руках мерзкий чепец. А между тем та уже несколько раз говорила: «горит», «жжёт», «зудит».

Когда вошла сестра со своей матерью, Ананда поглядел на них обеих и велел переложить больную на диван в дальнем углу, пока её не унесут из этой комнаты. Только тогда он взглянул на Ольгу и сказал: — Идите вперёд. — И за нею все мы вышли из комнаты. Она, всё так же вытянув руки с чепцом, шла впереди до самой моей комнаты.

— Бросьте в камин, — сказал Ананда, и чепец полетел в камин на ту

кучу золы, которая оставалась с ночи. Сама Ольга в каком-то отупении стояла, всё вытянув руки, не то желая снова схватить чепец, не то подавляя желание вытереть зудящие руки.

Ананда подошёл к ней, подал ей смоченный кусок ваты, приказал обтереть им руки и спросил:

— Неужели деньги, обещанные вам, так сладки, что вы могли из-за них пойти на убийство человека? А княгиня-то только вчера просила князя обеспечить вашу жизнь и положить на ваше имя капитал за верную ей службу.

— И сегодня я должен был выполнить её желание, — подтвердил князь. — Хорошо, что вовремя всё открылось.

У Ольги давно уже дёргались губы и слёзы скатывались по щекам. Но мне было ясно, что она не в себе, что в ней идёт какая-то борьба, но что её мысли ей самой до конца непонятны. Ананда велел ей взять спички, поджечь чепец и сказал: — Он сразу вспыхнет. Если вы забыли, Ольга, как вели себя и что делали со вчерашнего вечера, то вспомните всё, как только ядовитое вещество сгорит вместе с чепцом.

Ольга подожгла чепец, но как только пламя коснулось его внутренней стороны, — раздался такой треск, словно взорвался порох, и перепуганная женщина с криком отскочила на середину комнаты.

Её прыжок был так комичен, что я не удержался от хохота, и князь смеялся не меньше моего.

— Хорошо вам смеяться, — с возмущением накинулась на меня Ольга. — Вы-то целы и невредимы; а всё из-за вас, барин. Все мои неудачи, да и других тоже — всё из-за вас.

— Так ли, Ольга? — спросил Ананда. — Зачем вы вчера вмешались в разговор княгини с сестрой милосердия? Зачем вы уверяли больную, что в Константинополе есть лекарь, который справляется с такой же болезнью скорее и лучше, чем я и И.? При чём же здесь Лев Николаевич?

— Лекарь обещал мне деньги и принёс чепец. Я не знала, что чепец ядовитый. А только про молодого барина он сказал, что его надо выжить из дома, что он всему помеха. Он просил положить платок к ним на постель и письмо. А как молодой барин заснул, я должна была впустить к ним в комнату лекаря с помощником, чтобы молодого барина перевезти в гостиницу.

Когда князь вошли в спальню их сиятельства, я с лекарем и говорила. Мне надо было их давно проводить, лекарей-то, к Льву Николаевичу в комнату. Да только сестра не спала, и я не успела пропустить их через спальню.

— Куда же девались эти злодеи, ваши лекаря? — взволновался князь, собираясь бежать к княгине.

— Не волнуйтесь, князь. Они, несомненно, беседуют с Верзилой, рассчитывая подкупить и его. Спустимся к нему по винтовой лестнице. Вы же, Ольга, сядьте здесь и сидите не двигаясь, до нашего возвращения.

С этими словами Ананда быстро пошёл вперёд, и мы за ним. Уже подходя к крыльцу Ананды, мы услышали стук в дверь и громкий голос Верзилы, запрещающий ломиться в дверь.

Услыхав шум наших шагов, Верзила стал просить Ананду разрешить ему проучить негодяев, нагло ругавших его и требовавших, чтобы он их впустил.

Ананда рассмеялся и спросил, умеет ли он стрелять из тех новых пистолетов, что ему дали. Получив удовлетворительный ответ, Ананда, продолжая смеяться, сказал:

— Они заряжены особым способом. Если человек упадёт или повернётся спиной, не бойся — стреляй себе, пока будешь видеть, что горошины вылетают. Как только кончится заряд, бери второй и стреляй в другого. А третий сам убежит со страху.

Я так ошалел, что, видно, напоминал Ольгу с чепцом. Я стоял, вытянув умоляюще руки, и не мог понять, как это Ананда может отдать приказание стрелять в людей.

Мгновенно пистолет был в руках Верзилы, раздалась частая, мелкая трескотня, и действительно, горошины с огромным количеством дыма и грохота полетели в одного из осаждавших нас турок довольно бандитского вида. Человек упал; но мне казалось, что он остался невредим. Тем временем горошины из другого пистолета полетели во второго громилу, который тоже упал, комично ёрзая под градом бивших его горошин; а третий, увидя, как упали его товарищи, ошеломленный треском и дымом, счёл их убитыми и убежал.

Мы вышли на крыльцо, и когда дым рассеялся, увидели двух перепуганных, зажимавших уши людей, неподвижно лежавших на земле.

— Господин великий маг, сообщи мне, жив ли я или уже нахожусь в твоём царстве? — пробормотал один из них на отличном английском языке. Это было до того неожиданно, что я прыснул со смеху, подскочил и не мог остановиться, задыхаясь от хохота. Верзила, держась за бока, просто ржал по-лошадиному. Князь не отставал от нас. Дважды Ананде пришлось призвать нас к порядку.

Люди, лежавшие на земле, были только одеты турками. Одуревшие под градом горошин и от нашего хохота, они, очевидно, не могли сообразить,

что с ними произошло. Измазанные, точно сажей, пороховой копотью, они были и жалки, и так смешны, что удержаться от смеха было очень трудно.

— Кто вы такие? Судя по вашему обращению к великому магу, я могу думать, что сами вы — маленькие маги? — улыбаясь, спросил Ананда того из бандитов, который заговорил по-английски.

Тут поднял голову второй злодей, поглядел на Ананду и зачастил что-то по-гречески, прикрывая глаза рукой.

Первый, несколько оправившись и с ненавистью глядя на него, сказал по-английски:

— Не верьте ему, пожалуйста. Он такой же лекарь, как я повар. А снадобье для чепца дал Браццано. Этот подлец разорил полгорода и нас вместе с собой. Да только сам унёс куда-то ноги; наверное, и сокровищ утащил немало. Последнее, в чём он нас надул, — это что камень — чёрный бриллиант немислимой стоимости — на вашем мальчишке. Дал нам амулет — платок, чтобы мальчишка отправился к праотцам. Дал чепец, сказав, что всё колоссальное состояние княгини — в камнях и золоте — в её спальне под кроватью, — и солгал. Теперь жизнь мне опостылела, я нищ. Делайте со мной, что хотите.

— А разве вы больше не боитесь Браццано? — усмехаясь, спросил Ананда.

— Не только не боюсь, но хотел бы задушить его своими руками. — ответил несчастный, захлебываясь от злости.

— Ой, ой, а я боюсь, — завопил второй. — Так боюсь, что не хотел бы вовек его встретить.

— Но ведь вы давали страшные клятвы и обещания не только ему? — опять спросил Ананда.

— Конечно, целая церемония совершалась над нами, — снова заговорят первый. — Но ведь он изображал первого помощника великого мага, которого никогда и никто не видел. Но говорили, что сам сатана не мог быть страшнее.

— Ой, ой. пропала моя головушка! Пропали мои деточки! — снова завопил грек.

— Замолчи, дьявол, или я научу тебя молчать, — в бешенстве заорал мнимый турок.

— Ну, вот что: сейчас вызовут полицию, и вы оба должны будете отправиться в тюрьму, — сказал Ананда. — Я даю вам ровно десять минут на размышление. Каждый из вас может написать записку ближайшему другу или родственнику, объяснить своё положение и попросить помочь вам и выручить из тюрьмы. Но каждый должен дать слово уехать отсюда и

начать новую трудовую жизнь.

— Я был причиной разорения всех своих друзей и родственников. И кроме проклятий и той же тюрьмы мне ждать нечего. А работать я не желаю. Я жил богачом и господином — иной жизни вести не буду. Я желаю лишь мстить Браццано — вот отныне цель моей жизни. Пусть берут, куда угодно. Уйду, — сказал первый.

— Ой, ой, работать. Разве я всю жизнь не работал? — завопил второй. — Я только и делал, что переносил чужие деньги с места на место. Только по усам текло. Другие наживали миллионы, а мне бросали тысчонки. Я честно работал. Виноват ли я, что аферы приносят больше, чем честный труд? Дураки гнут спины с утра до вечера, — рубль домой принесут. Чем я виноват, что моя работа умнее? А теперь писать некому. Я вон им — всем этим — служил, — ткнул он пальцем в своего товарища. — А теперь они сами без гроша. Здесь — всё можно только купить. Ты слушай, барин. Ты большой лекарь. Плати за меня калым полиции; я тебе служить буду. Мне всё равно, кому служить, плати — буду служить верой и правдой.

— Ну, князь, выбора у нас нет. Неприятно, что жулики из браццановской шайки пойманы в вашем доме, но что делать. Надо звать представителя власти и сдать этот народец... Поднимайтесь, — обратился он к прекрасным компаньонам Браццано. — Сядьте на скамью и сидите, не двигаясь с места, пока за вами не придут и не уведут. Если только надумаете удирать — снова отведаете моих пистолетов.

Пока Ананда говорил с несчастными жуликами, князь пошёл отдавать приказания своим людям.

Бедные грешники встали с земли, сели на скамью и погрузились в раздумье. Но как по-разному! Мнимый турок был полон активной жажды зла. Он, видимо, надеялся чем-нибудь купить полицию и получить возможность отомстить Браццано. Его угасшее для всего светлого сознание знало одну энергию: упорство воли. Злое, ненасытное желание увидеть униженным или мёртвым разорившего его врага, должно быть, унижение и зависть к Браццано играли не последнюю роль в его теперешней ненависти. Он был активен. Метал глазами молнии и жаждал одного: вырваться отсюда; но превозмочь приказ Ананды не имел сил.

Мне казалось, что он собирался вступить в торги с Анандой, но не решался, не зная, что предложить человеку, воля которого его сковывала.

Второй — ярко выраженный грек-торгаш — тоже потерял всякий человеческий облик, но в совершенно другом роде. Его богом были только деньги. Но насколько первый жаждал их как знака славы, блеска и власти,

настолько этот желал просто денег, весь стянутый кольцами жадности, как железными обручами. Его мир, всю его вселенную составляли деньги, ради которых он переносил кабалу, издевательства и презрение тех, благодаря кому мог нажиться.

Очень быстро — гораздо быстрее, чем обычно это бывает в Константинополе, — князь вернулся с тремя полицейскими, причём двое из них явно были в высоких чинах. Мне показалось, что, во всяком случае, с одним из узников они сумеют договориться.

Не успели все убраться, как послышался свирепый гудок, и я сразу узнал этот рычащий голос.

— Есть опоздал — ваша вина, — сказал встревоженно Верзила. Мы заперли двери, поручили надзор за ними двум караульным и помчались с Верзилой на пароход.

Капитан, поначалу грозно встретивший Верзилу, принял извинения и объяснения Ананды не только милостиво, но и очень близко к сердцу. Разведя руками, он сказал:

— Ну вот и задача: "Волк, коза и капуста". Уж не лучше ли Левушке поехать с нами?

Ананда смеялся и просил всё же доверить ему на один день младенца.

Я был так рад увидеть И. Кажется, дома я и не скучал без него. А увидев его на пароходе, я впервые понял, как близок он мне, как я слился с ним — рука к руке, сердце к сердцу.

Раздался второй гудок и, прощаясь с нами, И. сказал мне ещё раз:

— Левушка, повторяю мою просьбу: ходи за Анандой не отставая, до самого моего возвращения.

— Не беспокойся, Эвклид, не отпущу ни на шаг. Я вообще убедился, что твой воспитательный дар безупречен. И понимаю теперь, что свобода, предоставляемая недостаточно дисциплинированному существу, не делает его путь ни короче, ни легче.

— До свидания, друг. Княгиню снова придется упорно и долго выхаживать. Вот как всё усложнилось, — и я застрял здесь надолго, вместо того чтобы уехать с вами.

Ананда говорил тихо и спокойно. Раздумье огромной мудрости лежало на его лице, и мне казалось, что, говоря с И., он точно переворачивал страницы книг жизни многих людей.

Мы возвратились домой, умылись, переоделись и пошли к княгине. Она сразу проснулась, но была довольно равнодушна ко всему и, по-видимому, даже не сознавала, что обстановка вокруг неё другая, что лежит она не в своей спальне, не на своей кровати.

— Снова много будет спать княгиня. И кормить её придется с ложки, — обратился Ананда к сиделке. — Вы, конечно, будете чередоваться с вашей матерью; но и вам обоим будет трудно. Я, быть может, найду ещё помощниц, которые изредка будут вас сменять. Но это в дальнейшем. Сегодня же мы с Левушкой посидим у княгини; и вы сможете сделать то дело, о котором говорила вчера Ольга.

Не объясняйте мне пока ничего, — перебил он желавшую что-то сказать сиделку. — Думайте не о раскаянии теперь, а о том, как одна минута недостаточно честного вашего поведения может стоить жизни другому человеку. В пять часов мы будем здесь, — повторил он изумлённой сиделке, — и до восьми вы свободны.

Дав ей точные указания, что делать до пяти часов, Ананда взял меня под руку, и мы прошли с ним в мою комнату.

Признаться, мысль о сидящей у камина Ольге мучила меня всё время.

Первое, что мы увидели, был перепуганный взгляд Ольги, всё так же сидевшей у камина и потиравшей руки.

— Какое счастье, доктор, что вы вернулись наконец, — сказала она дрожащим от страха голосом, — без вас они убили бы меня.

— Кто? — спросил Ананда. — Ведь вы здесь совершенно одна. — Какое там "одна", — с раздражением возразила женщина. — Они попрятались, как только услышали ваши шаги; а как вы вошли, — так и рванули вон в дверь.

— Я снова вас спрашиваю, кто это "они", — спросил Ананда, улыбаясь и сядя на диван против Ольги, указав мне место рядом.

— Господи Боже ты мой! Да за что же вы, доктор, издеваетесь надо мной! Неужели вы не видели, кто? Да козлы! Такие страшные, вонючие, рогатые.

— Она с ума сошла, — сказал я Ананде по-французски с ужасом.

— Не похоже. Сейчас попробуем выяснить, что с ней, — ответил он мне на том же языке и снова обратился к Ольге по-русски:

— Ведь вы же взрослая женщина. Мало того, что взрослая, вы ещё так решительны, что взялись помогать преступникам. Как же вы позволяете себе такие детские бредни, что в эту комнату — на второй этаж населённого дома — могли забраться козлы? Да я думаю, их и во всём Константинополе не сыщешь.

— Ну да, не сыщешь! Вчерашние-то тоже принесли с собой козла. Смерд от него стоял дикий, пока они шарили под кроватью княгини. Искали там чего-то или кого-то, как я их ни уверяла, что каждый день все комнаты протираются по два раза. Ни пылинки-то там не найдёшь, не то

что чемоданов или корзин.

И как вы ушли, доктор, всё было спокойно. Только руки мои зудели. Я взяла золы из камина, да потёрла ею руки, думала, зуд уймется. Не успела и охнуть, как козёл-то из камина и прыг, — да один за другим давай оттуда скакать! Да все в кружок вокруг меня. Рожищами да бородами трясут, да всё ближе, всё ближе! Я Царице Небесной стала молиться, чтобы вы вернулись; только уж не чаяла и жива быть, — крестясь испачканной в золе рукой, задыхаясь, говорила Ольга.

Она, по всей вероятности, переживала настоящий страх. Но подражая движениям померещившихся ей козлов, была так смешна и нелепа, что я был не в силах сдержать смех.

— Всё-то вам смешки, барин! Много бы я дала, чтоб вас хоть раз козёл такой попугал, — перестали бы навек заливаться.

— Это ваша совесть, Ольга, вероятно, вас мучает, — ответил я ей. — Страх ответственности перед князем и страх перед мошенниками. Они вам грозили, верно, всякими карами, если не сдержите слова. Вы задремали, всё в вашей голове перепуталось, вот козлы вам и приснились, — смеясь, отвечал я ей.

— Ну, возможное ли дело, Ольга, чтобы чуть ли не стадо козлов выскочило из камина? Бросилось к двери, через которую мы вошли, а мы бы их не видели? — продолжал я смеяться, представляя себе эту картинку из сказок про ведьм и колдунов.

— Ох, барин, уж и не знаю, что вам и ответить на ваши издевки. Так-то оно, если подумать, и невозможно, чтобы из камина козёл прыгал...

Ай, батюшки-светы, доктор, спасите! Ай, вон он опять, — закричала неистово Ольга, указывая на пепел, который чуть шевельнулся от дуновения ветра.

— Встаньте, возьмите эту вату и вымойте лицо и руки, — подавая ей мокрую вату, сказал Ананда.

Прекрасный аромат распространился по комнате, когда Ольга стала вытираться.

— Нечистая совесть всегда заводит человека в дебри несуществующих страхов. Мы сидим рядом с вами и видим, что ровно ничего вокруг вас нет. А вы стонете от ужаса, потому что уже вчера, когда предали княгиню, сами создали себе внешний образ своего собственного поступка в виде козла, — сказал Ананда смертельно перепуганной, озирающейся по сторонам Ольге. — Так всегда бывает с людьми, когда они поступают подло и гнусно. Вам и прежде самым отвратительным и мерзким казался козёл. Вот вы и увидели его сейчас, как отражение собственной, обезображенной

совести.

Вы просите у меня помощи? Но, к сожалению, я не могу вам подать её. Помочь себе сейчас вы можете только сами. Всю жизнь, худо ли, хорошо ли вам было, — вы прожили у княгини. Вы часто получали от неё ценные, а иногда и богатые подарки. Вы составили себе подле неё кругленький капиталец. Целое состояние, обеспечивающее вам жизнь до конца дней. И вся ваша признательность ей выразилась в том, что вы впустили к ней убийц?

— Да я и в голове не держала, что здесь затевается убийство! Что вы, что вы! Я думала, доктор, что в чепце снотворная мазь, что княгиня заснута, и я пропущу людей через спальню, чтобы никто не видел, к молодому барину. Ну, а как они очень горды, молодой барин, и внимания ни на кого не обращают, — то я их и ненавидела.

Я был поражен. Как? Чем я мог внушить ненависть к себе человеку, о котором думал так мало? А если и думал, то сострадая, ибо видел, как тиранила прежде Ольгу княгиня.

— Вы говорите, доктор, что я сложила себе капиталец возле княгини? Я не даром его получила. Я всю свою жизнь на них и работала. Да что греха таить! Нешто княгиня до князя хорошую жизнь вела? Это их сиятельство всё иначе повернули. А то в нашем доме-то дым коромыслом стоял! И большая часть моих денег не от княгини...

— А от тех мерзавцев, которым вы помогали добиваться милостей вашей хозяйки? — сверкнув глазами, перебил Ананда Ольгу. — Вы работали? Вы трудились? Перебирать туалеты своей барыни, притом всячески норовить что-нибудь украсть или тайно продать, — вы это называете трудом? Лежать с леденцом за щекой и читать на барыниной кушетке недочитанный ею роман, если он напечатан по-русски? Зевать и шарить по буфетам, чтобы повкуснее поесть? Что вы ещё делали за вашу жизнь? Вы и достойны того, чтобы вам мерещились козлы.

— Доктор, спасите меня от них. Я с ума сойду, если ещё раз увижу. Они вас боятся, — спасите меня! — дико оглядываясь, точно ей во всех углах мерещились козлы, кричала Ольга.

— Я вам уже сказал. Никаких козлов в действительности нет. Это порождение вашего воображения, вашей совести, которой вы торговали всю жизнь. И спасти вас я не могу. Только чистая жизнь в труде, самопожертвовании может отныне вам помочь.

— Да не могу же я сделаться прачкой. Не кухаркой же мне поступить в бедное семейство? — возмущалась Ольга, считавшая себя, очевидно, фрейлиной в сравнении с остальной домашней прислугой.

— Да разве вы годитесь для таких дел? И не в одном физическом труде вы найдёте очищение. Ваша сестра писала вам, что она овдовела, очень больна и боится умереть, оставив детей сиротами. Что вы ей ответили?

Ольга опустила глаза и молчала с тупым, злым выражением на лице. Она напоямила мне тётку Лизы в вагоне в тот момент, когда та орала в лицо И.: "Я барыня, барыня, барыня, — была, есть и буду".

Я подумал о глубочайшей развращённости, в какую впадает душа человека, испорченного бездельем, жадностью и сознанием своего — несуществующего нигде, кроме как в собственном воображении, — превосходства над другими.

— Быть крестьянкой я не смогу, — наконец выдавила из себя Ольга. — В деревне люди тёмные. Я привыкла к веселью. Мне и здесь-то всё опостылело за княгинину болезнь. Ни души не видишь! Я приёмы люблю. Народ чтоб приезжал, обеды, шумно, мужчин чтоб было много.

— В деревне жить не можете, — там люди тёмные? Я думаю, темнее вас самой — среди добрых и светлых людей — встретить трудно, — ответил ей, прожигая Ольгу глазами, Ананда. — Единственный для вас путь, на котором вы можете найти спасение, — это взять сирот, воспитать их и найти в себе к ним любовь. Если вы этого не желаете, — живите с козлами. Ананда поднялся, чтобы выйти из комнаты. — Нет, нет, доктор, не уходите, — вон они снова здесь! Я всё сделаю, только спасите от них, — вскричала Ольга.

— Это становится скучным, — грозно сказал Ананда. — Повторять одно и то же бессмысленно. Для вас есть один путь, путь любви и милосердия к вашим племянникам-сиротам. Вы за всю жизнь никого не полюбили, никого не приласкали. Только грабили, копили, лгали, сплетничали. Если не ухватитесь за единственный случай, где вам посылается возможность любовью победить всех ваших козлов, вызванных к жизни нечистой совестью, козлы эти вас затопчут, — продолжал он, и голос его зазвучал мягче. — Выбора у вас нет, вы всё время играли дурными страстями людей. Вы только и делали, что злились, раздражались и других вводили во всякие мерзкие дела. Теперь уже поздно. Или уезжайте отсюда, возьмите себе сирот, создайте для них чистую — слышите ли — чистую жизнь. Или ждите — в безумии и ужасе — когда вас растопчут порожденные вами козлы.

Молнии сверкали из глаз Ананды. Прекрасен он был, божественно прекрасен! Я — непонятным мне самому образом, когда знание чего-то, происходящего в другом, проскальзывало в меня, минуя логические ходы мыслей и открывало что-то невидимое и неведомое в душе другого, —

понял, что Ананда сейчас ставил Ольге те узкие рамки вполне определённого послушания и дисциплины, которые он отвергал с другими. Я как бы видел, что он берёт руку И. и вводит его приём воспитания в свой круг действий.

Что творилось с Ольгой — трудно даже передать. Но, пожалуй, преобладающим выражением на её лице было изумление.

— Вот как можно довериться кому-нибудь Я только одному этому подлому швейцару и сказала о смерти сестры. Да и сказала-то потому, что знала его любопытство. Небось сам прочел раньше, чем мне подал. И телеграмма-то пришла ночью. Когда только он успел вам всё передать?

— Я вас в последний раз спрашиваю: пойдёте вы путём любви и милосердия? Или... нам здесь больше делать нечего, — сказал Ананда.

— Даже если бы я и не хотела благотворительствовать, всё равно ничего не могу поделать, — эти проклятые тут. Я согласна ехать. Но вдруг они побегут за мной? — с ужасом осматриваясь по сторонам, ответила Ольга.

— Если увезёте отсюда ворованные вещи, — побегут, и бежать будут до тех пор, пока вы не возвратите похищенное. Если будете злы и раздражительны, недобры с детьми, — козлы появятся. И как только злые мысли или старые замашки будут тянуть вас к подлым людям и делам, — снова попадёте в круг ваших козлов, — тихо, твёрдо прозвучал голос Ананды. — Идите, собирайтесь и помните, что я вам сказал о чужих вещах. Вечером уходит поезд. Мой знакомый едет в Петербург. Я попрошу его взять вас в качестве жены, чтобы не возиться с заграничным паспортом, что здесь довольно долго делается. Когда соберете всё, — придёте ко мне.

Ольга вышла. Мы проводили её по лестнице, но она всё ещё дрожала от страха и озиралась по сторонам, где ровно ничего, кроме обычных и знакомых ей предметов, не было.

Войдя к себе, Ананда написал записку Строганову и послал к нему одного из наших караульчиков.

Недолго мы оставались одни. К нам пришёл князь, извиняясь за всё причинённое нам беспокойство и говоря, что Ольга категорически заявила о своём немедленном уходе, чем он поставлен в ужасное положение, так как её нечем заменить.

Ананда его успокоил, сказав, что сейчас приедет Строганов, у которого в семье много приживалок. И найдётся кому поухаживать за его женой, пока она сильно больна. А там видно будет.

Князь утешился, не зная как и благодарить Ананду, но вдруг схватился за голову.

— Господи, да ведь вы оба ещё ничего не ели! Да мне прощения нет!

— Не беспокойтесь, князь. Авось мы с Левушкой не умрём, ещё час-два поголодав. Как только я переговорю со Строгановым, мы поедем обедать.

— Никогда я этого не допущу! Сию минуту вам сюда подадут завтрак, а обедать, я надеюсь, вы не откажетесь со мной вечером.

И не дожидаясь ответа, князь почти выбежал из комнаты. Ананда сел к столу, читая какое-то письмо; я же был так разбит, что не мог даже сидеть, лег на диван, чувствуя, что силы меня оставляют.

— Мой бедный мальчик, выпей эту воду, — услышал я нежный голос, до того мягкий, гармоничный и любящий, что я еле признал в нём властный и металлический "звон мечей".

Вскоре мне стало лучше. Принесённый завтрак подкрепил мои силы, о чём хлопотал сам князь, собственноручно подкладывая мне всякой всячины. Когда спустя некоторое время вошёл Борис Федорович, я уже и забыл, что едва спасся от обморока заботами Ананды.

Сиделка у Строганова, конечно, нашлась; и он же взялся отвезти Ольгу к знакомому Ананды, уезжавшему сегодня в Петербург. Ананда на словах просил Строганова передать уезжавшему купцу, что Ольга — горничная княгини, которую смерть сестры заставляет спешить к сиротам. Самому же Борису Федоровичу он рассказал обо всём, что случилось сегодня. Строганов долго молчал, потом тихо сказал:

— Я думал бы, что Анне необходимо навестить княгиню, когда ей станет немного лучше.

— Я не могу принять от нее этого подвига, — в раздумье отвечал Ананда.

— Нет, Анна уже не та. Теперь ей многое легко из того, что прежде стояло перед нею непреодолимой стеной. Думаю, она сама придёт, лишь только узнает обо всём, — снова помолчав, сказал Строганов.

Вскоре он ушел от нас к купцу, и нам выпало, наконец, несколько мгновений отдыха и тишины. По задумчивому лицу Ананды, ставшему сейчас мягким и тихим, прошла неуловимая улыбка счастья. Точно он говорил с кем-то очень любимым, но далёким. Как много раз — при самых разнообразных обстоятельствах — я видел это прекрасное лицо и эти глаза-звёзды и, казалось, знал их. А сейчас увидел какого-то нового человека, от которого всё вокруг наполнилось миром и блаженством. И я понял, что видел до сих пор только кусочки истинного огромного Ананды, как и сейчас вижу только маленький кусочек Ананды-мудреца. Но ещё никогда не видел я Ананды-принца. Каков же он, когда бывает принцем? Я тут же стал "Лёвушкой-лови ворон" и опомнился от смеха Ананды, который

говорил, похлопывая меня по плечу:

— Решишь в Индии этот важный вопрос. Я тебя там встречу и спрошу, какой раджа показался тебе восхитительнее меня? А сейчас вернётся Борис Федорович и придёт Ольга. Передай ей это письмо и скажи, чтобы подождала Строганова и ехала вместе с ним к купцу. Там ей всё скажут и покажут. И о чём бы она тебя ни просила, — передай ей только то, что я тебе сказал.

Строганов вернулся и объявил Ананде, что купец был очень рад хоть чем-нибудь выразить ему свою признательность. Что касается сиделки, то её привезёт сюда, прямо к князю, старший сын Строганова.

Моё прощальное свидание с Ольгой происходило в присутствии Бориса Федоровича. Ей, видимо, хотелось видеть Ананду, чего она всячески добивалась. Ни на один её вопрос я не отвечал, говоря, что передаю только то, что мне поручено, и больше ничего не знаю.

После ухода Строганова и Ольги, всё остальное время, вплоть до обеда, Ананда диктовал мне письма и деловые ответы в какие-то банки и велел внести в большую книгу пачку адресов. Во все углы земного шара летели письма Ананды. — Целый адресный стол, — невольно сказал я. — А я у тебя спрошу через десяток лет твои грессбухи, тогда и сравним наши адресные столы, — ответил, смеясь, Ананда.

Князь сам пришёл звать нас обедать. Я был рад, что кончается этот сумбурный день, и нетерпеливо ждал возвращения И.

— Не знаю, как я буду и жить без вас, без И., без Левушки, — говорил печально князь, когда мы вышли на балкон.

— Я бы на вашем месте ставил вопрос совсем иначе, князь, и говорил бы: "Как я счастлив, что вы останетесь здесь, со мною, мудрец и принц Ананда", — засмеявшись, сказал я.

— Как я счастлив, каверза-философ, что тебя сейчас проберет за дурное поведение твой воспитатель.

Не успел Ананда закончить своей фразы, как я увидел И., идущего от калитки по аллее. Я бросился со всех ног ему навстречу и через минуту висел у него на шее, забыв вообще всё на свете, не только внешние приличия.

Глава 26. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

Мой добрый и дорогой друг не сделал мне замечания за невыдержанность, напротив, он нежно прижал меня к себе, ласково погладил по голове и спросил, всё ли у нас благополучно.

Поспешившие навстречу Ананда и князь повели его прямо в комнаты Ананды. После первых же слов князя о жуликах и Ольге И. внимательно посмотрел на Ананду, потом на меня и, точно думая о чём-то другом, спросил князя: — А как сейчас княгиня?

Получив подробный отчёт о её состоянии от князя, И., как бы нехотя, сказал:

— Это, пожалуй, может нас задержать, а между тем уже время ехать.

От настойчивых предложений князя поехать И. отказался; и тот, побыв ещё немного с нами, ушёл к жене, заручившись обещанием навестить больную перед сном.

После ухода князя И. рассказал нам, как пытались ещё раз друзья Браццано проникнуть на пароход. Под разными предлогами, добираясь до Хавы и старшего турка, они пробовали и подкупить их, и застрашать, но каждый раз были со срамом изгоняемы.

Что же касается самого злодея, то его психология, так резко изменившаяся при сэре Уоми, вернулась на круги своя, как только некоторые его уцелевшие приспешники насели на него, требуя возврата камня, составлявшего будто бы собственность не одного Браццано, но всей их тёмной шайки.

Браццано, бушуя, старался обратить на себя всеобщее внимание, надеясь, что, вызвав к себе сочувствие публики, он сможет ускользнуть. И. пришлось пробыть с ним в его каюте весь путь до первой остановки, так как злодей, вооружённый кое-какими знаниями, взявший с собой всякие ядовитые вещи и амулеты, оказался, подталкиваемый своими помощниками, сильнее, чем И. предполагал вначале. Он пытался отравить даже самого И., так что тому пришлось снова скрючить негодяя и лишить его голоса.

Только отъехав далеко от Константинополя и, по-видимому, поняв, что возврата нет, — он отдал всю захваченную им с собой дрянь, которую И. бросил в море. При расставании с И. он ядовито усмехнулся, говоря, что

насолил немало княгине и Левушке, которых уже никакие лекарства не спасут. Он уверял И., что ещё поборется с сэром Уоми и отберет свой камень или достанет новый, не меньшей ценности.

— Вот почему я и беспокоил тебя, Ананда, своей эфирной телеграммой, хотя и был уверен, что злодей бессилен. Однако всё то, что я услышал, заставляет меня покинуть Константинополь скорее, чем мы предполагали. Мне необходимо повидаться с Анной и Еленой Дмитриевной, с её сыном и Жанной, потому что здесь завязался новый клубок взаимоотношений, к которым я сильно причастен. Но князя и княгиню, как это ни грустно, придется покинуть на тебя одного, как и Ибрагима.

— Не волнуйся. И., мне всё равно пришлось бы здесь задержаться, пока Браццано не будет доставлен на место. А кроме того, моя основная задача здесь должна была состоять в отправке Анны с вами в Индию. Раз я не смог этого выполнить, — я должен влить ей энергию на новое семилетие жизни и труда. В эти годы я уже не буду иметь возможности отдать ей ещё раз своё время; надо так помочь ей теперь, чтобы её верность укрепились, чтобы радость жить зажгла сердце.

Попутно я кое-что сделаю для Жанны. Всё это я могу один. Что же касается здоровья княгини, то здесь твоя помощь необходима. Я снесусь с дядей, а ты с сэром Уоми, — и, вероятно, придется опять применить дядин метод лечения. В данное время княгиня всё спит и сознаёт очень мало. Мы можем пройти к ней хоть сейчас. Непосредственной опасности нет, конечно; но от яда её нервная система снова расстроена.

Взяв аптечки и кое-какие добавочные лекарства, мы пошли к княгине. Князь, по обыкновению, дежурил у постели жены; и я в сотый раз удивлялся этой преданности молодого человека, вся жизнь которого сосредоточилась на борьбе со смертью, грозившей его жене.

Ананда дал проснувшейся княгине капель и спросил, узнаёт ли она его. Княгиня, с трудом, но всё же назвала его. Меня совсем не узнала; но при виде И. - вся просияла, улыбнулась и стала жаловаться на железные обручи на голове, прося их снять.

И. положил ей руку на голову и осторожно стал перебирать её волосы, спрашивая, кто ей сказал, что на голове её что-то надето. — Ольга надела, — совершенно отчётливо сказала бедняжка. Вскоре княгиня мирно спала. Обеспокоенному князю Ананда сказал:

— Сядемте здесь. Сегодня мы уже никуда не пойдём, надо поговорить. Память к больной возвращается — это признак хороший. Но дело идёт о гораздо более глубоком, и более о вас, чем о вашей жене. Для чего хлопотать о её выздоровлении, если она не сможет воспринять жизнь по-

другому? Конечно, она во многом изменилась. Но главная ось всей её жизни — деньги — всё так же сидит в ней; всё так же движение всех людей, её самой и вас, — всё расценивается ею как ряд куплей-продаж. Быть может, сейчас в ней и просыпается некоторая доля благородства, — но жизни в её сердце, как сил и мыслей, не связанных с деньгами, — в ней нет.

Вы сами, князь, будучи полной противоположностью жене, не сможете стать ей крепкой духовной опорой, если будете стоять на месте и чего-то ждать. Есть ли что-нибудь в вашей жизни, во что бы вы верили без оговорок? Чем бы вы руководствовались без компромиссов? Видите ли вы в тех или иных идеях и установках цель вашей жизни? В чём видите вы смысл существования?

Привычка жить в безделье теперь только тяготит вас. Но всё, о чём вы думаете, — все ваши мечты о новых сиротских домах, о приютах и школах, — это внешняя благотворительность. И она не даст вам, как и всё внешнее, ни покоя, ни уверенности. Вы в себе должны обрести независимость и полную освобожденность. Только тогда, когда вы осознаете всю полноту жизни внутри себя, — вы найдёте смысл и в жизни внешней. Она станет тогда отражением вашего духа, а не таким местом, куда бы вам хотелось втиснуть ваш дух.

Вы сумеете раскрыть — вашей любовью — какое-то новое понимание жизни своей жене. Сможете объяснить ей, что нет смерти, а есть жизнь, единая и вечная. Что смерть приходит к человеку только тогда, когда он всё уже сделал на земле и больше ничего сделать на ней не может, — а потому и бояться её нечего. Но это вы сможете объяснить ей не раньше, чем сами поймёте. А для этого вам надо освободиться от предрассудков скорби и страха.

Лицо князя сияло, он показался мне иноком, ждущим пострига. — Я всё это понял. Не знаю как, не знаю почему, но понял внезапно, когда играла Анна. А когда стали играть и петь вы, — я точно вошёл в какой-то невиданный храм. И знаю, что уже не выйду оттуда больше. Не выйду не потому, что так хочу или не хочу, выбираю это или не выбираю, но потому, что, войдя в тот храм, куда вы ввели меня своей музыкой, — я умер. Тот я, что жил раньше, — там и остался; а вышел уже другой человек.

Я не знаю, как вам об этом рассказать. И слов-то таких я подобрать не умею. Только видел я дивный храм, вошёл туда — горело сердце земной любовью. А ушёл из храма — всё выжгло. И не то чтобы сердце стало холодно. Нет, но в нём теперь пусто, прозрачно, точно в хрустальном сосуде. И если встречаюсь теперь со страданием, — там, в том месте, где

так жестоко мучился сердцем когда-то, — начинает звенеть, точно я слышу вашу песню, свободную, чистую. Я знаю, что говорю невнятно; но слов, которые бы выразили эти ощущения, я не знаю. Ананда, не спускавший с князя глаз, тихо спросил: — Если бы сейчас ваша жизнь вновь переменилась, и вам ответило бы в груди знойное, страстное сердце, — что бы вы выбрали?

— О, нет; я сказал: у меня нет выбора. Я теперь очень счастлив. Я говорил с сэром Уоми, и он сказал мне, что пути людей разные. Но что мой путь — путь радости. Там, где иные достигают, страдая годы, иногда и века, я прошёл в одно мгновение — так сказал мне сэр Уоми. Он велел мне, Ананда, ждать, пока вы сами не заговорите со мной. Велел молчать, неся своё счастье жить каждый день, представляя, что в руках у меня самая дорогая чаша из цельного, сверкающего аметиста, в которой лежат ровные жемчужины радости.

Этот брошенный мне образ, с которым я просыпаюсь утром и засыпаю вечером, — я храню в памяти так осязаемо, как будто руки мои действительно несут чудесную чашу. И вам, Ананда, только вам одному, я обязан этим дивным и внезапным счастьем. Когда я увидел Анну, — я понял, что погиб. Я полюбил её сразу, без вопросов, без рассуждений, без борьбы. Полюбил без всяких надежд, всей знойной страстью земли... Я знал, кого любила Анна... А голос ваш указал мне путь в иной мир; в мир, где живут, любя всё существующее так, что забывают о себе. Я пережил какое-то преображение; но как и почему оно совершилось — я не знаю. Я стал свободным и счастливым.

Ананда, вы заговорили, — я ждал этого часа. Научите меня теперь трудиться и жить для людей творчески, неся им истинную помощь. И первая, — она, — указал он на жену. — Я думал когда-то спасти её; а вышло, что едва не погиб сам.

— Нет, друг, вы спасли её. И если я молчал, — то не потому, что подвергал вас испытанию. А потому, что не хотел прикасаться к вашему новому и чудесному видению, пока оно в вас не окрепло, пока не стало вашим сокровищем любви. Той частицей вечности, которая просыпается в человеке и делает его истинно живым; то есть раскрывает все силы и духа, и тела как гармоничное целое, как его высшее «я»...

Я остаюсь здесь, у вас в доме — если позволите, — ещё несколько месяцев, Я буду ежедневно видеться с вами; и с радостью поведу вас тем путём любви, которым вели и ведут меня мои старшие братья.

Князь низко поклонился Ананде. Тот, улыбаясь и обняв его, подвёл его к больной, дал ему нужные наставления, сказал, что беспокоиться о жуликах

больше нечего, — и мы, простившись с князем, вернулись в наши комнаты.

Необычайная речь князя, его сиявшее и словно иноческое лицо произвели на меня такое сильное впечатление, что, возвратясь, я немедленно превратился в "Лёвушку-лови ворон" и только и видел князя держащим аметистовую чашу в руках. А воображение немедленно наградило его белым хитоном из такой же материи, какую подарил Али моему брату в день пира. Этот образ князя — рыцаря с чашей — заморозил меня. Я уже примеривался и сам к такой же жизни и уже готов был выбрать себе зелёную чашу, в честь моего великого друга Флорентийца, как услышал весёлый смех и ласковый голос И.:

— Левушка, уронишь аптечку, и все пилюли Флорентийца попадут не в чашу, а на пол. Я опомнился, озлился и почти с досадой сказал: — Как жаль! Вы разрушили дивный образ, за которым я мог сейчас далеко уйти. И что особенно неприятно и непонятно: как это получается? Неужели на моей несчастной физиономии так и рисуется всё, о чём я думаю?

Ведь знаете. И., - продолжал я жалостливо, — иногда мне так и кажется, что моя черепная коробка раскрывается под вашими взглядами и кто-либо, вы или Ананда, или сэр Уоми читаете там, что вам хочется, а затем коробка закрывается.

Оба моих друга ласково усадили меня на диван между собой, и И. стал рассказывать, как тосковал капитан в разлуке со мною и со всеми нами. Ему казалось, что он никогда больше не встретится с нами; и только категорическое обещание И., что он всех нас ещё не раз увидит, а мои слова о верности дружбы станут когда-то действием, — его несколько успокоили. И. спросил Ананду:

— Как думаешь ты повести дальше Анну? Неужели и теперь ты будешь принимать на себя двойные удары? И предоставишь Анне ждать, пока у неё внутри что-то само собой созреет? Пока, по её выражению, она будет чувствовать, что у неё "что-то, где-то не готово"? А на самом деле это ведь только лень и небрежность, которыми прикрываются малодушие и шаткость, отсутствие истинно ученической веры и верности. Если бы она шла рука в руку и сердце к сердцу с тобой, — она давно бы не только вырвалась из условных сетей быта, но и повела бы других за собой.

— Ты прав. Я думал, судя по тебе и немногим другим, — что путь свободного самоопределения и лучший, и наиболее лёгкий, и самый короткий. Я не учел всех индивидуальных свойств Анны и сам виновен, что принял на себя её обет беспрекословного повиновения.

Культурность, очевидно, не равнозначна духовной интуиции. Закрепощенный умственно строптивец никак не может перескочить через

кажущуюся условность восприятия жизни земли и неба как единой живой жизни. Имея столько осязаемых земных даров, Анна с трудом переходит к осязаемой мудрости.

— Здесь всё ещё носится какой-то мерзкий запах, — сказал я. — У меня голова идёт кругом...

Пришёл я в себя только на следующий день и первым увидел И., разговаривающего с какой-то женщиной. Присмотревшись, я узнал Анну.

Она, как всегда прекрасная, удивила меня теперь своей печалью, тоской, какой-то мукой разочарования, разлитой по всему её существу, точно её пришибло что-то.

— Неужели я причинила бы такое горе Ананде, отцу, сэру Уоми, если бы знала всё? Мне показалось, что Ананда просто невзлюбил Леонида и потому велел сжечь феску и брелок, которые мальчику дал Браццано. Братишка дорожил ими, — я пожалела его. Что же тут особенного? Я ведь только была милосердна к ближнему. Зачем было не объяснить мне всего вовремя?

— Так выходит, что не вы были причиной собственных и чужих несчастий, а друг ваш Ананда, открывший вам, по вашему же выражению, "небо на земле"?

Скажите, женщина, если бы вы стояли у алтаря с любимым и клялись ему в верности до гроба? Сдержали бы вы свои клятвы хотя бы здесь, на земле? А вы ведь отнюдь не слепая женщина, бредущая по земле и знающая только ту религию, что учит: "упокой со отцы". Вы знали живую Жизнь, учащую, как жить на земле в Свете. Не клятву у алтаря давали вы Ананде; вы получили от него Свет, чтобы слиться с ним и стать Светом на Пути другим людям. Где она, ваша верность? Вы послушались первого же приказанья и требуете разъяснений, объяснений, рассуждений? В чём состояло ваше представление о радости служить человеку, открывшему вам живое небо в каждом и в вас самой? Он приобщил вас к труду вечной памяти о свете и любви, — но ваше поведение, ваша строптивость, ревность, невыдержанность, — разве отличались вы от любой обывательницы, считающей себя перлом создания.

— Я понимаю, что нарушила первое правило верности: закон беспрекословного повиновения. Я понимаю, что была горда, возможно суетна, но...

— Но мало понимаете, что и сейчас бредёте ощупью, потому что в вас нет истинного смирения, — перебил её И. — Смирение — это не что иное, как незыблемый мир сердца. И он приходит к тем, кто знает своё место во вселенной. Чем больший мир несёт в себе человек, идущий по земле, —

тем дальше и выше он видит. А чем дальше видит, — тем всё больше понимает, как он мал, как немного может и знает, какой длинный путь у него впереди.

Ананда никогда и вида вам не подал, сколько принял страданий из-за вас. И вам никак не понять его. Вы пребываете в бунте и волнениях, потому и не можете видеть, что он вас благословил за каждое страдание, радовался возможности принять его на себя, надеясь скорее помочь вашему освобождению. Вы же, видя его неизменно радостным, как бы не замечавшим упрёка в ваших глазах, стали ревновать и сомневаться... Вы знаете, к чему это вас привело. Анна, закрыв лицо руками, плакала. — Анна, — закричал я, — не надо плакать. Я утону в ваших слезах! Не должно быть, чтобы душа, дающая такую радость людям, как ваша, так часто погружалась в слёзы! Вы не знаете, что Ананда принц и мудрец. А я знаю, — мне И. сказал. Я видел раз, как он был прекрасен и тих до невозможности это вынести; божественно прекрасен! Разве можно плакать, зная и любя Ананду?

Но на последних словах я стал задыхаться и опять пожаловался И. на зловонный запах.

И снова очнулся я утром, на этот раз совершенно крепким, и сразу понял, что лежу на диване в комнате Ананды и он сидит возле меня.

— Ну, наконец, каверза-философ. Задал же ты нам хлопот, разбойник! Анна целую неделю тебя выхаживала, не уступая места никому. Вставай, пора окрепнуть и уезжать. Вот тебе письмо от Флорентийца.

Лучше всяких пилюль подействовало письмо. Я мигом был готов и уселся его читать.

"Мой милый друг, мой славный оруженосец Левушка, — писал Флорентиец. — Твоя жизнь, кажущаяся тебе запутанной, — проста и ясна, ровно так же, как чисто и верно твоё юное сердце. Я постоянно думаю о тебе, и для меня не существует между нами расстояния. Чтобы каждый день прижать тебя к сердцу и послать тебе всю помощь и поддержку моей любви, мне надо только знать, что верность твоя следует за моею неуклонно.

Сейчас тебе кажется, что ты откуда-то вырван, чего-то лишён; но скоро, очень скоро ты поймёшь, какое счастье встретил ты в жизни и как редко оно выпадает человеку.

Как бы ни казались тебе мелки и пусты люди, а их беды и горести малы и ничтожны, — никогда не суди их и не чувствуй себя большим среди маленьких, если они тебе жалуются.

Вспомни, каким страшным и несоизмеримым казалось тебе различие в наших с тобой знаниях и духовной культуре! Однако тебя не подавляло моё мнимое величие! Ты радовался, живя со мной. А я не чувствовал в тебе ничего, кроме этой радости; и меня так же радовало, что есть ещё одна душа, которой светит моя любовь.

Встречаясь с людьми, — не думай, как плохо они живут, как не задохнутся в атмосфере удушливых страстей. Думай обо мне; думай о том, как дать им через себя живую и укрепляющую струю моей любви и радости, которые я тебе ежеминутно посылаю.

Думая так, ты будешь всюду трудиться вместе со мной. Ты будешь очищать вокруг себя пространство своею чистой мыслью. Ты всегда найдёшь силы пройти мимо многих драм и трагедий, создаваемых человеческими страстями; и не только не запачкаешься сам, но и остановишь других силой чистой мудрости, что несёшь в себе.

Быть может, какой-то период времени тебе придется жить среди людей низкой культуры; среди людей, не имеющих знаний и даже не предполагающих, что можно жить не лицемеря. Не считай себя невинно страдающим, закабалённым такими печальными обстоятельствами. Усматривай в них нужные тебе — твои собственные обстоятельства, — через которые тебе необходимо пройти, чтобы в себе самом найти стойкость чести и высокое благородство.

Иди смело рядом с И., живи с ним так же рука в руку и сердце к сердцу, как идёшь со мной. Пересылаю тебе письмо брата, обнимаю тебя, благословляю и шлю привет моей верности.

Твой вечный друг Флорентиец".

Не знаю, чем я был больше тронут: письмом ли Флорентийца, заботами ли окружавших меня друзей, — только встал в моих глазах образ Флорентийца с цветком чудесной лилии, — и показалась мне жизнь чем-то великим, нужным, ценным; таким ещё ни разу не рисовалось мне величие земного пути человека.

Я вынул письмо брата, и слёзы потекли у меня из глаз при виде дорогого почерка брата-отца, которого я так давно не видел.

— Ты что, Левушка? — услышал я голос Ананды и почувствовал его руку на своей голове.

— Не беспокойтесь, — беря его руку и приныкая к ней, сказал я. — Просто так давно не видел почерка брата, что не могу совладать с

волнением. Но я совершенно здоров.

— Мужайся, друг. Жизнь рано дала тебе зов. Стремись отвечать ей не как мальчик, а как мужчина.

Он сел за прерванную работу, я же стал читать письмо, сразу вернув себе самообладание.

"Давно уже расстались мы с тобой, мой сынок Левушка. И только теперь каждый из нас может оценить, чем были мы на самом деле друг для друга и каково было влияние каждого из нас друг на друга.

Расставшись со мной и вынеся из-за меня столько испытаний, лишь теперь ты можешь сказать, любил ли и любишь ли ты меня. Только теперь, оставшись один, ты можешь решить, хороши или дурны были те заветы, на которых я старался воспитывать тебя.

Что касается меня, то, попав в непривычный для меня мир людей и идей, я почувствовал, как я плохо воспитан, как мало я знаю и какую огромную работу самовоспитания и самодисциплины мне придется начинать".

Дойдя до этого места, я вскочил со стула, забежал по комнате, схватившись за голову и крича:

— Да ведь это же невозможно! Брат Николай — невоспитанный человек!? Это бред!

Вошедший И. уставился на меня своими топазовыми глазами и сказал:

— Левушка, тебе приснились козлы?

— Хуже, И., хуже! Читайте сами, вот здесь. Ну, есть терпение выдержать?

— Ты, я вижу, так же приготовил в своём сердце место для чтения письма брата, как ты готовил его для писания письма капитану! Как ты думаешь? Сейчас ты радуешь Флорентийца?

Я вздохнул и пошёл на своё место, снова взявшись за письмо и поражаясь, на какое короткое время хватило моего самообладания, казавшегося мне таким цельным и твёрдым.

"Если бы у меня была малейшая возможность, — читал я дальше, — я бы выписал сюда моего дорогого Левушку, о котором думаю постоянно и без которого в сердце моём живёт иногда беспокойство. Мне порою кажется, что тебе бывает горько. Ты считаешь, что я, брат-отец, покинул брата-сына и живу так, как хочу, как выбрал и где тебе нет места.

Но если я виноват в личной привязанности, в личной дружбе и тоске по другу, то это по тебе, Левушка.

Твои успехи, твоя жизнь мне дороже моей. И как я признателен милой Хаве, приславшей мне твой рассказ. Я скрыл от тебя, что пишу сам. Скрыл,

чтобы не давить на тебя, чтобы ты сам вырабатывал своё мировоззрение, независимо от меня, свободно ища не гармонии со мною, а своё собственное движение в гармонии с жизнью.

И ты порадовал меня. Я ждал всегда от тебя вещи талантливой. Но ты дал в первой же черты художественной высоты и мудрость не мальчика, а большого, твёрдого сердца, которому близок гений.

Моя жена шлёт тебе привет и надежду на скорое свидание. Ей тоже, не меньше моего, приходится перестраиваться в новой жизни. Но как женщина она делает это проще и легче. А как существо, принадлежащее какой-то высшей расе, — выше и веселее.

Смейся, Левушка, больше. Не печалься разлукой. Я знаю, какая глубина любви и верности живёт в твоём сердце. Поэтому я не говорю тебе о благодарности людям, спасшим нам с тобой жизнь. Я говорю только: смотри на их живой пример и ищи в себе все возможности расти, чтобы когда-нибудь идти по их следам, дерзая разделить их труд.

До свидания. Я не придаю значения письмам, я знаю и верю, что я живу в сердце брата. Но буду рад увидеть твой полудетский почерк, которым ты был в силах написать вещь, утешившую много сердец. Твой брат Н."

Должно быть, я долго ловиворонил.

— Что же, Левушка, теперь, может быть, расскажешь толком, что тебя ввело в исступление? — поглаживая меня по голове, сказал И.

Я протянул ему оба письма, не будучи в силах ни говорить, ни двигаться. Я точно был сейчас с братом Николаем, видел его и Наль, и они оба кивали мне головами, весело улыбаясь. И. сел подле меня, прочитал оба письма и сказал: — Очень скоро, уже на этих днях, мы с тобой уедем отсюда. Поедем не морем, чтобы ты мог увидеть чужие страны и народы.

Здесь у нас останется одно только существо, о котором нам с тобою надо особенно позаботиться, — это Жанна. Все остальные — так или иначе — добредут до равновесия и научатся стоять на своих ногах. Жанне же надо постараться сделать временные костыли, пока Анна и князь не помогут ей вырваться из сетей её собственной невоспитанности и бестактности.

— Ах, Лоллион, мне даже слышать мучительно стыдно, когда вы говорите: "нам с тобой". Я каждую минуту попадаю впросак сам, ну хоть вот сию минуту! Но — признаться ли — несмотря на всю нелепость своего поведения, на всю смешную внешнюю сторону, я внутри всё чаще и чаще испытываю какой-то восторг.

Я так счастлив, что живу подле вас! И слова Флорентийца о том, что мне кажется, будто я вырван откуда-то и что-то потерял, — это уже моё

«вчера». А моё «сегодня» — это какое-то просветлённое благоговение, с которым я принимаю своё счастье жить подле вас каждый новый день.

Я хорошо понимаю, о чём хотел сказать князь. Но внутри меня звенит не пустое сердце, как он выражается. Наоборот, моя любовь такая горячая, такая знойная! Иногда мне кажется, что даже физически разливаются вокруг меня горячие струи моей любви.

— Вот и пойдём с тобою к Жанне; и неси ей эти струи. Неси, не думая о словах, какие скажешь. Думай только о руке Флорентийца и его силе, которую тебе надо ей передать. Это ничего, что сам ты — как таковой — бываешь шаток и слаб и теряешь в мыслях связь с ним. Лишь бы в сердце твоём всегда сиял его образ. Ты всюду сможешь принести его помощь, если верность твоя не поколеблется. И никто не ждет, что сегодня ты станешь ангелом или святым. Но всякий мудрый знает, что на чистое и бесстрашное сердце он может положиться. Чистое сердце это тот путь, по которому мудрец может послать свой свет людям.

Вошедшему Ананде мы сказали, что отправимся сначала в «Багдад», а затем зайдём в магазин к Жанне как раз к обеденному перерыву. Ананда подумал и ответил:

— Хорошо, Анна по обыкновению придёт сюда в перерыв. Я переговорю с нею и, может быть, тоже приду в магазин. Но лучше я подожду вас здесь, нам придется заняться лечением княгини.

Мы расстались, и к началу перерыва были на месте. — Как я счастлива видеть вас, — вскрикнула Жанна. — Как будет жалеть Анна. Она только что пошла с отцом к вам.

— Анна жалеть не будет; у неё дел немало и без Левушки, — сказал И. — А вот вы, конечно, сейчас будете плакать.

— И вовсе не буду, доктор И. Я теперь стала такая жестокая, что слезы не выроню ни о ком и ни о чём. За последнее время я видела столько горя, что сердце у меня стало грубое, как этот медный чайник, — указывая на довольно безобразный пузатый чайник, почему-то стоявший на изящном столике, сказала Жанна.

— Неужели же, Жанна, всё, что вы видели от людей за последнее время, вы можете назвать жестокостью? — в ужасе спросил я. Жанна опустила глаза, и на лице её появилось выражение тупого упрямства, какое бывает у балованных и недобрых детей. Я поражался, как может подниматься со дна души Жанны на поверхность всё самое плохое, что там лежит? И именно сейчас, когда люди несут ей всё лучшее, что есть в их сердцах? Я знал, как много добрых качеств в этой душе, и терялся в догадках, что могло стать причиной её ожесточения.

И. молчал, и какое-то чувство неловкости за Жанну охватило меня. "Неужели она не ощущает, какое счастье для неё, как и для всякого другого, сидеть вместе с И.?" — думал я. Я и представить не мог, как можно не сознавать той высокой мудрости, которая шла от И., и не переживать её как счастье.

— Как вы считаете, Жанна, не следует ли вам сходить к княгине и поблагодарить её за заботы о ваших детях? — спросил И. тихо, но тем чётким и внятным голосом, который — я знал — несёт в себе целую стихию для человека, к которому обращен.

Выражение упрямства не сходило с её лица, и она ответила капризно, с досадой, как будто бы к ней приставали с чем-то незначущим и нудным:

— Не просила я никого заботиться о моих детях; позаботились — как сами того хотели, ну и баста.

Я онемел от изумления и не смог вмешаться в разговор. Я никак не ожидал от Жанны подобной вульгарности.

— А если завтра жизнь найдёт, что неблагодарных следует вернуть в их прежнее положение? И вы снова очутитесь на пароходе с детьми, без гроша и без защиты добрых людей? — пристально глядя на неё, спросил И.

Жанна, как бы нехотя, лениво подняла глаза и... задрожала вся, умоляюще говоря:

— Я и сама не рада, что всё бунтую. Меня возмущает, что меня все учат, точно уж я сама ничего не понимаю. Мои шляпы уже прославились на весь Константинополь; ведь это что-нибудь да значит? Не могу же я и детей воспитывать, и дело вести, и, наконец... жизнь не только в детях? Я хочу жить, я молода. Я француженка, мы рано привыкаем к открытой жизни. Я хочу ходить в театры, рестораны, а не дома всё сидеть, точно в монастыре, — говорила возбужденно Жанна.

— Давно ли вы изменили ваши взгляды? На пароходе вы говорили мне, что готовы всю жизнь отдать детям, борясь за их жизнь и здоровье? — глядя на неё, продолжал И.

— Ах, доктор И., что вы всё поминаете этот пароход? Ведь уж это всё было давно; так давно, что я даже и забыла. Меня дамы приглашают к себе, хотя бы познакомиться с интересными кавалерами, а вы мне всё о детях. Не убудет же от них, если я повеселюсь! — протестовала Жанна, досадливо кусая губы.

— Нет, быть может, им будет даже лучше, если они и вовсе не будут жить с вами. Но вам, неужели вам кажется прекрасной та рассеянная жизнь, о которой вы мечтаете? Неужели в детях вы видите только помеху?

— Я вовсе не скрываю, что очень хотела бы отправить детей к

родственникам. Я их очень люблю, буду, верно, скучать без них; но я не могу сделаться хорошей воспитательницей. Я раздражаюсь, потому что они мне мешают.

— Дети ведь теперь постоянно живут у Анны. И если вам приходится их видеть, то не потому, что вы зовёте их, а потому, что они хотят видеть вас. Они бегут к матери и, награжденные сначала поцелуями и сладостями, а потом шлепками, возвращаются к Анне, говоря няне: "Пойдём домой". Вам их не жаль, Жанна? Не жаль, что дети называют домом дом чужой им Анны?

— Вы хоть кого доведёте до слёз, доктор И. Неужели только затем я так ждала вас и Левушку сегодня, чтобы быть доведённой до слёз?

— Я, я, я — только эти мысли у вас, Жанна? Вы ни одного лица чудесного, доброго, светлого не запомнили за это время? Образ сэра Уоми не запечатлелся в вашем сердце? — спрашивал тихо И.

— Ну, сэр Уоми! Сэр Уоми — это фантастическая встреча! Это святой, который вышел в грешный мир на минутку. Это так высоко и так — вроде как до Бога — далеко, что зачем об этом и говорить? Он вышел, как улитка показал свои рожки и скрылся, — опустив глаза, тоном легкомысленной девочки болтала Жанна.

Я думал, что грозовая волна от И. ударит Жанну и разнесёт её в куски. Его глаза, расширившиеся, огромные, метал молнии, губы сжались, прожигающая насквозь сила точно хотела вырваться наружу, но... он сделал какое-то движение рукой, помолчал — в полном самообладании — и ласково сказал:

— На этих днях мы с Левушкой уезжаем. Вероятно, сегодня вы видите нас в последний раз наедине, когда мои разговоры, так вас тяготящие, могут касаться дорогих вам людей. У Анны дети жить долго не могут. Она прекрасная воспитательница, но у неё — иные сейчас дела и задачи.

Если жизнь, которую рисует вам Леонид, так для вас заманчива, — идите, наслаждайтесь страстями. Но — уверен — как горько когда-нибудь вы зарыдаете, вспомнив эту минуту! Когда осознаете, что стояло перед вами, кто был подле вас и как вы сами всё отвергли...

Любовь — это не та чувственность, которая сейчас разъедает вас и в которой вы думаете найти удовлетворение. Но всё равно. Что бы я ни сказал вам теперь, вы — слепая женщина, слепая мать. Как слепа та мать, которая видит в жизни одно блаженство — в "моих детях" — и портит их своей животной любовью, так слепа и та, что не видит счастья сберечь и вывести в жизнь порученные ей души, для которых она создала тела, — обе одинаково слепы, и никакие слова их не убедят.

Отправлять ваших слабых здоровьем детей к родственникам, где жизнь груба и где о них будут заботиться не больше чем о собаках или курах, — нельзя. Если они вас стесняют, я могу отправить их в прекрасный климат, в культурное семейство, где есть две воспитательницы, отдающие этому делу и любовь, и жизнь.

Но этот вопрос должен быть решен при мне, пока я здесь, и увезёт их Хава, для которой я прошу у вас крова на несколько дней. Завтра мы зайдём к вам, и вы скажете нам, что решили. А вот и Анна, — нам пора уходить.

Анна, видимо, торопилась, учащённо дышала и была бледна от жары.

— Как я рада, что застала вас, — здороваясь с нами, сказала она. — Но что это с вами, И.? Вы, право, точно Бог с Олимпа, прекрасны, но гневны. Я ещё ни разу не видела вас таким. — Она обвела нас всех глазами, снова посмотрела на И. и вздохнула.

— Я рада, что вы здоровы, Левушка, — обратилась она ко мне. — Но неужели вы оба уедете раньше, чем вернётся Хава?

— Хава будет здесь завтра; она свою задачу выполнила так, как только и могла её выполнить воспитанница сэра Уоми, — ответил И. — Я просил у Жанны приюта для неё на короткое время. Дети, Анна, не могут оставаться у вас. Если Жанна не передумает, — Хава отвезёт их в семью моих друзей.

— Как? — вне себя, бросаясь к Жанне, закричала Анна. — Вы хотите отдать детей? Но вы не сделаете этого, Жанна! Ведь вы сейчас в своей капризной полосе! Это пройдёт, опомнитесь.

— Я именно опомнилась. Я совсем не хочу в монастырь, как вы. И раздумывать много не желаю. Я отдаю детей вам, доктор И. Хава может увезти их хоть завтра, — холодно сказала Жанна, поражавшая меня всё больше. Я не узнавал прежней Жанны, милой, ласковой.

— Жанна, ведь вы на себя наговариваете! Это только ваше слепое упрямство, а завтра будете плакать, — настаивала Анна.

— Не буду и не буду плакать! Что вы все ко мне пристали со слезами? Вы воображали, доктор И., что я буду оплакивать разлуку с Левушкой? Нет, я уже поумнела! — перешла Жанна на вызывающий тон.

— Когда жизнь будет казаться вам невыносимой, когда будете обмануты, брошены и унижены, — оботрите лицо тем пологом, что я вам повесил, — ласково, печально сказал И. Обратитесь тогда к князю как к единственному другу, в сердце которого не будет презрения и негодования. Не забудьте этих моих слов. Вот единственный завет любви, который я могу вам оставить. Не забудьте его.

Голос И., когда произносил он эти последние слова, зазвучал точно колокол. Мне вдруг почудилось, что подле пронеслось что-то грозное,

бесповоротное, что положило Жанне на голову венок не из роз, о которых она так мечтала, а из терниев, ею же самой сплетённый.

Я снова вспомнил, что говорил капитан о Жанне. Сердце моё разрывалось, глаза были полны слёз. Я глубоко поклонился ей и в первый раз не притронулся, прощаясь, к её крохотным ручкам. Я хотел бы встряхнуть её, обнять, образумить; но сознавал, что сил моих не хватит даже на то, чтобы поддержать её мужеством. Я горько плакал, когда И. выводил меня из магазина, перед которым уже остановилась коляска с нарядными дамами.

Только спокойствие и мужество И. помогли мне вспомнить о Флорентийце, мысленно уцепиться за его руку и остановить рвущиеся из груди рыдания. Мне казалось, что Жанна закусил удила, и всё лучшее в ней скрылось под мутью наболевшего сердца. Точно кривое зеркало отражало для неё теперь мир, людей, пряча всё прекрасное под пошлостью и злобой.

Когда мы вошли к Ананде, он ни о чём не спросил, только сказал, по обыкновению залезая в мою черепную коробку:

— Отдели временное и уродливое от вечного, неумирающего. И поклонись страданию человека и той его муке, которая останется с ним, когда страсти завянут и спадут, как шелуха, и он увидит себя в свете истины. Он ужаснётся и будет искать свет, который когда-то ему предлагали. Но путь к свету — в самом человеке. Научить этому нельзя. Сколько ни указывай, где светло, — увидеть может тот, в ком свет внутри.

Скорбеть не о чем. Помогает не тот, кто, сострадая, плачет, а тот, кто, радуясь, отдаёт улыбку бодрости страдающему, не осуждая его, но его положение.

Через некоторое время к нам вошёл князь, сказав, что княгиня отдохнула после ванны, лекарства ей даны, и мы можем начинать лечение.

Ананда и И. были сосредоточенны. Они коротко отдавали мне приказания. Мы переоделись в белые костюмы, и я нёс запечатанный пакет с халатами и шапочками, который мы должны были вскрыть у княгини и там же надеть на себя его содержимое.

Я ни о чём не спрашивал, но чувствовал, что оба моих друга видят в предстоящей операции что-то очень серьёзное и трудное.

Княгиня была беспокойна, на щеках её горели пятна, ванна, видимо, её утомила.

Ананда велел сестре приготовить бинты, просмотрел приготовленные заранее лекарства и дал больной капель. Когда она уснула, он сделал ей три укола и какой-то большой иглой довольно долго вливал в вену сыворотку

тёмного цвета.

Когда рука была забинтована, он велел мне всё убрать, сел возле кровати и сказал князю:

— Через два часа у неё начнется бред, поднимется температура, её будет лихорадить. К утру всё утихнет, больная будет часто просить пить. Давайте это питье по глотку, но не чаще чем через двадцать минут. Можете вы сами точно всё исполнить? Если появятся тошнота или боль, — пошлите за мной, но сами не отходите от больной. Так вместе с сестрой и сидите, не отлучаясь из комнаты. Думаю, что всё будет хорошо, и я сам приду без зова вас проводить.

Простившись с князем, мы пошли к себе; но Ананда увёл нас в свои комнаты, где предложил разместиться по-походному.

Мысли о Жанне не покидали меня. Я перечел ещё раз письма брата и Флорентийца, приник к руке моего великого друга, моля его о помощи, и лег спать — в первый раз за всё это время не примирённый и не успокоенный.

Не помню, как заснул в этот раз. Но помню, что я поражался спокойному и даже торжественному выражению лица И., который сидел за столом, разбираясь в каких-то записках.

Утром, часов около семи, Ананда вышел из своей комнаты, говоря, что пройдёт к больной один, а если мы ему понадобится, — пришлет за нами.

Я был бы не прочь ещё подремать, но И. встал мгновенно. Это меня устыдило, и я тоже отправился в душ, думая о том, что ни разу не видел больным ни И., ни Ананду. Чем и как были закалены их организмы? Я этого не знал и очень сожалел, что до сих пор не выполнил указаний о занятиях гимнастикой и верховой ездой.

Мы с И. вышли в сад и хотели пройти в беседку, но тут встретили князя, звавшего нас к Ананде.

— Я вас позвал, чтобы вы полюбовались княгиней, — весело встретил нас Ананда на пороге комнаты.

Княгиня лежала, вернее, полусидела, посвежевшая, помолодевшая и такая бодрая, какой я её ещё не видел. Зато у князя вид был усталый, и только его сиявшие глаза говорили, как он счастлив.

Поздравив княгиню с выздоровлением, И. сказал князю, чтобы он немедленно отправлялся спать, так как больная может быть оставлена на сиделку. А вечером, за обедом, мы встретимся: у нас есть к нему просьба и большой разговор.

Князь обрадовался, сказав, что для него двойная радость, если он может быть нужен И., и мы расстались до вечера.

Втроём мы вышли из дома, выпили кофе у приятеля-кондитера и расстались с Анандой, который пошёл по своим делам, принявшим теперь совершенно иной оборот. Ни разу Ананда не сказал о своём разочаровании в связи с расстроившейся его поездкой в Индию. Ни разу что-либо похожее на досаду, что было бы так обычно для любого человека, которому осложнили жизнь, не мелькнуло в нём. Если имена Анны, Генри, Ибрагима и упоминались им, то только в связи с ласковым состраданием к их судьбе и уважением к их несчастью.

Не раз я думал, как бы горевал, досадовал и обвинял того, кто встал бы препятствием на моём пути и нарушил мои планы. И тут же, вспомнив всё, что перенёс за это время, я понял, что малому научился, несмотря на все передраги.

— Что задумался, Левушка? Ведь ты, пожалуй, даже и не знаешь, куда мы сейчас идём? — очнулся я от голоса И. — А между тем мы подходим к цели. Сейчас будем у Строгановых. Мы, вероятно, застанем Елену Дмитриевну с Леонидом за завтраком, — и это будет наш прощальный визит.

Мы действительно застали мать и сына за едой и беседой и, похоже, не очень для обоих приятной. Узнав, что мы уезжаем, Строганова встревожилась. — Неужели и Ананда едет тоже?

— Нет, он пока остаётся. Но почему вы так встревожены? — спросил И. — И почему у Леонида вид упорствующего и воинствующего дервиша?

— Если бы речь шла о монашеской секте, мне было бы много легче, — ответила мать. — Не было бы женщины, замешанной в этом деле. А сейчас, — что же от вас скрывать? Вбил себе в голову мальчишка, что ему надо жениться на этой смазливой французской кукле!

Только прикосновение И. к моей руке помогло мне смолчать. Точно оса укусила меня в сердце.

— Представляете себе? Двое детей и мамаша сядут нам на шею, — возмущенно продолжала Строганова.

— И вовсе не будет с нею детей, — вмешался Леонид. — Она их отправит к родственникам.

— И просто в толк не возьму, чем она тебя околдовала? И когда это всё совершилось? Ведь это гипноз какой-то! — бурлила мать, точно кипящая кастрюля.

— Ну что тут, мама, разбирать, когда да что? Хочу — и баста! Сказал — женюсь на ней, — и чем больше будешь противоречить, тем скорее женюсь, — возражал любимчик.

— На что же вы будете жить? Ведь она нищая! Значит, опять я должна

вас содержать? — заявила мать, и в её голосе послышалось слезливое раздражение.

— Мой капитал лежит нетронутым, — отвечал сын. — Это — раз. А во-вторых, я уже всё обдумал. Я буду хозяином магазина, а Анну мы оттуда попросим. Этой святоше там не место. Пусть учит музыке, где хочет и кого хочет. В магазине она только отпугивает клиенток своей постной физиономией.

— Час от часу не легче, — вскричала в последней степени раздражения Строганова. — Тебе учиться надо. Я мечтала о дипломатической карьере для тебя, а не о купеческой доле.

— Мало ли о чём ты с Браццано ни мечтала? Если бы все твои мечты сбылись, ты, наверное, была бы принцессой. Но пришлось тебе остаться женой купца, — съязвил любимый сынок.

Леонид говорил небрежно, свысока, как разговаривают опытные люди с теми, кто мало понимает жизнь. Он встал и, оправляя жилет и галстук перед зеркалом, продолжал:

— Я с тобой вовсе не советуюсь, мать, а просто сообщаю о своей женитьбе. Если тебе неприятно, что моя жена будет жить в твоём доме, — хотя, признаться, он общий, по воле отца, — я перееду к ней. Я вижу первую для себя возможность легко стать богатым и самостоятельным. Деньги, потраченные отцом на оборудование магазина, он мне подарит. А Жанну я выведу в свет, и скоро у нас будет не один, а десять магазинов. Поработает у меня жёнушка! — и Леонид захохотал.

Я еле сдерживался и отказывался представить, чтобы Жанна, милая Жанна попала в лапы этого паука.

— Хорошенькое дельце! Ни один из моих сыновей не женился так, чтобы жена принесла в дом меньше двадцати тысяч! Да ещё и тряпок немало. А ты? Нищенку приведёшь? — фыркала мать.

— У Жанны есть капитал в тридцать тысяч, — спокойно сказал И. — И невеста она — если уж разбирать её с этой стороны — более завидная, чем ваши невестки. У неё есть талант, и ремесло её может обеспечить ей жизнь. Тогда как ваши дамы, кроме как мерить новые платья, ничего больше не умеют. И дело вовсе не в том, достойна ли Жанна чести войти в ваш дом. А достоин ли ваш сын чести быть мужем этой женщины? И... достойно ли сами говорите сейчас о той, которую ещё недавно вы ласкали, задаривали и называли своей любимицей? Что изменилось в ней, чтобы так переменилось ваше отношение к ней, Елена Дмитриевна? — глядя в глаза Строгановой, закончил И.

— Может быть, в ней ничего и не менялось. Но разница ведь: видишь

ли ты в женщине просто забавную приятельницу, умеющую сделать чудесную шляпу и чепец, или жену своего сына?

— Я, мама, никогда не спрашивал, что тебе нравилось в твоих кавалерах. Мы ведь здесь взрослые люди. Предоставь мне самому решать, что мне может нравиться в женщинах. Жена — это совершенно особая штука. Тут надо выбирать рабу, — выпалил Леонид.

Я хотел вскочить и убить этого негодяя, который ещё совсем недавно имел такой ужасный вид. Теперь он нахально любовался в зеркале своей завитой и напмаженной головой, тёмными усиками и выпуклыми, стеклянными глазами, серо-голубыми, бессмысленными, наглыми.

— Откуда вы, Леонид, взяли, что Жанна согласна выйти за вас замуж? — спросил спокойно И. И — как странно! Мне показалось, что под его взглядом Леонид точно слинял. Его пошлая самоуверенная физиономия кавалера-самца, знающего себе цену, как-то вытянулась; сам он несколько сгорбился и что-то трусливое отразилось во всей — сразу ставшей жалкой — фигуре.

— Вот ещё вопрос! Я думаю, каждой женщине хочется выйти замуж, — старался храбриться Леонид.

— Имея такие данные, Жанне выйти замуж очень легко, — ответил ему И. — И она, конечно, найдёт себе человека более культурного, чем вы, ищущего не рабу в жене, но друга.

И вообще, не только выкиньте из головы мечту о женитьбе на Жанне, но, если не желаете вновь заболеть и лежать скрюченным, — забудьте дорогу в магазин. Вспомните хорошенько то состояние, которое вы уже там пережили. Ещё раз повторяю: я запрещаю вам приближаться к Жанне не только в магазине, но и где бы то ни было.

Вам же, Елена Дмитриевна, я ещё раз хочу сказать, что если вы не оставите своей прежней манеры жить, одурманиваться опиумом и развращать сына баловством, результаты которого, а также любовь и уважение к вам сына-любимчика вы имели случай сейчас ещё раз наблюдать, — такой жизни долго не вынесете. Вы так истрепали свой организм, что кончится это для вас плохо.

— Ну, будет вам стращать меня, любезный доктор И. Я не робкого десятка, — злорадно усмехаясь, ответила Строганова. — Это сын мой — вижу сейчас — трус! Весь сгорбился, перепугался и уже готов пуститься в бегство от Жанны, хотя только что рвал и метал! Мне даже стыдно за него.

— А что вы, мать, сделали, чтобы пробудить в уме и сердце вашего несчастного сына какие-нибудь героические силы? — спросил её спокойно И.

— Как это скучно! Вы всё носитесь, И., со своими моральными выкладками! Что вы понимаете в жизни и в людях? Нянчитесь с какими-то идеалами, смешными и нежизненными, и только мешаете людям весело жить. Ещё Ананда, — куда ни шло. Хоть помог многим. Но вы... — Она скорчила презрительную мину, но вдруг закашлялась, схватилась за грудь и с ужасом стала глядеть куда-то в угол.

— Что с тобой, мать? Ты похожа сейчас на колдунью из сказки. Да говори же! Чего ты уставишься в угол? Мне страшно! — вертя головой во все стороны, грубо и раздражённо говорил Леонид, охваченный страхом.

— У вашей матери спазма в сердце. Это очень мучительная вещь. Принесите воды, я дам ей капли, — сказал ему И.

— Меньше бы курила да за картами ночей не проводила, — вот и была бы здоровой, — бормотал любимчик, лениво, как бы с трудом, вставая за водой.

Строганова еле могла выпить капли. И. поднёс к её носу остро пахнувшую соль, натёр ей чем-то виски, и через некоторое время ей стало лучше, а скоро и совсем всё прошло.

— Какой это был ужас, — сказала, оправившись, Строганова. — Точно меня насквозь стрела пронзила.

— Я говорил вам, что если вы не измените своей жизни, вас ждет не болезнь, а катастрофа. Подумайте о том, что вы сделали, — сказал ей И., указывая на сына. — И о тех вспомните, кто вам простил так много. Делаете вид, что всё забыли? Но в жизни нет и не может быть ни для кого исключений. Вся природа живёт и движется по законам причин и следствий. И ни один человек не может уйти от этого закона вселенной.

Оставьте игру со злом. Вы в ней, к вашему счастью, ничего ещё не поняли и не достигли. Но если, дав слово сэру Уоми, его не сдержите, тогда уже никто не сможет вас спасти.

Прощайте. Не забудьте, что я вам сказал. И стрела, ударившая вас сейчас, была стрелой вашего собственного зла, вы сами её вызвали. Не ждите себе пощады, если не умеете щадить других. А вы, Леонид, — ещё раз повторяю, никогда не подходите к Жанне. Каждый раз, когда вы вздумаете нарушить этот мой запрет, — станете немым и недвижимым.

Не прибавив больше ни слова, И. поклонился Строгановой, и мы вышли. Точно из бани я выскочил! Пот струился по моему лицу, а внутри меня била дрожь.

— Боже мой! — в ужасе воскликнул я. — И это матери! Не помню своей, но неужели, Лоллион, я так и не увижу настоящей матери?

— Увидишь, и не одну, Левушка. Сейчас пойми, как глубоки корни

несчастий людей, как нельзя их судить и расстраиваться от их недостатков. Надо нести им бодрость или стараться пресечь зло, поставив твёрдые рогатки там, где люди слабы, чтобы уберечь прежде всего их самих. Но пока сам не созрел, — не стремись помогать. Только увеличишь зло и внесёшь ещё больше раздражения в жизнь тех, кому захочешь помочь, если не можешь действовать в полном самообладании. Мы посидели в тени сквера и двинулись дальше. — Соберись с силами, дружок. Завтра мы уедем отсюда. Усиленно думай о Флорентийце, возьми и мою руку вместе с его, — и пойдём к Жанне.

Только что начался обеденный перерыв, и в магазине мы застали не только Анну и Жанну, но и Хаву.

С первого же взгляда на Жанну я понял, что она очень страдает; но её упрямство всё так же держит её в сетях, как вчера, а может быть, и ещё крепче. После первых же приветствий Хава спросила: — Почему сэр Уоми велел мне вернуться и ждать ваших приказаний. И.? Вы меня очень задержите? — Вероятно, нет, Хава. Я сам уезжаю завтра вечером. — Это уже окончательно. И.? — спросила Анна, и голос её дрожал и в глазах стояли слёзы. — Я очень, очень тяжело расстаюсь с вами, И. Не будет у меня утешения даже в детях?

— У вас в доме скоро будет двое больных, Анна, — ответил ей И. — Да и здесь у вас взрослый ребёнок; и князь тоже будет нуждаться в вас. Кроме того, за эти семь лет, что мы проведём в разлуке, вам надо воспитать Леонида. Разлука со мной — это только внешнее препятствие. Ананда научит вас быть всегда с теми, о ком верно и любовно помнит ваше сердце.

Стремясь к высокой цели, нельзя жить получувствами и полумыслями, в сомнениях и компромиссах". Вот когда ощутите, что сердце ваше пусто для личного, — только тогда сольётесь в один аккорд с Анандой, со мною, с сэром Уоми и другими. Пока думаете, что сердце должно звучать любя, — ваша песнь любви будет стоном, а не торжеством. Жить от ума нельзя. Творчество — это гармония сердца и мысли.

Жанна подошла к И., говоря, что решила детей отправить. Я получил удар в самое сердце. Я всё надеялся, всё ждал, что распорядится она по-другому. — Бедные дети, — прошептал я.

— Совсем не бедные. Я их возьму обратно, как только устрою свою жизнь, Левушка. Это будет скоро, — запальчиво ответила мне Жанна.

— Неужели ваша жизнь не устроена? Вы работаете, обеспечены, можете учиться сами и учить детей. Чего ещё надо? — спросил я, горестно глядя на неё.

— Этого вам не понять. Вы, Левушка, тоже бесчувственный; хотя на

пароходе мне казалось, что вы очень добрый, — капризно, упрямо, с упрёком отвечала Жанна.

— Я должен вас предупредить, Жанна, что раньше чем через семь лет вы детей своих не увидите, — подходя близко, сказал И. — Выбирайте сейчас. Решайте свою и их судьбу. Быть может, через семь лет они даже и не узнают вас. Решайте, не зло и упрямо думая только о себе. Думайте о маленьких людях, которых покидаете на произвол судьбы, без материнской ласки. Думайте о вашем муже, во имя которого вы собирались когда-то жить и беречь его детей. Если вы решитесь отправить малюток, Хава увезёт их к сэру Уоми сегодня же, через два часа.

— Это очень хорошо, доктор И. Дети и знать не будут, что едут надолго. Раз их соберут быстро, — они будут думать, что едут кататься, — ответила мать, ещё так недавно видевшая в детях цель своей жизни.

Жанна говорила с вызовом, точно кто-то другой был виноват в том, что она отправляет детей. Мне казалось, что она сама не верит в возможность отослать детей с Хавой. Она точно ждала, что в последнюю минуту что-то случится, — и дети останутся. Я ещё раз подошёл к ней, говоря:

— Жанна, подумали ли вы о той минуте, когда останетесь одна? Что вы будете здесь делать без детей? Сейчас вы знаете, что в любую минуту можете к ним побежать, их обнять, увериться, что для них живёте и работаете. Что будет с вами, одинокой, без друзей, без детей? Окруженная чужими, как будете вы жить?

— Досадно, Левушка! Вот вырастут у вас усы, женитесь, пойдут дети, — ну и поймёте тогда, как хочется свободы, — резко ответила мне Жанна. — Дети уедут, тогда я и подумаю, как буду жить. Я их теперь всё равно не вижу; а когда вижу — только раздражаюсь и шлёпаю, — прибавила она и отвернулась.

Анна уехала за детьми, а мы с Хавой стали собирать кое-какие вещички и игрушки в дорогу. Жанна принимала самое минимальное участие в этих хлопотах, отвечая только на наши вопросы.

Когда дети приехали, они бросились к матери, ко мне и к И., совершенно не ожидая близкой разлуки со всеми нами, ласкались, шалили и смеялись. Хавы, хотя они и мало ещё были с нею, — они не дичились, их не пугала её чернота. И прозвали её "Чёрная мама", что Хаву очень забавляло.

Я попытывался у прелестных детей, почему они дали своей няне такое прозвище. Девочка мне очень точно сказала:

— Как вы не понимаете, дядя Леон, что на стольких детей, — раз и два, — тыкая пальчиком в себя и братишку, посчитала она, — одной мамы

мало. Вот у нас и есть мама Жанна, мама Анна и Чёрная мама-няня.

Её французская речь была так забавна, изящные и серьёзные манеры так комичны, что, несмотря на весь трагизм речи маленького существа, я хохотал до слёз. Вскоре мы подняли такую возню, что я позабыл, куда пришёл и зачем повезу детей на пристань.

Чтобы несколько умерить наш пыл, Хава сказала, что повезёт детей кататься и будет петь им негритянские песни, если они переоденутся в чистые костюмы и посидят спокойно, пока она их причешет.

Церемония переодевания и причёсывания, проходившая у Жанны каждый раз со слезами и шлепками, не вызвала никакого протеста у детей и завершилась их восторгом по поводу новых платьев. Вошедший Ананда пристально оглядел всех нас, точно пронзив Жанну своими глазами-звёздами.

У меня забило сердце от счастья. Я начал было надеяться, что Жанна, с приходом Ананды, образумится. Мне даже показалось, что лицо её смягчилось и из-под тупой маски упрямства проступила нежность.

— Ещё есть время, Жанна, — тихо сказал ей Ананда. — Я ещё могу вмешаться и оставить детей. Но лишь только дети взойдут на пароход, — они выйдут из сферы моего влияния; их окружают любовь и заботы выше моих. Сейчас же, сию минуту, я ещё могу взять на себя ответственность за вас и ваших чудных детей.

Голос Ананды звучал добротой необычайной. Сам он был так прекрасен, что я не мог оторвать от него глаз.

— Ананда, я всё сказал. Чтобы образумить мать, — прервал его И. — Неужели ты ещё раз примешь ответ за строптивых людей, которые должны сами решать и сами выбрать путь?

— Я не девочка, сама и принимаю ответственность, — истерически выкрикнула Жанна и так перепугала детей, что их смех мгновенно смолк и в глазах показались слёзы. Они со страхом уставились на мать, прижались к Хаве, точно ища у неё защиты, и девочка тихо спрашивала:

— Мама будет нас бить? Ты не дашь нас бить? И дяди не дадут? Молнии сверкнули из глаз Ананды, и голос его — точно зазвенели мечи — прозвучал властно: — Пора; князь приехал с билетами. Едем. — А вот если захочу — не выпущу! — снова закричала Жанна, вскакивая и направляясь к детям. Дети, думая, что мать хочет наградить их шлепками, ухватились за И., который поднял обоих на руки, и они сразу затихли, обвинив его шею ручонками. Перед Жанной вырос Ананда, — и она снова села на диван. — Мать — это любовь, а не гроза. Мать — защита и помощь, а не наказывающая рука. Мать — радость, а не слёзы. Мать — первое и

последнее светлое явление, которое дарит ребёнку земля.

Когда поймёте это сердцем — тогда и увидите детей. Теперь же вы сами подписали себе приговор. Если бы, минуто назад, вы пролили хоть каплю ласки в прощальный привет детям, — я бы ещё мог избавить вас от великого страдания разлуки. Теперь — поздно. В том припадке зла и бунта, в каком вы сейчас находитесь, я даже не могу разрешить вам дать им последний поцелуй.

Вошедший князь не уловил смысла тяжёлой сцены, но хорошо понял состояние Жанны и страх детей. Он улыбнулся детям и передал Ананде документы на детский вклад, которые оставались у него на руках. При этом он прибавил, что княгиня, узнав об отъезде детей, решила удвоить сумму. Что распоряжение об этом уже отдано, а новые документы он передаст Ананде для пересылки опекунам.

Ананда просил князя и Анну оставаться в магазине до нашего возвращения, что Анна выполнила протестуя, а князь с большой радостью.

В одну минуту дети с Хавой и Анандой уехали в коляске с вещами, а мы с И. пошли к пристани ближайшим путём.

Дети совсем оправились от страха и, несомые Анандой на руках к пароходу, привлекали всеобщее внимание. Лучшей модели для картины "Отец с детьми" нельзя было бы и придумать.

У Хавы оказалась отдельная большая каюта. Пароход был довольно плохонький, хотя и считался одним из лучших.

К моему величайшему изумлению, как только мы вошли в каюту, к нам явился не кто иной, как слуга сэра Уоми. Он объяснил, что послан в помощь Хаве и только-только успел пересечь с прибывшего сейчас встречного парохода.

Хава, Ананда и И. - все приняли это как должное. Но я так словиворонил, что на всём обратном пути пребывал в полном изумлении.

— Отчего тебя так поражает прозорливость сэра Уоми? Я думаю, когда он был здесь, то, вероятно, сделал определённый вывод из поведения Жанны и учел, как, в какой форме он сможет ей помочь, — сказал мне И. — Чем больше ты живёшь с нами, тем яснее должно быть тебе, что нет чудес, а есть только знание. Видя, как огромно знание таких людей, как сэр Уоми, Флорентиец, Али, — ты должен понять, как следует верить каждому их слову; как надо быть верным; как беспрекословно повиноваться каждому их приказанию, учитывая и понимая всю высоту их знания и нашу невежественность. Именно в этом основа закона беспрекословного повиновения и ни в чём другом.

"Господи Боже, — думал я. — Брат Николай пишет, что понял,

насколько он ещё невоспитанный человек! И. говорит о своей невежественности! Что же тогда говорить и делать мне?"

— Учиться и радоваться счастьем жить, поняв, что такое — Свет на пути! — улыбаясь, шепнул мне Ананда, как будто снова заглянул под мой череп.

Мы шли очень медленно. Очевидно, друзья щадили меня, чтобы я несколько пришёл в себя. Ананда шёл впереди, И., ведя меня под руку, шёл за ним; но вряд ли его мысли были здесь. Он был так углублён в себя, что я не решался нарушить его сосредоточенности.

Время промелькнуло как одна минута. А между тем уже смеркалось, — и мы вошли в магазин, когда работа уже кончилась.

Анна и Жанна убирали в картонки последние шляпы. Князь помогал им и ещё раз удивил меня. Этот человек, казалось, везде был на месте. Он так ловко убирал ленты и цветы, так бережно и умело раскладывал перья и шелка, как будто только и занимался этим всю жизнь.

Я вспомнил его в роли сиделки княгини, — и там он всегда и всё умел, никогда не терялся и мог сойти за опытного брата милосердия.

За столом в своём доме он был обаятельным хозяином. Но что же такое было в князе, что делало его "не как все", следуя выражению Анны? И... "вроде идиотика иногда бывает князь", говаривал, бывало, с юмором мой дорогой капитан.

Капитан — такой прозорливец в отношении Жанны — что он видел в князе особенного? И чему в нём не могу подобрать названия? Что я тоже сознаю и чувствую в нём особенного? Что такое живёт в князе и так выделяет его среди нас?

Я вспомнил князя на пароходе, рядом с бушующей женой; его лицо, поникшую голову и отчаяние в глазах. Потом — его слабость и муку неопределённости. Его самоотвержение в первые дни болезни жены, наш первый визит в его дом. И князь — сейчас. Того человека нет; есть другой, новый; но в обоих есть какой-то общий остов, но какой, — я не знал.

Мои размышления были прерваны внезапным смехом Жанны. И так он прозвучал неестественно, точно бритвой резанул.

— Доктор И., я никогда не видела вас таким, и даже не знала, что вы можете быть столь торжественным, — сказала она, как бы вызывая И. на ссору.

— Не знаю, торжественным или ещё каким-нибудь кажусь я вам; но знаю, что все силы моей мысли и вся любовь моего сердца сопровождают ваших детей в их далёкий путь, желая им мира и счастья, которых они не нашли здесь, — ответил И.

Жанна сразу притихла. Несомненно, — ласковый, печальный, такой добрый и нежный, — голос И. пробрался до самых недр сердца Жанны, которое — я знал — было добрым.

— У меня к вам, Жанна, вопрос, — всё так же ласково продолжал И. — Завтра мы с Левушкой уезжаем. За этот кусочек прожитой вместе с нами жизни вы и мне, и ему говорили не раз, что многим нам обязаны. Считаете ли вы меня вправе задать вам вопрос, который продиктован лишь мыслью о вашем счастье? Или, по крайней мере, желанием оградить вас от самого большого из несчастий, в которое вы можете втолкнуть себя сами.

— Спрашивайте, — ответила очень тихо Жанна. — Я не знаю, каким будет ваш вопрос, но, во всяком случае, отвечу правдиво.

— Вы обещали Леониду выйти за него замуж и отправить до свадьбы детей?

Стон вырвался из груди Анны. Она с ужасом посмотрела на Ананду, но тот не ответил на её взгляд, как делал это всегда, а сидел, глядя вдаль, точно решая какую-то задачу и прислушиваясь к чему-то.

Жанна совершенно смешалась, вспыхнула, побледнела, теребя раздражённо платок, снова вспыхнула, наконец издала какой-то нервный смешок и сказала:

— Он так меня упрашивал хранить тайну, так уверял, что нам надо обвенчаться по какому-то особому ритуалу, и сам всё выболтал вам же, а вас боялся пуще сатаны. Вот и доверяй. — Вы не ответили на мой вопрос, Жанна. — Ну что тут отвечать, если вы всё знаете? Он пристаёт ко мне с первых же дней знакомства. Сначала просто приставал, а когда я его отшила, стал говорить о браке и о том, что Браццано покровительствует нам в этом. — И вы обещали — что именно?

— Я обещала отослать детей и выйти за него. На днях должна была быть свадьба, да всё те, кто должен нас венчать, не приезжают, и Леонид рвет и мечет.

— Вы любите его, Жанна? Если пожертвовали детьми, значит, любите? — спрашивал И.

— Нет, просто я не в силах жить одна. Я должна иметь мужа подле, это невыносимо быть окруженной одними женщинами. Я хочу весело жить. Без мужчин я жить не могу, — угрюмо отвечала Жанна.

— Неужели вы не видите, что этот человек трус? Что он бесчестен? Что он хотел жениться на вас по приказанию Браццано? Что, наконец, он просто хотел иметь в вас рабочую силу? Жить вашим трудом и превратить вас в рабу?

Жанна потёрла себе лоб, стала заикаться, старалась что-то сказать, что-

то вспомнить, и только всё снова тёрла лоб, ничего не отвечая. И. повернулся к Анне.

— Вот ещё одно дело ваших рук. Вам суждены благие порывы любви к дальним. В теории, в мечтах ваша любовь к брату-человеку. В деле же, простом, мелком деле текущего дня, вы не сумели стать основным звеном духовного единения с окружающими.

Ананда вам приказал давно забрать все подарки Браццано у матери и брата и сжечь их. Вы сочли это мелочью, — и не выполнили. Ананда передал вам приказ сэра Уоми встать между Жанной и братом с первых же их встреч — вы увидели в этом насилие над волей двух взрослых людей и дали возможность Браццано создать себе канал зла из чистой души этой женщины.

За эту жертву зла, павшую благодаря вашему непослушанию, за тех изменивших свой жизненный путь детей, которые едут к сэру Уоми, — вы ответственны не только перед Анандой, но и перед сэром Уоми, к счастью Ананды. При его беспредельной доброте он ещё раз понёс бы ваше бремя; а вы, неблагодарная, слепая, ещё раз поскользнулись бы глубже прежнего.

Так недавно вы рыдали здесь и говорили себе и другим, что это хорошо, что ваше послушание случилось здесь, а не там, куда вам предстояло ехать. А пришёл новый случай выказать героизм послушания, — и снова вышла на сцену жизни Анна-обывательница, а не Анна-"благодать".

Сколько же актов человеческой драмы, — вашей жизни на земле, вы думаете так прожить? Или ждете, пока подойдёт пятый акт и занавес упадёт?

Тишина в комнате была так велика, что я слышал, как потирала лоб Жанна. И. подошёл к бедняжке, всё так же бессознательно потиравшей свой лоб. Ананда тоже встал с кресла и сел рядом с Жанной, взяв её ручки в свои. — Вы слышите меня, Жанна? — спросил И. — Конечно, доктор И., конечно, слышу, — раздался прежний звонкий голосок.

— Вы никогда не допустите к себе Леонида, которого так сейчас боитесь. Вам его бояться нечего, — говорили, кладя обе свои руки на голову Жанны. — Вы его любите? — снова спросил И.

— Что вы, доктор И.; он отвратителен; но ведь он брат Анны, мне не хотелось огорчать её с самого начала. А потом, я сама не понимаю, как могло всё это так далеко зайти.

— Ничего теперь не бойтесь. Никогда не ходите к Строгановым в дом и не встречайтесь с Еленой Дмитриевной. Не принимайте от неё не только подарков, но даже материй для шляп и не работайте для неё. Пусть Анна сама делает матери всё, что найдёт нужным.

Возьмите этот крест, носите его всегда на себе; и не забывайте о пологе. И в минуты величайшей слабости и горя обтирайте им лицо, поддержите его у лба. Всею силой вашей веры мысленно скажите одно слово: «Дли». Вы мгновенно будете получать успокоение и находить силу жить в чести и чистоте.

Прощайте, Жанна. Увидимся мы очень нескоро и, к сожалению, всё, что я могу для вас сделать, — дать вам этот крест. Он навсегда защитит вас от всех Браццано и Леонидов. Вы их не бойтесь, как вообще ничего не бойтесь до тех пор, пока этот крест на вас. Я его даю вам как частицу своей силы и защиты.

И. надел на Жанну крест из топазов на цепочке, точь-в-точь такой же, какую надел на меня сэр Уоми. И вновь повернулся к Анне.

— Теперь вы видели, как куются цепи зла, неосторожно сотканные неведением, гордостью и непослушанием. Если бы в простой душе Жанны не было достаточной доброты, чтобы простить вам, Анна, безумие гипноза, в который погрузил её Браццано, погрузил из-за нарушенного вами — так неожиданно для всех нас — обета добровольного повиновения, то какого дикого врага на сотни лет имели бы вы в её лице сейчас! Тогда и через семь лет вы не могли бы к нам приблизиться! Теперь, ещё раз, вам даётся зов Жизни. И снова подвигом любви и доброты Ананды. Остерегайтесь же умствовать там, где нужна простота мудрости.

— Жанна, — снова обратился И. к маленькой хозяйке, — вот единственный верный, бескорыстный и заботливый друг, которого вам даёт сейчас жизнь на долгие годы, — подводя к ней князя, продолжал И. — Слушайте его; советуйтесь с ним. Сходите к княгине и постарайтесь вашим добрым сердцем и весёлым смехом украсить её скучную жизнь.

Не безумствуйте, думая о детях. Вы сами ещё невоспитанное дитя. Хава будет вам писать. У сэра Уоми, — сами понимаете, — им не может быть плохо.

— Чем могу я выразить вам мою благодарность, доктор И.? Я выполняю всё, что вы сказали, всё, поверьте. На меня вдруг находит что-то такое жестокое и злое, что я сама этому поражаюсь, но справиться с собой не могу. Я буду — как главную святыню — хранить ваш крест и призывать святого «Али», о котором вы сказали, хотя и не знаю такого во французской церкви, — заливаясь слезами, говорила Жанна.

Князь сел подле неё, мы же незаметно вышли. Анна направилась вслед за нами, но Ананда остановил её, сказав, что она должна быть сейчас подле Жанны, куда ей надо временно и, может быть, надолго переселиться.

Он назначил ей час свидания на завтра, и я понял, что это будет уже

после нашего отъезда и что сейчас я в последний раз вижу обеих женщин.

Мог ли я, в первые свои константинопольские дни, думать, что мы в горе оставим Анну, божественно совершенную, какой она представлялась мне тогда?

Ананда велел ей напомнить князю, что в семь вечера мы будем ждать его к обеду.

Молча возвращались мы домой. Оба моих друга сияли мощью, спокойствием и твёрдостью, которые казались мне даже нечеловеческими.

Я же был не только вконец расстроен, но чувствовал себя так, будто меня всего вывернули наизнанку. Я никак не мог оставаться спокойным в изменчивом калейдоскопе дня. Всякая неожиданность меня потрясала.

Добравшись до дома, я лег на диван и, казалось, не мог двинуть ни одним членом, — так я был разбит Множеством мелькавших мыслей и чувств. То я ехал с детьми Жанны; то ужасался, как бедная Анна неосторожно сотканным ею злом стала причиной путаницы в человеческих жизнях; то не мог себе представить безграничного горя Жанны, когда она осознает разлуку с детьми; то старался угадать линию поведения князя...

— Выпей-ка, дружок, — ласково сказал Ананда. — Сейчас ты ясно видишь, как в людях бродят страсти. Потом будешь видеть, как они ими закрепощены. А дальше поймёшь путь милосердия, путь помощи людям в раскрепощении и освобождении от страстей.

Приди в себя и постарайся бодро и бесстрашно завершить свою константинопольскую жизнь. Как закончишь своё "сегодня", — так точно и начнёшь своё «завтра».

Я выпил какие-то горьковатые капли, как будто задремал и вскоре почувствовал гибкость во всём теле и бодрость, точно целую ночь проспал.

Мы успели переодеться и были совершенно готовы, когда нас пришли звать к обеду. Я не знал, когда мы едем; но понял — по убранству стола и вечернему туалету хозяина, — что он даёт нам прощальный обед.

За столом особых разговоров не велось, И только в прощальном тосте князя прозвучала нотка такой скорби от разлуки с нами, такого горя, что наша встреча — встреча его сияющего счастья, как он неоднократно выразился, — частично кончается сегодня, что у меня защекотало в горле. В ответном тосте И. сказал ему:

— Встречи — не цветы. Они не вянут, не гибнут, бесследно превращаясь в тлен. Встречи учат. И даже если разлука кажется невыносимой, если смерть уносит друга, сына, отца или дочь, — даже тогда сердце растёт и ширится его творчество.

Если же знаешь, что друг идёт где-то рядом и ты его не можешь

ощутить только потому, что дух твой короток, — надо шире раскрыть мысль и сердце; и воспринять людей не только как близких тебе лично, но как спутников на пути к истине. И тогда все встречи будут благословенными.

Дух мещанина, которому кажется, что он ищет Истину, — вечно склонен к унынию. Он, точно собачий хвостик, как его ни распрямляй, всё норовит скрутиться. Дух же человека, воистину ищущего героики чувств и мыслей, похож на стальную рельсу, которую ничто согнуть не может.

Встреча с вами, князь, показала мне, как легко, просто, радостно, не нащупывая, куда ступить, — вы перешли от слабости к привычной вам теперь твёрдости, от твёрдости переходите к силе и от силы перейдёте к красоте. И вся задача дня в том только и состоит, чтобы трудное сделать привычным, привычное — лёгким и лёгкое — прекрасным в работе дня. Встреча с вами будет всегда памятна мне, как переход в одно мгновение — в иное, героическое мироощущение. Мы выпили за здоровье князя и перешли в комнату И. Здесь князь рассказал, что после нашего ухода Жанна была тиха. Но отчаянию Анны не было предела. В ней шла не борьба, но кипела мука ясно понятого неверного своего поведения, в чём она впервые отдала себе полный отчёт.

Князю удалось привести её в чувство только упрёком, что она думает лишь об одной себе и не жалеет ни Жанну, ни отца, который скоро за ней придёт и увидит, в каком она состоянии. Анна постаралась овладеть собой, и когда пришёл отец, встретила его с улыбкой.

Заявление Анны, что ночевать домой она не придёт, не только не вызвало протеста, но старик был даже этому рад, поскольку его жена и младший сын ссорились сегодня весь день, отравляя жизнь себе и всем домашним. Ананда, выслушав князя, сказал:

— Наша к вам просьба, князь, двойная. Не только не оставьте Жанну своими заботами, но и Анне будьте помощью. Я пробуду здесь долго и вылечу вашу жену. Но Анна и Жанна нуждаются в костылях, как хромые, и останутся такими долго, несмотря на то, что их я тоже буду лечить каждый день. Легче пробудить в закрытом сознании цельную верность, чем помочь окрепнуть однажды пошатнувшейся верности зрячего человека.

Вот этот труд, труд доброты, труд неусыпной заботливости в залечивании их ран, я и хочу просить вас взять на себя. Если вы можете принять это бремя легко — я буду усиленно готовить вас к этой задаче.

— Легко? — воскликнул князь. — Вы даёте мне радость! Даёте в руки счастье и смысл жизни, которых я до сих пор не знал, и ещё спрашиваете, сделаю ли я это легко? Есть иной вопрос: я готов умереть, чтобы

выполнить предлагаемое вами. Но... — сумею ли? Я ведь более нежели невежда. Одного желания мало.

— Мне нужно только ваше желание. Всё остальное — придёт. Любовь-доброта, любовь-милосердие и любовь-неосуждение должны встретиться в одном сердце, чтобы мог начаться творческий путь по жизни.

Хотите ли вы идти со мной по пути помощи и милосердия, князь? Можете ли дать мне два обета: с верностью — цельной, непоколебимой — следовать за мной. И выполнять все мои указания, понятные или вовсе непонятные вам, — точно и беспрекословно повинуюсь? — спросил Ананда.

— И это всё, что вы требуете за счастье следовать за вами? — в изумлении воскликнул князь.

— Вы видели по Анне, Генри, Ибрагиму, наконец по самому старику Строганову, как трудны эти два условия, князь. Подумайте до завтра, — ответил ему Ананда.

— Я вас даже не понимаю, — покачивая головой, сказал князь. — Почему я должен раздумывать до завтра? Можно сомневаться, годен ли я вообще для мудрости? Годен ли — такой, ничем не одарённый человек, для дел высокой любви, требующей столько такта, ума, внимания? Но в чести моей, — при вашем даре читать в сердцах людей, — мне кажется, сомневаться нельзя.

Ананда подал князю руку и сказал:

— Если завтра, в этот же час, вы подтвердите мне своё желание, я начну готовить вас к новой жизни — к знанию и развитию ваших дремлющих сил. На этом мы расстались с князем.

И только тут я узнал, что через два часа отойдёт наш поезд, увозя нас с И. в неведомые мне края, к неизвестным мне людям, к иной жизни, к надеждам на встречу с Флорентийцем и братом Николаем.

FB2 document info

Document ID: 117909

Document version: 1

Document creation date: 15 December 2009

Created using: FB Editor v2.0 software

Document authors :

-

Source URLs :

- <http://www.litru.ru/bd/?b=117909>

Document history:

1.0 — создание fb2 — Bykaed

About

This book from library eTextLib (<http://www.etextlib.com>) was generated by Lord KiRon's FB2EPUB converter.

Эта книга из библиотеки eTextLib (<http://www.etextlib.ru>) создана при помощи конвертера FB2EPUB, написанного Lord KiRon.